This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

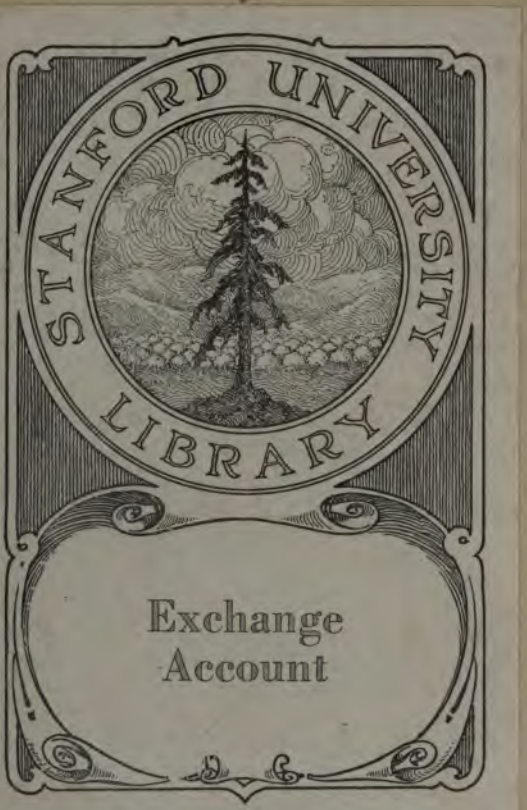
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
Exchange
Account

Чехов, А. П.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Володя.—Княгиня.—Бѣда.—Спать хочется.—Холодная кровь.—Скучная исторія.—Припадокъ.—Шампанское.—Въ ссылкѣ.—Отецъ.—Жена.

(58-118)

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903

Ч

891.72
C511
ed.2
v.7-9

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

320321

ВОЛОДЯ.

Въ одно изъ лѣтнихъ воскресеній, часовъ въ пять вечера, Володя, семнадцатилѣтній юноша, некрасивый, болѣзненный и робкій, сидѣлъ въ бесѣдкѣ на дачѣ у Шумихиныхъ и скучалъ. Его невеселыя мысли текли по тремъ направленіямъ. Во-первыхъ, на завтра, въ понедѣльникъ, ему предстояло держать экзаменъ по математикѣ; онъ зналъ, что если завтра ему не удастся рѣшить письменную задачу, то его исключатъ, такъ какъ сидѣлъ онъ въ шестомъ классѣ два года и имѣлъ годовую отмѣтку по алгебрѣ $2^3/_4$. Во-вторыхъ, его пребываніе у Шумихиныхъ, людей богатыхъ и претендующихъ на аристократизмъ, причиняло постоянную боль его самолюбію. Ему казалось, что m-me Шумихина и ея племянницы глядятъ на него и его maman, какъ на бѣдныхъ родственниковъ и приживаловъ, что онѣ не уважаютъ maman и смѣются надъ ней. Разъ онъ нечаянно подслушалъ, какъ m-me Шумихина говорила на террасѣ своей кузинѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ, что его maman продолжаетъ еще молодиться и наводить на себя красоту, что она никогда не платитъ проигрыша и имѣетъ пристрастіе къ чужимъ ботинкамъ и къ чужому табаку. Каждый день Володя умолялъ maman не ѣздить къ Шумихинымъ, описывалъ ей, какую обидную роль играетъ она у этихъ господъ, убѣждалъ, говорилъ дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своемъ вѣку два состоянія — свое и мужнино, всегда тяготѣвшая къ высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два въ недѣлю долженъ былъ провожать ее на ненавистную дачу.

Въ-третьихъ, юноша ни на минуту не могъ отдѣлаться отъ страннаго, непріятнаго чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что онъ былъ влюбленъ въ кузину и гостью Шумихиной, Анну Ѳедоровну. Это была подвижная, голосистая и смѣшливая барынька, лѣтъ тридцати, здоровая, крѣпкая, розовая, съ круглыми плечами, съ круглымъ жирнымъ подбородкомъ и съ постоянной улыбкой на тонкихъ губахъ. Она была некрасива и немолода — Володя отлично зналъ это, но почему-то онъ былъ не въ силахъ не думать о ней, не глядѣть на нее, когда она, играя въ крокетъ, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной, или же, послѣ долгаго смѣха и бѣготни по лѣстницамъ, падала въ кресло и, зажмуривъ глаза, тяжело дыша, дѣлала видъ, что ея груди тѣсно и душно. Она была замужемъ. Ея мужъ, солидный архитекторъ, разъ въ недѣлю пріѣзжалъ на дачу, отлично высыпался и возвращался назадъ въ городъ. Странное чувство началось у Володи съ того, что онъ безпричинно возненавидѣлъ этого архитектора и радовался всякій разъ, когда тотъ уѣзжалъ въ городъ.

Теперь, сидя въ бесѣдкѣ и думая о завтрашнемъ экзаменѣ и о maman, надъ которой смѣются, онъ чувствовалъ сильное желаніе видѣть Нюту (такъ Шумихины называли Анну Ѳедоровну), слышать ея смѣхъ, шорохъ ея платья... Это желаніе не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романамъ и о которой онъ мечталъ каждый вечеръ, ложась спать; оно было странно, непонятно, онъ стыдился его и боялся, какъ чего-то очень нехорошаго и нечистаго, въ чемъ тяжело сознаваться передъ самимъ собой...

— Это не любовь,—говорилъ онъ себѣ.—Въ тридцатилѣтнихъ и замужнихъ не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая объ интрижкѣ, онъ вспоминалъ про свою непобѣдимую робость, про отсутствіе усовъ, веснушки, узкіе глаза, ставилъ себя въ воображеніи рядомъ съ Нютою — и эта пара казалась ему невозможной; тогда спѣшилъ онъ вообразить себя красивымъ, смѣлымъ, остроумнымъ, одѣтымъ по самой послѣдней модѣ...

Въ самый разгаръ мечтаній, когда онъ, сгорбившись и *глядя въ землю*, сидѣлъ въ темномъ уголкѣ бесѣдки, по-

слышались легкіе шаги. Кто-то не спѣша шелъ по аллеѣ Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то бѣлое.

— Есть здѣсь кто-нибудь?—спросилъ женскій голосъ.

Володя узналъ этотъ голосъ и испуганно поднялъ голову.

— Кто тутъ?—спрашивала Нюта, входя въ бесѣдку.— Ахъ, это вы, Володя? Что вы здѣсь дѣлаете? Думаете? И какъ это можно все думать, думать, думать... этакъ можно съ ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядѣлъ на Нюту. Она только-что вернулась изъ купальни. На ея плечахъ висѣли простыня и мохнатое полотенце, и изъ-подъ бѣлаго шелковаго платка на головѣ выглядывали мокрые волосы, прилипшіе ко лбу. Отъ нея шелъ влажный, прохладный запахъ купальни и миндальнаго мыла. Отъ быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ея блузы была разстегнута, такъ что юноша видѣлъ и шею, и грудь.

— Что же вы молчите?—спросила Нюта, оглядывая Володю. — Невѣжливо молчать, когда съ вами говоритъ дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, какъ философъ какой-нибудь. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ жизни и огня! Противный вы, право... Въ ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядѣлъ на простыню, которую поддерживала бѣлая, пухлая рука, и думалъ...

— Молчитъ!—удивлялась Нюта.—Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фуй, противный философъ!—засмѣялась она.—А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здѣсь барышенъ нѣтъ, но вѣдь вамъ ничто не мѣшаетъ ухаживать за дамами! Отчего вы, напримѣръ, за мной не ухаживаете?

Володя слушалъ и въ тяжеломъ, напряженномъ раздумьѣ почесывалъ себѣ високъ.

— Молчатъ и любятъ уединеніе только очень гордые люди,—продолжала Нюта, отдергивая его руку отъ виска.— Вы гордецъ, Володя. Почему вы глядите исподлобья? Извольте мнѣ глядѣть прямо въ лицо! Да ну же, тюлень!

Володя рѣшилъ заговорить. Желая улыбнуться, онъ задергалъ нижней губой, замигалъ глазами и опять потянулъ руку къ виску.

— Я... я люблю васъ!—проговорилъ онъ.

Нюта удивленно подняла брови и засмѣялась.

— Что слышу я?! — запѣла она, какъ поютъ оперные пѣвцы, когда слышатъ что-нибудь ужасное. — Какъ? Что вы сказали? Повторите, повторите...

— Я... я люблю васъ!—повторилъ Володя.

И ужъ безъ всякаго участія своей воли, ничего не понимая и не соображая, онъ сдѣлалъ полшага къ Нютѣ и взялъ ее за руку выше кисти. Въ глазахъ его помутилось и выступили слезы, весь міръ обратился въ одно большое, мохнатое полотенце, отъ котораго пахло купальней.

— Браво, браво!—услышалъ онъ веселый смѣхъ.—Что же вы молчите? Мнѣ хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мѣшаютъ держать руку, Володя взглянулъ на смѣющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взялъ обѣими руками ее за талію, причемъ кисти обѣихъ рукъ его сошлись на ея спинѣ. Онъ держалъ ее обѣими руками за талію, а она, закинувъ на затылокъ руки и показывая ямочки на локтяхъ, поправляла подъ платкомъ прическу и говорила покойнымъ голосомъ:

— Надо, Володя, быть ловкимъ, любезнымъ, милымъ, а такимъ можно сдѣлаться подъ вліяніемъ только женскаго общества. Однако, какое у васъ нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смѣяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успѣете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она безъ усилія освободила свою талію и, что-то напѣвая, вышла изъ бесѣдки. Володя остался одинъ. Онъ пригладилъ свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ сѣлъ на скамью и улыбнулся еще разъ. Ему было невыносимо стыдно, такъ что даже онъ удивлялся, что человѣческій стыдъ можетъ достигать такой остроты и силы. Отъ стыда онъ улыбался, шепталъ какія-то несвязныя слова и жестикулировалъ.

Ему было стыдно, что съ нимъ только-что обошлись, какъ съ мальчикомъ, стыдно за свою робость, а главное за то, что онъ осмѣлился взять порядочную замужнюю женщину за талію, хотя ни по возрасту, ни по своимъ наружнымъ качествамъ, ни по общественному положенію онъ, какъ ему казалось, не имѣлъ на это никакого права.

Онъ вскочилъ, вышелъ изъ бесѣдки и, не оглядываясь, пошелъ въ глубину сада подальше отъ дома.

«Ахъ, поскорѣе бы уѣхать отсюда!—думалъ онъ, хватая себя за голову.—Боже, поскорѣе бы!»

Поѣздъ, на которомъ долженъ былъ ѣхать Володя съ maman, отходилъ въ восемь часовъ сорокъ минутъ. Оставалось до поѣзда около трехъ часовъ, но онъ съ наслажденіемъ ушелъ бы на станцію сейчасъ же, не дожидаясь maman.

Въ восьмомъ часу онъ подходилъ къ дому. Вся его фигура изображала рѣшимость: что будетъ, то будетъ! Онъ рѣшился войти смѣло, глядѣть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Онъ прошелъ террасу, большую залу, гостиную и остановился въ послѣдней, чтобы перевести духъ. Отсюда слышно было, какъ въ сосѣдней столовой пили чай. M-me Шумихина, maman и Нюта о чемъ-то говорили и смѣялись.

Володя прислушался.

— Увѣряю васъ!—говорила Нюта.—Я своимъ глазамъ не вѣрила! Когда онъ сталъ объясняться мнѣ въ любви и даже, представьте, взялъ меня за талію, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда онъ сказалъ, что влюбленъ въ меня, то въ лицѣ у него было что-то звѣрское, какъ у черкеса.

— Неужели!—ахнула maman, закатываясь протяжнымъ смѣхомъ. — Неужели! Какъ онъ напоминаетъ мнѣ своего отца!

Володя побѣжалъ назадъ и выскочилъ на свѣжій воздухъ.

«И какъ онѣ могутъ говорить вслухъ объ этомъ! — мучился онъ, всплескивая руками и съ ужасомъ глядя на небо. — Говорятъ вслухъ, хладнокровно... И maman смѣялась... maman! Боже мой, зачѣмъ ты далъ мнѣ такую мать? Зачѣмъ?

Но идти въ домъ нужно было, во что бы то ни стало. Онъ раза три прошелся по аллеѣ, немного успокоился и вошелъ въ домъ.

— Что же вы не приходите во-время чай пить?—строго спросила m-me Шумихина.

— Виноватъ, мнѣ... мнѣ пора ѣхать,—забормоталъ онъ, не поднимая глазъ.—Maman, ужъ восемь часовъ!

— Поѣзжай самъ, мой милый,—сказала томно maman:—

я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой другъ... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь къ Нютѣ:

— Онъ немного похожъ на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-какъ простившись и не взглянувъ ни на чье лицо, Володя вышелъ изъ столовой. Черезъ десять минутъ онъ ужъ шагалъ по дорогѣ къ станціи и былъ радъ этому. Теперь ужъ ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

Въ полуверстѣ отъ станціи онъ сѣлъ на камень у дороги и сталъ глядѣть на солнце, которое больше чѣмъ наполовину спряталось за насыпь. На станціи ужъ кое-гдѣ зажглись огни, замелькалъ одинъ мутный, зеленый огонекъ, но поѣзда еще не было видно. Володѣ пріятно было сидѣть, не двигаться и прислушиваться къ тому, какъ мало-по-малу наступалъ вечеръ. Сумракъ бесѣдки, шаги, запахъ купальни, смѣхъ и талія — все это съ поразительною ясностью предстало въ его воображеніи и все это ужъ не было такъ страшно и значительно, какъ раньше...

«Пустяки... Она не отдернула руку и смѣялась, когда я держалъ ее за талію, — думалъ онъ: — значитъ, ей это нравилось. Если бъ ей это было противно, то она разсердилась бы...»

И теперь Володѣ стало досадно, что тамъ, въ бесѣдкѣ, у него было недостаточно смѣлости. Ему стало жаль, что онъ такъ глупо уѣзжаетъ, и ужъ онъ былъ увѣренъ, что если бы тотъ случай повторился, то онъ былъ бы смѣлѣе и проще смотрѣлъ бы на вещи.

А случаю повториться не трудно. У Шумихиныхъ послѣ ужина долго гуляютъ. Если Володя пойдетъ гулять съ Нютой по темному саду, то—вотъ и случай!

«Вернусь, — думалъ онъ: — а уѣду завтра съ утреннимъ поѣздомъ... Скажу, что опоздалъ къ поѣзду».

И онъ вернулся... М-me Шумихина, maman, Нюта и одна изъ племянницъ сидѣли на террасѣ и играли въ винтъ. Когда Володя солгалъ имъ, что опоздалъ къ поѣзду, онѣ обезпокоились, какъ бы онъ завтра не опоздалъ къ экзамену, и посовѣтовали ему встать пораньше. Все время, пока онѣ играли въ карты, онъ сидѣлъ въ сторонѣ, жадно оглядывалъ Нюту и ждалъ... Въ его головѣ ужъ готовъ

былъ планъ: онъ подойдетъ въ потемкахъ къ Нютѣ, возьметъ ее за руку, потомъ обниметъ; говорить ничего не нужно, такъ какъ обоимъ все будетъ понятно безъ разговоровъ.

Но послѣ ужина дамы не пошли гулять въ садъ и продолжали играть въ карты. Играли онѣ до часа ночи и потомъ разошлись спать.

«Какъ это все глупо! — досадовалъ Володя, ложась въ постель. — Но ничего, погожу завтрашняго дня... Завтра опять въ бесѣдкѣ. Ничего...»

Онъ не старался уснуть, а сидѣлъ въ постели, обнявъ руками колѣни, и думалъ. Мысль объ экзаменѣ была ему противна. Онъ ужъ рѣшилъ, что его исключатъ и что въ этомъ исключеніи нѣтъ ничего ужаснаго. Напротивъ, все очень хорошо, даже очень. Завтра онъ будетъ свободенъ, какъ птица, надѣнетъ партикулярное платье, будетъ курить явно, ѣздить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и ужъ онъ будетъ не гимназистомъ, а «молодымъ человѣкомъ». А остальное, что называется карьерой и будущимъ, такъ ясно: Володя поступитъ въ вольноопредѣляющіеся, въ телеграфисты, наконецъ, въ аптеку, гдѣ дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошелъ часъ-другой, а онъ все сидѣлъ и думалъ...

Въ третьемъ часу, когда ужъ свѣтало, дверь осторожно скрипнула, и въ комнату вошла maman.

— Ты не спишь? — спросила она, зѣвая. — Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

— Зачѣмъ вамъ?

— У бѣдной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзаменъ...

Она достала изъ шкапчика флаконъ съ чѣмъ-то, подошла къ окну, прочла сигнатурку и вышла.

— Марья Леонтьевна, это не тѣ капли! — услышалъ черезъ минуту Володя женскій голосъ. — Это ландышъ, а Лили проситъ морфинъ. Вашъ сынъ спитъ? Попросите его, чтобы онъ отыскалъ...

Это былъ голосъ Нюты. Володя похолодѣлъ. Онъ быстро надѣлъ брюки, накинулъ на плечи шинель и пошелъ къ двери.

— Понимаете? Морфинъ!—объясняла шопотомъ Нюта.—

Тамъ должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, онъ найдетъ...

Maman открыла дверь, и Володя увидѣлъ Нюту. Она была въ той же самой блузѣ, въ какой ходила купаться. Волосы ея были не причесаны, разбросаны по плечамъ, лицо заспанное, смуглое отъ сумерекъ...

— Вотъ Володя не спитъ...—сказала она.—Володя, поищите, голубчикъ, въ шкапѣ морфинъ! Наказаніе съ этой Лили... Вѣчно у нея что-нибудь.

Maman что-то пробормотала, зѣвнула и ушла.

— Ищите же,—сказала Нюта.—Что стоите?

Володя пошелъ къ шкапчику, присѣлъ на колѣни и сталъ перебирать флаконы и коробки съ лѣкарствами. Руки у него дрожали, а въ груди и въ животѣ было такое ощущеніе, какъ будто по всѣмъ его внутренностямъ бѣгали холодныя волны. Отъ запаха эѳира, карболовой кислоты и разныхъ травъ, за которыя онъ безъ всякой надобности хватался дрожащими руками и которыя разсыпались отъ этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, maman ушла, — думалъ онъ. — Это хорошо... хорошо...»

— Скоро же?—спросила протяжно Нюта.

— Сейчасъ... Вотъ это, кажется, морфинъ...—сказалъ Володя, прочитавъ на одной изъ сигнатуръ слово «morph...»— Извольте!

Нюта стояла въ дверяхъ такъ, что одна нога ея была въ коридорѣ, а другая въ его комнатѣ. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить — такъ они были густы и длинны! — и разсѣянно глядѣла на Володю. Въ просторной блузѣ, заспанная, съ распущенными волосами, при томъ скудномъ свѣтѣ, какой шелъ въ комнату отъ бѣлаго, но еще не освѣщеннаго солнцемъ неба, она показалась Володѣ обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всѣмъ тѣломъ и съ наслажденіемъ вспоминая о томъ, какъ онъ обнималъ это чудное тѣло въ бесѣдкѣ, онъ подалъ ей капли и сказалъ:

— Какая вы...

— Что?

Она вошла въ комнату.

— Что?—спросила она, улыбаясь.

Онъ молчалъ и смотрѣлъ на нее, потомъ, какъ тогда въ

бесѣдкѣ, взялъ за руку... А она смотрѣла на него, улыбалась и ждала: что будетъ дальше?

— Я васъ люблю...—прошепталъ онъ.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

— Погодите, кажется, кто-то идетъ. Охъ, ужъ эти мнѣ гимназисты!—говорила она вполголоса, идя къ двери и выглядывая въ коридоръ.—Нѣтъ, никого не видно...

Она вернулась...

Затѣмъ Володѣ показалось, что комната, Нюта, разсвѣтъ и самъ онъ — все слилось въ одно ощущеніе остраго, необыкновеннаго, небывалаго счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вѣчную муку, но прошло полминуты, и все это вдругъ исчезло. Володя видѣлъ одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выраженіемъ гадливости, и самъ вдругъ почувствовалъ отвращеніе къ тому, что произошло.

— Однако мнѣ нужно уходить,—сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю.—Какой некрасивый, жалкій... фи, гадкій утенокъ!

Какъ теперь Володѣ казались безобразны ея длинные волосы, просторная блуза, ея шаги, голосъ!..

«Гадкій утенокъ... — думалъ онъ послѣ того, какъ она ушла.—Въ самомъ дѣлѣ я гадокъ... Все гадко».

На дворѣ ужъ восходило солнце, громко пѣли птицы; слышно было, какъ въ саду шагалъ садовникъ и какъ скрипѣла его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коровъ и звуки пастушеской свирѣли. Солнечный свѣтъ и звуки говорили, что гдѣ-то на этомъ свѣтѣ есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но гдѣ она? О ней никогда не говорили Володѣ ни maman, ни всѣ тѣ люди, которые окружали его.

Когда лакей будилъ его къ утреннему поѣзду, онъ представился спящимъ...

«Ну его, все къ чорту!»—думалъ онъ.

Всталъ онъ съ постели въ одиннадцатомъ часу. Причесываясь передъ зеркаломъ и глядя на свое некрасивое, блѣдное отъ безсонной ночи лицо, онъ подумалъ:

«Совершенно вѣрно... Гадкій утенокъ».

Когда maman увидѣла его и ужаснулась, что онъ не на экзаменѣ, Володя сказалъ:

— Я проспалъ, maman... Но вы не безпокойтесь, я представлю медицинское свидѣтельство.

М-me Шумихина и Нюта проснулись въ первомъ часу. Володя слышалъ, какъ проснувшаяся m-me Шумихина со звономъ открыла у себя окно, какъ на ея грубый голосъ отвѣтила Нюта раскатистымъ смѣхомъ. Онъ видѣлъ, какъ отворилась дверь и изъ гостиной потянулась къ завтраку вереница племянницъ и приживалокъ (въ толпѣ послѣднихъ была и maman), какъ замелькало умытое, смѣющееся лицо Нюты, а рядомъ съ ея лицомъ черныя брови и борода только-что пріѣхавшаго архитектора.

Нюта была въ малороссійскомъ костюмѣ, который совсѣмъ не шелъ къ ней и дѣлалъ ее неуклюжею; архитекторъ острилъ пошло и плоско; въ котлетахъ, что подавали за завтракомъ, было очень много луку—такъ казалось Володѣ. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала въ его сторону, чтобы этимъ дать понять ему, что воспоминаніе о ночи нисколько не безпокоитъ ея и что она не замѣчаетъ присутствія за столомъ гадкаго утенка.

Въ четвертомъ часу Володя ѣхалъ съ maman на станцію. Грязныя воспоминанія, безсонная ночь, предстоящее исключеніе изъ гимназіи, угрызенія совѣсти—все это возбуждало въ немъ теперь тяжелую, мрачную злобу. Онъ глядѣлъ на тощій профиль maman, на ея маленькій носикъ, на ватерпруфъ, подаренный ей Нютою, и бормоталъ:

— Зачѣмъ вы пудритесь? Это не пристало въ ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табакъ... противно! Я васъ не люблю... не люблю!

Онъ оскорблялъ ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала въ ужасѣ:

— Что ты, другъ мой? Боже мой, кучеръ услышитъ! Замолчи, а то кучеръ услышитъ! Ему все слышно!

— Не люблю... не люблю!—продолжалъ онъ, задыхаясь.— Вы безнравственная, бездушная... Не смѣйте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его въ клочки...

— Опомнись, дитя мое! — заплакала maman. — Кучеръ услышитъ!

— А гдѣ состояніе моего отца? Гдѣ ваши деньги? Вы все промотали! Мнѣ не стыдно своей бѣдности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашиваютъ о васъ, я всегда краснѣю.

На поѣздѣ пришлось ѣхать до города двѣ станціи. Все время Володя стоялъ на площадкѣ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Ему не хотѣлось входить въ вагонъ, такъ какъ тамъ сидѣла мать, которую онъ ненавидѣлъ. Ненавидѣлъ онъ самого себя, кондукторовъ, дымъ отъ паровоза, холодъ, которому приписывалъ свою дрожь... И чѣмъ тяжелѣе становилось у него на душѣ, тѣмъ сильнѣе онъ чувствовалъ, что гдѣ-то на этомъ свѣтѣ, у какихъ-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласкъ, веселья, раздолья... Онъ чувствовалъ это и тосковалъ такъ сильно, что даже одинъ пассажиръ, пристально поглядѣвъ ему въ лицо, спросилъ:

— Вѣроятно, у васъ зубы болятъ?

Въ городѣ maman и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и отъ себя сдавала ее жильцамъ. Maman нанимала двѣ комнаты: въ одной съ окнами, гдѣ стояла ея кровать и висѣли на стѣнахъ двѣ картины въ золотыхъ рамахъ, жила она сама, а въ другой, смежной, маленькой и темной, жилъ Володя. Тутъ стоялъ диванъ, на которомъ онъ спалъ, и кромѣ этого дивана не было никакой другой мебели: вся комната была занята плетеными корзинами съ платьемъ, картонками отъ шляпъ и всякимъ хламомъ, который для чего-то берегла maman. Уроки приготовлялъ Володя въ комнатѣ матери или въ «общей»—такъ называлась большая комната, куда всѣ жильцы сходились во время обѣда и по вечерамъ.

Вернувшись домой, онъ легъ на диванъ и укрылся одѣяломъ, чтобы унять дрожь. Картонки отъ шляпъ, плетенки и хламъ напомнили ему, что у него нѣтъ своей комнаты, нѣтъ пріюта, гдѣ бы онъ могъ спрятаться отъ maman, отъ ея гостей и отъ голосовъ, которые доносились теперь изъ «общей»; ранецъ и книги, разбросанныя по угламъ, напомнили ему объ экзаменѣ, на которомъ онъ не былъ... Почему-то совсѣмъ некстати пришла ему на память Ментона, гдѣ онъ жилъ со своимъ покойнымъ отцомъ, когда былъ семи лѣтъ; припомнились ему Біаррицъ и двѣ дѣвочки-англичанки, съ которыми онъ бѣгалъ по песку... Захотѣлось возобновить въ памяти цвѣтъ неба и океана, высоту волнъ и свое тогдашнее настроеніе, но это не удалось ему, дѣвочки-англичанки промелькнули въ воображеніи, какъ живыя, все же остальное смѣшалось, безпорядочно расплылось...

«Нѣтъ, здѣсь холодно»,—подумалъ Володя, всталъ, надѣлъ шинель и пошелъ въ «общую».

Въ «общей» пили чай. За самоваромъ сидѣли трое: maman, учительница музыки, старушка въ черепаховомъ pince-nez и Августинъ Михайловичъ, пожилой, очень толстый французъ, служившій на парфюмерной фабрикѣ.

— Я сегодня не обѣдала,—говорила maman.—Надо бы горничную послать за хлѣбомъ.

— Дуняшъ!—крикнулъ французъ.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

— О, это ничего не означаетъ,—сказалъ французъ, широко улыбаясь.—Я сейчасъ самъ схожу за хлѣбомъ. О, это ничего!

Онъ положилъ свою крѣпкую, вонючую сигару на видное мѣсто, надѣлъ шляпу и вышелъ. По уходѣ его, maman стала разсказывать учительницѣ музыкѣ о томъ, какъ она гостила у Шумихиныхъ и какъ хорошо ее тамъ принимали.

— Вѣдь Лили Шумихина моя родственница...—говорила она.—Ея покойный мужъ, генералъ Шумихинъ, приходится кузеномъ моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольбъ...

— Maman, это неправда!—сказалъ раздраженно Володя.—Зачѣмъ лгать?

Онъ зналъ отлично, что maman говоритъ правду; въ ея разсказѣ о генералѣ Шумихинѣ и урожденной баронессѣ Кольбъ не было ни одного слова лжи, но тѣмъ не менѣе, все-таки онъ чувствовалъ, что она лжетъ. Ложь чувствовалась въ ея манерѣ говорить, въ выраженіи лица, во взглядѣ, во всемъ.

— Вы лжете! — повторилъ Володя и ударилъ кулакомъ по столу съ такой силой, что задрожала вся посуда и у maman расплескался чай.—Для чего вы разсказываете про генераловъ и баронессъ? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закапляла въ платокъ, дѣлая видъ, что она поперхнулась, а maman заплакала.

«Куда уйти?»—подумалъ Володя.

На улицѣ онъ ужъ былъ; къ товарищамъ идти стыдно. Опять некстати припомнились ему двѣ дѣвочки-англичанки... Онъ прошелся изъ угла въ уголъ по «общей» и вошелъ въ

комнату Августина Михайлыча. Тутъ сильно пахло эфирными маслами и глицериновымъ мыломъ. На столѣ, на окнахъ и даже на стульяхъ стояло множество флаконовъ, стаканчиковъ и рюмокъ съ разноцвѣтными жидкостями. Володя взялъ со стола газету, развернулъ ее и прочелъ заглавіе: «Figaro»... Газета издавала какой-то сильный и пріятный запахъ. Потомъ онъ взялъ со стола револьверъ...

— Полноте, не обращайте вниманія! — утѣшала въ сосѣдней комнатѣ учительница музыки maman. — Онъ еще такъ молодъ! Въ его годы молодые люди всегда позволяютъ себѣ лишнее. Съ этимъ надо мириться.

— Нѣтъ, Евгенія Андреевна, онъ слишкомъ испорченъ! — говорила maman параспѣвъ. — Надъ нимъ нѣтъ старшаго, а я слаба и ничего не могу сдѣлать. Нѣтъ, я несчастна!

Володя вложилъ дуло револьвера въ ротъ, нащупалъ что-то похожее на курокъ или собачку и надавилъ пальцемъ... Потомъ нащупалъ еще какой-то выступъ и еще разъ надавилъ. Вынувъ дуло изо рта, онъ вытеръ его о полу шинели, оглядѣлъ замокъ; раньше онъ никогда въ жизни не бралъ въ руки оружія...

— Кажется, это надо поднять...—соображалъ онъ.—Да, кажется...

Въ «общую» вошелъ Августинъ Михайлычъ и, хохоча, сталъ разсказывать о чемъ-то. Володя опять вложилъ дуло въ ротъ, сжалъ его зубами и надавилъ что-то пальцемъ. Раздался выстрѣлъ... Что-то съ страшною силою ударило Володю по затылку, и онъ упалъ на столъ, лицомъ прямо въ рюмки и во флаконы. Затѣмъ онъ увидѣлъ, какъ его покойный отецъ въ цилиндрѣ съ широкой, черной лентой, носившій въ Ментонѣ трауръ по какой-то дамѣ, вдругъ охватилъ его обѣими руками, и оба они полетѣли въ какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потомъ все смѣшалось и исчезло...

КНЯГИНЯ.

Въ большія, такъ-называемыя «Красныя» ворота N—скаго мужского монастыря въѣхала коляска, заложенная въ четверку сытыхъ, красивыхъ лошадей; іеромонахи и послушники, стоявшіе толпой около дворянской половины гостинаго корпуса, еще издали по кучеру и по лошадямъ узнали въ дамѣ, которая сидѣла въ колескѣ, свою хорошую знакомую, княгиню Вѣру Гавриловну.

Старикъ въ ливреѣ прыгнулъ съ козелъ и помогъ княгинѣ выйти изъ экипажа. Она подняла темную вуаль и не спѣша подошла ко всѣмъ іеромонахамъ подъ благословеніе, потомъ ласково кивнула послушникамъ и направилась въ покои.

— Что, соскучились безъ своей княгини?—говорила она монахамъ, вносившимъ ея вещи.—Я у васъ цѣлый мѣсяцъ не была. Ну, вотъ пріѣхала, глядите на свою княгиню. А гдѣ отецъ архимандритъ? Боже мой, я сгораю отъ нетерпѣнія! Чудный, чудный старикъ! Вы должны гордиться, что у васъ такой архимандритъ.

Когда вошелъ архимандритъ, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла къ нему подъ благословеніе.

— Нѣтъ, нѣтъ! Дайте мнѣ поцѣловать! — сказала она, хватая его за руку и жадно цѣлуя ее три раза.—Какъ я рада, святой отецъ, что наконецъ вижу васъ! Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила въ вашемъ миломъ монастырѣ. Какъ у васъ здѣсь хорошо! Въ этой жизни для Бога, вдали отъ суетнаго міра, есть

какая-то особая прелесть, святой отецъ, которую я чувствую всей душой, но передать на словахъ не могу!

У княгини покраснѣли щеки и навернулись слезы. Говорила она безъ умолку, горячо, а архимандритъ, старикъ лѣтъ 70, серьезный, некрасивый и застѣнчивый, молчалъ, лишь изрѣдка говорилъ отрывисто и по-военному:

— Такъ точно, ваше сіятельство... слушаю-съ... понимаю-съ...

— Надолго изволили пожаловать къ намъ?—спросилъ онъ.

— Сегодня я переночую у васъ, а завтра поѣду къ Клавдіи Николаевнѣ—давно ужъ мы съ ней не видались, а послѣзавтра опять къ вамъ и проживу дня три-четыре. Хочу у васъ здѣсь отдохнуть душой, святой отецъ...

Княгиня любила бывать въ N—скомъ монастырѣ. Въ послѣдніе два года она облюбовала это мѣсто и пріѣзжала сюда почти каждый лѣтній мѣсяцъ и жила дня по два, по три, а иногда и по недѣлѣ. Робкіе послушники, тишина, низкіе потолки, запахъ кипариса, скромная закуска, дешевыя занавѣски на окнахъ — все это трогало ее, умиляло и располагало къ созерцанію и хорошимъ мыслямъ. Достаточно ей было побыть въ покояхъ полчаса, какъ ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и отъ нея пахнетъ кипарисомъ; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цѣну, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои 29 лѣтъ, она очень похожа на стараго архимандрита и такъ же, какъ онъ, рождена не для богатства, не для земного величія и любви, а для жизни тихой, скрытой отъ міра, сумеречной, какъ покои...

Бываетъ такъ, что въ темную келію постника, погруженнаго въ молитву, вдругъ нечаянно заглянетъ лучъ, или сядетъ у окна келіи птичка и запоетъ свою пѣсню; суровый постникъ невольно улыбнется, и въ его груди изъ-подъ тяжелой скорби о грѣхахъ, какъ изъ-подъ камня, вдругъ польется ручьемъ тихая, безгрѣшная радость. Княгинѣ казалось, что она приносила съ собою извнѣ точно такое же утѣшеніе, какъ лучъ или птичка. Ея привѣтливая, веселая улыбка, кроткій взглядъ, голосъ, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одѣтая въ простое черное платье, своимъ появленіемъ должна была возбуждать въ простыхъ, суровыхъ людяхъ чувство умиле-

нія и радости. Каждый, глядя на нее, долженъ былъ думать: «Богъ послалъ намъ ангела»... И чувствуя, что каждый невольно думаетъ это, она улыбалась еще привѣтливѣе и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнувъ, она вышла погулять. Солнце уже сѣло. Отъ монастырскаго цвѣтника повѣяло на княгиню душистой влагой только-что политой резеды, изъ церкви донеслось тихое пѣніе мужскихъ голосовъ, которое издали казалось очень пріятнымъ и грустнымъ. Шла всенощная. Въ темныхъ окнахъ, гдѣ кротко мерцали лампадные огоньки, въ тѣняхъ, въ фигурѣ старика монаха, сидѣвшаго на паперти около образа съ кружкой, было написано столько безмятежнаго покоя, что княгинѣ почему-то захотѣлось плакать...

А за воротами, на аллеѣ между стѣной и березами, гдѣ стоятъ скамьи, былъ уже совсѣмъ вечеръ. Воздухъ темнѣлъ быстро, быстро... Княгиня прошлась по аллеѣ, сѣла на скамью и задумалась.

Она думала о томъ, что хорошо бы поселиться на всю жизнь въ этомъ монастырѣ, гдѣ жизнь тиха и безмятежна, какъ лѣтній вечеръ; хорошо бы позабыть совсѣмъ о неблагодарномъ, распутномъ князѣ, о своемъ громадномъ состояніи, о кредиторахъ, которые безпокоятъ ее каждый день, о своихъ несчастьяхъ, о горничной Дашѣ, у которой сегодня утромъ было дерзкое выраженіе лица. Хорошо бы всю жизнь сидѣть здѣсь на скамьѣ и сквозь стволы березъ смотрѣть, какъ внизу подъ горой клочьями бродитъ вечерній туманъ, какъ далеко-далеко надъ лѣсомъ чернымъ облакомъ, похожимъ на вуаль, летятъ на ночлегъ грачи, какъ два послушника — одинъ верхомъ на пѣгой лошади, другой пѣшкомъ — гонятъ лошадей на ночное и, обрадовавшись свободѣ, шалятъ, какъ малыя дѣти; ихъ молодые голоса звонко раздаются въ неподвижномъ воздухѣ, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидѣть и прислушиваться къ тишинѣ: то вѣтеръ подуетъ и тронетъ верхушки березъ, то лягушка зашелеститъ въ прошлогодней листвѣ, то за стѣною колокольные часы пробьютъ четверть... Сидѣть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха съ котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-

нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за уголъ.

Немного погодя, на аллеѣ показался высокій мужчина, съ сѣдой бородой и въ соломенной шляпѣ. Поровнявшись съ княгиней, онъ снялъ шляпу и поклонился, и по его большой лысинѣ и острому, горбатому носу княгиня узнала въ немъ доктора Михаила Ивановича, который, лѣтъ пять тому назадъ, служилъ у нея въ Дубовкахъ. Она вспомнила, что кто-то ей говорилъ, что въ прошломъ году у этого доктора умерла жена, и ей захотѣлось посочувствовать ему, утѣшить.

— Докторъ, вы, вѣроятно, меня не узнаете? — спросила она, привѣтливо улыбаясь.

— Нѣтъ, княгиня, узналъ, — сказалъ докторъ, снимая еще разъ шляпу.

— Ну, спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнятъ только своихъ враговъ, а друзей забываютъ. И вы пріѣхали помолиться?

— Я здѣсь каждую субботу ночую, по обязанности. Я тутъ лѣчу.

— Ну, какъ поживаете?—спросила княгиня, вздыхая.— Я слышала, у васъ скончалась супруга! Какое несчастье!

— Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

— Что дѣлать! Мы должны съ покорностью переносить несчастья. Безъ воли Провидѣнія ни одинъ волосъ не падаетъ съ головы человѣка.

— Да, княгиня.

На привѣтливую, кроткую улыбку княгини и ея вздохи докторъ отвѣчалъ холодно и сухо: «Да, княгиня». И выраженіе лица у него было холодное, сухое.

«Что бы еще такое сказать ему?»—подумала княгиня.

— Сколько времени мы съ вами не видѣлись, однако! — сказала она. — Пять лѣтъ! За это время сколько воды въ море утекло, сколько произошло перемѣнъ, даже подумать страшно! Вы знаете, я замужъ вышла... изъ графини стала княгиней. И уже успѣла разойтись съ мужемъ.

— Да, я слышалъ.

— Много Богъ послалъ мнѣ испытаній! Вы, вѣроятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастнаго мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михаль-

цево. Страшно оглянуться назадъ: сколько перемѣнъ, несчастій разныхъ, сколько ошибокъ!

— Да, княгиня, много ошибокъ.

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; всѣ онѣ были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о нихъ. Она не удержалась и спросила:

— Вы про какія ошибки думаете?

— Вы упомянули о нихъ, стало-быть, знаете... — отвѣтилъ докторъ и усмѣхнулся.—Что жъ о нихъ говорить!

— Нѣтъ, скажите, докторъ. Я буду вамъ очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

— Я вамъ не судья, княгиня.

— Не судья? Какимъ вы тономъ говорите! Значитъ, знаете что-то. Скажите!

— Если желаете, то извольте. Только, къ сожалѣнію, я не умѣю говорить и меня не всегда можно понять.

Докторъ подумалъ и началъ:

— Ошибокъ много, но собственно главная изъ нихъ, по моему мнѣнію, это общій духъ, которымъ... который царилъ во всѣхъ вашихъ имѣніяхъ. Видите, я не умѣю выражаться. То-есть главное — это нелюбовь, отвращеніе къ людямъ, какое чувствовалось положительно во всемъ. На этомъ отвращеніи у васъ была построена вся система жизни. Отвращеніе къ человѣческому голосу, къ лицамъ, къ затылкамъ, шагамъ... однимъ словомъ, ко всему, что составляетъ человѣка. У всѣхъ дверей и на лѣстницахъ стоятъ сытые, грубые и лѣнивые гайдуки въ ливреяхъ, чтобъ не пускать въ домъ неприлично одѣтыхъ людей; въ передней стоятъ стулья съ высокими спинками, чтобъ во время баловъ и пріемовъ лакеи не пачкали затылками обоевъ на стѣнахъ; во всѣхъ комнатахъ шаршавые ковры, чтобъ не было слышно человѣческихъ шаговъ; каждаго входящаго обязательно предупреждаютъ, чтобы онъ говорилъ потише и поменьше и чтобъ не говорилъ того, что можетъ дурно повліять на воображеніе и нервы. А въ вашемъ кабинетѣ не подаютъ человѣку руки и не просятъ его садиться, точно такъ, какъ сейчасъ вы не подали мнѣ руки и не пригласили сѣсть...

— Извольте, если хотите! — сказала княгиня, протяги-

вая руку и улыбаясь. — Право, сердиться изъ-за такого пустяка...

— Да развѣ я сержусь? — засмѣялся докторъ, но тотчасъ же вспыхнулъ, снялъ шляпу и, размахивая ею, заговорилъ горячо:—откровенно говоря, я давно уже ждалъ случая, чтобъ сказать вамъ все, все... То-есть я хочу сказать, что вы глядите на всѣхъ людей по-наполеоновски, какъ на мясо для пушекъ. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у васъ, кромѣ отвращенія, ничего!

— У меня отвращеніе къ людямъ!—улыбалась княгиня, пожимая въ изумленіи плечами.—У меня!

— Да, у васъ! Вамъ нужно фактовъ? Извольте! Въ Михальцевѣ у васъ живутъ милостыней три бывшихъ вашихъ повара, которые ослѣпли въ вашихъ кухняхъ отъ печного жара. Все, что есть на десяткахъ тысячъ вашихъ десятинъ здороваго, сильнаго и красиваго, все взято вами и вашими прихлебателями въ гайдуки, лакеи, въ кучера. Все это двуногое живье воспиталось въ лакействѣ, объѣлось, огрубѣло, потеряло образъ и подобіе, однимъ словомъ... Молодыхъ медиковъ, агрономовъ, учителей, вообще интеллигентныхъ работниковъ, Боже мой, отрываютъ отъ дѣла, отъ честнаго труда и заставляютъ изъ-за куска хлѣба участвовать въ разныхъ кукольныхъ комедіяхъ, отъ которыхъ стыдно дѣлается всякому порядочному человѣку! Иной молодой человѣкъ не прослужитъ и трехъ лѣтъ, какъ становится лицемѣромъ, подлипалой, ябедникомъ... Хорошо это? Ваши управляющіе-поляки, эти подлые шпіоны, всѣ эти Казиміры и Каэтаны рыщутъ отъ утра до ночи по десяткамъ тысячъ десятинъ и въ угоду вамъ стараются содрать съ одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь безъ системы, но это ничего! Простой народъ у васъ не считаютъ людьми. Да и тѣхъ князей, графовъ и архіереевъ, которые пріѣзжали къ вамъ, вы признавали только какъ декорацію, а не какъ живыхъ людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущаетъ, — имѣть больше милліона состоянія и ничего не сдѣлать для людей, ничего!

Княгиня сидѣла удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и какъ держать себя. Никогда раньше съ нею не говорили такимъ тономъ. Непріятный, сердитый голосъ доктора и его неуклюжая, заикающаяся рѣчь производили въ ея ушахъ и головѣ рѣзкій, стучащій шумъ,

потомъ же ей стало казаться, что жестикулирующій докторъ бьетъ ее своею шляпой по головѣ.

— Неправда!—выговорила она тихо и умоляющимъ голосомъ. — Для людей я много хорошаго сдѣлала, это вы сами знаете!

— Да полноте! — крикнулъ докторъ. — Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную дѣятельность чѣмъ-то серьезнымъ и полезнымъ, а не кукольной комедіей? Вѣдь то была комедія отъ начала до конца, то была игра въ любовь къ ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дѣти и глупыя бабы! Взять хоть этотъ вашъ — какъ его? — страннопріимный домъ для безродныхъ старухъ, въ которомъ меня вы заставили быть чѣмъ-то въ родѣ главнаго доктора, а сами были почетной опекуншей. О, Господи Боже нашъ, что за учрежденіе милое! Построили домъ съ паркетными полами и съ флюгеромъ на крышѣ, собрали въ деревняхъ съ десятокъ старухъ и заставили ихъ спать подъ байковыми одѣялами, на простыняхъ изъ голландскаго полотна и кушать леденцы.

Докторъ злорадно прыснулъ въ шляпу и продолжалъ быстро и заикаясь:

— Была игра! Низшіе пріютскіе чины прячутъ одѣяла и простыни подъ замокъ, чтобы старухи не пачкали — пусть спятъ, чортовы перечницы, на полу! Старуха не смѣетъ ни на кровать сѣсть, ни кофту надѣть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось отъ старухъ, какъ отъ воровъ, а старухи потихоньку кормились и одѣвались Христа ради, и денно, и нощно молили Бога, чтобъ поскорѣе уйти изъ-подъ ареста и отъ душеспасительныхъ назиданій сытыхъ подлецовъ, которымъ вы поручили надзоръ за старухами. А высшіе чины что дѣлали? Это просто восхитительно! Этакъ, раза два въ недѣлю, вечеромъ, скачутъ тридцать пять тысячъ курьеровъ и объявляютъ, что завтра княгиня, то-есть вы, будете въ пріютѣ. Это значитъ, что завтра нужно бросать больныхъ, одѣваться и ѣхать на парадъ. Хорошо, пріѣзжаю. Старухи во всемъ чистомъ и новомъ уже выстроены въ рядъ и ждутъ. Около нихъ ходитъ отставная гарнизонная крыса — смотритель, со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи зѣваютъ и переглядываются, но роптать боятся. Ждемъ. Скачетъ младшій управляющій.

Черезъ полчаса послѣ него старшій управляющій, потомъ главноуправляющій конторой экономіи, потомъ еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачутъ безъ конца! У всѣхъ таинственныя, торжественныя лица. Ждемъ, ждемъ, переминаемся съ ноги на ногу, посматриваемъ на часы—все это въ гробовомъ молчаніи, потому что всѣ мы ненавидимъ другъ друга и на ножахъ. Проходитъ часъ, другой, и вотъ, наконецъ, показывается вдали коляска и... и...

Докторъ залился тонкимъ смѣхомъ и выговорилъ тоненькимъ голоскомъ:

— Вы выходите изъ коляски, и старыя вѣдьмы по командѣ гарнизонной крысы начинаютъ пѣть:—«Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ, не можетъ изъяснить языкъ»... Недурно?

Докторъ захохоталъ басомъ и махнулъ рукой, какъ бы желая показать, что отъ смѣха онъ не можетъ выговорить ни одного слова. Смѣялся онъ тяжело, рѣзко, съ крѣпко стиснутыми зубами, какъ смѣются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящимъ, немножко наглымъ глазамъ можно было понять, что онъ глубоко презиралъ и княгиню, и пріютъ, и старухъ. Во всемъ, что онъ такъ неумѣло и грубо разсказалъ, не было ничего смѣшного и веселаго, но хохоталъ онъ съ удовольствіемъ и даже съ радостью.

— А школа?—продолжалъ онъ, тяжело дыша отъ смѣха.—Помните, какъ вы пожелали сами учить мужицкихъ дѣтей? Должно-быть, очень хорошо учили, потому что скоро всѣ мальчишки разбѣжались, такъ что потомъ пришлось пороть ихъ и нанимать за деньги, чтобъ они ходили къ вамъ. А помните, какъ вы пожелали собственноручно кормить соской грудныхъ младенцевъ, матери которыхъ работаютъ въ полѣ? Вы ходили по деревнѣ и плакали, что младенцевъ этихъ нѣтъ къ вашимъ услугамъ—всѣ матери брали ихъ съ собой въ поле. Потомъ староста приказалъ матерямъ по-очереди оставлять своихъ младенцевъ вамъ на потѣху. Удивительное дѣло! Всѣ бѣжали отъ вашихъ благодѣяній, какъ мыши отъ кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народъ у насъ невѣжественный и неблагодарный, какъ вы объясняли всегда, а оттого, что во всѣхъ вашихъ затѣяхъ, извините меня за выраженіе, не было ни на одинъ грошъ любви и милосердія! Было одно только желаніе забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умѣетъ отличать людей отъ болонокъ, тотъ не долженъ заниматься бла-

готвореніемъ. Увѣряю васъ, между людьми и болонками— большая разница!

У княгини страшно билось сердце, въ ушахъ у нея стучало и все еще ей казалось, что докторъ долбитъ ее своей шляпой по головѣ. Докторъ говорилъ быстро, горячо и некрасиво, съ заиканьемъ и съ излишней жестикуляціей; для нея было только понятно, что съ нею говоритъ грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человѣкъ, но чего онъ хочетъ отъ нея и о чемъ говоритъ—она не понимала.

— Уйдите!—сказала она плачущимъ голосомъ, поднимая вверхъ руки, чтобы заслонить свою голову отъ докторской шляпы.—Уйдите!

— А какъ вы обращаетесь со своими служащими!—продолжалъ возмущаться докторъ.—Вы ихъ за людей не считаете и третируете, какъ послѣднихъ мошенниковъ. Напримѣръ, позвольте васъ спросить, за что вы меня уволили? Служилъ десять лѣтъ вашему отцу, потомъ вамъ честно, не зная ни праздниковъ, ни отпусковъ, заслужилъ любовь всѣхъ на сто верстъ кругомъ, и вдругъ въ одинъ прекрасный день мнѣ объявляютъ, что я уже не служу! За что? До сихъ поръ не понимаю! Я докторъ медицины, дворянинъ, студентъ московскаго университета, отецъ семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать въ шею безъ объясненія причинъ! Зачѣмъ со мной церемониться? Я слышалъ потомъ, что жена, безъ моего вѣдома, тайкомъ ходила къ вамъ раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорятъ, плакала въ передней. И я этого никогда не прощу ей, покойницѣ! Никогда!

Докторъ замолчалъ и стиснулъ зубы, напряженно придумывая, что бы еще такое сказать очень непріятное, мстительное. Онъ что-то вспомнилъ, и нахмуренное, холодное лицо его вдругъ просіяло.

— Взять хоть бы ваши отношенія къ этому монастырю!—заговорилъ онъ съ жадностью.—Вы никогда никого не щадили и, чѣмъ святѣе мѣсто, тѣмъ больше шансовъ, что ему достанется на орѣхи отъ вашего милосердія и ангельской кротости. Зачѣмъ вы ѣздите сюда? Что вамъ здѣсь у монаховъ нужно, позвольте васъ спросить? Что вамъ Гекуба, и что вы Гекубѣ? Опять-таки забава, игра, кощунство надъ человѣческою личностью и больше ничего. Вѣдь въ монашескаго Бога вы не вѣруете, у васъ въ сердцѣ свой соб-

ственный Богъ, до котораго вы дошли своимъ умомъ на спиритическихъ сеансахъ; на обряды церковные вы смотрите снисходительно, къ обѣднѣ и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачѣмъ же вы сюда ѣздите?.. Въ чужой монастырь вы ходите со своимъ Богомъ и воображаете, что монастырь считаетъ это за превеликую честь для себя! Какъ бы не такъ! Вы спросите-ка, между прочимъ, во что обходятся монахамъ ваши визиты? Вы изволили пріѣхать сюда сегодня вечеромъ, а третьяго дня ужъ тутъ былъ верховой, посланный изъ экономіи предупредить, что вы сюда собираетесь. Цѣлый день вчера приготовляли для васъ покои и ждали. Сегодня прибылъ авангардъ—наглая горничная, которая то и дѣло бѣгаетъ черезъ дворъ, шуршитъ, пристаетъ съ вопросами, распоряжается... терпѣть не могу! Сегодня монахи весь день были насторожѣ: вѣдь если васъ не встрѣтить съ церемоніей—бѣда! Архіерею пожалуетесь! «Меня, ваше преосвященство, монахи не любятъ. Не знаю, чѣмъ я ихъ прогнѣвала. Правда, я великая грѣшница, но вѣдь я такъ несчастна!» Ужъ одному монастырю была изъ-за васъ нахлобучка. Архимандритъ занятой, ученый человѣкъ, у него и минуты нѣтъ свободной, а вы то и дѣло требуете его къ себѣ въ покои. Никакого уваженія ни къ старости, ни къ сану. Добро бы жертвовали много, не такъ бы ужъ обидно было, а то вѣдь за все время монахи отъ васъ и ста рублей не получили!

Когда княгиню безпокоили, не понимали, обижали, и когда она не знала, что ей говорить и дѣлать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь въ концѣ концовъ она закрыла лицо и заплакала тонкимъ, дѣтскимъ голоскомъ. Докторъ вдругъ замолчалъ и посмотрѣлъ на нее. Лицо его потемнѣло и стало суровымъ.

— Простите меня, княгиня,—сказалъ онъ глухо.—Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянувъ, забывая надѣть шляпу, онъ быстро отошелъ отъ княгини.

На небѣ уже мерцали звѣзды. Должно-быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нѣжно. Вдоль бѣлой монастырской стѣны безшумно носились летучія мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно-быть, девятаго. Княгиня поднялась и тихо пошла къ воротамъ. Она чувствовала себя обиженной и плакала,

и ей казалось, что и деревья, и звѣзды, и летучія мыши жалѣютъ ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о томъ, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти въ монастырь: въ тихіе лѣтніе вечера она гуляла бы одиноко по аллеямъ, обиженная, оскорбленная, непонятая людьми, и только бы одинъ Богъ да звѣздное небо видѣли слезы страдалицы. Въ церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась къ пѣнію; какъ хорошо это пѣніе звучало въ неподвижномъ, темномъ воздухѣ! Какъ сладко подъ это пѣніе плакать и страдать!

Придя къ себѣ въ покои, она поглядѣла въ зеркало на свое заплаканное лицо и попудрилась, потомъ сѣла ужинать. Монахи знали, что она любитъ маринованную стерлядь, мелкіе грибки, малагу и простые медовые пряники, отъ которыхъ во рту пахнетъ кипарисомъ, и каждый разъ, когда она пріѣзжала, подавали ей все это. Кушая грибки и запивая ихъ малагой, княгиня мечтала о томъ, какъ ее окончательно разорятъ и покинутъ, какъ всѣ ея управляющіе, приказчики, конторщики и горничныя, для которыхъ она такъ много сдѣлала, измѣнятъ ей и начнутъ говорить грубости, какъ всѣ люди, сколько ихъ есть на землѣ, будутъ нападать на нее, злословить, смѣяться; она откажется отъ своего княжескаго титула, отъ роскоши и общества, уйдетъ въ монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будетъ молиться за враговъ своихъ, и тогда всѣ вдругъ поймутъ ее, придутъ къ ней просить прощенія, но ужъ будетъ поздно...

А послѣ ужина она опустилась въ углу передъ образомъ на колѣни и прочла двѣ главы изъ Евангелія. Потомъ горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь подъ бѣлымъ покрываломъ, она сладко и глубоко вздохнула, какъ вздыхаютъ послѣ плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утромъ она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятаго. На коврѣ около кровати тянулась узкая, яркая полоса свѣта отъ луча, который шелъ изъ окна и чуть-чуть освѣщалъ комнату. За черной занавѣской на окнѣ шумѣли мухи.

«Рано!»—подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нѣжась въ постели, она вспомнила вчерашнюю встрѣчу съ докторомъ и всѣ тѣ мысли, съ какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потомъ пришли

ей на память ея мужъ, живущій въ Петербургѣ, управляющіе, доктора, сосѣди, знакомые чиновники... Длинный рядъ знакомыхъ мужскихъ лицъ пронесся въ ея воображеніи. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумѣли проникнуть въ ея душу и понять ее, то всѣ они были бы у ея ногъ...

Въ четверть двѣнадцатаго она позвала горничную.

— Давайте, Даша, одѣваться, — сказала она томно. — Впрочемъ, сначала подите скажите, чтобы запрягали лошадей. Надо къ Клавдіи Николаевнѣ ѣхать.

Выйдя изъ покоевъ, чтобы садиться въ экипажъ, она зажмурилась отъ яркаго дневного свѣта и засмѣялась отъ удовольствія: день былъ удивительно хорошъ! Оглядывая прищуренными глазами монаховъ, которые собрались у крыльца проводить ее, она привѣтливо закивала головой и сказала:

— Прощайте, мои друзья! До послѣзавтра.

Ее пріятно удивило, что вмѣстѣ съ монахами у крыльца находился и докторъ. Лицо его было блѣдно и сурово.

— Княгиня,—сказалъ онъ, снимая шляпу и виновато улыбаясь:—я уже давно жду васъ тутъ. Простите Бога ради... Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорилъ вамъ... глупостей. Однимъ словомъ, я прошу прощенія.

Княгиня привѣтливо улыбнулась и протянула къ его губамъ руку. Онъ поцѣловалъ и покраснѣлъ.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула въ экипажъ и закивала головой во всѣ стороны. На душѣ у нея было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ея улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипажъ покатилъ къ воротамъ, потомъ по пыльной дорогѣ мимо избъ и садовъ, мимо длинныхъ чумацкихъ обозовъ и богомольцевъ, шедшихъ вереницами въ монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о томъ, что нѣтъ выше наслажденія, какъ всюду вносить съ собою теплоту, свѣтъ и радость, прощать обиды и привѣтливо улыбаться врагамъ. Встрѣчные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, изъ-подъ колесъ валили облака пыли, уносимыя вѣтромъ на золотистую рожь, и княгинѣ казалось, что ея тѣло качается не на подушкахъ коляски, а на облакахъ, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

— Какъ я счастлива!—шептала она, закрывая глаза.— Какъ я счастлива!

БѢДА.

Директора городского банка Петра Семеныча, бухгалтера, его помощника и двухъ членовъ отправили ночью въ тюрьму. На другой день послѣ переполоха купецъ Авдѣевъ, членъ ревизіонной комиссіи банка, сидѣлъ съ пріятелями у себя въ лавкѣ и говорилъ:

— Такъ, значитъ, Богу угодно. Отъ судьбы не уйдешь. Сейчасъ вотъ мы икрой закусываемъ, а завтра, гляди — тюрьма, сума, а то и смертъ. Всякое бываетъ. Теперь взять къ примѣру хоть Петра Семеныча...

Онъ говорилъ и жмурилъ свои пьяные глазки, а пріятели выпивали, закусывали икрой и слушали. Описавъ позоръ и безпомощность Петра Семеныча, который еще вчера былъ силенъ и всѣми уважаемъ, Авдѣевъ продолжалъ со вздохомъ:

— Отзываются кошкѣ мышкины слезки. Такъ имъ, мошенникамъ, и надо! Умѣли, курицыны дѣти, грабить, такъ пущай же теперь отвѣтъ дадутъ.

— Гляди, Иванъ Данилычъ, какъ бы и тебѣ не досталось!—замѣтилъ одинъ изъ пріятелей.

— А мнѣ за что?

— А за то. Тѣ грабили, а ревизіонная комиссія что глядѣла? Небось, вѣдь ты подписывалъ отчеты?

— Экось, легко ли дѣло!—усмѣхнулся Авдѣевъ.—Подписывалъ! Носили ко мнѣ въ лавку отчеты, ну и подписывалъ. Нешто я понимаю? Мнѣ что ни дай, я все подмахну. Напиши ты сейчасъ, что я человѣка зарѣзалъ, такъ я и

то подпишу. Не время мнѣ разбирать, да и не вижу безъ очковъ.

Потолковавъ о крахѣ банка и о судьбѣ Петра Семеныча, Авдѣевъ и его пріятели отправились на пирогъ къ знакомому, у котораго въ этотъ день была именинница жена. На именинахъ всѣ гости говорили только о крахѣ банка. Авдѣевъ горячился больше всѣхъ и увѣрялъ, что онъ давно уже предчувствовалъ этотъ крахъ и еще два года тому назадъ зналъ, что въ банкѣ не совсѣмъ чисто. Пока ѣли пирогъ, онъ описалъ съ десятокъ противозаконныхъ операцій, которыя ему были извѣстны.

— Если вы знали, то отчего же вы не донесли?—спросилъ его офицеръ, бывшій на именинахъ.

— Не я одинъ, весь городъ зналъ... — усмѣхнулся Авдѣевъ.—Да и нѣтъ времени по судамъ ходить. Ну ихъ!

Отдохнувъ послѣ пирога, онъ пообѣдалъ и еще разъ отдохнулъ, потомъ отправился ко всенощной въ свою церковь, гдѣ былъ старостой; послѣ всенощной опять пошелъ на именины и до самой полночи игралъ въ преферансъ. По-видимому, все обстояло благополучно.

Когда же послѣ полночи Авдѣевъ вернулся къ себѣ домой, кухарка, отворявшая ему дверь, была блѣдна и отъ дрожи не могла выговорить ни одного слова. Его жена, Елизавета Трофимовна, откормленная, сырая старуха, съ распущенными сѣдыми волосами, сидѣла въ залѣ на диванѣ, тряслась всѣмъ тѣломъ и, какъ пьяная, безсмысленно поводила глазами. Около нея со стаканомъ воды суетился тоже блѣдный и крайне взволнованный старшій сынъ ея, гимназистъ Василій.

— Что такое?—спросилъ Авдѣевъ и сердито покосился на печку. (Его семья часто угорала).

— Сейчасъ слѣдователь съ полиціей приходилъ...—отвѣтилъ Василій.— Обыскивали.

Авдѣевъ поглядѣлъ вокругъ себя. Шкапы, комоды, столы—все носило на себѣ слѣды недавняго обыска. Минуту Авдѣевъ простоялъ неподвижно, какъ въ столбнякѣ, ничего не понимая, потомъ всѣ внутренности его задрожали и отяжелѣли, лѣвая нога онѣмѣла, и онъ, не вынося дрожи, легъ ничкомъ на диванъ; ему слышно было, какъ переворачивались его внутренности и какъ непослушная лѣвая нога стучала по спинкѣ дивана.

Въ какія-нибудь двѣ-три минуты онъ припомнилъ все свое прошлое, но не нашелъ ни одной такой вины, которая заслуживала бы вниманія судебной власти...

— Все это одна чепуха...—сказалъ онъ, поднимаясь.— Это, должно-быть, меня оговорили. Надо будетъ завтра жалобу подать, чтобы они не смѣли это самое...

На другой день утромъ, послѣ безсонной ночи, Авдѣевъ, какъ всегда, отправился къ себѣ въ лавку. Покупатели принесли ему извѣстіе, что въ истекшую ночь прокуроръ отправилъ въ тюрьму еще товарища директора и письмоводителя банка. Это извѣстіе не обезпокоило Авдѣева. Онъ былъ увѣренъ, что его оговорили и что, если онъ сегодня подастъ жалобу, то слѣдователю достанется за вчерашній обыскъ.

Въ десятомъ часу онъ побѣжалъ въ управу къ секретарю, который былъ единственнымъ образованнымъ человѣкомъ во всей управѣ.

— Владиміръ Степанычъ, что же это за мода?—началъ онъ, наклоняясь къ уху секретаря. — Люди крали, а я-то тутъ при чемъ? Съ какой стати? Милый человѣкъ,—зашепталъ онъ:—ночью-то у меня обыскъ былъ! Ей-Богу... Осатанѣли они, что ли? За что меня трогать?

— А за то, что не нужно быть бараномъ,—покойно отвѣтилъ секретарь. — Прежде чѣмъ подписывать, надо было глядѣть...

— Что глядѣть? Да гляди я въ эти отчеты хоть тысячу лѣтъ, я ничего не пойму! Чорта лысаго я понимаю! Какой я булгахтеръ? Мнѣ носили, я и подписывалъ.

— Позвольте. Кромѣ того, вы, какъ и вся ваша комиссія, сильно скомпрометированы. Вы безъ всякаго обезпеченія взяли изъ банка 19 тысячъ.

— Господи твоя воля! — удивился Авдѣевъ. — Нешто я одинъ долженъ? Вѣдь весь городъ долженъ! Я плачу проценты и отдамъ долгъ. Господь съ тобой! А кромѣ того, ежели, скажемъ, разсуждать по совѣсти, нешто я самъ взялъ эти деньги? Мнѣ Петръ Семенычъ всучилъ. Возьми, говоритъ, и возьми. Ежели, говоритъ, не берешь, то, значитъ, намъ не довѣряешь и сторонишься. Ты, говоритъ, возьми и отцу мельницу построй. Я и взялъ.

— Ну, вотъ видите: такъ могутъ разсуждать только дѣти и бараны. Во всякомъ случаѣ, сеньоръ, вы напрасно вол-

пуетесь. Суда вамъ, конечно, не избѣжать, но навѣрное васъ оправдаютъ.

Равнодушіе и покойный тонъ секретаря подѣйствовали на Авдѣева успокаивающе. Вернувшись къ себѣ въ лавку и заставъ въ ней пріятелей, онъ опять выпивалъ, закусывалъ икрой и философствовалъ. Онъ ужъ почти забылъ объ обыскѣ и его безпокоило только одно обстоятельство, которое онъ не могъ не замѣтить: у него какъ-то странно нѣмѣла лѣвая нога и почему-то совсѣмъ не варилъ желудокъ.

Вечеромъ того же дня судьба сдѣлала по Авдѣевѣ еще одинъ оглушительный выстрѣлъ: на экстренномъ засѣданіи думы всѣ банковцы, въ томъ числѣ и Авдѣевъ, были исключены изъ числа гласныхъ, какъ находящіеся подъ судомъ и слѣдствіемъ. Утромъ онъ получилъ бумагу, въ которой его приглашали немедленно сдать должность церковнаго старосты.

Затѣмъ Авдѣевъ потерялъ счетъ въ выстрѣлахъ, которые дѣлала по немъ судьба, и для него быстро одинъ за другимъ замелькали странные, небывалые дни, и каждый день приносилъ съ собой какой-нибудь новый неожиданный сюрпризъ. Между прочимъ слѣдователь прислалъ ему повѣстку. Отъ слѣдователя вернулся онъ домой оскорбленный, красный.

— Присталъ, какъ съ ножомъ къ горлу: зачѣмъ подписывалъ? Подписывалъ, вотъ и все! Нешто я нарочно? Носили въ лавку, я и подписывалъ. Я и читать-то по писанному путемъ не умѣю.

Пришли какіе-то молодые люди съ равнодушными лицами, запечатали лавку и описали въ домѣ всю мебель. Подозрѣвая въ этомъ интригу и попрежнему не чувствуя за собой никакой вины, оскорбленный Авдѣевъ сталъ бѣгать по присутственнымъ мѣстамъ и жаловаться. По цѣлымъ часамъ ожидалъ онъ въ переднихъ, сочинялъ длинныя прошенія, плакалъ, бранился. Въ отвѣтъ на его жалобы прокуроръ и слѣдователь говорили ему равнодушно и резонно:

— Приходите, когда васъ позовутъ, а теперь намъ некогда.

А другіе отвѣчали:

— Это не наше дѣло.

Секретарь же, образованный человѣкъ, который, какъ

казалось Авдѣеву, могъ бы помочь ему, только пожималъ плечами и говорилъ:

— Вы сами виноваты. Не нужно быть бараномъ...

Старикъ хлопоталъ, а нога нѣмѣла попрежнему и желудокъ варилъ все хуже. Когда бездѣлье утомило его и наступила нужда, онъ рѣшилъ поѣхать къ отцу на мельницу, или къ брату, и заняться мучной торговлей, но его не пустили изъ города. Семья уѣхала къ отцу, а онъ остался одинъ.

Дни мелькали за днями. Безъ семьи, безъ работы и безъ денегъ, бывшій староста, почтенный и уважаемый человѣкъ, по цѣлымъ днямъ ходилъ по лавкамъ своихъ пріятелей, выпивалъ, закусывалъ и выслушивалъ совѣты. По утрамъ и вечерамъ онъ, чтобы убить время, ходилъ въ церковь. Глядя по цѣлымъ часамъ на иконы, онъ не молился, а думалъ. Совѣсть его была чиста, и свое положеніе объяснялъ онъ ошибкой и недоразумѣніемъ; по его мнѣнію, все произошло только оттого, что слѣдователи и чиновники молоды и неопытны; ему казалось, что если бы какой-нибудь старый судья поговорилъ съ нимъ по душамъ и подробно, то все вошло бы въ свою колею. Онъ не понималъ своихъ судей, а судьи, казалось ему, не понимали его...

Дни бѣжали за днями и, наконецъ, послѣ долгой, томительной проволочки наступило время суда. Авдѣевъ взялъ взаймы 50 рублей, запасся спиртомъ для ноги и травкой для желудка, и поѣхалъ въ тотъ городъ, гдѣ находилась судебная палата.

Судъ продолжался полторы недѣли. Все время суда Авдѣевъ солидно и съ достоинствомъ, какъ это подобаетъ человѣку почтенному и невинно пострадавшему, сидѣлъ среди товарищей по несчастью, слушалъ и ровно ничего не понималъ. Настроеніе у него было враждебное. Онъ сердился, что его долго держатъ въ судѣ, что нигдѣ нельзя достать постной ѣды, что защитникъ не понимаетъ его и, какъ казалось ему, говоритъ не то, что нужно. Судьи, казалось ему, судили не такъ, какъ бы слѣдовало. Они не обращали на Авдѣева почти никакого вниманія, обращались къ нему разъ въ три дня и вопросы, которые они задавали ему, были такого свойства, что, отвѣчая на нихъ, Авдѣевъ всякій разъ возбуждалъ въ публикѣ смѣхъ. Когда онъ порывался говорить о своихъ проторяхъ, убыткахъ и о томъ, что

желаетъ взыскать судебныя издержки, защитникъ оборачивался и дѣлалъ непонятную гримасу, публика смѣялась, а предсѣдатель строго заявлялъ, что это къ дѣлу не относится. Въ своемъ послѣднемъ словѣ онъ сказалъ не то, чему училъ его защитникъ, а совсѣмъ другое, тоже возбудившее смѣхъ.

Въ тѣ страшные часы, когда присяжные совѣщались въ своей комнатѣ, онъ сердитый сидѣлъ въ буфетѣ и совсѣмъ не думалъ о присяжныхъ. Онъ не понималъ, зачѣмъ они совѣщаются такъ долго, если все такъ ясно, и что имъ нужно отъ него.

Проголодавшись, онъ попросилъ лакея дать ему чего-нибудь дешеваго и постнаго. За сорокъ копеекъ ему дали какой-то холодной рыбы съ морковью. Онъ съѣлъ и тотчасъ же почувствовалъ, какъ эта рыба тяжелымъ комомъ заходила въ его животѣ; начались отрыжка, изжога, боль...

Когда онъ потомъ слушалъ старшину, читавшаго вопросные пункты, внутренности его переворачивались, тѣло обливалось холоднымъ потомъ, лѣвая нога нѣмѣла; онъ не слушалъ, ничего не понималъ и невыносимо страдалъ оттого, что старшину нельзя слушать сидя или лежа. Наконецъ, когда ему и его товарищамъ позволили сѣсть, всталъ прокуроръ судебной палаты и сказалъ что-то непонятное. Точно изъ земли выросши, появились откуда-то жандармы съ шашками наголо и окружили всѣхъ обвиняемыхъ. Авдѣеву приказали встать и идти.

Теперь онъ понялъ, что его обвинили и взяли подъ стражу, но онъ не испугался и не удивился; въ животѣ происходилъ такой безпорядокъ, что ему было совсѣмъ не до стражи.

— Значитъ, насъ теперь не пустятъ въ номеръ?—спросилъ онъ у одного изъ своихъ товарищей. — А у меня въ номерѣ три рубля денегъ и непочатая четверка чаю.

Ночевалъ онъ въ частномъ домѣ, всю ночь чувствовалъ отвращеніе къ рыбѣ и думалъ о трехъ рубляхъ и четверкѣ чаю. Рано утромъ, когда небо стало синѣть, ему приказали одѣться и идти. Два солдата со штыками повели его въ тюрьму. Никогда въ другое время городскія улицы не казались ему такъ длинны и безконечны. Шелъ онъ не по тротуару, а среди улицы по тающему, грязному снѣгу. Внутренности все еще воевали съ рыбой, лѣвая нога нѣ-

Теперь же эта музыка только раздражаетъ и гнететъ, потому что она вгоняетъ въ дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай Богъ, уснетъ, то хозяева прибьютъ ее.

Лампадка мигаетъ. Зеленое пятно и тѣни приходятъ въ движеніе, лѣзутъ въ полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и въ ея на-половину уснувшемъ мозгу складываются въ туманныя грезы. Она видитъ темныя облака, которыя гоняются другъ за другомъ по небу и кричатъ, какъ ребенокъ. Но вотъ подулъ вѣтеръ, пропали облака, и Варька видитъ широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди съ котомками на спинахъ, носятся взадъ и впередъ какія-то тѣни; по обѣ стороны сквозь холодный, суровый туманъ видны лѣса. Вдругъ люди съ котомками и тѣнями падаютъ на землю въ жидкую грязь. — «Зачѣмъ это?» — спрашиваетъ Варька. — «Спать, спать!» — отвѣчаютъ ей. И они засыпаютъ крѣпко, спятъ сладко, а на телеграфныхъ проволокахъ сидятъ вороны и сороки, кричатъ, какъ ребенокъ, и стараются разбудить ихъ.

— Баю-баюшки-баю, а я пѣсенку спою...—мурлычетъ Варька и уже видитъ себя въ темной, душной избѣ.

На полу ворочается ея покойный отецъ Ефимъ Степановъ. Она не видитъ его, но слышитъ, какъ онъ катается отъ боли по полу и стонетъ. У него, какъ онъ говоритъ, «разыгралась грыжа». Боль такъ сильна, что онъ не можетъ выговорить ни одного слова и только втягиваетъ въ себя воздухъ и отбиваетъ зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побѣжала въ усадьбу къ господамъ сказать, что Ефимъ помираетъ. Она давно уже ушла и пора бы ей вернуться. Варька лежитъ на печи, не спитъ и прислушивается къ отцовскому «бу-бу-бу». Но вотъ слышно, кто-то подъѣхалъ къ избѣ. Это господа прислали молодого доктора, который пріѣхалъ къ нимъ изъ города въ гости. Докторъ входитъ въ избу; его не видно въ потемкахъ, но слышно, какъ онъ кашляетъ и щелкаетъ дверью.

— Засвѣтите огонь,—говоритъ онъ.

— Бу-бу-бу...—отвѣчаетъ Ефимъ.

Пелагея бросается къ печкѣ и начинаетъ искать черепокъ со спичками. Проходитъ минута въ молчаніи. Докторъ, порывшись въ карманахъ, зажигаетъ свою спичку.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ,—говоритъ Пелагея, бро-

сается вонъ изъ избы и, немного погодя, возвращается съ огаркомъ.

Щеки у Ефима розовыя, глаза блестятъ и взглядъ какъ-то особенно остръ, точно Ефимъ видитъ насквозь и избу, и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумалъ? — говоритъ докторъ, нагибаясь къ нему.—Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-съ? Помирать, ваше благородіе, пришло время... Не быть мнѣ въ живыхъ...

— Полно вздоръ говорить... Вылѣчимъ!

— Это какъ вамъ угодно, ваше благородіе, благодаримъ покорно, а только мы понимаемъ... Коли смерть пришла, что ужъ тутъ.

Докторъ съ четверть часа возится съ Ефимомъ; потомъ поднимается и говоритъ:

— Я ничего не могу подѣлать... Тебѣ нужно въ больницу ѣхать, тамъ тебѣ операцію сдѣлаютъ. Сейчасъ же поѣзжай... Непремѣнно поѣзжай! Немножко поздно, въ больницѣ всѣ уже спятъ, но это ничего, я тебѣ записочку дамъ. Слышишь?

— Батюшка, да на чемъ же онъ поѣдетъ? — говоритъ Пелагея.—У насъ нѣтъ лошади.

— Ничего, я попрошу господъ, они дадутъ лошадь.

Докторъ уходитъ, свѣча тухнетъ и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса, къ избѣ кто-то подъѣзжаетъ. Это господа прислали телѣжку, чтобы ѣхать въ больницу. Ефимъ собирается и ѣдетъ...

Но вотъ наступаетъ хорошее, ясное утро. Пелагеи нѣтъ дома: она пошла въ больницу узнать, что дѣлается съ Ефимомъ. Гдѣ-то плачетъ ребенокъ и Варька слышитъ, какъ кто-то ея голосомъ поетъ:

— Баю-баюшки-баю, а я пѣсенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчетъ:

— Ночью вправили ему, а къ утру Богу душу отдалъ... Царство небесное, вѣчный покой... Сказываютъ, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идетъ въ лѣсъ и плачетъ тамъ, но вдругъ кто-то бьетъ ее по затылку съ такой силой, что она стукается лбомъ о березу. Она поднимаетъ глаза и видитъ передъ собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говоритъ онъ. — Дитё плачетъ, а ты спишь?

Онъ больно треплетъ ее за ухо, а она встряхиваетъ головой, качаетъ колыбель и мурлычетъ свою пѣсню. Зеленое пятно и тѣни отъ панталонъ и пеленокъ колеблются, мигаютъ ей и скоро опять овладѣваютъ ея мозгомъ. Опять она видитъ шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди съ котомками на спинахъ и тѣни разлеглись и крѣпко спятъ. Глядя на нихъ, Варькѣ страстно хочется спать; она легла бы съ наслажденіемъ, но мать Пелагея идетъ рядомъ и торопитъ ее. Обѣ онѣ спѣшатъ въ городъ наниматься.

— Подайте милостынки Христа-ради! — проситъ мать у встрѣчныхъ. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка!—отвѣчаетъ ей чей-то знакомый голосъ.—Подай сюда ребенка!—повторяетъ тотъ же голосъ, но уже сердито и рѣзко. — Спишь, подлая?

Варька вскакиваетъ и, оглядѣвшись, понимаетъ, въ чемъ дѣло: нѣтъ ни шоссе, ни Пелагеи, ни встрѣчныхъ, а стоитъ посреди комнаты одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормитъ и унимаетъ ребенка, Варька стоитъ, глядитъ на нее и ждетъ, когда она кончитъ. А за окнами уже синѣетъ воздухъ, тѣни и зеленое пятно на потолкѣ замѣтно блѣднѣютъ. Скоро утро.

— Возьми!—говоритъ хозяйка, застегивая на груди сорочку.—Плачетъ. Должно, сглазили.

Варька беретъ ребенка, кладетъ его въ колыбель и опять начинаетъ качать. Зеленое пятно и тѣни мало-по-малу исчезаютъ и ужъ некому лѣзть въ ея голову и туманить мозгъ. А спать хочется попрежнему, ужасно хочется! Варька кладетъ голову на край колыбели и качается всѣмъ туловищемъ, чтобы пересилить сонъ, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голосъ хозяина.

Значитъ, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляетъ колыбель и бѣжитъ въ сарай за дровами. Она рада. Когда бѣгаешь и ходишь, спать уже не такъ хочется, какъ въ сидячемъ положеніи. Она приноситъ дрова, топитъ печь и чувствуетъ, какъ расправляется ея одеревенѣвшее лицо и какъ проясняются мысли.

— Варька, поставь самоваръ!—кричитъ хозяйка.

Варька колетъ лучину, но едва успѣваетъ зажечь ихъ и сунуть въ самоваръ, какъ слышится новый приказъ:

— Варька, почистъ хозяину калоши!

Она садится на полъ, чиститъ калоши и думаетъ, что хорошо бы сунуть голову въ большую, глубокую калошу и подремать въ ней немножко... И вдругъ калоша растетъ, пухнетъ, наполняетъ собою всю комнату, Варька роняетъ щетку, но тотчасъ же встряхиваетъ головой, пучитъ глаза и старается глядѣть такъ, чтобы предметы не росли и не двигались въ ея глазахъ.

— Варька, помой снаружи лѣстницу, а то отъ заказчиковъ совѣстно!

Варька моетъ лѣстницу, убираетъ комнаты, потомъ топитъ другую печь и бѣжитъ въ лавочку. Работы много, нѣтъ ни одной минуты свободной.

Но ничто такъ не тяжело, какъ стоять на одномъ мѣстѣ передъ кухоннымъ столомъ и чистить картошку. Голову тянетъ къ столу, картошка рябитъ въ глазахъ, ножъ валится изъ рукъ, а возлѣ ходитъ толстая, сердитая хозяйка съ засученными руками и говоритъ такъ громко, что звенитъ въ ушахъ. Мучительно также прислуживать за обѣдомъ, стирать, шить. Бываютъ минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на полъ и спать.

День проходитъ. Глядя, какъ темнѣютъ окна, Варька сжимаетъ себѣ деревенѣющіе виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкаетъ ея слипающіеся глаза и обѣщаетъ ей скорый, крѣпкій сонъ. Вечеромъ къ хозяевамъ приходятъ гости.

— Варька, ставь самоваръ!—кричитъ хозяйка.

Самоваръ у хозяевъ маленькій и прежде, чѣмъ гости напиваются чаю, приходится подогрѣвать его разъ пять. Послѣ чаю Варька стоитъ цѣлый часъ на одномъ мѣстѣ, глядитъ на гостей и ждетъ приказаній.

— Варька, сбѣгай купи три бутылки пива!

Она срывается съ мѣста и старается бѣжать быстрѣе, чтобы прогнать сонъ.

— Варька, сбѣгай за водкой! Варька, гдѣ штопоръ? Варька, почисть селедку!

Но вотъ, наконецъ, гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка!—раздается послѣдній приказъ.

Въ печкѣ кричитъ сверчокъ; зеленое пятно на потолкѣ и тѣни отъ панталонъ и пеленокъ опять лѣзутъ въ полуоткрытые глаза Варьки, мигаютъ и туманятъ ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычетъ она: — а я пѣсенку спою...

А ребенокъ кричитъ и изнемогаетъ отъ крика. Варька видитъ опять грязное шоссе, людей съ котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимаетъ, всѣхъ узнаетъ, но сквозь полусонъ она не можетъ только никакъ понять той силы, которая сковываетъ ее по рукамъ и по ногамъ, давитъ ее и мѣшаетъ ей жить. Она оглядывается, ищетъ эту силу, чтобы избавиться отъ нея, но не находитъ. Наконецъ, измучившись, она напрягаетъ всѣ свои силы и зрѣніе, глядитъ вверхъ на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись къ крику, находитъ врага, мѣшающаго ей жить.

Этотъ врагъ—ребенокъ.

Она смѣется. Ей удивительно: какъ это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тѣни и сверчокъ тоже, кажется, смѣются и удивляются.

Ложное представленіе овладѣваетъ Варькой. Она встаетъ съ табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнатѣ. Ей пріятно и щекотно отъ мысли, что она сейчасъ избавится отъ ребенка, сковывающаго ее по рукамъ и ногамъ... Убить ребенка, а потомъ спать, спать, спать...

Смѣясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается къ колыбели и наклоняется къ ребенку. Задушивъ его, она быстро ложится на полъ, смѣется отъ радости, что ей можно спать, и черезъ минуту спитъ уже крѣпко, какъ мертвая...

ХОЛОДНАЯ КРОВЬ.

Длинный товарный поѣздъ давно уже стоитъ у полустанка. Паровозъ не издаетъ ни звука, точно потухъ; около поѣзда и въ дверяхъ полустанка ни души.

Отъ одного изъ вагоновъ идетъ блѣдная полоса свѣта и скользитъ по рельсамъ запаснаго пути. Въ этомъ вагонѣ на разостланной буркѣ сидятъ двое: одинъ—старый съ широкой, сѣдой бородой, въ полушубкѣ и въ высокой, мерлушковой шапкѣ, похожей на папаху, другой — молодой, безусый, въ потертомъ драповомъ пиджакѣ и въ высокихъ, грязныхъ сапогахъ. Это грузоотправители. Старикъ сидитъ, протянувъ впередъ ноги, молчитъ и о чемъ-то думаетъ; молодой полулежитъ и едва слышно пиликаетъ на дешевой гармоникѣ. Около нихъ на стѣнѣ виситъ фонарь съ сальной свѣчкой.

Вагонъ полонъ груза. Если сквозь тусклый свѣтъ фонаря вглядѣться въ этотъ грузъ, то въ первую минуту глазамъ представится что-то безформенно-чудовищное и несомнѣнно живое, что-то очень похожее на гигантскихъ раковъ, которые шевелятъ клешнями и усами, тѣснятся и безшумно карабкаются по скользкой стѣнѣ вверхъ къ потолку; но вглядишься попристальнѣе, и въ сумеркахъ начинаютъ явственно выростать рога и ихъ отраженія, затѣмъ тощія, длинныя спины, грязная шерсть, хвосты, глаза. Это быки и ихъ тѣни. Всѣхъ быковъ въ вагонѣ восемь. Одни изъ нихъ, обернувшись, глядятъ на людей и помахиваютъ хвостами, другіе стараются лечь или стать поудобнѣе. Имъ тѣсно. Если одинъ ложится, то остальные

должны стоять и жаться другъ къ другу. Нѣтъ ни яслей, ни коновязей, ни подстилокъ и ни клочка сѣна [1])...

Послѣ долгаго молчанія старикъ вытаскиваетъ изъ кармана серебряную луковицу и справляется, который часъ: четверть третьяго.

— Ужъ второй часъ стоимъ, — говоритъ онъ, зѣвая. — Пойти поторопить ихъ, а то до утра будемъ здѣсь стоять. Они позаснули, или Богъ ихъ знаетъ, что они тамъ.

Старикъ встаетъ и вмѣстѣ со своею длинною тѣнью осторожно спускается изъ вагона въ потемки. Онъ пробирается вдоль поѣзда къ локомотиву и, пройдя десятка два вагоновъ, видитъ раскрытую, красную печь; противъ печи неподвижно сидитъ человѣческая фигура; ея козырекъ, носъ и колѣни выкрашены въ багровый цвѣтъ, все же остальное черно и едва вырисовывается изъ потемокъ.

— Долго еще тутъ стоять будемъ?—спрашиваетъ старикъ.

Отвѣта нѣтъ. Неподвижная фигура, очевидно, спитъ. Старикъ нетерпѣливо крякаетъ и, пожимаясь отъ ѣдкой сырости, обходитъ локомотивъ, причемъ яркій свѣтъ двухъ фонарей на мгновеніе бьетъ ему въ глаза, а ночь отъ этого становится для него еще чернѣе; онъ идетъ къ полустанку.

Платформа и ступени полустанка мокры. Кое-гдѣ бѣлѣетъ недавно вышавшій, тающій снѣгъ. Въ самомъ полустанкѣ свѣтло и натоплено жарко, какъ въ банѣ. Пахнетъ керосиномъ. Кромѣ десятичныхъ вѣсовъ и небольшого, желтаго дивана, на которомъ спитъ какой-то человѣкъ въ кондукторской формѣ, въ помѣщеніи нѣтъ никакой мебели. Налѣво двѣ настежь открытыя двери. Въ одну изъ нихъ видны телеграфный станокъ и лампа съ зеленымъ колпакомъ, въ другую—небольшая комнатка, на-половину занятая темнымъ шкаломъ. Въ этой комнаткѣ, на подоконникѣ сидятъ оберъ-кондукторъ и машинистъ. Оба они мнутъ въ рукахъ какую-то шапку и спорятъ.

— Это не настоящій боберъ, а польскій,—говоритъ машинистъ.—Настоящіе бобры не такіе бываютъ. Всей этой шапкѣ, ежели желаете знать, красная цѣна — пять цѣлковыхъ!

---

[1]) На многихъ дорогахъ, во избѣжаніе несчастныхъ случаевъ, запрещается держать въ вагонахъ сѣно, а потому живой грузъ во все время пути остается безъ корма.

— Понимаете вы много...—обижается оберъ-кондукторъ.— Пять цѣлковыхъ! А вотъ мы сейчасъ купца спросимъ. Господинъ Малахинъ,—обращается онъ къ старику:—какъ по-вашему: польскій это боберъ, или настоящій?

Старикъ Малахинъ беретъ въ руки шапку и съ видомъ знатока щупаетъ мѣхъ, дуетъ, нюхаетъ и на сердитомъ лицѣ его вдругъ вспыхиваетъ презрительная улыбка.

— Стало-быть, польскій!—говоритъ онъ радостно.—Польскій и есть.

Начинается споръ. Оберъ-кондукторъ доказываетъ, что на шапкѣ боберъ настоящій, а машинистъ и Малахинъ стараются убѣдить его въ противномъ. Среди спора старикъ вдругъ вспоминаетъ о цѣли своего прихода.

— Боберъ бобромъ, шапка шапкой, а поѣздъ стоитъ, господа!—говоритъ онъ.—Что жъ? Кого ждемъ? Поѣдемъ!

— Поѣдемъ,—соглашается оберъ-кондукторъ.—Выкуримъ еще по папироскѣ и поѣдемъ. Только спѣшить нечего... Все равно насъ задержатъ на станціи!

— Это съ какой стати?

— А такъ... Запоздали слишкомъ... Если на одной станціи опоздаешь, то на другихъ поневолѣ будутъ задерживать, чтобъ дать ходъ встрѣчнымъ. Поѣзжай хоть сейчасъ, хоть утромъ, а все равно намъ ужъ не придется ѣхать четырнадцатымъ номеромъ. Поѣдемъ, должно-быть, двадцать третьимъ.

— Это же по-каковски?

— А по-таковски.

Малахинъ пытливо глядитъ на оберъ-кондуктора, думаетъ и бормочетъ машинально, какъ бы про себя:

— Накажи меня Богъ, считалъ и даже въ книжку записалъ: за всю дорогу простояли мы лишнихъ тридцать четыре часа. Доведете вы, господа, до той точки, что у меня или быки подохнутъ, или мнѣ за мясо, когда до мѣста доѣду, и двухъ рублей не дадутъ. Это не ѣзда, а чистое разоренье!

Оберъ-кондукторъ поднимаетъ брови и вздыхаетъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто хочетъ сказать: «Къ сожалѣнію, все это правда!» Машинистъ молчитъ и задумчиво оглядываетъ шапку. По лицамъ обоихъ видно, что у нихъ есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не высказываютъ не потому, что хотятъ скрыть ее, а потому,

что подобныя мысли передаются молчаніемъ гораздо лучше, чѣмъ на словахъ. И старикъ понимаетъ. Онъ лѣзетъ въ карманъ, достаетъ оттуда десятирублевку и безъ предисловій, не мѣняя ни тона голоса, ни выраженія лица, а съ увѣренностью и прямотою, съ какими даютъ и берутъ взятки, вѣроятно, одни только русскіе люди, подаетъ бумажку оберъ-кондуктору. Тотъ молча беретъ, складываетъ ее вчетверо и, не спѣша, кладетъ въ карманъ. Послѣ этого всѣ трое выходятъ изъ комнатки и, разбудивъ на пути спящаго кондуктора, идутъ на платформу.

— Погода!—крякаетъ оберъ-кондукторъ, вздрагивая плечами.—Зги не видать!

— Да, волчья погода...

Въ окно видно, какъ около зеленой лампы и телеграфнаго станка появляется бѣлокурая голова телеграфиста; около нея показывается скоро другая голова, бородатая и въ красной фуражкѣ—должно-быть, начальника полустанка. Начальникъ нагнулся къ столу, читаетъ что-то на синемъ бланкѣ и быстро водитъ папиросой вдоль строкъ... Малахинъ идетъ къ своему вагону.

Его спутникъ, молодой человѣкъ, попрежнему полулежитъ и едва слышно пиликаетъ на гармоникѣ. Онъ безусъ, почти еще мальчикъ; полное, бѣлое лицо его съ широкими скулами дѣтски задумчиво, глаза глядятъ не какъ у взрослыхъ, а грустно и покорно, но весь онъ широкъ, крѣпокъ, тяжелъ и грубъ такъ же, какъ старикъ; онъ не шевелится и не мѣняетъ своей позы, точно ему не подъ-силу приводить въ движеніе свое крупное тѣло. Пошевелись онъ, и тотчасъ, кажется, на немъ что-нибудь лопнетъ или раздастся стукъ, котораго испугаются быки и онъ самъ. Изъ-подъ его большихъ, толстыхъ пальцевъ, неповоротливо перебирающихъ клавиши и клапаны гармоники, непрерывно текутъ мелкіе, жиденькіе звуки и сливаются въ немудрый, однообразный мотивчикъ; онъ слушаетъ и, повидимому, очень доволенъ своей музыкой.

Слышится звонокъ, но такъ глухо, какъ будто бы звонятъ не вблизи, а гдѣ-то очень далеко. За нимъ тотчасъ же слѣдуетъ торопливый второй звонокъ, потомъ третій и свистъ оберъ-кондуктора. Проходитъ минута въ глубокомъ молчаніи; вагонъ не движется, стоитъ на мѣстѣ, но изъ-подъ него начинаютъ слышаться какіе-то неопредѣленные

звуки, похожіе на скрипъ снѣга подъ полозьями; вагонъ вздрагиваетъ и звуки стихаютъ. Наступаетъ опять тишина. Но вотъ раздается лязгъ буферовъ, отъ сильнаго толчка вагонъ вздрагиваетъ, точно дѣлаетъ прыжокъ, и всѣ быки падаютъ другъ на друга.

— Чтобъ тебя на томъ свѣтѣ такъ дернуло! — ворчитъ старикъ, поправляя свою высокую шапку, съѣхавшую отъ толчка на затылокъ.—Этакъ онъ у меня всю скотину перекалѣчитъ!

Яша молча встаетъ и, взявъ одного упавшаго быка за рога, помогаетъ ему подняться на ноги... Вслѣдъ за толчкомъ опять наступаетъ тишина. Изъ-подъ вагона слышатся звуки скрипящаго снѣга, и кажется, что поѣздъ тронулся слегка назадъ.

— Сейчасъ опять дернетъ,—говоритъ старикъ.

И дѣйствительно, по поѣзду проносится судорога, раздается трескъ, вагонъ вздрагиваетъ и быки опять падаютъ другъ на друга.

— Задача!—говоритъ Яша, прислушиваясь.—Должно, поѣздъ тяжелый. Никакъ не сдвинетъ.

— Раньше не былъ тяжелый, а теперь вдругъ потяжелѣлъ. Нѣтъ, братъ, это значитъ оберъ-кондукторъ съ нимъ не подѣлился. Поди-ка снеси ему, а то онъ до утра будетъ дергать.

Яша беретъ у старика трехрублевую бумажку и прыгаетъ изъ вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются внѣ вагона и постепенно стихаютъ. Тишина... Въ сосѣднемъ вагонѣ протяжно и тихо мычитъ быкъ, точно поетъ.

Яша возвращается. Въ вагонъ влетаетъ сырой, холодный вѣтеръ.

— Закрой-ка, Яша, дверь, да будемъ ложиться, — говоритъ старикъ.—Что даромъ свѣчку жечь?

Яша задвигаетъ тяжелую дверь; раздается свистъ локомотива и поѣздъ трогается.

— Холодно!—бормочетъ старикъ, растягиваясь на буркѣ и кладя голову на узелъ.—То ли дѣло дома! И тепло, и чисто, и мягко, и Богу есть гдѣ помолиться, а тутъ хуже свиней всякихъ. Ужъ четверо сутокъ какъ сапогъ не снимали.

Яша, пошатываясь отъ вагонной качки, открываетъ фонарь и мокрыми пальцами сдавливаетъ фитиль. Свѣчка вспыхиваетъ, шипитъ, какъ сковорода, и тухнетъ.

— Да, братъ... — продолжаетъ Малахинъ, слыша, какъ Яша ложится рядомъ и своей громадной спиной прижимается къ его спинѣ. — Холодно. Изъ всѣхъ щелей такъ и дуетъ. Поспи тутъ твоя мать или сестра одну ночь, такъ къ утру бы ноги протянули. Такъ-то, братъ, не хотѣлъ учиться и въ гимназію ходить, какъ братья, ну вотъ и вози съ отцомъ быковъ. Самъ виноватъ, на себя и ропщи... Братья-то теперь на постеляхъ спятъ, одѣялами укрылись, а ты, нерадивый и лѣнивый, на одной линіи съ быками... Да...

Изъ-за шума поѣзда не слышно словъ старика, но онъ еще долго бормочетъ, вздыхаетъ и крякаетъ. Холодный воздухъ въ вагонѣ становится все гуще и душнѣе. Острый запахъ свѣжаго навоза и свѣчная гарь дѣлаютъ его такимъ противнымъ и ѣдкимъ, что у засыпающаго Яши начинаетъ чесаться въ горлѣ и внутри груди. Онъ перхаетъ и чихаетъ, а привычный старикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, дышитъ всею грудью и только покрякиваетъ.

Судя по качкѣ вагона и по стуку колесъ, поѣздъ летитъ быстро и неровно. Паровозъ тяжело дышитъ, пыхтитъ не въ тактъ шуму поѣзда и въ общемъ получается какое-то клокотанье. Быки безпокойно тѣснятся и стучатъ рогами о стѣны.

Когда старикъ просыпается, въ щели вагона и въ открытое оконце глядитъ синее небо ранняго утра. Холодно невыносимо, въ особенности спинѣ и ногамъ. Поѣздъ стоитъ. Яша заспанный и угрюмый возится около быковъ.

Старикъ просыпается не въ духѣ. Нахмуренный и суровый, онъ сердито крякаетъ и глядитъ исподлобья на Яшу, который подперъ своимъ могучимъ плечомъ подъ грудь быка и, слегка приподнявъ его, старается распутать ему ногу.

— Говорилъ вчерась, что веревки длинныя,—ворчитъ старикъ:—такъ нѣтъ—«не длинныя, папаша!» Ничего нельзя заставить, все по-своему дѣлаешь... Болванъ.

Онъ сердито выдвигаетъ дверь, и въ вагонъ врывается свѣтъ. Какъ разъ противъ двери стоитъ пассажирскій поѣздъ, а за нимъ красное зданіе съ навѣсомъ — какая-то большая станція съ буфетомъ. Крыши и площадки вагоновъ, земля, шпалы — все покрыто тонкимъ слоемъ пушистаго, недавно выпавшаго снѣга. Въ промежутки между вагонами пассажирскаго поѣзда видно, какъ снуютъ пассажиры и

прохаживается рыжій, краснолицый жандармъ; лакей во фракѣ и въ бѣлой, какъ снѣгъ, манишкѣ, не выспавшійся, озябшій и, вѣроятно, очень недовольный своею жизнью, бѣжитъ по платформѣ и несетъ на подносѣ стаканъ чаю съ двумя сухарями.

Старикъ поднимается и начинаетъ молиться на востокъ. Яша, покончивъ съ быкомъ и поставивъ въ уголъ лопату, становится рядомъ съ нимъ и тоже молится. Онъ только шевелитъ губами и крестится, отецъ же громко шепчетъ и конецъ каждой молитвы произноситъ вслухъ и отчетливо.

— ... и жизни будущаго вѣка аминь!—говоритъ громко старикъ, втягиваетъ въ себя воздухъ и тотчасъ же шепчетъ другую молитву и въ концѣ отчеканиваетъ твердо и ясно:—и возложатъ на алтарь твой тельцы!

Прочитавъ свои молитвы, Яша торопливо крестится и говоритъ:

— Пожалуйте пять копеекъ.

И, получивъ пятакъ, онъ беретъ красный мѣдный чайникъ и бѣжитъ на станцію за кипяткомъ. Широко прыгая черезъ шпалы и рельсы, оставляя на пушистомъ снѣгу громадные слѣды и выливая на пути изъ чайника вчерашній чай, онъ подбѣгаетъ къ буфету и звонко стучитъ пятакомъ по своей посудѣ. Изъ вагона видно, какъ буфетчикъ отстраняетъ рукой его большой чайникъ и не соглашается отдать за пятакъ почти половину своего самовара, но Яша самъ отворачиваетъ кранъ и, разставивъ локти, чтобы ему не мѣшали, наливаетъ себѣ кипятку полный чайникъ.

— Сволочь проклятая!—кричитъ ему вслѣдъ буфетчикъ, когда онъ бѣжитъ обратно къ вагону.

За чаемъ хмурое лицо старика Малахина немного проясняется.

— Пить и ѣсть мы умѣемъ, а дѣла не помнимъ, — говоритъ онъ. — Вчерась цѣлый день только и знали, что пили да ѣли, а небось забыли расходы записать. Экая память, Господи!

Старикъ припоминаетъ вслухъ вчерашніе расходы и записываетъ въ истрепанной записной книжкѣ, гдѣ и сколько было дано кондукторамъ, машинистамъ, смазчикамъ...

Между тѣмъ пассажирскій поѣздъ давно уже ушелъ, и по свободному пути взадъ и впередъ, какъ кажется, безъ вся-

кой опредѣленной цѣли, а просто радуясь своей свободѣ, бѣгаетъ дежурный локомотивъ. Солнце уже взошло и играетъ по снѣгу; съ навѣса станціи и съ крышъ вагоновъ падаютъ свѣтлыя капли.

Напившись чаю, старикъ лѣниво плетется изъ вагона на станцію. Тутъ среди залы перваго класса стоятъ знакомый оберъ-кондукторъ и начальникъ станціи, молодой человѣкъ съ красивой бородкой и въ великолѣпномъ, шаршавомъ пальто. Молодой человѣкъ, вѣроятно, отъ непривычки стоять на одномъ мѣстѣ, граціозно, какъ хорошій скаковой конь, переминается съ ноги на ногу, глядитъ по сторонамъ, дѣлаетъ подъ козырекъ всѣмъ мимо проходящимъ, улыбается, щуритъ глаза... Онъ румянъ, здоровъ, веселъ, лицо его дышитъ вдохновеніемъ и такою свѣжестью, какъ будто онъ только-что свалился съ неба вмѣстѣ съ пушистымъ снѣгомъ. Увидѣвъ Малахина, оберъ-кондукторъ виновато вздыхаетъ и разводитъ руками.

— Не придется намъ ѣхать четырнадцатымъ номеромъ!— говоритъ онъ. — Опоздали сильно. Ужъ другой поѣздъ пошелъ съ этимъ номеромъ.

Начальникъ станціи быстро просматриваетъ какіе-то бланки, потомъ переводитъ свои голубые, восторженные глаза на Малахина и, улыбаясь, дыша на него свѣжестью, осыпаетъ его вопросами:

— Вы господинъ Малахинъ? У васъ быки? Восемь вагоновъ? Какъ же теперь быть? Вы опоздали, и четырнадцатый номеръ уже пущенъ мною ночью. Что же мы теперь будемъ дѣлать?

Молодой человѣкъ двумя розовыми пальцами осторожно беретъ Малахина за мѣхъ полушубка и, переминаясь съ ноги на ногу, ласково и убѣдительно объясняетъ ему, что такіе-то номера уже ушли, а такіе-то пойдутъ, что онъ готовъ сдѣлать для Малахина все отъ него зависящее. И по лицу его видно, что онъ дѣйствительно готовъ сдѣлать пріятное не только Малахину, но даже всему свѣту—такъ онъ счастливъ, доволенъ и радъ! Старикъ слушаетъ и хотя ровно ничего не понимаетъ въ замысловатой поѣздной нумераціи, но одобрительно киваетъ головой и самъ касается двумя пальцами нѣжной ворсы шаршаваго пальто. Ему пріятно видѣть и слушать приличнаго и ласковаго молодого человѣка. Чтобы съ своей стороны показать ему свое располо-

женіе, онъ вынимаетъ десятирублевку, подумавъ, прибавляетъ къ ней еще двѣ рублевыя бумажки и подаетъ ихъ начальнику станціи. Тотъ беретъ, дѣлаетъ подъ козырекъ и граціозно суетъ себѣ въ карманъ.

— Вотъ что, господа, не устроить ли намъ такимъ образомъ?—говоритъ онъ, озаренный новою, только-что мелькнувшей идеей. — Воинскій поѣздъ опоздалъ... его, какъ видите, нѣтъ... Такъ не отправиться ли вамъ воинскимъ *) поѣздомъ? А воинскій я ужъ пущу двадцать восьмымъ номеромъ. А?

— Пожалуй,—соглашается оберъ-кондукторъ.

— И отлично!—радуется начальникъ станціи.—Въ такомъ случаѣ вамъ нечего тутъ ждать, сейчасъ и поѣзжайте! Я васъ сейчасъ и отправлю! Отлично!

Онъ дѣлаетъ Малахину подъ козырекъ и, читая на пути бланки, бѣжитъ къ себѣ. Старикъ очень доволенъ только-что бывшимъ разговоромъ; онъ улыбается и оглядываетъ всю залу, какъ бы ища: нѣтъ ли тутъ еще чего-нибудь пріятнаго?

— А мы все-таки выпьемъ,— говоритъ онъ, беря оберъ-кондуктора подъ руку.

— Какъ будто бы еще рановато пить.

— Нѣтъ, ужъ вы позвольте мнѣ угостить васъ изъ любезности.

Оба идутъ къ буфету. Выпивши, оберъ-кондукторъ долго выбираетъ, чѣмъ бы закусить.

Это человѣкъ пожилой, чрезвычайно полный, съ полинявшимъ, пухлымъ лицомъ. Полнота у него непріятная, обрюзглая, съ желтизною, какая бываетъ у людей, много пьющихъ и спящихъ не во-время.

— А теперь и по второй можно выпить,—говоритъ Малахинъ. — Теперь время холодное, не грѣхъ выпить. Кушайте, покорнѣйше прошу. Такъ, значитъ, я на васъ надѣюсь, господинъ оберъ-кондукторъ, что всю дорогу не будетъ никакихъ препятствій и непріятностей. Потому, знаете, въ нашемъ скотопромышленномъ дѣлѣ каждый часъ дорогъ. Сегодня одна цѣна мясу, а завтра, гляди, другая.

---

*) Воинскимъ называется номеръ поѣзда, предназначеннаго спеціально для перевозки войскъ; когда войскъ не бываетъ, онъ везетъ товаръ и идетъ быстрѣе обыкновенныхъ товарныхъ поѣздовъ.

Опоздаешь на день—на два и не попадешь въ цѣну, да вмѣсто того, чтобъ пользу взять, гляди, и пріѣдешь домой, извините, безъ брюковъ. Кушайте, покорнѣйше прошу... Я на васъ надѣюсь, а насчетъ угощенія, или чего желаете, я изъ любезности могу во всякое время васъ уважить.

Накормивъ оберъ-кондуктора, Малахинъ возвращается къ себѣ въ вагонъ.

— Сейчасъ я себѣ воинскій номеръ вымаклачилъ,— говоритъ онъ сыну.— Шибко поѣдемъ. Кондукторъ говоритъ, что если все время съ этимъ номеромъ будемъ ѣхать, то завтра въ 8 часовъ вечера будемъ на мѣстѣ. Не похлопочешь, братъ, не получишь... Такъ-то... Гляди вотъ и пріучайся...

Послѣ перваго звонка къ дверямъ вагона подходитъ человѣкъ съ лицомъ, чернымъ отъ сажи, въ блузѣ и въ грязныхъ, потертыхъ панталонахъ на-выпускъ. Это смазчикъ, который только-что лазилъ подъ вагонами и стучалъ молоткомъ по колесамъ.

— Господа, это ваши вагоны съ быками?—спрашиваетъ онъ.

— Наши, а что?

— А то, что два вагона больные. Нельзя ихъ пущать, надо тутъ въ починку оставить.

— Ну да, бреши больше! Просто выпить хочется, хабару взять... Такъ и говорилъ бы.

— Какъ вамъ угодно, а только я сейчасъ обязанъ доложить.

Не возмущаясь и не протестуя, а спокойно, почти машинально старикъ достаетъ изъ кармана два двугривенныхъ и подаетъ ихъ смазчику. Тотъ тоже очень спокойно беретъ ихъ и, добродушно глядя на старика, заводитъ разговоръ:

— Поторговать, стало-быть, ѣдете... Хорошее дѣло!

Малахинъ вздыхаетъ и, спокойно глядя на черное лицо смазчика, разсказываетъ, что торговля быками прежде была дѣйствительно выгодна, теперь же она составляетъ дѣло рискованное и убыточное.

— Тутъ у меня товарищъ есть,—перебиваетъ его смазчикъ.—Такъ вы бы, господа купцы, и ему сколько-нибудь презентовали...

Малахинъ даетъ и на товарища... Воинскій поѣздъ идетъ быстро и стоитъ на станціяхъ сравнительно недолго. Старикъ доволенъ. Пріятное впечатлѣніе, оставленное молодымъ человѣкомъ въ шаршавомъ пальто, крѣпко засѣло въ немъ, вышитая водка слегка туманитъ голову, погода великолѣпная и, повидимому, все обстоитъ прекрасно. Онъ безъ умолку говоритъ и во время каждой остановки бѣгаетъ къ буфету. Чувствуя потребность въ слушателяхъ, онъ тащитъ къ буфету то оберъ-кондуктора, то машиниста, и пьетъ не просто, а длинно, съ причитываніями и съ чоканьемъ.

— У васъ свое дѣло, у насъ свое...—говоритъ онъ благодушно, улыбаясь. — Дай Богъ и намъ, и вамъ, и чтобъ не какъ намъ угодно, а какъ Богу...

Отъ водки онъ мало-по-малу возбуждается и впадаетъ въ дѣловой азартъ. Ему хочется хлопотать, торопиться, наводить справки, безъ умолку говорить. Онъ то роется въ карманахъ и въ узлахъ, и ищетъ какой-то бланокъ, то что-то вспоминаетъ и никакъ не можетъ вспомнить, то вынимаетъ бумажникъ и безъ всякой надобности пересчитываетъ свои деньги. Онъ суетится, охаетъ, ужасается, всплескиваетъ руками... Разложивъ передъ собою письма и телеграммы столичныхъ мясоторговцевъ, счеты, почтовыя и телеграфныя расписки, бланки, свою записную книжку, онъ соображаетъ вслухъ и требуетъ, чтобы Яша слушалъ.

А когда надоѣдаетъ ему читать бланки и говорить о цѣнахъ, онъ во время остановокъ бѣгаетъ по вагонамъ, гдѣ стоятъ его быки, ничего не дѣлаетъ, а только всплескиваетъ руками и ужасается.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!—говоритъ онъ жалобнымъ голосомъ.—Священномученикъ Власій! Хоть оно и быкъ, хоть оно и тварь, а вѣдь тоже, какъ и люди, хочетъ и пить, и ѣсть. Ужъ четверо сутокъ, какъ не пили и не ѣли. Ахъ, Боже мой, Боже мой!

Яша, какъ послушный сынъ, ходитъ за нимъ и исполняетъ его приказанія. Ему не нравится, что старикъ часто бѣгаетъ къ буфету. Хоть онъ и боится отца, но не можетъ удержаться отъ замѣчанія.

— А вы ужъ начали! — говоритъ онъ, сурово оглядывая старика. — Съ какой это радости? Именинники вы, что ли?

— Не смѣешь ты родному отцу указывать.

— Ишь, моду какую взяли...

Когда не нужно бываетъ ходить за отцомъ, Яша все время сидитъ неподвижно на буркѣ и пиликаетъ на гармоникѣ. Изрѣдка онъ выйдетъ изъ вагона и лѣниво пройдется вдоль поѣзда; остановится онъ около локомотива и устремитъ долгій, неподвижный взглядъ на колеса или на рабочихъ, бросающихъ полѣнья на тендеръ; горячій локомотивъ сипитъ, падающія полѣнья издаютъ сочный, здоровый звукъ свѣжаго дерева; машинистъ и его помощникъ, люди очень хладнокровные и равнодушные, дѣлаютъ какія-то непонятныя движенія и не спѣшатъ. Постоявъ около паровоза, Яша лѣниво плетется на станцію; тутъ онъ оглядитъ закуски въ буфетѣ, прочтетъ для себя вслухъ какое-нибудь очень неинтересное объявленіе и не спѣша возвращается въ вагонъ. Лицо его не выражаетъ ни скуки, ни желаній; ему, повидимому, рѣшительно все равно, гдѣ ни быть: дома ли, въ вагонѣ, около ли паровоза...

Къ вечеру поѣздъ останавливается около большой станціи. Огни по линіи только-что зажжены; на синѣющемъ фонѣ, въ свѣжемъ, прозрачномъ воздухѣ огни ярки и блѣдны, какъ звѣзды; красны и лучисты они только подъ навѣсомъ, гдѣ уже темно. Всѣ пути запружены вагонами и, кажется, приди новый поѣздъ, для него не найдется мѣста. Яша бѣжитъ на станцію за кипяткомъ для вечерняго чая. На платформѣ гуляютъ хорошо одѣтыя дамы и гимназисты. По обѣ стороны вокзала, если поглядѣть съ платформы вдаль, мелькаютъ въ вечерней мглѣ далекіе огоньки—это городъ. Какой? Яшѣ не интересно знать. Онъ видитъ только тусклые огни и жалкія постройки за вокзаломъ, слышитъ крикъ извозчиковъ, чувствуетъ на лицѣ рѣзкій, холодный вѣтеръ и думаетъ, что этотъ городъ, вѣроятно, не хорошій, не уютный и скучный...

Во время чая, когда уже совсѣмъ стемнѣло и на стѣнѣ вагона по-вчерашнему виситъ фонарь, поѣздъ вздрагиваетъ отъ легкаго толчка и тихо идетъ назадъ. Пройдя немного, онъ останавливается; слышатся неясные крики, кто-то стучитъ цѣпями около буферовъ и кричитъ: «готово!» Поѣздъ трогается и идетъ впередъ. Минутъ черезъ десять его опять тащатъ назадъ.

Выйдя изъ вагона Малахинъ не узнаетъ своего поѣзда.

Его восемь вагоновъ съ быками стоятъ въ одномъ ряду съ невысокими вагонами-платформами, какихъ раньше не было въ поѣздѣ. На двухъ-трехъ платформахъ наваленъ бутъ, а остальныя пусты. Вдоль поѣзда снуютъ незнакомые кондуктора. На вопросы они отвѣчаютъ неохотно и глухо. Имъ не до Малахина; они торопятся составить поѣздъ, чтобы поскорѣе отдѣлаться и идти въ тепло.

— Какой это номеръ?—спрашиваетъ Малахинъ.

— Восемнадцатый!

— А гдѣ же воинскій? Зачѣмъ меня отъ воинскаго отцѣпили?

Не получивъ отвѣта, старикъ идетъ на станцію. Онъ ищетъ сначала знакомаго оберъ-кондуктора и, не найдя его, идетъ къ начальнику станціи. Начальникъ сидитъ у себя въ комнатѣ за столомъ и перебираетъ пальцами пачку какихъ-то бланковъ. Онъ занятъ и дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ вошедшаго. Наружность у него внушительная: голова черная, стриженая, уши оттопыренныя, носъ длинный, съ горбиной, лицо смуглое; выраженіе у него суровое и какъ будто оскорбленное. Малахинъ начинаетъ длинно излагать ему свою претензію.

— Что-съ? — спрашиваетъ начальникъ. — Какъ? — онъ откидывается на спинку стула и продолжаетъ, возмущаясь:— что-съ? А почему же вамъ не ѣхать съ восемнадцатымъ номеромъ? Говорите яснѣе, я ничего не понимаю! Какъ? Прикажете мнѣ разорваться на части?

Онъ сыплетъ вопросами и безъ всякой видимой причины становится все строже и строже. Малахинъ уже лѣзетъ въ карманъ за бумажникомъ, но начальникъ, въ концѣ оскорбленный и возмущенный, неизвѣстно чѣмъ, вскакиваетъ со стула и выбѣгаетъ изъ комнаты. Малахинъ, пожимая плечами, выходитъ и ищетъ, съ кѣмъ бы еще поговорить.

Отъ скуки ли, изъ желанія ли завершить хлопотливый день еще какой-нибудь новой хлопотой, или просто потому, что на глаза ему попадается оконце съ вывѣской «Телеграфъ», онъ подходитъ къ окну и заявляетъ желаніе послать телеграмму. Взявши перо, онъ думаетъ и пишетъ на синемъ бланкѣ: «Срочная. Начальнику движенія. Восемь вагоновъ живымъ грузомъ. Задерживаютъ на каждой станціи. Прошу дать скорый номеръ. Отвѣтъ уплоченъ. Малахинъ».

Пославъ телеграмму, онъ опять идетъ въ комнату начальника станціи. Тутъ на диванчикѣ, обитомъ сѣрымъ сукномъ, сидитъ какой-то благообразный господинъ съ бакенами, въ очкахъ и въ енотовой шапкѣ; на немъ какая-то странная шубка, очень похожая на женскую, съ мѣховой опушкой, съ аксельбантами и съ разрѣзами на рукавахъ. Передъ нимъ стоитъ другой господинъ, сухой и жилистый, въ формѣ контролера.

— Помилуйте, — разсказываетъ контролеръ, обращаясь къ господину въ странной шубкѣ. — Я сейчасъ разскажу вамъ случай такой, что мое вамъ почтеніе! Z—я дорога преспокойнѣйшимъ образомъ украла у N—ской дороги триста товарныхъ вагоновъ. Это фактъ-съ! Клянусь Богомъ! Завезла къ себѣ, перекрасила, выставила свои литеры и— сдѣлайте ваше одолженіе! N—ская дорога шлетъ всюду агентовъ, ищетъ, ищетъ, и вдругъ, можете себѣ представить, попадается ей больной вагонъ Z—ской дороги. Она чинитъ его у себя въ депо и вдругъ, мое вамъ почтеніе, видитъ на колесахъ и осяхъ свое клеймо. Каково-съ? А? Сдѣлай это я, меня въ Сибирь сошлютъ, а желѣзнымъ дорогамъ—пссс!

Малахину пріятно поговорить съ интеллигентными, образованными людьми. Онъ разглаживаетъ бороду и солидно вмѣшивается въ разговоръ.

— Взять теперь, господа, къ примѣру хоть такой случай,—говоритъ онъ. — Я везу быковъ въ X. Восемь вагоновъ. Хорошо-съ... Скажемъ теперь такъ: берутъ съ меня за каждый вагонъ, какъ за 600 пудовъ тяги. Въ восьми быкахъ не будетъ шести сотъ пудовъ, а гораздо меньше, они же не принимаютъ этого себѣ во вниманіе...

Въ это время въ комнату входитъ Яша, ищущій отца. Онъ слушаетъ и хочетъ сѣсть на стулъ, но, вѣроятно, вспомнивъ про свою тяжесть, отходитъ отъ стула и садится на подоконникъ.

— А они не принимаютъ это себѣ во вниманіе,—продолжаетъ Малахинъ: — и берутъ еще съ меня и съ сына за то, что мы при быкахъ ѣдемъ, сорокъ два рубля, какъ за III классъ. Это мой сынъ Іаковъ; есть у меня дома еще двое, да тѣ по ученой части. Ну-съ, и кромѣ того, я такъ понимаю, что желѣзныя дороги разорили скотопромышленниковъ. Прежде, когда гурты гоняли, лучше было.

Говоритъ старикъ протяжно и длинно. Послѣ каждой фразы онъ взглядываетъ на Яшу, какъ бы желая сказать: гляди, какъ я съ умными людьми разговариваю!

— Помилуйте!—перебиваетъ его контролеръ.—Никто не возмущается, никто не критикуетъ! А почему? Очень просто! Мерзость возмущаетъ и рѣжетъ глаза только тамъ, гдѣ она случайна, гдѣ ею нарушается порядокъ; здѣсь же, гдѣ она, мое вамъ почтеніе, составляетъ давно заведенную программу и входитъ въ основу самаго порядка, гдѣ каждая шпала носитъ ея слѣдъ и издаетъ ея запахъ, она слишкомъ скоро входитъ въ привычку! Да-съ!

Бьетъ второй звонокъ. Господинъ въ странной шубкѣ поднимается. Контролеръ беретъ его подъ руку и, продолжая горячо говорить, уходитъ съ нимъ на платформу. Послѣ третьяго звонка въ комнату вбѣгаетъ начальникъ станціи и садится за свой столъ.

— Послушайте, съ какимъ же номеромъ я поѣду?—спрашиваетъ Малахинъ.

Начальникъ глядитъ въ бланокъ и говоритъ, возмущаясь:

— Вы Малахинъ? Восемь вагоновъ? Съ васъ по рублю за вагонъ и шесть двадцать за марки. У васъ марокъ нѣтъ. Итого 14 руб. 20 коп.

Получивъ деньги, онъ записываетъ что-то, засыпаетъ пескомъ и, сердито рванувъ со стола пачку бланковъ, быстро выходитъ изъ комнаты.

Въ 10 часовъ вечера Малахинъ получаетъ отвѣтъ начальника движенія: «Дать преимущество». Прочитавъ эту телеграмму, старикъ значительно подмигиваетъ глазомъ и, очень довольный собою, кладетъ ее въ карманъ.

— Вотъ,—говоритъ онъ Яшѣ.—Гляди и пріучайся.

Въ полночь его поѣздъ идетъ дальше. Ночь, какъ вчера темная и холодная, стоянки долгія. Яша сидитъ на буркѣ и невозмутимо пиликаетъ на гармоникѣ, а старику все еще хочется хлопотать. На одной изъ станцій ему приходитъ охота составить протоколъ. По его требованію, жандармъ садится и пишетъ: «188* года ноября 10 я, унтеръ-офицеръ Z-го отдѣленія N-скаго жандармскаго полицейскаго управленія желѣзныхъ дорогъ Илья Чередъ, на основаніи 11 статьи закона 19-го мая 1871 года, составилъ сей протоколъ на станціи Х. въ нижеслѣдующемъ...»

— Дальше что писать?—спрашиваетъ жандармъ.

Малахинъ выкладываетъ передъ нимъ бланки, почтовыя и телеграфныя расписки, счеты... Что ему нужно отъ жандарма, онъ самъ опредѣленно не знаетъ; ему хочется описать въ протоколѣ не какой-нибудь отдѣльный эпизодъ, а все свое путешествіе, всѣ свои убытки, разговоры съ начальниками станцій, описать длинно и язвительно.

— А на станціи Z.,—говоритъ онъ:—напишите: начальникъ станціи отцѣпилъ мои вагоны отъ воинскаго поѣзда, потому что моя физіономія ему не понравилась.

И ему хочется, чтобы жандармъ непремѣнно упомянулъ о физіономіи. Тотъ утомленно слушаетъ и, не дослушавъ, продолжаетъ писать. Свой протоколъ онъ заканчиваетъ такъ: «Вышеизложенное я, унтеръ-офицеръ Чередъ, записалъ въ сей протоколъ и постановилъ представить оный начальнику Z-го отдѣленія, а копію онаго выдать мѣщанину Гаврилѣ Малахину». Старикъ беретъ копію, пріобщаетъ ее къ бумагамъ, которыми набитъ его боковой карманъ, и очень довольный идетъ къ себѣ въ вагонъ.

Утромъ Малахинъ опять просыпается не въ духѣ, но уже гнѣвъ свой изливаетъ не на Яшѣ, а на быкахъ.

— Пропали быки!—ворчитъ онъ.—Пропали! Они передохнутъ! Накажи меня Богъ, передохнутъ всѣ! Тьфу!

Быки, давно уже не пившіе, мучимые жаждою, лижутъ иней на стѣнахъ и, когда подходитъ къ нимъ Малахинъ, начинаютъ лизать его холодный полушубокъ. По ихъ свѣтлымъ слезящимся глазамъ видно, что они изнеможены жаждой и вагонной качкой, голодны и тоскуютъ.

— Вотъ, вози васъ, проклятыхъ!—ворчитъ Малахинъ.—Ужъ издыхали бы поскорѣй, что ли! Глядѣть на васъ противно.

Въ полдень поѣздъ останавливается у большой станціи, гдѣ, по правиламъ, для живого груза устраивается водопой. Быкамъ Малахина даютъ пить, но быки не пьютъ: вода оказывается слишкомъ холодной...

Проходитъ еще двое сутокъ и наконецъ вдали, въ смугломъ туманѣ показывается столица. Путь конченъ. Поѣздъ останавливается, не доѣзжая города, около товарной станціи. Быки, выпущенные изъ вагоновъ на волю, пошатываются и спотыкаются, точно идутъ по скользкому льду.

Покончивъ съ выгрузкой и ветеринарнымъ осмотромъ,

Малахинъ и Яша поселяются въ грязныхъ, дешевыхъ номерахъ на окраинѣ города, на той самой площади, гдѣ производится торгъ скотомъ. Живутъ они въ грязи, ѣдятъ отвратительно, какъ никогда не ѣли у себя дома, спятъ подъ рѣзкіе звуки плохого оркестріона, день и ночь играющаго въ трактирѣ подъ номерами. Старикъ съ утра уходитъ куда-то искать покупателей, а Яша по цѣлымъ днямъ сидитъ въ номерѣ, или же выходитъ на улицу поглядѣть столичный городъ. Онъ видитъ грязную, унавоженную площадь, трактирныя вывѣски, зубчатую стѣну монастыря въ туманѣ... Изрѣдка перебѣжитъ онъ улицу и заглянетъ въ окно бакалейной лавочки, полюбуется на банки съ разноцвѣтными пряниками, зѣвнетъ и лѣниво поплетется къ себѣ въ номеръ. Столица не интересуетъ его.

Наконецъ быковъ продаютъ какому-то купцу. Малахинъ нанимаетъ погонщиковъ. Всѣхъ быковъ дѣлятъ на партіи по десяти головъ въ каждой и гонятъ ихъ на другой конецъ города. Быки, понуривъ головы, утомленные, идутъ по шумнымъ улицамъ и равнодушно глядятъ на то, что видятъ они первый и послѣдній разъ въ жизни. Оборванные погонщики идутъ за ними, тоже понуривъ головы. Имъ скучно... Изрѣдка какой-нибудь погонщикъ встрепенется отъ думъ, вспомнитъ, что впереди его идутъ ввѣренные ему быки, и, чтобы показать себя занятымъ человѣкомъ, со всего размаха ударитъ палкой по спинѣ быка. Быкъ спотыкнется отъ боли, пробѣжитъ шаговъ десять впередъ и поглядитъ въ стороны съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему совѣстно, что его бьютъ при чужихъ людяхъ.

Продавъ быковъ и накупивъ для семьи гостинцевъ, какіе можно было бы купить у себя дома, Малахинъ и Яша собираются въ обратный путь. За три часа до отхода поѣзда, старикъ, уже выпившій съ покупателемъ, а потому хлопотливый, спускается съ Яшей въ трактиръ и садится пить чай. Какъ всѣ провинціалы, онъ не можетъ одинъ пить и ѣсть: ему нужна компанія, такая же хлопотливая и разсудительная, какъ онъ самъ.

— Позови хозяина! — говоритъ онъ половому. — Скажи, что я его угостить желаю изъ любезности.

Хозяинъ, человѣкъ сытый и совершенно равнодушный къ своимъ постояльцамъ, приходитъ и садится за столъ.

— Ну, поторговали!—говоритъ ему Малахинъ, смѣясь.— Промѣняли козу на ястреба. Какъ же, уѣхали сюда—было мясо по три-девяносто, а пріѣзжаемъ—оно ужъ по три съ четвертакомъ. Говорятъ, опоздали, было бы тремя днями раньше пріѣзжать, потому что теперь на мясо спросъ не тотъ, Филишовъ постъ пришелъ... А? Чистая катавасія! На каждомъ быкѣ взялъ убытку четырнадцать рублей. Да вы посудите: провозъ быка сколько стоитъ? Пятнадцать рублей тарифа, да шесть рублей кладите на каждаго быка—шахеръ-махеръ, взятки, угощенія, то да се...

Хозяинъ изъ приличія слушаетъ и неохотно хлебаетъ чай. Малахинъ охаетъ, всплескиваетъ руками, подшучиваетъ надъ своей неудачей, но по всему видно, что понесенный имъ убытокъ мало волнуетъ его. Ему все равно, что убытокъ, что польза, лишь бы только были у него слушатели, было бы о чемъ хлопотать, да не опоздать бы какъ-нибудь на поѣздъ.

Черезъ часъ Малахинъ и Яша, навьюченные мѣшками и чемоданами, спускаются изъ номеровъ внизъ къ выходу, чтобы садиться на извозчика и ѣхать на вокзалъ. Ихъ провожаютъ хозяинъ, коридорные и какія-то бабы. Старикъ растроганъ. Онъ тычетъ во всѣ стороны гривенники и говоритъ нараспѣвъ:

— Прощайте, оставайтесь здоровы! Дай Богъ вамъ, чтобъ все было, какъ надо. Богъ дастъ, коли будемъ живы и здоровы, опять пріѣдемъ въ Великомъ посту. Прощайте! Спасибо... дай Богъ!

Сѣвши въ санки, старикъ снимаетъ шапку и долго крестится въ ту сторону, гдѣ въ туманѣ темнѣетъ монастырская стѣна. Яша садится рядомъ съ нимъ на краешекъ сидѣнья и свѣшиваетъ ногу въ сторону. Его лицо попрежнему безстрастно и не выражаетъ ни скуки, ни желаній. Онъ не радуется, что ѣдетъ домой, и не жалѣетъ, что не успѣлъ поглядѣть на столицу.

— Трогай!

Извозчикъ бьетъ по лошадкѣ и, обернувшись, начинаетъ браниться за тяжелый и громоздкій багажъ.

СКУЧНАЯ ИСТОРІЯ.

(Изъ записокъ стараго человѣка.)

I.

Есть въ Россіи заслуженный профессоръ Николай Степановичъ такой-то, тайный совѣтникъ и кавалеръ; у него такъ много русскихъ и иностранныхъ орденовъ, что когда ему приходится надѣвать ихъ, то студенты величаютъ его иконостасомъ. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мѣрѣ за послѣднія 25 — 30 лѣтъ въ Россіи нѣтъ и не было такого знаменитаго ученаго, съ которымъ онъ не былъ бы коротко знакомъ. Теперь дружить ему не съ кѣмъ, но если говорить о прошломъ, то длинный списокъ его славныхъ друзей заканчивается такими именами, какъ Пироговъ, Кавелинъ и поэтъ Некрасовъ, дарившіе его самой искренней и теплой дружбой. Онъ состоитъ членомъ всѣхъ русскихъ и трехъ заграничныхъ университетовъ. И прочее, и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляетъ то, что называется моимъ именемъ.

Это мое имя популярно. Въ Россіи оно извѣстно каждому грамотному человѣку, а за границею оно упоминается съ каѳедръ съ прибавкою извѣстный и почтенный. Принадлежитъ оно къ числу тѣхъ немногихъ счастливыхъ именъ, бранить которыя или упоминать ихъ всуе въ публикѣ и въ печати считается признакомъ дурного тона. Такъ это и должно быть. Вѣдь съ моимъ именемъ тѣсно связано понятіе о человѣкѣ знаменитомъ, богато одаренномъ и несо-

мнѣнно полезномъ. Я трудолюбивъ и выносливъ, какъ верблюдъ, а это важно, и талантливъ, а это еще важнѣе. Къ тому же, къ слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совалъ своего носа въ литературу и въ политику, не искалъ популярности въ полемикѣ съ невѣждами, не читалъ рѣчей ни на обѣдахъ, ни на могилахъ своихъ товарищей... Вообще на моемъ ученомъ имени нѣтъ ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящій это имя, т. е. я, изображаю изъ себя человѣка 62 лѣтъ, съ лысой головой, съ вставными зубами и съ неизлѣчимымъ tic'омъ. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тусклъ и безобразенъ я самъ. Голова и руки у меня трясутся отъ слабости; шея, какъ у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, ротъ у меня кривится въ сторону; когда улыбаюсь — все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нѣтъ внушительнаго въ моей жалкой фигурѣ; только развѣ, когда бываю я боленъ tic'омъ, у меня появляется какое-то особенное выраженіе, которое у всякаго, при взглядѣ на меня, должно-быть, вызываетъ суровую внушительную мысль: «Повидимому, этотъ человѣкъ скоро умретъ».

Читаю я попрежнему не худо; какъ и прежде, я могу удерживать вниманіе слушателей въ продолженіе двухъ часовъ. Моя страстность, литературность изложенія и юморъ дѣлаютъ почти незамѣтными недостатки моего голоса, а онъ у меня сухъ, рѣзокъ и пѣвучъ, какъ у ханжи. Пишу же я дурно. Тотъ кусочекъ моего мозга, который завѣдуетъ писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабѣла, въ мысляхъ недостаточно послѣдовательности, и когда я излагаю ихъ на бумагѣ, мнѣ всякій разъ кажется, что я утерялъ чутье къ ихъ органической связи, конструкція однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конецъ, не помню начала. Часто я забываю обыкновенныя слова, и всегда мнѣ приходится тратить много энергіи, чтобы избѣгать въ письмѣ лишнихъ фразъ и ненужныхъ вводныхъ предложеній — то и другое ясно свидѣтельствуетъ объ упадкѣ умственной дѣятельности. И замѣчательно, чѣмъ проще письмо, тѣмъ мучительнѣе мое напряженіе. За научной статьей я чувствую себя го-

раздо свободнѣе и умнѣе, чѣмъ за поздравительнымъ письмомъ или докладной запиской. Еще одно: писать по-нѣмецки или по-англійски для меня легче, чѣмъ по-русски.

Что касается моего теперешняго образа жизни, то прежде всего я долженъ отмѣтить безсонницу, которою страдаю въ послѣднее время. Если бы меня спросили: что составляетъ теперь главную и основную черту твоего существованія? Я отвѣтилъ бы: безсонница. Какъ и прежде, по привычкѣ, ровно въ полночь я раздѣваюсь и ложусь въ постель. Засыпаю я скоро, но во второмъ часу просыпаюсь, и съ такимъ чувствомъ, какъ будто совсѣмъ не спалъ. Приходится вставать съ постели и зажигать лампу. Часъ, или два я хожу изъ угла въ уголъ по комнатѣ и разсматриваю давно знакомыя картины и фотографіи. Когда надоѣдаетъ ходить, сажусь за свой столъ. Сижу я неподвижно, ни о чемъ не думая и не чувствуя никакихъ желаній; если передо мной лежитъ книга, то машинально я придвигаю ее къ себѣ и читаю безъ всякаго интереса. Такъ, недавно, въ одну ночь я прочелъ машинально цѣлый романъ подъ страннымъ названіемъ: «О чемъ пѣла ласточка». Или же я, чтобы занять свое вниманіе, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь изъ товарищей и начинаю вспоминать: въ какомъ году и при какихъ обстоятельствахъ онъ поступилъ на службу? Люблю прислушиваться къ звукамъ. То за двѣ комнаты отъ меня быстро проговоритъ что-нибудь въ бреду моя дочь Лиза, то жена пройдетъ черезъ залу со свѣчой и непремѣнно уронитъ коробку со спичками, то скрипнетъ разсыхающійся шкапъ, или неожиданно загудитъ горѣлка въ лампѣ — и всѣ эти звуки почему-то волнуютъ меня.

Не спать ночью—значитъ каждую минуту сознавать себя ненормальнымъ, а потому я съ нетерпѣніемъ жду утра и дня, когда я имѣю право не спать. Проходитъ много томительнаго времени, прежде чѣмъ на дворѣ закричитъ пѣтухъ. Это мой первый благовѣститель. Какъ только онъ прокричитъ, я уже знаю, что черезъ часъ внизу проснется швейцаръ и, сердито кашляя, пойдетъ зачѣмъ-то вверхъ по лѣстницѣ. А потомъ за окнами начнетъ мало-по-малу блѣднѣть воздухъ, раздадутся на улицѣ голоса...

День начинается у меня приходомъ жены. Она входитъ ко мнѣ въ юбкѣ, непричесанная, но уже умытая, пахнущая

двѣточнымъ одеколономъ, и съ такимъ видомъ, какъ будто вошла нечаянно, и всякій разъ говоритъ одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты опять не спалъ?

Затѣмъ она тушитъ лампу, садится около стола и начинаетъ говорить. Я не пророкъ, но заранѣе знаю, о чемъ будетъ рѣчь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, послѣ тревожныхъ разспросовъ о моемъ здоровьѣ, она вдругъ вспоминаетъ о нашемъ сынѣ офицерѣ, служащемъ въ Варшавѣ. Послѣ двадцатаго числа каждаго мѣсяца мы высылаемъ ему по 50 рублей—это главнымъ образомъ и служитъ темою для нашего разговора.

— Конечно, это намъ тяжело,—вздыхаетъ жена:—но пока онъ окончательно не сталъ на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчикъ на чужой сторонѣ, жалованье маленькое... Впрочемъ, если хочешь, въ будущемъ мѣсяцѣ мы пошлемъ ему не пятьдесятъ, а сорокъ. Какъ ты думаешь?

Ежедневный опытъ могъ бы убѣдить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говоримъ о нихъ, но жена моя не признаетъ опыта и аккуратно каждое утро разсказываетъ и о нашемъ офицерѣ, и о томъ, что хлѣбъ, славу Богу, сталъ дешевле, а сахаръ подорожалъ на двѣ копейки — и все это такимъ тономъ, какъ будто сообщаетъ мнѣ новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю и, вѣроятно оттого, что не спалъ ночь, странныя, ненужныя мысли овладѣваютъ мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь какъ ребенокъ. Въ недоумѣніи я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, съ тупымъ выраженіемъ мелочной заботы и страха передъ кускомъ хлѣба, со взглядомъ, отуманеннымъ постоянными мыслями о долгахъ и нуждѣ, умѣющая говорить только о расходахъ и улыбаться только дешевизнѣ — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбилъ за хорошій, ясный умъ, за чистую душу, красоту и, какъ Отелло Дездемону, за «состраданье» къ моей наукѣ? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мнѣ сына?

Я напряженно всматриваюсь въ лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу въ ней свою Варю, но отъ прошлаго у ней уцѣлѣлъ только страхъ за мое здоровье, да еще манера мое жалованье называть нашимъ жалованьемъ, мою шапку—

пашей шапкой. Мнѣ больно смотрѣть на нее, и чтобы утѣшить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судитъ о людяхъ, или журитъ меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебниковъ.

Кончается нашъ разговоръ всегда одинаково. Жена вдругъ вспоминаетъ, что я еще не пилъ чаю, и пугается.

— Что жъ это я сижу?—говоритъ она, поднимаясь.— Самоваръ давно на столѣ, а я тутъ болтаю. Какая я стала безпамятная, Господи!

Она быстро идетъ и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять мѣсяцевъ. Ты это знаешь? Не слѣдуетъ запускать жалованья прислугѣ, сколько разъ я говорила! Отдать за мѣсяцъ десять рублей гораздо легче, чѣмъ за пять мѣсяцевъ—пятьдесятъ!

Выйдя за дверь, она опять останавливается и говоритъ:

— Никого мнѣ такъ не жаль, какъ нашу бѣдную Лизу. Учится дѣвочка въ консерваторіи, постоянно въ хорошемъ обществѣ, а одѣта Богъ знаетъ какъ. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но вѣдь всѣ знаютъ, что ея отецъ знаменитый профессоръ, тайный совѣтникъ!

И, попрекнувъ меня моимъ именемъ и чиномъ, она наконецъ уходитъ. Такъ начинается мой день. Продолжается онъ не лучше.

Когда я пью чай, ко мнѣ входитъ моя Лиза, въ шубкѣ, въ шапочкѣ и съ нотами, уже совсѣмъ готовая, чтобы идти въ консерваторію. Ей 22 года. На видъ она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену въ молодости. Она нѣжно цѣлуетъ меня въ високъ и въ руку и говоритъ:

— Здравствуй, папочка. Ты здоровъ?

Въ дѣтствѣ она очень любила мороженое, и мнѣ часто приходилось водить ее въ кондитерскую. Мороженое для нея было мѣриломъ всего прекраснаго. Если ей хотѣлось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Одинъ пальчикъ назывался у нея фисташковымъ, другой сливочнымъ, третій малиновымъ и т. д. Обыкновенно, когда по утрамъ она приходила ко мнѣ здороваться, я сажалъ ее къ себѣ на колѣни и, цѣлуя ея пальчики, приговаривалъ:

— Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я цѣлую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходитъ у меня совсѣмъ не то. Я холоденъ какъ мороженое, и мнѣ стыдно. Когда входитъ ко мнѣ дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю точно въ високъ жалитъ меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. Съ тѣхъ поръ, какъ я страдаю безсонницей, въ моемъ мозгу гвоздемъ сидитъ вопросъ: дочь моя часто видитъ, какъ я, старикъ, знаменитый человѣкъ, мучительно краснѣю оттого, что долженъ лакею; она видитъ, какъ часто забота о мелкихъ долгахъ заставляетъ меня бросать работу и по цѣлымъ часамъ ходить изъ угла въ уголъ и думать, но отчего же она ни разу тайкомъ отъ матери не пришла ко мнѣ и не шепнула: «Отецъ, вотъ мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложи все это, тебѣ нужны деньги...»? Отчего она, видя, какъ я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть отъ людей свою бѣдность, отчего она не откажется отъ дорогого удовольствія заниматься музыкой? Я бы не принялъ ни часовъ, ни браслетовъ, ни жертвъ, храни меня Богъ, — мнѣ не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавскаго офицера. Это умный, честный и трезвый человѣкъ. Но мнѣ мало этого. Я думаю, если бы у меня былъ отецъ старикъ и если бы я зналъ, что у него бываютъ минуты, когда онъ стыдится своей бѣдности, то офицерское мѣсто я отдалъ бы кому-нибудь другому, а самъ нанялся бы въ работники. Подобныя мысли о дѣтяхъ отравляютъ меня. Къ чему онѣ? Таить въ себѣ злое чувство противъ обыкновенныхъ людей за то, что они не герои, можетъ только узкій или озлобленный человѣкъ. Но довольно объ этомъ.

Въ безъ четверти десять нужно идти къ моимъ милымъ мальчикамъ читать лекцію. Одѣваюсь и иду по дорогѣ, которая знакома мнѣ уже 30 лѣтъ и имѣетъ для меня свою исторію. Вотъ большой, сѣрый домъ съ аптекой; тутъ когда-то стоялъ маленькій домикъ, а въ немъ была портерная; въ этой портерной я обдумывалъ свою диссертацію и написалъ первое любовное письмо къ Варѣ. Писалъ карандашомъ, на листѣ съ заголовкомъ «Historia morbi». Вотъ бакалейная лавочка; когда-то хозяйничалъ въ ней жидокъ, продававшій мнѣ въ долгъ папиросы, потомъ толстая баба,

любившая студентовъ за то, что «у каждаго изъ нихъ мать есть»; теперь сидитъ рыжій купецъ, очень равнодушный человѣкъ, пьющій чай изъ мѣднаго чайника. А вотъ мрачныя, давно не ремонтированныя университетскія ворота; скучающій дворникъ въ тулупѣ, метла, кучи снѣга... На свѣжаго мальчика, пріѣхавшаго изъ провинціи и воображающаго, что храмъ науки въ самомъ дѣлѣ храмъ, такія ворота не могутъ произвести здороваго впечатлѣнія. Вообще ветхость университетскихъ построекъ, мрачность коридоровъ, копоть стѣнъ, недостатокъ свѣта, унылый видъ ступеней, вѣшалокъ и скамей въ исторіи русскаго пессимизма занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ на ряду причинъ предрасполагающихъ... Вотъ и нашъ садъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я былъ студентомъ, онъ, кажется, не сталъ ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнѣе, если бы вмѣсто чахоточныхъ липъ, желтой акаціи и рѣдкой, стриженой сирени росли тутъ высокія сосны и хорошіе дубы. Студентъ, настроеніе котораго въ большинствѣ создается обстановкой, на каждомъ шагу, тамъ, гдѣ онъ учится, долженъ видѣть передъ собою только высокое, сильное и изящное... Храни его Богъ отъ тощихъ деревьевъ, разбитыхъ окопъ, сѣрыхъ стѣнъ и дверей, обитыхъ рваной клеенкой.

Когда подхожу я къ своему крыльцу, дверь распахивается и меня встрѣчаетъ мой старый сослуживецъ, сверстникъ и тезка швейцаръ Николай. Впустивъ меня, онъ крякаетъ и говоритъ:

— Морозъ, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

— Дождикъ, ваше превосходительство!

Затѣмъ онъ бѣжитъ впереди меня и отворяетъ на моемъ пути всѣ двери. Въ кабинетѣ онъ бережно снимаетъ съ меня шубу и въ это время успѣваетъ сообщить мнѣ какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существуетъ между всѣми университетскими швейцарами и сторожами, ему извѣстно все, что происходитъ на четырехъ факультетахъ, въ канцеляріи, въ кабинетѣ ректора, въ библіотекѣ. Чего только онъ не знаетъ? Когда у насъ злобою дня бываетъ, напримѣръ, отставка ректора или декана, то я слышу, какъ онъ, разговаривая съ молодыми сторожами, называетъ кандидатовъ и тутъ же поясняетъ, что такого-то не утвердитъ министръ, такой-то

самъ откажется, потомъ вдается въ фантастическія подробности о какихъ-то таинственныхъ бумагахъ, полученныхъ въ канцеляріи, о секретномъ разговорѣ, бывшемъ якобы у министра съ попечителемъ и т. п. Если исключить эти подробности, то въ общемъ онъ почти всегда оказывается правымъ. Характеристики, дѣлаемыя имъ каждому изъ кандидатовъ, своеобразны, но тоже вѣрны. Если вамъ нужно узнать, въ какомъ году кто защищалъ диссертацію, поступилъ на службу, вышелъ въ отставку, или умеръ, то призовите къ себѣ на помощь громадную память этого солдата, и онъ не только назоветъ вамъ годъ, мѣсяцъ и число, но и сообщитъ также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Такъ помнитъ можетъ только тотъ, кто любитъ.

Онъ хранитель университетскихъ преданій. Отъ своихъ предшественниковъ-швейцаровъ онъ получилъ въ наслѣдство много легендъ изъ университетской жизни, прибавилъ къ этому богатству много своего добра, добытаго за время службы, и если хотите, то онъ разскажетъ вамъ много длинныхъ и короткихъ исторій. Онъ можетъ разсказать о необыкновенныхъ мудрецахъ, знавшихъ *все*, о замѣчательныхъ труженикахъ, не спавшихъ по недѣлямъ, о многочисленныхъ мученикахъ и жертвахъ науки; добро торжествуетъ у него надъ зломъ, слабый всегда побѣждаетъ сильнаго, мудрый глупаго, скромный гордаго, молодой стараго... Нѣтъ надобности принимать всѣ эти легенды и небылицы за чистую монету, но процѣдите ихъ, и у васъ на фильтрѣ останется то, что нужно: наши хорошія традиціи и имена истинныхъ героевъ, признанныхъ всѣми.

Въ нашемъ обществѣ всѣ свѣдѣнія о мірѣ ученыхъ исчерпываются анекдотами о необыкновенной разсѣянности старыхъ профессоровъ и двумя-тремя остротами, которыя приписываются то Груберу, то мнѣ, то Бабухину. Для образованнаго общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученыхъ и студентовъ такъ, какъ Николай, то его литература давно бы уже имѣла цѣлыя эпопеи, сказанія и житія, какихъ, къ сожалѣнію, она не имѣетъ теперь.

Сообщивъ мнѣ новость, Николай придаетъ своему лицу строгое выраженіе, и у насъ начинается дѣловой разговоръ. Если бы въ это время кто-нибудь посторонній послушалъ, какъ Николай свободно обращается съ термино-

логіей, то, пожалуй, могъ бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатомъ. Кстати сказать, толки объ учености университетскихъ сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знаетъ больше сотни латинскихъ названій, умѣетъ собрать скелетъ, иногда приготовить препаратъ, разсмѣшитъ студентовъ какой-нибудь длинной, ученой цитатой, но, напримѣръ, незамысловатая теорія кровообращенія для него и теперь такъ же темна, какъ 20 лѣтъ назадъ.

За столомъ въ кабинетѣ, низко нагнувшись надъ книгой или препаратомъ, сидитъ мой прозекторъ Петръ Игнатьевичъ, трудолюбивый, скромный, но безталанный человѣкъ, лѣтъ 35, уже плѣшивый и съ большимъ животомъ. Работаетъ онъ отъ утра до ночи, читаетъ массу, отлично помнитъ все прочитанное—и въ этомъ отношеніи онъ не человѣкъ, а золото; въ остальномъ же прочемъ—это домовой конь, или, какъ иначе говорятъ, ученый тупица. Характерныя черты ломового коня, отличающія его отъ таланта, таковы: кругозоръ его тѣсенъ и рѣзко ограниченъ спеціальностью; внѣ своей спеціальности онъ наивенъ какъ ребенокъ. Помнится, какъ-то утромъ я вошелъ въ кабинетъ и сказалъ:

— Представьте, какое несчатье! Говорятъ, Скобелевъ умеръ.

Николай перекрестился, а Петръ Игнатьевичъ обернулся ко мнѣ и спросилъ:

— Какой это Скобелевъ?

Въ другой разъ — это было нѣсколько раньше — я объявилъ, что умеръ профессоръ Перовъ. Милѣйшій Петръ Игнатьевичъ спросилъ:

— А что онъ читалъ?

Кажется, запой у него подъ самымъ ухомъ Патти, нападі на Россію полчища китайцевъ, случись землетрясеніе, онъ не пошевельнется ни однимъ членомъ и преспокойно будетъ смотрѣть прищуреннымъ глазомъ въ свой микроскопъ. Однимъ словомъ, до Гекубы ему нѣтъ никакого дѣла. Я бы дорого далъ, чтобы посмотрѣть, какъ этотъ сухарь спитъ со своей женой.

Другая черта: фанатическая вѣра въ непогрѣшимость науки и главнымъ образомъ всего того, что пишутъ нѣмцы. Онъ увѣренъ въ самомъ себѣ, въ своихъ препаратахъ,

знаетъ цѣль жизни и совершенно не знакомъ съ сомнѣніями и разочарованіями, отъ которыхъ сѣдѣютъ таланты. Рабское поклоненіе авторитетамъ и отсутствіе потребности самостоятельно мыслить. Разубѣдить его въ чемъ-нибудь трудно, спорить съ нимъ невозможно. Извольте-ка поспорить съ человѣкомъ, который глубоко убѣжденъ, что самая лучшая наука—медицина; самые лучшіе люди—врачи, самыя лучшія традиціи — медицинскія. Отъ недобраго медицинскаго прошлаго уцѣлѣла только одна традиція—бѣлый галстукъ, который носятъ теперь доктора; для ученаго же и вообще образованнаго человѣка могутъ существовать только традиціи обще-университетскія, безъ всякаго дѣленія ихъ на медицинскія, юридическія и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться съ этимъ и онъ готовъ спорить съ вами до страшнаго суда.

Будущность его представляется мнѣ ясно. За всю свою жизнь онъ приготовитъ нѣсколько сотенъ препаратовъ необыкновенной чистоты, напишетъ много сухихъ, очень приличныхъ рефератовъ, сдѣлаетъ съ десятокъ добросовѣстныхъ переводовъ, но пороха не выдумаетъ. Для пороха нужны фантазія, изобрѣтательность, умѣніе угадывать, а у Петра Игнатьевича нѣтъ ничего подобнаго. Короче говоря, это не хозяинъ въ наукѣ, а работникъ.

Я, Петръ Игнатьевичъ и Николай говоримъ вполголоса. Намъ немножко не по себѣ. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью моремъ гудитъ аудиторія. За 30 лѣтъ я не привыкъ къ этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртукъ, задаю Николаю лишніе вопросы, сержусь... Похоже на то, какъ будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не въ состояніи ни назвать, ни описать.

Безъ всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что жъ? Надо идти.

И мы шествуемъ въ такомъ порядкѣ: впереди идетъ Николай съ препаратами или съ атласами, за нимъ я, а за мною, скромно поникнувъ головою, шагаетъ ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилкахъ несутъ трупъ, за трупомъ идетъ Николай и т. д. При моемъ появленіи студенты встаютъ, потомъ садятся, и шумъ моря внезапно стихаетъ. Наступаетъ штиль.

Я знаю, о чемъ буду читать, но не знаю, какъ буду чи-

тать, съ чего начну и чѣмъ кончу. Въ головѣ нѣтъ ни одной готовой фразы. Но стоитъ мнѣ только оглядѣть аудиторію (она построена у меня амфитеатромъ) и произнести стереотипное «въ прошлой лекціи мы остановились на...», какъ фразы длинной вереницей вылетаютъ изъ моей души и — пошла писать губернія! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нѣтъ той силы, которая могла бы прервать теченіе моей рѣчи. Чтобы читать хорошо, т. е. нескучно и съ пользой для слушателей, нужно, кромѣ таланта, имѣть еще сноровку и опытъ, нужно обладать самымъ яснымъ представленіемъ о своихъ силахъ, о тѣхъ, кому читаешь, и о томъ, что составляетъ предметъ твоей рѣчи. Кромѣ того, надо быть человѣкомъ себѣ на умѣ, слѣдить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрѣнія.

Хорошій дирижеръ, передавая мысль композитора, дѣлаетъ сразу двадцать дѣлъ: читаетъ партитуру, машетъ палочкой, слѣдитъ за пѣвцомъ, дѣлаетъ движеніе въ сторону то барабана, то волторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лицъ непохожихъ одно на другое, и триста глазъ, глядящихъ мнѣ прямо въ лицо. Цѣль моя—побѣдить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имѣю ясное представленіе о степени ея вниманія и о силѣ разумѣнія, то она въ моей власти. Другой мой противникъ сидитъ во мнѣ самомъ. Это—безконечное разнообразіе формъ, явленій и законовъ и множество ими обусловленныхъ своихъ и чужихъ мыслей. Каждую минуту я долженъ имѣть ловкость выхватывать изъ этого громаднаго матеріала самое важное и нужное, и такъ же быстро, какъ течетъ моя рѣчь, облекать свою мысль въ такую форму, которая была бы доступна разумѣнію гидры и возбуждала бы ея вниманіе, причемъ надо зорко слѣдить, чтобы мысли передавались не по мѣрѣ ихъ накопленія, а въ извѣстномъ порядкѣ, необходимомъ для правильной компановки картины, какую я хочу нарисовать. Далѣе я стараюсь, чтобы рѣчь моя была литературна, опредѣленія кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я долженъ осаживать себя и помнить, что въ моемъ распоряженіи имѣются только часъ и сорокъ минутъ. Однимъ словомъ, работы не мало. Въ одно и то же время приходится изображать изъ себя и

ученаго, и педагога, и оратора, и плохо дѣло, если ораторъ побѣдитъ въ васъ педагога и ученаго, или наоборотъ.

Читаешь четверть, полчаса и вотъ замѣчаешь, что студенты начинаютъ поглядывать на потолокъ, на Петра Игнатьевича, одинъ полѣзетъ за платкомъ, другой сядетъ поудобнѣе, третій улыбнется своимъ мыслямъ... Это значитъ, что вниманіе утомлено. Нужно принять мѣры. Пользуясь первымъ удобнымъ случаемъ, я говорю какой-нибудь каламбуръ. Всѣ полтораста лицъ широко улыбаются, глаза весело блестятъ, слышится ненадолго гулъ моря... Я тоже смѣюсь. Вниманіе освѣжилось, и я могу продолжать.

Никакой спортъ, никакія развлеченія и игры никогда не доставляли мнѣ такого наслажденія, какъ чтеніе лекціи. Только на лекціи я могъ весь отдаваться страсти и понималъ, что вдохновеніе не выдумка поэтовъ, а существуетъ на самомъ дѣлѣ. И я думаю, Геркулесъ послѣ самаго пикантнаго изъ своихъ подвиговъ не чувствовалъ такого сладостнаго изнеможенія, какое переживалъ я всякій разъ послѣ лекцій.

Это было прежде. Теперь же на лекціяхъ я испытываю одно только мученіе. Не проходитъ и получаса, какъ я начинаю чувствовать непобѣдимую слабость въ ногахъ и въ плечахъ; сажусь въ кресло, но сидя читать я не привыкъ; черезъ минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потомъ опять сажусь. Во рту сохнетъ, голосъ сипнетъ, голова кружится... Чтобы скрыть отъ слушателей свое состояніе, я то и дѣло пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мнѣ мѣшаетъ насморкъ, говорю невпопадъ каламбуры и, въ концѣ концовъ, объявляю перерывъ раньше, чѣмъ слѣдуетъ. Но главнымъ образомъ мнѣ стыдно.

Моя совѣсть и умъ говорятъ мнѣ, что самое лучшее, что я могъ бы теперь сдѣлать,—это прочесть мальчикамъ прощальную лекцію, сказать имъ послѣднее слово, благословить ихъ и уступить свое мѣсто человѣку, который моложе и сильнѣе меня. Но пусть судитъ меня Богъ, у меня не хватаетъ мужества поступить по совѣсти.

Къ несчастію, я не философъ и не богословъ. Мнѣ отлично извѣстно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробныхъ потемкахъ и о тѣхъ видѣніяхъ, которыя посѣтятъ мой могильный сонъ. Но почему-то душа

моя не хочетъ знать этихъ вопросовъ, хотя умъ и сознаетъ всю ихъ важность. Какъ 20—30 лѣтъ назадъ, такъ и теперь передъ смертію меня интересуетъ одна только наука. Испуская послѣдній вздохъ, я все-таки буду вѣрить, что наука—самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви, и что только ею одною человѣкъ побѣдить природу и себя. Вѣра эта, быть-можетъ, наивна и несправедлива въ своемъ основаніи, но я не виноватъ, что вѣрю такъ, а не иначе; побѣдить же въ себѣ этой вѣры я не могу.

Но не въ этомъ дѣло. Я только прошу снизойти къ моей слабости и понять, что оторвать отъ каѳедры и учениковъ человѣка, котораго судьбы костнаго мозга интересуютъ больше, чѣмъ конечная цѣль мірозданія, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили въ гробъ, не дожидаясь, пока онъ умретъ.

Отъ безсонницы и вслѣдствіе напряженной борьбы съ возрастающею слабостью, со мной происходитъ нѣчто странное. Среди лекціи къ горлу вдругъ подступаютъ слезы, начинаютъ чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желаніе протянуть впередъ руки и громко пожаловаться. Мнѣ хочется прокричать громкимъ голосомъ, что меня, знаменитаго человѣка, судьба приговорила къ смертной казни, что черезъ какихъ-нибудь полгода, здѣсь въ аудиторіи будетъ хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравленъ; новыя мысли, какихъ не зналъ я раньше, отравили послѣдніе дни моей жизни и продолжаютъ жалить мой мозгъ, какъ москиты. И въ это время мое положеніе представляется такимъ ужаснымъ, что мнѣ хочется, чтобы всѣ мои слушатели ужаснулись, вскочили съ мѣстъ и въ паническомъ страхѣ, съ отчаяннымъ крикомъ бросились къ выходу.

Не легко переживать такія минуты.

II.

Послѣ лекціи я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертаціи, или готовлюсь къ слѣдующей лекціи, иногда пишу что-нибудь. Работаю съ перерывами, такъ какъ приходится принимать посѣтителей.

Слышится звонокъ. Это товарищъ пришелъ поговорить о

дѣлѣ. Онъ входитъ ко мнѣ со шляпой, съ палкой и, протягивая ко мнѣ ту и другую, говоритъ:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первымъ дѣломъ мы стараемся показать другъ другу, что мы оба необыкновенно вѣжливы и очень рады видѣть другъ друга. Я усаживаю его въ кресло, а онъ усаживаетъ меня; при этомъ мы осторожно поглаживаемъ другъ друга по таліямъ, касаемся пуговицъ и похоже на то, какъ будто мы ощупываемъ другъ друга и боимся обжечься. Оба смѣемся, хотя не говоримъ ничего смѣшного. Усѣвшись, наклоняемся другъ къ другу головами и начинаемъ говорить вполголоса. Какъ бы сердечно мы ни были расположены другъ къ другу, мы не можемъ, чтобы не золотить нашей рѣчи всякой китайщиной, въ родѣ: «вы изволили справедливо замѣтить», или «какъ я уже имѣлъ честь вамъ сказать», не можемъ, чтобы не хохотать, если кто изъ насъ сострить, хотя бы неудачно. Кончивъ говорить о дѣлѣ, товарищъ порывисто встаетъ и, помахивая шляпой въ сторону моей работы, начинаетъ прощаться. Опять щупаемъ другъ друга и смѣемся. Провожаю до передней; тутъ помогаю товарищу надѣть шубу, но онъ всячески уклоняется отъ этой высокой чести. Затѣмъ, когда Егоръ отворяетъ дверь, товарищъ увѣряетъ меня, что я простужусь, а я дѣлаю видъ, что готовъ идти за нимъ даже на улицу. И когда, наконецъ, я возвращаюсь къ себѣ въ кабинетъ, лицо мое все еще продолжаетъ улыбаться, должно-быть, по инерціи.

Немного погодя, другой звонокъ. Кто-то входитъ въ переднюю, долго раздѣвается и кашляетъ. Егоръ докладываетъ, что пришелъ студентъ. Я говорю: проси. Черезъ минуту входитъ ко мнѣ молодой человѣкъ пріятной наружности. Вотъ ужъ годъ, какъ мы съ нимъ находимся въ натянутыхъ отношеніяхъ: онъ отвратительно отвѣчаетъ мнѣ на экзаменахъ, а я ставлю ему единицы. Такихъ молодцовъ, которыхъ я, выражаясь на студенческомъ языкѣ, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человѣкъ семь. Тѣ изъ нихъ, которые не выдерживаютъ экзамена по неспособности или по болѣзни, обыкновенно несутъ свой крестъ терпѣливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходятъ ко мнѣ на домъ только сангвиники, широкія натуры,

которымъ проволочка на экзаменахъ портитъ аппетитъ и мѣшаетъ аккуратно посѣщать оперу. Первымъ я мирволю, а вторыхъ гоняю по цѣлому году.

— Садитесь,—говорю я гостю.—Что скажете?

— Извините, профессоръ, за безпокойство...—начинаетъ онъ, запкаясь и не глядя мнѣ въ лицо.—Я бы не посмѣлъ безпокоить васъ, если бы не... Я держалъ у васъ экзаменъ уже пять разъ и... и срѣзался. Прошу васъ, будьте добры, поставьте мнѣ «удовлетворительно», потому что...

Аргументъ, который всѣ лѣнтяи приводятъ въ свою пользу, всегда одинъ и тотъ же: они прекрасно выдержали по всѣмъ предметамъ и срѣзались только на моемъ, и это тѣмъ болѣе удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знаютъ его прекрасно; срѣзались же они, благодаря какому-то непонятному недоразумѣнію.

— Извините, мой другъ,—говорю я гостю:—поставить вамъ «удовлетворительно» я не могу. Подите еще почитайте лекціи и приходите. Тогда увидимъ.

Пауза. Мнѣ приходитъ охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу онъ любитъ больше, чѣмъ науку, и я говорю со вздохомъ:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сдѣлать, это—совсѣмъ оставить медицинскій факультетъ. Если при вашихъ способностяхъ вамъ никакъ не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у васъ нѣтъ ни желанія, ни призванія быть врачомъ.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессоръ,—усмѣхается онъ:—но это было бы съ моей стороны по меньшей мѣрѣ странно. Проучиться пять лѣтъ и вдругъ... уйти!

— Ну, да! Лучше потерять даромъ пять лѣтъ, чѣмъ потомъ всю жизнь заниматься дѣломъ, котораго не любишь.

Но тотчасъ же мнѣ становится жаль его и я спѣшу сказать:

— Впрочемъ, какъ знаете. Итакъ, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда?—глухо спрашиваетъ лѣнтяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И въ его добрыхъ глазахъ я читаю: «Придти-то можно, но вѣдь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно,—говорю я:—вы не станете ученѣе оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать разъ, но это воспитаетъ въ васъ характеръ. И на томъ спасибо.

Наступаетъ молчаніе. Я поднимаюсь и жду, когда уйдетъ гость, а онъ стоитъ, смотритъ на окно, теребитъ свою бородку и думаетъ. Становится скучно.

Голосъ у сангвиника пріятный, сочный, глаза умные, насмѣшливые, лицо благодушное, нѣсколько помятое отъ частаго употребленія пива и долгаго лежанья на диванѣ; повидимому, онъ могъ бы разсказать мнѣ много интереснаго про оперу, про свои любовныя похожденія, про товарищей, которыхъ онъ любитъ, но, къ сожалѣнію, говорить объ этомъ не принято. А я бы охотно послушалъ.

— Профессоръ! Даю вамъ честное слово, что если вы поставите мнѣ «удовлетворительно», то я...

Какъ только дѣло дошло до «честнаго слова», я махаю руками и сажусь за столъ. Студентъ думаетъ еще минуту и говоритъ уныло:

— Въ такомъ случаѣ прощайте... Извините.

— Прощайте, мой другъ. Добраго здоровья.

Онъ нерѣшительно идетъ въ переднюю, медленно одѣвается тамъ и, выйдя на улицу, вѣроятно, онять долго думаетъ; ничего не придумавъ, кромѣ «стараго чорта» по моему адресу, онъ идетъ въ плохой ресторанъ пить пиво и обѣдать, а потомъ къ себѣ домой спать. Миръ праху твоему, честный труженикъ!

Третій звонокъ. Входитъ молодой докторъ въ новой черной парѣ, въ золотыхъ очкахъ и, конечно, въ бѣломъ галстукѣ. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не безъ волненія молодой жрецъ науки начинаетъ говорить мнѣ, что въ этомъ году онъ выдержалъ экзаменъ на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацію. Ему хотѣлось бы поработать у меня, подъ моимъ руководствомъ, и я бы премного обязалъ его, если бы далъ ему тему для диссертаціи.

— Очень радъ быть полезнымъ, коллега,—говорю я:—но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертація. Подъ этимъ словомъ принято разумѣть сочиненіе, составляющее продуктъ самостоятельнаго творчества. Не такъ ли? Сочиненіе же, написанное на чужую тему и подъ чужимъ руководствомъ, называется иначе...

Докторантъ молчитъ. Я вспыхиваю и вскакиваю съ мѣста.

— Что вы всѣ ко мнѣ ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! Въ тысячу первый разъ прошу васъ всѣхъ оставить меня въ покоѣ! Извините за неделикатность, но мнѣ, наконецъ, это надоѣло!

Докторантъ молчитъ и только около его скулъ выступаетъ легкая краска. Лицо его выражаетъ глубокое уваженіе къ моему знаменитому имени и учености, а по глазамъ его я вижу, что онъ презираетъ и мой голосъ, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцію. Въ своемъ гнѣвѣ я представляюсь ему чудакомъ.

— У меня не лавочка! — сержусь я. — И удивительное дѣло! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вамъ такъ противна свобода?

Говорю я много, а онъ все молчитъ. Въ концѣ концовъ я мало-по-малу стихаю и, разумѣется, сдаюсь. Докторантъ получитъ отъ меня тему, которой грошъ цѣна, напишетъ подъ моимъ наблюденіемъ никому ненужную диссертацію, съ достоинствомъ выдержитъ скучный диспутъ и получитъ ненужную ему ученую степень.

Звонки могутъ слѣдовать одинъ за другимъ безъ конца, но я здѣсь ограничусь только четырьмя. Бьетъ четвертый звонокъ, и я слышу знакомые шаги, шорохъ платья, милый голосъ...

18 лѣтъ тому назадъ умеръ мой товарищъ окулистъ и оставилъ послѣ себя семилѣтнюю дочь Катю и тысячъ шестьдесятъ денегъ. Въ своемъ завѣщаніи онъ назначилъ опекуномъ меня. До десяти лѣтъ Катя жила въ моей семьѣ, потомъ была отдана въ институтъ и живала у меня только въ лѣтніе мѣсяцы, во время каникулъ. Заниматься ея воспитаніемъ было мнѣ некогда, наблюдалъ я ее только урывками, и потому о дѣтствѣ ея могу сказать очень немного.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаніямъ, это — необыкновенную довѣрчивость, съ какою она вошла въ мой домъ, лѣчилась у докторовъ и которая всегда свѣтилась на ея личикѣ. Бывало, сидитъ гдѣ-нибудь въ сторонкѣ съ подвязанной щекой и непремѣнно смотритъ на что-нибудь со вниманіемъ; видитъ ли она въ это время, какъ я пишу и перелистываю книги, или какъ хлопочетъ жена, или какъ

кухарка въ кухнѣ чиститъ картофель, или какъ играетъ собака, у нея всегда неизмѣнно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что дѣлается на этомъ свѣтѣ, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидитъ за столомъ противъ меня, слѣдитъ за моими движеніями и задаетъ вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что дѣлаю въ университетѣ, не боюсь ли труповъ, куда дѣваю свое жалованье.

— Студенты дерутся въ университетѣ?—спрашиваетъ она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите ихъ на колѣни?

— Ставлю.

И ей было смѣшно, что студенты дерутся и что я ставлю ихъ на колѣни, и она смѣялась. Это былъ кроткій, терпѣливый и добрый ребенокъ. Нерѣдко мнѣ приходилось видѣть, какъ у нея отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну, или не удовлетворяли ея любопытства; въ это время къ постоянному выраженію довѣрчивости на ея лицѣ примѣшивалась еще грусть—и только. Я не умѣлъ заступаться за нее, а только, когда видѣлъ грусть, у меня являлось желаніе привлечь ее къ себѣ и пожалѣть тономъ старой няньки: «сиротка моя милая»!

Помню также, она любила хорошо одѣваться и прыскаться духами. Въ этомъ отношеніи она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошіе духи.

Жалѣю, что у меня не было времени и охоты прослѣдить начало и развитіе страсти, которая вполнѣ уже владѣла Катею, когда ей было 14—15 лѣтъ. Я говорю объ ея страстной любви къ театру. Когда она пріѣзжала къ намъ изъ института на каникулы и жила у насъ, то ни о чемъ она не говорила съ такимъ удовольствіемъ и съ такимъ жаромъ, какъ о пьесахъ и актерахъ. Своими постоянными разговорами о театрѣ она утомляла насъ. Жена и дѣти не слушали ея. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во вниманіи. Когда у нея являлось желаніе подѣлиться своими восторгами, она входила ко мнѣ въ кабинетъ и говорила умоляющимъ тономъ:

— Николай Степанычъ, позвольте мнѣ поговорить съ вами о театрѣ!

Я показывалъ ей на часы и говорилъ:

— Даю тебѣ полчаса. Начинай.

Позднѣе она стала привозить съ собою цѣлыми дюжинами портреты актеровъ и актрисъ, на которыхъ молилась; потомъ попробовала нѣсколько разъ участвовать въ любительскихъ спектакляхъ и въ концѣ концовъ, когда кончила курсъ, объявила мнѣ, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не раздѣлялъ театральныхъ увлеченій Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатлѣніе, нѣтъ надобности утруждать актеровъ; можно ограничиться однимъ только чтеніемъ. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сдѣлаетъ ее хорошею.

Въ молодости я часто посѣщалъ театръ, и теперь раза два въ годъ семья беретъ ложу и возитъ меня «провѣтрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы имѣть право судить о театрѣ, но я скажу о немъ немного. По моему мнѣнію, театръ не сталъ лучше, чѣмъ онъ былъ 30—40 лѣтъ назадъ. Попрежнему ни въ театральныхъ коридорахъ, ни въ фойэ я никакъ не могу найти стакана чистой воды. Попрежнему капельдинеры штрафуютъ меня за мою шубу на двугривенный, хотя въ ношеніи теплаго платья зимою нѣтъ ничего предосудительнаго. Попрежнему въ антрактахъ играетъ безъ всякой надобности музыка, прибавляющая къ впечатлѣнію, получаемому отъ пьесы, еще новое, непрошенное. Попрежнему мужчины въ антрактахъ ходятъ въ буфетъ пить спиртные напитки. Если не видно прогресса въ мелочахъ, то напрасно я сталъ бы искать его и въ крупномъ. Когда актеръ съ головы до ногъ опутанный театральными традиціями и предразсудками, старается читать простой, обыкновенный монологъ «Быть или не быть» не просто, а почему-то непремѣнно съ шипѣніемъ, и съ судорогами во всемъ тѣлѣ, или когда онъ старается убѣдить меня во что бы то ни стало, что Чацкій, разговаривающій много съ дураками и любящій дуру, очень умный человѣкъ, и что «Горе отъ ума» не скучная пьеса, то на меня отъ сцены вѣетъ тою же самой рутиной, которая скучна мнѣ была еще 40 лѣтъ назадъ, когда меня угощали классическими завываніями и біеніемъ по персямъ. И всякій разъ выхожу я изъ театра консервативнымъ болѣе, чѣмъ когда вхожу туда.

Сантиментальную и довѣрчивую толпу можно убѣдить, потомъ, что театръ въ настоящемъ его видѣ есть школа ихъ

кто знакомъ со школой въ истинномъ ея смыслѣ, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будетъ черезъ 50—100 лѣтъ, но при настоящихъ условіяхъ театръ можетъ служить только развлеченіемъ. Но развлеченіе это слишкомъ дорого для того, чтобы продолжать пользоваться имъ. Оно отнимаетъ у государства тысячи молодыхъ, здоровыхъ и талантливыхъ мужчинъ и женщинъ, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлѣбопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимаетъ у публики вечернiе часы—лучшее время для умственнаго труда и товарищескихъ бесѣдъ. Не говорю ужъ о денежныхъ затратахъ и о тѣхъ нравственныхъ потеряхъ, какiя несетъ зритель, когда видитъ на сценѣ неправильно трактуемыя убiйство, прелюбодѣяніе, или клевету.

Катя же была совсѣмъ другого мнѣнія. Она увѣряла меня, что театръ, даже въ настоящемъ его видѣ, выше аудиторій, выше книгъ, выше всего на свѣтѣ. Театръ—это сила, соединяющая въ себѣ одной всѣ искусства, а актеры—миссіонеры. Никакое искусство и никакая наука въ отдѣльности не въ состояніи дѣйствовать такъ сильно и такъ вѣрно на человѣческую душу, какъ сцена, и недаромъ поэтому актеръ средней величины пользуется въ государствѣ гораздо большею популярностью, чѣмъ самый лучшій ученый или художникъ. И никакая публичная дѣятельность не можетъ доставить такого наслажденія и удовлетворенія, какъ сценическая.

И въ одинъ прекрасный день Катя поступила въ труппу и уѣхала, кажется, въ Уфу, увезя съ собою много денегъ, тьму радужныхъ надеждъ и аристократическіе взгляды на дѣло.

Первыя письма ея съ дороги были удивительны. Я читалъ ихъ и просто изумлялся, какъ это небольшіе листки бумаги могутъ содержать въ себѣ столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкихъ, дѣльныхъ сужденій, которыя могли бы сдѣлать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посѣщала, товарищей, свои успѣхи и неудачи она не описывала, а воспѣвала; каждая строчка дышала довѣрчивостью, какую я привыкъ видѣть на ея лицѣ—и при всемъ
ъ масса грамматическихъ ошибокъ, а знаковъ препи-
— почти совсѣмъ не было.

Не прошло и полгода, какъ я получилъ въ высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». Къ этому письму была приложена фотографія, изображавшая молодого мужчину съ бритымъ лицомъ, въ широкополой шляпѣ и съ пледомъ, перекинутымъ черезъ плечо. Слѣдующія затѣмъ письма были попрежнему великолѣпны, но ужъ показались въ нихъ знаки препинанія, исчезли грамматическія ошибки и сильно запахло отъ нихъ мужчиною. Катя стала писать мнѣ о томъ, что хорошо бы гдѣ-нибудь на Волгѣ построить большой театръ не иначе, какъ на паяхъ, и привлечь къ этому предпріятію богатое купечество и пароходовладѣльцевъ; денегъ было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условіяхъ товарищества... Можетъ-быть, все это и въ самомъ дѣлѣ хорошо, но мнѣ кажется, что подобныя измышленія могутъ исходить только изъ мужской головы.

Какъ бы то ни было, полтора-два года, повидимому, все обстояло благополучно: Катя любила, вѣрила въ свое дѣло и была счастлива; но потомъ въ письмахъ я сталъ замѣчать явные признаки упадка. Началось съ того, что Катя пожаловалась мнѣ на своихъ товарищей—это первый и самый зловѣщій симптомъ; если молодой ученый или литераторъ начинаетъ свою дѣятельность съ того, что горько жалуется на ученыхъ или литераторовъ, то это значитъ, что онъ уже утомился и не годенъ для дѣла. Катя писала мнѣ, что ея товарищи не посѣщаютъ репетицій и никогда не знаютъ ролей; въ постановкѣ нелѣпыхъ пьесъ и въ манерѣ держать себя на сценѣ видно у каждаго изъ нихъ полное неуваженіе къ публикѣ; въ интересахъ сбора, о которомъ только и говорятъ, драматическія актрисы унижаются до пѣнія шансонетокъ, а трагики поютъ куплеты, въ которыхъ смѣются надъ рогатыми мужьями и надъ беременностью невѣрныхъ женъ и т. д. Въ общемъ надо изумляться, какъ это до сихъ поръ не погибло еще провинціальное дѣло и какъ оно можетъ держаться на такой тонкой и гнилой жилочкѣ.

Въ отвѣтъ я послалъ Катѣ длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочимъ я писалъ ей: «Мнѣ нерѣдко приходилось бесѣдовать со стариками-актерами, благороднѣйшими людьми, дарившими меня своимъ расположеніемъ; изъ разговоровъ съ ними я могъ понять, что ихъ

дѣятельностью руководятъ не столько ихъ собственный разумъ и свобода, сколько мода и настроеніе общества; лучшимъ изъ нихъ приходилось на своемъ вѣку играть и въ трагедіи, и въ опереткѣ, и въ парижскихъ фарсахъ, и въ фееріяхъ, и всегда одинаково имъ казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значитъ, какъ видишь, причину зла нужно искать не въ актерахъ, а глубже, въ самомъ искусствѣ и въ отношеніяхъ къ нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мнѣ отвѣтила: «Мы съ вами поемъ изъ разныхъ оперъ. Я вамъ писала не о благороднѣйшихъ людяхъ, которые дарили васъ своимъ расположеніемъ, а о шайкѣ пройдохъ, не имѣющихъ ничего общаго съ благородствомъ. Это табунъ дикихъ людей, которые попали на сцену только потому, что ихъ не приняли бы нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, и которые называютъ себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяницъ, интригановъ, сплетниковъ. Не могу вамъ высказать, какъ горько мнѣ, что искусство, которое я такъ люблю, попало въ руки ненавистныхъ мнѣ людей; горько, что лучшіе люди видятъ зло только издали, не хотятъ подойти поближе и вмѣсто того, чтобы вступиться, пишутъ тяжеловѣснымъ слогомъ общія мѣста и никому ненужную мораль...» и такъ далѣе, все въ такомъ родѣ.

Прошло еще немного времени и я получилъ такое письмо: «Я безчеловѣчно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, какъ это найдете нужнымъ. Я любила васъ, какъ отца и единственнаго моего друга. Простите».

Оказалось, что и ея *онъ* принадлежалъ тоже къ «табуну дикихъ людей». Впослѣдствіи по нѣкоторымъ намекамъ я могъ догадаться, что было покушеніе на самоубійство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потомъ была серьезно больна, такъ какъ слѣдующее письмо я получилъ уже изъ Ялты, куда, по всей вѣроятности, ее послали доктора. Послѣднее письмо ея ко мнѣ содержало въ себѣ просьбу возможно скорѣе выслать ей въ Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно такъ: «Извините, что письмо такъ мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Проживъ въ Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырехъ лѣтъ и во всѣ эти

четыре года, надо сознаться, я игралъ по отношенію къ ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранѣе она объявила мнѣ, что идетъ въ актрисы и потомъ писала мнѣ про свою любовь, когда ею періодически овладѣвалъ духъ расточительности и мнѣ то и дѣло приходилось, по ея требованію, высылать ей то тысячу, то двѣ рублей, когда она писала мнѣ о своемъ намѣреніи умереть и потомъ о смерти ребенка, то всякій разъ я терялся и все мое участіе въ ея судьбѣ выражалось только въ томъ, что я много думалъ и писалъ длинныя, скучныя письма, которыхъ я могъ бы совсѣмъ не писать. А между тѣмъ, вѣдь я замѣнялъ ей родного отца и любилъ ее, какъ дочь!

Теперь Катя живетъ въ полуверстѣ отъ меня. Она наняла квартиру въ пять комнатъ и обставилась довольно комфортабельно и съ присущимъ ей вкусомъ. Если бы кто взялся нарисовать ея обстановку, то преобладающимъ настроеніемъ въ картинѣ получилась бы лѣнь. Для лѣниваго тѣла—мягкія кушетки, мягкія табуретки, для лѣнивыхъ ногъ—ковры, для лѣниваго зрѣнія—линючіе, тусклые, или матовые цвѣта; для лѣнивой души—изобиліе на стѣнахъ дешевыхъ вѣеровъ и мелкихъ картинъ, въ которыхъ оригинальность исполненія преобладаетъ надъ содержаніемъ, избытокъ столиковъ и полочекъ, уставленныхъ совершенно ненужными и не имѣющими цѣны вещами, безформенные лоскутья вмѣсто занавѣсей... Все это вмѣстѣ съ боязнью яркихъ цвѣтовъ, симметріи и простора, помимо душевной лѣни, свидѣтельствуетъ еще и объ извращеніи естественнаго вкуса. По цѣлымъ днямъ Катя лежитъ на кушеткѣ и читаетъ книги, преимущественно романы и повѣсти. Изъ дому она выходитъ только разъ въ день, послѣ полудня, чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидитъ недалеко отъ меня на диванѣ, молчитъ и кутается въ шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мнѣ, или оттого, что я привыкъ къ ея частымъ посѣщеніямъ, когда она была еще дѣвочкой, ея присутствіе не мѣшаетъ мнѣ сосредоточиться. Изрѣдка я задаю ей машинально какой-нибудь вопросъ, она даетъ очень короткій отвѣтъ; или же, чтобъ отдохнуть минутку, я оборачиваюсь къ ней и гляжу, какъ она, задумавшись, просматриваетъ какой-нибудь медицинскій журналъ или газету. И въ это время я замѣчаю, что на лицѣ

ея уже нѣтъ прежняго выраженія довѣрчивости. Выраженіе теперь холодное, безразличное, разсѣянное, какъ у пассажировъ, которымъ приходится долго ждать поѣзда. Одѣта она попрежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическѣ не мало достается отъ кушетокъ и качалокъ, на которыхъ она лежитъ по цѣлымъ днямъ. И ужъ она не любопытна, какъ была прежде. Вопросовъ она ужъ мнѣ не задаетъ, какъ будто все ужъ испытала въ жизни и не ждетъ услышать ничего новаго.

Въ исходѣ четвертаго часа въ залѣ и въ гостиной начинается движеніе. Это изъ консерваторіи вернулась Лиза и привела съ собою подругъ. Слышно, какъ играютъ на рояли, пробуютъ голоса и хохочутъ; въ столовой Егоръ накрываетъ на столъ и стучитъ посудой.

— Прощайте,—говоритъ Катя.—Сегодня я не зайду къ вашимъ. Пусть извинятъ. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядываетъ меня съ головы до ногъ и говоритъ съ досадой:

— А вы все худѣете! Отчего не лѣчитесь? Я съѣзжу къ Сергѣю Ѳедоровичу и приглашу. Пусть васъ посмотритъ.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотритъ! Хороши, нечего сказать.

Она порывисто надѣваетъ свою шубку и въ это время изъ ея небрежно сдѣланной прически непремѣнно падаютъ на полъ двѣ-три шпильки. Поправлять прическу лѣнь и некогда; она неловко прячетъ упавшіе локоны подъ шапочку и уходитъ.

Когда я вхожу въ столовую, жена спрашиваетъ меня:

— У тебя была сейчасъ Катя? Отчего же она не зашла къ намъ? Это даже странно...

— Мама!—говоритъ ей укоризненно Лиза.—Если не хочетъ, то и Богъ съ ней. Не на колѣни же намъ становиться.

— Какъ хочешь, это пренебреженіе. Сидѣть въ кабинетѣ три часа и не вспомнить о насъ. Впрочемъ, какъ ей угодно.

Варя и Лиза обѣ ненавидятъ Катю. Ненависть эта мнѣ непонятна и, вѣроятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что изъ тѣхъ полутораста молодыхъ мужчинъ, которыхъ я почти ежедневно вижу въ

своей аудиторіи, и изъ той сотни пожилыхъ, которыхъ мнѣ приходится встрѣчать каждую недѣлю, едва ли найдется хоть одинъ такой, который умѣлъ бы понимать ненависть и отвращеніе къ прошлому Кати, т. е. къ внѣбрачной беременности и къ незаконному ребенку; и въ то же время я никакъ не могу припомнить ни одной такой знакомой мнѣ женщины, или дѣвушки, которая сознательно, или инстинктивно не питала бы въ себѣ этихъ чувствъ. И это не оттого, что женщина добродѣтельнѣе и чище мужчины: вѣдь добродѣтель и чистота мало отличаются отъ порока, если онѣ не свободны отъ злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщинъ. Унылое чувство состраданія и боль совѣсти, какія испытываетъ современный мужчина, когда видитъ несчастіе, гораздо больше говорятъ мнѣ о культурѣ и нравственномъ ростѣ, чѣмъ ненависть и отвращеніе. Современная женщина такъ же слезлива и груба сердцемъ, какъ и въ средніе вѣка. И по-моему, вполнѣ благоразумно поступаютъ тѣ, которые совѣтуютъ ей воспитываться какъ мужчина.

Жена не любитъ Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за всѣ тѣ многочисленные пороки, какіе одна женщина всегда умѣетъ находить въ другой.

Кромѣ меня и моей семьи, у насъ обѣдаютъ еще двѣ-три подруги дочери и Александръ Адольфовичъ Гнеккеръ, поклонникъ Лизы и претендентъ на ея руку. Это молодой блондинъ, не старше 30 лѣтъ, средняго роста, очень полный, широкоплечій, съ рыжими бакенами около ушей и съ нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выраженіе. Одѣтъ онъ въ очень короткій пиджакъ, въ цвѣтную жилетку, въ брюки съ большими клѣтками, очень широкія сверху и очень узкія книзу, и въ желтыя ботинки безъ каблуковъ. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстукъ похожъ на рачью шейку, и даже, мнѣ кажется, весь этотъ молодой человѣкъ издаетъ запахъ раковаго супа. Бываетъ онъ у насъ ежедневно, но никто въ моей семьѣ не знаетъ, какого онъ происхожденія, гдѣ учился и на какія средства живетъ. Онъ не играетъ и не поетъ, но имѣетъ какое-то отношеніе и къ музыкѣ, и къ пѣнію, продаетъ гдѣ-то чьи-то рояли, бываетъ часто въ консерваторіи, знакомъ со всѣми знамени-

тостями и распоряжается на концертахъ; судитъ онъ о музыкѣ съ большимъ авторитетомъ и, я замѣтилъ, съ нимъ охотно всѣ соглашаются.

Богатые люди имѣютъ всегда около себя приживаловъ; науки и искусства тоже. Кажется, нѣтъ на свѣтѣ такого искусства или науки, которыя были бы свободны отъ присутствія «инородныхъ тѣлъ» въ родѣ этого г. Гнеккера. Я не музыкантъ и, быть-можетъ, ошибаюсь относительно Гнеккера, котораго къ тому же мало знаю. Но слишкомъ ужъ кажутся мнѣ подозрительными его авторитетъ и то достоинство, съ какимъ онъ стоитъ около рояля и слушаетъ, когда кто-нибудь поетъ или играетъ.

Будь вы сто разъ джентльменомъ и тайнымъ совѣтникомъ, но если у васъ есть дочь, то вы ничѣмъ не гарантированы отъ того мѣщанства, которое часто вносятъ въ вашъ домъ и въ ваше настроеніе ухаживанія, сватовство и свадьба. Я, напримѣръ, никакъ не могу помириться съ тѣмъ торжественнымъ выраженіемъ, какое бываетъ у моей жены всякій разъ, когда сидитъ у насъ Гнеккеръ, не могу также помириться съ тѣми бутылками лафита, портвейна и хереса, которыя ставятся только ради него, чтобы онъ воочію убѣдился, какъ широко и роскошно мы живемъ. Не переваривaю я и отрывистаго смѣха Лизы, которому она научилась въ консерваторіи, и ея манеры щурить глаза въ то время, когда у насъ бываютъ мужчины. А главное, я никакъ не могу понять, почему это ко мнѣ каждый день ходитъ и каждый день со мною обѣдаетъ существо, совершенно чуждое моимъ привычкамъ, моей наукѣ, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тѣхъ людей, которыхъ я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчутъ, что «это женихъ», но я все-таки не понимаю его присутствія; оно возбуждаетъ во мнѣ такое же недоумѣніе, какъ если бы со мною за столъ посадили зулуса. И мнѣ также кажется страннымъ, что моя дочь, которую я привыкъ считать ребенкомъ, любитъ этотъ галстукъ, эти глаза, эти мягкія щеки...

Прежде я любилъ обѣдъ, или былъ къ нему равнодушенъ, теперь же онъ не возбуждаетъ во мнѣ ничего, кромѣ скуки и раздраженія. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ превосходительнымъ и побывалъ въ деканахъ факультета, семья моя нашла почему-то нужнымъ совершенно измѣнить нашъ

меню и обѣденные порядки. Вмѣсто тѣхъ простыхъ блюдъ, къ которымъ я привыкъ, когда былъ студентомъ и лѣкаремъ, теперь меня кормятъ супомъ-пюре, въ которомъ плаваютъ какія-то бѣлыя сосульки, и почками въ мадерѣ. Генеральскій чинъ и извѣстность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся съ яблоками, и леща съ кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смѣшливую старушку, вмѣсто которой подаетъ теперь обѣдъ Егоръ, тупой и надменный малый, съ бѣлой перчаткой на правой рукѣ. Антракты коротки, но кажутся чрезмѣрно длинными, потому что ихъ нечѣмъ наполнить. Ужъ нѣтъ прежней веселости, непринужденныхъ разговоровъ, шутокъ, смѣха, нѣтъ взаимныхъ ласокъ и той радости, которая волновала дѣтей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, въ столовой; для меня, занятаго человѣка, обѣдъ былъ временемъ отдыха и свиданія, а для жены и дѣтей праздникомъ, правда, короткимъ, но свѣтлымъ и радостнымъ, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не наукѣ, не студентамъ, а только имъ однимъ и больше никому. Нѣтъ уже больше умѣнья пьянѣть отъ одной рюмки, нѣтъ Агаши, нѣтъ леща съ кашей, нѣтъ того шума, какимъ всегда встрѣчались маленькіе обѣденные скандалы въ родѣ драки подъ столомъ кошки съ собакой, или паденія повязки съ Катиной щеки въ тарелку съ супомъ.

Описывать теперешній обѣдъ такъ же не вкусно, какъ ѣсть его. На лицѣ у жены торжественность, напускная важность и обычное выраженіе заботы. Она безпокойно оглядываетъ наши тарелки и говоритъ: «Я вижу, вамъ жаркое не нравится... Скажите: вѣдь не нравится?» И я долженъ отвѣчать: «Напрасно ты безпокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанычъ, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александръ Адольфовичъ такъ мало кушалъ?» и все въ такомъ родѣ въ продолженіе всего обѣда. Лиза отрывисто хохочетъ и щуритъ глаза. Я гляжу на обѣихъ и только вотъ теперь за обѣдомъ для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обѣихъ давно уже ускользнула отъ моего наблюденія. У меня такое чувство, какъ будто когда-то я жилъ дома съ настоящей семьей, а теперь обѣдаю въ гостяхъ у не настоящей жены и вижу

не настоящую Лизу. Произошла въ обѣихъ рѣзкая перемѣна, я прозѣвалъ тотъ долгій процессъ, по которому эта перемѣна совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемѣна? Не знаю. Быть-можетъ, вся бѣда въ томъ, что женѣ и дочери Богъ не далъ такой же силы, какъ мнѣ. Съ дѣтства я привыкъ противостоять внѣшнимъ вліяніямъ и закалилъ себя достаточно; такія житейскія катастрофы, какъ извѣстность, генеральство, переходъ отъ довольства къ жизни не по средствамъ, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цѣлъ и невредимъ; на слабыхъ же, не закаленныхъ жену и Лизу все это свалилось, какъ большая снѣговая глыба, и сдавило ихъ.

Барышни и Гнеккеръ говорятъ о фугахъ, контра-пунктахъ, о пѣвцахъ и піанистахъ, о Бахѣ и Брамсѣ, а жена, боясь, чтобы ея не заподозрили въ музыкальномъ невѣжествѣ, сочувственно улыбается имъ и бормочетъ: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккеръ солидно кушаетъ, солидно остритъ и снисходительно выслушиваетъ замѣчанія барышенъ. Изрѣдка у него является желаніе поговорить на плохомъ французскомъ языкѣ и тогда онъ почему-то находитъ нужнымъ величать меня votre excellence.

А я угрюмъ. Видимо, я всѣхъ ихъ стѣсняю, а они стѣсняютъ меня. Никогда раньше я не былъ коротко знакомъ съ сословнымъ антагонизмомъ, но теперь меня мучаетъ именно что-то въ родѣ этого. Я стараюсь находить въ Гнеккерѣ однѣ только дурныя черты, скоро нахожу ихъ и терзаюсь, что на его жениховскомъ мѣстѣ сидитъ человѣкъ не моего круга. Присутствіе его дурно вліяетъ на меня еще и въ другомъ отношеніи. Обыкновенно, когда я остаюсь самъ съ собою, или бываю въ обществѣ людей, которыхъ люблю, я никогда не думаю о своихъ заслугахъ, а если начинаю думать, то онѣ представляются мнѣ такими ничтожными, какъ будто я сталъ ученымъ только вчера; въ присутствіи же такихъ людей, какъ Гнеккеръ, мои заслуги кажутся мнѣ высочайшей горой, вершина которой исчезаетъ въ облакахъ, а у подножія шевелятся едва замѣтные для глаза Гнеккеры.

Послѣ обѣда я иду къ себѣ въ кабинетъ и закуриваю тамъ свою трубочку, единственную за весь день, уцѣлѣвшую отъ давно бывшей скверной привычки дымить отъ

утра до ночи. Когда я курю, ко мнѣ входитъ жена и садится, чтобы поговорить со мной. Такъ же, какъ и утромъ, я заранѣе знаю, о чемъ у насъ будетъ разговоръ.

— Надо бы намъ съ тобой поговорить серьезно, Николай Степанычъ,—начинаетъ она.—Я насчетъ Лизы... Отчего ты не обратишь вниманія?

— То-есть?

— Ты дѣлаешь видъ, что ничего не замѣчаешь, но это не хорошо. Нельзя быть безпечнымъ... Гнеккеръ имѣетъ насчетъ Лизы намѣренія... Что ты скажешь?

— Что онъ дурной человѣкъ, я не могу сказать, такъ какъ не знаю его, но что онъ мнѣ не нравится, объ этомъ я говорилъ тебѣ уже тысячу разъ.

— Но такъ нельзя... нельзя...

Она встаетъ и ходитъ въ волненіи.

— Такъ нельзя относиться къ серьезному шагу...—говоритъ она.—Когда рѣчь идетъ о счастьѣ дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, онъ тебѣ не нравится... Хорошо... Если мы откажемъ ему теперь, разстроимъ все, то чѣмъ ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будетъ жаловаться на насъ? Жениховъ теперь не Богъ вѣсть сколько, и можетъ случиться, что не представится другой партіи... Онъ очень любитъ Лизу и, повидимому, нравится ей... Конечно, у него нѣтъ опредѣленнаго положенія, но что же дѣлать? Богъ дастъ, со временемъ опредѣлится куда-нибудь. Онъ изъ хорошаго семейства и богатый.

— Откуда тебѣ это извѣстно?

— Онъ говорилъ. У его отца въ Харьковѣ большой домъ и подъ Харьковомъ имѣніе. Однимъ словомъ, Николай Степанычъ, тебѣ непремѣнно нужно съѣздить въ Харьковъ.

— Зачѣмъ?

— Ты разузнаешь тамъ... У тебя тамъ есть знакомые профессора, они тебѣ помогутъ. Я бы сама поѣхала, но я женщина. Не могу...

— Не поѣду я въ Харьковъ,—говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лицѣ ея появляется выраженіе мучительной боли.

— Ради Бога, Николай Степанычъ!—умоляетъ она меня, всхлипывая. — Ради Бога, сними съ меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мнѣ становится больно глядѣть на нее.

— Хорошо, Варя,—говорю я ласково.—Если хочешь, то изволь, я съѣзжу въ Харьковъ и сдѣлаю все, что тебѣ угодно.

Она прижимаетъ къ глазамъ платокъ и уходитъ къ себѣ въ комнату плакать. Я остаюсь одинъ.

Немного погодя, приносятъ огонь. Отъ креселъ и ламповаго колпака ложатся на стѣны и полъ знакомыя, давно надоѣвшія тѣни, и когда я гляжу на нихъ, мнѣ кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь въ постель, потомъ встаю и хожу по комнатѣ, потомъ опять ложусь... Обыкновенно послѣ обѣда, передъ вечеромъ, мое нервное возбужденіе достигаетъ своего высшаго градуса. Я начинаю безъ причины плакать и прячу голову подъ подушку. Въ это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошелъ, боюсь внезапно умереть, стыжусь своихъ слезъ и въ общемъ получается въ душѣ нѣчто нестерпимое. Я чувствую, что долѣе я не могу видѣть ни своей лампы, ни книгъ, ни тѣней на полу, не могу слышать голосовъ, которые раздаются въ гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкаетъ меня вонъ изъ моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одѣваюсь и осторожно, чтобъ не замѣтили домашніе, выхожу на улицу. Куда идти?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ у меня давно уже сидитъ въ мозгу: къ Катѣ.

III.

По обыкновенію, она лежитъ на турецкомъ диванѣ или на кушеткѣ и читаетъ что-нибудь. Увидѣвъ меня, она лѣниво поднимаетъ голову, садится и протягиваетъ мнѣ руку.

— А ты все лежишь,—говорю я, помолчавъ немного и отдохнувъ.—Это нездорово. Ты бы занялась чѣмъ-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чѣмъ-нибудь.

— Чѣмъ? Женщина можетъ быть только простой работницей или актрисой.

— Ну, что жъ? Если нельзя въ работницы, иди въ актрисы.

Молчитъ.

— Замужъ бы выходила,—говорю я, полушутя.

— Не за кого. Да и незачѣмъ.

— Такъ жить нельзя.

— Безъ мужа? Велика важность! Мужчинъ сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вотъ то, что ты сейчасъ сказала.

Замѣтивъ, что я огорченъ, и желая сгладить дурное впечатлѣніе, Катя говоритъ:

— Пойдемте. Идите сюда. Вотъ.

Она ведетъ меня въ маленькую, очень уютную комнатку и говоритъ, указывая на письменный столъ:

— Вотъ... Я приготовила для васъ. Тутъ вы будете заниматься. Пріѣзжайте каждый день и привозите съ собой работу. А тамъ дома вамъ только мѣшаютъ. Будете здѣсь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказомъ, я отвѣчаю ей, что заниматься у нея буду и что комната мнѣ очень нравится. Затѣмъ мы оба садимся въ уютной комнаткѣ и начинаемъ разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствіе симпатичнаго человѣка возбуждаютъ во мнѣ теперь не чувство удовольствія, какъ прежде, а сильный позывъ къ жалобамъ и брюзжанію. Мнѣ кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мнѣ станетъ легче.

— Плохо дѣло, моя милая!—начинаю я со вздохомъ.— Очень плохо...

— Что такое?

— Видишь ли, въ чемъ дѣло, мой другъ. Самое лучшее и самое святое право королей—это право помилованія. И я всегда чувствовалъ себя королемъ, такъ какъ безгранично пользовался этимъ правомъ. Я никогда не судилъ, былъ снисходителенъ, охотно прощалъ всѣхъ направо и налѣво. Гдѣ другіе протестовали и возмущались, тамъ я только совѣтовалъ и убѣждалъ. Всю свою жизнь я старался только о томъ, чтобы мое общество было выносимо для семьи студентовъ, товарищей, для прислуги. И такое мое отношеніе къ людямъ, я знаю, воспитывало всѣхъ, кому приходилось быть около меня. Но теперь ужъ я не король. Во мнѣ происходитъ нѣчто такое, что прилично только рабамъ: въ головѣ моей день и ночь бродятъ злыя мысли, а въ душѣ свили себѣ гнѣздо чувства, какихъ я не зналъ

раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я сталъ не въ мѣру строгъ, требователенъ, раздражителенъ, нелюбезенъ, подозрителенъ. Даже то, что прежде давало мнѣ поводъ только сказать лишній каламбуръ и добродушно посмѣяться, родитъ во мнѣ теперь тяжелое чувство. Измѣнилась во мнѣ и моя логика: прежде я презиралъ только деньги, теперь же питаю злое чувство не къ деньгамъ, а къ богачамъ, точно они виноваты; прежде ненавидѣлъ насиліе и произволъ, а теперь ненавижу людей, употребляющихъ насиліе, точно виноваты они одни, а не всѣ мы, которые не умѣемъ воспитывать другъ друга. Что это значитъ? Если новыя мысли и новыя чувства произошли отъ перемѣны убѣжденій, то откуда могла взяться эта перемѣна? Развѣ міръ сталъ хуже, а я лучше, или раньше я былъ слѣпъ и равнодушенъ? Если же эта перемѣна произошла отъ общаго упадка физическихъ и умственныхъ силъ—я вѣдь боленъ и каждый день теряю въ вѣсѣ,—то положеніе мое жалко: значитъ, мои новыя мысли ненормальны, нездоровы, я долженъ стыдиться ихъ и считать ничтожными...

— Болѣзнь тутъ ни при чемъ,—перебиваетъ меня Катя.—Просто у васъ открылись глаза; вотъ и все. Вы увидѣли то, чего раньше почему-то не хотѣли замѣчать. По-моему, прежде всего вамъ нужно окончательно порвать съ семьей и уйти.

— Ты говоришь нелѣпости.

— Вы ужъ не любите ихъ, что жъ тутъ кривить душой? И развѣ это семья? Ничтожества! Умри онѣ сегодня, и завтра же никто не замѣтитъ ихъ отсутствія.

Катя презираетъ жену и дочь такъ же сильно, какъ тѣ ее ненавидятъ. Едва ли можно въ наше время говорить о правѣ людей презирать другъ друга. Но если стать на точку зрѣнія Кати и признать такое право существующимъ, то все-таки увидишь, что она имѣетъ такое же право презирать жену и Лизу, какъ тѣ ее ненавидѣть.

— Ничтожества!—повторяетъ она.—Вы обѣдали сегодня? Какъ же это онѣ не позабыли позвать васъ въ столовую? Какъ это онѣ до сихъ поръ помнятъ еще о вашемъ существованіи?

— Катя,—говорю я строго:—прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мнѣ весело говорить о нихъ? Я была

бы рада совсѣмъ ихъ не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уѣзжайте. Поѣзжайте за границу. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Что за вздоръ! А университетъ?

— И университетъ тоже. Что онъ вамъ? Все равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лѣтъ, а гдѣ ваши ученики? Много ли у васъ знаменитыхъ ученыхъ? Сочтите-ка? А чтобы размножать этихъ докторовъ, которые эксплоатируютъ невѣжество и наживаютъ сотни тысячъ, для этого не нужно быть талантливымъ и хорошимъ человѣкомъ. Вы лишній.

— Боже мой, какъ ты рѣзка! — ужасаюсь я.—Какъ ты рѣзка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умѣю отвѣчать на твои рѣзкости!

Входитъ горничная и зоветъ насъ пить чай. Около самовара нашъ разговоръ, слава Богу, мѣняется. Послѣ того, какъ я уже пожаловался, мнѣ хочется дать волю другой своей старческой слабости—воспоминаніямъ. Я разсказываю Катѣ о своемъ прошломъ и, къ великому удивленію, сообщаю ей такія подробности, о какихъ я даже не подозрѣвалъ, что онѣ еще цѣлы въ моей памяти. А она слушаетъ меня съ умиленіемъ, съ гордостью, притаивъ дыханіе. Особенно я люблю разсказывать ей о томъ, какъ я когда-то учился въ семинаріи и какъ мечталъ поступить въ университетъ.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду...—разсказываю я.—Донесетъ вѣтеръ изъ какого-нибудь далекаго кабака пиликанье гармоники и пѣсню, или промчится мимо семинарскаго забора тройка съ колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдругъ наполнило не только грудь, но даже животъ, ноги, руки... Слушаешь гармонику, или затихающіе колокола, а самъ воображаешь себя врачомъ и рисуешь картины—одна другой лучше. И вотъ, какъ видишь, мечты мои сбылись. Я получилъ больше, чѣмъ смѣлъ мечтать. Тридцать лѣтъ я былъ любимымъ профессоромъ, имѣлъ превосходныхъ товарищей, пользовался почетною извѣстностью. Я любилъ, женился по страстной любви, имѣлъ дѣтей. Однимъ словомъ, если оглянуться назадъ, то вся моя жизнь представляется мнѣ красивой, талантливо сдѣланной композиціей. Теперь мнѣ остается только не испортить финала. Для этого нужно уме-

реть по-человѣчески. Если смерть въ самомъ дѣлѣ опасность, то нужно встрѣтить ее такъ, какъ подобаетъ это учителю, ученому и гражданину христіанскаго государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финалъ. Я утопаю, бѣгу къ тебѣ, прошу помощи, а ты мнѣ: утопайте, это такъ и нужно.

Но вотъ въ передней раздается звонокъ. Я и Катя узнаемъ его и говоримъ:

— Это, должно-быть, Михаилъ Ѳедоровичъ.

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ минуту входитъ мой товарищъ-филологъ, Михаилъ Ѳедоровичъ, высокій, хорошо сложенный, лѣтъ 50, съ густыми, сѣдыми волосами, съ черными бровями и бритый. Это добрый человѣкъ и прекрасный товарищъ. Происходитъ онъ отъ старинной дворянской фамиліи, довольно счастливой и талантливой, играющей замѣтную роль въ исторіи нашей литературы и просвѣщенія. Самъ онъ уменъ, талантливъ, очень образованъ, но не безъ странностей. До нѣкоторой степени всѣ мы странны и всѣ мы чудаки, но его странности представляютъ нѣчто исключительное и небезопасное для его знакомыхъ. Между послѣдними я знаю не мало такихъ, которые за его странностями совершенно не видятъ его многочисленныхъ достоинствъ.

Войдя къ намъ, онъ медленно снимаетъ перчатки и говоритъ бархатнымъ басомъ:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затѣмъ онъ садится за столъ, беретъ себѣ стаканъ и тотчасъ же начинаетъ говорить. Самое характерное въ его манерѣ говорить, это постоянно шутливый тонъ, какая-то помѣсь философіи съ балагурствомъ, какъ у шекспировскихъ гробокопателей. Онъ всегда говоритъ о серьезномъ, но никогда не говоритъ серьезно. Сужденія его всегда рѣзки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону, какъ-то такъ выходитъ, что рѣзкость и брань не рѣжутъ уха и къ нимъ скоро привыкаешь. Каждый вечеръ онъ приноситъ съ собою штукъ пять-шесть анекдотовъ изъ университетской жизни и съ нихъ обыкновенно начинаетъ, когда садится за столъ.

— Охъ, Господи! — вздыхаетъ онъ, насмѣшливо шевеля своими черными бровями. — Бываютъ же на свѣтѣ такіе комики!

— А что? — спрашиваетъ Катя.

— Иду я сегодня съ лекціи и встрѣчаю на лѣстницѣ этого стараго идіота, нашего NN... Идетъ и, по обыкновенію, выставилъ впередъ свой лошадиный подбородокъ и ищетъ, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентовъ, которые не хотятъ посѣщать его лекцій. Ну, думаю, увидѣлъ меня — теперь погибъ, пропало дѣло...

И такъ далѣе въ такомъ родѣ. Или же онъ начинаетъ такъ:

— Былъ вчера на публичной лекціи нашего ZZ. Удивляюсь, какъ это наша alma mater, не къ ночи будь помянута, рѣшается показывать публикѣ такихъ балбесовъ и патентованныхъ тупицъ, какъ этотъ ZZ. Вѣдь это европейскій дуракъ! Помилуйте, другого такого по всей Европѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь! Читаетъ, можете себѣ представить, точно леденецъ сосетъ! сю-сю-сю... Струсилъ, плохо разбираетъ свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, ѣдущаго на велосипедѣ, а главное, никакъ не разберешь, что онъ хочетъ сказать. Скучища страшная, мухи мрутъ. Эту скучищу можно сравнить только развѣ съ тою, какая бываетъ у насъ въ актовомъ залѣ на годичномъ актѣ, когда читается традиціонная рѣчь, чтобъ ее чортъ взялъ.

И тотчасъ же рѣзкій переходъ:

— Года три тому назадъ, вотъ Николай Степановичъ помнитъ, пришлось мнѣ читать эту рѣчь. Жарко, душно, мундиръ давитъ подъ мышками — просто смерть! Читаю полчаса, часъ, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава Богу, осталось еще только десять страницъ». А въ концѣ у меня были такія четыре страницы, что можно было совсѣмъ не читать, и я разсчитывалъ ихъ выпустить. Значитъ, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянулъ мелькомъ впередъ и вижу: въ первомъ ряду сидятъ рядышкомъ какой-то генералъ съ лентой и архіерей. Бѣдняги окоченѣли отъ скуки, таращатъ глаза, чтобъ не уснуть, и все-таки тѣмъ не менѣе стараются изображать на своихъ лицахъ вниманіе и дѣлаютъ видъ, что мое чтеніе имъ понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, такъ нате же вамъ! На зло! Взялъ и прочелъ всѣ четыре страницы.

Когда онъ говоритъ, то улыбаются у него, какъ вообще

у насмѣшливыхъ людей, одни только глаза и брови. Въ глазахъ у него въ это время нѣтъ ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бываетъ подмѣтить только у очень наблюдательныхъ людей. Если продолжать говорить объ его глазахъ, то я замѣтилъ еще одну ихъ особенность. Когда онъ принимаетъ отъ Кати стаканъ, или выслушиваетъ ея замѣчаніе, или провожаетъ ее взглядомъ, когда она зачѣмъ-нибудь ненадолго выходитъ изъ комнаты, то въ его взглядѣ я замѣчаю что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убираетъ самоваръ и ставитъ на столъ большой кусокъ сыру, фрукты и бутылку крымскаго шампанскаго, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила въ Крыму. Михаилъ Ѳедоровичъ беретъ съ этажерки двѣ колоды картъ и раскладываетъ пасьянсъ. По его увѣренію, нѣкоторые пасьянсы требуютъ большой сообразительности и вниманія, но тѣмъ не менѣе все-таки, раскладывая ихъ, онъ не перестаетъ развлекать себя разговоромъ. Катя внимательно слѣдитъ за его картами и больше мимикой, чѣмъ словами помогаетъ ему. Вина за весь вечеръ она выпиваетъ не больше двухъ рюмокъ, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Ѳедоровича, который можетъ пить много и никогда не пьянѣетъ.

За пасьянсомъ мы рѣшаемъ разные вопросы, преимущественно высшаго порядка, причемъ больше всего достается тому, что мы больше всего любимъ, т. е. наукѣ.

— Наука, слава Богу, отжила свой вѣкъ, — говоритъ Михаилъ Ѳедоровичъ съ разстановкой.—Ея пѣсня уже спѣта. Да-съ. Человѣчество начинаетъ уже чувствовать потребность замѣнить ее чѣмъ-нибудь другимъ. Выросла она на почвѣ предразсудковъ, вскормлена предразсудками и составляетъ теперь такую же квинтъ-эссенцію изъ предразсудковъ, какъ ея отжившія бабушки: алхимія, метафизика и философія. И въ самомъ дѣлѣ, что она дала людямъ? Вѣдь между учеными европейцами и китайцами, не имѣющими у себя никакихъ наукъ, разница самая ничтожная, чисто внѣшняя. Китайцы не знали науки, но что они отъ этого потеряли?

— И мухи не знаютъ науки,—говорю я:—но что же изъ этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степанычъ. Я вѣдь это говорю здѣсь, между нами... Я осторожнѣе, чѣмъ вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси Богъ! Въ массѣ живетъ предразсудокъ, что науки и искусства выше земледѣлія, торговли, выше ремеслъ. Наша секта кормится этимъ предразсудкомъ, и не мнѣ съ вами разрушать его. Спаси Богъ!

За пасьянсомъ достается на орѣхи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика, — вздыхаетъ Михаилъ Ѳедоровичъ. — Не говорю уже объ идеалахъ и прочее, но хоть бы работать и мыслить умѣли толкомъ! Вотъ ужъ именно: «Печально я гляжу на наше поколѣнье».

— Да, ужасно измельчали, — соглашается Катя. — Скажите, въ послѣднія пять-десять лѣтъ былъ ли у васъ хоть одинъ выдающійся?

— Не знаю, какъ у другихъ профессоровъ, но у себя что-то не помню.

— Я видѣла на своемъ вѣку много студентовъ и вашихъ молодыхъ ученыхъ, много актеровъ... Что жъ? Ни разу не сподобилась встрѣтиться не только съ героемъ, или съ талантомъ, но даже просто съ интереснымъ человѣкомъ. Все сѣро, бездарно, надуто претензіями...

Всѣ эти разговоры объ измельчаніи производятъ на меня всякій разъ такое впечатлѣніе, какъ будто я нечаянно подслушалъ нехорошій разговоръ о своей дочери. Мнѣ обидно, что обвиненія огульны и строятся на такихъ давно избитыхъ общихъ мѣстахъ, такихъ жупелахъ, какъ измельчаніе, отсутствіе идеаловъ, или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвиненіе, даже если оно высказывается въ дамскомъ обществѣ, должно быть формулировано съ возможною опредѣленностью, иначе оно не обвиненіе, а пустое злословіе, недостойное порядочныхъ людей.

Я старикъ, служу уже 30 лѣтъ, но не замѣчаю ни измельчанія, ни отсутствія идеаловъ и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чѣмъ прежде. Мой швейцаръ, Николай, опытъ котораго въ данномъ случаѣ имѣетъ свою цѣну, говоритъ, что нынѣшніе студенты не лучше и не хуже прежнихъ.

Если бы меня спросили, что мнѣ не нравится въ теперешнихъ моихъ ученикахъ, то я отвѣтилъ бы на это не сразу и не много, но съ достаточной опредѣленностью. Недостатки ихъ я знаю, и мнѣ поэтому нѣтъ надобности при-

бѣгать къ туману общихъ мѣстъ. Мнѣ не нравится, что они курятъ табакъ, употребляютъ спиртные напитки и поздно женятся; что они безпечны и часто равнодушны до такой степени, что терпятъ въ своей средѣ голодающихъ и не платятъ долговъ въ общество вспомоществованія студентамъ. Они не знаютъ новыхъ языковъ и неправильно выражаются по-русски; не дальше, какъ вчера, мой товарищъ-гигіенистъ жаловался мнѣ, что ему приходится читать вдвое больше, такъ какъ они плохо знаютъ физику и совершенно незнакомы съ метеорологіей. Они охотно поддаются вліянію писателей новѣйшаго времени, даже не лучшихъ, но совершенно равнодушны къ такимъ классикамъ, какъ, напримѣръ, Шекспиръ, Маркъ Аврелій, Епиктетъ, или Паскаль, и въ этомъ неумѣньѣ отличать большое отъ малаго наиболѣе всего сказывается ихъ житейская непрактичность. Всѣ затруднительные вопросы, имѣющіе болѣе или менѣе общественный характеръ (напримѣръ, переселенческій), они рѣшаютъ подписными листами, но не путемъ научнаго изслѣдованія и опыта, хотя послѣдній путь находится въ полномъ ихъ распоряженіи и наиболѣе соотвѣтствуетъ ихъ назначенію. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти мѣста до сорока лѣтъ, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная иниціатива въ наукѣ не меньше нужны, чѣмъ, напримѣръ, въ искусствѣ или торговлѣ. У меня есть ученики и слушатели, но нѣтъ помощниковъ и наслѣдниковъ, и потому я люблю ихъ и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д...

Подобные недостатки, какъ бы много ихъ ни было, могутъ породить пессимистическое или бранчивое настроеніе только въ человѣкѣ малодушномъ и робкомъ. Всѣ они имѣютъ случайный, преходящій характеръ и находятся въ полной зависимости отъ жизненныхъ условій; достаточно какихъ-нибудь десяти лѣтъ, чтобы они исчезли, или уступили свое мѣсто другимъ, новымъ недостаткамъ, безъ которыхъ не обойтись и которые въ свою очередь будутъ пугать малодушныхъ. Студенческіе грѣхи досаждаютъ мнѣ часто, но эта досада ничто въ сравненіи съ тою радостью, какую я испытываю уже 30 лѣтъ, когда бесѣдую съ учениками, читаю имъ, приглядываюсь къ ихъ отношеніямъ и сравниваю ихъ съ людьми не ихъ круга.

Михаилъ Ѳедоровичъ злословитъ, Катя слушаетъ и оба не замѣчаютъ, въ какую глубокую пропасть мало-по-малу втягиваетъ ихъ такое, повидимому, невинное развлеченіе, какъ осужденіе ближнихъ. Они не чувствуютъ, какъ простой разговоръ постепенно переходитъ въ глумленіе и въ издѣвательство и какъ оба они начинаютъ пускать въ ходъ даже клеветническіе пріемы.

— Уморительные попадаются субъекты,—говоритъ Михаилъ Ѳедоровичъ. — Вчера прихожу я къ нашему Егору Петровичу и застаю тамъ студіоза, изъ вашихъ же медиковъ, III курса, кажется. Лицо этакое... въ добролюбовскомъ стилѣ, на лбу печать глубокомыслія. Разговорились. «Такія-то дѣла, говорю, молодой человѣкъ. Читалъ я, говорю, что какой-то нѣмецъ—забылъ его фамилію—добылъ изъ человѣческаго мозга новый алкалоидъ идіотинъ». Что жъ вы думаете? Повѣрилъ и даже на лицѣ своемъ уваженіе изобразилъ: знай, молъ, нашихъ! А то намедни прихожу я въ театръ. Сажусь. Какъ разъ впереди меня, въ слѣдующемъ ряду, сидятъ какихъ-то два: одинъ «изъ насихъ» и, повидимому, юристъ, другой лохматый — медикъ. Медикъ пьянъ, какъ сапожникъ. На сцену — ноль вниманія. Знай себѣ дремлетъ да носомъ клюетъ. Но какъ только какой-нибудь актеръ начнетъ громко читать монологъ или просто возвыситъ голосъ, мой медикъ вздрагиваетъ, толкаетъ своего сосѣда въ бокъ и спрашиваетъ: «Что онъ говоритъ? Бла-а-родно?»—Благородно,—отвѣчаетъ «изъ насихъ».—«Брраво! оретъ медикъ. Бла-ародно. Браво!» Онъ, видите ли, дубина пьяная, пришелъ въ театръ не за искусствомъ, а за благородствомъ. Ему благородство нужно.

А Катя слушаетъ и смѣется. Хохотъ у нея какой-то странный: вдыханія быстро и ритмически правильно чередуются съ выдыханіями — похоже на то, какъ будто она играетъ на гармоникѣ—и на лицѣ при этомъ смѣются однѣ только ноздри. Я же падаю духомъ и не знаю, что говорить. Выйдя изъ себя, я вспыхиваю, вскакиваю съ мѣста и кричу:

— Замолчите, наконецъ! Что вы сидите тутъ, какъ двѣ жабы, и отравляете воздухъ своими дыханіями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончатъ злословить, я собираюсь уходить домой. Да ужъ и пора: одиннадцатый часъ.

— А я еще посижу немножко,—говоритъ Михаилъ Ѳедоровичъ.—Позволяете, Екатерина Владиміровна?

— Позволяю,—отвѣчаетъ Катя.

— Вепе. Въ такомъ случаѣ прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожаютъ меня со свѣчами въ переднюю, и пока я надѣваю шубу, Михаилъ Ѳедоровичъ говоритъ:

— Въ послѣднее время вы ужасно похудѣли и состарились, Николай Степановичъ. Что съ вами? Больны?

— Да, боленъ немножко.

— И не лѣчится...—угрюмо вставляетъ Катя.

— Отчего же не лѣчитесь? Какъ можно такъ? Береженаго, милый человѣкъ, Богъ бережетъ. Кланяйтесь вашимъ и извинитесь, что не бываю. На-дняхъ, передъ отъѣздомъ за границу, приду проститься. Непремѣнно! На будущей недѣлѣ уѣзжаю.

Выхожу я отъ Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болѣзни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: въ самомъ дѣлѣ, не полѣчиться ли у кого-нибудь изъ товарищей? И тотчасъ же я воображаю, какъ товарищъ, выслушавъ меня, отойдетъ молча къ окну, подумаетъ, потомъ обернется ко мнѣ и, стараясь, чтобы я не прочелъ на его лицѣ правды, скажетъ равнодушнымъ тономъ:—«Пока не вижу ничего особеннаго, но все-таки, коллега, я совѣтовалъ бы вамъ прекратить занятія»... И это лишитъ меня послѣдней надежды.

У кого нѣтъ надеждъ? Теперь, когда я самъ ставлю себѣ діагнозъ и самъ лѣчу себя, временами я надѣюсь, что меня обманываетъ мое невѣжество, что я ошибаюсь и насчетъ бѣлка и сахара, которые нахожу у себя, и насчетъ сердца, и насчетъ тѣхъ отековъ, которые уже два раза видѣлъ у себя по утрамъ; когда я съ усердіемъ ипохондрика перечитываю учебники терапіи и ежедневно мѣняю лѣкарства, мнѣ все кажется, что я набреду на что-нибудь утѣшительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами, или сіяютъ на немъ луна и звѣзды, я всякій разъ, возвращаясь, гляжу на него и думаю о томъ, что скоро меня возьметъ смерть. Казалось бы, въ это время мысли мои должны быть глубоки, какъ небо, ярки, поразительны... Но нѣтъ! Я думаю о себѣ самомъ, о женѣ, Лизѣ, Гнеккерѣ, о студентахъ, вообще о людяхъ;

думаю нехорошо, мелко, хитрю передъ самимъ собою, и въ это время мое міросозерцаніе можетъ быть выражено словами, которыя знаменитый Аракчеевъ сказалъ въ одномъ изъ своихъ интимныхъ писемъ: «Все хорошее въ свѣтѣ не можетъ быть безъ дурного, и всегда болѣе худого, чѣмъ хорошаго». То-есть все гадко, не для чего жить, а тѣ 62 года, которые уже прожиты, слѣдуетъ считать пропащими. Я ловлю себя на этихъ мысляхъ и стараюсь убѣдить себя, что онѣ случайны, временны и сидятъ во мнѣ не глубоко, но тотчасъ же я думаю:

«Если такъ, то зачѣмъ же каждый вечеръ тебя тянетъ къ тѣмъ двумъ жабамъ?»

И я даю себѣ клятву больше никогда не ходить къ Катѣ, хотя и знаю, что завтра же опять пойду къ ней.

Дергая у своей двери за звонокъ и потомъ идя вверхъ по лѣстницѣ, я чувствую, что у меня уже нѣтъ семьи и нѣтъ желанія вернуть ее. Ясно, что новыя, аракчеевскія мысли сидятъ во мнѣ не случайно и не временно, а владѣютъ всѣмъ моимъ существомъ. Съ больною совѣстью, унылый, лѣнивый, едва двигая членами, точно во мнѣ прибавилась тысяча пудовъ вѣсу, я ложусь въ постель и скоро засыпаю.

А потомъ—безсонница...

IV.

Наступаетъ лѣто, и жизнь мѣняется.

Въ одно прекрасное утро входитъ ко мнѣ Лиза и говоритъ шутливымъ тономъ:

— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведутъ на улицу, сажаютъ на извозчика и везутъ. Я ѣду и отъ нечего дѣлать читаю вывѣски справа налѣво. Изъ слова «трактиръ» выходитъ «риткартъ». Это годилось бы для баронской фамиліи: баронесса Риткартъ. Далѣе ѣду по полю мимо кладбища, которое не производитъ на меня ровно никакого впечатлѣнія, хотя я скоро буду лежать на немъ; потомъ ѣду лѣсомъ и опять полемъ. Ничего интереснаго. Послѣ двухчасовой ѣзды, мое превосходительство ведутъ въ нижній этажъ дачи и помѣщаютъ его въ небольшой, очень веселенькой комнаткѣ съ голубыми обоями.

Ночью попрежнему безсонница, но утромъ я уже не

бодрствую и не слушаю жены, а лежу въ постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояніе, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. Въ полдень я встаю и сажусь по привычкѣ за свой столъ, но ужъ не работаю, а развлекаю себя французскими книжками въ желтыхъ обложкахъ, которыя присылаетъ мнѣ Катя. Конечно, было бы патріотичнѣе читать русскихъ авторовъ, но, признаться, я не питаю къ нимъ особеннаго расположенія. Исключая двухъ-трехъ стариковъ, вся нынѣшняя литература представляется мнѣ не литературой, а въ своемъ родѣ кустарнымъ промысломъ, существующимъ только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его издѣліями. Самое лучшее изъ кустарныхъ издѣлій нельзя назвать замѣчательнымъ и нельзя искренно похвалить его безъ «но»; то же самое слѣдуетъ сказать и о всѣхъ тѣхъ литературныхъ новинкахъ, которыя я прочелъ въ послѣднія 10—15 лѣтъ: ни одной замѣчательной, и не обойдешься безъ «но». Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или наконецъ — талантливо, умно, но не благородно.

Я не скажу, чтобы французскія книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И онѣ не удовлетворяютъ меня. Но онѣ не такъ скучны, какъ русскія, и въ нихъ не рѣдкость найти главный элементъ творчества—чувство личной свободы, чего нѣтъ у русскихъ авторовъ. Я не помню ни одной такой новинки, въ которой авторъ съ первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совѣстью. Одинъ боится говорить о голомъ тѣлѣ, другой связалъ себя по рукамъ и по ногамъ психологическимъ анализомъ, третьему нужно «теплое отношеніе къ человѣку», четвертый нарочно цѣлыя страницы размазываетъ описаніями природы, чтобы не быть заподозрѣннымъ въ тенденціозности... Одинъ хочетъ быть въ своихъ произведеніяхъ непремѣнно мѣщаниномъ, другой непремѣнно дворяниномъ и т. д. Умышленность, осторожность, себѣ на умѣ, но нѣтъ ни свободы, ни мужества писать, какъ хочется, а стало-быть, нѣтъ и творчества.

Все это относится къ такъ-называемой изящной словесности.

Что же касается русскихъ серьезныхъ статей, напри-

мѣръ, по соціологіи, по искусству и проч., то я не читаю ихъ просто изъ робости. Въ дѣтствѣ и въ юности я почему-то питалъ страхъ къ швейцарамъ и къ театральнымъ капельдинерамъ, и этотъ страхъ остался у меня до сихъ поръ. Я и теперь боюсь ихъ. Говорятъ, что кажется страшнымъ только то, что непонятно. И въ самомъ дѣлѣ, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры такъ важны, надменны и величаво невѣжливы. Читая серьезныя статьи, я чувствую точно такой же неопредѣленный страхъ. Необычайная важность, игривый генеральскій тонъ, фамильярное обращеніе съ иностранными авторами, умѣнье съ достоинствомъ переливать изъ пустого въ порожнее— все это для меня непонятно, страшно и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тонъ, къ которымъ я привыкъ, читая нашихъ писателей-врачей и естественниковъ. Не только статьи, но мнѣ тяжело читать даже переводы, которые дѣлаютъ или редактируютъ русскіе серьезные люди. Чванный, благосклонный тонъ предисловій, изобиліе примѣчаній отъ переводчика, мѣшающихъ мнѣ сосредоточиться, знаки вопроса и sic въ скобкахъ, разбросанные щедрымъ переводчикомъ во всей статьѣ или книгѣ, представляются мнѣ покушеніемъ и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Какъ-то разъ я былъ приглашенъ экспертомъ въ окружный судъ; въ антрактѣ одинъ изъ моихъ товарищей-экспертовъ обратилъ мое вниманіе на грубое отношеніе прокурора къ подсудимымъ, среди которыхъ были двѣ интеллигентныя женщины. Мнѣ кажется, я нисколько не преувеличилъ, отвѣтивъ товарищу, что это отношеніе не грубѣе тѣхъ, какія существуютъ у авторовъ серьезныхъ статей другъ къ другу. Въ самомъ дѣлѣ, эти отношенія такъ грубы, что о нихъ можно говорить только съ тяжелымъ чувствомъ. Другъ къ другу и къ тѣмъ писателямъ, которыхъ они критикуютъ, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же наоборотъ, третируютъ ихъ гораздо смѣлѣе, чѣмъ я въ этихъ запискахъ и мысляхъ своего будущаго зятя Гнеккера. Обвиненія въ невмѣняемости, въ нечистотѣ намѣреній и даже во всякаго рода уголовщинѣ составляютъ обычное украшеніе серьезныхъ статей. А это ужъ, какъ любятъ выражаться въ своихъ статейкахъ молодые врачи, ultima ratio! Такія отношенія неминуемо должны

отражаться на нравахъ молодого поколѣнія пишущихъ, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что въ тѣхъ новинкахъ, какія пріобрѣла въ послѣднія 10—15 лѣтъ наша изящная словесность, герои пьютъ много водки, а героини недостаточно цѣломудренны.

Я читаю французскія книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мнѣ видны зубцы моего палисадника, два-три тощихъ деревца, а тамъ дальше за палисадникомъ дорога, поле, потомъ широкая полоса хвойнаго лѣса. Часто я любуюсь, какъ какіе-то мальчикъ и дѣвочка, оба бѣловолосые и оборванные, карабкаются на палисадникъ и смѣются надъ моей лысиной. Въ ихъ блестящихъ глазенкахъ я читаю: «Гряди, плѣшивый!» Это едва ли не единственные люди, которымъ нѣтъ никакого дѣла ни до моей извѣстности, ни до чина.

Посѣтители теперь бываютъ у меня не каждый день. Упомяну только о посѣщеніяхъ Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходитъ обыкновенно ко мнѣ по праздникамъ, какъ будто за дѣломъ, но больше затѣмъ, чтобъ повидаться. Приходитъ онъ сильно навеселѣ, чего съ нимъ никогда не бываетъ зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя къ нему въ сѣни.

— Ваше превосходительство! — говоритъ онъ, прижимая руку къ сердцу и глядя на меня съ восторгомъ влюбленнаго. — Ваше превосходительство! Накажи меня Богъ! Убей громъ на этомъ мѣстѣ! Гаудеамусъ игитуръ ювенестусъ!

И онъ жадно цѣлуетъ меня въ плечи, въ рукава, въ пуговицы.

— Все у насъ тамъ благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Какъ передъ Истиннымъ...

Онъ не перестаетъ божиться безъ всякой надобности, скоро наскучаетъ мнѣ и я отсылаю его въ кухню, гдѣ ему подаютъ обѣдъ. Петръ Игнатьевичъ пріѣзжаетъ ко мнѣ тоже по праздникамъ спеціально за тѣмъ, чтобы провѣдать и подѣлиться со мною мыслями. Сидитъ онъ у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенькій, разсудительный, не рѣшаясь положить ногу на ногу или облокотиться о столъ; и все время онъ тихимъ, ровнымъ голоскомъ, гладко и книжно разсказываетъ мнѣ разныя, по его мнѣнію, очень

интересныя и пикантныя новости, вычитанныя имъ изъ журналовъ и книжекъ. Всѣ эти новости похожи одна на другую и сводятся къ такому типу: одинъ французъ сдѣлалъ открытіе, другой—нѣмецъ—уличилъ его, доказавъ, что это открытіе было сдѣлано еще въ 1870 году какимъ-то американцемъ, а третій—тоже нѣмецъ—перехитрилъ обоихъ, доказавъ имъ, что оба они опростоволосились, принявъ подъ микроскопомъ шарики воздуха за темный пигментъ. Петръ Игнатьевичъ, даже когда хочетъ разсмѣшить меня, разсказываетъ длинно, обстоятельно, точно защищаетъ диссертацію, съ подробнымъ перечисленіемъ литературныхъ источниковъ, которыми онъ пользовался, стараясь не ошибиться ни въ числахъ, ни въ номерахъ журналовъ, ни въ именахъ, причемъ говоритъ не просто Пти, а непремѣнно Жанъ Жакъ Пти. Случается, что онъ остается у насъ обѣдать, и тогда въ продолженіе всего обѣда онъ разсказываетъ все тѣ же пикантныя исторіи, наводящія уныніе на всѣхъ обѣдающихъ. Если Гнеккеръ и Лиза заводятъ при немъ рѣчь о фугахъ и контра-пунктахъ, о Брамсѣ и Бахѣ, то онъ скромно потупляетъ взоры и конфузится; ему стыдно, что въ присутствіи такихъ серьезныхъ людей, какъ я и онъ, говорятъ о такихъ пошлостяхъ.

При теперешнемъ моемъ настроеніи достаточно пяти минутъ, чтобы онъ надоѣлъ мнѣ такъ, какъ будто я вижу и слушаю его уже цѣлую вѣчность. Я ненавижу бѣднягу. Отъ его тихаго, ровнаго голоса и книжнаго языка я чахну, отъ разсказовъ тупѣю... Онъ питаетъ ко мнѣ самыя хорошія чувства и говоритъ со мною только для того, чтобы доставить мнѣ удовольствіе, а я плачу ему тѣмъ, что въ упоръ гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «уйди, уйди, уйди»... Но онъ не поддается мысленному внушенію и сидитъ, сидитъ, сидитъ...

Пока онъ сидитъ у меня, я никакъ не могу отдѣлаться отъ мысли: «очень возможно, что, когда я умру, его назначатъ на мое мѣсто», и моя бѣдная аудиторія представляется мнѣ оазисомъ, въ которомъ высохъ ручей, и я съ Петромъ Игнатьевичемъ нелюбезенъ, молчаливъ, угрюмъ, какъ будто въ подобныхъ мысляхъ виноватъ онъ, а не я самъ. Когда онъ начинаетъ по обычаю превозносить нѣмецкихъ ученыхъ я ужъ не подшучиваю добродушно, какъ прежде, а угрюмо бормочу:

— Ослы ваши нѣмцы...

Это похоже на то, какъ покойный профессоръ Никита Крыловъ, купаясь однажды съ Пироговымъ въ Ревелѣ и разсердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы нѣмцы!» Веду я себя съ Петромъ Игнатьевичемъ дурно, и только когда онъ уходитъ и я вижу, какъ въ окнѣ за палисадникомъ мелькаетъ его сѣрая шляпа, мнѣ хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчикъ!»

Обѣдъ у насъ проходитъ скучнѣе, чѣмъ зимою. Тотъ же Гнеккеръ, котораго я теперь ненавижу и презираю, обѣдаетъ у меня почти каждый день. Прежде я терпѣлъ его присутствіе молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющія краснѣть жену и Лизу. Увлекшись злымъ чувствомъ, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачѣмъ говорю ихъ. Такъ случилось однажды, я долго глядѣлъ съ презрѣніемъ на Гнеккера и ни съ того, ни съ сего выпалилъ:

Орламъ случается и ниже куръ спускаться,
Но курамъ никогда до облакъ не подняться...

И досаднѣе всего, что курица Гнеккеръ оказывается гораздо умнѣе орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его сторонѣ, онъ держится такой тактики: отвѣчаетъ на мои колкости снисходительнымъ молчаніемъ (спятилъ, молъ, старикъ—что съ нимъ разговаривать?), или же добродушно подшучиваетъ надо мной. Нужно удивляться, до какой степени можетъ измельчать человѣкъ! Я въ состояніи въ продолженіе всего обѣда мечтать о томъ, какъ Гнеккеръ окажется авантюристомъ, какъ Лиза и жена поймутъ свою ошибку и какъ я буду дразнить ихъ — и подобныя нелѣпыя мечты въ то время, когда одною ногой я стою уже въ могилѣ!

Бываютъ теперь и недоразумѣнія, о которыхъ я прежде имѣлъ понятіе только по наслышкѣ. Какъ мнѣ ни совѣстно, но опишу одно изъ нихъ, случившееся на-дняхъ послѣ обѣда.

Я сижу у себя въ комнатѣ и курю трубочку. Входитъ, по обыкновенію, жена, садится и начинаетъ говорить о томъ, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съѣздить въ Харьковъ и разузнать тамъ, что за человѣкъ нашъ Гнеккеръ.

— Хорошо, съѣзжу...—соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встаетъ и идетъ къ двери, но тотчасъ же возвращается и говоритъ:

— Кстати еще одна просьба. Я знаю, ты разсердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степанычъ, но всѣ наши знакомые и сосѣди стали ужъ поговаривать о томъ, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, съ ней пріятно провести время, но въ твои годы и съ твоимъ общественнымъ положеніемъ какъ-то, знаешь, странно находить удовольствіе въ ея обществѣ... Къ тому же, у нея такая репутація, что...

Вся кровь вдругъ отливаетъ отъ моего мозга, изъ глазъ сыплются искры, я вскакиваю и, схвативъ себя за голову, топоча ногами, кричу не своимъ голосомъ:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вѣроятно лицо мое ужасно, голосъ страненъ, потому что жена вдругъ блѣднѣетъ и громко вскрикиваетъ какимъ-то тоже не своимъ, отчаяннымъ голосомъ. На нашъ крикъ вбѣгаютъ Лиза, Гнеккеръ, потомъ Егоръ...

— Оставьте меня!—кричу я.—Вонъ! Оставьте!

Ноги мои нѣмѣютъ, точно ихъ нѣтъ совсѣмъ, я чувствую, какъ падаю на чьи-то руки, потомъ недолго слышу плачъ и погружаюсь въ обморокъ, который длится часа два-три.

Теперь о Катѣ. Она бываетъ у меня каждый день передъ вечеромъ и этого, конечно, не могутъ не замѣтить ни сосѣди, ни знакомые. Она пріѣзжаетъ на минутку и увозитъ меня съ собой кататься. У нея своя лошадь и новенькій шарабанъ, купленный этимъ лѣтомъ. Вообще живетъ она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особнякъ съ большимъ садомъ и перевезла въ нее всю свою городскую обстановку, имѣетъ двухъ горничныхъ, кучера... Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чѣмъ ты будешь жить, когда промотаешь отцовскія деньги?

— Тамъ увидимъ,—отвѣчаетъ она.

— Эти деньги, мой другъ, заслуживаютъ болѣе серьезнаго отношенія къ нимъ. Онѣ нажиты хорошимъ человѣкомъ, честнымъ трудомъ.

— Объ этомъ вы уже говорили мнѣ. Знаю.

Сначала мы ѣдемъ по полю, потомъ по хвойному лѣсу,

который виденъ изъ моего окна. Природа попрежнему кажется мнѣ прекрасною, хотя бѣсъ и шепчетъ мнѣ, что всѣ эти сосны и ели, птицы и бѣлыя облака на небѣ черезъ три или четыре мѣсяца, когда я умру, не замѣтятъ моего отсутствія. Катѣ нравится править лошадью и пріятно, что погода хороша и что я сижу рядомъ съ нею. Она въ духѣ и не говоритъ рѣзкостей.

— Вы очень хорошій человѣкъ, Николай Степанычъ,— говоритъ она. — Вы рѣдкій экземпляръ и нѣтъ такого актера, который сумѣлъ бы сыграть васъ. Меня или, напримѣръ, Михаила Ѳедорыча сыграетъ даже плохой актеръ, а васъ никто. И я вамъ завидую, страшно завидую! Вѣдь что я изображаю изъ себя? Что?

Она минуту думаетъ и спрашиваетъ меня:

— Николай Степанычъ, вѣдь я отрицательное явленіе? Да?

— Да,—отвѣчаю я.

— Гм... Что же мнѣ дѣлать?

Что отвѣтить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бѣднымъ», или «познай самого себя», и потому что это легко сказать, я не знаю, что отвѣтить.

Мои товарищи терапевты, когда учатъ лѣчить, совѣтуютъ «индивидуализировать каждый отдѣльный случай». Нужно послушаться этого совѣта, чтобы убѣдиться, что средства, рекомендуемыя въ учебникахъ за самыя лучшія и вполнѣ пригодныя для шаблона, оказываются совершенно негодными въ отдѣльныхъ случаяхъ. То же самое и въ нравственныхъ недугахъ.

Но отвѣтить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой другъ, слишкомъ много свободнаго времени. Тебѣ необходимо заняться чѣмъ-нибудь. Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы тебѣ опять не поступить въ актрисы, если есть призваніе?

— Не могу.

— Тонъ и манера у тебя таковы, какъ будто ты жертва. Это мнѣ не нравится, другъ мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала съ того, что разсердилась на людей и на порядки, но ничего не сдѣлала, чтобы тѣ и другіе стали лучше. Ты не боролась со зломъ, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего безсилія. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все можетъ пойти

иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

— Не лукавьте, Николай Степанычъ,—перебиваетъ меня Катя.—Давайте разъ навсегда условимся: будемъ говорить объ актерахъ, объ актрисахъ, писателяхъ, но оставимъ въ покоѣ искусство. Вы прекрасный, рѣдкій человѣкъ, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совѣсти считать его святымъ. Къ искусству у васъ нѣтъ ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты и вамъ некогда было пріобрѣтать это чутье. Вообще... я не люблю этихъ разговоровъ объ искусствѣ! — продолжаетъ она нервно. — Не люблю! И такъ ужъ опошлили его, благодарю покорно!

— Кто опошлилъ?

— Тѣ опошлили его пьянствомъ, газеты—фамильярнымъ отношеніемъ, умные люди—философіей.

— Философія тутъ ни при чемъ.

— Причемъ. Если кто философствуетъ, то это значитъ, что онъ не понимаетъ.

Чтобы дѣло не дошло до рѣзкостей, я спѣшу перемѣнить разговоръ и потомъ долго молчу. Только когда мы выѣзжаемъ изъ лѣса и направляемся къ Катиной дачѣ, я возвращаюсь къ прежнему разговору и спрашиваю:

— Ты все-таки не отвѣтила мнѣ: отчего ты не хочешь идти въ актрисы?

— Николай Степанычъ, это наконецъ жестоко!—вскрикиваетъ она и вдругъ вся краснѣетъ.—Вамъ хочется, чтобы я вслухъ сказала правду? Извольте, если это... это вамъ нравится! Таланта у меня нѣтъ! Таланта нѣтъ и... и много самолюбія! Вотъ!

Сдѣлавъ такое признаніе, она отворачиваетъ отъ меня лицо и, чтобы скрыть дрожь въ рукахъ, сильно дергаетъ за вожжи.

Подъѣзжая къ ея дачѣ, мы уже издали видимъ Михаила Ѳедоровича, который гуляетъ около воротъ и нетерпѣливо поджидаетъ насъ.

— Опять этотъ Михаилъ Ѳедорычъ!—говоритъ Катя съ досадой.—Уберите его отъ меня, пожалуйста! Надоѣлъ, выдохся... Ну его!

Михаилу Ѳедоровичу давно уже нужно ѣхать за границу, но онъ каждую недѣлю откладываетъ свой отъѣздъ. Въ послѣднее время съ нимъ произошли кое-какія перемѣны:

онъ какъ-то осунулся, сталъ хмелѣть отъ вина, чего съ нимъ раньше никогда не бывало, и его черныя брови начинаютъ сѣдѣть. Когда нашъ шарабанъ останавливается у воротъ, онъ не скрываетъ своей радости и своего нетерпѣнія. Онъ суетливо высаживаетъ Катю и меня, торопится задавать вопросы, смѣется, потираетъ руки и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замѣчалъ только въ его взглядѣ, теперь разлито по всему его лицу. Онъ радуется и въ то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечеръ, и онъ находитъ нужнымъ мотивировать свой пріѣздъ какою-нибудь очевидною нелѣпостью, въ родѣ: «Ѣхалъ мимо по дѣлу и дай, думаю, заѣду на минуту».

Всѣ трое мы идемъ въ комнаты; сначала пьемъ чай, потомъ на столѣ появляются давно знакомыя мнѣ двѣ колоды картъ, большой кусокъ сыру, фрукты и бутылка крымскаго шампанскаго. Темы для разговоровъ у насъ не новы, все тѣ же, что были и зимою. Достается и университету, и студентамъ, и литературѣ, и театру; воздухъ отъ злословія становится гуще, душнѣе, и отравляютъ его своими дыханіями уже не двѣ жабы, какъ зимою, а цѣлыхъ три. Кромѣ бархатнаго, баритоннаго смѣха и хохота, похожаго на гармонику, горничная, которая служитъ намъ, слышитъ еще непріятный, дребезжащій смѣхъ, какимъ въ водевиляхъ смѣются генералы: хе-хе-хе...

V.

Бываютъ страшныя ночи съ громомъ, молніей, дождемъ и вѣтромъ, которыя въ народѣ называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и въ моей личной жизни...

Я просыпаюсь послѣ полуночи и вдругъ вскакиваю съ постели. Мнѣ почему-то кажется, что я сейчасъ внезапно умру. Почему кажется? Въ тѣлѣ нѣтъ ни одного такого ощущенія, которое указывало бы на скорый конецъ, но душу мою гнететъ такой ужасъ, какъ будто я вдругъ увидѣлъ громадное зловѣщее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо изъ графина, потомъ спѣшу къ открытому окну. Погода на дворѣ великолѣпная. Пахнетъ сѣномъ и чѣмъ-то еще очень хорошимъ. Видны мнѣ зубцы палисадника, сонныя тощія деревца у

окна, дорога, темная полоса лѣса; на небѣ спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни одинъ листъ. Мнѣ кажется, что все смотритъ на меня и прислушивается, какъ я буду умирать...

Жутко. Закрываю окно и бѣгу къ постели. Щупаю у себя пульсъ и, не найдя на рукѣ, ищу его въ вискахъ, потомъ въ подбородкѣ и опять на рукѣ и все это у меня холодно, склизко отъ пота. Дыханіе становится все чаще и чаще, тѣло дрожитъ, всѣ внутренности въ движеніи, на лицѣ и на лысинѣ такое ощущеніе, какъ будто на нихъ садится паутина.

Что дѣлать? Позвать семью? Нѣтъ, не нужно. Я не понимаю, что будутъ дѣлать жена и Лиза, когда войдутъ ко мнѣ.

Я прячу голову подъ подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спинѣ моей холодно, она точно втягивается во внутрь и такое у меня чувство, какъ будто смерть подойдетъ ко мнѣ непремѣнно сзади, потихоньку...

— Киви-киви! — раздается вдругъ пискъ въ ночной тишинѣ, и я не знаю, гдѣ это: въ моей груди, или на улицѣ?

— Киви-киви!

Боже мой, какъ страшно! Выпилъ бы еще воды, но ужъ страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужасъ у меня безотчетный, животный, и я никакъ не могу понять, отчего мнѣ страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждетъ новая, еще неизвѣданная боль?

Наверху за потолкомъ кто-то не то стонетъ, не то смѣется... Прислушиваюсь. Немного погодя на лѣстницѣ раздаются шаги. Кто-то торопливо идетъ внизъ, потомъ опять наверхъ. Черезъ минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто тамъ?—кричу я.

Дверь отворяется, я смѣло открываю глаза и вижу жену. Лицо у нея блѣдно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Николай Степанычъ?—спрашиваетъ она.

— Что тебѣ?

— Ради Бога сходи къ Лизѣ и посмотри на нее. Съ ней что-то дѣлается...

— Хорошо... съ удовольствіемъ... — бормочу я, очень довольный тѣмъ, что я не одинъ.—Хорошо... Сію минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говоритъ мнѣ, и ничего не понимаю отъ волненія. По ступенямъ лѣстницы прыгаютъ свѣтлыя пятна отъ ея свѣчи, дрожатъ наши длинныя тѣни, ноги мои путаются въ полахъ халата, я задыхаюсь, и мнѣ кажется, что за мной кто-то гонится и хочетъ схватить меня за спину. «Сейчасъ умру здѣсь на этой лѣстницѣ,—думаю я.—Сейчасъ...» Но вотъ миновали лѣстницу, темный коридоръ съ итальянскимъ окномъ и входимъ въ комнату Лизы. Она сидитъ на постели въ одной сорочкѣ, свѣсивъ босыя ноги, и стонетъ.

— Ахъ, Боже мой... ахъ, Боже мой! — бормочетъ она, жмурясь отъ нашей свѣчи.—Не могу, не могу...

— Лиза, дитя мое,—говорю я.—Что съ тобой?

Увидѣвъ меня, она вскрикиваетъ и бросается мнѣ на шею.

— Папа мой добрый...—рыдаетъ она:—папа мой хорошій... Крошечка мой, миленькій... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимаетъ меня, цѣлуетъ и лепечетъ ласкательныя слова, какія я слышалъ отъ нея, когда она была еще ребенкомъ.

— Успокойся, дитя мое, Богъ съ тобой, — говорю я.— Не нужно плакать. Мнѣ самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена даетъ ей пить и оба мы безпорядочно толчемся около постели; своимъ плечомъ я толкаю ее въ плечо, и въ это время мнѣ вспоминается, какъ мы когда-то вмѣстѣ купали нашихъ дѣтей.

— Да помоги же ей, помоги!—умоляетъ жена.—Сдѣлай что-нибудь!

Что же я могу сдѣлать? Ничего не могу. На душѣ у дѣвочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:

— Ничего, ничего... Это пройдетъ... Спи, спи...

Какъ нарочно, въ нашемъ дворѣ раздается вдругъ собачій вой, сначала тихій и нерѣшительный, потомъ громкій, въ два голоса. Я никогда не придавалъ значенія такимъ примѣтамъ, какъ вой собакъ или крикъ совъ, но теперь сердце мое мучительно сжимается и я спѣшу объяснить себѣ этотъ вой.

«Пустяки... — думаю я. — Вліяніе одного организма на другой. Мое сильное нервное напряженіе передалось женѣ,

Лизѣ, собакѣ, вотъ и все... Этой передачей объясняются предчувствія, предвидѣнія»...

Когда я, немного погодя, возвращаюсь къ себѣ въ комнату, чтобы написать для Лизы рецептъ, я ужъ не думаю о томъ, что скоро умру, но просто на душѣ тяжко, нудно, такъ что даже жаль, что я не умеръ внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолкомъ умолкаютъ и я рѣшаю ничего не прописывать, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что, какъ выразился какой-то писатель, даже въ ушахъ звенитъ. Время идетъ медленно, полосы луннаго свѣта на подоконникѣ не мѣняютъ своего положенія, точно застыли... Разсвѣтъ еще не скоро.

Но вотъ въ палисадникѣ скрипитъ калитка, кто-то крадется и, отломивъ отъ одного изъ тощихъ деревецъ вѣтку, осторожно стучитъ ею по окну.

— Николай Степанычъ! — слышу я шопотъ. — Николай Степанычъ!

Я отворяю окно и мнѣ кажется, что я вижу сонъ: подъ окномъ, прижавшись къ стѣнѣ, стоитъ женщина въ черномъ платьѣ, ярко освѣщенная луной, и глядитъ на меня большими глазами. Лицо ея блѣдно, строго и фантастично отъ луны, какъ мраморное, подбородокъ дрожитъ.

— Это я...—говоритъ она.—Я... Катя!

При лунномъ свѣтѣ всѣ женскіе глаза кажутся большими и черными, люди выше и блѣднѣе и потому, вѣроятно, я не узналъ ея въ первую минуту.

— Что тебѣ?

— Простите, — говоритъ она. — Мнѣ вдругъ почему-то стало невыносимо тяжело... Я не выдержала и поѣхала сюда... У васъ въ окнѣ свѣтъ и... и я рѣшила постучать... Извините... Ахъ, если бъ вы знали, какъ мнѣ было тяжело! Что вы сейчасъ дѣлаете?

— Ничего... Безсонница.

— У меня какое-то предчувствіе было. Впрочемъ, пустяки.

Брови ея поднимаются, глаза блестятъ отъ слезъ и все лицо озаряется, какъ свѣтомъ, знакомымъ, давно невиданнымъ выраженіемъ довѣрчивости.

— Николай Степанычъ!—говоритъ она умоляюще, про-

тягивая ко мнѣ обѣ руки. — Дорогой мой, прошу васъ... умоляю... Если вы не презираете моей дружбы и уваженія къ вамъ, то согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите отъ меня мои деньги!

— Ну, вотъ еще что выдумала! На что мнѣ твои деньги?

— Вы поѣдете куда-нибудь лѣчиться... Вамъ нужно лѣчиться. Возьмете? Да? Голубчикъ, да?

Она жадно всматривается въ мое лицо и повторяетъ:

— Да? Возьмете?

— Нѣтъ, мой другъ, не возьму...—говорю я.—Спасибо.

Она поворачивается ко мнѣ спиной и поникаетъ головой. Вѣроятно, я отказалъ ей такимъ тономъ, который не допускалъ дальнѣйшихъ разговоровъ о деньгахъ.

— Поѣзжай домой спать,—говорю я.—Завтра увидимся.

— Значитъ, вы не считаете меня своимъ другомъ?—спрашиваетъ она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня безполезны.

— Извините...—говоритъ она, понизивъ голосъ на цѣлую октаву.—Я понимаю васъ... Одолжаться у такого человѣка, какъ я... у отставной актрисы... Впрочемъ, прощайте...

И она уходитъ такъ быстро, что я не успѣваю даже сказать ей прощай.

VI.

Я въ Харьковѣ.

Такъ какъ бороться съ теперешнимъ моимъ настроеніемъ было бы безполезно, да и не въ моихъ силахъ, то я рѣшилъ, что послѣдніе дни моей жизни будутъ безупречны хотя съ формальной стороны; если я не правъ по отношенію къ своей семьѣ, что я отлично сознаю, то буду стараться дѣлать такъ, какъ она хочетъ. Въ Харьковъ ѣхать, такъ въ Харьковъ. Къ тому же, въ послѣднее время я такъ оравнодушѣлъ ко всему, что мнѣ положительно все равно, куда ни ѣхать, въ Харьковъ, въ Парижъ ли, или въ Бердичевъ.

Пріѣхалъ я сюда часовъ въ 12 дня и остановился въ гостиницѣ, недалеко отъ собора. Въ вагонѣ меня укачало, продуло сквозняками и теперь я сижу на кровати, держусь

за голову и жду tic'a. Надо бы сегодня же поѣхать къ знакомымъ профессорамъ, да нѣтъ охоты и силы.

Входитъ коридорный лакей-старикъ и спрашиваетъ, есть ли у меня постельное бѣлье. Я задерживаю его минутъ на пять и задаю ему нѣсколько вопросовъ насчетъ Гнеккера, ради котораго я пріѣхалъ сюда. Лакей оказывается уроженцемъ Харькова, знаетъ этотъ городъ, какъ свои пять пальцевъ, но не помнитъ ни одного такого дома, который носилъ бы фамилію Гнеккера. Разспрашиваю насчетъ имѣній—то же самое.

Въ коридорѣ часы бьютъ часъ, потомъ два, потомъ три... Послѣдніе мѣсяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мнѣ гораздо длиннѣе всей моей жизни. И никогда раньше я не умѣлъ такъ мириться съ медленностію времени, какъ теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзалѣ поѣзда или сидишь на экзаменѣ, четверть часа кажутся вѣчностью, теперь же я могу всю ночь сидѣть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о томъ, что завтра будетъ такая же длинная, безцвѣтная ночь, и послѣзавтра...

Въ коридорѣ бьетъ пять часовъ, шесть, семь... Становится темно.

Въ щекѣ тупая боль—это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрѣнія, когда не былъ равнодушенъ, и спрашиваю: зачѣмъ я, знаменитый человѣкъ, тайный совѣтникъ, сижу въ этомъ маленькомъ номерѣ, на этой кровати съ чужимъ, сѣрымъ одѣяломъ? Зачѣмъ я гляжу на этотъ дешевый жестяной рукомойникъ и слушаю, какъ въ коридорѣ дребезжатъ дрянные часы? Развѣ все это достойно моей славы и моего высокаго положенія среди людей? И на эти вопросы я отвѣчаю себѣ усмѣшкой. Смѣшна мнѣ моя наивность, съ какою я когда-то въ молодости преувеличивалъ значеніе извѣстности и того исключительнаго положенія, какимъ будто бы пользуются знаменитости. Я извѣстенъ, мое имя произносится съ благоговѣніемъ, мой портретъ былъ и въ «Нивѣ» и во «Всемірной Иллюстраціи», свою біографію я читалъ даже въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ—и что же изъ этого? Сижу я одинъ-одинешенекъ въ чужомъ городѣ, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку... Семейныя дрязги, немилосердіе кредиторовъ, грубость желѣзнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, до-

рогая и нездоровая пища въ буфетахъ, всеобщее невѣжество и грубость въ отношеніяхъ—все это и многое другое, что было бы слишкомъ долго перечислять, касается меня не менѣе, чѣмъ любого мѣщанина, извѣстнаго только своему переулку. Въ чемъ же выражается исключительность моего положенія? Допустимъ, что я знаменитъ тысячу разъ, что я герой, которымъ гордится моя родина; во всѣхъ газетахъ пишутъ бюллетени о моей болѣзни, по почтѣ идутъ уже ко мнѣ сочувственные адреса отъ товарищей, учениковъ и публики, но все это не помѣшаетъ мнѣ умереть на чужой кровати, въ тоскѣ, въ совершенномъ одиночествѣ... Въ этомъ, конечно, никто не виноватъ, но, грѣшный человѣкъ, не люблю я своего популярнаго имени. Мнѣ кажется, какъ будто оно меня обмануло.

Часовъ въ десять я засыпаю и, несмотря на tic, сплю крѣпко и спалъ бы долго, если бы меня не разбудили. Въ началѣ второго часа вдругъ раздается стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра, — сержусь я, получая отъ коридорнаго телеграмму. — Теперь ужъ я не усну въ другой разъ.

— Виноватъ-съ. У васъ огонь горитъ, я думалъ, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: отъ жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккеръ тайно обвѣнчался съ Лизой. Возвратись».

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугаетъ меня не поступокъ Лизы и Гнеккера, а мое равнодушіе, съ какимъ я встрѣчаю извѣстіе объ ихъ свадьбѣ. Говорятъ, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушіе—это параличъ души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я въ постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чемъ думать? Кажется, все ужъ передумано и ничего нѣтъ такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда разсвѣтаетъ, я сижу въ постели, обнявъ руками колѣни, и отъ нечего дѣлать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совѣтъ;

жаль только, что древніе не догадались указать способъ, какъ пользоваться этимъ совѣтомъ.

Когда мнѣ прежде приходила охота понять кого-нибудь, или себя, то я принималъ во вниманіе не поступки, въ которыхъ все условно, а желанія. Скажи мнѣ, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дѣти, друзья, ученики любили въ насъ не имя, не фирму и не ярлыкъ, а обыкновенныхъ людей. Еще что? Я хотѣлъ бы имѣть помощниковъ и наслѣдниковъ. Еще что? Хотѣлъ бы проснуться лѣтъ черезъ сто и хоть однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой. Хотѣлъ бы еще пожить лѣтъ десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думалъ и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ моемъ желаніи жить, въ этомъ сидѣньѣ на чужой кровати и въ стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое. Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинкахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей, или богомъ живого человѣка.

А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего.

При такой бѣдности достаточно было серьезнаго недуга, страха смерти, вліянія обстоятельствъ и людей, чтобы все то, что я прежде считалъ своимъ міровоззрѣніемъ и въ чемъ видѣлъ смыслъ и радость своей жизни, перевернулось вверхъ дномъ и разлетѣлось въ клочья. Ничего же поэтому нѣтъ удивительнаго, что послѣдніе мѣсяцы своей жизни я омрачилъ мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушенъ и не замѣчаю разсвѣта. Когда въ человѣкѣ нѣтъ того, что выше и сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ вліяній, то, право, достаточно для него хорошаго насморка, чтобы потерять равновѣсіе и начать видѣть

въ каждой птицѣ сову, въ каждомъ звукѣ слышать собачій вой. И весь его пессимизмъ или оптимизмъ съ его великими и малыми мыслями въ это время имѣютъ значеніе только симптома и больше ничего.

Я побѣжденъ. Если такъ, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидѣть и молча ждать, что будетъ.

Утромъ коридорный приноситъ мнѣ чай и нумеръ мѣстной газеты. Машинально я прочитываю объявленія на первой страницѣ, передовую, выдержки изъ газетъ и журналовъ, хронику... Между прочимъ въ хроникѣ я нахожу такое извѣстіе: «Вчера съ курьерскимъ поѣздомъ прибылъ въ Харьковъ нашъ извѣстный ученый, заслуженный профессоръ Николай Степановичъ такой-то и остановился въ такой-то гостиницѣ».

Очевидно, громкія имена создаются для того, чтобы жить особнякомъ, помимо тѣхъ, кто ихъ носитъ. Теперь мое имя безмятежно гуляетъ по Харькову; мѣсяца черезъ три оно, изображенное золотыми буквами на могильномъ памятникѣ, будетъ блестѣть, какъ самое солнце — и это въ то время, когда я буду ужъ покрытъ мохомъ...

Легкій стукъ въ дверь. Кому-то я нуженъ.

— Кто тамъ? Войдите!

Дверь отворяется и я, удивленный, дѣлаю шагъ назадъ и спѣшу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоитъ Катя.

— Здравствуйте,—говоритъ она, тяжело дыша отъ ходьбы по лѣстницѣ.—Не ожидали? Я тоже... тоже сюда пріѣхала.

Она садится и продолжаетъ, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже пріѣхала... сегодня... Узнала, что вы въ этой гостиницѣ, и пришла къ вамъ.

— Очень радъ видѣть тебя, — говорю я, пожимая плечами:—но я удивленъ... Ты точно съ неба свалилась. Зачѣмъ ты здѣсь?

— Я? Такъ... просто взяла и пріѣхала.

Молчаніе. Вдругъ она порывисто встаетъ и идетъ ко мнѣ.

— Николай Степанычъ!—говоритъ она, блѣднѣя и сжимая на груди руки.—Николай Степанычъ! Я не могу дольше такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога скажите скорѣе, сію минуту: что мнѣ дѣлать? Говорите, что мнѣ дѣлать?

— Что же я могу сказать? — недоумѣваю я.— Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю васъ!—продолжаетъ она, задыхаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Клянусь вамъ, что я не могу дольше такъ жить! Силъ моихъ нѣтъ!

Она падаетъ на стулъ и начинаетъ рыдать. Она закинула назадъ голову, ломаетъ руки, топочетъ ногами; шляпка ея свалилась съ головы и болтается на резинкѣ, прическа растрепалась.

— Помогите мнѣ! Помогите!—умоляетъ она.—Не могу я дольше!

Она достаетъ изъ своей дорожной сумочки платокъ и вмѣстѣ съ нимъ вытаскиваетъ нѣсколько писемъ, которыя съ ея колѣнъ падаютъ на полъ. Я подбираю ихъ съ полу и на одномъ изъ нихъ узнаю почеркъ Михаила Ѳедоровича и нечаянно прочитываю кусочекъ какого-то слова «страсти...».

— Ничего я не могу сказать тебѣ, Катя,—говорю я.

— Помогите!—рыдаетъ она, хватая меня за руку и цѣлуя ее.— Вѣдь вы мой отецъ, мой единственный другъ! Вѣдь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите же: что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти, Катя: не знаю...

Я растерялся, сконфуженъ, тронутъ рыданіями и едва стою на ногахъ.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь.—Будетъ плакать!

И тотчасъ же я прибавляю упавшимъ голосомъ:

— Меня скоро не станетъ, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачетъ она, протягивая ко мнѣ руки.—Что мнѣ дѣлать?

— Чудачка, право...—бормочу я. — Не понимаю! Такая умница и вдругъ—на тебѣ! расплакалась...

Наступаетъ молчаніе. Катя поправляетъ прическу, надѣваетъ шляпу, потомъ комкаетъ письма и суетъ ихъ въ сумочку—и все это молча и не спѣша. Лицо, грудь и перчатки у нея мокры отъ слезъ, но выраженіе лица уже сухо, сурово... Я гляжу на нее и мнѣ стыдно, что я счастливѣе ея. Отсутствіе того, что товарищи-философы называютъ общей идеей, я замѣтилъ въ себѣ только незадолго передъ смертью, на закатѣ своихъ дней, а вѣдь душа этой

бѣдняжки не знала и не будетъ знать пріюта всю жизнь, всю жизнь!

— Давай, Катя, завтракать,—говорю я.

— Нѣтъ, благодарю,—отвѣчаетъ она холодно.

Еще одна минута проходитъ въ молчаніи.

— Не нравится мнѣ Харьковъ,—говорю я.—Сѣро ужъ очень. Какой-то сѣрый городъ.

— Да, пожалуй... Некрасивый... Я ненадолго сюда... Мимоѣздомъ. Сегодня же уѣду.

— Куда?

— Въ Крымъ... то-есть на Кавказъ.

— Такъ. Надолго?

— Не знаю.

Катя встаетъ и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягиваетъ мнѣ руку.

Мнѣ хочется спросить:—«Значитъ, на похоронахъ у меня не будешь?» Но она не глядитъ на меня, рука у нея холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вотъ она вышла отъ меня, идетъ по длинному коридору, не оглядываясь. Она знаетъ, что я гляжу ей вслѣдъ, и, вѣроятно, на поворотѣ оглянется.

Нѣтъ, не оглянулась. Черное платье въ послѣдній разъ мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!

ПРИПАДОКЪ.

I.

Студентъ-медикъ Майеръ и ученикъ московскаго училища живописи, ваянія и зодчества Рыбниковъ пришли какъ-то вечеромъ къ своему пріятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить съ ними въ С—въ переулокъ. Васильевъ сначала долго не соглашался, но потомъ одѣлся и пошелъ съ ними.

Падшихъ женщинъ онъ зналъ только по наслышкѣ и изъ книгъ, и въ тѣхъ домахъ, гдѣ онѣ живутъ, не былъ ни разу въ жизни. Онъ зналъ, что есть такія безнравственныя женщины, которыя подъ давленіемъ роковыхъ обстоятельствъ—среды, дурного воспитанія, нужды и т. п. вынуждены бываютъ продавать за деньги свою честь. Онѣ не знаютъ чистой любви, не имѣютъ дѣтей, не правоспособны; матери и сестры оплакиваютъ ихъ, какъ мертвыхъ, наука третируетъ ихъ, какъ зло, мужчины говорятъ имъ ты. Но, несмотря на все это, онѣ не теряютъ образа и подобія Божія. Всѣ онѣ сознаютъ свой грѣхъ и надѣются на спасеніе. Средствами, которыя ведутъ къ спасенію, онѣ могутъ пользоваться въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Правда, общество не прощаетъ людямъ прошлаго, но у Бога святая Марія Египетская считается не ниже другихъ святыхъ. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерамъ узнавать на улицѣ падшую женщину, или видѣть ея изображеніе въ юмористическомъ журналѣ, то всякій разъ онъ вспоминалъ одну исторію, гдѣ-то и когда-то имъ вычитан-

ную: какой-то молодой человѣкъ, чистый и самоотверженный, полюбилъ падшую женщину и предложилъ ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастія, отравилась.

Васильевъ жилъ въ одномъ изъ переулковъ, выходящихъ на Тверской бульваръ. Когда онъ вышелъ съ пріятелями изъ дому, было около 11 часовъ. Недавно шелъ первый снѣгъ и все въ природѣ находилось подъ властью этого молодого снѣга. Въ воздухѣ пахло снѣгомъ, подъ ногами мягко хрустѣлъ снѣгъ, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварахъ — все было мягко, бѣло, молодо, и отъ этого дома выглядывали иначе, чѣмъ вчера, фонари горѣли ярче, воздухъ былъ прозрачнѣй, экипажи стучали глуше, и въ душу вмѣстѣ со свѣжимъ, легкимъ морознымъ воздухомъ просилось чувство, похожее на бѣлый, молодой, пушистый снѣгъ.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ медикъ пріятнымъ тенорокъ:—меня влечетъ невѣдомая сила...

— Вотъ мельница...—подтянулъ ему художникъ.—Она ужъ развалилась...

— Вотъ мельница... Она ужъ развалилась...—повторилъ медикъ, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Онъ помолчалъ, потеръ лобъ, припоминая слова, и запѣлъ громко и такъ хорошо, что на него оглянулись прохожіе:

— Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала свободнаго свободная любовь...

Всѣ трое зашли въ ресторанъ и, не снимая пальто, выпили у буфета по двѣ рюмки водки. Передъ тѣмъ, какъ выпить по второй, Васильевъ замѣтилъ у себя въ водкѣ кусочекъ пробки, поднесъ рюмку къ глазамъ, долго глядѣлъ въ нее и близоруко хмурился. Медикъ не понялъ его выраженія и сказалъ:

— Ну, что глядишь? Пожалуйста, безъ философіи! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина—чтобы ѣсть, женщины—чтобы бывать у нихъ, снѣгъ—чтобы ходить по немъ. Хоть одинъ вечеръ поживи по-человѣчески!

— Да я ничего...—сказалъ Васильевъ, смѣясь.—Развѣ я отказываюсь?

Отъ водки у него потеплѣло въ груди. Онъ съ умиленіемъ глядѣлъ на своихъ пріятелей, любовался ими и за-

видовалъ. Какъ у этихъ здоровыхъ, сильныхъ, веселыхъ людей все уравновѣшено, какъ въ ихъ умахъ и душахъ все закончено и гладко! Они и поютъ, и страстно любятъ театръ, и рисуютъ, и много говорятъ, и пьютъ, и голова у нихъ не болитъ на другой день послѣ этого; они и поэтичны, и распутны, и нѣжны, и дерзки; они умѣютъ и работать, и возмущаться, и хохотать безъ причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотвержены, и, какъ люди, ничѣмъ не хуже его, Васильева, который сторожитъ каждый свой шагъ и каждое свое слово, мнителенъ, остороженъ, и малѣйшій пустякъ готовъ возводить на степень вопроса. И ему захотѣлось хоть одинъ вечеръ пожить такъ, какъ живутъ пріятели, развернуться, освободить себя отъ собственнаго контроля. Понадобится водку пить? Онъ будетъ пить, хотя бы завтра у него лопнула голова отъ боли. Его ведутъ къ женщинамъ? Онъ идетъ. Онъ будетъ хохотать, дурачиться, весело отвѣчать на затрогиванія прохожихъ...

Вышелъ онъ изъ ресторана со смѣхомъ. Ему нравились его пріятели—одинъ въ помятой широкополой шляпѣ съ претензіей на художественный безпорядокъ, другой въ котиковой шапочкѣ, человѣкъ не бѣдный, но съ претензіей на принадлежность къ ученой богемѣ; нравился ему снѣгъ, блѣдные, фонарные огни, рѣзкіе, черные слѣды, какіе оставляли по первому снѣгу подошвы прохожихъ; нравился ему воздухъ и особенно этотъ прозрачный, нѣжный, наивный, точно дѣвственный тонъ, какой въ природѣ можно наблюдать только два раза въ году: когда все покрыто снѣгомъ и весною въ ясные дни, или въ лунные вечера, когда на рѣкѣ ломаетъ ледъ.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ онъ вполголоса:—меня влечетъ невѣдомая сила...

И всю дорогу почему-то у него и у его пріятелей не сходилъ съ языка этотъ мотивъ, и всѣ трое напѣвали его машинально, не въ тактъ другъ другу.

Воображеніе Васильева рисовало, какъ минутъ черезъ десять онъ и его пріятели постучатся въ дверь, какъ они по темнымъ коридорчикамъ и по темнымъ комнатамъ будутъ красться къ женщинамъ, какъ онъ, воспользовавшись потемками, чиркнетъ спичкой и вдругъ освѣтитъ и увидитъ страдальческое лицо и виноватую улыбку. Невѣдомая блон-

динка, или брюнетка навѣрное будетъ съ распущенными волосами и въ бѣлой ночной кофточкѣ; она испугается свѣта, страшно сконфузится и скажетъ: «Ради Бога, что вы дѣлаете! Потушите!» Все это страшно, но любопытно и ново.

II.

Пріятели съ Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли въ переулокъ, о которомъ Васильевъ зналъ только по наслышкѣ. Увидѣвъ два ряда домовъ съ яркоосвѣщенными окнами и съ настежь открытыми дверями, услышавъ веселые звуки роялей и скрипокъ—звуки, которые вылетали изъ всѣхъ дверей и мѣшались въ странную путаницу, похожую на то, какъ будто гдѣ-то въ потемкахъ, надъ крышами, настраивался невидимый оркестръ, Васильевъ удивился и сказалъ:

— Какъ много домовъ!

— Это что!—сказалъ медикъ.—Въ Лондонѣ въ десять разъ больше. Тамъ около ста тысячъ такихъ женщинъ.

Извозчики сидѣли на козлахъ такъ же покойно и равнодушно, какъ и во всѣхъ переулкахъ; по тротуарамъ шли такіе же прохожіе, какъ и на другихъ улицахъ. Никто не торопился, никто не пряталъ въ воротникъ своего лица, никто не покачивалъ укоризненно головой... И въ этомъ равнодушіи, въ звуковой путаницѣ роялей и скрипокъ, въ яркихъ окнахъ, въ настежь открытыхъ дверяхъ чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно-быть, во время оно на рабовладѣльческихъ рынкахъ было такъ же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое же равнодушіе.

— Начнемъ съ самаго начала,—сказалъ художникъ.

Пріятели вошли въ узкій коридорчикъ, освѣщенный лампою съ рефлекторомъ. Когда они отворили дверь, то въ передней съ желтаго дивана лѣниво поднялся человѣкъ въ черномъ сюртукѣ, съ небритымъ лакейскимъ лицомъ и съ заспанными глазами. Тутъ пахло какъ въ прачешной и кромѣ того еще уксусомъ. Изъ передней вела дверь въ ярко освѣщенную комнату. Медикъ и художникъ остановились въ этой двери и, вытянувъ шеи, оба разомъ заглянули въ комнату.

— Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травіата!—началъ художникъ, театрально раскланиваясь.

— Гаванна-тараканo-пистолето!—сказалъ медикъ, прижимая къ груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильевъ стоялъ позади нихъ. Ему тоже хотѣлось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но онъ только улыбался, чувствовалъ неловкость, похожую на стыдъ, и съ нетерпѣніемъ ждалъ, что будетъ дальше. Въ дверяхъ показалась маленькая блондинка лѣтъ 17—18, стриженная, въ короткомъ голубомъ платьѣ и съ бѣлымъ аксельбантомъ на груди.

— Что жъ вы въ дверяхъ стоите?—сказала она.—Снимите ваши пальты и входите въ залу.

Медикъ и художникъ, продолжая говорить по-итальянски, вошли въ залу. Васильевъ нерѣшительно пошелъ за ними.

— Господа, снимайте ваши пальты!—сказалъ строго лакей.—Такъ нельзя.

Кромѣ блондинки, въ залѣ была еще одна женщина, очень полная и высокая, съ нерусскимъ лицомъ и съ обнаженными руками. Она сидѣла около рояля и раскладывала у себя на колѣняхъ пасьянсъ. На гостей она не обратила никакого вниманія.

— Гдѣ же остальныя барышни?—спросилъ медикъ.

— Онѣ чай пьютъ,—сказала блондинка.—Степанъ,—крикнула она:—пойди скажи барышнямъ, что студенты пришли!

Немного погодя, въ залу вошла третья барышня. Эта была въ ярко-красномъ платьѣ съ синими полосами. Лицо ея было густо и неумѣло накрашено, лобъ прятался за волосами, глаза глядѣли не мигая и испуганно. Войдя, она тотчасъ же запѣла сильнымъ, грубымъ контральто какую-то пѣсню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всемъ этомъ Васильевъ не видѣлъ ничего ни новаго, ни любопытнаго. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало въ дешевой золотой рамѣ, аксельбантъ, платье съ синими полосами и тупыя, равнодушныя лица онъ видѣлъ уже гдѣ-то и не одинъ разъ. Потемокъ же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидалъ онъ здѣсь встрѣтитъ и что пугало его, онъ не видѣлъ даже тѣни.

Все было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство—это страшная,

словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была въ карнизахъ, въ нелѣпыхъ картинахъ, въ платьяхъ, въ аксельбантѣ. Въ этой безвкусицѣ было что-то характерное, особенное.

— Какъ все бѣдно и глупо!—думалъ Васильевъ.—Что во всей этой чепухѣ, которую я теперь вижу, можетъ искусить нормальнаго человѣка, побудить его совершить страшный грѣхъ—купить за рубль живого человѣка? Я понимаю любой грѣхъ ради блеска, красоты, граціи, страсти, вкуса, но тутъ-то что? Ради чего тутъ грѣшать? Впрочемъ... не надо думать!

— Борода, угостите портеромъ! — обратилась къ нему блондинка.

Васильевъ вдругъ сконфузился.

— Съ удовольствіемъ... — сказалъ онъ, вѣжливо кланяясь.—Только извините, сударыня, я... я съ вами пить не буду. Я не пью.

Минутъ черезъ пять пріятели шли уже въ другой домъ.

— Ну, зачѣмъ ты потребовалъ портеру?—сердился медикъ.—Милліонщикъ какой! Бросилъ шесть рублей такъ, здорово-живешь, на вѣтеръ!

— Если она хочетъ, то отчего же не сдѣлать ей этого удовольствія?—оправдывался Васильевъ.

— Ты доставилъ удовольствіе не ей, а хозяйкѣ. Требовать отъ гостей угощенія приказываютъ имъ хозяйки, которымъ это выгодно.

— Вотъ мельница...—запѣлъ художникъ.—Она ужъ развалилась...

Придя въ другой домъ, пріятели постояли только въ передней, но въ залу не входили. Такъ же, какъ и въ первомъ домѣ, въ передней съ дивана поднялась фигура въ сюртукѣ и съ заспаннымъ лакейскимъ лицомъ. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртукъ, Васильевъ подумалъ: «Сколько долженъ пережить обыкновенный, простой русскій человѣкъ, прежде чѣмъ судьба забрасываетъ его сюда въ лакеи? Гдѣ онъ былъ раньше и что дѣлалъ? Что ждетъ его? Женатъ ли онъ? Гдѣ его мать и знаетъ ли она, что онъ служитъ тутъ въ лакеяхъ?» И ужъ Васильевъ невольно въ каждомъ домѣ обращалъ свое вниманіе прежде всего на лакея. Въ одномъ изъ домовъ, кажется, въ четвертомъ по счету, былъ лакей маленькій,

тщедушный, сухой, съ цѣпочкой на жилеткѣ. Онъ читалъ «Листокъ» и не обратилъ никакого вниманія на вошедшихъ. Поглядѣвъ на его лицо, Васильевъ почему-то подумалъ, что человѣкъ съ такимъ лицомъ можетъ и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо въ самомъ дѣлѣ было интересное: большой лобъ, сѣрые глаза, приплюснутый носикъ, мелкія, стиснутыя губы, а выраженіе тупое и въ то же время наглое, какъ у молодой гончей собаки, когда она догоняетъ зайца. Васильевъ подумалъ, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткіе они или мягкіе? Должно-быть, жесткіе, какъ у собаки.

III.

Художникъ оттого, что выпилъ два стакана портеру, какъ-то вдругъ опьянѣлъ и неестественно оживился.

— Пойдемте въ другой!—командовалъ онъ, размахивая руками.—Я васъ поведу въ самый лучшій!

Приведя пріятелей въ тотъ домъ, который, по его мнѣнію, былъ самымъ лучшимъ, онъ изъявилъ настойчивое желаніе танцовать кадриль. Медикъ сталъ ворчать на то, что музыкантамъ придется платить рубль, но согласился быть vis-à-vis. Начали танцовать.

Въ самомъ лучшемъ было такъ же нехорошо, какъ и въ самомъ худшемъ. Тутъ были точно такія же зеркала и картины, такія же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильевъ уже понималъ, что это не безвкусица, а нѣчто такое, что можно назвать вкусомъ и даже стилемъ С—ва переулка и чего нельзя найти нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, нѣчто цѣльное въ своемъ безобразіи, не случайное, выработанное временемъ. Послѣ того, какъ онъ побывалъ въ восьми домахъ, его ужъ не удивляли ни цвѣта платьевъ, ни длинные шлейфы, ни яркіе банты, ни матросскіе костюмы, ни густая фіолетовая окраска щекъ; онъ понималъ, что все это здѣсь такъ и нужно, что если бы хоть одна изъ женщинъ одѣлась по-человѣчески, или если бы на стѣнѣ повѣсили порядочную гравюру, то отъ этого пострадалъ бы общій тонъ всего переулка.

— Какъ неумѣло онѣ продаютъ себя! — думалъ онъ.— Неужели онѣ не могутъ понять, что порокъ только тогда обаятеленъ, когда онъ красивъ и прячется, когда онъ носитъ оболочку добродѣтели? Скромныя черныя платья, блѣд-

ныя лица, печальныя улыбки и потемки сильнѣе дѣйствуютъ, чѣмъ эта аляповатая мишура. Глупыя! Если онѣ сами не понимаютъ этого, то гости бы ихъ поучили, что ли...

Барышня въ польскомъ костюмѣ съ бѣлой мѣховой опушкой подошла къ нему и сѣла рядомъ съ нимъ.

— Симпатичный брюнетъ, что жъ вы не танцуете?— спросила она.—Отчего вы такой скучный?

— Потому что скучно.

— А вы угостите лафитомъ. Тогда не будетъ скучно.

Васильевъ ничего не отвѣтилъ. Онъ помолчалъ и спросилъ:

— Вы въ которомъ часу ложитесь спать?

— Въ шестомъ.

— А встаете когда?

— Когда въ два, а когда и въ три.

— А вставши, что дѣлаете?

— Кофій пьемъ, въ седьмомъ часу обѣдаемъ.

— А что вы обѣдаете?

— Обыкновенно... Супъ или щи, биштексъ, дессертъ. Наша мадамъ хорошо содержитъ дѣвушекъ. Да для чего вы все это спрашиваете?

— Такъ, чтобъ поговорить...

Васильеву хотѣлось поговорить съ барышней о многомъ. Онъ чувствовалъ сильное желаніе узнать, откуда она родомъ, живы ли ея родители и знаютъ ли они, что она здѣсь, какъ она попала въ этотъ домъ, весела ли и довольна, или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надѣется ли выйти когда-нибудь изъ своего настоящаго положенія... Но никакъ онъ не могъ придумать, съ чего начать и какую форму придать вопросу, чтобъ не показаться нескромнымъ. Онъ долго думалъ и спросилъ:

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Восемьдесятъ, — сострила барышня, глядя со смѣхомъ на фокусы, какіе выдѣлывалъ руками и ногами плясавшій художникъ.

Вдругъ она чему-то захохотала и сказала громко, такъ, что всѣ слышали, длинную циническую фразу. Васильевъ оторопѣлъ и, не зная, какое выраженіе придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только одинъ онъ, всѣ же остальные—его пріятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его сосѣдку, точно не слышали.

— Угостите лафитомъ!—опять сказала сосѣдка.

Васильевъ почувствовалъ отвращеніе къ ея бѣлой опушкѣ и къ голосу и отошелъ отъ нея. Ему ужъ казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, какъ молотъ: разъ-два-три!

— Пойдемъ отсюда! — сказалъ онъ, дернувъ художника за рукавъ.

— Погоди, дай кончить.

Пока художникъ и медикъ кончали кадриль, Васильевъ, чтобы не глядѣть на женщинъ, осматривалъ музыкантовъ. На роялѣ игралъ благообразный старикъ въ очкахъ, похожій лицомъ на маршала Базена; на скрипкѣ—молодой человѣкъ съ русой бородкой, одѣтый по послѣдней модѣ. У молодого человѣка было лицо не глупое, не испитое, а наоборотъ, умное, молодое, свѣжее. Одѣтъ онъ былъ прихотливо и со вкусомъ, игралъ съ чувствомъ. Задача: какъ онъ и этотъ приличный, благообразный старикъ попали сюда? отчего имъ не стыдно сидѣть здѣсь? о чемъ они думаютъ, когда глядятъ на женщинъ?

Если бы на роялѣ и на скрипкѣ играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, съ испитыми или тупыми лицами, тогда присутствіе ихъ, быть-можетъ, было бы понятно. Теперь же Васильевъ ничего не понималъ. Ему вспоминалась исторія падшей женщины, прочитанная имъ когда-то, и онъ находилъ теперь, что этотъ человѣческій образъ съ виноватой улыбкой не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что онъ теперь видитъ. Ему казалось, что онъ видитъ не падшихъ женщинъ, а какой-то другой, совершенно особый міръ, ему чуждый и непонятный; если бы раньше онъ увидѣлъ этотъ міръ въ театрѣ на сценѣ, или прочелъ бы о немъ въ книгѣ, то не повѣрилъ бы...

Женщина съ бѣлой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладѣло имъ, онъ покраснѣлъ и вышелъ.

— Постой, и мы идемъ!—крикнулъ ему художникъ.

IV.

— Сейчасъ у меня съ моей дамой, пока мы плясали, былъ разговоръ, — разсказывалъ медикъ, когда всѣ трое вышли на улицу.—Рѣчь шла объ ея первомъ романѣ. Онъ, герой—какой-то бухгалтеръ въ Смоленскѣ, имѣющій жену

и пятерыхъ ребятъ. Ей было 17 лѣтъ и жила она у папаши и мамаши, торгующихъ мыломъ и свѣчами.

— Чѣмъ же онъ побѣдилъ ея сердце? — спросилъ Васильевъ.

— Тѣмъ, что купилъ ей бѣлья на пятьдесятъ рублей. Чортъ знаетъ что!

«Однако же, вотъ онъ сумѣлъ выпытать у своей дамы ея романъ, — подумалъ Васильевъ про медика. — А я не умѣю»...—Господа, я ухожу домой!—сказалъ онъ.

— Почему?

— Потому что я не умѣю держать себя здѣсь. Къ тому же мнѣ скучно и противно. Что тутъ веселаго? Хоть бы люди были, а то дикари и животныя. Я ухожу, какъ угодно.

— Ну, Гриша, Григорій, голубчикъ... — сказалъ плачущимъ голосомъ художникъ, прижимаясь къ Васильеву.— Пойдемъ! Сходимъ еще въ одинъ и будь они прокляты... Пожалуйста! Григоріанцъ!

Васильева уговорили и повели вверхъ по лѣстницѣ. Въ коврѣ и въ золоченыхъ перилахъ, въ швейцарѣ, отворившемъ дверь, и въ пано, украшавшихъ переднюю, чувствовался все тотъ же стиль С—ва переулка, но усовершенствованный, импонирующій.

— Право, я пойду домой!—сказалъ Васильевъ, снимая пальто.

— Ну, ну, голубчикъ... — сказалъ художникъ и поцѣловалъ его въ шею.—Не капризничай... Гри-Гри, будь товарищемъ! Вмѣстѣ пришли, вмѣстѣ и уйдемъ. Какой ты скотъ, право.

— Я могу подождать васъ на улицѣ. Ей-Богу, мнѣ здѣсь противно.

— Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

— Надо смотрѣть объективно на вещи,—сказалъ серьезно медикъ.

Васильевъ вошелъ въ залу и сѣлъ. Кромѣ него и пріятелей, въ залѣ было еще много гостей: два пѣхотныхъ офицера, какой-то сѣдой и лысый господинъ въ золотыхъ очкахъ, два безусыхъ студента изъ межевого института и очень пьяный человѣкъ съ актерскимъ лицомъ. Всѣ барышни были заняты этими гостями и не обратили на Ва-

сильева никакого вниманія. Только одна изъ нихъ, одѣтая Лидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зѣвая:

— Брюнетъ пришелъ...

У Васильева стучало сердце и горѣло лицо. Ему было и стыдно передъ гостями за свое присутствіе здѣсь и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что онъ, порядочный и любящій человѣкъ (такимъ онъ до сихъ поръ считалъ себя), ненавидитъ этихъ женщинъ и ничего не чувствуетъ къ нимъ, кромѣ отвращенія. Ему не было жаль ни этихъ женщинъ, ни музыкантовъ, ни лакеевъ.

«Это оттого, что я не стараюсь понять ихъ,—думалъ онъ. — Всѣ они похожи на животныхъ больше, чѣмъ на людей, но вѣдь они все-таки люди, у нихъ есть души. Надо ихъ понять и тогда ужъ судить»...

— Гриша, ты же не уходи, насъ подожди! — крикнулъ ему художникъ и исчезъ куда-то.

Скоро исчезъ и медикъ.

«Да, надо постараться понять, а такъ нельзя»... — продолжалъ думать Васильевъ.

И онъ сталъ напряженно вглядываться въ лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но — или онъ не умѣлъ читать на лицахъ, или же ни одна изъ этихъ женщинъ не чувствовала себя виноватою—на каждомъ лицѣ онъ читалъ только тупое выраженіе обыденной, пошлой скуки и довольства. Глупые глаза, глупыя улыбки, рѣзкіе, глупые голоса, наглыя движенія — и ничего больше. По-видимому, у каждой въ прошломъ былъ романъ съ бухгалтеромъ и съ бѣльемъ на пятьдесятъ рублей, а въ настоящемъ нѣтъ другой прелести въ жизни кромѣ кофе, обѣда изъ трехъ блюдъ, вина, кадрили, спанья до двухъ часовъ...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильевъ сталъ искать: нѣтъ ли умнаго лица. И вниманіе его остановилось на одномъ блѣдномъ, немножко сонномъ, утомленномъ лицѣ... Это была немолодая брюнетка, одѣтая въ костюмъ, усыпанный блестками; она сидѣла въ креслѣ, глядѣла въ полъ и о чемъ-то думала. Васильевъ прошелся изъ угла въ уголъ и точно нечаянно сѣлъ рядомъ съ нею.

«Нужно начать съ чего - нибудь пошлаго, — думалъ онъ: — а потомъ постепенно перейти къ серьезному»...—А

какой у васъ хорошенькій костюмчикъ! — сказалъ онъ и коснулся пальцемъ золотой бахромы на косынкѣ.

— Какой есть...—сказала вяло брюнетка.

— Вы изъ какой губерніи?

— Я? Дальняя... Изъ Черниговской.

— Хорошая губернія. Тамъ хорошо.

— Тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ.

«Жаль, что я не умѣю природу описывать, — подумалъ Васильевъ. — Можно было бы тронуть ее описаніями черниговской природы. Небось, вѣдь любитъ, коли родилась тамъ».

— Вамъ здѣсь скучно?—спросилъ онъ.

— Извѣстно, скучно.

— Отчего же вы не уходите отсюда, если вамъ скучно?

— Куда жъ я уйду? Милостыню просить, что ли?

— Милостыню просить легче, чѣмъ жить здѣсь.

— А вы откуда знаете? Нешто вы просили?

— Просилъ, когда нечѣмъ было платить за ученье. Хотя бы даже не просилъ, это такъ понятно. Нищій, какъ бы ни было, свободный человѣкъ, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который несъ на подносѣ стаканы и сельтерскую воду.

— Угостите портеромъ,—сказала она и опять зѣвнула.

«Портеромъ... — подумалъ Васильевъ. — А что если бы сейчасъ вошелъ сюда твой братъ или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Былъ бы тогда портеръ, воображаю»...

Вдругъ послышался плачъ. Изъ сосѣдней комнаты, куда лакей понесъ сельтерскую, быстро вышелъ какой-то блондинъ съ краснымъ лицомъ и сердитыми глазами. За нимъ шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливымъ голосомъ:

— Никто вамъ не позволялъ бить дѣвушекъ по щекамъ! У насъ бываютъ гости получше васъ, да не дерутся! Шарлатанъ!

Поднялся шумъ. Васильевъ испугался и поблѣднѣлъ. Въ сосѣдней комнатѣ плакали навзрыдъ, искренно, какъ плачутъ оскорбленные. И онъ понялъ, что въ самомъ дѣлѣ, тутъ живутъ люди, настоящіе люди, которые, какъ вездѣ, оскорбляются, страдаютъ, плачутъ, просятъ помощи... Тя-

желая ненависть и гадливое чувство уступили свое мѣсто острому чувству жалости и злобы на обидчика. Онъ бросился въ ту комнату, гдѣ плакали; сквозь ряды бутылокъ, стоявшихъ на мраморной доскѣ стола, онъ разглядѣлъ страдальческое, мокрое отъ слезъ лицо, протянулъ къ этому лицу руки, сдѣлалъ шагъ къ столу, но тотчасъ же въ ужасѣ отскочилъ назадъ. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокругъ блондина, онъ палъ духомъ, струсилъ, какъ мальчикъ, и ему казалось, что въ этомъ чужомъ, непонятномъ для него мірѣ хотятъ гнаться за нимъ, бить его, осыпать грязными словами... Онъ сорвалъ съ вѣшалки свое пальто и бросился опрометью внизъ по лѣстницѣ.

V.

Прижавшись къ забору, онъ стоялъ около дома и ждалъ, когда выйдутъ его товарищи. Звуки роялей и скрипокъ, веселые, удалые, наглые и грустные, путались въ воздухѣ въ какой-то хаосъ, и эта путаница попрежнему походила на то, какъ будто въ потемкахъ надъ крышами настраивался невидимый оркестръ. Если взглянуть вверхъ на эти потемки, то весь черный фонъ былъ усыпанъ бѣлыми движущимися точками: это шелъ снѣгъ. Хлопья его, попавъ въ свѣтъ, лѣниво кружились въ воздухѣ, какъ пухъ, и еще лѣнивѣе падали на землю. Снѣжинки кружились толпой около Васильева и висли на его бородѣ, рѣсницахъ, бровяхъ... Извозчики, лошади и прохожіе были бѣлы.

«И какъ можетъ снѣгъ падать въ этотъ переулокъ!—думалъ Васильевъ.—Будь прокляты эти дома!

Оттого, что онъ сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ, ноги подгибались отъ усталости; онъ задыхался, точно взбирался на гору, сердце стучало такъ, что было слышно. Его томило желаніе скорѣе выбраться изъ переулка и идти домой, но еще сильнѣе хотѣлось дождаться товарищей и сорвать на нихъ свое тяжелое чувство.

Онъ многаго не понялъ въ домахъ, души погибающихъ женщинъ остались для него попрежнему тайной, но для него ясно было, что дѣло гораздо хуже, чѣмъ можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшею, то для всѣхъ этихъ, которыя плясали теперь подъ звуковую путаницу и говорили длинныя отвра-

тительныя фразы, трудно было подобрать подходящее названіе. Это были не погибающія, а уже погибшія.

«Порокъ есть, — думалъ онъ: — но нѣтъ ни сознанія вины, ни надежды на спасеніе. Ихъ продаютъ, покупаютъ, топятъ въ винѣ и въ мерзостяхъ, а онѣ, какъ овцы, тупы, равнодушны и не понимаютъ. Боже мой, Боже мой!»

Для него также ясно было, что все то, что называется человѣческимъ достоинствомъ, личностью, образомъ и подобіемъ Божіимъ, осквернено тутъ до основанія, «въ-дрызгъ», какъ говорятъ пьяницы, и что виноваты въ этомъ не одинъ только переулокъ да тупыя женщины.

Толпа студентовъ, бѣлыхъ отъ снѣга, весело разговаривая и со смѣхомъ, прошла мимо него. Одинъ изъ нихъ, высокій и тонкій, остановился, заглянулъ Васильеву въ лицо и сказалъ пьянымъ голосомъ:

— Нашъ! Налимонился, братъ? Ага-га, братъ! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Онъ взялъ Васильева за плечи и прижался къ его щекѣ мокрыми холодными усами, потомъ поскользнулся, покачнулся и, взмахнувъ обѣими руками, крикнулъ:

— Держись! Не падай!

И засмѣявшись, побѣжалъ догонять своихъ товарищей.

Сквозь шумъ послышался голосъ художника:

— Вы не смѣете бить женщинъ! Я вамъ не позволю, чортъ васъ подери! Негодяи вы этакіе!

Въ дверяхъ дома показался медикъ. Онъ поглядѣлъ по сторонамъ и, увидѣвъ Васильева, сказалъ встревоженно:

— Ты здѣсь? Послушай, ей-Богу, съ Егоромъ положительно невозможно никуда ходить! Что это за человѣкъ, не понимаю! Скандалъ затѣялъ! Слышишь? Егоръ!—крикнулъ онъ въ дверь:—Егоръ!

— Я вамъ не позволю бить женщинъ!—раздался наверху пронзительный голосъ художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилось внизъ по лѣстницѣ. Это художникъ летѣлъ кубаремъ внизъ. Его, очевидно, вытолкали.

Онъ поднялся съ земли, отряхнулъ шляпу и со злымъ, негодующимъ лицомъ погрозилъ вверхъ кулакомъ и крикнулъ:

— Подлецы! Живодеры! Кровопійцы! Я не позволю вамъ бить! Бить слабую, пьяную женщину! Ахъ, вы...

— Егоръ... Ну, Егоръ...—началъ умолять медикъ.—Даю

тебѣ честное слово, ужъ больше никогда не пойду съ тобой въ другой разъ. Честное слово!

Художникъ мало-по-малу успокоился, и пріятели пошли домой.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ медикъ:—меня влечетъ невѣдомая сила...

— Вотъ мельница...—подтянулъ, немного погодя художникъ.—Она ужъ развалилась... Экій снѣгъ валитъ, Мать Пресвятая! Гришка, отчего ты ушелъ? Трусъ ты, баба и больше ничего.

Васильевъ шелъ позади пріятелей, глядѣлъ имъ въ спины и думалъ:

«Что-нибудь изъ двухъ: или намъ только кажется, что проституція — зло, и мы преувеличиваемъ, или же, если проституція въ самомъ дѣлѣ такое зло, какъ принято думать, то эти мои милые пріятели такіе же рабовладѣльцы, насильники и убійцы, какъ тѣ жители Сиріи и Каира, которыхъ рисуютъ въ «Нивѣ». Они теперь поютъ, хохочутъ, здраво разсуждаютъ, но развѣ не они сейчасъ эксплоатировали голодъ, невѣжество и тупость? Они—я былъ свидѣтелемъ. При чемъ же тутъ ихъ гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенныя чувства этихъ душегубовъ напоминаютъ мнѣ сало въ одномъ анекдотѣ. Два разбойника зарѣзали въ лѣсу нищаго; стали дѣлить между собою его одежду и нашли въ сумкѣ кусокъ свинаго сала. «Очень кстати,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—давай закусимъ». — «Что ты, какъ можно? — ужаснулся другой. — Развѣ ты забылъ, что сегодня среда?» И не стали ѣсть. Они, зарѣзавши человѣка, вышли изъ лѣсу съ увѣренностью, что они постники. Такъ и эти, купивши женщинъ, идутъ и думаютъ теперь, что они художники и ученые»...

— Послушайте, вы!—сказалъ онъ сердито и рѣзко.—Зачѣмъ вы сюда ходите? Неужели, неужели вы не понимаете, какъ это ужасно? Ваша медицина говоритъ, что каждая изъ этихъ женщинъ умираетъ преждевременно отъ чахотки, или чего-нибудь другого; искусства говорятъ, что морально она умираетъ еще раньше. Каждая изъ нихъ умираетъ оттого, что на своемъ вѣку принимаетъ среднимъ числомъ, допустимъ, пятьсотъ человѣкъ. Каждую убиваетъ пятьсотъ человѣкъ. Въ числѣ этихъ пятисотъ—вы! Теперь, если вы оба за всю

жизнь побываете здѣсь и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ по двѣсти пятьдесятъ разъ, то значитъ на обоихъ васъ придется одна убитая женщина! Развѣ это не понятно? Развѣ не ужасно? Убить вдвоемъ, втроемъ, впятеромъ одну глупую, голодную женщину! Ахъ, да развѣ это не ужасно, Боже мой?

— Такъ и зналъ, что этимъ кончится,—сказалъ художникъ, морщась.—Не слѣдовало бы связываться съ этимъ дуракомъ и болваномъ! Ты думаешь, что теперь у тебя въ головѣ великія мысли, идеи? Нѣтъ, чортъ знаетъ что, а не идеи! Ты сейчасъ смотришь на меня съ ненавистью и съ отвращеніемъ, а по-моему лучше бы ты построилъ еще двадцать такихъ домовъ, чѣмъ глядѣть такъ. Въ этомъ твоемъ взглядѣ больше порока, чѣмъ во всемъ переулкѣ! Пойдемъ, Володя, чортъ съ нимъ! Дуракъ, болванъ и больше ничего...

— Мы, люди, убиваемъ взаимно другъ друга,—сказалъ медикъ.—Это, конечно, безнравственно,—но философіей тутъ не поможешь. Прощай!

На Трубной площади пріятели простились и разошлись. Оставшись одинъ, Васильевъ быстро зашагалъ по бульвару. Ему было страшно потемокъ, страшно снѣга, который хлопьями валилъ на землю и, казалось, хотѣлъ засыпать весь міръ; страшно было фонарныхъ огней, блѣдно мерцавшихъ сквозь снѣговыя облака. Душою его овладѣлъ безотчетный, малодушный страхъ. Попадались изрѣдка навстрѣчу прохожіе, но онъ пугливо сторонился отъ нихъ. Ему казалось, что отовсюду идутъ и отовсюду глядятъ на него женщины, только женщины...

«Начинается у меня,—думалъ онъ.—Припадокъ начинается...»

VI.

Дома лежалъ онъ на кровати и говорилъ, содрогаясь всѣмъ тѣломъ:

— Живыя! Живыя! Боже мой, онѣ живыя!

Онъ всячески изощрялъ свою фантазію воображалъ себя самого то братомъ падшей женщины, то отцомъ ея, то самою падшею женщиною съ намазанными щеками, и все это приводило его въ ужасъ.

Ему почему-то казалось, что онъ долженъ рѣшить во-

просъ немедленно, во что бы то ни стало, и что вопросъ этотъ не чужой, а его собственный. Онъ напрягъ силы, поборолъ въ себѣ отчаяніе и, сѣвши на кровать, обнявъ руками голову, сталъ рѣшать: какъ спасти всѣхъ тѣхъ женщинъ, которыхъ онъ сегодня видѣлъ? Порядокъ рѣшенія всякихъ вопросовъ ему, какъ человѣку ученому, былъ хорошо извѣстенъ. И онъ, какъ ни былъ возбужденъ, строго держался этого порядка. Онъ припомнилъ исторію вопроса, его литературу, а въ четвертомъ часу шагалъ изъ угла въ уголъ и старался вспомнить всѣ тѣ опыты, какіе въ настоящее время практикуются для спасенія женщинъ. У него было очень много хорошихъ пріятелей и друзей, жившихъ въ номерахъ Фальцфейнъ, Галяшкина, Нечаева, Ечкина... Между ними не мало людей честныхъ и самоотверженныхъ. Нѣкоторые изъ нихъ пытались спасать женщинъ...

«Всѣ эти немногочисленныя попытки, — думалъ Васильевъ: — можно раздѣлить на три группы. Одни, выкупивъ изъ притона женщину, нанимали для нея номеръ, покупали ей швейную машину, и она дѣлалась швеей. И выкупившій, вольно или невольно, дѣлалъ ее своей содержанкой, потомъ, кончивъ курсъ, уѣзжалъ и сдавалъ ее на руки другому порядочному человѣку, какъ какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падшею. Другіе, выкупивъ, тоже нанимали для нея отдѣльный номеръ, покупали неизбѣжную швейную машинку, пускали въ ходъ грамоту, проповѣди, чтеніе книжекъ. Женщина жила и шила, пока это для нея было интересно и ново, потомъ же, соскучившись, начинала тайкомъ отъ проповѣдниковъ принимать мужчинъ, или же убѣгала назадъ туда, гдѣ можно спать до трехъ часовъ, пить кофе и сытно обѣдать. Третьи, самые горячіе и самоотверженные, дѣлали смѣлый, рѣшительный шагъ. Они женились. И когда наглое, избалованное, или тупое, забитое животное становилось женою, хозяйкой и потомъ матерью, то это переворачивало вверхъ дномъ ея жизнь и міровоззрѣніе, такъ что потомъ въ женѣ и въ матери трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее, и пожалуй, единственное средство».

— Но невозможное! — сказалъ вслухъ Васильевъ и повалился въ постель.—Я первый не могъ бы жениться! Для этого надо быть святымъ, не умѣть ненавидѣть и не знать

отвращенія. Но допустимъ, что я, медикъ и художникъ пересилили себя и женились, что всѣ онѣ выйдутъ замужъ. Но какой же выводъ? Выводъ какой? А тотъ выводъ, что пока здѣсь, въ Москвѣ, онѣ будутъ выходить замужъ, смоленскій бухгалтеръ развратитъ новую партію, и эта партія хлынетъ сюда на вакантныя мѣста съ саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда дѣвать сто тысячъ лондонскихъ? Куда дѣвать гамбургскихъ?

Лампа, въ которой выгорѣлъ керосинъ, стала чадить. Васильевъ не замѣтилъ этого. Онъ опять зашагалъ, продолжая думать. Теперь ужъ онъ поставилъ вопросъ иначе: что нужно сдѣлать, чтобы падшія женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые ихъ покупаютъ и убиваютъ, почувствовали всю безнравственность своей рабовладѣльческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчинъ.

«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не подѣлаешь...—думалъ Васильевъ.—Тутъ единственный выходъ—это апостольство».

И онъ сталъ мечтать о томъ, какъ завтра же вечеромъ онъ будетъ стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

— Куда и зачѣмъ вы идете? Побойтесь вы Бог

Онъ обратится къ равнодушнымъ извозчикамъ и имъ скажетъ:

— Зачѣмъ вы тутъ стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Вѣдь вы вѣруете въ Бога и знаете, что это грѣшно, что за это люди пойдутъ въ адъ, отчего же вы молчите? Правда, онѣ вамъ чужія, но вѣдь и у нихъ есть отцы, братья, точно такіе же, какъ вы...

Кто-то изъ пріятелей сказалъ однажды про Васильева, что онъ талантливый человѣкъ. Есть таланты писательскіе, сценическіе, художническіе, у него же особый талантъ—*человѣческій*. Онъ обладаетъ тонкимъ, великолѣпнымъ чутьемъ къ боли вообще. Какъ хорошій актеръ отражаетъ въ себѣ чужія движенія и голосъ, такъ Васильевъ умѣетъ отражать въ своей душѣ чужую боль. Увидѣвъ слезы, онъ плачетъ; около больного онъ самъ становится больнымъ и стонетъ; если видитъ насиліе, то ему кажется, что насиліе совершается надъ нимъ, онъ труситъ какъ мальчикъ и,

струсивъ, бѣжитъ на помощь. Чужая боль раздражаетъ его, возбуждаетъ, приводитъ въ состояніе экстаза и т. п.

Правъ ли пріятель — не знаю, но то, что переживалъ Васильевъ, когда ему казалось, что вопросъ рѣшенъ, было очень похоже на вдохновеніе. Онъ плакалъ, смѣялся, говорилъ вслухъ тѣ слова, какія онъ скажетъ завтра, чувствовалъ горячую любовь къ тѣмъ людямъ, которые послушаются его и станутъ рядомъ съ нимъ на углу переулка, чтобы проповѣдывать; онъ садился писать письма, давалъ себѣ клятвы...

Все это было похоже на вдохновеніе ужъ и потому, что продолжалось недолго. Васильевъ скоро усталъ. Лондонскія, гамбургскія, варшавскія своею массою давили его, какъ горы давятъ землю; онъ робѣлъ передъ этой массой, терялся; вспоминалъ онъ, что у него нѣтъ дара слова, что онъ трусливъ и малодушенъ, что равнодушные люди едва ли захотятъ слушать и понимать его, студента-юриста третьяго курса, человѣка робкаго и ничтожнаго, что истинное апостольство заключается не въ одной только проповѣди, но и въ дѣлахъ...

Когда было свѣтло и на улицѣ уже стучали экипажи, Васильевъ лежалъ неподвижно на диванѣ и смотрѣлъ въ одну точку. Онъ уже не думалъ ни о женщинахъ, ни о мужчинахъ, ни объ апостольствѣ. Все вниманіе его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, безпредметная, неопредѣленная, похожая и на тоску, и на страхъ въ высочайшей степени, и на отчаяніе. Указать, гдѣ она, онъ могъ: въ груди, подъ сердцемъ; но сравнить ее нельзя было ни съ чѣмъ. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плевритъ и невралгіи, но все это въ сравненіи съ душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертація, отличное сочиненіе, уже написанное имъ, любимые люди, спасеніе погибающихъ женщинъ — все то, что вчера еще онъ любилъ, или къ чему былъ равнодушенъ, теперь при воспоминаніи раздражало его наравнѣ съ шумомъ экипажей, бѣготней коридорныхъ, дневнымъ свѣтомъ... Если бы теперь кто-нибудь на его глазахъ совершилъ подвигъ милосердія или возмутительное насиліе, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатлѣніе. Изъ всѣхъ мыслей, лѣниво бродившихъ въ его

головѣ, только двѣ не раздражали его: одна—что онъ каждую минуту имѣетъ власть убить себя, другая—что боль не будетъ продолжаться дольше трехъ дней. Второе онъ зналъ по опыту.

Полежавъ, онъ всталъ и, ломая руки, прошелся не изъ угла въ уголъ, какъ обыкновенно, а по квадрату, вдоль стѣнъ. Мелькомъ онъ поглядѣлъ на себя въ зеркало. Лицо его было блѣдно и осунулось, виски впали, глаза были больше, темнѣе, неподвижнѣе, точно чужіе, и выражали невыносимое душевное страданіе.

Въ полдень въ дверь постучался художникъ.

— Григорій, ты дома?—спросилъ онъ.

Не получивъ отвѣта, онъ постоялъ минуту, подумалъ и отвѣтилъ себѣ по-хохлацки:

— Нема. Въ нивырситетъ пійшовъ, треклятый хлопецъ.

И ушелъ. Васильевъ легъ на кровать и, спрятавъ голову подъ подушку, сталъ плакать отъ боли, и чѣмъ обильнѣй лились слезы, тѣмъ ужаснѣе становилась душевная боль. Когда потемнѣло, онъ вспомнилъ о той мучительной ночи, которая ожидаетъ его, и страшное отчаяніе овладѣло имъ. Онъ быстро одѣлся, выбѣжалъ изъ номера и, оставивъ свою дверь настежь, безъ всякой надобности и цѣли вышелъ на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, онъ быстро пошелъ по Садовой улицѣ.

Снѣгъ валилъ, какъ вчера; была оттепель. Засунувъ руки въ рукава, дрожа и пугаясь стуковъ, звонковъ конки и прохожихъ, Васильевъ прошелъ по Садовой до Сухаревой башни, потомъ до Красныхъ воротъ, отсюда свернулъ на Басманную. Онъ зашелъ въ кабакъ и выпилъ большой стаканъ водки, но отъ этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, онъ повернулъ вправо и зашагалъ по переулкамъ, въ какихъ не былъ раньше ни разу въ жизни. Онъ дошелъ до того стараго моста, гдѣ шумитъ Яуза и откуда видны длинные ряды огней въ окнахъ Красныхъ казармъ. Чтобы отвлечь свою душевную боль какимъ-нибудь новымъ ощущеніемъ или другою болью, не зная, что дѣлать, плача и дрожа, Васильевъ разстегнулъ пальто и сюртукъ и подставилъ свою голую грудь сырому снѣгу и вѣтру. Но и это не уменьшило боли. Тогда онъ нагнулся черезъ перила моста и поглядѣлъ внизъ, на черную, бурливую Яузу, и ему захотѣлось броситься внизъ головой, не изъ отвраще-

нія къ жизни, не ради самоубійства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, потемки, пустынные берега, покрытые снѣгомъ, были страшны. Онъ содрогнулся и пошелъ дальше. Прошелся онъ вдоль Красныхъ казармъ, потомъ назадъ и спустился въ какую-то рощу, изъ рощи опять на мостъ...

«Нѣтъ, домой, домой!—думалъ онъ.—Дома, кажется, легче»...

И онъ пошелъ назадъ. Вернувшись домой, онъ сорвалъ съ себя мокрое пальто и шапку, зашагалъ вдоль стѣнъ и неутомимо шагалъ до самаго утра.

VII.

Когда на другой день утромъ пришли къ нему художникъ и медикъ, онъ въ разодранной рубахѣ и съ искусанными руками метался по комнатѣ и стоналъ отъ боли.

— Ради Бога!—зарыдалъ онъ, увидѣвъ пріятелей.—Ведите меня, куда хотите, дѣлайте что знаете, но, Бога ради, скорѣе спасайте меня! Я убью себя!

Художникъ поблѣднѣлъ и растерялся. Медикъ тоже едва не заплакалъ, но, полагая, что медики во всѣхъ случаяхъ жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказалъ холодно:

— Это у тебя припадокъ. Но это ничего. Пойдемъ сейчасъ къ доктору.

— Куда хотите, только ради Бога, скорѣй!

— Ты не волнуйся. Нужно бороться съ собой.

Художникъ и медикъ дрожащими руками одѣли Васильева и вывели его на улицу.

— Михаилъ Сергѣичъ давно уже хочетъ съ тобой познакомиться,—говорилъ дорогою медикъ.—Онъ очень милый человѣкъ и отлично знаетъ свое дѣло. Кончилъ онъ въ 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держитъ себя по-товарищески.

— Скорѣе, скорѣе...—торопилъ Васильевъ.

Михаилъ Сергѣичъ, полный, бѣлокурый докторъ, встрѣтилъ пріятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

— Мнѣ художникъ и Майеръ говорили уже о вашей болѣзни,—сказалъ онъ.—Очень радъ служить. Ну-съ? Садитесь, покорнѣйше прошу

Онъ усадилъ Васильева въ большое кресло около стола и придвинулъ къ нему ящикъ съ папиросами.

— Ну-съ?—началъ онъ, поглаживая колѣни.—Приступимъ къ дѣлу... Сколько вамъ лѣтъ?

Онъ задавалъ вопросы, а медикъ отвѣчалъ. Онъ спросилъ, не былъ ли отецъ Васильева боленъ какими-нибудь особенными болѣзнями, не пилъ ли запоемъ, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросилъ о его дѣдѣ, матери, сестрахъ и братьяхъ. Узнавъ, что его мать имѣла отличный голосъ и играла иногда въ театрѣ, онъ вдругъ оживился и спросилъ:

— Виноватъ-съ, а не припомните ли, не былъ ли театръ у вашей матушки страстью?

Прошло минутъ двадцать. Васильеву наскучило, что докторъ поглаживаетъ колѣни и говоритъ все объ одномъ и томъ же.

— Насколько я понимаю ваши вопросы, докторъ,—сказалъ онъ:—вы хотите знать, наслѣдственна моя болѣзнь, или нѣтъ. Она не наслѣдственна.

Далѣе докторъ спросилъ, не было ли у Васильева въ молодости какихъ-либо тайныхъ пороковъ, ушибовъ головы, увлеченій, странностей, исключительныхъ пристрастій. На половину вопросовъ, какіе обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвѣчать безъ всякаго ущерба для здоровья; но у Михаила Сергѣича, у медика и художника были такія лица, какъ будто, если бы Васильевъ не отвѣтилъ хотя бы на одинъ вопросъ, то все бы погибло. Получая отвѣты, докторъ для чего-то записывалъ ихъ на бумажкѣ. Узнавъ, что Васильевъ кончилъ уже на естественномъ факультетѣ и теперь на юридическомъ, докторъ задумался...

— Въ прошломъ году онъ написалъ отличное сочиненіе...—сказалъ медикъ.

— Виноватъ, не перебивайте меня, вы мѣшаете мнѣ сосредоточиться,—сказалъ докторъ и улыбнулся одной щекой.—Да, конечно, и это играетъ роль въ анамнезѣ. Форсированная умственная работа, переутомленіе... Да, да... А водку вы пьете?—обратился онъ къ Васильеву.

— Очень рѣдко.

Прошло еще двадцать минутъ. Медикъ сталъ вполголоса высказывать свое мнѣніе о ближайшихъ причинахъ при-

падка и разсказалъ, какъ третьяго дня онъ, художникъ и Васильевъ ходили въ С—въ переулокъ.

Равнодушный, сдержанный, холодный тонъ, какимъ его пріятели и докторъ говорили о женщинахъ и о несчастномъ переулкѣ, показался ему въ высшей степени страннымъ...

— Докторъ, скажите мнѣ только одно,—сдерживая себя, чтобы не быть грубымъ, сказалъ онъ: — проституція зло, или нѣтъ?

— Голубчикъ, кто жъ споритъ?—сказалъ докторъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто давно уже рѣшилъ для себя всѣ эти вопросы.—Кто споритъ?

— Вы психіатръ?—спросилъ грубо Васильевъ.

— Да-съ, психіатръ.

— Можетъ-быть, всѣ вы и правы!—сказалъ Васильевъ, поднимаясь и начиная ходить изъ угла въ уголъ. — Можетъ-быть! Но мнѣ все это кажется удивительнымъ! Что я былъ на двухъ факультетахъ — въ этомъ видятъ подвигъ; за то, что я написалъ сочиненіе, которое черезъ три года будетъ брошено и забудется, меня превозносятъ до небесъ, а за то, что о падшихъ женщинахъ я не могу говорить такъ же хладнокровно, какъ объ этихъ стульяхъ, меня лѣчатъ, называютъ сумасшедшимъ, сожалѣютъ!

Васильеву почему-то вдругъ стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всѣхъ тѣхъ, которыхъ онъ видѣлъ третьяго дня, и этого доктора, онъ заплакалъ и упалъ въ кресло.

Пріятели вопросительно глядѣли на доктора. Тотъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто отлично понималъ и слезы, и отчаяніе, какъ будто чувствовалъ себя спеціалистомъ по этой части, подошелъ къ Васильеву и молча далъ ему выпить какихъ-то капель, а потомъ, когда онъ успокоился, раздѣлъ его и сталъ изслѣдовать чувствительность его кожи, колѣнные рефлексы и проч.

И Васильеву полегчало. Когда онъ выходилъ отъ доктора, ему уже было совѣстно, шумъ экипажей не казался раздражительнымъ и тяжесть подъ сердцемъ становилась все легче и легче, точно таяла. Въ рукахъ у него было два рецепта: на одномъ былъ бромистый калій, на другомъ морфій... Все это принималъ онъ и раньше!

На улицѣ онъ постоялъ немного, подумалъ и, простившись съ пріятелями, лѣниво поплелся къ университету.

ШАМПАНСКОЕ.

(РАЗСКАЗЪ ПРОХОДИМЦА.)

——

Въ тотъ годъ, съ котораго начинается мой разсказъ, я служилъ начальникомъ полустанка на одной изъ нашихъ юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ. Весело мнѣ жилось на полустанкѣ или скучно, вы можете видѣть изъ того, что на 20 верстъ вокругъ не было ни одного человѣческаго жилья, ни одной женщины, ни одного порядочнаго кабака, а я въ тѣ поры былъ молодъ, крѣпокъ, горячъ, взбалмошенъ и глупъ. Единственнымъ развлеченіемъ могли быть только окна пассажирскихъ поѣздовъ да поганая водка, въ которую жиды подмѣшивали дурманъ. Бывало, мелькнетъ въ окнѣ вагона женская головка, а ты стоишь, какъ статуя, не дышишь и глядишь до тѣхъ поръ, пока поѣздъ не обратится въ едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влѣзетъ, противной водки, очертенѣешь и не чувствуешь, какъ бѣгутъ длинные часы и дни. На меня, уроженца сѣвера, степь дѣйствовала, какъ видъ заброшеннаго татарскаго кладбища. Лѣтомъ она со своимъ торжественнымъ покоемъ — этотъ монотонный трескъ кузнечиковъ, прозрачный лунный свѣтъ, отъ котораго никуда не спрячешься,— наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная бѣлизна степи, ея холодная даль, длинныя ночи и волчій вой давили меня тяжелымъ кошмаромъ.

На полустанкѣ жило нѣсколько человѣкъ: я съ женой, глухой и золотушный телеграфистъ да три сторожа. Мой помощникъ, молодой, чахоточный человѣкъ, ѣздилъ лѣчиться въ городъ, гдѣ жилъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, пред-

оставляя мнѣ свои обязанности вмѣстѣ съ правомъ пользоваться его жалованьемъ. Дѣтей у меня не было, гостей, бывало, ко мнѣ никакимъ калачомъ не заманишь, а самъ я могъ ѣздить въ гости только къ сослуживцамъ по линіи, да и то не чаще одного раза въ мѣсяцъ. Вообще, прескучнѣйшая жизнь.

Помню, встрѣчалъ я съ женою Новый годъ. Мы сидѣли за столомъ, лѣниво жевали и слушали, какъ въ сосѣдней комнатѣ монотонно постукивалъ на своемъ аппаратѣ глухой телеграфистъ. Я уже вышилъ рюмокъ пять водки съ дурманомъ и, подпершись свою тяжелую голову кулакомъ, думалъ о своей непобѣдимой, невылазной скукѣ, а жена сидѣла рядомъ и не отрывала отъ моего лица глазъ. Глядѣла она на меня такъ, какъ можетъ глядѣть только женщина, у которой на этомъ свѣтѣ нѣтъ ничего, кромѣ краснваго мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту, или душу, но мои грѣхи, мою злобу и скуку, и даже мою жестокость, когда я въ пьяномъ изступленіи, не зная на комъ излить свою злобу, терзалъ ее попреками.

Несмотря на скуку, которая ѣла меня, мы готовились встрѣтить Новый годъ съ необычайной торжественностью и ждали полночи съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. Дѣло въ томъ, что у насъ были припасены двѣ бутылки шампанскаго, самаго настоящаго, съ ярлыкомъ вдовы Клико; это сокровище я выигралъ на пари еще осенью у начальника дистанціи, гуляя у него на крестинахъ. Бываетъ, что во время урока математики, когда даже воздухъ стынетъ отъ скуки, въ классъ со двора влетаетъ бабочка; мальчуганы встряхиваютъ головами и начинаютъ съ любопытствомъ слѣдить за полетомъ, точно видятъ передъ собой не бабочку, а что-то новое, странное; такъ точно и обыкновенное шампанское, попавъ случайно въ нашъ скучный полустанокъ, забавляло насъ. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрѣлка показывала безъ пяти двѣнадцать, я сталъ медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабѣлъ ли я отъ водки, или же бутылка была слишкомъ влажна, но только помню, когда пробка съ трескомъ полетѣла къ потолку, моя бутылка выскользнула у меня изъ рукъ и упала на полъ. Пролилось вина не болѣе стакана, такъ какъ я

успѣлъ подхватить бутылку и заткнуть ей шипящее горло пальцемъ.

— Ну, съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! — сказалъ я, наливая два стакана.—Пей.

Жена взяла свой стаканъ и уставилась на меня испуганными глазами. Лицо ея поблѣднѣло и выражало ужасъ.

— Ты уронилъ бутылку?—спросила она.

— Да, уронилъ. Ну, такъ что же изъ этого?

— Нехорошо,—сказала она, ставя свой стаканъ и еще больше блѣднѣя. — Нехорошая примѣта. Это значитъ, что въ этомъ году съ нами случится что-нибудь недоброе.

— Какая ты баба!—вздохнулъ я.—Умная женщина, а бредишь, какъ старая нянька. Пей.

— Дай Богъ, чтобъ я бредила, но... непремѣнно случится что-нибудь! Вотъ увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла въ сторону и задумалась. Я сказалъ нѣсколько старыхъ фразъ насчетъ предразсудковъ, выпилъ полбутылки, пошагалъ изъ угла въ уголъ и вышелъ.

На дворѣ во всей своей холодной, нелюдимой красѣ стояла тихая морозная ночь. Луна и около нея два бѣлыхъ пушистыхъ облачка неподвижно, какъ приклеенныя, висѣли въ вышинѣ надъ самымъ полустанкомъ и какъ будто чего-то ждали. Отъ нихъ шелъ легкій прозрачный свѣтъ и нѣжно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался бѣлой земли, освѣщая все: сугробы, насыпь... Было тихо.

Я шелъ вдоль насыпи.

«Глупая женщина! — думалъ я, глядя на небо, усыпанное яркими звѣздами.—Если даже допустить, что примѣты иногда говорятъ правду, то что же недоброе можетъ случиться съ нами? Тѣ несчастья, которыя уже испытаны и которыя есть теперь налицо, такъ велики, что трудно придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно причинить рыбѣ, которая уже поймана, изжарена и подана на столъ подъ соусомъ?»

Тополь, высокій, покрытый инеемъ, показался въ сизоватой мглѣ, какъ великанъ, одѣтый въ саванъ. Онъ поглядѣлъ на меня сурово и уныло, точно, подобно мнѣ, понималъ свое одиночество. Я долго глядѣлъ на него.

«Молодость моя погибла ни за грошъ, какъ ненужный окурокъ, — продолжалъ я думать. — Родители мои умерли,

когда я былъ еще ребенкомъ, изъ гимназіи меня выгнали. Родился я въ дворянской семьѣ, но не получилъ ни воспитанія, ни образованія, и знаній у меня не больше, чѣмъ у любого смазчика. Нѣтъ у меня ни пріюта, ни близкихъ, ни друзей, ни любимаго дѣла. Ни на что я неспособенъ и въ расцвѣтѣ силъ сгодился только на то, чтобы мною заткнули мѣсто начальника полустанка. Кромѣ неудачъ и бѣдъ, ничего другого не зналъ я въ жизни. Что же еще недоброе можетъ случиться?»

Вдали показались красные огни. Мнѣ навстрѣчу шелъ поѣздъ. Уснувшая степь слушала его шумъ. Мои мысли были такъ горьки, что мнѣ казалось, что я мыслилъ вслухъ, что стонъ телеграфа и шумъ поѣзда передаютъ мои мысли.

«Что же еще недоброе можетъ случиться? Потеря жены? — спрашивалъ я себя. — И это не страшно. Отъ своей совѣсти нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще былъ мальчишкой. Теперь я молодъ, крѣпокъ, а она осунулась, состарилась, поглупѣла, отъ головы до пятъ набита предразсудками. Что хорошаго въ ея приторной любви, впалой груди, въ вяломъ взглядѣ? Я терплю ее, но не люблю. Что же можетъ случиться? Молодость моя пропадаетъ, какъ говорится, ни за понюшку табаку. Женщины мелькаютъ передо мной только въ окнахъ вагоновъ, какъ падающія звѣзды. Любви не было и нѣтъ. Гибнетъ мое мужество, моя смѣлость, сердечность... Все гибнетъ, какъ соръ, и мои богатства здѣсь, въ степи, не стоятъ гроша мѣднаго.»

Поѣздъ съ шумомъ пролетѣлъ мимо меня и равнодушно посвѣтилъ мнѣ своими красными окнами. Я видѣлъ, какъ онъ остановился у зеленыхъ огней полустанка, постоялъ минуту и покатилъ далѣе. Пройдя версты двѣ, я вернулся назадъ. Печальныя мысли не оставили меня. Какъ ни горько было мнѣ, но, помнится, я какъ будто старался, чтобы мои мысли были печальнѣе и мрачнѣе. Знаете, у недалекихъ и самолюбивыхъ людей бываютъ моменты, когда сознаніе, что они несчастны, доставляетъ имъ нѣкоторое удовольствіе, и они даже кокетничаютъ передъ самими собой своими страданіями. Много въ моихъ мысляхъ было правды, но много и нелѣпаго, хвастливаго и что-то мальчишески вызывающее было въ моемъ вопросѣ: «Что можетъ случиться недоброе?»

— Да, что же случится? — спрашивалъ я себя, возвращаясь.—Кажется, все пережито. И болѣлъ я, и деньги терялъ, и выговоры каждый день отъ начальства получаю, и голодаю, и волкъ бѣшеный забѣгалъ во дворъ полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорблялъ на своемъ вѣку. Вотъ развѣ только преступникомъ никогда не былъ, но на преступленіе я, кажется, неспособенъ, суда же не боюсь.

Два облачка уже отошли отъ луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались о чемъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда.

У порога дома встрѣтила меня жена. Глаза ея весело смѣялись и все лицо дышало удовольствіемъ.

— А у насъ новость!—зашептала она.—Ступай скорѣе въ свою комнату и надѣнь новый сюртукъ: у насъ гостья!

— Какая гостья?

— Сейчасъ съ поѣздомъ пріѣхала тетя Наталья Петровна.

— Какая Наталья Петровна?

— Жена моего дяди Семена Ѳедорыча. Ты ея не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вѣроятно, я нахмурился, потому что жена сдѣлала серьезное лицо и зашептала быстро:

— Конечно, странно, что она пріѣхала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она вѣдь несчастная. Дядя Семенъ Ѳедорычъ въ самомъ дѣлѣ деспотъ и злой, съ нимъ трудно ужиться. Она говоритъ, что только три дня у насъ проживетъ, пока не получитъ письма отъ своего брата.

Жена долго еще шептала мнѣ какую-то чепуху про деспота-дядюшку, про слабость человѣческую вообще и молодыхъ женъ въ частности, про обязанность нашу давать пріютъ всѣмъ, даже большимъ грѣшникамъ, и проч. Не понимая ровно ничего, я надѣлъ новый сюртукъ и пошелъ знакомиться съ «тетей».

За столомъ сидѣла маленькая женщина съ большими, черными глазами. Мой столъ, сѣрыя стѣны, топорный диванъ... кажется, все до малѣйшей пылинки помолодѣло и повеселѣло въ присутствіи этого существа, новаго, молодого, издававшаго какой-то мудреный запахъ, красиваго и

порочнаго. А что гостья была порочна, я понялъ по улыбкѣ, по запаху, по особой манерѣ глядѣть и играть рѣсницами, по тону, съ какимъ она говорила съ моей женой — порядочной женщиной... Не нужно ей было разсказывать мнѣ, что она бѣжала отъ мужа, что мужъ ея старъ и деспотъ, что она добра и весела. Я все понялъ съ перваго взгляда, да едва ли въ Европѣ есть еще мужчины, которые не умѣютъ отличить съ перваго взгляда женщину извѣстнаго темперамента.

— А я не знала, что у меня есть такой крупный племянничекъ! — сказала тетя, протягивая мнѣ руку и улыбаясь.

— А я не зналъ, что у меня есть такая хорошенькая тетя!—сказалъ я.

Снова начался ужинъ. Пробка съ трескомъ вылетѣла изъ второй бутылки, и моя тетя залпомъ выпила пол-стакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила цѣлый стаканъ. Опьянѣлъ я и отъ вина, и отъ присутствія женщины. Вы помните романсъ?

Очи черныя, очи страстныя,
Очи жгучія и прекрасныя,
Какъ люблю я васъ,
Какъ боюсь я васъ!

Не помню, что было потомъ. Кому угодно знать, какъ начинается любовь, тотъ пусть читаетъ романы и длинныя повѣсти, а я скажу только немного и словами все того же глупаго романса:

Знать увидѣлъ васъ
Я не въ добрый часъ...

Все полетѣло къ чорту верхнимъ концомъ внизъ. Помнится мнѣ страшный, бѣшеный вихрь, который закружилъ меня, какъ перышко. Кружилъ онъ долго и стеръ съ лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Изъ степного полустанка, какъ видите, онъ забросилъ меня на эту темную улицу.

Теперь скажите: что еще недоброе можетъ со мной случиться?

ВЪ ССЫЛКѢ.

Старый Семенъ, прозванный Толковымъ, и молодой татаринъ, котораго никто не зналъ по имени, сидѣли на берегу около костра; остальные три перевозчика находились въ избѣ. Семенъ, старикъ лѣтъ шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкій въ плечахъ и на видъ еще здоровый, былъ пьянъ; онъ давно бы уже пошелъ спать, но въ карманѣ у него былъ полуштофъ, и онъ боялся, какъ бы въ избѣ молодцы не попросили у него водки. Татаринъ былъ боленъ, томился и, кутаясь въ свои лохмотья, разсказывалъ, какъ хорошо въ Симбирской губерніи и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лѣтъ двадцать-пять, не больше, а теперь, при свѣтѣ костра, онъ блѣдный, съ печальнымъ болѣзненнымъ лицомъ, казался мальчикомъ.

— Оно, конечно, тутъ не рай, — говорилъ Толковый. — Самъ видишь: вода, голые берега, кругомъ глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на рѣкѣ ледъ идетъ и утромъ нынче снѣгъ былъ.

— Худо! худо! — сказалъ татаринъ и оглядѣлся съ испугомъ.

Шагахъ въ десяти текла темная, холодная рѣка; она ворчала, хлюпала объ изрытый глинистый берегъ и быстро неслась куда-то въ далекое море. У самаго берега темнѣла большая баржа, которую перевозчики называютъ «карбасомъ». Далеко на томъ берегу, потухая и переливаясь, змѣйками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змѣйками опять потемки. Слышно, какъ небольшія льдины стучатъ о баржу. Сыро, холодно...

Татаринъ взглянулъ на небо. Звѣздъ такъ же много, какъ дома у него, такая же чернота кругомъ, но чего-то недостаетъ. Дома, въ Симбирской губерніи, совсѣмъ не такія звѣзды и не такое небо.

— Худо! худо!—повторилъ онъ.

— Привыкнешь!—сказалъ Толковый и засмѣялся.—Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губахъ не обсохло, и кажется тебѣ по глупости, что несчастнѣй тебя человѣка нѣтъ, а придетъ время, самъ скажешь: дай Богъ всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Черезъ недѣлю времени пройдетъ вода и поставимъ тутъ паромъ, вы всѣ пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить отъ берега къ берегу. Ужъ двадцать два года такъ хожу. День и ночь. Щука и нельма подъ водой, а я надъ водой. И слава Богу. Ничего мнѣ не надо. Дай Богъ всякому такой жизни.

Татаринъ подложилъ въ костеръ хворосту, легъ поближе къ огню и сказалъ:

— У меня отецъ хворый человѣкъ. Когда онъ помретъ, мать и жена сюда пріѣдутъ. Обѣщали.

— А на что тебѣ мать и жена?—спросилъ Толковый.—Одна глупость, братъ. Это тебя бѣсъ смущаетъ, язви его душу. Ты его не слушай, проклятаго. Не давай ему воли. Онъ тебѣ насчетъ бабы, а ты ему на зло: не желаю! Онъ тебѣ насчетъ воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нѣту ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви ихъ душу!

Толковый потянулъ изъ бутылки и продолжалъ:

— Я, братуша, не мужикъ простой, не изъ хамскаго званія, а дьячковскій сынъ и, когда на волѣ жилъ въ Курскѣ, въ сюртукѣ ходилъ, а теперь довелъ себя до такой точки, что могу голый на землѣ спать и траву жрать. И дай Богъ всякому такой жизни. Ничего мнѣ не надо и никого я не боюсь, и такъ себя понимаю, что богаче и вольнѣе меня человѣка нѣтъ. Какъ прислали меня сюда изъ Россіи, я съ перваго же дня уперся: ничего не хочу! Бѣсъ мнѣ и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мнѣ не надо! Уперся на своемъ и вотъ, какъ видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто дастъ поблажку бѣсу и хоть разъ послушается, тотъ пропалъ, нѣтъ ему спасенія: завязнетъ въ болотѣ по самую маковку и не вылѣзетъ. Не то, что вашъ братъ, глупый мужикъ,

но и благородные и образованные пропадаютъ. Лѣтъ пятнадцать назадъ прислали сюда изъ Россіи одного барина. Съ братьями что-то тамъ не подѣлилъ и въ завѣщаніи фальшь сдѣлалъ какую-то. Сказывали, изъ князей или бароновъ, а можетъ, и просто изъ чиновниковъ — кто его знаетъ! Ну, пріѣхалъ сюда баринъ и первымъ дѣломъ купилъ себѣ въ Мухортинскомъ домъ и землю. «Хочу, говоритъ, своимъ трудомъ жить, въ потѣ лица, потому что, говоритъ, я теперь не господинъ, а поселенецъ». Что жъ, говорю, помогай Богъ, дѣло хорошее. Человѣкъ онъ былъ тогда молодой, хлопотунъ, заботливый; самъ и косилъ, бывало, и рыбу ловилъ, и верхомъ верстъ за шестьдесятъ ѣздилъ. Только вотъ бѣда: съ перваго же года сталъ ѣздить въ Гырино, въ почтовую контору. Стоитъ, бывало, у меня на паромѣ и вздыхаетъ: «Эхъ, Семенъ, что-то долго не шлютъ мнѣ изъ дому денегъ!» Не надо, говорю, Василій Сергѣичъ, денегъ. Къ чему онѣ? Вы старое-то бросьте, забудьте, какъ будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, бѣса, — онъ до добра не доведетъ, въ петлю затянетъ. Теперь вы денегъ желаете, говорю, а пройдетъ мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потомъ и еще, и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первѣе всего—ничего не желайте. Да... Ужъ ежели, говорю ему, насъ съ вами судьба обидѣла горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей въ ножки, а надо пренебрегать и смѣяться надъ ней. А то она сама насмѣется. Такъ и говорю ему... Года черезъ два перевожу я его на эту сторону, а онъ потираетъ руки и смѣется. «Ѣду, говоритъ, въ Гырино жену встрѣчать. Пожалѣла, говоритъ, меня, пріѣхала. Хорошая она у меня, добрая». А самъ отъ радости даже запыхался. Вотъ черезъ день ѣдетъ съ женой. Дама молодая, красивая, въ шляпкѣ; на рукахъ младенчикъ-дѣвочка. И всякаго багажу много. А Василій Сергѣичъ мой вертится около нея, не наглядится и никакъ не нахвалится. «Да, братъ Семенъ, и въ Сибири люди живутъ!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И съ той поры, почитай, каждую недѣлю, сталъ онъ въ Гырино навѣдываться: не пришли ли изъ Россіи деньги. Денегъ-то понадобилось пропасть. «Она, говоритъ, ради меня тутъ въ Сибири свою молодость и красоту губитъ и, говоритъ,

со мной мою горькую долю дѣлить, и черезъ это, говоритъ, я долженъ предоставлять ей всякое удовольствіе...» Чтобъ барынѣ веселѣй было, завелъ онъ знакомство съ чиновниками и съ шушерой всякой. А всю эту компанію, извѣстно, кормить и поить надо, да чтобъ и фортепьянъ былъ и собачка лохматенькая на диванѣ, — чтобъ она издохла... Роскошь, однимъ словомъ, баловство. Прожила съ нимъ барыня недолго. Гдѣ ей? Глина. вода, холодно, ни тебѣ овоща, ни фрукта, кругомъ необразованные да пьяные, никакого обхожденія, а она дама балованная, столичная... Извѣстно, соскучилась. Да и мужъ, какъ ни говори, уже не баринъ, а поселенецъ — не та честь. Года черезъ три, помню, ночью подъ самый Успеньевъ день кричатъ съ того берега. Пошелъ я туда на паромѣ, гляжу—барыня, вся окутавшись, а съ ней молодой господинъ, изъ чиновниковъ. Тройка... Перевезъ я ихъ сюда, сѣли — и поминай, какъ звали! Только ихъ и видѣли. А подъ утро Василій Сергѣичъ скачетъ на парѣ. «Не проѣзжала ли тутъ, Семенъ, моя жена съ господиномъ въ очкахъ?» Проѣзжала, говорю, — ищи вѣтра въ полѣ! Поскакалъ онъ вдогонку, сутокъ пять гнался. Когда послѣ перевозилъ я его на ту сторону, онъ повалился на паромъ и давай головой биться о доски и выть. То-то вотъ, говорю, и есть. Смѣюсь и припоминаю ему: «И въ Сибири люди живутъ!» А онъ еще пуще бьется... Потомъ это захотѣлось ему воли. Жена въ Россію подалась, и его, значитъ, туда потянуло, чтобъ ее повидать и отъ полюбовника вызволить. И сталъ онъ, братецъ ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то въ городъ къ начальству. Все прошенія посылалъ и подавалъ, чтобъ его помиловали и назадъ домой вернули, и сказывалъ онъ, на однѣ телеграммы у него рублей двѣсти пошло. Землю продалъ, домъ жидамъ заложилъ. Самъ посѣдѣлъ, сгорбился, съ лица желтый сталъ, словно чахоточный. Говоритъ съ тобою, а самъ: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазахъ. Промаялся такъ съ прошеніями годовъ восемь, а теперь опять ожилъ и веселый сталъ: новое баловство придумалъ. Дочка, видишь, выросла. Глядитъ на нее и не надышится. А она, правду говоритъ, ничего себѣ: красивенькая, чернобровая и нрава бойкаго. Каждое воскресенье онъ въ Гырино ѣздитъ съ ней въ церковь. Стоятъ оба на паромѣ рядышкомъ, она смѣется, а

онъ съ нея глазъ не сводитъ. «Да, говоритъ, Семенъ, и въ Сибири люди живутъ. И въ Сибири бываетъ счастье. Погляди-ка, говоритъ, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верстъ не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это вѣрно, дѣйствительно... А самъ про себя думаю: «Ужо погоди... Дѣвка она молодая, кровь играетъ, жить хочется, а какая тутъ жизнь?» И стала, братъ, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболѣла и теперь безъ заднихъ ногъ. Чахотка. Вотъ тебѣ и сибирское счастье, язви его душу, вотъ тебѣ и въ Сибири люди живутъ... Сталъ онъ все по докторамъ ѣздить и возить ихъ къ себѣ. Какъ заслышитъ, что верстъ за двѣсти или за триста есть докторъ или знахарь, такъ и ѣдетъ за нимъ. Страсть сколько денегъ на докторовъ ушло, а ужъ по-моему лучше пропить эти деньги... Все равно помретъ. Помретъ она всенепремѣнно, а онъ тогда совсѣмъ пропалъ. Повѣсится съ тоски или въ Россію убѣжитъ—дѣло извѣстное. Убѣжитъ, а его поймаютъ, потомъ судъ, каторга, плетей попробуетъ...

— Хорошо, хорошо, — пробормоталъ татаринъ, пожимаясь отъ озноба.

— Что хорошо?—спросилъ Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, за то онъ видалъ и жену, и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила съ нимъ три года—это ему Богъ подарилъ. Ничего—худо, а три года—хорошо. Какъ не понимай?

Дрожа, съ напряженіемъ подбирая русскія слова, которыхъ онъ зналъ немного, и заикаясь, татаринъ заговорилъ о томъ, что не приведи Богъ захворать на чужой сторонѣ, умереть и быть зарытымъ въ холодной ржавой землѣ, что если бы жена пріѣхала къ нему хотя на одинъ день и даже на одинъ часъ, то за такое счастье онъ согласился бы принять какія угодно муки и благодарилъ бы Бога. Лучше одинъ день счастья, чѣмъ ничего.

Затѣмъ онъ опять разсказалъ, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потомъ, взявшись обѣими руками за голову, онъ заплакалъ и сталъ увѣрять Семена, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и терпитъ напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество разсудило не по совѣсти и составило приговоръ, по кото-

рому пошли въ Сибирь всѣ три брата, а дядя, богатый человѣкъ, остался дома.

— Привы-ыкнешь!—сказалъ Семенъ.

Татаринъ замолчалъ и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумѣніе и испугъ, какъ будто онъ все еще не понималъ, зачѣмъ онъ здѣсь въ темнотѣ и въ сырости, около чужихъ людей, а не въ Симбирской губерніи. Толковый легъ около огня, чему-то усмѣхнулся и затянулъ вполголоса пѣсню.

— Что ей за радость съ отцомъ-то?—проговорилъ онъ, немного погодя.—Онъ ее любитъ, утѣшается, это точно; но, братъ, тоже пальца въ ротъ ему не клади: строгій старикъ, крутой старикъ. А молодымъ дѣвкамъ не строгость нужна... Имъ нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эхъ, дѣла, дѣла!—вздохнулъ Семенъ и тяжело поднялся.—Водка вся вышла, значитъ, спать пора. А? Пойду, братъ...

Оставшись одинъ, татаринъ подложилъ хворосту, легъ и, глядя на огонь, сталъ думать о родной деревнѣ и о своей женѣ; пріѣхала бы жена хоть на мѣсяцъ, хоть на день, а тамъ, если хочетъ, пусть уѣзжаетъ назадъ! Лучше мѣсяцъ или даже день, чѣмъ ничего. Но если жена сдержитъ обѣщаніе и пріѣдетъ, то чѣмъ ее придется кормить? Гдѣ она будетъ тутъ жить?

— Если нѣтъ чего-чего кушать, то какъ живи? — спросилъ вслухъ татаринъ.

За то, что онъ теперь день и ночь работалъ весломъ, ему платили только десять копеекъ въ сутки; правда, проѣзжіе давали на чай и на водку, но ребята дѣлили весь доходъ между собой, а татарину ничего не давали и только смѣялись надъ нимъ. А отъ нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тѣло болитъ и дрожитъ, пойти въ избушку и лечь спать, но тамъ укрыться нечѣмъ и холоднѣе, чѣмъ на берегу; здѣсь тоже нечѣмъ укрыться, но все же можно хоть костеръ развесть...

Черезъ недѣлю, когда вода совсѣмъ спадетъ и поставятъ тутъ паромъ, всѣ перевозчики, кромѣ Семена, станутъ уже не нужны, и татаринъ начнетъ ходить изъ деревни въ деревню и просить милостыни и работы. Женѣ только семнадцать лѣтъ; она красивая, избалованная, застѣнчивая, — неужели и она будетъ ходить по деревнямъ съ от-

крытымъ лицомъ и просить милостыню? Нѣтъ, объ этомъ даже подумать страшно...

Уже свѣтало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на водѣ и зыбь, а назадъ оглянуться — тамъ глинистый обрывъ, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лѣпятся деревенскія избы. На деревнѣ уже пѣли пѣтухи.

Рыжій глинистый обрывъ, баржа, рѣка, чужіе, недобрые люди, голодъ, холодъ, болѣзни — быть-можетъ, всего этого нѣтъ на самомъ дѣлѣ. Вѣроятно, все это только снится,— думалъ татаринъ. Онъ чувствовалъ, что спитъ, и слышалъ свой храпъ... Конечно, онъ дома, въ Симбирской губерніи, и стоитъ ему только назвать жену по имени, какъ она откликнется; а въ сосѣдней комнатѣ мать... Однако, какіе бываютъ страшные сны! Къ чему они? Татаринъ улыбнулся и открылъ глаза. Какая это рѣка? Волга?

Шелъ снѣгъ.

— Подава-ай!—кричалъ кто-то на той сторонѣ:—Карба-а-асъ!

Татаринъ очнулся и пошелъ будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надѣвая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонокъ голосами и пожимаясь отъ холода, показались на берегу перевозчики. Послѣ сна рѣка, отъ которой вѣяло пронизывающимъ холодомъ, повидимому, казалась имъ отвратительной и жуткой. Не спѣша попрыгали они въ карбасъ... Татаринъ и три перевозчика взялись за длинныя весла съ широкими лопастями, похожія въ потемкахъ на рачьи клешни, Семенъ навалился животомъ на длинный руль. А на той сторонѣ все еще продолжали кричать и два раза выстрѣлили изъ револьвера, думая, вѣроятно, что перевозчики спятъ или ушли на деревню, въ кабакъ.

— Ладно, успѣешь!—проговорилъ Толковый тономъ человѣка, убѣжденнаго, что на этомъ свѣтѣ нѣтъ надобности спѣшить—все равно, молъ, толку не выйдетъ.

Тяжелая неуклюжая баржа отдѣлилась отъ берега и поплыла межъ кустовъ тальника, и только по тому, что тальникъ медленно уходилъ назадъ, замѣтно было, что она не стояла на одномъ мѣстѣ, а двигалась. Перевозчики мѣрно, въ разъ, взмахивали веслами; Толковый лежалъ животомъ на рулѣ и, описывая въ воздухѣ дугу, леталъ съ одного борта на другой. Было въ потемкахъ похоже

на то, какъ будто люди сидѣли на какомъ-то допотопномъ животномъ съ длинными лапами и уплывали на немъ въ холодную, унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальникъ, выплыли на просторъ. На томъ берегу уже заслышали стукъ и мѣрное плесканье веселъ и кричали: «Скорѣй! скорѣй!» Прошло еще минутъ съ десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыплетъ, и все оно сыплетъ!—бормоталъ Семенъ, вытирая съ лица снѣгъ. — И откуда оно берется, Богъ его знаетъ!

На той сторонѣ ждалъ худощавый, невысокаго роста старикъ, въ полушубкѣ на лисьемъ мѣху и въ бѣлой мерлушковой шапкѣ. Онъ стоялъ поодаль отъ лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выраженіе, какъ будто онъ старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семенъ подошелъ къ нему и, улыбаясь, снялъ шапку, то онъ сказалъ:

— Спѣшу въ Анастасьевку. Дочери опять хуже, а въ Анастасьевку, говорятъ, новаго доктора назначили.

Втащили тарантасъ на баржу и поплыли назадъ. Человѣкъ, котораго Семенъ назвалъ Василіемъ Сергѣичемъ, все время, пока плыли, стоялъ неподвижно, крѣпко сжавъ свои толстыя губы и глядя въ одну точку; когда ямщикъ попросилъ у него позволенія покурить въ его присутствіи, онъ ничего не отвѣтилъ, точно не слышалъ. А Семенъ лежа животомъ на рулѣ, насмѣшливо глядѣлъ не него и говорилъ:

— И въ Сибири люди живутъ. Живу-утъ!

На лицѣ у Толковаго было торжествующее выраженіе, какъ будто онъ что-то доказалъ и будто радовался, что вышло именно такъ, какъ онъ предполагалъ. Несчастный, безпомощный видъ человѣка въ полушубкѣ на лисьемъ мѣху, повидимому, доставлялъ ему большое удовольствіе.

— Грязно теперь ѣхать, Василій Сергѣичъ,—сказалъ онъ, когда на берегу запрягали лошадей.—Погодили бы ѣздить еще недѣльки съ двѣ, пока суше станетъ. А то и вовсе бы не ѣздили... Ежели бы толкъ какой отъ ѣзды былъ, а то, сами изволите знать, люди вѣки вѣчные ѣздятъ, и днемъ и ночью, а все никакого толку. Право!

Василій Сергѣичъ молча далъ на водку, сѣлъ въ тарантасъ и поѣхалъ дальше.

— Вотъ, за докторомъ поскакалъ!—сказалъ Семенъ, пожимаясь отъ холода.—Да, ищи настоящаго доктора, догоняй вѣтра въ полѣ, хватай чорта за хвостъ, язви твою душу! Экіе чудаки! Господи, прости меня грѣшнаго!

Татаринъ подошелъ къ Толковому и, глядя на него съ ненавистью и съ отвращеніемъ, дрожа и примѣшивая къ своей ломаной рѣчи татарскія слова, заговорилъ:

— Онъ хорошо... хорошо, а ты—худо! Ты худо! Баринъ хорошая душа, отличный, а ты звѣрь, ты худо! Баринъ живой, а ты дохлый... Богъ создалъ человѣка, чтобы живой былъ, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значитъ, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебѣ ничего... Ты камень—и Богъ тебя не любитъ, а барина любитъ!

Всѣ засмѣялись; татаринъ брезгливо поморщился, махнулъ рукой и, кутаясь въ свои лохмотья, пошелъ къ костру. Перевозчики и Семенъ поплелись въ избушку.

— Холодно! — прохрипѣлъ одинъ перевозчикъ, растягиваясь на соломѣ, которою былъ покрытъ сырой глинистый полъ.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Всѣ улеглись. Дверь отворилась отъ вѣтра, и въ избушку понесло снѣгомъ. Встать и затворить дверь никому не хотѣлось: было холодно и лѣнь.

— А мнѣ хорошо!—проговорилъ Семенъ, засыпая.—Дай Богъ всякому такой жизни.

— Ты, извѣстно, семикаторжный. Тебя и черти не берутъ.

Со двора послышались звуки, похожіе на собачій вой.

— Что это? Кто это тамъ?

— Это татаринъ плачетъ.

— Ишь ты... Чудакъ!

— Привы-ыкнетъ! — сказалъ Семенъ и тотчасъ же заснулъ.

Скоро заснули и остальные. А дверь такъ и осталась не затворенной.

ОТЕЦЪ.

— Признаться, я выпивши... Извини, зашелъ дорогой въ портерную и по случаю жары выпилъ двѣ бутылочки. Жарко, братъ!

Старикъ Мусатовъ вытащилъ изъ кармана какую-то тряпочку и вытеръ ею свое бритое, испитое лицо.

— Я къ тебѣ, Боренька, ангелъ мой, на минуточку, — продолжалъ онъ, не глядя на сына: — по весьма важному дѣлу. Извини, можетъ-быть, помѣшалъ. Нѣтъ ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денегъ, понимаешь ли... во! Хоть зарѣжь!

Молодой Мусатовъ молча вышелъ и сталъ за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и съ сослуживцами, которые вмѣстѣ съ нимъ сообща нанимали дачу. Черезъ три минуты онъ вернулся и молча подалъ отцу десятирублевку. Тотъ, не поглядѣвъ, небрежно сунулъ ее въ карманъ и сказалъ:

— Мерси. Ну, какъ живешь? Давно ужъ не видались.

— Да, давно. Съ самой Святой.

— Разъ пять собирался къ тебѣ, да все некогда. То одно дѣло, то другое... просто смерть! Впрочемъ, вру... Все это я вру. Ты мнѣ не вѣрь, Боренька. Сказалъ—во вторникъ отдамъ десять рублей, тоже не вѣрь. Ни одному моему слову не вѣрь. Никакихъ у меня дѣловъ нѣтъ, а просто лѣнь, пьянство и совѣстно въ такомъ одѣяніи на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тутъ я раза три къ тебѣ дѣвчонку за деньгами присылалъ и жалостныя письма писалъ.

За деньги спасибо, а письмамъ не вѣрь: вралъ. Совѣстно мнѣ обирать тебя, ангелъ мой; знаю, что самъ ты едва концы съ концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своимъ нахальствомъ не подѣлаю. Такой нахалъ, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебѣ всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельскаго лица видѣть.

Прошла минута въ молчаніи. Старикъ глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Угостилъ бы ты меня пивкомъ, что ли.

Сынъ молча вышелъ, и за дверями опять послышался шопотъ. Когда, немного погодя, принесли пиво, старикъ при видѣ бутылокъ оживился и рѣзко измѣнилъ свой тонъ.

— Былъ, братецъ ты мой, намедни я на скачкахъ, — разсказывалъ онъ, дѣлая испуганные глаза. — Насъ было трое, и взяли мы въ тотализаторѣ одинъ трехрублевый билетъ на Шустраго. И спасибо этому Шустрому. На рубль намъ выдали по тридцать два рубля. Не могу, братъ, безъ скачекъ. Удовольствіе благородное. Моя бабенція всегда задаетъ мнѣ трепку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борисъ, молодой человѣкъ, бѣлокурый, съ меланхолическимъ, неподвижнымъ лицомъ, тихо ходилъ изъ угла въ уголъ и молча слушалъ. Когда старикъ прервалъ свой разсказъ, чтобы откашляться, онъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— На-дняхъ, папаша, я купилъ себѣ штиблеты, которыя оказались для меня слишкомъ узки. Не возьмешь ли ты ихъ у меня? Я уступлю тебѣ ихъ дешевле.

— Пожалуй,—согласился старикъ, дѣлая гримасу:—только за ту же цѣну, безъ уступокъ.

— Хорошо. Я тебѣ это взаймы даю.

Сынъ полѣзъ подъ кровать и досталъ оттуда новыя штиблеты. Отецъ снялъ свои неуклюжіе, бурые, очевидно, чужіе сапоги и сталъ примѣривать новую обувь.

— Какъ разъ! — сказалъ онъ. — Ладно, пускай у меня остаются. А во вторникъ, когда получу пенсію, пришлю тебѣ за нихъ. Впрочемъ, вру, — продолжалъ онъ, вдругъ опять впадая въ прежній слезливый тонъ.—И про тотализаторъ вру, и про пенсію вру. И ты меня обманываешь, Боренька... Я вѣдь чувствую твою великодушную политику.

Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ахъ, Боря, Боря! Все я понимаю и все чувствую!

— Вы на новую квартиру перебрались? — прервалъ его сынъ, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Да, братъ, на новую. Каждый мѣсяцъ перебираюсь. Моя бабенція со своимъ характеромъ не можетъ долго на одномъ мѣстѣ ужиться.

— Я у васъ былъ на старой квартирѣ, хотѣлъ васъ къ себѣ на дачу пригласить. Съ вашимъ здоровьемъ вамъ не мѣшало бы пожить на чистомъ воздухѣ.

— Нѣтъ!—махнулъ рукой старикъ. — Баба не пуститъ, да и самъ не хочу. Разъ сто вы пытались вытащить меня изъ ямы, и самъ я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте! Въ ямѣ и околѣвать мнѣ. Сейчасъ вотъ сижу съ тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого такъ и тянетъ домой въ яму. Такая ужъ, знать, судьба. Навознаго жука не затащишь на розу. Нѣтъ. Однако, братецъ, мнѣ пора ужъ. Темно становится.

— Такъ постойте же, я васъ провожу. Мнѣ самому сегодня нужно въ городъ.

Старикъ и молодой надѣли свои пальто и вышли. Когда, немного погодя, они ѣхали на извозчикѣ, было уже темно, и въ окнахъ замелькали огни.

— Обобралъ я тебя, Боренька!—бормоталъ отецъ.—Бѣдныя, бѣдныя дѣти! Должно-быть, великое горе имѣть такого отца! Боренька, ангелъ мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини... До чего доходитъ мое нахальство, Боже мой! Сейчасъ вотъ я тебя обобралъ, конфужу тебя своимъ пьянымъ видомъ, братьевъ твоихъ тоже обираю и конфужу, а поглядѣлъ бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера къ моей бабенціи сосѣди и всякая шваль, напился и я съ ними и давай на чемъ свѣтъ стоитъ честить васъ, моихъ дѣточекъ. И ругалъ я васъ, и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотѣлъ, видишь ли, пьяныхъ бабъ разжалобить и разыграть изъ себя несчастнаго отца. Такая ужъ у меня манера: когда хочу свои пороки скрыть, то всю бѣду на невинныхъ дѣтей взваливаю. Не могу я врать тебѣ, Боренька, и скрывать. Шелъ къ тебѣ гоголемъ, а какъ увидѣлъ твою кротость и милосердіе твое, языкъ

прилипъ къ гортани и всю мою совѣсть вверхъ тормашкой перевернуло.

— Полно, папаша, давайте говорить о чемъ-нибудь другомъ.

— Матерь Божія, какія у меня дѣти! — продолжалъ старикъ, не слушая сына. — Какую Господь мнѣ роскошь послалъ! Такихъ бы дѣтей не мнѣ, непутевому, а настоящему бы человѣку съ душой и чувствами! Недостоинъ я!

Старикъ снялъ свой маленькій картузикъ съ пуговкой и нѣсколько разъ перекрестился.

— Слава Тебѣ, Господи!—вздохнулъ онъ, оглядываясь по сторонамъ и какъ бы ища образа.—Замѣчательныя, рѣдкія дѣти! Три у меня сына, и всѣ какъ одинъ. Трезвые, степенные, дѣловые, а какіе умы! Извозчикъ, какіе умы! У одного Григорія ума столько, что на десять человѣкъ хватитъ. Онъ и по-французски, онъ и по-нѣмецки, а говоритъ, такъ куда тебѣ твои адвокаты—заслушаешься... Дѣти мои, дѣти, не вѣрю я, что вы мои! Не вѣрю! Ты у меня, Боренька, мученикъ. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мнѣ безъ конца, хотя и знаешь, что деньги твои идутъ не на дѣло. Намедни прислалъ я тебѣ жалостное письмо, болѣзнь описывалъ свою, а вѣдь вралъ: деньги я у тебя на ромъ просилъ. А даешь ты мнѣ потому, что боишься меня отказомъ оскорбить. Все это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученикъ. Въ четвергъ, братецъ ты мой, пошелъ я къ нему въ присутствіе пьяный, грязный, оборванный... водкой отъ меня, какъ изъ погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лѣзу къ нему съ подлыми разговорами, а тутъ кругомъ его товарищи, начальство, просители. Осрамилъ на всю жизнь. А онъ хоть бы тебѣ капельку сконфузился, только чуточку поблѣднѣлъ, но улыбнулся и подошелъ ко мнѣ какъ ни въ чемъ не бывало, даже товарищамъ отрекомендовалъ. Потомъ проводилъ меня до самаго дома и хоть бы однимъ словомъ попрекнулъ! Обираю я его пуще, чѣмъ тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, вѣдь тоже мученикъ! Женился онъ, знаешь, на полковницкой дочкѣ изъ аристократическаго круга, приданое взялъ... Кажется, не до меня ему. Нѣтъ, братъ, какъ только женился, послѣ свадьбы со своею молодою супругой мнѣ первому визитъ сдѣлалъ... въ моей ямѣ... Ей-Богу!

Старикъ всхлипнулъ и тотчасъ же засмѣялся.

— А въ ту пору, какъ нарочно, у насъ тертую рѣдьку съ квасомъ ѣли и рыбу жарили, и такая вонь была въ квартирѣ, что чорту тошно. Я лежалъ выпивши, бабенція моя выскочила къ молодымъ съ красною рожей... безобразіе, однимъ словомъ. А Саша все превозмогъ.

— Да, нашъ Саша хорошій человѣкъ,—сказалъ Борисъ.

— Великолѣпнѣйшій! Всѣ вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я васъ, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слыхалъ отъ васъ ни одного слова упрека, не видалъ ни одного косого взгляда. Добро бы, отецъ порядочный былъ, а то — тьфу! Не видали вы отъ меня ничего, кромѣ зла. Я человѣкъ нехорошій, распутный... Теперь еще, слава Богу, присмирѣлъ и характера у меня нѣтъ, а вѣдь прежде, когда вы маленькими были, во мнѣ положительность сидѣла, характеръ. Что я ни дѣлалъ и ни говорилъ, все казалось мнѣ, какъ будто такъ и надо. Бывало, вернусь ночью домой изъ клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Цѣлую ночь ѣмъ ее поѣдомъ и думаю, что это такъ и надо; бывало, утромъ вы встанете и въ гимназію уйдете, а я все еще надъ ней свой характеръ показываю. Царство небесное, замучилъ я ее, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы изъ гимназіи, а я сплю, вы не смѣете обѣдать, пока я не встану. За обѣдомъ опять музыка. Небось, помнишь. Не дай Богъ никому такого отца. Вамъ меня Богъ на подвигъ послалъ. Именно, на подвигъ! Тяните ужъ, дѣтки, до конца. Чти отца твоего и долголѣтенъ будеши. За вашъ подвигъ, можетъ, Господь пошлетъ вамъ жизнь долгую. Извозчикъ стой!

Старикъ спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Черезъ полчаса онъ вернулся, пьяно крякнулъ и сѣлъ рядомъ съ сыномъ.

— А гдѣ теперь Соня? — спросилъ онъ. — Все еще въ пансіонѣ?

— Нѣтъ. въ маѣ она кончила и теперь у Сашиной тещи живетъ.

— Во! — удивился старикъ. — Молодецъ-дѣвка, стало быть, въ братьевъ пошла. Эхъ, нѣту, Боренька, матери, некому утѣшаться. Послушай, Боренька, она... она знаетъ, какъ я живу? А?

Борисъ ничего не отвѣтилъ. Прошло минутъ пять въ глу-

бокомъ молчаніи. Старикъ всхлипнулъ, утерся своей тряпочкой и сказалъ:

— Люблю я ее, Боренька! Вѣдь единственная дочь, а въ старости лучшаго утѣшенія нѣтъ, какъ дочка. Повидаться бы мнѣ съ ней. Можно, Боренька?

— Конечно, когда хотите.

— Ей-Богу? А она ничего?

— Полноте, она сама искала васъ, чтобъ повидаться.

— Ей-Богу? Вотъ дѣти! Извозчикъ, а? Устрой, Боренька, голубчикъ! Она теперь барышня, деликатесъ, консуме и все такое, на благородный манеръ, и я не желаю показываться ей въ такомъ подлѣйшемъ видѣ. Мы, Боренька, всю эту механику такъ устроимъ. Денька три я воздержусь отъ спиртуозовъ, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло въ порядокъ, потомъ приду къ тебѣ, и ты дашь мнѣ на время какой-нибудь свой костюмчикъ; побреюсь я, постригусь, погомъ ты съѣздишь и привезешь ее къ себѣ. Ладно?

— Хорошо.

— Извозчикъ, стой!

Старикъ опять спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Пока Борисъ доѣхалъ съ нимъ до его квартиры, онъ еще раза два прыгалъ, и сынъ всякій разъ молча и терпѣливо ожидалъ его. Когда они, отпустивъ извозчика, пробирались длиннымъ грязнымъ дворомъ къ квартирѣ «бабенціи», старикъ принялъ въ высшей степени сконфуженный и виноватый видъ, сталъ робко крякать и причмокивать губами.

— Боренька, — сказалъ онъ заискивающимъ тономъ: — если моя бабенція начнетъ говорить тебѣ что-нибудь такое, то ты не обращай вниманія и... и обойдись съ ней, знаешь, этакъ, попривѣтливѣй. Она у меня невѣжественна и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нея въ груди бьется доброе, горячее сердце!

Длинный дворъ кончился, и Борисъ вошелъ въ темныя сѣни. Заскрипѣла дверь на блокѣ, пахнуло кухней и самоварнымъ дымомъ, послышались рѣзкіе голоса. Проходя изъ сѣней черезъ кухню, Борисъ видѣлъ только темный дымъ, веревку съ развѣшеннымъ бѣльемъ и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотыя искры.

— А вотъ и моя келья,—сказалъ старикъ, нагибаясь и входя въ маленькую комнату съ низкимъ потолкомъ и съ

атмосферой, невыносимо душной отъ сосѣдства съ кухней.

Здѣсь за столомъ сидѣли какія-то три бабы и угощались. Увидѣвъ гостя, онѣ переглянулись и перестали ѣсть.

— Что жъ, досталъ? — спросила сурово одна изъ нихъ, повидимому, сама «бабенція».

— Досталъ, досталъ, — забормоталъ старикъ. — Ну, Борисъ, милости просимъ, садись! У насъ, братъ, молодой человѣкъ, просто... Мы въ простотѣ живемъ.

Онъ какъ-то безъ толку засуетился. Ему было совѣстно сына и въ то же время, повидимому, ему хотѣлось держать себя около бабъ, какъ всегда, «гоголемъ» и несчастнымъ, брошеннымъ отцомъ.

— Да, братецъ ты мой, молодой человѣкъ, мы живемъ просто, безъ затѣй, — бормоталъ онъ.—Мы люди простые, молодой человѣкъ... Мы не то, что вы, не любимъ пыль въ глаза пускать. Да-съ... Развѣ водки выпить?

Одна изъ бабъ (ей было совѣстно пить при чужомъ человѣкѣ) вздохнула и сказала:

— А я черезъ грибы еще выпью... Такіе грибы, что не захочешь, такъ выпьешь. Иванъ Герасимычъ, пригласите ихъ, можетъ, и они выпьютъ!

Послѣднее слово она произнесла такъ: випьютъ.

— Выпей, молодой человѣкъ!—сказалъ старикъ, не глядя на сына.—У насъ, братъ, винъ и ликеровъ нѣтъ, мы попросту.

— Имъ у насъ не ндравится!—вздохнула «бабенція».

— Ничего, ничего, онъ выпьетъ!

Чтобы не обидѣть отца отказомъ, Борисъ взялъ рюмку и молча выпилъ. Когда принесли самоваръ, онъ молча, съ меланхолическимъ лицомъ, въ угоду старику, выпилъ двѣ чашки противнаго чаю. Молча онъ слушалъ, какъ «бабенція» намеками говорила о томъ, что на этомъ свѣтѣ есть жестокія и безбожныя дѣти, которыя бросаютъ своихъ родителей.

— Я знаю, что ты теперь думаешь! — говорилъ подвыпившій старикъ, входя въ свое обычное пьяное возбужденное состояніе. — Ты думаешь: я опустился, погрязъ, я жалокъ, а по-моему эта простая жизнь гораздо нормальнѣе твоей жизни, молодой человѣкъ. Ни въ комъ я не нуждаюсь и... и не намѣренъ унижаться... Терпѣть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядитъ на меня съ сожалѣніемъ

Послѣ чаю онъ чистилъ селедку и посыпалъ ее лукомъ съ такимъ чувствомъ, что даже на глазахъ у него выступили слезы умиленія. Онъ опять заговорилъ о тотализаторѣ, о выигрышахъ, о какой-то шляпѣ изъ панамской соломы, за которую онъ вчера заплатилъ 16 рублей. Лгалъ онъ съ такимъ же аппетитомъ, съ какимъ ѣлъ селедку и пилъ. Сынъ молча высидѣлъ часъ и сталъ прощаться.

— Не смѣю удерживать!—сказалъ надменно старикъ.— Извините, молодой человѣкъ, что я живу не такъ, какъ вамъ хочется!

Онъ хорохорился, съ достоинствомъ фыркалъ и подмигивалъ бабамъ.

— Прощайте-съ, молодой человѣкъ!—говорилъ онъ, провожая сына до сѣней.—Атанде!

Въ сѣняхъ же, гдѣ было темно, онъ вдругъ прижался лицомъ къ рукаву сына и всхлипнулъ.

— Поглядѣть бы мнѣ Сонюшку! — зашепталъ онъ. — Устрой, Боренька, ангелъ мой! Я побреюсь, надѣну твой костюмчикъ... строгое лицо сдѣлаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать!

Онъ робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса бабъ, задержалъ рыданіе и сказалъ громко:

— Прощайте, молодой человѣкъ! Атанде!

ЖЕНА.

I.

Я получилъ такое письмо:

«Милостивый Государь, Павелъ Андреевичъ! Недалеко отъ васъ, а именно въ деревнѣ Пестровѣ, происходятъ прискорбные факты, о которыхъ считаю долгомъ сообщить. Всѣ крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество и переселились въ Томскую губернію, но не доѣхали и возвратились назадъ. Здѣсь, понятно, у нихъ ничего уже нѣтъ, все теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи въ одной избѣ, такъ что населеніе каждой избы не менѣе 15 человѣкъ обоего пола, не считая малыхъ дѣтей, и въ концѣ концовъ ѣсть нечего, голодъ, поголовная эпидемія голоднаго или сыпного тифа; всѣ буквально больны. Фельдшерица говоритъ: придешь въ избу и что видишь? Всѣ больны, всѣ бредятъ, кто хохочетъ, кто на стѣну лѣзетъ; въ избахъ смрадъ, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служитъ одинъ мерзлый картофель. Фельдшерица и Соболь (нашъ земскій врачъ) что могутъ сдѣлать, когда имъ прежде лѣкарства надо хлѣба, котораго они не имѣютъ? Управа земская отказывается тѣмъ, что они уже выписаны изъ этого земства и числятся въ Томской губерніи, да и денегъ нѣтъ. Сообщая объ этомъ вамъ и зная вашу гуманность, прошу, не откажите въ скорѣйшей помощи. Вашъ доброжелатель».

Очевидно, писала сама фельдшерица или этотъ докторъ, имѣющій звѣриную фамилію. Земскіе врачи и фельдшерицы въ продолженіе многихъ лѣтъ изо дня въ день убѣждаются, что они *ничего* не могутъ сдѣлать, и все-таки получаютъ жалованье съ людей, которые питаются однимъ мерзлымъ картофелемъ, и все-таки почему-то считаютъ себя въ правѣ судить, гуманенъ я, или нѣтъ.

Обезпокоенный анонимнымъ письмомъ и тѣмъ, что каждое

утро какіе-то мужики приходили въ людскую кухню и становились тамъ на колѣни, и тѣмъ, что ночью изъ амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломавъ предварительно стѣну, и общимъ тяжелымъ настроеніемъ, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой—обезпокоенный всѣмъ этимъ, я работалъ вяло и неуспѣшно. Я писалъ «Исторію желѣзныхъ дорогъ»; нужно было прочесть множество русскихъ и иностранныхъ книгъ, брошюръ, журнальныхъ статей, нужно было щелкать на счетахъ, перелистывать логариѳмы, думать и писать, потомъ опять читать, щелкать и думать; но едва я брался за книгу или начиналъ думать, какъ мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохомъ вставалъ изъ-за стола и начиналъ ходить по большимъ комнатамъ своего пустыннаго деревенскаго дома. Когда надоѣдало ходить, я останавливался въ кабинетѣ у окна и, глядя черезъ свой широкій дворъ, черезъ прудъ и голый молодой березнякъ, и черезъ большое поле, покрытое недавно выпавшимъ, тающимъ снѣгомъ, я видѣлъ на горизонтѣ, на холмѣ кучу бурыхъ избъ, отъ которыхъ по бѣлому полю спускалась внизъ неправильной полосой черная, грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о которомъ писалъ мнѣ анонимный авторъ. Если бы не вороны, которыя, предвѣщая дождь или снѣжную погоду, съ крикомъ носились надъ прудомъ и полемъ, и если бы не стукъ въ плотницкомъ сараѣ, то этотъ мірокъ, о которомъ теперь такъ много шумятъ, казался бы похожимъ на Мертвое озеро,—такъ все здѣсь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мѣшало мнѣ безпокойство; я не зналъ, что это такое, и хотѣлъ думать, что это разочарованіе. Въ самомъ дѣлѣ, оставилъ я службу по министерству путей сообщенія и пріѣхалъ сюда въ деревню, чтобы жить въ покоѣ и заниматься литературой по общественнымъ вопросамъ. Это была моя давнишняя, завѣтная мечта. А теперь нужно было проститься и съ покоемъ, и съ литературой, оставить все и заняться одними только мужиками. И это было неизбѣжно, потому что кромѣ меня, какъ я былъ убѣжденъ, въ этомъ уѣздѣ положительно некому было помочь голодающимъ. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, въ громадномъ большинствѣ нечестные, или же честные, но взбалмошные и не-

серьезные, какъ, напримѣръ, моя жена. Положиться на такихъ людей было нельзя, оставить мужиковъ на произволъ судьбы было тоже нельзя, значитъ, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведеніемъ мужиковъ въ порядокъ.

Началъ я съ того, что рѣшилъ пожертвовать въ пользу голодающихъ пять тысячъ рублей серебромъ. И это не уменьшило, а только усилило мое безпокойство. Когда я стоялъ у окна или ходилъ по комнатамъ, меня мучилъ вопросъ, котораго раньше не было: какъ распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлѣба, пойти по избамъ и раздавать — это не подъ силу одному человѣку, не говоря уже о томъ, что второпяхъ рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чѣмъ голодному. Администраціи я не вѣрилъ. Всѣ эти земскіе начальники и податные инспектора были люди молодые, и къ нимъ относился я недовѣрчиво, какъ ко всей современной молодежи, матеріалистической и не имѣющей идеаловъ. Земская управа, волостныя правленія и всѣ вообще уѣздныя канцеляріи тоже не внушали мнѣ ни малѣйшаго желанія обратиться къ ихъ помощи. Я зналъ, что эти учрежденія, присосавшіяся къ земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготовѣ, чтобы присосаться къ какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мнѣ приходило на мысль пригласить къ себѣ сосѣдей-помѣщиковъ и предложить имъ организовать у меня въ домѣ что-нибудь въ родѣ комитета или центра, куда бы стекались всѣ пожертвованія и откуда по всему уѣзду давались бы пособія и распоряженія; такая организація, допускавшая частыя совѣщанія и широкій свободный контроль, вполнѣ отвѣчала моимъ взглядамъ; но я воображалъ закуски, обѣды, ужины и тотъ шумъ, праздность, говорливость и дурной тонъ, какіе неминуемо внесла бы въ мой домъ эта пестрая уѣздная компанія, и спѣшилъ отказаться отъ своей мысли.

Что касается моихъ домашнихъ, то ждать отъ нихъ помощи или поддержки я могъ меньше всего. Отъ моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцѣлѣла одна только гувернантка m-lle Marie, или, какъ ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лѣтъ семидесяти,

одѣтая въ свѣтло-сѣрое платье и чепецъ съ бѣлыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидѣла въ гостиной и читала книгу. Когда я проходилъ мимо нея, она, зная причину моего раздумья, всякій разъ говорила:

— Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это такъ будетъ. Вы по нашей прислугѣ можете судить.

Моя вторая семья, то-есть жена Наталья Гавриловна, жила въ нижнемъ этажѣ, въ которомъ занимала всѣ комнаты. Обѣдала, спала и гостей своихъ принимала она у себя внизу, совсѣмъ не интересуясь тѣмъ, какъ обѣдаю, какъ сплю и кого принимаю я. Отношенія наши были просты и не натянуты, но холодны, безсодержательны и скучны, какъ у людей, которые давно уже далеки другъ другу, такъ что даже ихъ жизнь въ смежныхъ этажахъ не походила на близость. Любви страстной, безпокойной, то сладкой, то горькой, какъ полынь, какую прежде возбуждала во мнѣ Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежнихъ вспышекъ, громкихъ разговоровъ, попрековъ, жалобъ и тѣхъ взрывовъ ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены поѣздкой за границу или къ роднымъ, а съ моей стороны—посылкой денегъ понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбіе жены. (Моя гордая, самолюбивая жена и ея родня живутъ на мой счетъ, и жена при всемъ своемъ желаніи не можетъ отказаться отъ моихъ денегъ—это доставляло мнѣ удовольствіе и было единственнымъ утѣшеніемъ въ моемъ горѣ). Теперь, когда мы случайно встрѣчались внизу въ коридорѣ или на дворѣ, я кланялся, она привѣтливо улыбалась; говорили мы о погодѣ, о томъ, что, кажется, пора уже вставлять двойныя рамы и что кто-то со звонками по плотинѣ проѣхалъ, и въ это время я читалъ на ея лицѣ: «Я вѣрна вамъ и не порочу вашего честнаго имени, которое вы такъ любите, вы умны и не безпокоите меня—мы квиты».

Я увѣрялъ себя, что любовь давно уже погасла во мнѣ и что работа слишкомъ глубоко захватила меня, чтобы я могъ серьезно думать о своихъ отношеніяхъ къ женѣ. Но, увы!—я только думалъ такъ. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался къ ея голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на роялѣ, я вставалъ и слушалъ. Когда ей подавали экипажъ или верховую лошадь, я подходилъ къ окну и ждалъ.

когда она выйдетъ изъ дому, потомъ смотрѣлъ, какъ она садилась въ коляску или на лошадь и какъ выѣзжала со двора. Я чувствовалъ, что у меня въ душѣ происходитъ что-то неладное, и боялся, что выраженіе моего взгляда и лица можетъ выдать меня. Я провожалъ жену глазами и потомъ ожидалъ ея возвращенія, чтобы опять увидѣть въ окно ея лицо, плечи, шубку, шляпку; мнѣ было скучно, грустно, безконечно жаль чего-то, и хотѣлось въ ея отсутствіе пройтись по ея комнатамъ, и хотѣлось, чтобы вопросъ, который я и жена не сумѣли рѣшить, потому что не сошлись характерами, поскорѣе бы рѣшился самъ собою, естественнымъ порядкомъ, т. е. поскорѣе бы эта красивая 27-лѣтняя женщина состарилась и поскорѣе бы моя голова стала сѣдой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчикъ Владиміръ Прохорычъ доложилъ мнѣ, что пестровскіе мужики стали уже сдирать соломенныя крыши, чтобы кормить скотъ, Марья Герасимовна смотрѣла на меня со страхомъ и недоумѣніемъ.

— Что же я могу сдѣлать? — сказалъ я ей.—Одинъ въ полѣ не воинъ, а я еще никогда не испытывалъ такого одиночества, какъ теперь. Я бы дорого далъ, чтобы найти во всемъ уѣздѣ хоть одного человѣка, на котораго я могъ бы положиться.

— А вы пригласите Ивана Иваныча, — сказала Марья Герасимовна.

— Въ самомъ дѣлѣ!—вспомнилъ я и обрадовался.—Это идея! C'est raison,—запѣлъ я, идя къ себѣ въ кабинетъ, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу.—C'est raison, c'est raison...

II.

Изъ всей массы знакомыхъ, которые когда-то, лѣтъ 25—30 назадъ, пили въ этомъ домѣ, ѣли, пріѣзжали ряжеными, влюблялись, женились, надоѣдали разговорами о своихъ великолѣпныхъ сворахъ и лошадяхъ, остался въ живыхъ одинъ только Иванъ Иванычъ Брагинъ. Когда-то онъ былъ очень дѣятеленъ, болтливъ, крикливъ и влюбчивъ, и славился своимъ крайнимъ направленіемъ и какимъ-то особеннымъ выраженіемъ лица, которое очаровывало не только женщинъ, но и мужчинъ; теперь же онъ совсѣмъ постарѣлъ, заплылъ жиромъ и доживалъ свой вѣкъ безъ направленія и выраженія. Пріѣхалъ онъ на другой день по полученіи отъ меня письма, вечеромъ, когда въ столо-

вой только-что подали самоваръ, и маленькая Марья Герасимовна рѣзала лимонъ.

— Очень радъ васъ видѣть, мой другъ,—сказалъ я весело, встрѣчая его.—А вы все полнѣете!

— Это я не полнѣю, а распухъ,—отвѣтилъ онъ.—Меня пчелы покусали.

Съ фамильярностью человѣка, который самъ смѣется надъ своею толщиною, онъ взялъ меня обѣими руками за талію и положилъ мнѣ на грудь свою мягкую большую голову съ волосами, зачесанными на лобъ по-хохлацки, и залился тонкимъ, старческимъ смѣхомъ.

— А вы все молодѣете!—выговорилъ онъ сквозь смѣхъ.—Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мнѣ бы дали.—Онъ, сопя и задыхаясь, обнялъ меня и поцѣловалъ въ щеку.—Мнѣ бы дали...—повторилъ онъ.—Да вамъ, родной мой, есть сорокъ?

— Ого, уже сорокъ-шесть!—засмѣялся я.

Отъ Ивана Иваныча пахло свѣчнымъ саломъ и кухоннымъ дымомъ, и это шло къ нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тѣло было стянуто въ длинный сюртукъ, похожій на кучерской кафтанъ, съ крючками и съ петлями вмѣсто пуговицъ и съ высокою таліей, и было бы странно, если бы отъ него пахло, напримѣръ, одеколономъ. Въ двойномъ, давно не бритомъ, сизомъ, напоминавшемъ репейникъ, подбородкѣ, въ выпученныхъ глазахъ, въ одышкѣ и во всей неуклюжей, неряшливой фигурѣ, голосѣ, смѣхѣ и въ рѣчахъ трудно было узнать того стройнаго, интереснаго краснобая, къ которому когда-то уѣздные мужья ревновали своихъ женъ.

— Вы мнѣ очень нужны, мой другъ,—сказалъ я, когда мы уже сидѣли въ столовой и пили чай. — Хочется мнѣ организовать какую-нибудь помощь для голодающихъ, и я не знаю, какъ за это приняться. Такъ вотъ, быть-можетъ, вы будете любезны, посовѣтуете что-нибудь.

— Да, да, да... — сказалъ Иванъ Иванычъ, вздыхая.— Такъ, такъ, такъ...

— Я бы васъ не безпокоилъ, но, право, кромѣ васъ, милѣйшій, тутъ положительно не къ кому обратиться. Вы знаете, какіе тутъ люди.

— Такъ, такъ, такъ... Да...

Я подумалъ: предстояло совѣщаніе серьезное и дѣловое,

въ которомъ могъ принимать участіе всякій, независимо отъ мѣста и личныхъ отношеній, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

— Tres faciunt collegium!—сказалъ я весело.—Что, если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? Какъ вы думаете? Оеня,—обратился я къ горничной:—попросите Наталью Гавриловну пожаловать къ намъ наверхъ, если можно, сію минуту. Скажите: очень важное дѣло.

Немного погодя, пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстрѣчу и сказалъ:

— Простите, Natalie, что мы безпокоимъ васъ. Мы толкуемъ здѣсь объ одномъ очень важномъ дѣлѣ, и намъ пришла счастливая мысль воспользоваться вашимъ добрымъ совѣтомъ, въ которомъ вы намъ не откажете. Садитесь, прошу васъ.

Иванъ Иванычъ поцѣловалъ у Натальи Гавриловны руку, а она его въ голову, потомъ, когда всѣ сѣли за столъ, онъ, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся къ ней и опять поцѣловалъ руку. Одѣта она была въ черное и старательно причесана, и пахло отъ нея свѣжими духами: очевидно, собралась въ гости или ждала къ себѣ кого-нибудь. Входя въ столовую, она просто и дружески протянула мнѣ руку и улыбалась мнѣ такъ же привѣтливо, какъ и Ивану Иванычу—это понравилось мнѣ; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и рѣзко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и эта неровность въ рѣчахъ и движеніяхъ раздражала меня и напоминала мнѣ ея родину—Одессу, гдѣ общество мужчинъ и женщинъ когда-то утомляло меня своимъ дурнымъ тономъ.

— Я хочу сдѣлать что-нибудь для голодающихъ,—началъ я и, помолчавъ немного, продолжалъ: — Деньги, разумѣется, великое дѣло, но ограничиться однимъ только денежнымъ пожертвованіемъ и на этомъ успокоиться, значило бы откупиться отъ главнѣйшихъ заботъ. Помощь должна заключаться въ деньгахъ, но главнымъ образомъ въ правильной и серьезной организаціи. Давайте же подумаемъ, господа, и сдѣлаемъ что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрѣла на меня и пожала плечами, какъ бы желая сказать: «Что же я знаю?»

— Да, да, голодъ...—забормоталъ Иванъ Иванычъ.—Дѣйствительно... Да...

— Положеніе серьезное,—сказалъ я:—и помощь нужна

скорѣйшая. Полагаю, пунктомъ первымъ тѣхъ правилъ, которыя намъ предстоитъ выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомѣръ, быстрота и натискъ.

— Да, быстрота... — проговорилъ Иванъ Иванычъ сонно и вяло, какъ будто засыпая.—Только ничего не подѣлаешь. Земля не уродила, такъ что ужъ тутъ... никакимъ глазомѣромъ и натискомъ ея не проймешь... Стихія... Противъ Бога и судьбы не пойдешь...

— Да, но вѣдь человѣку дана голова, чтобы бороться со стихіями.

— А? Да... Это такъ, такъ... Да.

Иванъ Иванычъ чихнулъ въ платокъ, ожилъ и, какъ будто только-что проснулся, оглядѣлъ меня и жену.

— У меня тоже ничего не уродило, — засмѣялся онъ тонкимъ голосомъ и хитро подмигнулъ, какъ будто это въ самомъ дѣлѣ было очень смѣшно.—Денегъ нѣтъ, хлѣба нѣтъ, а работниковъ полонъ дворъ, какъ у графа Шереметьева. Хочу по шеямъ разогнать, да жалко какъ будто.

Наталья Гавриловна разсмѣялась и стала разспрашивать Ивана Иваныча объ его домашнихъ дѣлахъ. Ея присутствіе доставляло мнѣ удовольствіе, какого я уже давно не испытывалъ, и я боялся смотрѣть на нее, чтобы мой взглядъ какъ-нибудь не выдалъ моего скрытаго чувства. Наши отношенія были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданнымъ и смѣшнымъ. Жена говорила съ Иваномъ Иванычемъ и смѣялась, нисколько не смущаясь тѣмъ, что она у меня и что я не смѣюсь.

— Итакъ, господа, что же мы сдѣлаемъ?—спросилъ я, выждавъ паузу.—Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорѣе, объявимъ подписку. Мы, Natalie, напишемъ нашимъ столичнымъ и одесскимъ знакомымъ и привлечемъ ихъ къ пожертвованіямъ. Когда же у насъ соберется малая толика, мы займемся покупкой хлѣба и корма для скота, а вы, Иванъ Иванычъ, будете добры, займитесь распредѣленіемъ пособій. Во всемъ полагаясь на присущіе вамъ тактъ и распорядительность, мы съ своей стороны позволимъ себѣ только выразить желаніе, чтобы вы, прежде чѣмъ выдавать пособіе, подробно знакомились на мѣстѣ со всѣми обстоятельствами дѣла, а также, что очень важно, имѣли бы наблюденіе, чтобы хлѣбъ былъ выдаваемъ только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницамъ, не лѣнтяямъ и не кулакамъ.

— Да, да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ.—Такъ, такъ, такъ...

«Ну, съ этой слюнявою развалиной каши не сваришь»,—подумалъ я и почувствовалъ раздраженіе.

— Надоѣли мнѣ эти голодающіе, ну ихъ! И все обижаются и все обижаются,—продолжалъ Иванъ Иванычъ, обсасывая лимонную корку. — Голодные обижаются на сытыхъ. И тѣ, у кого есть хлѣбъ, обижаются на голодныхъ. Да... Съ голоду человѣкъ шалѣетъ, дурѣетъ, становится дикій. Голодъ не картошка. Голодный и грубости говоритъ, и воруетъ, и, можетъ, еще что похуже... Понимать надо.

Иванъ Иванычъ поперхнулся чаемъ, закашлялся и весь затрясся отъ скрипучаго удушливаго смѣха.

— Было дѣло подъ По... Полтавой! — выговорилъ онъ, отмахиваясь обѣими руками отъ смѣха и кашля, которые мѣшали ему говорить. — Было дѣло подъ Полтавой! Когда года черезъ три послѣ воли былъ тутъ въ двухъ уѣздахъ голодъ, пріѣзжаетъ ко мнѣ покойничекъ Ѳедоръ Ѳедорычъ и зоветъ къ себѣ. Поѣдемъ да поѣдемъ,—присталъ, какъ съ ножомъ къ горлу. Отчего жъ? Поѣдемъ, говорю. Ну, взяли и поѣхали. Дѣло было къ вечеру, снѣжокъ шелъ. Подъѣзжаемъ уже ночью къ его усадьбѣ и вдругъ изъ лѣсу—бацъ! и въ другой разъ: бацъ! Ахъ ты, шутъ тебя... Выскочилъ я изъ саней, гляжу—въ потемкахъ на меня человѣкъ бѣжитъ и по колѣна въ снѣгу грузнетъ; я его обхватилъ рукой за плечи, вотъ этакъ, и выбилъ изъ рукъ ружьишко, потомъ другой подвернулся, я его по затылку урѣзалъ, такъ что онъ крякнулъ и въ снѣгъ носомъ чкнулся, — здоровый я тогда былъ, рука тяжелая; я съ двумя управился, гляжу, а Ѳедя уже на третьемъ верхомъ сидитъ. Задержали мы трехъ молодчиковъ, ну, скрутили имъ назадъ руки, чтобъ какого зла намъ и себѣ не сдѣлали, и привели дураковъ въ кухню. И зло на нихъ беретъ, и глядѣть стыдно: мужики-то знакомые и народъ хорошій, жалко. Совсѣмъ одурѣли съ перепугу. Одинъ плачетъ и прощенія проситъ, другой звѣремъ глядитъ и ругается, третій сталъ на колѣни и Богу молится. Я и говорю Ѳедѣ: не обижайся, отпусти ты ихъ, подлецовъ! Онъ накормилъ ихъ, далъ по пуду муки и отпустилъ: ступайте къ шуту! Такъ вотъ какъ... Царство небесное, вѣчный покой! Понималъ и не обижался, а были, которые обижались, и сколько

народу перепортили! Да... Изъ-за одного клочковскаго кабака одиннадцать человѣкъ въ арестантскія роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... Въ четвергъ у меня ночевалъ слѣдователь Анисьинъ, такъ вотъ онъ разсказывалъ про какого-то помѣщика... Да... Ночью у помѣщика разобрали стѣну въ амбарѣ и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утромъ помѣщикъ узналъ, что у него такой криминалъ случился, то сейчасъ бухъ губернатору телеграмму, потомъ другую бухъ прокурору, третью исправнику, четвертую слѣдователю... Извѣстно, кляузниковъ боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасія. Двѣ деревни обыскали.

— Позвольте, Иванъ Иванычъ,—сказалъ я.—Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфировалъ губернатору. Я и въ Петербургъ телеграфировалъ. Но это вовсе не изъ любви къ кляузничеству, какъ вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дѣло я прежде всего смотрю съ принципіальной стороны. Крадетъ ли сытый или голодный—для закона безразлично.

— Да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ, смутившись.—Конечно... Такъ, да...

Наталья Гавриловна покраснѣла.

— Есть люди...—сказала она и остановилась; она сдѣлала надъ собой усиліе, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрѣла мнѣ въ глаза съ ненавистью, которая мнѣ была такъ знакома. — Есть люди, — сказала она:—для которыхъ голодъ и человѣческое горе существуютъ только для того, чтобы можно было срывать на нихъ свой дурной, ничтожный характеръ.

Я смутился и пожалъ плечами.

— Я хочу сказать вообще,—продолжала она:—есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякаго чувства состраданія, но которые не проходятъ мимо человѣческаго горя и вмѣшиваются изъ страха, что безъ нихъ могутъ обойтись. Для ихъ тщеславія нѣтъ ничего святого.

— Есть люди,—сказалъ я мягко:—которые обладаютъ ангельскимъ характеромъ, но выражаютъ свои великолѣпныя мысли въ такой формѣ, что бываетъ трудно отличить ангела отъ особы, торгующей въ Одессѣ на базарѣ.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядѣла на меня такъ, какъ будто ей стоило

большихъ усилій, чтобы молчать. Ея внезапная вспышка и затѣмъ неумѣстное краснорѣчіе по поводу моего желанія помочь голодающимъ были по меньшей мѣрѣ неумѣстны; когда я приглашалъ ее наверхъ, я ожидалъ совсѣмъ иного отношенія къ себѣ и къ своимъ намѣреніямъ. Не могу сказать опредѣленно, чего я ожидалъ, но ожиданіе пріятно волновало меня. Теперь же я видѣлъ, что продолжать говорить о голодающихъ было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

— Да... — забормоталъ Иванъ Иванычъ некстати. — У купца Бурова тысячъ четыреста есть, а, можетъ, и больше. Я ему и говорю: «Отвали-ка, тезка, голодающимъ тысячъ сто или двѣсти. Все равно помирать будешь, на тотъ свѣтъ съ собой не возьмешь». Обидѣлся. А помирать-то вѣдь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчаніе.

— Итакъ, значитъ, остается одно: мириться съ одиночествомъ, — вздохнулъ я. — Одинъ въ полѣ не воинъ. Ну, что жъ! Попробую и одинъ воевать. Авось, война съ голодомъ будетъ болѣе успѣшна, чѣмъ война съ равнодушіемъ.

— Меня внизу ждутъ,—сказала Наталья Гавриловна.— Она встала изъ-за стола и обратилась къ Ивану Иванычу:— Такъ вы придете ко мнѣ внизъ на минуточку? Я не прощаюсь съ вами.

И ушла.

Иванъ Иванычъ пилъ уже седьмой стаканъ, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Онъ сонно и вяло бормоталъ о чемъ-то, а я не слушалъ и ждалъ, когда онъ уйдетъ. Наконецъ, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто онъ пріѣхалъ ко мнѣ только за тѣмъ, чтобы напиться чаю, онъ поднялся и сталъ прощаться. Провожая его, я сказалъ:

— Итакъ, вы не дали мнѣ никакого совѣта.

— А? Я человѣкъ сырой, отупѣлъ, — отвѣтилъ онъ. — Какіе мои совѣты? И вы напрасно безпокоитесь... Не знаю, право, отчего вы безпокоитесь? Не безпокойтесь, голубчикъ! Ей-Богу ничего нѣтъ...—зашепталъ онъ ласково и искренно, успокаивая меня, какъ ребенка.—Ей-Богу ничего!..

— Какъ же ничего? Мужики сдираютъ съ избъ крыши и уже, говорятъ, гдѣ-то тифъ.

— Ну, такъ что же? Въ будущемъ году уродитъ, будутъ новыя крыши, а если помремъ отъ тифа, то послѣ насъ

другіе люди жить будутъ. И все равно помирать надо, не теперь, такъ послѣ. Не безпокойтесь, красавецъ!

— Я не могу не безпокоиться,—сказалъ я раздраженно.

Мы стояли въ слабо освѣщенной передней. Иванъ Иванычъ вдругъ взялъ меня за локоть и, собираясь сказать что-то, повидимому, очень важное, съ полминуты молча смотрѣлъ на меня.

— Павелъ Андреичъ!—сказалъ онъ тихо, и на его жирномъ застывшемъ лицѣ и въ темныхъ глазахъ вдругъ вспыхнуло то особенное выраженіе, которымъ онъ когда-то славился, въ самомъ дѣлѣ очаровательное. — Павелъ Андреичъ, скажу я вамъ по-дружески: перемѣните вашъ характеръ! Тяжело съ вами! Голубчикъ, тяжело!

Онъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ лицо; прекрасное выраженіе потухло, взглядъ потускнѣлъ, и онъ забормоталъ вяло и сопя.

— Да, да... Извините старика... Чепухенція... Да...

Тяжело спускаясь внизъ по лѣстницѣ, растопыривъ руки для равновѣсія и показывая мнѣ свою жирную громадную спину и красный затылокъ, онъ давалъ непріятное впечатлѣніе какого-то краба.

— Ѣхали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство,—бормоталъ онъ. — Въ Петербургъ или за границу... Зачѣмъ вамъ тутъ жить и золотое время терять? Человѣкъ вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эхъ, будь я помоложе, улепетнулъ бы, какъ заяцъ, и только бы въ ушахъ засвистѣло!

III.

Вспышка жены напомнила мнѣ нашу супружескую жизнь. Прежде, обыкновенно, послѣ всякой вспышки насъ непреодолимо тянуло другъ къ другу, мы сходились и пускали въ ходъ весь динамитъ, какой съ теченіемъ времени скоплялся въ нашихъ душахъ. И теперь послѣ ухода Ивана Иваныча, меня сильно потянуло къ женѣ. Мнѣ хотѣлось сойти внизъ и сказать ей, что ея поведеніе за чаемъ оскорбило меня, что она жестока, мелочна, и со своимъ мѣщанскимъ умомъ никогда не возвышалась до пониманія того, что *я* говорю и что *я* дѣлаю. Я долго ходилъ по комнатамъ, придумывая, что̀ скажу ей, и угадывая то, что она мнѣ отвѣтитъ.

То безпокойство, которое томило меня въ послѣднее время,

въ этотъ вечеръ, когда ушелъ Иванъ Иванычъ, я чувствовалъ въ какой-то особенной раздражающей формѣ. Я не могъ ни сидѣть, ни стоять, а ходилъ и ходилъ, причемъ выбиралъ только освѣщенныя комнаты и держался ближе той, въ которой сидѣла Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывалъ однажды на Нѣмецкомъ морѣ во время бури, когда всѣ боялись, что пароходъ, не имѣвшій груза и балласта, опрокинется. И въ этотъ вечеръ я понялъ, что мое безпокойство было не разочарованіе, какъ я думалъ раньше, а что-то другое, но что именно, я не понималъ, и это меня еще больше раздражало.

«Пойду къ ней,—рѣшилъ я.—А предлогъ можно выдумать. Скажу, что мнѣ понадобился Иванъ Иванычъ, вотъ и все».

Я спустился внизъ и по коврамъ, не торопясь, прошелъ переднюю и залу. Иванъ Иванычъ сидѣлъ въ гостиной на диванѣ, опять пилъ чай и бормоталъ. Жена стояла противъ него, держась за спинку кресла. На лицѣ у нея было то тихое, сладкое и послушное выраженіе, съ какимъ слушаютъ юродивыхъ и блаженненькихъ, когда въ ничтожныхъ словахъ и въ бормотаньѣ предполагаютъ особое, скрытое значеніе. Въ выраженіи и позѣ жены, показалось мнѣ, было что-то психопатическое или монашеское, и ея комнаты со старинною мебелью, со спящими птицами въ клѣткахъ и съ запахомъ герани, невысокія, полутемныя, очень теплыя, напоминали мнѣ покои игуменьи или какой-нибудь богомольной старухи-генеральши.

Я вошелъ въ гостиную. Жена не выразила ни удивленія, ни смущенія и посмотрѣла на меня сурово и спокойно, какъ будто знала, что я приду.

— Виноватъ,—сказалъ я мягко.—Очень радъ, Иванъ Иванычъ, что вы еще не уѣхали. Забылъ я у васъ наверху спросить: не знаете ли, какъ имя и отчество предсѣдателя нашей земской управы?

— Андрей Станиславовичъ. Да...

— Merci,—сказалъ я, досталъ изъ кармана книжку и записалъ.

Наступило молчаніе, въ продолженіе котораго жена и Иванъ Иванычъ, вѣроятно, ждали, когда я уйду; жена не вѣрила, что мнѣ нуженъ предсѣдатель земской управы—это я видѣлъ по ея глазамъ.

— Такъ я поѣду, красавица,—забормоталъ Иванъ Ива

нычъ, когда я прошелся по гостиной разъ-другой и потомъ сѣлъ около камина.

— Нѣтъ, — быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки.—Еще четверть часа... Прошу васъ.

Очевидно, ей не хотѣлось оставаться со мной съ глазу на глазъ, безъ свидѣтелей.

«Что жъ, я и подожду четверть часа»,—подумалъ я.

— А, идетъ снѣгъ! — сказалъ я, вставая и глядя въ окно. — Превосходный снѣгъ! Иванъ Иванычъ, — продолжалъ я, прохаживаясь по гостиной: — я очень жалѣю, что я не охотникъ. Воображаю, какое удовольствіе по такому снѣгу гоняться за зайцами и волками!

Жена, стоя на одномъ мѣстѣ и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, слѣдила за моими движеніями; у нея было такое выраженіе, какъ будто я пряталъ въ карманѣ острый ножъ и револьверъ.

— Иванъ Иванычъ, возьмите меня какъ-нибудь на охоту, — продолжалъ я мягко.—Я буду вамъ очень, очень благодаренъ.

Въ это время въ гостиную вошелъ гость. Это былъ незнакомый мнѣ господинъ, лѣтъ сорока, высокій, плотный, плѣшивый, съ большою русою бородой и съ маленькими глазами. По помятому, мѣшковатому платью и по манерамъ я принялъ его за дьячка или учителя, но жена отрекомендовала мнѣ его докторомъ Соболемъ.

— Очень, очень радъ познакомиться!—сказалъ докторъ громко, теноромъ, крѣпко пожимая мнѣ руку и наивно улыбаясь.—Очень радъ.

Онъ сѣлъ за столъ, взялъ стаканъ чаю и сказалъ громко:

— А нѣтъ ли у васъ случаемъ рому или коньячку? Будьте милостивы, Оля,—обратился онъ къ горничной:—поищите въ шкапчикѣ, а то я озябъ.

Я опять сѣлъ у камина, глядѣлъ, слушалъ и изрѣдка вставлялъ въ общій разговоръ какое-нибудь слово. Жена привѣтливо улыбалась гостямъ и зорко слѣдила за мною, какъ за звѣремъ; она тяготилась моимъ присутствіемъ, а это возбуждало во мнѣ ревность, досаду и упрямое желаніе причинить ей боль. Жена, думалъ я, эти уютныя комнаты, мѣстечко около камина—мои, давно мои, но почему-то какой-нибудь выжившій изъ ума Иванъ Иванычъ или Соболь имѣютъ на нихъ больше правъ, чѣмъ я. Теперь я

вижу жену не въ окно, а вблизи себя, въ обычной домашней обстановкѣ, въ той самой, которой недостаетъ мнѣ теперь въ мои пожилые годы, и несмотря на ея ненависть ко мнѣ, я скучаю по ней, какъ когда-то въ дѣтствѣ скучалъ по матери и нянѣ, и чувствую, что теперь подъ старость, я люблю ее чище и выше, чѣмъ любилъ прежде,—и поэтому мнѣ хочется подойти къ ней, покрѣпче наступить ей каблукомъ на носокъ, причинить боль и при этомъ улыбнуться.

— Мосье Енотъ, — обратился я къ доктору: — сколько у насъ въ уѣздѣ больницъ?

— Соболь...—поправила жена.

— Двѣ-съ,—отвѣтилъ Соболь.

— А сколько покойниковъ приходится ежегодно на долю каждой больницы?

— Павелъ Андреичъ, мнѣ нужно поговорить съ вами,— сказала мнѣ жена.

Она извинилась предъ гостями и вышла въ сосѣднюю комнату. Я всталъ и пошелъ за ней.

— Вы сію же минуту уйдете къ себѣ наверхъ, — сказала она.

— Вы дурно воспитаны,—сказалъ я.

— Вы сію же минуту уйдете къ себѣ наверхъ, — рѣзко повторила она и съ ненавистью посмотрѣла мнѣ въ лицо.

Она стояла такъ близко, что если бы я немножко нагнулся, то моя борода коснулась бы ея лица.

— Но что такое?—сказалъ я.—Въ чемъ я такъ вдругъ провинился?

Подбородокъ ея задрожалъ, она торопясь вытерла глаза, мелькомъ взглянула на себя въ зеркало и прошептала:

— Начинается опять старая исторія. Вы, конечно, не уйдете. Ну, какъ хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.

Она съ рѣшительнымъ лицомъ, а я пожимая плечами и стараясь насмѣшливо улыбаться, вернулись въ гостиную. Здѣсь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человѣкъ въ очкахъ. Не здороваясь съ новыми и не прощаясь со старыми, я пошелъ къ себѣ.

Послѣ того, что произошло у меня за чаемъ и потомъ внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», о которомъ мы стали уже забывать въ эти послѣдніе два года, въ силу какихъ-то ничтожныхъ, безсмысленныхъ причинъ возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли

уже остановиться, и что завтра или послѣзавтра вслѣдъ за взрывомъ ненависти, какъ я могъ судить по опыту прошлыхъ лѣтъ, должно будетъ произойти что-нибудь отвратительное, что перевернетъ весь порядокъ нашей жизни. Значитъ, въ эти два года, думалъ я, начиная ходить по своимъ комнатамъ, мы не стали умнѣе, холоднѣе и покойнѣе. Значитъ, опять пойдутъ слезы, крики, проклятія, чемоданы, заграница, потомъ постоянный болѣзненный страхъ, что она тамъ, за границей, съ какимъ-нибудь франтомъ, италіанцемъ или русскимъ, надругается надо мной, опять отказъ въ паспортѣ, письма, круглое одиночество, скука по ней, а черезъ пять лѣтъ старость, сѣдые волосы... Я ходилъ и воображалъ то, чего не можетъ быть, какъ она, красивая, пополнѣвшая, обнимается съ мужчиною, котораго я не знаю... Уже увѣренный, что это непремѣнно произойдетъ, отчего,—спрашивалъ я себя въ отчаяніи,—отчего въ одну изъ прошлыхъ давнишнихъ ссоръ я не далъ ей развода, или отчего она въ ту пору не ушла отъ меня совсѣмъ, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживалъ бы свой вѣкъ покойно, работая, ни о чемъ не думая...

Во дворъ въѣхала карета съ двумя фонарями, потомъ широкія сани тройкой. У жены, очевидно, былъ вечеръ.

До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышалъ, но въ полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значитъ ужинъ. Потомъ опять задвигали стульями, и мнѣ изъ-подъ пола послышался шумъ; кричали, кажется, ура. Марья Герасимовна уже спала, и во всемъ верхнемъ этажѣ былъ только я одинъ; въ гостиной глядѣли на меня со стѣнъ портреты моихъ предковъ, людей ничтожныхъ и жестокихъ, а въ кабинетѣ непріятно подмигивало отраженіе моей лампы въ окнѣ. И съ завистливымъ, ревнивымъ чувствомъ къ тому, что происходило внизу, я прислушивался и думалъ: «Хозяинъ тутъ *я*; если захочу, то въ одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанію». Но я зналъ, что это вздоръ, никого разогнать нельзя и слово «хозяинъ» ничего не значитъ. Можно сколько угодно считать себя хозяиномъ, женатымъ, богатымъ, камеръ-юнкеромъ, и въ то же время не знать, что это значитъ.

Послѣ ужина кто-то внизу запѣлъ теноромъ.

«Вѣдь ничего же не случилось особеннаго!—убѣждалъ я

себя.—Что же я такъ волнуюсь? Завтра не пойду къ ней внизъ, вотъ и все—и конецъ нашей ссорѣ».

Въ четверть второго я пошелъ спать.

— Внизу уже разъѣхались гости? — спросилъ я у Алексѣя, который раздѣвалъ меня.

— Точно такъ, разъѣхались.

— А зачѣмъ кричали ура?

— Алексѣй Дмитричъ Махоновъ пожертвовали на голодающихъ тысячу пудовъ муки и тысячу рублей денегъ. И старая барыня, не знаю какъ ихъ звать, обѣщали устроить у себя въ имѣніи столовую на полтораста человѣкъ. Слава Богу-съ... Отъ Натальи Гавриловны вышло такое рѣшеніе: всѣмъ господамъ собираться каждую пятницу.

— Собираться здѣсь внизу?

— Точно такъ. Передъ ужиномъ бумагу читали: съ августа по сей день Наталья Гавриловна собрали тысячъ восемь деньгами, кромѣ хлѣба. Слава Богу-съ... Я такъ понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочутъ за спасеніе души, то много соберутъ. Народъ тутъ есть богатый.

Отпустивъ Алексѣя, я потушилъ огонь и укрылся съ головой.

«Въ самомъ дѣлѣ, что я такъ безпокоюсь?—думалъ я.—Какая сила тянетъ меня къ голодающимъ, какъ бабочку на огонь? Вѣдь я же ихъ не знаю, не понимаю, никогда не видѣлъ и не люблю. Откуда же это безпокойство?»

Я вдругъ перекрестился подъ одѣяломъ.

«Но какова?—говорилъ я себѣ, думая о женѣ. — Тайно отъ меня въ этомъ домѣ цѣлый комитетъ. Почему тайно? Почему заговоръ? Что я имъ сдѣлалъ?»

Иванъ Иванычъ правъ:—мнѣ нужно уѣхать!

На другой день я проснулся съ твердымъ рѣшеніемъ—поскорѣе уѣхать. Подробности вчерашняго дня—разговоръ за чаемъ, жена, Соболь, ужинъ, мои страхи—томили меня, и я радъ былъ, что скоро избавлюсь отъ обстановки, которая напоминала мнѣ обо всемъ этомъ. Когда я пилъ кофе, управляющій Владиміръ Прохорычъ длинно докладывалъ мнѣ о разныхъ дѣлахъ. Самое пріятное онъ приберегъ къ концу.

— Воры, что рожь у насъ украли, нашлись,—доложилъ онъ, улыбаясь.—Вчера слѣдователь арестовалъ въ Пестровѣ трехъ мужиковъ.

— Убирайтесь вонъ!—крикнулъ я ему, страшно разсер-

дился, и ни съ того ни съ сего схватилъ корзину съ бисквитами и бросилъ ее на полъ.

IV.

Послѣ завтрака я потиралъ руки и думалъ: надо пойти къ женѣ и объявить ей о своемъ отъѣздѣ. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвѣчалъ я себѣ, но почему же и не объявить, тѣмъ болѣе, что это не доставитъ ей ничего, кромѣ удовольствія? Къ тому же уѣхать послѣ вчерашней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсѣмъ тактично: она можетъ подумать, что я испугался ея, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня изъ моего дома, будетъ тяготить ее. Не мѣшаетъ также объявить ей, что я жертвую пять тысячъ, и дать ей нѣсколько совѣтовъ насчетъ организаціи и предостеречь, что ея неопытность въ такомъ сложномъ, отвѣтственномъ дѣлѣ можетъ повести къ самымъ плачевнымъ результатамъ. Однимъ словомъ, меня тянуло къ женѣ и, когда я придумывалъ разные предлоги, чтобы пойти къ ней, во мнѣ уже сидѣла крѣпкая увѣренность, что я это непремѣнно сдѣлаю.

Когда я пошелъ къ ней, было свѣтло и еще не зажигали лампъ. Она сидѣла въ своей рабочей комнатѣ, проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись къ столу, что-то быстро писала. Увидѣвъ меня, она вздрогнула, вышла изъ-за стола и остановилась въ такой позѣ, какъ будто загораживала отъ меня свои бумаги.

— Виноватъ, я на одну минуту,—сказалъ я и, не знаю отчего, смутился. — Я узналъ случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающимъ.

— Да, организую. Но это мое дѣло,—отвѣтила она.

— Да, это ваше дѣло,—сказалъ я мягко.—Я радъ ему, потому что оно вполнѣ отвѣчаетъ моимъ намѣреніямъ. Я прошу позволенія участвовать въ немъ.

— Простите, я не могу вамъ этого позволить,—отвѣтила она и посмотрѣла въ сторону.

— Почему же, Natalie?—спросилъ я тихо.—Почему же? Я тоже сытъ и тоже хочу помочь голодающимъ.

— Я не знаю, при чемъ вы тутъ?—спросила она, презрительно усмѣхнувшись и пожавъ однимъ плечомъ.—Васъ никто не проситъ.

— И васъ никто не проситъ, однако же, вы въ *моемъ* домѣ устроили цѣлый комитетъ!—сказалъ я.

— Меня просятъ, а васъ, повѣрьте, никто и никогда не попроситъ. Идите, помогайте тамъ, гдѣ васъ не знаютъ.

— Бога ради, не говорите со мною такимъ тономъ.

Я старался быть кроткимъ и всѣми силами души умолялъ себя не терять хладнокровія. Въ первыя минуты мнѣ было хорошо около жены. На меня вѣяло чѣмъ-то мягкимъ, домовитымъ, молодымъ, женственнымъ, въ высшей степени изящнымъ, именно тѣмъ, чего такъ не хватало въ моемъ этажѣ и вообще въ моей жизни. На женѣ былъ капотъ изъ розовой фланели — это сильно молодило ее и придавало мягкость ея быстрымъ, иногда рѣзкимъ движеніямъ. Ея хорошіе темные волосы, одинъ видъ которыхъ когда-то возбуждалъ во мнѣ страсть, теперь оттого, что она долго сидѣла нагнувшись, выбились изъ прически и имѣли безпорядочный видъ, но отъ этого казались мнѣ еще пышнѣе и роскошнѣе. Впрочемъ, все это баиально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть-можетъ, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, съ которой я когда-то жилъ и съ которою жилъ бы до сего дня, если бы не ея несчастный характеръ; это былъ единственный на всемъ земномъ шарѣ человѣкъ, котораго я любилъ. Теперь передъ отъѣздомъ, когда я зналъ, что не буду видѣть ея даже въ окно, она, даже суровая и холодная, отвѣчающая мнѣ съ гордою, презрительною усмѣшкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себѣ, что уѣхать отъ нея мнѣ страшно и невозможно.

— Павелъ Андреичъ, — сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: — два года мы не мѣшали другъ другу и жили покойно. Зачѣмъ это вдругъ вамъ такъ понадобилось возвращаться къ прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унизить, — продолжала она, возвышая голосъ, и лицо ея покраснѣло, и глаза вспыхнули ненавистью: — но воздержитесь, не дѣлайте этого, Павелъ Андреичъ! Завтра я подамъ прошеніе, мнѣ дадутъ паспортъ, и я уйду, уйду, уйду! Уйду въ монастырь, во вдовій домъ, въ богадѣльню...

— Въ сумасшедшій домъ! — крикнулъ я, не выдержавъ.

— Даже въ сумасшедшій домъ! Лучше! лучше! — продолжала она кричать, блестя глазами. — Сегодня, когда я была въ Пестровѣ, я завидовала голоднымъ и больнымъ бабамъ, потому что онѣ не живутъ съ такимъ человѣкомъ, какъ вы. Онѣ честны и свободны, а я, по вашей милости, тунея-

дица, погибаю въ праздности, ѣмъ вашъ хлѣбъ, трачу ваши деньги и плачу вамъ своею свободой и какою-то вѣрностью, которая никому не нужна. За то, что вы не даете мнѣ паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, котораго у васъ нѣтъ.

Надо было молчать. Стиснувъ зубы, я быстро вышелъ въ гостиную, но тотчасъ же вернулся и сказалъ:

— Убѣдительно прошу, чтобы этихъ сборищъ, заговоровъ и конспиративныхъ квартиръ у меня въ домѣ больше не было! Въ свой домъ я пускаю только тѣхъ, съ кѣмъ я знакомъ, а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропіей, пусть ищетъ себѣ другое мѣсто. Я не позволю, чтобы въ моемъ домѣ по ночамъ кричали ура отъ радости, что могутъ эксплуатировать такую психопатку, какъ вы!

Жена, ломая руки и съ протяжнымъ стономъ, какъ будто у нея болѣли зубы, блѣдная, быстро прошлась изъ угла въ уголъ. Я махнулъ рукой и вышелъ въ гостиную. Меня душило бѣшенство, и въ то же время я дрожалъ отъ страха, что не выдержу и сдѣлаю или скажу что-нибудь такое, въ чемъ буду раскаиваться всю мою жизнь. И я крѣпко сжималъ себѣ руки, думая, что этимъ сдерживаю себя.

Выпивъ воды, немного успокоившись, я вернулся къ женѣ. Она стояла въ прежней позѣ, какъ бы загораживая отъ меня столъ съ бумагами. По ея холодному, блѣдному лицу медленно текли слезы. Я помолчалъ и сказалъ ей съ горечью, но уже безъ гнѣва:

— Какъ вы меня не понимаете! Какъ вы ко мнѣ несправедливы! Клянусь честью, я шелъ къ вамъ съ чистыми побужденіями, съ единственнымъ желаніемъ — сдѣлать добро!

— Павелъ Андреичъ, — сказала она, сложивъ на груди руки, и ея лицо приняло страдальческое, умоляющее выраженіе, съ какимъ испуганныя, плачущія дѣти просятъ, чтобы ихъ не наказывали. — Я отлично знаю, вы мнѣ откажете, но я все-таки прошу. Принудьте себя, сдѣлайте хоть разъ въ жизни доброе дѣло. Я прошу васъ, уѣзжайте отсюда! Это единственное, что вы можете сдѣлать для голодающихъ. Уѣзжайте, и я прощу вамъ все, все!

— Напрасно вы меня оскорбляете, Natalie, — вздохнулъ я, чувствуя вдругъ особенный приливъ смиренія. — Я уже рѣшилъ уѣхать, но я не уѣду, прежде чѣмъ не сдѣлаю чего-нибудь для голодающихъ. Это—мой долгъ.

— Ахъ! — сказала она тихо и нетерпѣливо поморщи-

лась.—Вы можете сдѣлать отличную желѣзную дорогу или мостъ, но для голодающихъ вы ничего не можете сдѣлать. Поймите вы!

— Да? Вы вчера попрекнули меня въ равнодушіи и въ томъ, что я лишенъ чувства состраданія. Какъ вы меня хорошо знаете!—усмѣхнулся я.—Вы вѣруете въ Бога, такъ вотъ вамъ Богъ свидѣтель, что я безпокоюсь день и ночь....

— Я вижу, что вы безпокоитесь, но голодъ и состраданіе тутъ ни при чемъ. Вы безпокоитесь оттого, что голодающіе обходятся безъ васъ, и что земство и вообще всѣ помогающіе не нуждаются въ вашемъ руководительствѣ.

Я помолчалъ, чтобы подавить въ себѣ раздраженіе и сказалъ:

— Я пришелъ, чтобы поговорить съ вами о дѣлѣ. Садитесь. Садитесь, прошу васъ.

Она не садилась.

— Садитесь, прошу васъ!—повторилъ я и указалъ ей на стулъ.

Она сѣла. Я тоже сѣлъ, подумалъ и сказалъ:

— Прошу васъ отнестись серьезно къ тому, что я говорю. Слушайте... Вы, побуждаемая любовью къ ближнему, взяли на себя организацію помощи голодающимъ. Противъ этого, конечно, я ничего не имѣю, вполнѣ вамъ сочувствую и готовъ оказывать вамъ всякое содѣйствіе, каковы бы отношенія наши ни были. Но при всемъ уваженіи моемъ къ вашему уму и сердцу... и сердцу,—повторилъ я:—я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и отвѣтственное дѣло, какъ организація помощи, находилась въ однѣхъ только вашихъ рукахъ. Вы женщина, вы неопытны, незнакомы съ жизнью, слишкомъ довѣрчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которыхъ совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названныхъ условіяхъ ваша дѣятельность неминуемо повлечетъ за собою два печальныхъ послѣдствія. Во-первыхъ, нашъ уѣздъ останется совершенно безъ помощи, и во-вторыхъ, за свои ошибки и за ошибки вашихъ помощниковъ вамъ придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своею репутаціей. Растраты и упущенія, допустимъ, я покрою, но кто вамъ возвратитъ ваше честное имя? Когда вслѣдствіе плохого контроля и упущеній разнесется слухъ, что вы, а, стало-быть, и я, нажили на этомъ дѣлѣ двѣсти тысячъ, то развѣ ваши помощники придутъ къ вамъ на помощь?

Она молчала.

— Не изъ самолюбія, какъ вы говорите, — продолжалъ я:—а просто изъ расчета, чтобы голодающіе не остались безъ помощи, а вы безъ честнаго имени, я считаю своимъ нравственнымъ долгомъ вмѣшаться въ ваши дѣла.

— Говорите покороче,—сказала жена.

— Вы будете такъ добры,—продолжалъ я:—укажете мнѣ, сколько у васъ поступило до сегодня на приходъ и сколько вы уже потратили. Затѣмъ о каждомъ новомъ поступленіи деньгами или натурой, о каждомъ новомъ расходѣ вы будете ежедневно извѣщать меня. Вы, Natalie, дадите мнѣ также списокъ вашихъ помощниковъ. Быть-можетъ, они вполнѣ порядочные люди, я не сомнѣваюсь въ этомъ, но все-таки необходимо навести справки.

Она молчала. Я всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Давайте же займемся,—сказалъ я и сѣлъ за ея столъ.

— Вы это серьезно?—спросила она, глядя на меня съ недоумѣніемъ и испугомъ.

— Natalie, будьте разсудительны!—сказалъ я умоляюще, видя по ея лицу, что она хочетъ протестовать. — Прошу васъ, довѣрьтесь вполнѣ моему опыту и порядочности!

— Я все-таки не понимаю, что вамъ нужно!

— Покажите мнѣ, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

— У меня нѣтъ тайнъ. Всякій можетъ видѣть. Смотрите.

На столѣ лежало штукъ пять ученическихъ тетрадокъ, нѣсколько листовъ исписанной почтовой бумаги, карта уѣзда и множество клочковъ бумаги всякаго формата. Наступали сумерки. Я зажегъ свѣчку.

— Извините, я пока еще ничего не вижу,— сказалъ я, перелистывая тетради.—Гдѣ у васъ вѣдомость о поступленіи пожертвованій деньгами?

— Это видно изъ подписныхъ листовъ.

— Да-съ, но вѣдь и вѣдомость же нужна! — сказалъ я, улыбаясь ея наивности.—Гдѣ у васъ письма, при которыхъ вы получали пожертвованія деньгами и натурой? Pardon, маленькое практическое указаніе, Natalie: эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его въ особую вѣдомость. Такъ же вы поступайте и со своими письмами. Впрочемъ, все это я буду дѣлать самъ.

— Дѣлайте, дѣлайте...—сказала она.

Я былъ очень доволенъ собой. Увлекшись живымъ, интереснымъ дѣломъ, маленькимъ столомъ, наивными тетрадками и прелестью, какую обѣщала мнѣ эта работа въ обществѣ жены, я боялся, что жена вдругъ помѣшаетъ мнѣ и все разстроитъ какою-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и дѣлалъ надъ собою усилія, чтобы не придавать никакого значенія тому, что у нея трясутся губы и что она пугливо и растерянно, какъ пойманный звѣрекъ, смотритъ по сторонамъ.

— Вотъ что, Natalie,— сказалъ я, не глядя на нее.— Позвольте мнѣ взять всѣ эти бумаги и тетрадки къ себѣ наверхъ. Я тамъ посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вамъ свое мнѣніе. Нѣтъ ли у васъ еще какихъ бумагъ?— спросилъ я, складывая тетради и листки въ пачки.

— Берите, все берите!—сказала жена, помогая мнѣ складывать бумаги въ пачки, и крупныя слезы текли у нея по лицу.—Берите все! Это все, что оставалось у меня въ жизни... Отнимайте послѣднее.

— Ахъ, Natalie, Natalie!—вздохнулъ я укоризненно.

Она какъ-то безпорядочно, толкая меня въ грудь локтемъ и касаясь моего лица волосами, выдвинула изъ стола ящикъ и стала оттуда выбрасывать мнѣ на столъ бумаги; при этомъ мелкія деньги сыпались мнѣ на колѣни и на полъ.

— Все берите...—говорила она осипшимъ голосомъ.

Выбросивъ бумаги, она отошла отъ меня и, ухватившись обѣими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобралъ деньги, положилъ ихъ обратно въ ящикъ и заперъ, чтобы не вводить въ грѣхъ прислугу; потомъ взялъ въ охапку всѣ бумаги и пошелъ къ себѣ. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ея спину и вздрагивающія плечи, сказалъ:

— Какой вы еще ребенокъ, Natalie! Ай-ай! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, какъ серьезно и отвѣтственно это дѣло, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вамъ.

Придя къ себѣ, я не спѣша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницахъ нумеровъ нѣтъ. Записки сдѣланы различными почерками, очевидно, въ тетрадкахъ хозяйничаетъ всякій, кто хочетъ. Въ спискахъ пожертвованій натурою не проставлена цѣна продуктовъ. Но вѣдь, позвольте, та рожь, которая теперь стоитъ 1 р. 15 к., черезъ два мѣсяца можетъ подняться въ цѣнѣ до 2 р. 15 к.

Какъ же можно такъ? Затѣмъ «выдано А. М. Соболю 32 р.». Когда выдано? Для чего выдано? Гдѣ оправдательный документъ? Ничего нѣтъ и ничего не поймешь. Въ случаѣ судебнаго разбирательства, эти бумаги будутъ только затемнять дѣло.

— Какъ она наивна!—изумлялся я.—Какой она еще ребенокъ!

Мнѣ было и досадно, и смѣшно.

V.

Жена собрала уже восемь тысячъ, прибавить къ нимъ мои пять—итого будетъ тринадцать. Для начала это очень хорошо. Дѣло, которое меня такъ интересовало и безпокоило, находится, наконецъ, въ моихъ рукахъ; я дѣлаю то, чего не хотѣли и не могли сдѣлать другіе, я исполняю свой долгъ, организую правильную и серьезную помощь голодающимъ.

Все, кажется, идетъ согласно съ моими намѣреніями и желаніями, но почему же меня не оставляетъ мое безпокойство? Я въ продолженіе четырехъ часовъ разсматривалъ бумаги жены, уясняя ихъ смыслъ и исправляя ошибки, но вмѣсто успокоенія я испытывалъ такое чувство, какъ будто кто-то чужой стоялъ позади меня и водилъ по моей спинѣ шарящею ладонью. Чего мнѣ не доставало? Организація помощи попала въ надежныя руки, голодающіе будутъ сыты,—что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, такъ что я не могъ ни сидѣть согнувшись, ни писать. Снизу изрѣдка доносились глухіе стоны—это рыдала жена. Мой всегда смирный, сонный и ханжеватый Алексѣй то и дѣло подходилъ къ столу, чтобы поправить свѣчи, и посматривалъ на меня какъ-то странно.

— Нѣтъ, надо уѣхать! — рѣшилъ я, наконецъ, выбившись изъ силъ.—Подальше отъ этихъ великолѣпныхъ впечатлѣній. Завтра же уѣду.

Я собралъ бумаги и тетрадки и пошелъ къ женѣ. Когда я, чувствуя сильное утомленіе и разбитость, прижалъ обѣими руками къ груди бумаги и тетради и, проходя черезъ спальню, увидѣлъ свои чемоданы, то до меня изъ-подъ пола донесся плачъ...

— Вы камеръ-юнкеръ?—спросилъ меня кто-то на ухо.—Очень пріятно. Но все-таки вы гадина.

— Все вздоръ, вздоръ, вздоръ...—бормоталъ я, спускаясь по лѣстницѣ.—Вздоръ... И то вздоръ, будто мною руководитъ самолюбіе или тщеславіе... Какіе пустяки! Развѣ за голодающихъ дадутъ мнѣ звѣзду, что ли, или сдѣлаютъ меня директоромъ департамента? Вздоръ, вздоръ! И передъ кѣмъ тутъ въ деревнѣ тщеславиться?

Я усталъ, ужасно усталъ, и что-то шептало мнѣ на ухо: «Очень пріятно. Но все же вы гадина». Почему-то я вспомнилъ строку изъ одного стариннаго стихотворенія, которое когда-то зналъ въ дѣтствѣ: «Какъ пріятно добрымъ быть!»

Жена лежала на кушеткѣ въ прежней позѣ — лицомъ внизъ и обхвативъ голову обѣими руками. Она плакала. Возлѣ нея стояла горничная съ испуганнымъ, недоумѣвающимъ лицомъ. Я отослалъ горничную, сложилъ бумаги на столъ, подумалъ и сказалъ:

— Вотъ ваша канцелярія, Natalie. Все въ порядкѣ, все прекрасно, и я очень доволенъ. Завтра я уѣзжаю.

Она продолжала плакать. Я вышелъ въ гостиную и сѣлъ тамъ въ потемкахъ. Всхлипыванія жены, ея вздохи обвиняли меня въ чемъ-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминалъ всю нашу ссору, начиная съ того какъ мнѣ пришла въ голову несчастная мысль пригласить жену на совѣщаніе, и кончая тетрадками и этимъ плачемъ. Это былъ обычный припадокъ нашей супружеской ненависти, безобразный и безсмысленный, какихъ было много послѣ нашей свадьбы, но при чемъ же тутъ голодающіе? Какъ это могло случиться, что они попали намъ подъ горячую руку? Похоже на то, какъ будто мы, гоняясь другъ за другомъ, нечаянно вбѣжали въ алтарь и подняли тамъ драку.

— Natalie,—говорю я тихо изъ гостиной:—полно, полно!

Чтобы прекратить плачъ и положить конецъ этому мучительному состоянію, надо пойти къ женѣ и утѣшить, приласкать или извиниться; но какъ это сдѣлать, чтобы она мнѣ повѣрила? Какъ я могу убѣдить дикаго утенка, живущаго въ неволѣ и ненавидящаго меня, что онъ мнѣ симпатиченъ и что я сочувствую его страданію? Жены своей я никогда не зналъ и потому никогда не зналъ, о чемъ и какъ съ нею говорить. Наружность ея я зналъ хорошо и цѣнилъ по достоинству, но ея душевный, нравственный міръ, умъ, міросозерцаніе, частыя перемѣны въ настроеніи, ея ненавидящіе глаза, высокомѣріе, начитан-

ность, которою она иногда поражала меня, или, напримѣръ, монашеское выраженіе, какъ вчера, — все это было мнѣ неизвѣстно и непонятно. Когда въ своихъ столкновеніяхъ съ нею я пытался опредѣлить, что она за человѣкъ, то моя психологія не шла дальше такихъ опредѣленій, какъ взбалмошная, несерьезная, несчастный характеръ, бабья логика—и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желаніе знать больше.

Плачъ прекратился. Я пошелъ къ женѣ. Она сидѣла на кушеткѣ, подперевъ голову обѣими руками, и задумчиво, неподвижно глядѣла на огонь.

— Я уѣзжаю завтра утромъ,—сказалъ я.

Она молчала. Я прошелся по комнатѣ, вздохнулъ и сказалъ:

— Natalie, когда вы просили меня уѣхать, то сказали: прощу вамъ все, все... Значитъ, вы считаете меня виноватымъ передъ вами. Прошу васъ, хладнокровно и въ короткихъ выраженіяхъ формулируйте мою вину передъ вами.

— Я утомлена. Послѣ какъ-нибудь...—сказала жена.

— Какая вина?—продолжалъ я.—Что я сдѣлалъ? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше васъ и ненавидимъ вами, но развѣ это вина? Я женился на васъ не насильно. Ну, что жъ, если хотите жить на свободѣ, идите, я дамъ вамъ волю. Идите, можете любить, кого вамъ угодно... Я и разводъ дамъ.

— Этого мнѣ не надо, — сказала она. — Вы знаете, я васъ любила прежде и всегда считала себя старше васъ. Пустяки все это... Вина ваша не въ томъ, что вы старше, а я моложе, или что на свободѣ я могла бы полюбить другого, а въ томъ, что вы тяжелый человѣкъ, эгоистъ, ненавистникъ.

— Не знаю, можетъ-быть,—проговорилъ я.

— Уходите, пожалуйста. Вы хотите ѣсть меня до утра, но предупреждаю, я совсѣмъ ослабѣла и отвѣчать вамъ не могу. Вы дали мнѣ слово уѣхать, я очень вамъ благодарна, и больше ничего мнѣ не нужно.

Жена хотѣла, чтобы я ушелъ, но мнѣ не легко было сдѣлать это. Я ослабѣлъ и боялся своихъ большихъ, неуютныхъ, опостылѣвшихъ комнатъ. Бывало въ дѣтствѣ, когда у меня болѣло что-нибудь, я жался къ матери или нянѣ, и, когда я пряталъ лицо въ складкахъ теплаго платья, мнѣ казалось, что я прячусь отъ боли. Такъ и те-

перь почему-то мнѣ казалось, что отъ своего безпокойства я могу спрятаться только въ этой маленькой комнатѣ, около жены. Я сѣлъ и рукою заслонилъ глаза отъ свѣта. Было тихо.

— Какая вина?—сказала жена послѣ долгаго молчанія, глядя на меня красными, блестящими отъ слезъ глазами.— Вы прекрасно образованы и воспитаны, очень честны, справедливы, съ правилами, но все это выходитъ у васъ такъ, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнетъ, что-то въ высшей степени оскорбительное, унизительное. У васъ честный образъ мыслей, и потому вы ненавидите весь міръ. Вы ненавидите вѣрующихъ, такъ какъ вѣра есть выраженіе неразвитія и невѣжества, и въ то же время ненавидите и невѣрующихъ за то, что у нихъ нѣтъ вѣры и идеаловъ; вы ненавидите стариковъ за отсталость и консерватизмъ, а молодыхъ — за вольнодумство. Вамъ дороги интересы народа и Россіи, и потому вы ненавидите народъ, такъ какъ въ каждомъ подозрѣваете вора и грабителя. Вы всѣхъ ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почвѣ законности, и потому вы постоянно судитесь съ мужиками и сосѣдями. У васъ украли 20 кулей ржи, и изъ любви къ порядку вы пожаловались на мужиковъ губернатору и всему начальству, а на здѣшнее начальство пожаловались въ Петербургъ. Почва законности! — сказала жена и засмѣялась.— На основаніи закона и въ интересахъ нравственности вы не даете мнѣ паспорта. Есть такая нравственность и такой законъ, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь въ праздности, въ тоскѣ, въ постоянномъ страхѣ и получала бы за это столъ и квартиру отъ человѣка, котораго она не любитъ. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете бракъ и семейныя основы, а изъ всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сдѣлали ни одного добраго дѣла, всѣ васъ ненавидятъ, со всѣми вы въ ссорѣ и за эти семь лѣтъ, пока женаты, вы и семи мѣсяцевъ не прожили съ женой. У васъ жены не было, а у меня не было мужа. Съ такимъ человѣкомъ, какъ вы, жить невозможно, нѣтъ силъ. Въ первые годы мнѣ съ вами было страшно, а теперь мнѣ стыдно... Такъ и пропали лучшіе годы. Пока воевала съ вами, я испортила себѣ характеръ, стала рѣз-

кой, грубой, пугливой, недовѣрчивой... Э, да что говорить! Развѣ вы захотите понять? Идите себѣ съ Богомъ.

Жена прилегла на кушетку и задумалась.

— А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь!— тихо сказала она, глядя въ раздумьѣ на огонь. — Какая жизнь! Не вернешь теперь.

Кто живалъ зимою въ деревнѣ и знаетъ эти длинные, скучные, тихіе вечера, когда даже собаки не лаютъ отъ скуки и, кажется, часы томятся отъ того, что имъ надоѣло тикать, и кого въ такіе вечера тревожила пробудившаяся совѣсть и кто безпокойно метался съ мѣста на мѣсто, желая то заглушить, то разгадать свою совѣсть, тотъ пойметъ, какое развлеченіе и наслажденіе доставлялъ мнѣ женскій голосъ, раздавшійся въ маленькой уютной комнатѣ и говорившій мнѣ, что я дурной человѣкъ. Я не понималъ, чего хочетъ моя совѣсть, и жена, какъ переводчикъ, по-женски, но ясно истолковывала мнѣ смыслъ моей тревоги. Какъ часто раньше, въ минуты сильнаго безпокойства, я догадывался, что весь секретъ не въ голодающихъ, а въ томъ, что я не такой человѣкъ, какъ нужно.

Жена черезъ силу поднялась и подошла ко мнѣ.

— Павелъ Андреичъ, — сказала она, печально улыбаясь. — Простите, я не вѣрю вамъ: вы не уѣдете. Но я еще разъ прошу. Называйте это, — она указала на свои бумаги:—самообманомъ, бабьей логикой, ошибкой, какъ хотите, но не мѣшайте мнѣ. Это все, что осталось у меня въ жизни.—Она отвернулась и помолчала.—Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала съ вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мнѣ кажется, въ этомъ я нашла способъ, какъ оправдать свою жизнь.

— Natalie, вы хорошая, идейная женщина,—сказалъ я, восторженно глядя на жену:—и все, что вы дѣлаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волненіе, я прошелся по комнатѣ.

— Natalie, — продолжалъ я черезъ минуту: — передъ отъѣздомъ прошу у васъ, какъ особенной милости, помогите мнѣ сдѣлать что-нибудь для голодающихъ!

— Что же я могу?—сказала жена и пожала плечами.— Развѣ вотъ только подписной листъ?

Она порылась въ своихъ бумагахъ и нашла подписной листъ.

— Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами,—сказала она, и по ея тону замѣтно было, что своему подписному листу она не придавала серьезнаго значенія.—А участвовать въ этомъ дѣлѣ какъ-нибудь иначе вы не можете.

Я взялъ листъ и подписалъ: *Неизвѣстный—5000.*

Въ этомъ «неизвѣстный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понялъ это только, когда замѣтилъ, что жена сильно покраснѣла и торопливо сунула листъ въ кучу бумагъ. Намъ обоимъ стало стыдно. Я почувствовалъ, что мнѣ непремѣнно, во что бы то ни стало, сейчасъ же нужно загладить эту неловкость, иначе мнѣ будетъ стыдно потомъ въ вагонѣ и въ Петербургѣ. Но какъ загладить? Что̀ сказать?

— Я благословляю вашу дѣятельность, Natalie, — сказалъ я искренно: — и желаю вамъ всякаго успѣха. Но позвольте на прощанье дать вамъ одинъ совѣтъ. Natalie, держите себя поосторожнѣе съ Соболемъ и вообще съ вашими помощниками и не довѣряйтесь имъ. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди безъ идеи, безъ идеаловъ и вѣры, безъ цѣли въ жизни, безъ опредѣленныхъ принциповъ, и весь смыслъ ихъ зиждется на рублѣ. Рубль, рубль и рубль! — вздохнулъ я. — Они любятъ легкіе и даровые хлѣба и въ этомъ отношеніи, чѣмъ они образованнѣе, тѣмъ опаснѣе для дѣла.

Жена пошла къ кушеткѣ и прилегла.

— Идеи, идейно, — проговорила она вяло и нехотя: — идейность, идеалы, цѣль жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотѣли кого-нибудь унизить, обидѣть или сказать непріятность. Вѣдь вотъ вы какой! Если съ вашими взглядами и съ такимъ отношеніемъ къ людямъ подпустить васъ близко къ дѣлу, то это значитъ разрушить дѣло въ первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

— Это грубость нравовъ, Павелъ Андреичъ, — сказала она.—Вы образованы и воспитаны, но въ сущности какой вы еще... скиѳъ! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни съ кѣмъ не видаетесь и не читаете ничего, кромѣ вашихъ инженерныхъ книгъ. А вѣдь есть хорошіе люди, хорошія книги! Да... Но я утомилась и мнѣ тяжело говорить. Спать надо.

— Такъ я ѣду, Natalie,—сказалъ я.

Она молчала.

— Не изъ самолюбія, какъ вы говорите, — продолжалъ я:—а просто изъ расчета, чтобы голодающіе не остались безъ помощи, а вы безъ честнаго имени, я считаю своимъ нравственнымъ долгомъ вмѣшаться въ ваши дѣла.

— Говорите покороче,—сказала жена.

— Вы будете такъ добры,—продолжалъ я:—укажете мнѣ, сколько у васъ поступило до сегодня на приходъ и сколько вы уже потратили. Затѣмъ о каждомъ новомъ поступленіи деньгами или натурой, о каждомъ новомъ расходѣ вы будете ежедневно извѣщать меня. Вы, Natalie, дадите мнѣ также списокъ вашихъ помощниковъ. Быть-можетъ, они вполнѣ порядочные люди, я не сомнѣваюсь въ этомъ, но все-таки необходимо навести справки.

Она молчала. Я всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Давайте же займемся,—сказалъ я и сѣлъ за ея столъ.

— Вы это серьезно?—спросила она, глядя на меня съ недоумѣніемъ и испугомъ.

— Natalie, будьте разсудительны!—сказалъ я умоляюще, видя по ея лицу, что она хочетъ протестовать. — Прошу васъ, довѣрьтесь вполнѣ моему опыту и порядочности!

— Я все-таки не понимаю, что вамъ нужно!

— Покажите мнѣ, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

— У меня нѣтъ тайнъ. Всякій можетъ видѣть. Смотрите.

На столѣ лежало штукъ пять ученическихъ тетрадокъ, нѣсколько листовъ исписанной почтовой бумаги, карта уѣзда и множество клочковъ бумаги всякаго формата. Наступали сумерки. Я зажегъ свѣчку.

— Извините, я пока еще ничего не вижу,—сказалъ я, перелистывая тетради.—Гдѣ у васъ вѣдомость о поступленіи пожертвованій деньгами?

— Это видно изъ подписныхъ листовъ.

— Да-съ, но вѣдь и вѣдомость же нужна! — сказалъ я, улыбаясь ея наивности.—Гдѣ у васъ письма, при которыхъ вы получали пожертвованія деньгами и натурой? Pardon, маленькое практическое указаніе, Natalie: эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его въ особую вѣдомость. Такъ же вы поступайте и со своими письмами. Впрочемъ, все это я буду дѣлать самъ.

— Дѣлайте, дѣлайте...—сказала она.

Я былъ очень доволенъ собой. Увлекшись живымъ, интереснымъ дѣломъ, маленькимъ столомъ, наивными тетрадками и прелестью, какую обѣщала мнѣ эта работа въ обществѣ жены, я боялся, что жена вдругъ помѣшаетъ мнѣ и все разстроитъ какою-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и дѣлалъ надъ собою усилія, чтобы не придавать никакого значенія тому, что у нея трясутся губы и что она пугливо и растерянно, какъ пойманный звѣрекъ, смотритъ по сторонамъ.

— Вотъ что, Natalie,— сказалъ я, не глядя на нее.— Позвольте мнѣ взять всѣ эти бумаги и тетрадки къ себѣ наверхъ. Я тамъ посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вамъ свое мнѣніе. Нѣтъ ли у васъ еще какихъ бумагъ?— спросилъ я, складывая тетради и листки въ пачки.

— Берите, все берите!—сказала жена, помогая мнѣ складывать бумаги въ пачки, и крупныя слезы текли у нея по лицу.—Берите все! Это все, что оставалось у меня въ жизни... Отнимайте послѣднее.

— Ахъ, Natalie, Natalie!—вздохнулъ я укоризненно.

Она какъ-то безпорядочно, толкая меня въ грудь локтемъ и касаясь моего лица волосами, выдвинула изъ стола ящикъ и стала оттуда выбрасывать мнѣ на столъ бумаги; при этомъ мелкія деньги сыпались мнѣ на колѣни и на полъ.

— Все берите...—говорила она осипшимъ голосомъ.

Выбросивъ бумаги, она отошла отъ меня и, ухватившись обѣими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобралъ деньги, положилъ ихъ обратно въ ящикъ и заперъ, чтобы не вводить въ грѣхъ прислугу; потомъ взялъ въ охапку всѣ бумаги и пошелъ къ себѣ. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ея спину и вздрагивающія плечи, сказалъ:

— Какой вы еще ребенокъ, Natalie! Ай-ай! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, какъ серьезно и отвѣтственно это дѣло, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вамъ.

Придя къ себѣ, я не спѣша занялся бумагами. Тетрадки не прошнурованы, на страницахъ нумеровъ нѣтъ. Записки сдѣланы различными почерками, очевидно, въ тетрадкахъ хозяйничаетъ всякій, кто хочетъ. Въ спискахъ пожертвованій натурою не проставлена цѣна продуктовъ. Но вѣдь, позвольте, та рожь, которая теперь стоитъ 1 р. 15 к., черезъ два мѣсяца можетъ подняться въ цѣнѣ до 2 р. 15 к.

Какъ же можно такъ? Затѣмъ «выдано А. М. Соболю 32 р.». Когда выдано? Для чего выдано? Гдѣ оправдательный документъ? Ничего нѣтъ и ничего не поймешь. Въ случаѣ судебнаго разбирательства, эти бумаги будутъ только затемнять дѣло.

— Какъ она наивна!—изумлялся я.—Какой она еще ребенокъ!

Мнѣ было и досадно, и смѣшно.

V.

Жена собрала уже восемь тысячъ, прибавить къ нимъ мои пять—итого будетъ тринадцать. Для начала это очень хорошо. Дѣло, которое меня такъ интересовало и безпокоило, находится, наконецъ, въ моихъ рукахъ; я дѣлаю то, чего не хотѣли и не могли сдѣлать другіе, я исполняю свой долгъ, организую правильную и серьезную помощь голодающимъ.

Все, кажется, идетъ согласно съ моими намѣреніями и желаніями, но почему же меня не оставляетъ мое безпокойство? Я въ продолженіе четырехъ часовъ разсматривалъ бумаги жены, уясняя ихъ смыслъ и исправляя ошибки, но вмѣсто успокоенія я испытывалъ такое чувство, какъ будто кто-то чужой стоялъ позади меня и водилъ по моей спинѣ шершавою ладонью. Чего мнѣ не доставало? Организація помощи попала въ надежныя руки, голодающіе будутъ сыты,—что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, такъ что я не могъ ни сидѣть согнувшись, ни писать. Снизу изрѣдка доносились глухіе стоны—это рыдала жена. Мой всегда смирный, сонный и ханжеватый Алексѣй то и дѣло подходилъ къ столу, чтобы поправить свѣчи, и посматривалъ на меня какъ-то странно.

— Нѣтъ, надо уѣхать!—рѣшилъ я, наконецъ, выбившись изъ силъ.—Подальше отъ этихъ великолѣпныхъ впечатлѣній. Завтра же уѣду.

Я собралъ бумаги и тетрадки и пошелъ къ женѣ. Когда я, чувствуя сильное утомленіе и разбитость, прижалъ обѣими руками къ груди бумаги и тетради и, проходя черезъ спальню, увидѣлъ свои чемоданы, то до меня изъ-подъ пола донесся плачъ...

— Вы камеръ-юнкеръ?—спросилъ меня кто-то на ухо.—Очень пріятно. Но все-таки вы гадина.

— Все вздоръ, вздоръ, вздоръ...—бормоталъ я, спускаясь по лѣстницѣ.—Вздоръ... И то вздоръ, будто мною руководитъ самолюбіе или тщеславіе... Какіе пустяки! Развѣ за голодающихъ дадутъ мнѣ звѣзду, что ли, или сдѣлаютъ меня директоромъ департамента? Вздоръ, вздоръ! И передъ кѣмъ тутъ въ деревнѣ тщеславиться?

Я усталъ, ужасно усталъ, и что-то шептало мнѣ на ухо: «Очень пріятно. Но все же вы гадина». Почему-то я вспомнилъ строку изъ одного стариннаго стихотворенія, которое когда-то зналъ въ дѣтствѣ: «Какъ пріятно добрымъ быть!»

Жена лежала на кушеткѣ въ прежней позѣ — лицомъ внизъ и обхвативъ голову обѣими руками. Она плакала. Возлѣ нея стояла горничная съ испуганнымъ, недоумѣвающимъ лицомъ. Я отослалъ горничную, сложилъ бумаги на столъ, подумалъ и сказалъ:

— Вотъ ваша канцелярія, Natalie. Все въ порядкѣ, все прекрасно, и я очень доволенъ. Завтра я уѣзжаю.

Она продолжала плакать. Я вышелъ въ гостиную и сѣлъ тамъ въ потемкахъ. Всхлипыванія жены, ея вздохи обвиняли меня въ чемъ-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминалъ всю нашу ссору, начиная съ того какъ мнѣ пришла въ голову несчастная мысль пригласить жену на совѣщаніе, и кончая тетрадками и этимъ плачемъ. Это былъ обычный припадокъ нашей супружеской ненависти, безобразный и безсмысленный, какихъ было много послѣ нашей свадьбы, но при чемъ же тутъ голодающіе? Какъ это могло случиться, что они попали намъ подъ горячую руку? Похоже на то, какъ будто мы, гоняясь другъ за другомъ, нечаянно вбѣжали въ алтарь и подняли тамъ драку.

— Natalie,—говорю я тихо изъ гостиной:—полно, полно!

Чтобы прекратить плачъ и положить конецъ этому мучительному состоянію, надо пойти къ женѣ и утѣшить, приласкать или извиниться; но какъ это сдѣлать, чтобы она мнѣ повѣрила? Какъ я могу убѣдить дикаго утенка, живущаго въ неволѣ и ненавидящаго меня, что онъ мнѣ симпатиченъ и что я сочувствую его страданію? Жены своей я никогда не зналъ и потому никогда не зналъ, о чемъ и какъ съ нею говорить. Наружность ея я зналъ хорошо и цѣнилъ по достоинству, но ея душевный, нравственный міръ, умъ, міросозерцаніе, частыя перемѣны въ настроеніи, ея ненавидящіе глаза, высокомѣріе, начитан-

ность, которою она иногда поражала меня, или, напримѣръ, монашеское выраженіе, какъ вчера, — все это было мнѣ неизвѣстно и непонятно. Когда въ своихъ столкновеніяхъ съ нею я пытался опредѣлить, что она за человѣкъ, то моя психологія не шла дальше такихъ опредѣленій, какъ взбалмошная, несерьезная, несчастный характеръ, бабья логика—и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желаніе знать больше.

Плачъ прекратился. Я пошелъ къ женѣ. Она сидѣла на кушеткѣ, подперевъ голову обѣими руками, и задумчиво, неподвижно глядѣла на огонь.

— Я уѣзжаю завтра утромъ,—сказалъ я.

Она молчала. Я прошелся по комнатѣ, вздохнулъ и сказалъ:

— Natalie, когда вы просили меня уѣхать, то сказали: прощу вамъ все, все... Значитъ, вы считаете меня виноватымъ передъ вами. Прошу васъ, хладнокровно и въ короткихъ выраженіяхъ формулируйте мою вину передъ вами.

— Я утомлена. Послѣ какъ-нибудь...—сказала жена.

— Какая вина?—продолжалъ я.—Что я сдѣлалъ? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше васъ и ненавидимъ вами, но развѣ это вина? Я женился на васъ не насильно. Ну, что жъ, если хотите жить на свободѣ, идите, я дамъ вамъ волю. Идите, можете любить, кого вамъ угодно... Я и разводъ дамъ.

— Этого мнѣ не надо, — сказала она. — Вы знаете, я васъ любила прежде и всегда считала себя старше васъ. Пустяки все это... Вина ваша не въ томъ, что вы старше, а я моложе, или что на свободѣ я могла бы полюбить другого, а въ томъ, что вы тяжелый человѣкъ, эгоистъ, ненавистникъ.

— Не знаю, можетъ-быть,—проговорилъ я.

— Уходите, пожалуйста. Вы хотите ѣсть меня до утра, но предупреждаю, я совсѣмъ ослабѣла и отвѣчать вамъ не могу. Вы дали мнѣ слово уѣхать, я очень вамъ благодарна, и больше ничего мнѣ не нужно.

Жена хотѣла, чтобы я ушелъ, но мнѣ не легко было сдѣлать это. Я ослабѣлъ и боялся своихъ большихъ, неуютныхъ, опостылѣвшихъ комнатъ. Бывало въ дѣтствѣ, когда у меня болѣло что-нибудь, я жался къ матери или нянѣ, и, когда я пряталъ лицо въ складкахъ теплаго платья, мнѣ казалось, что я прячусь отъ боли. Такъ и те-

перь почему-то мнѣ казалось, что отъ своего безпокойства я могу спрятаться только въ этой маленькой комнатѣ, около жены. Я сѣлъ и рукою заслонилъ глаза отъ свѣта. Было тихо.

— Какая вина?—сказала жена послѣ долгаго молчанія, глядя на меня красными, блестящими отъ слезъ глазами.— Вы прекрасно образованы и воспитаны, очень честны, справедливы, съ правилами, но все это выходитъ у васъ такъ, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнетъ, что-то въ высшей степени оскорбительное, унизительное. У васъ честный образъ мыслей, и потому вы ненавидите весь міръ. Вы ненавидите вѣрующихъ, такъ какъ вѣра есть выраженіе неразвитія и невѣжества, и въ то же время ненавидите и невѣрующихъ за то, что у нихъ нѣтъ вѣры и идеаловъ; вы ненавидите стариковъ за отсталость и консерватизмъ, а молодыхъ — за вольнодумство. Вамъ дороги интересы народа и Россіи, и потому вы ненавидите народъ, такъ какъ въ каждомъ подозрѣваете вора и грабителя. Вы всѣхъ ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почвѣ законности, и потому вы постоянно судитесь съ мужиками и сосѣдями. У васъ украли 20 кулей ржи, и изъ любви къ порядку вы пожаловались на мужиковъ губернатору и всему начальству, а на здѣшнее начальство пожаловались въ Петербургъ. Почва законности! — сказала жена и засмѣялась.— На основаніи закона и въ интересахъ нравственности вы не даете мнѣ паспорта. Есть такая нравственность и такой законъ, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь въ праздности, въ тоскѣ, въ постоянномъ страхѣ и получала бы за это столъ и квартиру отъ человѣка, котораго она не любитъ. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете бракъ и семейныя основы, а изъ всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сдѣлали ни одного добраго дѣла, всѣ васъ ненавидятъ, со всѣми вы въ ссорѣ и за эти семь лѣтъ, пока женаты, вы и семи мѣсяцевъ не прожили съ женой. У васъ жены не было, а у меня не было мужа. Съ такимъ человѣкомъ, какъ вы, жить невозможно, нѣтъ силъ. Въ первые годы мнѣ съ вами было страшно, а теперь мнѣ стыдно... Такъ и пронали лучшіе годы. Пока воевала съ вами, я испортила себѣ характеръ, стала рѣз-

кой, грубой, пугливой, недовѣрчивой... Э, да что говорить! Развѣ вы захотите понять? Идите себѣ съ Богомъ.

Жена прилегла на кушетку и задумалась.

— А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнь!— тихо сказала она, глядя въ раздумьѣ на огонь. — Какая жизнь! Не вернешь теперь.

Кто живалъ зимою въ деревнѣ и знаетъ эти длинные, скучные, тихіе вечера, когда даже собаки не лаютъ отъ скуки и, кажется, часы томятся отъ того, что имъ надоѣло тикать, и кого въ такіе вечера тревожила пробудившаяся совѣсть и кто безпокойно метался съ мѣста на мѣсто, желая то заглушить, то разгадать свою совѣсть, тотъ пойметъ, какое развлеченіе и наслажденіе доставлялъ мнѣ женскій голосъ, раздавшійся въ маленькой уютной комнатѣ и говорившій мнѣ, что я дурной человѣкъ. Я не понималъ, чего хочетъ моя совѣсть, и жена, какъ переводчикъ, по-женски, но ясно истолковывала мнѣ смыслъ моей тревоги. Какъ часто раньше, въ минуты сильнаго безпокойства, я догадывался, что весь секретъ не въ голодающихъ, а въ томъ, что я не такой человѣкъ, какъ нужно.

Жена черезъ силу поднялась и подошла ко мнѣ.

— Павелъ Андреичъ, — сказала она, печально улыбаясь. — Простите, я не вѣрю вамъ: вы не уѣдете. Но я еще разъ прошу. Называйте это, — она указала на свои бумаги:—самообманомъ, бабьей логикой, ошибкой, какъ хотите, но не мѣшайте мнѣ. Это все, что осталось у меня въ жизни.—Она отвернулась и помолчала.—Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала съ вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мнѣ кажется, въ этомъ я нашла способъ, какъ оправдать свою жизнь.

— Natalie, вы хорошая, идейная женщина,—сказалъ я, восторженно глядя на жену:—и все, что вы дѣлаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волненіе, я прошелся по комнатѣ.

— Natalie, — продолжалъ я черезъ минуту: — передъ отъѣздомъ прошу у васъ, какъ особенной милости, помогите мнѣ сдѣлать что-нибудь для голодающихъ!

— Что же я могу?—сказала жена и пожала плечами.— Развѣ вотъ только подписной листъ?

Она порылась въ своихъ бумагахъ и нашла подписной листъ.

— Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами,—сказала она, и по ея тону замѣтно было, что своему подписному листу она не придавала серьезнаго значенія.—А участвовать въ этомъ дѣлѣ какъ-нибудь иначе вы не можете.

Я взялъ листъ и подписалъ: *Неизвѣстный—5000.*

Въ этомъ «неизвѣстный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понялъ это только, когда замѣтилъ, что жена сильно покраснѣла и торопливо сунула листъ въ кучу бумагъ. Намъ обоимъ стало стыдно. Я почувствовалъ, что мнѣ непремѣнно, во что бы то ни стало, сейчасъ же нужно загладить эту неловкость, иначе мнѣ будетъ стыдно потомъ въ вагонѣ и въ Петербургѣ. Но какъ загладить? Что сказать?

— Я благословляю вашу дѣятельность, Natalie, — сказалъ я искренно: — и желаю вамъ всякаго успѣха. Но позвольте на прощаньѣ дать вамъ одинъ совѣтъ. Natalie, держите себя поосторожнѣе съ Соболемъ и вообще съ вашими помощниками и не довѣряйтесь имъ. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворяне, это люди безъ идеи, безъ идеаловъ и вѣры, безъ цѣли въ жизни, безъ опредѣленныхъ принциповъ, и весь смыслъ ихъ зиждется на рублѣ. Рубль, рубль и рубль! — вздохнулъ я. — Они любятъ легкіе и даровые хлѣба и въ этомъ отношеніи, чѣмъ они образованнѣе, тѣмъ опаснѣе для дѣла.

Жена пошла къ кушеткѣ и прилегла.

— Идеи, идейно, — проговорила она вяло и нехотя: — идейность, идеалы, цѣль жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотѣли кого-нибудь унизить, обидѣть или сказать непріятность. Вѣдь вотъ вы какой! Если съ вашими взглядами и съ такимъ отношеніемъ къ людямъ подпустить васъ близко къ дѣлу, то это значитъ разрушить дѣло въ первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

— Это грубость нравовъ, Павелъ Андреичъ, — сказала она.—Вы образованы и воспитаны, но въ сущности какой вы еще... скиѳъ! Это оттого, что вы ведете замкнутую, ненавистническую жизнь, ни съ кѣмъ не видаетесь и не читаете ничего, кромѣ вашихъ инженерныхъ книгъ. А вѣдь есть хорошіе люди, хорошія книги! Да... Но я утомилась и мнѣ тяжело говорить. Спать надо.

— Такъ я ѣду, Natalie,—сказалъ я.

— Да, да... Mercі...

Я постоялъ немного и пошелъ къ себѣ наверхъ. Часъ спустя—это было въ половинѣ второго—я со свѣчкою въ рукахъ опять сошелъ внизъ, чтобы поговорить съ женой. Я не зналъ, что скажу ей, но чувствовалъ, что мнѣ нужно сказать ей что-то важное и необходимое. Въ рабочей комнатѣ ея не было. Дверь, которая вела въ спальню, была закрыта.

— Natalie, вы спите?—тихо спросилъ я.

Отвѣта не было. Я постоялъ около двери, вздохнулъ и пошелъ въ гостиную. Здѣсь я сѣлъ на диванъ, потушилъ свѣчу и просидѣлъ въ потемкахъ до самаго разсвѣта.

VI.

Выѣхалъ я на станцію въ 10 часовъ утра. Мороза не было, но валилъ съ неба крупный, мокрый снѣгъ и дулъ непріятный, сырой вѣтеръ.

Миновали прудъ, потомъ березнякъ и стали взбираться на гору по дорогѣ, которая видна изъ моихъ оконъ. Я оглянулся, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на свой домъ, но за снѣгомъ ничего не было видно. Немного погодя, впереди, какъ въ туманѣ, показались темныя избы. Это Пестрово.

«Если я когда-нибудь сойду съ ума, то виновато будетъ Пестрово,—подумалъ я.—Оно меня преслѣдуетъ».

Въѣхали на улицу. На избахъ всѣ крыши цѣлы, нѣтъ ни одной содранной, — значитъ, совралъ мой приказчикъ. Мальчикъ возитъ въ салазкахъ дѣвочку съ ребенкомъ, другой мальчикъ, лѣтъ трехъ, съ окутанной по-бабьи головой и съ громадными рукавицами, хочетъ поймать языкомъ летающія снѣжинки и смѣется. Вотъ навстрѣчу ѣдетъ возъ съ хворостомъ, около идетъ мужикъ, и никакъ не поймешь, сѣдъ ли онъ или же борода его бѣла отъ снѣга. Онъ узналъ моего кучера, улыбается ему и что-то говоритъ, а передо мной машинально снимаетъ шапку. Собаки выбѣгаютъ изъ дворовъ и съ любопытствомъ смотрятъ на моихъ лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нѣтъ хлѣба, въ избахъ «кто хохочетъ, кто на стѣну лѣзетъ», но все это такъ просто, что даже не вѣрится, чтобы это было на самомъ дѣлѣ. Ни растерянныхъ лицъ, ни голосовъ вопіющихъ о помощи, ни плача, ни брани, а кругомъ тишина, порядокъ жизни, дѣти, салазки,

собаки съ задранными хвостами. Не безпокоятся ни дѣти, ни встрѣчный мужикъ, но почему же я такъ безпокоюсь?

Глядя на улыбающагося мужика, на мальчика съ громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понималъ теперь, что нѣтъ такого бѣдствія, которое могло бы побѣдить этихъ людей; мнѣ казалось, что въ воздухѣ уже пахнетъ побѣдой, я гордился и готовъ былъ крикнуть имъ, что я тоже съ ними; но лошади вынесли изъ деревни въ поле, закружилъ снѣгъ, заревѣлъ вѣтеръ, и я остался одинъ со своими мыслями. Изъ милліонной толпы людей, совершавшихъ народное дѣло, сама жизнь выбрасывала меня, какъ ненужнаго, неумѣлаго, дурного человѣка. Я помѣха, частица народнаго бѣдствія, меня побѣдили, выбросили, и я спѣшу на станцію, чтобы уѣхать и спрятаться въ Петербургѣ, въ отелѣ на Большой Морской.

Черезъ часъ пріѣхали на станцію. Сторожъ съ бляхой и кучеръ внесли мои чемоданы въ дамскую комнату. Кучеръ Никаноръ съ заткнутою за поясъ полой, въ валенкахъ, весь мокрый отъ снѣга и довольный, что я уѣзжаю, улыбнулся мнѣ дружелюбно и сказалъ:

— Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай Богъ часъ.

Кстати: меня всѣ называютъ превосходительствомъ, хотя я лишь коллежскій совѣтникъ, камеръ-юнкеръ. Сторожъ сказалъ, что поѣздъ еще не выходилъ изъ сосѣдней станціи. Надо было ждать. Я вышелъ наружу и, съ тяжелой отъ безсонной ночи головой и едва передвигая ноги отъ утомленія, направился безъ всякой цѣли къ водокачкѣ. Кругомъ не было ни души.

— Зачѣмъ я ѣду?—спрашивалъ я себя.—Что меня ожидаетъ тамъ? Знакомые, отъ которыхъ я уже уѣхалъ, одиночество, ресторанные обѣды, шумъ, электрическое освѣщеніе, отъ котораго у меня глаза болятъ... Куда и зачѣмъ я ѣду? Зачѣмъ я ѣду?

И какъ-то странно было уѣзжать, не поговоривши съ женой. Мнѣ казалось, что я оставилъ ее въ неизвѣстности. Уѣзжая, слѣдовало бы сказать ей, что она права, что я въ самомъ дѣлѣ дурной человѣкъ.

Когда я повернулъ отъ водокачки, въ дверяхъ показался начальникъ станціи, на котораго я два раза уже жаловался его начальству; приподнявъ воротникъ сюртука, пожимаясь

отъ вѣтра и снѣга, онъ подошелъ ко мнѣ и, приложивъ два пальца къ козырьку, съ растерянным, напряженно почтительнымъ и ненавидящимъ лицомъ сказалъ мнѣ, что поѣздъ опоздаетъ на 20 минутъ и что не желаю ли я пока обождать въ тепломъ помѣщеніи.

— Благодарю васъ,— отвѣтилъ я:— но, вѣроятно, я не поѣду. Велите сказать моему кучеру, чтобы онъ подождалъ. Я еще подумаю.

Я ходилъ взадъ и впередъ по платформѣ и думалъ: уѣхать мнѣ, или нѣтъ? Когда пришелъ поѣздъ, я рѣшилъ, что не поѣду. Дома меня ожидали недоумѣніе и, пожалуй, насмѣшки жены, унылый верхній этажъ и мое безпокойство, но это въ мои годы все-таки легче и какъ-то роднѣе, чѣмъ ѣхать двое сутокъ съ чужими людьми въ Петербургъ, гдѣ я каждую минуту сознавалъ бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается къ концу. Нѣтъ, ужъ лучше домой, что бы тамъ ни было... Я вышелъ изъ станціи. Возвращаться домой, гдѣ всѣ такъ радовались моему отъѣзду, при дневномъ свѣтѣ было неловко. Остатокъ дня до вечера можно было провести у кого-нибудь изъ сосѣдей. Но у кого? Съ одними я въ натянутыхъ отношеніяхъ, съ другими незнакомъ вовсе. Я подумалъ и вспомнилъ про Ивана Иваныча.

— Поѣдемъ къ Брагину! — сказалъ я кучеру, садясь въ сани.

— Далече,—вздохнулъ Никаноръ.—Верстъ, пожалуй, 28 будетъ, а то и всѣ 30.

— Пожалуйста, голубчикъ, — сказалъ я такимъ тономъ, какъ будто Никаноръ имѣлъ право не послушаться.— Поѣдемъ, пожалуйста!

Никаноръ съ сомнѣніемъ покачалъ головой и медленно проговорилъ, что по-настоящему слѣдовало бы запрячь въ корень не Черкеса, а Мужика или Чижика, и нерѣшительно, какъ бы ожидая, что я отмѣню свое рѣшеніе, забралъ вожжи въ рукавицы, привсталъ, подумалъ и потомъ ужъ взмахнулъ кнутомъ.

«Цѣлый рядъ непослѣдовательныхъ поступковъ...—думалъ я, пряча лицо отъ снѣга.—Это я сошелъ съ ума. Ну, пускай...»

Въ одномъ мѣстѣ на очень высокомъ и крутомъ спускѣ Никаноръ осторожно спустилъ лошадей до половины горы, но съ половины лошади вдругъ сорвались и со страшною

быстротой понесли внизъ; онъ вздрогнулъ, поднялъ локти и закричалъ дикимъ, неистовымъ голосомъ, какого я раньше никогда у него не слышалъ:

— Эй, прокатимъ генерала! Запалимъ, новыхъ купитъ, голубчики! Ай, берегись, задавимъ!

Только теперь, когда у меня отъ необыкновенно быстрой ѣзды захватило дыханіе, я замѣтилъ, что онъ сильно пьянъ; должно-быть, на станціи выпилъ. На днѣ оврага затрещалъ ледъ, кусокъ крѣпкаго унавоженнаго снѣга, сбитый съ дороги, больно ударилъ меня по лицу. Разбѣжавшіяся лошади съ разгону понесли на гору такъ же быстро, какъ съ горы, и не успѣлъ я крикнуть Никанору, какъ моя тройка уже летѣла по ровному мѣсту, въ старомъ еловомъ лѣсу, и высокія ели со всѣхъ сторонъ протягивали ко мнѣ свои бѣлыя мохнатыя лапы.

«Я сошелъ съ ума, кучеръ пьянъ...—думалъ я.—Хорошо!»

Ивана Иваныча я засталъ дома. Онъ закашлялся отъ смѣха, положилъ мнѣ на грудь голову и сказалъ то, что всегда говоритъ при встрѣчѣ со мной:

— А вы все молодѣете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мнѣ бы дали.

— Я, Иванъ Иванычъ, пріѣхалъ вамъ визитъ отдать,—солгалъ я.—Не взыщите, человѣкъ я столичный, съ предразсудками, считаюсь визитами.

— Радъ, голубчикъ! Я изъ ума выжилъ, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я могъ судить, что своимъ визитомъ я сильно польстилъ ему. Въ передней шубу съ меня снимали двѣ бабы, а повѣсилъ ее на крючокъ мужикъ въ красной рубахѣ. И когда мы съ Иваномъ Иванычемъ вошли въ его маленькій кабинетъ, двѣ босыя дѣвочки сидѣли на полу и разсматривали иллюстрацію въ переплетѣ; увидѣвъ насъ, онѣ вспрыгнули и побѣжали вонъ, и тотчасъ же вошла высокая тонкая старуха въ очкахъ, степенно поклонилась мнѣ и, подобравъ съ дивана подушку, а съ полу иллюстрацію, вышла. Изъ сосѣднихъ комнатъ непрерывно слышались шопотъ и шлепанье босыхъ ногъ.

— А я къ себѣ доктора жду обѣдать,—сказалъ Иванъ Иванычъ.—Обѣщалъ съ пункта заѣхать. Да. Онъ у меня каждую среду обѣдаетъ, дай Богъ ему здоровья.—Онъ потянулся ко мнѣ и поцѣловалъ въ шею.—Пріѣхали, голуб-

чикъ—значитъ, не сердитесь,—зашепталъ онъ, сопя.—Не сердитесь, матушка. Да. Можетъ, и обидно, но не надо сердиться. Я объ одномъ только прошу Бога передъ смертью: со всѣми жить въ мирѣ и согласіи, по правдѣ! Да.

— Простите, Иванъ Иванычъ, я положу ноги на кресло,— сказалъ я, чувствуя, что отъ сильнаго утомленія я не могу быть самимъ собой; я поглубже сѣлъ на диванъ и протянулъ ноги на кресло. Послѣ снѣга и вѣтра у меня горѣло лицо и, казалось, все тѣло впитывало въ себя теплоту и отъ этого становилось слабѣе. — У васъ тутъ хорошо, — продолжалъ я:—тепло, мягко, уютно... И гусиныя перья,— засмѣялся я, поглядѣвъ на письменный столъ:—песочница...

— А? Да, да... Письменный столъ и вотъ этотъ шкапчикъ изъ краснаго дерева дѣлалъ моему отцу столяръ-самоучка Глѣбъ Бутыга, крѣпостной генерала Жукова. Да... Большой художникъ по своей части.

Вяло, тономъ засыпающаго человѣка, онъ сталъ разсказывать мнѣ про столяра Бутыгу. Я слушалъ. Потомъ Иванъ Иванычъ вышелъ въ сосѣднюю комнату, чтобы показать мнѣ замѣчательный по красотѣ и дешевизнѣ комодъ изъ палисандроваго дерева. Онъ постучалъ пальцемъ по комоду, потомъ обратилъ мое вниманіе на изразцовую печь съ рисунками, которыхъ теперь нигдѣ не встрѣтишь. И по печи постучалъ пальцемъ. Отъ комода, изразцовой печи и отъ креселъ и картинъ, шитыхъ шерстью и шелкомъ по канвѣ, въ прочныхъ и некрасивыхъ рамахъ, вѣяло добродушіемъ и сытостью. Какъ вспомнишь, что всѣ эти предметы стояли на этихъ же мѣстахъ и точно въ такомъ же порядкѣ, когда я еще былъ ребенкомъ и пріѣзжалъ сюда съ матерью на именины, то просто не вѣрится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думалъ: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строившій прежде всего прочно и основательно и видѣвшій въ этомъ главное, придавалъ какое-то особенное значеніе человѣческому долголѣтію, не думалъ о смерти и, вѣроятно, плохо вѣрилъ въ ея возможность; я же, когда строилъ свои желѣзные и каменные мосты, которые будутъ существовать тысячи лѣтъ, никакъ не могъ удержаться отъ мыслей: «Это не долговѣчно... Это ни къ чему». Если со временемъ какому-нибудь толковому историку искусствъ попадутся на глаза шкапъ Бутыги и мой

мостъ, то онъ скажетъ: «Это два въ своемъ родѣ замѣчательныхъ человѣка: Бутыга любилъ людей и не допускалъ мысли, что они могутъ умирать и разрушаться, и потому, дѣлая свою мебель, имѣлъ въ виду безсмертнаго человѣка, инженеръ же Асоринъ не любилъ ни людей, ни жизни; даже въ счастливыя минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушеніи и конечности, и потому, посмотрите, какъ у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линіи»...

— Я только эти комнаты топлю,—бормоталъ Иванъ Иванычъ, показывая мнѣ свои комнаты.—Съ тѣхъ поръ, какъ умерла жена и сына на войнѣ убили, я заперъ парадныя. Да... вотъ...

Онъ отперъ одну дверь, и я увидѣлъ большую комнату съ четырьмя колоннами, старый фортепьяно и кучу гороху на полу; пахнуло холодомъ и запахомъ сырья.

— А въ другой комнатѣ садовыя скамейки...—бормоталъ Иванъ Иванычъ.—Некому ужъ мазурку танцовать... Заперъ.

Послышался шумъ... Это пріѣхалъ докторъ Соболь. Пока онъ съ холоду потиралъ руки и приводилъ въ порядокъ свою мокрую бороду, я успѣлъ замѣтить, что, во-первыхъ, ему жилось очень скучно и потому пріятно было видѣть Ивана Иваныча и меня, и во-вторыхъ, это былъ простоватый и наивный человѣкъ. Онъ смотрѣлъ на меня такъ, какъ будто я былъ очень радъ его видѣть и очень интересуюсь имъ.

— Двѣ ночи не спалъ!—говорилъ онъ, наивно глядя на меня и причесываясь. — Одну ночь съ роженицей, а другую, всю напролетъ, клопы кусали, у мужика ночевалъ. Спать хочу, понимаете ли, какъ сатана.

Съ такимъ выраженіемъ, какъ будто это не можетъ доставить мнѣ ничего, кромѣ удовольствія, онъ взялъ меня подъ руку и повелъ въ столовую. Его наивные глаза, помятый сюртукъ, дешевый галстукъ и запахъ іодоформа произвели на меня непріятное впечатлѣніе; я почувствовалъ себя въ дурномъ обществѣ. Когда сѣли за столъ, онъ налилъ мнѣ водки, и я, безпомощно улыбаясь, выпилъ; онъ положилъ мнѣ на тарелку кусокъ ветчины — и я покорно съѣлъ.

— Repetitia est mater studiorum,—сказалъ Соболь, торопясь выпить другую рюмку. — Вѣрите ли, отъ радости,

что хорошихъ людей увидѣлъ, даже сонъ прошелъ. Я мужикъ, одичалъ въ глуши, огрубѣлъ, но я все-таки еще, господа, интеллигентный человѣкъ и искренно говорю вамъ: тяжело безъ людей!

Подали на холодное бѣлаго поросенка съ хрѣномъ и со сметаной, потомъ жирныя, очень горячія щи со свининой и гречневую кашу, отъ которой столбомъ валилъ паръ. Докторъ продолжалъ говорить, и скоро я убѣдился, что это былъ слабый, внѣшне безпорядочный и несчастный человѣкъ. Отъ трехъ рюмокъ онъ опьянѣлъ, неестественно оживился, ѣлъ очень много, покрякивая и причмокивая, и меня уже величалъ по-италіански: экчеленца. Наивно глядя на меня, какъ будто увѣренный, что я очень радъ видѣть его и слушать, онъ сообщилъ мнѣ, что со своею женой онъ давно уже разошелся и отдаетъ ей три четверти своего жалованья; что живетъ она въ городѣ съ его дѣтьми — мальчикомъ и дѣвочкой, которыхъ онъ обожаетъ, что любитъ онъ другую, вдову-помѣщицу, интеллигентную женщину, но бываетъ у нея рѣдко, такъ какъ бываетъ занятъ своимъ дѣломъ съ утра до ночи и совсѣмъ не имѣетъ свободнаго времени.

— Цѣлый день то въ больницѣ, то въ разъѣздахъ, — разсказывалъ онъ:—и, клянусь вамъ, экчеленца, не только что къ любимой женщинѣ съѣздить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лѣтъ ничего не читалъ! Десять лѣтъ, экчеленца! Что же касается матеріальной стороны, то вотъ извольте спросить у Ивана Ивановича: табаку купить иной разъ не на что.

— Зато у васъ нравственное удовлетвореніе,—сказалъ я.

— Чего-съ?—спросилъ онъ и прищурилъ одинъ глазъ.— Нѣтъ, давайте ужъ лучше выпьемъ.

Я слушалъ доктора и по своей всегдашней привычкѣ подводилъ къ нему свои обычныя мѣрки, — матеріалистъ, идеалистъ, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мѣрка не подходила даже приблизительно; и странное дѣло, пока я только слушалъ и глядѣлъ на него, то онъ, какъ человѣкъ, былъ для меня совершенно ясенъ, но какъ только я начиналъ подводить къ нему свои мѣрки, то при всей своей откровенности и простотѣ онъ становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. Можетъ ли этотъ человѣкъ, спрашивалъ я себя, растратить чужія

деньги, злоупотребить довѣріемъ, имѣть склонность къ даровымъ хлѣбамъ? И теперь этотъ, когда-то серьезный значительный вопросъ казался мнѣ наивнымъ, мелочнымъ и грубымъ.

Подали пирогъ, потомъ, помню, съ длинными промежутками, въ продолженіе которыхъ мы пили наливку, подавали соусъ изъ голубей, что-то изъ потроховъ, жаренаго поросенка, утку, куропатокъ, цвѣтную капусту, вареники, творогъ съ молокомъ, кисель и, подъ конецъ, блинчики съ варенъемъ. Сначала, особенно щи и кашу, я ѣлъ съ большимъ аппетитомъ, но потомъ жевалъ и глоталъ машинально, безпомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. Отъ горячихъ щей и отъ жары, какая была въ комнатѣ, у меня сильно горѣло лицо. Иванъ Иванычъ и Соболь тоже были красны.

— За здоровье вашей супруги,—сказалъ Соболь.—Она меня любитъ. Скажите ей, что кланялся ей лейбъ-медикъ.

— Счастливая, ей-Богу!—вздохнулъ Иванъ Иванычъ.—Не хлопотала, не безпокоилась, не суетилась, а вышло такъ, что она теперь первая персона во всемъ уѣздѣ. Почти все дѣло у нея въ рукахъ и около нея всѣ: и докторъ, и земскіе начальники, и барыни. У настоящихъ людей это какъ-то само собой выходитъ. Да... Яблонѣ не надо безпокоиться, чтобы на ней яблоки росли—сами выростутъ.

— Не безпокоятся равнодушные,—сказалъ я.

— А? Да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ, не разслышавъ.—Это вѣрно... Надо быть равнодушнымъ. Такъ, такъ... Именно... Будь только справедливъ передъ Богомъ и людьми, а тамъ—хоть трава не расти.

— Экчеленца,—сказалъ торжественно Соболь:—посмотрите вы на окружающую природу: высунь изъ воротника носъ или ухо—откуситъ; останься въ полѣ на одинъ часъ—снѣгомъ засыплетъ. А деревня такая же, какая еще при Рюрикѣ была, нисколько не измѣнилась, тѣ же печенѣги и половцы. Только и знаемъ, что горимъ, голодаемъ и на всѣ лады съ природой воюемъ. О чемъ бишь я? Да! Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься, вглядѣться да разобрать эту, съ позволенія сказать, кашу, то вѣдь это не жизнь, а пожаръ въ театрѣ! Тутъ, кто падаетъ или кричитъ отъ страха и мечется, тотъ первый врагъ порядка. Надо стоять прямо и глядѣть въ оба—и ни чичиркъ! Тутъ ужъ некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имѣешь дѣло со

стихіей, то и выставляй противъ нея стихію,—будь твердъ и неподатливъ, какъ камень. Не такъ ли, дѣдушка? — повернулся онъ къ Ивану Иванычу и засмѣялся. — Я самъ баба, тряпка, кисляй кисляичъ и потому терпѣть не могу кислоты. Не люблю мелкихъ чувствъ! Одинъ хандритъ, другой труситъ, третій войдетъ сейчасъ сюда и скажетъ: «Ишь ты, уперли десять блюдъ и заговорили о голодающихъ!» Мелко и глупо! Четвертый попрекнетъ васъ, экчеленца, что вы богаты. Извините меня, экчеленца,—продолжалъ онъ громко, приложивъ руку къ сердцу: — но то, что вы задали нашему слѣдователю работу, что онъ вашихъ воровъ день и ночь ищетъ, извините, это тоже мелко съ вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчасъ, по понимаете ли, мелко!

— Кто его проситъ безпокоиться, не понимаю?—сказалъ я, вставая; мнѣ вдругъ стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходилъ около стола.—Кто его проситъ безпокоиться? Я вовсе не просилъ... Чортъ его подери совсѣмъ!

— Троихъ арестовалъ и выпустилъ. Оказались не тѣ и теперь новыхъ ищетъ,—засмѣялся Соболь.—Грѣхи!

— И я вовсе не просилъ его безпокоиться,—сказалъ я, готовый заплакать отъ волненія. — Къ чему, къ чему все это? Ну, да, положимъ, я былъ не правъ, поступалъ я дурно, положимъ, но зачѣмъ они стараются, чтобы я былъ еще больше не правъ?

— Ну, ну, ну, ну!—сказалъ Соболь, успокаивая меня.— Ну, я выпивши, потому и сказалъ. Языкъ мой—врагъ мой. Ну-съ,—вздохнулъ онъ:—поѣли, наливки попили, а теперь на боковую.

Онъ всталъ изъ-за стола, поцѣловалъ Ивана Иваныча въ голову и, пошатываясь отъ сытости, вышелъ изъ столовой. Я и Иванъ Иванычъ молча покурили.

— Я, родной мой, не сплю послѣ обѣда,—сказалъ Иванъ Иванычъ:—а вы пожалуйте въ диванную, отдохните.

Я согласился. Въ полутемной, жарко натопленной комнатѣ, которая называлась диванною, стояли у стѣнъ длинные, широкіе диваны, крѣпкіе и тяжелые, работы столяра Бутыги; на нихъ лежали постели высокія, мягкія, бѣлыя, постланныя, вѣроятно, старушкою въ очкахъ. На одной постели, лицомъ къ спинкѣ дивана, безъ сюртука и безъ сапогъ, спалъ уже Соболь; другая ожидала меня. Я снялъ

сюртукъ, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который виталъ въ тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболя, покорно легъ!

И тотчасъ же мнѣ стали сниться жена, ея комната, начальникъ станціи съ ненавидящимъ лицомъ, кучи снѣга, пожаръ въ театрѣ... Приснились мужики, вытащившіе у меня изъ амбара двадцать кулей ржи...

— Все-таки это хорошо, что слѣдователь отпустилъ ихъ,—говорю я.

Я просыпаюсь отъ своего голоса, минуту съ недоумѣніемъ смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстыя пятки, потомъ опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся въ другой разъ, было уже темно. Соболь спалъ. На душѣ у меня было покойно и хотѣлось поскорѣе домой. Я одѣлся и вышелъ изъ диванной. Иванъ Иванычъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ въ большомъ креслѣ совершенно неподвижно и глядѣлъ въ одну точку, и видно было, что въ такомъ состояніи оцѣпенѣнія онъ находился все время, пока я спалъ.

— Хорошо!—сказалъ я, зѣвая.—У меня такое чувство, какъ будто я проснулся послѣ розговѣнья на Пасху. Я къ вамъ теперь часто буду ѣздить. Скажите, у васъ обѣдала жена когда-нибудь?

— Бы... ба... бы... бываетъ,—забормоталъ Иванъ Иванычъ, дѣлая усиліе, чтобы пошевелиться. — Въ прошлую субботу обѣдала. Да... Она меня любитъ.

Послѣ нѣкотораго молчанія я сказалъ:

— Помните, Иванъ Иванычъ, вы говорили, что у меня дурной характеръ и что со мной тяжело? Но что надо сдѣлать, чтобы характеръ былъ другой?

— Не знаю, голубчикъ... Я человѣкъ сырой, обрюзгъ, совѣтовать уже не могу... Да... А сказалъ я вамъ тогда потому, что люблю васъ, и жену вашу люблю, и отца любилъ... Да. Я скоро помру и какая мнѣ надобность таиться отъ васъ или врать? Такъ и говорю: люблю васъ крѣпко, но не уважаю. Да, не уважаю.

Онъ повернулся ко мнѣ и проговорилъ шопотомъ, задыхаясь:

— Невозможно васъ уважить, голубчикъ. Съ виду вы какъ будто и настоящій человѣкъ. Наружность у васъ и осанка какъ у французскаго президента Карно,—въ иллю-

страціи намедни видѣлъ... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и въ чинахъ, рукой до васъ не достанешь, но, голубчикъ, у васъ душа не настоящая... Силы въ ней нѣтъ... Да.

— Скіоъ, однимъ словомъ,—засмѣялся я.—Но что жена? Разскажите мнѣ что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мнѣ хотѣлось говорить про жену, но вошелъ Соболь и помѣшалъ.

— Поспалъ, умылся, — сказалъ онъ, наивно глядя на меня:—попью чайку съ ромомъ и домой.

VII.

Былъ уже восьмой часъ вечера. Изъ передней до крыльца, кромѣ Ивана Иваныча, провожали насъ съ причитываніями и пожеланіями всякихъ благъ бабы, старуха въ очкахъ, дѣвочки и мужикъ, а около лошадей въ потемкахъ стояли и бродили какіе-то люди съ фонарями, учили нашихъ кучеровъ, какъ и гдѣ лучше проѣхать, и желали намъ добраго пути. Лошади, сани и люди были бѣлы.

— Откуда у него столько народу? — спросилъ я, когда моя тройка и докторская пара шагомъ выѣзжали со двора.

— Это все его крѣпостные,—сказалъ Соболь.—До него еще не дошло положеніе. Кое-кто изъ старой прислуги свой вѣкъ доживаетъ; ну, сиротки разныя, которымъ дѣваться некуда; есть и такіе, что насильно живутъ, не выгонишь. Чудной старикъ!

Опять быстрая ѣзда, необыкновенный голосъ пьянаго Никанора, вѣтеръ и неотвязчивый снѣгъ, лѣзущій въ глаза, въ ротъ, во всѣ складки шубы...

«Эка меня носитъ!»—думаю я, а мои колокольчики заливаются вмѣстѣ съ докторскими, вѣтеръ свиститъ, кучера гикаютъ и подъ этотъ неистовый шумъ я вспоминаю всѣ подробности этого страннаго, дикаго, единственнаго въ моей жизни дня, и мнѣ кажется, что я въ самомъ дѣлѣ съ ума сошелъ или же сталъ другимъ человѣкомъ. Какъ будто тотъ, кѣмъ я былъ до сегодняшняго дня, мнѣ уже чуждъ.

Докторъ ѣхалъ позади и все время громко разговаривалъ со своимъ кучеромъ. Изрѣдка онъ догонялъ меня, ѣхалъ рядомъ и все съ тою же наивною увѣренностью, что для меня это очень пріятно, предлагалъ папиросъ, просилъ спичекъ. *А то,* поровнявшись со мной, онъ вдругъ вытянулся въ са-

няхъ во весь ростъ, замахалъ рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннѣе рукъ, и закричалъ:

— Лупи, Васька! Обгони-ка тысячныхъ! Эй, котята!

И докторскія котята при громкомъ злорадномъ смѣхѣ Соболя и его Васьки понеслись впередъ. Мой Никаноръ обидѣлся и придержалъ тройку, но когда не стало уже слышно докторскихъ звонковъ, поднялъ локти, гикнулъ и моя тройка, какъ бѣшеная, понеслась вдогонку. Мы въѣхали въ какую-то деревню. Вотъ мелькнули огоньки, силуэты избъ, кто-то крикнулъ: «Ишь, черти!» Проскакали, кажется, версты двѣ, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поровнялись съ докторомъ и поѣхали тише, онъ попросилъ спичекъ и сказалъ:

— Вотъ прокормите-ка эту улицу! А вѣдь здѣсь пять такихъ улицъ, сударь. Стой! Стой!—закричалъ онъ.—Къ трактиру поворачивай! Надо согрѣться и лошадямъ отдохнуть.

Остановились около трактира.

— У меня въ епархіи не одна такая деревенька,—говорилъ докторъ, отворяя тяжелую дверь съ визжащимъ блокомъ и пропуская меня впередъ.—Среди бѣла дня взглянешь на такую улицу — конца не видать, а тутъ еще переулки, и только затылокъ почешешь. Трудно что-нибудь сдѣлать.

Мы вошли въ «чистую» комнату, гдѣ сильно пахло скатертями, и при нашемъ входѣ вскочилъ съ лавки заспанный мужикъ въ жилеткѣ и рубахѣ на-выпускъ. Соболь попросилъ пива, а я чаю.

— Трудно что-нибудь сдѣлать,—говорилъ Соболь.—Ваша супруга вѣритъ, я преклоняюсь передъ ней и уважаю, но самъ глубоко не вѣрю. Пока наши отношенія къ народу будутъ носить характеръ обычной благотворительности, какъ въ дѣтскихъ пріютахъ или инвалидныхъ домахъ, до тѣхъ поръ мы будемъ только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношенія наши должны быть дѣловыя, основанныя на расчетѣ, знаніи и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь былъ у меня работникомъ; у него не уродило, онъ голоденъ и боленъ. Если я даю ему теперь по 15 коп. въ день, то этимъ я хочу вернуть его въ прежнее положеніе работника, то-есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тѣмъ эти 15 коп. я почему-то называю помощью, пособіемъ, добрымъ дѣломъ. Теперь будемъ говорить такъ. По самому скромному расчету, считая по 7 коп.

на душу и по 5 душъ въ семьѣ, чтобы прокормить 1.000 семействъ, нужно 350 руб. въ день. Этой цифрой опредѣляются наши дѣловыя обязательныя отношенія къ 1.000 семействъ. А между тѣмъ мы даемъ не 350 въ день, а только 10 и говоримъ, что это пособіе, помощь, что за это ваша супруга и всѣ мы исключительно прекрасные люди, и да здравствуетъ гуманность. Такъ-то, душа моя! Ахъ, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, разсуждали да совѣстливо относились къ своимъ обязательствамъ! Сколько среди насъ такихъ гуманныхъ, чувствительныхъ людей, которые искренно бѣгаютъ по дворамъ съ подписными листами, но не платятъ своимъ портнымъ и кухаркамъ. Логики въ нашей жизни нѣтъ. вотъ что! Логики!

Мы помолчали. Я мысленно сдѣлалъ расчетъ и сказалъ:

— Я буду кормить тысячу семействъ въ продолженіе двухсотъ дней. Вы пріѣзжайте завтра поговорить.

Я былъ доволенъ, что это вышло у меня просто, и былъ радъ, что Соболь отвѣтилъ мнѣ еще проще:

— Ладно.

Мы заплатили, что нужно, и вышли изъ трактира.

— Люблю такъ путаться,—сказалъ Соболь, садясь въ сани.—Экчеленца, одолжите спичку: я свои въ трактирѣ забылъ.

Черезъ четверть часа его пара отстала, и сквозь шумъ метели уже не слышно было его звонковъ. Пріѣхавъ домой, я прошелся по своимъ комнатамъ, стараясь обдумать и возможно яснѣе опредѣлить себѣ свое положеніе; у меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова. Голова не работала.

Не придумавъ ничего, я отправился внизъ къ женѣ. Она стояла у себя въ комнатѣ все въ томъ же розовомъ капотѣ и въ той же позѣ, какъ бы загораживая отъ меня свои бумаги. Лицо ея выражало недоумѣніе и насмѣшку. Видно было, что она, узнавъ о моемъ пріѣздѣ, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, какъ вчера, а смѣяться надо мною, отвѣчать мнѣ презрѣніемъ и поступать рѣшительно. Лицо ея говорило: если такъ, то прощайте.

— Natalie, я не уѣхалъ,—сказалъ я:—но это не обманъ. *Я съ* ума сошелъ, постарѣлъ, боленъ, сталъ другимъ чело-

вѣкомъ — какъ хотите, думайте... Отъ прежняго самого себя я отшатнулся съ ужасомъ, съ ужасомъ презираю и стыжусь его, а тотъ новый человѣкъ, который во мнѣ со вчерашняго дня, не пускаетъ меня уѣхать. Не гоните меня, Natalie!

Она пристально посмотрѣла мнѣ въ лицо, повѣрила, и въ ея глазахъ блеснуло безпокойство. Очарованный ея присутствіемъ, согрѣтый теплomъ ея комнаты, я бормоталъ какъ въ бреду, протягивая къ ней руки:

— Я говорю вамъ: кромѣ васъ, у меня никого нѣтъ близкихъ. Я ни на одну минуту не переставалъ скучать по васъ, и только упрямое самолюбіе мѣшало мнѣ сознаваться въ этомъ. Того прошлаго, когда мы жили какъ мужъ и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сдѣлайте меня вашимъ слугой, возьмите все мое состояніе и раздайте его, кому хотите. Я покоенъ, Natalie, я доволенъ... Я покоенъ.

Жена, пристально и съ любопытствомъ смотрѣвшая мнѣ въ лицо, вдругъ тихо вскрикнула, заплакала и выбѣжала въ сосѣднюю комнату. Я пошелъ къ себѣ наверхъ.

Черезъ часъ я уже сидѣлъ за столомъ и писалъ «Исторію желѣзныхъ дорогъ», и голодающіе не мѣшали мнѣ дѣлать это. Теперь я уже не чувствую безпокойства. Ни тѣ безпорядки, которые я видѣлъ, когда на-дняхъ съ женою и съ Соболемъ обходилъ избы въ Пестровѣ, ни зловѣщіе слухи, ни ошибки служащихъ людей, ни моя близкая старость—ничто не безпокоитъ меня. Какъ летающія ядра и пули на войнѣ не мѣшаютъ солдатамъ говорить о своихъ дѣлахъ, ѣсть и починять обувь, такъ и голодающіе не мѣшаютъ мнѣ покойно спать и заниматься своими личными дѣлами. У меня въ домѣ, во дворѣ и далеко кругомъ кипитъ работа, которую докторъ Соболь называетъ «благотворительною оргіей»; жена часто входитъ ко мнѣ и безпокойно обводитъ глазами мои комнаты, какъ бы ища, что еще можно отдать голодающимъ, чтобы «найти оправданіе своей жизни», и я вижу, что, благодаря ей, скоро отъ нашего состоянія не останется ничего, и мы будемъ бѣдны, но это не волнуетъ меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будетъ дальше, не знаю.

Оглавленіе

VII ТОМА.

	стр.		стр.
Володя	3	Припадокъ	119
Княгиня	16	Шампанское	142
Бѣда	28	Въ ссылкѣ	148
Спать хочется	35	Отецъ	157
Холодная кровь	41	Жена	165
Скучная исторія	59		

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Учитель.—Тяжелые люди.—Дуэль.—Палата № 6.—Гусевъ.—Бабы.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

УЧИТЕЛЬ.

Ѳедоръ Лукичъ Сысоевъ, учитель фабричной школы, содержимой на счетъ «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился къ торжественному обѣду. Ежегодно послѣ экзаменовъ дирекція фабрики устраивала обѣдъ, на которомъ присутствовали: инспекторъ народныхъ училищъ, всѣ присутствовавшіе на экзаменѣ и администрація фабрики. Обѣды, несмотря на свою офиціальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забывъ чинопочитаніе и памятуя только о своихъ трудахъ праведныхъ, учителя досыта наѣдались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечеромъ, оглашая весь фабричный поселокъ пѣніемъ и звуками поцѣлуевъ. Такихъ обѣдовъ Сысоевъ, сообразно числу лѣтъ, прослуженныхъ имъ въ фабричной школѣ, пережилъ тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обѣдъ, онъ старался придать себѣ возможно праздничный и приличный видъ. Цѣлый часъ онъ чистилъ вѣничкомъ новую черную пару, почти столько же времени стоялъ передъ зеркаломъ, когда надѣвалъ модную сорочку; запонки плохо пролѣзали въ петли сорочки, и это обстоятельство вызвало цѣлую бурю жалобъ, угрозъ и попрековъ по адресу жены. Бѣгаючи около него, бѣдная жена выбилась изъ силъ. Да и самъ онъ подъ конецъ замучился. Когда принесли ему изъ кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило силъ натянуть ихъ на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.

— Какъ ты слабъ сталъ!—вздохнула жена.—Тебѣ бы вовсе не ходить на этотъ обѣдъ.

стихіей, то и выставляй противъ нея стихію,—будь твердъ и неподатливъ, какъ камень. Не такъ ли, дѣдушка? — повернулся онъ къ Ивану Иванычу и засмѣялся. — Я самъ баба, тряпка, кисляй кисляичъ и потому терпѣть не могу кислоты. Не люблю мелкихъ чувствъ! Одинъ хандритъ, другой труситъ, третій войдетъ сейчасъ сюда и скажетъ: «Ишь ты, уперли десять блюдъ и заговорили о голодающихъ!» Мелко и глупо! Четвертый попрекнетъ васъ, экченленца, что вы богаты. Извините меня, экченленца,—продолжалъ онъ громко, приложивъ руку къ сердцу: — но то, что вы задали нашему слѣдователю работу, что онъ вашихъ воровъ день и ночь ищетъ, извините, это тоже мелко съ вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчасъ, но понимаете ли, мелко!

— Кто его проситъ безпокоиться, не понимаю?—сказалъ я, вставая; мнѣ вдругъ стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходилъ около стола.—Кто его проситъ безпокоиться? Я вовсе не просилъ... Чортъ его подери совсѣмъ!

— Троихъ арестовалъ и выпустилъ. Оказались не тѣ и теперь новыхъ ищетъ,—засмѣялся Соболь.—Грѣхи!

— И я вовсе не просилъ его безпокоиться,—сказалъ я, готовый заплакать отъ волненія. — Къ чему, къ чему все это? Ну, да, положимъ, я былъ не правъ, поступалъ я дурно, положимъ, но зачѣмъ они стараются, чтобы я былъ еще больше не правъ?

— Ну, ну, ну, ну!—сказалъ Соболь, успокаивая меня.— Ну, я выпивши, потому и сказалъ. Языкъ мой—врагъ мой. Ну-съ,—вздохнулъ онъ:—поѣли, наливки попили, а теперь на боковую.

Онъ всталъ изъ-за стола, поцѣловалъ Ивана Иваныча въ голову и, пошатываясь отъ сытости, вышелъ изъ столовой. Я и Иванъ Иванычъ молча покурили.

— Я, родной мой, не сплю послѣ обѣда,—сказалъ Иванъ Иванычъ:—а вы пожалуйте въ диванную, отдохните.

Я согласился. Въ полутемной, жарко натопленной комнатѣ, которая называлась диванною, стояли у стѣнъ длинные, широкіе диваны, крѣпкіе и тяжелые, работы столяра Бутыги; на нихъ лежали постели высокія, мягкія, бѣлыя, постланныя, вѣроятно, старушкою въ очкахъ. На одной постели, лицомъ къ спинкѣ дивана, безъ сюртука и безъ сапогъ, спалъ уже Соболь; другая ожидала меня. Я снялъ

сюртукъ, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который виталъ въ тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболя, покорно легъ!

И тотчасъ же мнѣ стали сниться жена, ея комната, начальникъ станціи съ ненавидящимъ лицомъ, кучи снѣга, пожаръ въ театрѣ... Приснились мужики, вытащившіе у меня изъ амбара двадцать кулей ржи...

— Все-таки это хорошо, что слѣдователь отпустилъ ихъ,—говорю я.

Я просыпаюсь отъ своего голоса, минуту съ недоумѣніемъ смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстыя пятки, потомъ опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся въ другой разъ, было уже темно. Соболь спалъ. На душѣ у меня было покойно и хотѣлось поскорѣе домой. Я одѣлся и вышелъ изъ диванной. Иванъ Иванычъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ въ большомъ креслѣ совершенно неподвижно и глядѣлъ въ одну точку, и видно было, что въ такомъ состояніи оцѣпенѣнія онъ находился все время, пока я спалъ.

— Хорошо!—сказалъ я, зѣвая.—У меня такое чувство, какъ будто я проснулся послѣ розговѣнья на Пасху. Я къ вамъ теперь часто буду ѣздить. Скажите, у васъ обѣдала жена когда-нибудь?

— Бы... ба... бы... бываетъ,—забормоталъ Иванъ Иванычъ, дѣлая усиліе, чтобы пошевелиться. — Въ прошлую субботу обѣдала. Да... Она меня любитъ.

Послѣ нѣкотораго молчанія я сказалъ:

— Помните, Иванъ Иванычъ, вы говорили, что у меня дурной характеръ и что со мной тяжело? Но что надо сдѣлать, чтобы характеръ былъ другой?

— Не знаю, голубчикъ... Я человѣкъ сырой, обрюзгъ, совѣтовать уже не могу... Да... А сказалъ я вамъ тогда потому, что люблю васъ, и жену вашу люблю, и отца любилъ... Да. Я скоро помру и какая мнѣ надобность таиться отъ васъ или врать? Такъ и говорю: люблю васъ крѣпко, но не уважаю. Да, не уважаю.

Онъ повернулся ко мнѣ и проговорилъ шопотомъ, задыхаясь:

— Невозможно васъ уважить, голубчикъ. Съ виду вы какъ будто и настоящій человѣкъ. Наружность у васъ и осанка какъ у французскаго президента Карно,—въ иллю-

страціи намедни видѣлъ... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и въ чинахъ, рукой до васъ не достанешь, но, голубчикъ, у васъ душа не настоящая... Силы въ ней нѣтъ... Да.

— Скиѳъ, однимъ словомъ,—засмѣялся я.—Но что жена? Разскажите мнѣ что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мнѣ хотѣлось говорить про жену, но вошелъ Соболь и помѣшалъ.

— Поспалъ, умылся, — сказалъ онъ, наивно глядя на меня:—попью чайку съ ромомъ и домой.

VII.

Былъ уже восьмой часъ вечера. Изъ передней до крыльца, кромѣ Ивана Иваныча, провожали насъ съ причитываніями и пожеланіями всякихъ благъ бабы, старуха въ очкахъ, дѣвочки и мужикъ, а около лошадей въ потемкахъ стояли и бродили какіе-то люди съ фонарями, учили нашихъ кучеровъ, какъ и гдѣ лучше проѣхать, и желали намъ добраго пути. Лошади, сани и люди были бѣлы.

— Откуда у него столько народу? — спросилъ я, когда моя тройка и докторская пара шагомъ выѣзжали со двора.

— Это все его крѣпостные,—сказалъ Соболь.—До него еще не дошло положеніе. Кое-кто изъ старой прислуги свой вѣкъ доживаетъ; ну, сиротки разныя, которымъ дѣваться некуда; есть и такіе, что насильно живутъ, не выгонишь. Чудной старикъ!

Опять быстрая ѣзда, необыкновенный голосъ пьянаго Никанора, вѣтеръ и неотвязчивый снѣгъ, лѣзущій въ глаза, въ ротъ, во всѣ складки шубы...

«Эка меня носитъ!»—думаю я, а мои колокольчики заливаются вмѣстѣ съ докторскими, вѣтеръ свиститъ, кучера гикаютъ и подъ этотъ неистовый шумъ я вспоминаю всѣ подробности этого страннаго, дикаго, единственнаго въ моей жизни дня, и мнѣ кажется, что я въ самомъ дѣлѣ съ ума сошелъ или же сталъ другимъ человѣкомъ. Какъ будто тотъ, кѣмъ я былъ до сегодняшняго дня, мнѣ уже чуждъ.

Докторъ ѣхалъ позади и все время громко разговаривалъ со своимъ кучеромъ. Изрѣдка онъ догонялъ меня, ѣхалъ рядомъ и все съ тою же наивною увѣренностью, что для меня это очень пріятно, предлагалъ папиросъ, просилъ спичекъ. А то, поровнявшись со мной, онъ вдругъ вытянулся въ са-

няхъ во весь ростъ, замахалъ рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннѣе рукъ, и закричалъ:

— Лупи, Васька! Обгони-ка тысячныхъ! Эй, котята!

И докторскія котята при громкомъ злорадномъ смѣхѣ Соболя и его Васьки понеслись впередъ. Мой Никаноръ обидѣлся и придержалъ тройку, но когда не стало уже слышно докторскихъ звонковъ, поднялъ локти, гикнулъ и моя тройка, какъ бѣшеная, понеслась вдогонку. Мы въѣхали въ какую-то деревню. Вотъ мелькнули огоньки, силуэты избъ, кто-то крикнулъ: «Ишь, черти!» Проскакали, кажется, версты двѣ, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поровнялись съ докторомъ и поѣхали тише, онъ попросилъ спичекъ и сказалъ:

— Вотъ прокормите-ка эту улицу! А вѣдь здѣсь пять такихъ улицъ, сударь. Стой! Стой!—закричалъ онъ.—Къ трактиру поворачивай! Надо согрѣться и лошадямъ отдохнуть.

Остановились около трактира.

— У меня въ епархіи не одна такая деревенька,—говорилъ докторъ, отворяя тяжелую дверь съ визжащимъ блокомъ и пропуская меня впередъ.—Среди бѣла дня взглянешь на такую улицу — конца не видать, а тутъ еще переулки, и только затылокъ почешешь. Трудно что-нибудь сдѣлать.

Мы вошли въ «чистую» комнату, гдѣ сильно пахло скатертями, и при нашемъ входѣ вскочилъ съ лавки заспанный мужикъ въ жилеткѣ и рубахѣ на-выпускъ. Соболь попросилъ пива, а я чаю.

— Трудно что-нибудь сдѣлать,—говорилъ Соболь.—Ваша супруга вѣритъ, я преклоняюсь передъ ней и уважаю, но самъ глубоко не вѣрю. Пока наши отношенія къ народу будутъ носить характеръ обычной благотворительности, какъ въ дѣтскихъ пріютахъ или инвалидныхъ домахъ, до тѣхъ поръ мы будемъ только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношенія наши должны быть дѣловыя, основанныя на расчетѣ, знаніи и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь былъ у меня работникомъ; у него не уродило, онъ голоденъ и боленъ. Если я даю ему теперь по 15 коп. въ день, то этимъ я хочу вернуть его въ прежнее положеніе работника, то-есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тѣмъ эти 15 коп. я почему-то называю помощью, пособіемъ, добрымъ дѣломъ. Теперь будемъ говорить такъ. По самому скромному расчету, считая по 7 коп.

на душу и по 5 душъ въ семьѣ, чтобы прокормить 1.000 семействъ, нужно 350 руб. въ день. Этой цифрой опредѣляются наши дѣловыя обязательныя отношенія къ 1.000 семействъ. А между тѣмъ мы даемъ не 350 въ день, а только 10 и говоримъ, что это пособіе, помощь, что за это ваша супруга и всѣ мы исключительно прекрасные люди, и да здравствуетъ гуманность. Такъ-то, душа моя! Ахъ, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, разсуждали да совѣстливо относились къ своимъ обязательствамъ! Сколько среди насъ такихъ гуманныхъ, чувствительныхъ людей, которые искренно бѣгаютъ по дворамъ съ подписными листами, но не платятъ своимъ портнымъ и кухаркамъ. Логики въ нашей жизни нѣтъ, вотъ что! Логики!

Мы помолчали. Я мысленно сдѣлалъ расчетъ и сказалъ:

— Я буду кормить тысячу семействъ въ продолженіе двухсотъ дней. Вы пріѣзжайте завтра поговорить.

Я былъ доволенъ, что это вышло у меня просто, и былъ радъ, что Соболь отвѣтилъ мнѣ еще проще:

— Ладно.

Мы заплатили, что нужно, и вышли изъ трактира.

— Люблю такъ путаться,—сказалъ Соболь, садясь въ сани.—Экчеленца, одолжите спичку: я свои въ трактирѣ забылъ.

Черезъ четверть часа его пара отстала, и сквозь шумъ метели уже не слышно было его звонковъ. Пріѣхавъ домой, я прошелся по своимъ комнатамъ, стараясь обдумать и возможно яснѣе опредѣлить себѣ свое положеніе; у меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова. Голова не работала.

Не придумавъ ничего, я отправился внизъ къ женѣ. Она стояла у себя въ комнатѣ все въ томъ же розовомъ капотѣ и въ той же позѣ, какъ бы загораживая отъ меня свои бумаги. Лицо ея выражало недоумѣніе и насмѣшку. Видно было, что она, узнавъ о моемъ пріѣздѣ, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, какъ вчера, а смѣяться надо мною, отвѣчать мнѣ презрѣніемъ и поступать рѣшительно. Лицо ея говорило: если такъ, то прощайте.

— Natalie, я не уѣхалъ,—сказалъ я:—но это не обманъ. Я съ ума сошелъ, постарѣлъ, боленъ, сталъ другимъ чело-

вѣкомъ — какъ хотите, думайте... Отъ прежняго самого себя я отшатнулся съ ужасомъ, съ ужасомъ презираю и стыжусь его, а тотъ новый человѣкъ, который во мнѣ со вчерашняго дня, не пускаетъ меня уѣхать. Не гоните меня, Natalie!

Она пристально посмотрѣла мнѣ въ лицо, повѣрила, и въ ея глазахъ блеснуло безпокойство. Очарованный ея присутствіемъ, согрѣтый теплomъ ея комнаты, я бормоталъ какъ въ бреду, протягивая къ ней руки:

— Я говорю вамъ: кромѣ васъ, у меня никого нѣтъ близкихъ. Я ни на одну минуту не переставалъ скучать по васъ, и только упрямое самолюбіе мѣшало мнѣ сознаваться въ этомъ. Того прошлаго, когда мы жили какъ мужъ и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сдѣлайте меня вашимъ слугой, возьмите все мое состояніе и раздайте его, кому хотите. Я покоенъ, Natalie, я доволенъ... Я покоенъ.

Жена, пристально и съ любопытствомъ смотрѣвшая мнѣ въ лицо, вдругъ тихо вскрикнула, заплакала и выбѣжала въ сосѣднюю комнату. Я пошелъ къ себѣ наверхъ.

Черезъ часъ я уже сидѣлъ за столомъ и писалъ «Исторію желѣзныхъ дорогъ», и голодающіе не мѣшали мнѣ дѣлать это. Теперь я уже не чувствую безпокойства. Ни тѣ безпорядки, которые я видѣлъ, когда на-дняхъ съ женою и съ Соболемъ обходилъ избы въ Пестровѣ, ни зловѣщіе слухи, ни ошибки служащихъ людей, ни моя близкая старость—ничто не безпокоитъ меня. Какъ летающія ядра и пули на войнѣ не мѣшаютъ солдатамъ говорить о своихъ дѣлахъ, ѣсть и починять обувь, такъ и голодающіе не мѣшаютъ мнѣ покойно спать и заниматься своими личными дѣлами. У меня въ домѣ, во дворѣ и далеко кругомъ кипитъ работа, которую докторъ Соболь называетъ «благотворительною оргіей»; жена часто входитъ ко мнѣ и безпокойно обводитъ глазами мои комнаты, какъ бы ища, что еще можно отдать голодающимъ, чтобы «найти оправданіе своей жизни», и я вижу, что, благодаря ей, скоро отъ нашего состоянія не останется ничего, и мы будемъ бѣдны, но это не волнуетъ меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будетъ дальше, не знаю.

Оглавленіе

VII ТОМА.

	стр.		стр.
Володя	3	Припадокъ	119
Княгиня	16	Шампанское	142
Бѣда	28	Въ ссылкѣ	148
Спать хочется	35	Отецъ	157
Холодная кровь	41	Жена	165
Скучная исторія	59		

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Антъ. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Учитель.—Тяжелые люди.—Дуэль.—Палата № 6.—Гусевъ.—Бабы.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

УЧИТЕЛЬ.

Ѳедоръ Лукичъ Сысоевъ, учитель фабричной школы, содержимой на счетъ «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился къ торжественному обѣду. Ежегодно послѣ экзаменовъ дирекція фабрики устраивала обѣдъ, на которомъ присутствовали: инспекторъ народныхъ училищъ, всѣ присутствовавшіе на экзаменѣ и администрація фабрики. Обѣды, несмотря на свою офиціальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забывъ чинопочитаніе и памятуя только о своихъ трудахъ праведныхъ, учителя досыта наѣдались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечеромъ, оглашая весь фабричный поселокъ пѣніемъ и звуками поцѣлуевъ. Такихъ обѣдовъ Сысоевъ, сообразно числу лѣтъ, прослуженныхъ имъ въ фабричной школѣ, пережилъ тринадцать.

Теперь, собираясь на четырнадцатый обѣдъ, онъ старался придать себѣ возможно праздничный и приличный видъ. Цѣлый часъ онъ чистилъ вѣничкомъ новую черную пару, почти столько же времени стоялъ передъ зеркаломъ, когда надѣвалъ модную сорочку; запонки плохо пролѣзали въ петли сорочки, и это обстоятельство вызвало цѣлую бурю жалобъ, угрозъ и попрековъ по адресу жены. Бѣгаючи около него, бѣдная жена выбилась изъ силъ. Да и самъ онъ подъ конецъ замучился. Когда принесли ему изъ кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило силъ натянуть ихъ на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.

— Какъ ты слабъ сталъ!—вздохнула жена.—Тебѣ бы вовсе не ходить на этотъ обѣдъ.

— Прошу безъ совѣтовъ!—сердито оборвалъ ее учитель.

Онъ былъ сильно не въ духѣ, такъ какъ былъ очень недоволенъ послѣдними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; всѣ мальчики старшаго отдѣленія были удостоены свидѣтельства и награды; начальство, и фабричное, и казенное, осталось довольно успѣхами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученикъ Бабкинъ, всегда писавшій безъ одной ошибки, сдѣлалъ въ экзаменаціонномъ диктантѣ три ошибки; ученикъ Сергѣевъ отъ волненія не сумѣлъ помножить 17 на 13; инспекторъ, человѣкъ молодой и неопытный, статью для диктанта выбралъ трудную, а учитель сосѣдней школы, Ляпуновъ, котораго инспекторъ попросилъ диктовать, велъ себя «не по-товарищески»: диктуя—выговаривалъ слова не такъ, какъ они пишутся, и точно жевалъ слова.

Натянувши съ помощью жены штиблеты и оглядѣвъ себя еще разъ въ зеркало, учитель взялъ свою суковатую палку и отправился на обѣдъ. У самаго входа въ квартиру директора фабрики, гдѣ устраивалось торжество, съ нимъ произошла маленькая непріятность. Онъ вдругъ закашлялся... Отъ кашлевыхъ толчковъ съ головы слетѣла фуражка и изъ рукъ вывалилась палка, а когда изъ квартиры директора, заслышавъ его кашель, выбѣжали учителя и инспекторъ училищъ, онъ сидѣлъ на нижней ступени и обливался потомъ.

— Ѳедоръ Лукичъ, это вы?—удивился инспекторъ.—Вы... пришли?

— А что?

— Вамъ, голубчикъ, посидѣть бы дома. Сегодня вы совсѣмъ нездоровы...

— Сегодня я такой, какимъ и вчера былъ. А если вамъ непріятно мое присутствіе, то я могу уйти.

— Ну, къ чему эти слова, Ѳедоръ Лукичъ? Зачѣмъ говорить это? Милости просимъ! Собственно вѣдь не мы, а вы виновникъ торжества. Намъ даже очень пріятно, помилуйте!..

Въ квартирѣ директора фабрики все уже было готово къ торжеству. Въ большой столовой съ нѣмецкими олеографіями и запахомъ герани и лака, стояли два стола: одинъ большой для обѣда, другой поменьше—закусочный. Въ окно *сквозь* спущенныя шторы еле-еле пробивался полуденный,

знойный свѣтъ... Комнатныя сумерки, швейцарскіе виды на шторахъ, герань, тонко порѣзанная колбаса на тарелкахъ—глядѣли наивно, дѣвически-сентиментально, и все это было похоже на самого хозяина квартиры, маленькаго, добродушнаго нѣмца, съ круглымъ животикомъ и съ масляными, ласковыми глазками. Адольфъ Андрейчъ Бруни (такъ звали хозяина) суетился около закусочнаго стола, какъ на пожарѣ, наливалъ рюмки, подкладывалъ въ тарелки и все старался, какъ бы угодить, разсмѣшить, показать свое дружелюбіе. Онъ хлопалъ по плечамъ, заглядывалъ въ глаза, хихикалъ, потиралъ руки, однимъ словомъ, ласкался, какъ добрая собака.

— Ѳедоръ Лукичъ, кого вижу!—заговорилъ онъ прерывистымъ голосомъ, увидѣвъ Сысоева.—Какъ намъ пріятно! Несмотря на свою болѣзнь, вы пришли!.. Господа, позвольте васъ порадовать: Ѳедоръ Лукичъ пришелъ!

Около закусочнаго столика уже толпились педагоги и ѣли. Сысоевъ нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали ѣсть и пить, не дождавшись его. Онъ выглядѣлъ среди нихъ Ляпунова, того самаго, который диктовалъ на экзаменѣ, и подойдя къ нему началъ:

— Это не по-товарищески! Да-съ! Такъ порядочные люди не диктуютъ!

— Господи, вы все о томъ же!—сказалъ Ляпуновъ и поморщился.—Неужели вамъ не надоѣло?

— Да, все о томъ же! У меня Бабкинъ никогда ошибокъ не дѣлалъ! Я знаю, почему вы такъ диктовали. Вамъ просто хотѣлось, чтобы мои ученики провалились и ваша школа показалась лучше моей. Я все понимаю!..

— Да что вы придираетесь?—огрызнулся Ляпуновъ.—Какого чорта вы ко мнѣ пристаете?

— Будетъ, господа,—вмѣшался инспекторъ, дѣлая плачущее лицо.—Ну, стоитъ ли изъ-за пустяковъ горячиться? Три ошибки... ни одной ошибки... ну, не все ли это равно?

— Нѣтъ, не все равно. У меня Бабкинъ никогда ошибокъ не дѣлалъ!

— Пристаетъ! — продолжалъ Ляпуновъ, сердито фыркая.—Пользуется своимъ положеніемъ больного человѣка и всѣхъ поѣдомъ ѣстъ. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!

— Оставьте мою болѣзнь въ покоѣ!—сердито крикнулъ Сысоевъ.—Какое вамъ дѣло? Зарядили всѣ одно: болѣзнь! болѣзнь! болѣзнь!.. Очень мнѣ нужно ваше сочувствіе! Да и откуда вы взяли, что я боленъ? Былъ до экзаменовъ боленъ, это правда, а теперь я совсѣмъ поправился, только слабость осталась.

— Выздоровѣлъ, ну, и слава Богу,—сказалъ законоучитель о. Николай, молодой священникъ въ франтоватой коричневой рясѣ и въ брюкахъ на выпускъ.—Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.

— Вы тоже хороши,—перебилъ его Сысоевъ.—Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы все время загадки задавали. Такъ нельзя!

Его кое-какъ общими силами успокоили и усадили за столъ. Онъ долго выбиралъ, чего бы выпить, и, сдѣлавъ кислое лицо, выпилъ полрюмки какой-то зеленой настойки, затѣмъ потянулъ къ себѣ кусокъ пирога и кропотливо выбралъ изъ начинки яйца и лукъ. Съ перваго же глотка пирогъ показался ему прѣснымъ. Онъ посолилъ его и тотчасъ же сердито отодвинулъ, такъ какъ пирогъ былъ пересоленъ.

За обѣдомъ Сысоева посадили между инспекторомъ и Бруни. Послѣ перваго же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.

— Считаю пріятнымъ долгомъ,—началъ инспекторъ:—поблагодарить отсутствующихъ здѣсь попечителей школы Даніила Петровича и... и... и...

— И Ивана Петровича...—подсказалъ Бруни.

— И Ивана Петровича Куликиныхъ, не жалѣющихъ средствъ на школу, и предлагаю выпить за ихъ здоровье...

— Съ своей стороны,—сказалъ Бруни, вскочивъ, какъ ужаленный:—я предлагаю тостъ за здоровье уважаемаго инспектора народныхъ училищъ, Павла Геннадіевича Надарова!

Задвигались стулья, заулыбались лица и началось обычное чоканье. Третій тостъ всегда принадлежалъ Сысоеву. И на этотъ разъ онъ поднялся и сталъ говорить. Сдѣлавъ серьезное лицо и откашлявшись, онъ прежде всего заявилъ, что у него нѣтъ дара краснорѣчія и что говорить онъ не готовился. Далѣе онъ сказалъ, что за 14 лѣтъ его службы было много интригъ, подкоповъ и даже доносовъ на него

и что онъ знаетъ своихъ враговъ и доносчиковъ, но не желаетъ называть ихъ «изъ боязни испортить кое-кому аппетитъ»; несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое мѣсто во всей губерніи «не только въ нравственномъ, но даже и въ матеріальномъ отношеніи».

— Вездѣ, — сказалъ онъ:—учителя получаютъ 200 да 300, а я получаю 500 рублей, и къ тому же моя квартира отдѣлана заново и даже меблирована на счетъ фабрики. А въ этомъ году всѣ стѣны оклеены новыми обоями...

Далѣе учитель распространился о томъ, какъ щедро сравнительно съ земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всѣмъ этимъ, по его мнѣнію, школа обязана не хозяевамъ фабрики, живущимъ за границей и едва ли даже знающимъ о существованіи школы, а человѣку, который, несмотря на свое нѣмецкое происхожденіе и лютеранскую вѣру, имѣетъ русскую душу. Сысоевъ говорилъ долго, съ передышками и съ претензіей на витіеватость, и рѣчь его вышла тягучей и непріятной. Онъ нѣсколько разъ упомянулъ про какихъ-то враговъ своихъ, старался говорить намеками, повторялся, кашлялъ, некрасиво шевелилъ пальцами. Подъ конецъ онъ утомился, вспотѣлъ и сталъ говорить тихо, прерывисто, какъ бы про себя и кончилъ свою рѣчь не совсѣмъ складно:

— Итакъ, предлагаю выпить за Бруни, то-есть за Адольфа Андреича, который тутъ, между нами... вообще... и понятно.

Когда онъ кончилъ, всѣ легко вздохнули, какъ будто кто брызнулъ въ воздухъ холодной водой и разсѣялъ духоту. Непріятнаго чувства не испыталъ, повидимому, одинъ только Бруни. Сіяя и закатывая свои сентиментальные глаза, нѣмецъ съ чувствомъ потрясъ руку Сысоеву и опять заласкался, какъ собака.

— О, благодарю васъ!—сказалъ онъ, дѣлая удареніе на о и прижимая лѣвую руку къ сердцу.—Я очень счастливъ, что вы меня понимаете! Я всей душой, я желаю всего лучшаго! Но только долженъ я вамъ замѣтить, вы преувеличиваете мое значеніе. Своимъ процвѣтаніемъ школа обязана только вамъ, почтеннѣйшій мой другъ, Ѳедоръ Лукичъ! Безъ васъ она ничѣмъ не отличалась бы отъ другихъ школъ! Вы думаете: нѣмецъ говоритъ комплиментъ, нѣмецъ

говоритъ деликатности. Ха-ха! Нѣтъ, душа моя, Ѳедоръ Лукичъ, я честный человѣкъ и никогда не говорю комплиментовъ. Если мы платимъ вамъ пятьсотъ рублей въ годъ, то, значитъ, вы дороги намъ. Не такъ ли? Господа, вѣдь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько... Помилуйте, хорошая школа—это честь для фабрики!

— Я долженъ искренно сознаться, что ваша школа дѣйствительно необыкновенна, — сказалъ инспекторъ.—Не подумайте, что это ѳиміамъ. По крайней мѣрѣ другой такой мнѣ не приходилось встрѣчать во всю жизнь. Я сидѣлъ у васъ на экзаменѣ и все время удивлялся... Чудо, что за дѣти! Много знаютъ и бойко отвѣчаютъ и притомъ они у васъ какія-то ѳсобенныя, незапуганныя, искреннія... Замѣтно, что и васъ любятъ, Ѳедоръ Лукичъ. Вы педагогъ до мозга костей, вы, должно-быть, родились учителемъ. Всѣ данныя въ васъ: и врожденное призваніе, и многолѣтній опытъ, и любовь къ дѣлу... Просто удивительно, сколько у васъ при слабости здоровья энергіи, знанія дѣла... этой, понимаете ли, выдержки, увѣренности! Правду сказалъ кто-то въ училищномъ совѣтѣ, что вы поэтъ въ своемъ дѣлѣ... Именно поэтъ!

И всѣ обѣдавшіе единодушно, какъ одинъ человѣкъ, заговорили о необыкновенномъ талантѣ Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искреннія, восторженныя рѣчи, какихъ не говоритъ человѣкъ, когда его сдерживаетъ разсчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и рѣчь Сысоева, и его несносный характеръ, и злое, нехорошее выраженіе лица. Разговорились всѣ, даже молчаливые и робкіе, вновь назначенные учителя, убогіе, забитые юноши, иначе не величавшіе инспектора, какъ «ваше высокоблагородіе». Ясно, что въ своемъ кругу Сысоевъ былъ личностью замѣчательной.

Привыкшій за 14 лѣтъ службы къ успѣхамъ и похваламъ, онъ равнодушно прислушивался къ восторженному гулу своихъ почитателей.

Вмѣсто него похвалами упивался Бруни. Нѣмецъ ловилъ каждое слово, сіялъ, хлопалъ въ ладоши и застѣнчиво краснѣлъ, точно похвалы относились не къ учителю, а къ нему.

— Браво! Браво!—кричалъ онъ.—Вѣрно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..

Онъ заглядывалъ учителю въ глаза, какъ бы желая подѣлиться съ нимъ своимъ блаженствомъ. Въ концѣ концовъ онъ не выдержалъ, вскочилъ и, покрывая всѣ голоса своимъ визгливымъ теноркомъ, прокричалъ:

— Господа! Позвольте мнѣ говорить! Тсс! На всѣ ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрація не останется въ долгу у Ѳедора Лукича!..

Всѣ смолкли. Сысоевъ поднялъ глаза на розовое лицо нѣмца.

— Мы умѣемъ цѣнить,—продолжалъ Бруни, дѣлая серьезное лицо и понижая голосъ.—На всѣ ваши слова я долженъ сказать вамъ, что... семья Ѳедора Лукича будетъ обезпечена и что на этотъ предметъ мѣсяцъ тому назадъ уже положенъ въ банкъ капиталъ.

Сысоевъ вопросительно поглядѣлъ на нѣмца, на товарищей, какъ бы недоумѣвая: почему будетъ обезпечена семья, а не онъ самъ? И тутъ на всѣхъ лицахъ, во всѣхъ неподвижныхъ, устремленныхъ на него взглядахъ, онъ прочелъ не сочувствіе, не состраданіе, которыхъ онъ терпѣть не могъ, а что-то другое, что-то мягкое, нѣжное и въ то же время въ высшей степени зловѣщее, похожее на страшную истину, что-то такое, что въ одно мгновеніе наполнило его тѣло холодомъ, а душу невыразимымъ отчаяніемъ. Съ блѣднымъ, покрившимся лицомъ, онъ вдругъ вскочилъ и схватилъ себя за голову. Четверть минуты простоялъ онъ такъ, съ ужасомъ глядѣлъ впередъ въ одну точку, какъ будто видѣлъ передъ собою эту близкую смерть, о которой говорилъ Бруни, потомъ сѣлъ и заплакалъ.

— Полноте!.. Что съ вами?..—слышалъ онъ встревоженные голоса.—Воды! Вышейте воды!

Прошло немного времени и учитель успокоился, но уже прежнее оживленіе не возвращалось къ обѣдающимъ. Обѣдъ кончился въ угрюмомъ молчаніи и гораздо раньше, чѣмъ въ прошлые годы.

Придя домой, Сысоевъ прежде всего поглядѣлся въ зеркало.

«Конечно, напрасно я тамъ разревѣлся!» — думалъ онъ, глядя на свои глаза съ темными кругами и на впалыя щеки. — Сегодня у меня цвѣтъ лица гораздо лучше, чѣмъ вчера. У меня малокровіе и катаръ желудка, а кашель у меня желудочный.

Успокоившись на этомъ, онъ медленно раздѣлся и долго чистилъ вѣничкомъ свою черную пару, потомъ старательно сложилъ ее и заперъ въ комодъ.

Потомъ онъ подошелъ къ столу, гдѣ лежала стопка ученическихъ тетрадей и, выбравъ тетрадь Бабкина, сѣлъ и погрузился въ созерцаніе красиваго дѣтскаго почерка...

А въ это время, пока онъ разсматривалъ диктантъ своихъ учениковъ, въ сосѣдней комнатѣ сидѣлъ земскій врачъ и шопотомъ говорилъ его женѣ, что не слѣдовало бы отпускать на обѣдъ человѣка, которому осталось жить, повидимому, не болѣе недѣли

ТЯЖЕЛЫЕ ЛЮДИ.

Ширяевъ, Евграфъ Ивановичъ, мелкій землевладѣлецъ изъ поповичей (его покойный родитель о. Іоаннъ получилъ въ даръ отъ генеральши Кувшинниковой 102 десятины земли), стоялъ въ углу передъ мѣднымъ рукомойникомъ и мылъ руки. По обыкновенію, видъ у него былъ озабоченный и хмурый, борода не чесана.

— Ну, да и погода! — говорилъ онъ.—Это не погода, а наказанье Господне. Опять дождь пошелъ!

Онъ ворчалъ, а семья его сидѣла за столомъ и ждала, когда онъ кончитъ мыть руки, чтобы начать обѣдать. Его жена Ѳедосья Семеновна, сынъ Петръ—студентъ, старшая дочь Варвара и трое маленькихъ ребятъ давно уже сидѣли за столомъ и ждали. Ребята—Колька, Ванька и Архипка, курносые, запачканные, съ мясистыми лицами и съ давно не стриженными, жесткими головами, нетерпѣливо двигали стульями, а взрослые сидѣли, не шевелясь и, повидимому, для нихъ было все равно,—ѣсть или ждать...

Какъ бы испытывая ихъ терпѣніе, Ширяевъ медленно вытеръ руки, медленно помолился и не спѣша сѣлъ за столъ. Тотчасъ же подали щи. Со двора доносился стукъ плотницкихъ топоровъ (у Ширяева строился новый сарай) и смѣхъ работника Ѳомки, дразнившаго индюка. Въ окно стучалъ рѣдкій, но крупный дождь.

Студентъ Петръ, въ очкахъ и сутуловатый, ѣлъ и переглядывался съ матерью. Нѣсколько разъ онъ клалъ ложку и кашлялъ, желая начать говорить, но взглянувши при-

стально на отца, опять принимался за ѣду. Наконецъ, когда подали кашу, онъ рѣшительно кашлянулъ и сказалъ:

— Мнѣ бы сегодня ѣхать съ вечернимъ поѣздомъ. Давно пора, а то я ужъ и такъ двѣ недѣли пропустилъ. Лекціи начинаются перваго сентября!

— И поѣзжай,—согласился Ширяевъ.—Чего тебѣ тутъ ждать? Возьми и поѣзжай съ Богомъ.

Прошла минута въ молчаніи.

— Ему, Евграфъ Иванычъ, денегъ на дорогу надо...—тихо проговорила мать.

— Денегъ? Что жъ! Безъ денегъ не уѣдешь. Коли нужно, хоть сейчасъ бери. Давно бы взялъ!

Студентъ легко вздохнулъ и весело переглянулся съ матерью. Ширяевъ не спѣша вынулъ изъ бокового кармана бумажникъ и надѣлъ очки.

— Сколько тебѣ?—спросилъ онъ.

— Собственно дорога до Москвы стоитъ одиннадцать рублей сорокъ двѣ...

— Эхъ, деньги, деньги! — вздохнулъ отецъ (онъ всегда вздыхалъ, когда видѣлъ деньги, даже получая ихъ).—Вотъ тебѣ двѣнадцать. Тутъ, братъ, будетъ сдача, такъ это тебѣ въ дорогѣ сгодится.

— Благодарю васъ.

Немного погодя, студентъ сказалъ:

— Въ прошломъ году я не сразу попалъ на урокъ. Не знаю, что будетъ въ этомъ году; вѣроятно, не скоро найду себѣ заработокъ. Я просилъ бы васъ дать мнѣ рублей пятнадцать на квартиру и обѣдъ.

Ширяевъ подумалъ и вздохнулъ.

— Будетъ съ тебя и десяти,—сказалъ онъ.—На, возьми!

Студентъ поблагодарилъ. Слѣдовало бы попросить еще на одежду, на плату за слушаніе лекцій, на книги, но поглядѣвъ пристально на отца, онъ рѣшилъ уже больше не приставать къ нему. Мать же, неполитичная и неразсудительная, какъ всѣ матери, не выдержала и сказала:

— Ты бы, Евграфъ Иванычъ, далъ ему еще рублей шесть на сапоги. Ну, какъ ему, погляди, ѣхать въ Москву въ такой рвани?

— Пусть мои старые возьметъ. Они еще совсѣмъ новые.

— Хоть бы на брюки далъ. На него глядѣть срамъ...

И послѣ этого тотчасъ же показался буревѣстникъ, пе-

редъ которымъ трепетала вся семья: короткая, упитанная шея Ширяева стала вдругъ красной, какъ кумачъ. Краска медленно поползла къ ушамъ, отъ ушей къ вискамъ и мало-по-малу залила все лицо. Евграфъ Иванычъ задвигался на стулѣ и разстегнулъ воротникъ сорочки, чтобы не было душно. Видимо онъ боролся съ чувствомъ, которое овладѣвало имъ. Наступила мертвая тишина. Дѣти притаили дыханіе, Ѳедосья же Семеновна, словно не понимая, что дѣлается съ ея мужемъ, продолжала:

— Вѣдь онъ уже не маленькій. Ему совѣстно ходить раздѣтымъ.

Ширяевъ вдругъ вскочилъ и изо всей силы швырнулъ на середину стола свой толстый бумажникъ, такъ что сшибъ съ тарелки ломоть хлѣба. На лицѣ его вспыхнуло отвратительное выраженіе гнѣва, обиды, жадности—всего этого вмѣстѣ.

— Берите все! — крикнулъ онъ не своимъ голосомъ.— Грабьте! Берите все! Душите!

Онъ выскочилъ изъ-за стола, схватилъ себя за голову и, спотыкаясь, забѣгалъ по комнатѣ.

— Обирайте все до нитки! — кричалъ онъ визгливымъ голосомъ.—Выжимайте послѣднее! Грабьте! Душите за горло!

Студентъ покраснѣлъ и опустилъ глаза. Онъ не могъ уже ѣсть. Ѳедосья Семеновна, не привыкшая за двадцать пять лѣтъ къ тяжелому характеру мужа, вся съежилась и залепетала что-то въ свое оправданіе. На ея истощенномъ птичьемъ лицѣ, всегда тупомъ и испуганномъ, появилось выраженіе изумленія и тупого страха. Ребята и старшая дочь Варвара, дѣвушка-подростокъ съ блѣднымъ, некрасивымъ лицомъ, положили свои ложки и замерли.

Ширяевъ, свирѣпѣя все болѣе, произнося слова одно другого ужаснѣе, подскочилъ къ столу и сталъ вытряхивать изъ бумажника деньги.

— Берите!—бормоталъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Объѣли, опили, такъ на-те вамъ и деньги! Ничего мнѣ не нужно! Шейте себѣ новые сапоги и мундиры!

Студентъ поблѣднѣлъ и поднялся.

— Послушайте, папаша,—началъ онъ, задыхаясь.—Я... я прошу васъ прекратить, потому что...

— Молчи!—крикнулъ на него отецъ и такъ громко, что очки у него свалились съ носа.—Молчи!

— Прежде я... я могъ сносить подобныя сцены, но... теперь я отвыкъ. Понимаете? Я отвыкъ!

— Молчи! — крикнулъ отецъ и затопалъ ногами. — Ты долженъ слушать, что я говорю! Что хочу, то и говорю, а ты—молчать! Въ твои годы я деньги зарабатывалъ, а ты, подлецъ, знаешь, сколько мнѣ стоишь? Я тебя выгоню! Дармоѣдъ!

— Евграфъ Иванычъ,—пробормотала Ѳедосья Семеновна, нервно шевеля пальцами. — Вѣдь онъ... вѣдь Петя...

— Молчи! — крикнулъ на нее Ширяевъ, и даже слезы выступили у него на глазахъ отъ гнѣва.—Это ты ихъ избаловала! Ты! Ты всему виновата! Онъ насъ не почитаетъ, Богу не молится, денегъ не зарабатываетъ! Васъ десятеро, а я одинъ! Изъ дому я васъ выгоню!

Дочь Варвара долго глядѣла на мать, разинувъ ротъ, потомъ перевела тупой взглядъ на окно, поблѣднѣла и, громко вскрикнувъ, откинулась на спинку стула. Отецъ махнулъ рукой, плюнулъ и выбѣжалъ на дворъ.

Этимъ обыкновенно заканчивались у Ширяевыхъ ихъ семейныя сцены. Но тутъ, къ несчастью, студентомъ Петромъ овладѣла вдругъ непреодолимая злоба. Онъ былъ такъ же вспыльчивъ и тяжелъ, какъ его отецъ и его дѣдъ протопопъ, бившій прихожанъ палкой по головамъ. Блѣдный, съ сжатыми кулаками подошелъ онъ къ матери и прокричалъ самой высокой теноровой нотой, какую только онъ могъ взять:

— Мнѣ гадки, отвратительны эти попреки! Ничего мнѣ отъ васъ не нужно! Ничего! Скорѣй съ голоду умру, чѣмъ съѣмъ у васъ еще хоть одну крошку! На-те вамъ назадъ ваши подлыя деньги! Возьмите!

Мать прижалась къ стѣнѣ и замахала руками, точно передъ нею стоялъ не сынъ, а привидѣніе.

— Чѣмъ же я виновата?—заплакала она.—Чѣмъ?

Сынъ такъ же, какъ и отецъ, махнулъ рукой и выбѣжалъ на дворъ. Домъ Ширяева стоялъ одиночкой у балки, которая бороздой проходила по степи верстъ на пять. Края ея поросли молодымъ дубомъ и ольхой, а на днѣ бѣжалъ ручей. Домъ одною стороною глядѣлъ на балку, другою выходилъ въ поле. Заборовъ и плетней не было. Ихъ замѣняли всякаго рода стройки, тѣсно жавшіяся другъ къ другу и замыкавшія передъ домомъ небольшое простран-

ство, которое считалось дворомъ и гдѣ ходили куры, утки и свиньи.

Выйдя наружу, студентъ пошелъ по грязной дорогѣ въ поле. Въ воздухѣ стояла осенняя, пронизывающая сырость. Дорога была грязна, блестѣли тамъ и сямъ лужицы, а въ желтомъ полѣ изъ травы глядѣла сама осень; унылая, гнилая, темная. По правую сторону дороги былъ огородъ, весь изрытый, мрачный, кое-гдѣ возвышались на немъ подсолнечники съ опущенными, уже черными головами.

Петръ думалъ, что не дурно бы пойти въ Москву пѣшкомъ, пойти, какъ есть, безъ шапки, въ рваныхъ сапогахъ и безъ копейки денегъ. На сотой верстѣ его догонитъ встрепанный и испуганный отецъ, начнетъ просить его вернуться или принять деньги, но онъ даже не взглянетъ на него, а все будетъ идти, идти... Голые лѣса будутъ смѣняться унылыми полями, поля—лѣсами; скоро земля забѣлѣетъ первымъ снѣгомъ, и рѣчки подернутся льдомъ... Гдѣ-нибудь подъ Курскомъ или подъ Серпуховымъ онъ, обезсиленный и умирающій отъ голода, свалится и умретъ. Его трупъ найдутъ и во всѣхъ газетахъ появится извѣстіе, что тамъ-то студентъ такой-то умеръ отъ голода...

Бѣлая собака съ грязнымъ хвостомъ, бродившая по огороду и чего-то искавшая, поглядѣла на него и побрела за нимъ...

Онъ шелъ по дорогѣ и думалъ о смерти, о горѣ близкихъ, о нравственныхъ мученіяхъ отца, и тутъ же рисовалъ себѣ всевозможныя дорожныя приключенія, одно другого причудливѣе, живописныя мѣста, страшныя ночи, нечаянныя встрѣчи. Вообразилъ онъ веренницу богомолокъ, избушку въ лѣсу съ однимъ окошкомъ, которое ярко свѣтится въ потемкахъ; онъ стоитъ передъ окошкомъ, просится на ночлегъ... его пускаютъ и—вдругъ онъ видитъ разбойниковъ. А то еще лучше, попадаетъ онъ въ большой помѣщичій домъ, гдѣ, узнавъ, кто онъ, поятъ и кормятъ его, играютъ ему на роялѣ, слушаютъ его жалобы, и въ него влюбляется хозяйская дочь красавица.

Занятый своимъ горемъ и подобными мыслями, молодой Ширяевъ все шелъ и шелъ... Впереди далеко-далеко на сѣромъ облачномъ фонѣ темнѣлъ постоялый дворъ; еще дальше двора, на самомъ горизонтѣ виденъ былъ маленькій бу-

нымъ лицомъ, очень блѣдная; хотѣла она что-то сказать и не могла, а только шевелила пальцами.

— Это ты виновата!—крикнулъ ей Ширяевъ.—Ты его такъ воспитала!

— Я не желаю жить болѣе въ этомъ домѣ!—крикнулъ студентъ, плача и глядя на мать со злобой.—Не желаю я съ вами жить!

Дочь Варвара вскрикнула за ширмой и громко зарыдала. Ширяевъ махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ дому.

Студентъ пошелъ къ себѣ и тихо легъ. До самой полночи лежалъ онъ неподвижно и не открывая глазъ. Онъ не чувствовалъ ни злобы, ни стыда, а какую-то неопредѣленную душевную боль. Онъ не обвинялъ отца, не жалѣлъ матери, не терзалъ себя угрызеніями; ему понятно было, что всѣ въ домѣ теперь испытываютъ такую же боль, а кто виноватъ, кто страдаетъ болѣе, кто менѣе, Богу извѣстно...

Въ полночь онъ разбудилъ работника и приказалъ ему приготовить къ пяти часамъ утра лошадь, чтобы ѣхать на станцію, раздѣлся и укрылся, но уснуть не могъ. Слышно ему было до самаго утра, какъ не спавшій отецъ тихо бродилъ отъ окна къ окну и вздыхалъ. Никто не спалъ; всѣ говорили рѣдко, только шопотомъ. Два раза къ нему за ширмы приходила мать. Все съ тѣмъ же удивленно-тупымъ выраженіемъ, она долго крестила его и нервно вздрагивала...

Въ пять часовъ утра студентъ нѣжно простился со всѣми и даже поплакалъ. Проходя мимо отцовской комнаты, онъ заглянулъ въ дверь. Евграфъ Ивановичъ одѣтый, еще не ложившійся, стоялъ у окна и барабанилъ по стекламъ.

— Прощайте, я ѣду,—сказалъ сынъ.

— Прощай... Деньги на кругломъ столикѣ...—отвѣтилъ отецъ, не поворачиваясь.

Когда работникъ везъ его на станцію, шелъ противный, холодный дождь. Подсолнечники еще ниже нагнули свои головы и трава казалась темнѣе.

ДУЭЛЬ.

Было восемь часовъ утра—время, когда офицеры, чиновники и пріѣзжіе обыкновенно послѣ жаркой, душной ночи купались въ морѣ и потомъ шли въ павильонъ пить кофе или чай. Иванъ Андреичъ Лаевскій, молодой человѣкъ лѣтъ 28, худощавый блондинъ, въ фуражкѣ министерства финансовъ и въ туфляхъ, придя купаться, засталъ на берегу много знакомыхъ и между ними своего пріятеля, военнаго доктора Самойленко.

Съ большой стриженой головой, безъ шеи, красный, носастый, съ мохнатыми черными бровями и съ сѣдыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавокъ съ хриплымъ армейскимъ басомъ, этотъ Самойленко на всякаго вновь пріѣзжавшаго производилъ непріятное впечатлѣніе бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня послѣ перваго знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрымъ, милымъ и даже красивымъ. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тонъ, это былъ человѣкъ смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всѣми въ городѣ онъ былъ на ты, всѣмъ давалъ деньги взаймы, всѣхъ лѣчилъ, сватался, мирилъ, устраивалъ пикники, на которыхъ жарилъ шашлыкъ и варилъ очень вкусную уху изъ кефалей; всегда онъ за кого-нибудь хлопоталъ и просилъ и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнѣнію, онъ былъ безгрѣшенъ, и водились за нимъ только двѣ слабости: во-первыхъ, онъ стыдился своей

доброты и старался маскировать ее суровымъ взглядомъ и напускною грубостью и, во-вторыхъ, онъ любилъ, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашимъ превосходительствомъ, хотя былъ только статскимъ совѣтникомъ.

— Отвѣть мнѣ, Александръ Давидычъ, на одинъ вопросъ, — началъ Лаевскій, когда оба они, онъ и Самойленко, вошли въ воду по самыя плечи. — Положимъ, ты полюбилъ женщину и сошелся съ ней; прожилъ ты съ нею, положимъ, больше двухъ лѣтъ и потомъ, какъ это случается, разлюбилъ и сталъ чувствовать, что она для тебя чужая. Какъ бы ты поступилъ въ такомъ случаѣ?

— Очень просто. Иди, матушка, на всѣ четыре стороны— и разговоръ весь.

— Легко сказать! Но если ей дѣваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денегъ ни гроша, работать не умѣетъ...

— Что жъ? Единовременно пятьсотъ въ зубы, или двадцать пять по-мѣсячно—и никакихъ. Очень просто.

— Допустимъ, что у тебя есть и пятьсотъ, и двадцать пять по-мѣсячно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты рѣшился бы предложить ей деньги? И въ какой формѣ?

Самойленко хотѣлъ что-то отвѣтить, но въ это время большая волна накрыла ихъ обоихъ, потомъ ударилась о берегъ и съ шумомъ покатилась назадъ по мелкимъ камнямъ. Пріятели вышли на берегъ и стали одѣваться.

— Конечно, мудрено жить съ женщиной, если не любишь,—сказалъ Самойленко, вытрясая изъ сапога песокъ.— Но надо, Ваня, разсуждать по человѣчности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показалъ, что разлюбилъ, а жилъ бы съ ней до самой смерти.

Ему вдругъ стало стыдно своихъ словъ; онъ спохватился и сказалъ:

— А по мнѣ хоть бы и вовсе бабъ не было. Ну ихъ къ лѣшему!

Пріятели одѣлись и пошли въ павильонъ. Тутъ Самойленко былъ своимъ человѣкомъ, и для него имѣлась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносѣ чашку кофе, высокій граненый стаканъ съ водою и со льдомъ и рюмку коньяку; онъ сначала выпивалъ коньякъ, потомъ горячій кофе, потомъ воду со льдомъ, и это, должно-

быть, было очень вкусно, потому что послѣ питья глаза у него становились масляными, онъ обѣими руками разглаживалъ бакены и говорилъ, глядя на море:

— Удивительно великолѣпный видъ!

Послѣ долгой ночи, потраченной на невеселыя, безполезныя мысли, которыя мѣшали спать и, казалось, усиливали духоту и мракъ ночи, Лаевскій чувствовалъ себя разбитымъ и вялымъ. Отъ купанья и кофе ему не стало лучше.

— Будемъ, Александръ Давидычъ, продолжать нашъ разговоръ,—сказалъ онъ.—Я не буду скрывать и скажу тебѣ откровенно, какъ другу: дѣла мои съ Надеждой Ѳедоровной плохи... очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя въ свои тайны, но мнѣ необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавшій, о чемъ будетъ рѣчь, потушилъ глаза и застучалъ пальцами по столу.

— Я прожилъ съ нею два года и разлюбилъ...—продолжалъ Лаевскій:—то-есть, вѣрнѣе, я понялъ, что никакой любви не было... Эти два года были—обманъ.

У Лаевскаго была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовыя ладони, грызть ногти, или мять пальцами манжеты. И теперь онъ дѣлалъ то же самое.

— Я отлично знаю, ты не можешь мнѣ помочь,—сказалъ онъ:—но говорю тебѣ, потому что для нашего брата-неудачника и лишняго человѣка все спасеніе въ разговорахъ. Я долженъ обобщать каждый свой поступокъ, я долженъ находить объясненіе и оправданіе своей нелѣпой жизни въ чьихъ-нибудь теоріяхъ, въ литературныхъ типахъ, въ томъ, напримѣръ, что мы, дворяне, вырождаемся и прочее... Въ прошлую ночь, напримѣръ, я утѣшалъ себя тѣмъ, что все время думалъ: ахъ, какъ правъ Толстой, безжалостно правъ! И мнѣ было легче отъ этого. Въ самомъ дѣлѣ, братъ, великій писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавшій Толстого и каждый день собиравшійся прочесть его, сконфузился и сказалъ:

— Да, всѣ писатели пишутъ изъ воображенія, а онъ прямо съ натуры...

— Боже мой,—вздохнулъ Лаевскій:—до какой степени мы искалѣчены цивилизаціей! Полюбилъ я замужнюю женщину; она меня тоже... Въ началѣ у насъ были и поцѣлуи, и тихіе вечера, и клятвы, и Спенсеръ, и идеалы, и

общіе интересы... Какая ложь! Мы бѣжали въ сущности отъ мужа, но лгали себѣ, что бѣжимъ отъ пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось намъ такъ: въ началѣ на Кавказѣ, пока мы ознакомимся съ мѣстомъ и людьми, я надѣну вицъ-мундиръ и буду служить, потомъ же на просторѣ возьмемъ себѣ клокъ земли, будемъ трудиться въ потѣ лица, заведемъ виноградникъ, поле и прочее. Если бы вмѣсто меня былъ ты, или этотъ твой зоологъ фонъ-Коремъ, то вы, быть-можетъ, прожили бы съ Надеждой Ѳедоровной тридцать лѣтъ и оставили бы своимъ наслѣдникамъ богатый виноградникъ и тысячу десятинъ кукурузы, я же почувствовалъ себя банкротомъ съ перваго дня. Въ городѣ невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь въ поле, тамъ подъ каждымъ кустомъ и камнемъ чудятся фаланги, скорпіоны и змѣи, а за полемъ горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура — все это, братъ, не такъ легко, какъ гулять по Невскому въ шубѣ, подъ ручку съ Надеждой Ѳедоровной, и мечтать о теплыхъ краяхъ. Тутъ нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боецъ? Жалкій неврастеникъ, бѣлоручка... Съ перваго же дня я понялъ, что мысли мои о трудовой жизни и виноградникѣ — ни къ чорту. Что же касается любви, то я долженъ тебѣ сказать, что жить съ женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край свѣта, такъ же не интересно, какъ съ любой Анфисой, или Акулиной. Такъ же пахнетъ утюгомъ, пудрой и лѣкарствами, тѣ же папильотки каждое утро и тотъ же самообманъ...

— Безъ утюга нельзя въ хозяйствѣ, — сказалъ Самойленко, краснѣя отъ того, что Лаевскій говоритъ съ нимъ такъ откровенно о знакомой дамѣ.—Ты, Ваня, сегодня не въ духѣ, я замѣчаю. Надежда Ѳедоровна женщина прекрасная, образованная, ты — величайшаго ума человѣкъ... Конечно, вы не вѣнчаны, — продолжалъ Самойленко, оглядываясь на сосѣдніе столы: — но вѣдь это не ваша вина и къ тому же... надо быть безъ предразсудковъ и стоять на уровнѣ современныхъ идей. Я самъ стою за гражданскій бракъ, да... Но, по-моему, если разъ сошлись, то надо жить до самой смерти.

— Безъ любви?

— Я тебѣ сейчасъ объясню, — сказалъ Самойленко.—

Лѣтъ восемь назадъ у насъ тутъ былъ агентомъ старичокъ, величайшаго ума человѣкъ. Такъ вотъ онъ говаривалъ: въ семейной жизни главное — терпѣніе. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпѣніе. Любовь продолжаться долго не можетъ. Года два ты прожилъ въ любви, а теперь очевидно, твоя семейная жизнь вступила въ тотъ періодъ, когда ты, чтобы сохранить равновѣсіе, такъ сказать, долженъ пустить въ ходъ все свое терпѣніе...

— Ты вѣришь своему старичку-агенту, для меня же его совѣтъ — безсмыслица. Твой старичокъ могъ лицемѣрить, онъ могъ упражняться въ терпѣніи и при этомъ смотрѣть на нелюбимаго человѣка, какъ на предметъ, необходимый для его упражненій, но я еще не палъ такъ низко; если мнѣ захочется упражняться въ терпѣніи, то я куплю себѣ гимнастическія гири или норовистую лошадь, но человѣка оставлю въ покоѣ.

Самойленко потребовалъ бѣлаго вина со льдомъ. Когда выпили по стакану, Лаевскій вдругъ спросилъ:

— Скажи, пожалуйста, что значитъ размягченіе мозга?

— Это, какъ бы тебѣ объяснить... такая болѣзнь, когда мозги становятся мягче... какъ бы разжижаются.

— Излѣчимо?

— Да, если болѣзнь не запущена. Холодные души, пушка... Ну, внутрь чего-нибудь.

— Такъ... Такъ вотъ видишь ли, какое мое положеніе. Жить съ нею я не могу: это выше силъ моихъ. Пока я съ тобой, я вотъ и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духомъ. Мнѣ до такой степени жутко, что если бы мнѣ сказали, положимъ, что я обязанъ прожить съ нею еще хоть одинъ мѣсяцъ, то я, кажется, пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ. И въ то же время разойтись съ ней нельзя. Она одинока, работать не умѣетъ, денегъ нѣтъ ни у меня, ни у нея... Куда она дѣнется? Къ кому пойдетъ? Ничего не придумаешь... Ну, вотъ, скажи: что дѣлать?

— М-да... — промычалъ Самойленко, не зная, что отвѣтить.—Она тебя любитъ?

— Да, любитъ настолько, насколько ей въ ея годы и при ея темпераментѣ нуженъ мужчина. Со мной ей было бы такъ же трудно разстаться, какъ съ пудрой, или папильотками. Я для нея необходимая составная часть ея будуара.

Самойленко сконфузился.

— Ты сегодня, Ваня, не въ духѣ, — сказалъ онъ. — Не спалъ, должно-быть.

— Да, плохо спалъ... Вообще, братъ, скверно себя чувствую. Въ головѣ пусто, замиранія сердца, слабость какая-то... Бѣжать надо!

— Куда?

— Туда, на сѣверъ. Къ соснамъ, къ грибамъ, къ людямъ, къ идеямъ... Я бы отдалъ полжизни, чтобы теперь гдѣ-нибудь въ Московской губерніи, или въ Тульской, выкупаться въ рѣчкѣ, озябнуть, знаешь, потомъ бродить часа три хоть съ самымъ плохенькимъ студентомъ и болтать, болтать... А сѣномъ-то какъ пахнетъ! Помнишь? А по вечерамъ, когда гуляешь въ саду, изъ дому доносятся звуки рояля, слышно, какъ идетъ поѣздъ...

Лаевскій засмѣялся отъ удовольствія, на глазахъ у него выступили слезы и, чтобы скрыть ихъ, онъ, не вставая съ мѣста, потянулся къ сосѣднему столу за спичками.

— А я уже восемнадцать лѣтъ не былъ въ Россіи, — сказалъ Самойленко. — Забылъ ужъ, какъ тамъ. По-моему, великолѣпнѣе Кавказа и края нѣтъ.

— У Верещагина есть картина: на днѣ глубочайшаго колодца томятся приговоренные къ смерти. Такимъ вотъ-точно колодцемъ представляется мнѣ твой великолѣпный Кавказъ. Если бы мнѣ предложили что-нибудь изъ двухъ: быть трубочистомъ въ Петербургѣ, или быть здѣшнимъ княземъ, то я взялъ бы мѣсто трубочиста.

Лаевскій задумался. Глядя на его согнутое тѣло, на глаза, устремленные въ одну точку, на блѣдное, вспотѣвшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свѣсилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулокъ, Самойленко проникся жалостью и, вѣроятно, потому, что Лаевскій напомнилъ ему безпомощнаго ребенка, спросилъ:

— Твоя мать жива?

— Да, но мы съ ней разошлись. Она не могла мнѣ простить этой связи.

Самойленко любилъ своего пріятеля. Онъ видѣлъ въ Лаевскомъ добраго малаго, студента, человѣка-рубаху, съ которымъ можно было и выпить, и посмѣяться, и потолковать по душѣ. То, что онъ понималъ въ немъ, ему крайне не

нравилось. Лаевскій пилъ много и не во-время, игралъ въ карты, презиралъ свою службу, жилъ не по средствамъ, часто употреблялъ въ разговорѣ непристойныя выраженія, ходилъ по улицѣ въ туфляхъ и при постороннихъ ссорился съ Надеждой Ѳедоровной—и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевскій былъ когда-то на филологическомъ факультетѣ, выписывалъ теперь два толстыхъ журнала, говорилъ часто такъ умно, что только немногіе его понимали, жилъ съ интеллигентной женщиной — всего этого не понималъ Самойленко, и это ему нравилось, и онъ считалъ Лаевскаго выше себя и уважалъ его.

— Еще одна подробность,—сказалъ Лаевскій, встряхивая головой. — Только это между нами. Я пока скрываю отъ Надежды Ѳедоровны, не проболтайся при ней... Третьяго дня я получилъ письмо, что ея мужъ умеръ отъ размягченія мозга.

— Царство небесное...—вздохнулъ Самойленко.—Почему же ты отъ нея скрываешь?

— Показать ей это письмо значило бы: пожалуйте въ церковь вѣнчаться. А надо сначала выяснить наши отношенія. Когда она убѣдится, что продолжать жить вмѣстѣ мы не можемъ, я покажу ей письмо. Тогда это будетъ безопасно.

— Знаешь что, Ваня?—сказалъ Самойленко, и лицо его вдругъ приняло грустное и умоляющее выраженіе, какъ будто онъ собирался просить о чемъ-то очень сладкомъ и боялся, что ему откажутъ.—Женись, голубчикъ!

— Зачѣмъ?

— Исполни свой долгъ передъ этой прекрасной женщиной! Мужъ у нея умеръ, и такимъ образомъ само Провидѣніе указываетъ тебѣ, что дѣлать!

— Но пойми, чудакъ, что это невозможно. Жениться безъ любви такъ же подло и недостойно человѣка, какъ служить обѣдню, не вѣруя.

— Но ты обязанъ!

— Почему же я обязанъ?—спросилъ съ раздраженіемъ Лаевскій.

— Потому что ты увезъ ее отъ мужа и взялъ на свою отвѣтственность.

— Но тебѣ говорятъ русскимъ языкомъ: я не люблю!

— Ну, любви нѣтъ, такъ почитай, ублажай...

— Почитай, ублажай...—передразнилъ Лаевскій.—Точно она игуменья... Плохой ты психологъ и физіологъ, если думаешь, что, живя съ женщиной, можно выѣхать на одномъ только почтеніи да уваженіи. Женщинѣ прежде всего нужна спальня.

— Ваня, Ваня...—сконфузился Самойленко.

— Ты—старый ребенокъ, теоретикъ, а я—молодой старикъ и практикъ, и мы никогда не поймемъ другъ друга. Прекратимъ лучше этотъ разговоръ. Мустафа!—крикнулъ Лаевскій человѣку:—сколько съ насъ слѣдуетъ?

— Нѣтъ, нѣтъ...—испугался докторъ, хватая Лаевскаго за руку.—Это я заплачу. Я требовалъ. Запиши за мной!—крикнулъ онъ Мустафѣ.

Пріятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульваръ они остановились и на прощанье пожали другъ другу руки.

— Избалованы вы очень, господа!—вздохнулъ Самойленко.—Послала тебѣ судьба женщину молодую, красивую, образованную—и ты отказываешься, а мнѣ бы далъ Богъ хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую, и какъ бы я былъ доволенъ! Жилъ бы я съ ней на своемъ виноградникѣ и...

Самойленко спохватился и сказалъ:

— Пускай бы она тамъ, старая вѣдьма, самоваръ ставила.

Простившись съ Лаевскимъ, онъ пошелъ по бульвару. Когда онъ, грузный, величественный, со строгимъ выраженіемъ на лицѣ, въ своемъ бѣлоснѣжномъ кителѣ и превосходно вычищенныхъ сапогахъ, выпятивъ впередъ грудь, на которой красовался Владиміръ съ бантомъ, шелъ по бульвару, то въ это время онъ очень нравился себѣ самому, и ему казалось, что весь міръ смотритъ на него съ удовольствіемъ. Не поворачивая головы, онъ посматривалъ по сторонамъ и находилъ, что бульваръ вполнѣ благоустроенъ, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивыя, худосочныя пальмы очень красивы и будутъ со временемъ давать широкую тѣнь, что черкесы честный и гостепріимный народъ. «Странно, что Кавказъ Лаевскому не нравится,—думалъ онъ:—очень странно». Встрѣтились пять солдатъ съ ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника съ сыномъ-гимназистомъ.

— Марья Константиновна, доброе утро!—крикнулъ ей Самойленко, пріятно улыбаясь.—Купаться ходили? Ха-ха-ха... Почтеніе Никодиму Александрычу!

И онъ пошелъ дальше, продолжая пріятно улыбаться, но, увидѣвъ идущаго навстрѣчу военнаго фельдшера, вдругъ нахмурился, остановилъ его и спросилъ?

— Есть кто-нибудь въ лазаретѣ?

— Никого, ваше превосходительство.

— А?

— Никого, ваше превосходительство.

— Хорошо, ступай...

Величественно покачиваясь, онъ направился къ лимонадной будкѣ, гдѣ за прилавкомъ сидѣла старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказалъ ей такъ громко, какъ будто командовалъ полкомъ:

— Будьте такъ любезны, дайте мнѣ содовой воды!

II.

Нелюбовь Лаевскаго къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ выражалась главнымъ образомъ въ томъ, что все, что она говорила и дѣлала, казалось ему ложью или похожимъ на ложь, и все, что онъ читалъ противъ женщинъ и любви, казалось ему, какъ нельзя лучше подходило къ нему, къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ и ея мужу. Когда онъ вернулся домой, она, уже одѣтая и причесанная, сидѣла у окна и съ озабоченнымъ лицомъ пила кофе и перелистывала книжку толстаго журнала, и онъ подумалъ, что питье кофе — не такое ужъ замѣчательное событіе, чтобы изъ-за него стоило дѣлать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, такъ какъ нравиться тутъ некому и не для чего. И въ книжкѣ журнала онъ увидѣлъ ложь. Онъ подумалъ, что одѣвается она и причесывается, чтобы казаться красивой, а читаетъ для того, чтобы казаться умной.

— Ничего, если я сегодня пойду купаться? — спросила она.

— Что жъ? Пойдешь, или не пойдешь, отъ этого землетрясенія не будетъ, полагаю...

— Нѣтъ, я потому спрашиваю, что какъ бы докторъ не разсердился.

— Ну, и спроси у доктора. Я не докторъ.

На этотъ разъ Лаевскому больше всего не понравилась

у Надежды Ѳедоровны ея бѣлая, открытая шея и завитушки волосъ на затылкѣ, и онъ вспомнилъ, что Аннѣ Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумалъ: «какъ это вѣрно! какъ вѣрно!» Чувствуя слабость и пустоту въ головѣ, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, легъ на диванъ и накрылъ лицо платкомъ, чтобы не надоѣдали мухи. Вялыя, тягучія мысли все объ одномъ и томъ же потянулись въ его мозгу, какъ длинный обозъ въ осенній ненастный вечеръ, и онъ впалъ въ сонливое, угнетенное состояніе. Ему казалось, что онъ виноватъ передъ Надеждой Ѳедоровной и передъ ея мужемъ, и что мужъ умеръ по его винѣ. Ему казалось, что онъ виноватъ передъ своею жизнью, которую испортилъ, передъ міромъ высокихъ идей, знаній и труда, и этотъ чудесный міръ представлялся ему возможнымъ и существующимъ не здѣсь на берегу, гдѣ бродятъ голодные турки и лѣнивые абхазцы, а тамъ, на сѣверѣ, гдѣ опера, театры, газеты и всѣ виды умственнаго труда. Честнымъ, умнымъ, возвышеннымъ и чистымъ можно быть только тамъ, а не здѣсь. Онъ обвинялъ себя въ томъ, что у него нѣтъ идеаловъ и руководящей идеи въ жизни, хотя смутно понималъ теперь, что это значитъ. Два года тому назадъ, когда онъ полюбилъ Надежду Ѳедоровну, ему казалось, что стоитъ ему только сойтись съ Надеждой Ѳедоровной и уѣхать съ нею на Кавказъ, какъ онъ будетъ спасенъ отъ пошлости и пустоты жизни; такъ и теперь онъ былъ увѣренъ, что стоитъ ему только бросить Надежду Ѳедоровну и уѣхать въ Петербургъ, какъ онъ получитъ все, что ему нужно.

— Бѣжать!—пробормоталъ онъ, садясь и грызя ногти.— Бѣжать!

Воображеніе его рисовало, какъ онъ садится на пароходъ и потомъ завтракаетъ, пьетъ холодное пиво, разговариваетъ на палубѣ съ дамами, потомъ въ Севастополѣ садится въ поѣздъ и ѣдетъ. Здравствуй, свобода! Станціи мелькаютъ одна за другой, воздухъ становится все холоднѣе и жестче, вотъ березы и ели, вотъ Курскъ, Москва... Въ буфетахъ щи, баранина съ кашей, осетрина, пиво, однимъ словомъ, не азіатчина, а Россія, настоящая Россія. Пассажиры въ поѣздѣ говорятъ о торговлѣ, новыхъ пѣвцахъ, о франко-русскихъ симпатіяхъ; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь... Скорѣй, ско-

рѣй! Вотъ, наконецъ, Невскій, Большая Морская, а вотъ Ковенскій переулокъ, гдѣ онъ жилъ когда-то со студентами, вотъ милое, сѣрое небо, моросящій дождикъ, мокрые извозчики...

— Иванъ Андреичъ!—позвалъ кто-то изъ сосѣдней комнаты.—Вы дома?

— Я здѣсь!—отозвался Лаевскій.—Что вамъ?

— Бумаги!

Лаевскій поднялся лѣниво, съ головокруженіемъ и, зѣвая, пленая туфлями, пошелъ въ сосѣднюю комнату. Тамъ у открытаго окна на улицѣ стоялъ одинъ изъ его молодыхъ сослуживцевъ и раскладывалъ на подоконникѣ казенныя бумаги.

— Сейчасъ, голубчикъ,—мягко сказалъ Лаевскій и пошелъ отыскивать чернильницу; вернувшись къ окну, онъ, не читая, подписалъ бумаги и сказалъ:—Жарко!

— Да-съ. Вы придете сегодня?

— Едва ли... Нездоровится что-то. Скажите, голубчикъ, Шешковскому, что послѣ обѣда я зайду къ нему.

Чиновникъ ушелъ. Лаевскій опять легъ у себя на диванѣ и началъ думать:

— Итакъ, надо взвѣсить всѣ обстоятельства и сообразить. Прежде чѣмъ уѣхать отсюда, я долженъ расплатиться съ долгами. Долженъ я около двухъ тысячъ рублей. Денегъ у меня нѣтъ... Это, конечно, не важно; часть теперь заплачу какъ-нибудь, а часть вышлю потомъ изъ Петербурга. Главное, Надежда Ѳедоровна... Прежде всего, надо выяснить наши отношенія... Да.

Немного погодя, онъ соображалъ: не пойти ли лучше къ Самойленко посовѣтоваться?

«Пойти можно,—думалъ онъ:—но какая польза отъ этого? Опять буду говорить ему некстати о будуарѣ, о женщинахъ, о томъ, что честно или нечестно. Какіе тутъ, чортъ подери, могутъ быть разговоры о честномъ или нечестномъ, если поскорѣе надо спасать жизнь мою, если я задыхаюсь въ этой проклятой неволѣ и убиваю себя?... Надо же, наконецъ, понять, что продолжать такую жизнь, какъ моя — это подлость и жестокость, предъ которой все остальное мелко и ничтожно. Бѣжать! — бормоталъ онъ, садясь. — Бѣжать!»

Пустынный берегъ моря, неутолимый зной и однообразіе

дымчатыхъ, лиловатыхъ горъ, вѣчно одинаковыхъ и молчаливыхъ, вѣчно одинокихъ, нагоняли на него тоску и, какъ казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть-можетъ, онъ очень уменъ, талантливъ, замѣчательно честенъ; быть-можетъ, если бы со всѣхъ сторонъ его не замыкали море и горы, изъ него вышелъ бы превосходный земскій дѣятель, государственный человѣкъ, ораторъ, публицистъ, подвижникъ. Кто знаетъ! Если такъ, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно, если даровитый и полезный человѣкъ, напримѣръ, музыкантъ или художникъ, чтобы бѣжать изъ плѣна, ломаетъ стѣну и обманываетъ своихъ тюремщиковъ? Въ положеніи такого человѣка все честно.

Въ два часа Лаевскій и Надежда Ѳедоровна сѣли обѣдать. Когда кухарка подала имъ рисовый супъ съ томатами, Лаевскій сказалъ:

— Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

— Капусты нѣтъ.

— Странно. И у Самойленка варятъ щи съ капустой, и у Марьи Константиновны щи, одинъ только я почему-то обязанъ ѣсть эту сладковатую бурду. Нельзя же такъ, голубка.

Какъ это бываетъ у громаднаго большинства супруговъ, раньше у Лаевскаго и у Надежды Ѳедоровны ни одинъ обѣдъ не обходился безъ капризовъ и сценъ, но съ тѣхъ поръ, какъ Лаевскій рѣшилъ, что онъ уже не любитъ, онъ старался во всемъ уступать Надеждѣ Ѳедоровнѣ, говорилъ съ нею мягко и вѣжливо, улыбался, называлъ голубкой.

— Этотъ супъ похожъ вкусомъ на лакрицу,—сказалъ онъ улыбаясь; онъ дѣлалъ надъ собою усилія, чтобы казаться привѣтливымъ, но не удержался и сказалъ:—Никто у насъ не смотритъ за хозяйствомъ... Если ужъ ты такъ больна или занята чтеніемъ, то, изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она отвѣтила бы ему: «займись», или «ты, я вижу, хочешь изъ меня кухарку сдѣлать», но теперь только робко взглянула на него и покраснѣла.

— Ну, какъ ты чувствуешь себя сегодня? — спросилъ онъ ласково.

— Сегодня ничего. Такъ, только маленькая слабость.

— Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Ѳедоровна была чѣмъ-то больна. Самойленко

говорилъ, что у нея перемежающаяся лихорадка, и кормилъ ее хиной; другой же докторъ Устимовичъ, высокій, сухощавый, нелюдимый человѣкъ, который днемъ сидѣлъ дома, а по вечерамъ, заложивъ назадъ руки и вытянувъ вдоль спины трость, тихо разгуливалъ по набережной и кашлялъ, находилъ, что у нея женская болѣзнь, и прописывалъ согрѣвающіе компрессы. Прежде, когда Лаевскій любилъ, болѣзнь Надежды Ѳедоровны возбуждала въ немъ жалость и страхъ, теперь же и въ болѣзни онъ видѣлъ ложь. Желтое, сонное лицо, вялый взглядъ и зѣвота, которые бывали у Надежды Ѳедоровны послѣ лихорадочныхъ припадковъ, и то, что она во время припадка лежала подъ пледомъ и была похожа больше на мальчика, чѣмъ на женщину, и что въ ея комнатѣ было душно и нехорошо пахло— все это, по его мнѣнію, разрушало иллюзію и было протестомъ противъ любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинатъ съ крутыми яйцами, а Надеждѣ Ѳедоровнѣ, какъ больной, кисель съ молокомъ. Когда она съ озабоченнымъ лицомъ сначала потрогала ложкой кисель и потомъ стала лѣниво ѣсть его, запивая молокомъ, и онъ слышалъ ея глотки, имъ овладѣла такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Онъ сознавалъ, что такое чувство было бы оскорбительно даже въ отношеніи собаки, но ему было досадно не на себя, а Надежду Ѳедоровну за то, что она возбуждала въ немъ это чувство, и онъ понималъ, почему иногда любовники убиваютъ своихъ любовницъ. Самъ бы онъ не убилъ, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжнымъ, онъ оправдалъ бы убійцу.

— Мегсі, голубка,—сказалъ онъ послѣ обѣда и поцѣловалъ Надежду Ѳедоровну въ лобъ.

Придя къ себѣ въ кабинетъ, онъ минутъ пять ходилъ изъ угла въ уголъ, искоса поглядывая на сапоги, потомъ сѣлъ на диванъ и пробормоталъ:

— Бѣжать, бѣжать! Выяснить отношенія и бѣжать!

Онъ легъ на диванъ и опять вспомнилъ, что мужъ Надежды Ѳедоровны, быть-можетъ, умеръ по его винѣ.

— Обвинять человѣка въ томъ, что онъ полюбилъ или разлюбилъ, это глупо,—убѣждалъ онъ себя, лежа и задирая ноги, чтобы надѣть сапоги.—Любовь и ненависть не въ нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть-можетъ,

косвеннымъ образомъ былъ одною изъ причинъ его смерти, но опять-таки виноватъ ли я въ томъ, что полюбилъ его жену, а жена—меня.

Затѣмъ онъ всталъ и, отыскавъ свою фуражку, отправился къ своему сослуживцу Шешковскому, у котораго каждый день собирались чиновники играть въ винтъ и пить холодное пиво.

«Своею нерѣшительностью я напоминаю Гамлета,—думалъ Лаевскій дорогой.—Какъ вѣрно Шекспиръ подмѣтилъ! Ахъ, какъ вѣрно!»

III.

Чтобы скучно не было и снисходя къ крайней нуждѣ вновь пріѣзжавшихъ и несемейныхъ, которымъ, за неимѣніемъ гостиницы въ городѣ, негдѣ было обѣдать, докторъ Самойленко держалъ у себя нѣчто въ родѣ табльдота. Въ описываемое время у него столовались только двое: молодой зоологъ фонъ-Коренъ, пріѣзжавшій лѣтомъ къ Черному морю, чтобы изучать эмбріологію медузъ, и дьяконъ Побѣдовъ, недавно выпущенный изъ семинаріи и командированный въ городокъ для исполненія обязанностей дьякона-старика, уѣхавшаго лѣчиться. Оба они платили за обѣдъ и за ужинъ по 12 рублей въ мѣсяцъ, и Самойленко взялъ съ нихъ честное слово, что они будутъ являться обѣдать аккуратно къ двумъ часамъ.

Первымъ обыкновенно приходилъ фонъ-Коренъ. Онъ молча садился въ гостиной и, взявши со стола альбомъ, начиналъ внимательно разсматривать потускнѣвшія фотографіи какихъ-то неизвѣстныхъ мужчинъ въ широкихъ панталонахъ и цилиндрахъ и дамъ въ кринолинахъ и въ чепцахъ; Самойленко только немногихъ помнилъ по фамиліи, а про тѣхъ, кого забылъ, говорилъ со вздохомъ: «Прекраснѣйшій, величайшаго ума человѣкъ!» Покончивъ съ альбомомъ, фонъ-Коренъ бралъ съ этажерки пистолетъ и, прищуривъ лѣвый глазъ, долго прицѣливался въ портретъ князя Воронцова, или же становился передъ зеркаломъ и разсматривалъ свое смуглое лицо, большой лобъ и черные, курчавые, какъ у негра, волоса, и свою рубаху изъ тусклаго ситца съ крупными цвѣтами, похожаго на персидскій коверъ, и широкій кожаный поясъ вмѣсто жилетки. Самосозерцаніе доставляло ему едва ли не большее удовольствіе,

чѣмъ осмотръ фотографій, или пистолета въ дорогой оправѣ. Онъ былъ очень доволенъ и своимъ лицомъ, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которыя служили очевиднымъ доказательствомъ его хорошаго здоровья и крѣпкаго сложенія. Онъ былъ доволенъ и своимъ франтовскимъ костюмомъ, начиная съ галстука, подобраннаго подъ цвѣтъ рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока онъ разсматривалъ альбомъ и стоялъ передъ зеркаломъ, въ это время въ кухнѣ и около нея въ сѣняхъ Самойленко, безъ сюртука и безъ жилетки, съ голой грудью, волнуясь и обливаясь потомъ, суетился около столовъ, приготовляя салатъ, или какой-нибудь соусъ или мясо, огурцы и лукъ для окрошки, и при этомъ злобно таращилъ глаза на помогавшаго ему денщика и замахивался на него то ножомъ, то ложкой.

— Подай уксусъ! — приказывалъ онъ. — То, бишь, не уксусъ, а прованское масло!—кричалъ онъ, топая ногами.— Куда же ты пошелъ, скотина.

— За масломъ, ваше превосходительство,—говорилъ оторопѣвшій денщикъ надтреснутымъ теноромъ.

— Скорѣе! Оно въ шкапу! Да скажи Дарьѣ, чтобъ она въ банку съ огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налѣзутъ!

И отъ его крика, казалось, гудѣлъ весь домъ. Когда до двухъ часовъ оставалось 10 или 15 минутъ, приходилъ дьяконъ, молодой человѣкъ, лѣтъ 22, худощавый, длинноволосый, безъ бороды и съ едва замѣтными усами. Войдя въ гостиную, онъ крестился на образъ, улыбался и протягивалъ фонъ-Корену руку.

— Здравствуйте, — холодно говорилъ зоологъ. — Гдѣ вы были?

— На пристани бычковъ ловилъ.

— Ну, конечно... Повидимому, дьяконъ, вы никогда не будете заниматься дѣломъ.

— Отчего же? Дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ,— говорилъ дьяконъ, улыбаясь и засовывая руки въ глубочайшіе карманы своего бѣлаго подрясника.

— Бить васъ некому вздыхалъ зоологъ.

Проходило еще 15—20 минутъ, а обѣдать не звали и все еще слышно было, какъ денщикъ, бѣгая изъ сѣней въ кухню и обратно, стучалъ сапогами и какъ Самойленко кричалъ.

— Поставь на столъ! куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшіеся дьяконъ и фонъ-Коренъ начинали стучать о полъ каблуками, выражая этимъ свое нетерпѣніе, какъ зрители въ театральномъ райкѣ. Наконецъ, дверь отворялась и замученный денщикъ объявлялъ: кушать готово! Въ столовой встрѣчалъ ихъ багровый, распаренный въ кухонной духотѣ и сердитый Самойленко; онъ злобно глядѣлъ на нихъ и съ выраженіемъ ужаса на лицѣ поднималъ крышку съ супника и наливалъ обоимъ по тарелкѣ, и только когда убѣждался, что они ѣдятъ съ аппетитомъ и что кушанье имъ нравится, легко вздыхалъ и садился въ свое глубокое кресло. Лицо его становилось томнымъ, маслянымъ... Онъ не спѣша наливалъ себѣ рюмку водки и говорилъ:

— За здоровье молодого поколѣнія!

Послѣ разговора съ Лаевскимъ, Самойленко все время отъ утра до обѣда, несмотря на прекраснѣйшее настроеніе, чувствовалъ въ глубинѣ души нѣкоторую тяжесть; ему было жаль Лаевскаго и хотѣлось помочь ему. Выпивъ передъ супомъ рюмку водки, онъ вздохнулъ и сказалъ:

— Видѣлъ я сегодня Ваню Лаевскаго. Трудно живется человѣчку. Матеріальная сторона жизни неутѣшительна, а главное—психологія одолѣла. Жаль парня.

— Вотъ ужъ кого мнѣ не жаль! — сказалъ фонъ-Коренъ.—Если бы этотъ милый мужчина тонулъ, то я бы еще палкой подтолкнулъ: тони, братецъ, тони...

— Неправда. Ты бы этого не сдѣлалъ.

— Почему ты думаешь? — пожалъ плечами зоологъ.—Я такъ же способенъ на доброе дѣло, какъ и ты.

— Развѣ утопить человѣка — доброе дѣло? — спросилъ дьяконъ и засмѣялся.

— Лаевскаго? Да.

— Въ окрошкѣ, кажется, чего-то недостаетъ...—сказалъ Самойленко, желая перемѣнить разговоръ.

— Лаевскій безусловно вреденъ и такъ же опасенъ для общества, какъ холерная микроба,—продолжалъ фонъ-Коренъ.—Утопить его—заслуга.

— Не дѣлаетъ тебѣ чести, что ты такъ выражаешься о своемъ ближнемъ. Скажи: за что ты его ненавидишь?

— Не говори, докторъ, пустяковъ. Ненавидѣть и презирать микробу—глупо, а считать своимъ ближнимъ, во что

бы то ни стало, всякаго встрѣчнаго безъ различія — это, покорно благодарю, это значитъ не разсуждать, отказаться отъ справедливаго отношенія къ людямъ, умыть руки, однимъ словомъ. Я считаю твоего Лаевскаго мерзавцемъ, не скрываю этого и отношусь къ нему, какъ къ мерзавцу, съ полною моею добросовѣстностью. Ну, а ты считаешь его своимъ ближнимъ — и поцѣлуйся съ нимъ; ближнимъ считаешь, а это значитъ, что къ нему ты относишься такъ же, какъ ко мнѣ и дьякону, то-есть, никакъ. Ты одинаково равнодушенъ ко всѣмъ.

— Называть человѣка мерзавцемъ! — пробормоталъ Самойленко, брезгливо морщась. — Это до такой степени не хорошо, что и выразить тебѣ не могу!

— О людяхъ судятъ по ихъ поступкамъ, — продолжалъ фонъ-Кореиъ. — Теперь судите же, дьяконъ... Я, дьяконъ, буду съ вами говорить. Дѣятельность господина Лаевскаго откровенно развернута передъ вами, какъ длинная китайская грамота, и вы можете читать ее отъ начала до конца. Что онъ сдѣлалъ за эти два года, пока живетъ здѣсь? Будемъ считать по пальцамъ. Во-первыхъ, онъ научилъ жителей городка играть въ винтъ; два года тому назадъ эта игра была здѣсь неизвѣстна, теперь же въ винтъ играютъ отъ утра до поздней ночи всѣ, даже женщины и подростки; во-вторыхъ, онъ научилъ обывателей пить пиво, которое тоже здѣсь не было извѣстно; ему же обыватели обязаны свѣдѣніями по части разныхъ сортовъ водокъ, такъ что съ завязанными глазами они могутъ теперь отличить водку Кошелева отъ Смирнова № 21. Въ-третьихъ, прежде здѣсь жили съ чужими женами тайно, по тѣмъ же побужденіямъ, по какимъ воры воруютъ тайно, а не явно; прелюбодѣяніе считалось чѣмъ-то такимъ, что стыдились выставлять на общій показъ; Лаевскій же явился въ этомъ отношеніи піонеромъ: онъ живетъ съ чужой женой открыто. Въ-четвертыхъ...

Фонъ-Кореиъ быстро съѣлъ свою окрошку и отдалъ денщику тарелку.

— Я понялъ Лаевскаго въ первый же мѣсяцъ нашего знакомства,—продолжалъ онъ, обращаясь къ дьякону.—Мы въ одно время пріѣхали сюда. Такіе люди, какъ онъ, очень любятъ дружбу, сближеніе, солидарность и тому подобное, потому что имъ всегда нужна компанія для винта, выпивки и закуски; къ тому же, они болтливы, и имъ нужна слу-

— Поставь на столъ! куда сунешь? Помой сначала!

Проголодавшіеся дьяконъ и фонъ-Коренъ начинали стучать о полъ каблуками, выражая этимъ свое нетерпѣніе, какъ зрители въ театральномъ райкѣ. Наконецъ, дверь отворялась и замученный денщикъ объявлялъ: кушать готово! Въ столовой встрѣчалъ ихъ багровый, распаренный въ кухонной духотѣ и сердитый Самойленко; онъ злобно глядѣлъ на нихъ и съ выраженіемъ ужаса на лицѣ поднималъ крышку съ супника и наливалъ обоимъ по тарелкѣ, и только когда убѣждался, что они ѣдятъ съ аппетитомъ и что кушанье имъ нравится, легко вздыхалъ и садился въ свое глубокое кресло. Лицо его становилось томнымъ, маслянымъ... Онъ не спѣша наливалъ себѣ рюмку водки и говорилъ:

— За здоровье молодого поколѣнія!

Послѣ разговора съ Лаевскимъ, Самойленко все время отъ утра до обѣда, несмотря на прекраснѣйшее настроеніе, чувствовалъ въ глубинѣ души нѣкоторую тяжесть; ему было жаль Лаевскаго и хотѣлось помочь ему. Выпивъ передъ супомъ рюмку водки, онъ вздохнулъ и сказалъ:

— Видѣлъ я сегодня Ваню Лаевскаго. Трудно живется человѣчку. Матеріальная сторона жизни неутѣшительна, а главное—психологія одолѣла. Жаль парня.

— Вотъ ужъ кого мнѣ не жаль! — сказалъ фонъ-Коренъ.—Если бы этотъ милый мужчина тонулъ, то я бы еще палкой подтолкнулъ: тони, братецъ, тони...

— Неправда. Ты бы этого не сдѣлалъ.

— Почему ты думаешь? — пожалъ плечами зоологъ.—Я такъ же способенъ на доброе дѣло, какъ и ты.

— Развѣ утопить человѣка — доброе дѣло? — спросилъ дьяконъ и засмѣялся.

— Лаевскаго? Да.

— Въ окрошкѣ, кажется, чего-то недостаетъ...—сказалъ Самойленко, желая перемѣнить разговоръ.

— Лаевскій безусловно вреденъ и такъ же опасенъ для общества, какъ холерная микроба, — продолжалъ фонъ-Коренъ.—Утопить его—заслуга.

— Не дѣлаетъ тебѣ чести, что ты такъ выражаешься о своемъ ближнемъ. Скажи: за что ты его ненавидишь?

— Не говори, докторъ, пустяковъ. Ненавидѣть и презирать микробу—глупо, а считать своимъ ближнимъ, во что

бы то ни стало, всякаго встрѣчнаго безъ различія — это, покорно благодарю, это значитъ не разсуждать, отказаться отъ справедливаго отношенія къ людямъ, умыть руки, однимъ словомъ. Я считаю твоего Лаевскаго мерзавцемъ, не скрываю этого и отношусь къ нему, какъ къ мерзавцу, съ полною моею добросовѣстностью. Ну, а ты считаешь его своимъ ближнимъ — и поцѣлуйся съ нимъ; ближнимъ считаешь, а это значитъ, что къ нему ты относишься такъ же, какъ ко мнѣ и дьякону, то-есть, никакъ. Ты одинаково равнодушенъ ко всѣмъ.

— Называть человѣка мерзавцемъ! — пробормоталъ Самойленко, брезгливо морщась. — Это до такой степени не хорошо, что и выразить тебѣ не могу!

— О людяхъ судятъ по ихъ поступкамъ, — продолжалъ фонъ-Кореиъ. — Теперь судите же, дьяконъ... Я, дьяконъ, буду съ вами говорить. Дѣятельность господина Лаевскаго откровенно развернута передъ вами, какъ длинная китайская грамота, и вы можете читать ее отъ начала до конца. Что онъ сдѣлалъ за эти два года, пока живетъ здѣсь? Будемъ считать по пальцамъ. Во-первыхъ, онъ научилъ жителей городка играть въ винтъ; два года тому назадъ эта игра была здѣсь неизвѣстна, теперь же въ винтъ играютъ отъ утра до поздней ночи всѣ, даже женщины и подростки; во-вторыхъ, онъ научилъ обывателей пить пиво, которое тоже здѣсь не было извѣстно; ему же обыватели обязаны свѣдѣніями по части разныхъ сортовъ водокъ, такъ что съ завязанными глазами они могутъ теперь отличить водку Кошелева отъ Смирнова № 21. Въ-третьихъ, прежде здѣсь жили съ чужими женами тайно, по тѣмъ же побужденіямъ, по какимъ воры воруютъ тайно, а не явно; прелюбодѣяніе считалось чѣмъ-то такимъ, что стыдились выставлять на общій показъ; Лаевскій же явился въ этомъ отношеніи піонеромъ: онъ живетъ съ чужой женой открыто. Въ-четвертыхъ...

Фонъ-Кореиъ быстро съѣлъ свою окрошку и отдалъ денщику тарелку.

— Я понялъ Лаевскаго въ первый же мѣсяцъ нашего знакомства,—продолжалъ онъ, обращаясь къ дьякону.—Мы въ одно время пріѣхали сюда. Такіе люди, какъ онъ, очень любятъ дружбу, сближеніе, солидарность и тому подобное, потому что имъ всегда нужна компанія для винта, выпивки и закуски; къ тому же, они болтливы, и имъ нужны слу-

шатели. Мы подружились, то-есть онъ шлялся ко мнѣ каждый день, мѣшалъ мнѣ работать и откровенничалъ насчетъ своей содержанки. На первыхъ же порахъ онъ поразилъ меня своею необыкновенною лживостью, отъ которой меня просто тошнило. Въ качествѣ друга я журилъ его, зачѣмъ онъ много пьетъ, зачѣмъ живетъ не по средствамъ и дѣлаетъ долги, зачѣмъ ничего не дѣлаетъ и не читаетъ, зачѣмъ онъ такъ мало культуренъ и мало знаетъ— и въ отвѣтъ на всѣ мои вопросы онъ горько улыбался, вздыхалъ и говорилъ:—«Я неудачникъ, лишній человѣкъ», или:—«Что вы хотите, батенька, отъ насъ, осколковъ крѣпостничества?» или:—«Мы вырождаемся...» Или начиналъ нести длинную галиматью объ Онѣгинѣ, Печоринѣ, байроновскомъ Каинѣ, Базаровѣ, про которыхъ говорилъ:—«Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте такъ, молъ, что не онъ виноватъ въ томъ, что казенные пакеты по недѣлямъ лежатъ не распечатанными, и что самъ онъ пьетъ и другихъ спаиваетъ, а виноваты въ этомъ Онѣгинъ, Печоринъ и Тургеневъ, выдумавшій неудачника и лишняго человѣка. Причина крайней распущенности и безобразія, видите ли, лежитъ не въ немъ самомъ, а гдѣ-то внѣ, въ пространствѣ. И притомъ—ловкая штука!—распутенъ, лживъ и гадокъ не онъ одинъ, а мы... «мы люди восьмидесятыхъ годовъ», «мы вялое, нервное отродье крѣпостного права», «насъ искалѣчила цивилизація»... Однимъ словомъ, мы должны понять, что такой великій человѣкъ, какъ Лаевскій, и въ паденіи своемъ великъ; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляютъ явленіе естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тутъ міровыя, стихійныя и что передъ Лаевскимъ надо лампаду повѣсить, такъ какъ онъ—роковая жертва времени, вѣяній, наслѣдственности и прочее. Всѣ чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не могъ понять, съ кѣмъ я имѣю дѣло: съ циникомъ, или съ ловкимъ мазурикомъ? Такіе субъекты, какъ онъ, съ виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящіе много о собственномъ благородствѣ, умѣютъ прикидываться необыкновенно сложными натурами.

— Замолчи!—вспыхнулъ Самойленко. — Я не позволю, чтобы въ моемъ присутствіи говорили дурно о благороднѣйшемъ человѣкѣ!

— Не перебивай, Александръ Давидычъ, — холодно сказалъ фонъ-Коренъ. — Я сейчасъ кончу. Лаевскій — довольно несложный организмъ. Вотъ его нравственный остовъ: утромъ туфли, купанье и кофе, потомъ до обѣда туфли, моціонъ и разговоры, въ два часа туфли, обѣдъ и вино, въ пять часовъ купанье, чай и вино, затѣмъ винтъ и лганье, въ десять часовъ ужинъ и вино, а послѣ полуночи сонъ и la femme. Существованіе его заключено въ эту тѣсную программу, какъ яйцо въ скорлупу. Идетъ ли онъ, сидитъ ли, сердится, пишетъ, радуется—все сводится къ вину, картамъ, туфлямъ и женщинѣ. Женщина играетъ въ его жизни роковую, подавляющую роль. Онъ самъ повѣствуетъ, что 13-ти лѣтъ онъ уже былъ влюбленъ; будучи студентомъ перваго курса, онъ жилъ съ дамой, которая имѣла на него благотворное вліяніе и которой онъ обязанъ своимъ музыкальнымъ образованіемъ. Во второмъ курсѣ онъ выкупилъ изъ публичнаго дома проститутку и возвысилъ ее до себя, то-есть взялъ въ содержанки, а она пожила съ нимъ полгода и убѣжала назадъ къ хозяйкѣ, и это бѣгство причинило ему не мало душевныхъ страданій. Увы, онъ такъ страдалъ, что долженъ былъ оставить университетъ и два года жить дома безъ дѣла. Но это къ лучшему. Дома онъ сошелся съ одной вдовой, которая посовѣтовала ему оставить юридическій факультетъ и поступить на филологическій. Онъ такъ и сдѣлалъ. Кончивъ курсъ, онъ страстно полюбилъ теперешнюю свою... какъ ее?.. замужнюю, и долженъ былъ бѣжать съ нею сюда на Кавказъ, за идеалами якобы... Не сегодня—завтра онъ разлюбитъ ее и убѣжитъ назадъ въ Петербургъ, и тоже за идеалами.

— А ты почемъ знаешь?—проворчалъ Самойленко, со злобой глядя на зоолога.—Ѣшь-ка лучше.

Подали отварныхъ кефалей съ польскимъ соусомъ. Самойленко положилъ обоимъ нахлѣбникамъ по цѣлой кефали и собственноручно полилъ соусомъ. Минуты двѣ прошли въ молчаніи.

— Женщина играетъ существенную роль въ жизни каждаго человѣка, — сказалъ дьяконъ. — Ничего не подѣлаешь.

— Да, но въ какой степени? У каждаго изъ насъ женщина есть мать, сестра, жена, другъ, у Лаевскаго же она—все и притомъ только любовница. Она, то-есть сожитель-

ство съ ней—счастье и цѣль его жизни; онъ веселъ, грустенъ, скученъ, разочарованъ—отъ женщины; жизнь опостылѣла—женщина виновата; загорѣлась заря новой жизни, нашлись идеалы—и тутъ ищи женщину... Удовлетворяютъ его только тѣ сочиненія или картины, гдѣ есть женщина. Нашъ вѣкъ, по его мнѣнію, плохъ и хуже сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ только потому, что мы не умѣемъ до самозабвенія отдаваться любовному экстазу и страсти. У этихъ сладострастниковъ, должно-быть, въ мозгу есть особый наростъ въ родѣ саркомы, который сдавилъ мозгъ и управляетъ всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевскаго, когда онъ сидитъ гдѣ-нибудь въ обществѣ. Вы замѣтьте: когда при немъ поднимаешь какой-нибудь общій вопросъ, напримѣръ, о клѣточкѣ, или инстинктѣ, онъ сидитъ въ сторонѣ, молчитъ и не слушаетъ; видъ у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, все пошло и ничтожно, но какъ только вы заговорили о самкахъ и самцахъ, о томъ, напримѣръ, что у пауковъ самка послѣ оплодотворенія съѣдаетъ самца—глаза у него загораются любопытствомъ, лицо проясняется и человѣкъ оживаетъ, однимъ словомъ. Всѣ его мысли, какъ бы благородны, возвышенны, или безразличны онѣ ни были, имѣютъ всегда одну и ту же точку общаго схода. Идешь съ нимъ по улицѣ и встрѣчаешь, напримѣръ, осла...—«Скажите, пожалуйста, — спрашиваетъ: — что произойдетъ, если случить ослицу съ верблюдомъ?» А сны! Онъ разсказывалъ вамъ свои сны? Это великолѣпно! То ему снится, что его женятъ на лунѣ, то будто зовутъ его въ полицію и приказываютъ ему тамъ, чтобы онъ жилъ съ гитарой...

Дьяконъ звонко захохоталъ; Самойленко нахмурился и сердито сморщилъ лицо, чтобы не засмѣяться, но не удержался и захохоталъ.

— И все вретъ!—сказалъ онъ, вытирая слезы.—Ей-Богу, вретъ!

IV.

Дьяконъ былъ очень смѣшливъ и смѣялся отъ каждаго пустяка до колотья въ боку, до упада. Казалось, что онъ любилъ бывать среди людей только потому, что у нихъ есть смѣшныя стороны и что имъ можно давать смѣшныя прозвища. Самойленка онъ прозвалъ тарантуломъ, его денщика

селезнемъ и былъ въ восторгѣ, когда однажды фонъ-Коренъ обозвалъ Лаевскаго и Надежду Ѳедоровну макаками. Онъ жадно всматривался въ лица, слушалъ не мигая, и видно было, какъ глаза его наполнялись смѣхомъ и какъ напрягалось лицо въ ожиданіи, когда можно будетъ дать себѣ волю и покатиться со смѣху.

— Это развращенный и извращенный субъектъ,—продолжалъ зоологъ, а дьяконъ, въ ожиданіи смѣшныхъ словъ, впился ему въ лицо.—Рѣдко гдѣ можно встрѣтить такое ничтожество. Тѣломъ онъ вялъ, хилъ и старъ, а интеллектомъ ничѣмъ не отличается отъ толстой кунчихи, которая только жретъ, пьетъ, спитъ на перинѣ и держитъ въ любовникахъ своего кучера.

Дьяконъ опять захохоталъ.

— Не смѣйтесь, дьяконъ,—сказалъ фонъ-Коренъ:—это глупо, наконецъ. Я бы не обратилъ вниманія на его ничтожество,—продолжалъ онъ, выждавъ, когда дьяконъ пересталъ хохотать:—я бы прошелъ мимо него, если бы онъ не былъ такъ вреденъ и опасенъ. Вредоносность его заключается прежде всего въ томъ, что онъ имѣетъ успѣхъ у женщинъ и такимъ образомъ угрожаетъ имѣть потомство, то-есть подарить міру дюжину Лаевскихъ, такихъ же хилыхъ и извращенныхъ, какъ онъ самъ. Во-вторыхъ, онъ заразителенъ въ высшей степени. Я уже говорилъ вамъ о винтѣ и пивѣ. Еще годъ-два—и онъ завоюетъ все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ея средній слой, вѣритъ въ интеллигентность, въ университетскую образованность, въ благородство манеръ и литературность языка. Какую бы онъ ни сдѣлалъ мерзость, всѣ вѣрятъ, что это хорошо, что это такъ и быть должно, такъ какъ онъ интеллигентный, либеральный и университетскій человѣкъ. Къ тому же, онъ неудачникъ, лишній человѣкъ, неврастеникъ, жертва времени, а это значитъ, что ему все можно. Онъ милый малый, душа-человѣкъ, онъ такъ сердечно снисходитъ къ человѣческимъ слабостямъ; онъ сговорчивъ, податливъ, покладистъ, не гордъ, съ нимъ и выпить можно, и поскверпословить, и посудачить... Масса, всегда склонная къ антропоморфизму въ религіи и морали, больше всего любитъ тѣхъ божковъ, которые имѣютъ такія же слабости, какъ она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! Къ тому же, онъ недурной актеръ

и ловкій лицемѣръ, и отлично знаетъ, гдѣ раки зимуютъ. Возьмите-ка его увертки и фокусы, напримѣръ, хотя бы его отношеніе къ цивилизаціи. Онъ и не нюхалъ цивилизаціи, а между тѣмъ:—«Ахъ, какъ мы искалѣчены цивилизаціей! Ахъ, какъ я завидую этимъ дикарямъ, этимъ дѣтямъ природы, которые не знаютъ цивилизаціи!» Надо понимать, видите ли, что онъ когда-то, во времена оны, всей душой былъ преданъ цивилизаціи, служилъ ей, постигъ ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; онъ, видите ли, Фаустъ, второй Толстой... А Шопенгауэра и Спенсера онъ третируетъ, какъ мальчишекъ, и отечески хлопаетъ ихъ по плечу: ну, что, братъ, Спенсеръ? Онъ Спенсера, конечно, не читалъ, но какъ бываетъ милъ, когда съ легкой, небрежной ироніей говоритъ про свою барыню:—«Она читала Спенсера!» И его слушаютъ, и никто не хочетъ понять, что этотъ шарлатанъ не имѣетъ права не только выражаться о Спенсерѣ въ такомъ тонѣ, но даже цѣловать подошву Спенсера! Рыться подъ цивилизацію, подъ авторитеты, подъ чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на нихъ только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, можетъ только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

— Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься отъ него,— сказалъ Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато.—Онъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ. Конечно, не безъ слабостей, но онъ стоитъ на уровнѣ современныхъ идей, служитъ, приноситъ пользу отечеству. Десять лѣтъ назадъ здѣсь служилъ агентомъ старичокъ, величайшаго ума человѣкъ... Такъ вотъ онъ говаривалъ...

— Полно, полно! — перебилъ зоологъ. — Ты говоришь: онъ служитъ. Но какъ служитъ? Развѣ оттого, что онъ явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнѣе, честнѣе и вѣжливѣе? Напротивъ, своимъ авторитетомъ интеллигентнаго университетскаго человѣка онъ только санкціонировалъ ихъ распущенность. Бываетъ онъ исправенъ только двадцатаго числа, когда получаетъ жалованье, въ остальныя же числа онъ только шаркаетъ у себя дома туфлями и старается придать себѣ такое выраженіе, какъ будто дѣлаетъ русскому правительству большое одолженіе тѣмъ, что живетъ на Кавказѣ. Нѣтъ, Александръ Давидычъ,

пе вступайся за него. Ты не искренен отъ начала до конца. Если бы ты въ самомъ дѣлѣ любилъ его и считалъ своимъ ближнимъ, то прежде всего ты не былъ бы равнодушенъ къ его слабостямъ, не снисходилъ бы къ нимъ, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

— То-есть?

— Обезвредить. Такъ какъ онъ неисправимъ, то обезвредить его можно только однимъ способомъ...

Фонъ-Коренъ провелъ пальцемъ около своей шеи.

— Или утопить, что ли...—добавилъ онъ.—Въ интересахъ человѣчества и въ своихъ собственныхъ интересахъ такіе люди должны быть уничтожаемы. Непремѣнно.

— Что ты говоришь?!—пробормоталъ Самойленко, поднимаясь и съ удивленіемъ глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. — Дьяконъ, что онъ говоритъ? Да ты въ своемъ умѣ?

— Я не настаиваю на смертной казни,—сказалъ фонъ-Коренъ.—Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевскаго нельзя, ну, такъ изолируйте его, обезличьте, отдайте въ общественныя работы...

— Что ты говоришь?—ужаснулся Самойленко.—Съ перцемъ, съ перцемъ!—закричалъ онъ отчаяннымъ голосомъ, замѣтивъ, что дьяконъ ѣстъ фаршированные кабачки безъ перца.—Ты, величайшаго ума человѣкъ, что ты говоришь?! Нашего друга, гордаго, интеллигентнаго человѣка, отдавать въ общественныя работы!!

— А если гордъ, станетъ противиться—въ кандалы!

Самойленко не могъ ужъ выговорить ни одного слова и только шевелилъ пальцами; дьяконъ взглянулъ на его ошеломленное, въ самомъ дѣлѣ, смѣшное лицо и захохоталъ.

— Перестанемъ говорить объ этомъ,—сказалъ зоологъ.—Помни только одно, Александръ Давидычъ, что первобытное человѣчество было охраняемо отъ такихъ, какъ Лаевскій, борьбой за существованіе и подборомъ; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подборъ, и мы должны сами позаботиться объ уничтоженіи хилыхъ и негодныхъ, иначе, когда Лаевскіе размножатся, цивилизація погибнетъ, и человѣчество выродится совершенно. Мы будемъ виноваты.

— Если людей топить и вѣшать,—сказалъ Самойленко:— то къ чорту твою цивилизацію, къ чорту человѣчество! Къ чорту! Вотъ что я тебѣ скажу: ты ученѣйшій, величайшаго ума человѣкъ и гордость отечества, но тебя нѣмцы испортили. Да, нѣмцы! Нѣмцы!

Самойленко съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ изъ Дерпта, въ которомъ учился медицинѣ, рѣдко видѣлъ нѣмцевъ и не прочелъ ни одной нѣмецкой книги, но, по его мнѣнію, все зло въ политикѣ и наукѣ происходило отъ нѣмцевъ. Откуда у него взялось такое мнѣніе, онъ и самъ не могъ сказать, но держался его крѣпко.

— Да, нѣмцы!—повторилъ онъ еще разъ.—Пойдемте чай пить.

Всѣ трое встали и, надѣвши шляпы, пошли въ палисадникъ и сѣли тамъ подъ тѣнью блѣдныхъ кленовъ, грушъ и каштана. Зоологъ и дьяконъ сѣли на скамью около столика, а Самойленко опустился въ плетеное кресло съ широкой, покатой спинкой. Денщикъ подалъ чай, варенье и бутылку съ сиропомъ.

Было очень жарко, градусовъ тридцать въ тѣни. Знойный воздухъ застылъ, былъ неподвиженъ и длинная паутина, свѣсившаяся съ каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьяконъ взялъ гитару, которая постоянно лежала на землѣ около стола, настроилъ ее и запѣлъ тихо, тонкимъ голоскомъ: «Отроцы семинаристіи у кабака стояху»... но тотчасъ же замолкъ отъ жары, вытеръ со лба потъ и взглянулъ вверхъ на синее горячее небо. Самойленко задремалъ; отъ зноя, тишины и сладкой послѣобѣденной дремоты, которая быстро овладѣла всѣми его членами, онъ ослабѣлъ и опьянѣлъ; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Онъ со слезливымъ умиленіемъ поглядѣлъ на фонъ-Корена и дьякона и забормоталъ:

— Молодое поколѣніе... Звѣзда науки и свѣтильникъ церкви... Гляди, длиннополая аллилуйя въ митрополиты выскочитъ, чего добраго, придется ручку цѣловать... Что жъ... дай Богъ...

Скоро послышалось храпѣнье. Фонъ-Коренъ и дьяконъ допили чай и вышли на улицу.

— Вы опять на пристань бычковъ ловить? — спросилъ зоологъ.

— Нѣтъ, жарковато.

— Пойдемте ко мнѣ. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати потолкуемъ, чѣмъ бы вамъ заняться. Надо работать, дьяконъ. Такъ нельзя.

— Ваши слова справедливы и логичны,—сказалъ дьяконъ:—но лѣность моя находитъ себѣ извиненіе въ обстоятельствахъ моей настоящей жизни. Сами знаете, неопредѣленность положенія значительно способствуетъ апатичному состоянію людей. На время ли меня сюда прислали, или навсегда, Богу одному извѣстно; я здѣсь живу въ неизвѣстности, а дьяконица моя прозябаетъ у отца и скучаетъ. И, признаться, отъ жары мозги раскисли.

— Все вздоръ,—сказалъ зоологъ.—И къ жарѣ можно привыкнуть, и безъ дьяконицы можно привыкнуть. Не слѣдуетъ баловаться. Надо себя въ рукахъ держать.

V.

Надежда Ѳедоровна шла утромъ купаться, а за нею съ кувшиномъ, мѣднымъ тазомъ, съ простынями и губкой шла ея кухарка Ольга. На рейдѣ стояли два какихъ-то незнакомыхъ парохода съ грязными бѣлыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какіе-то мужчины въ бѣломъ, въ бѣлыхъ башмакахъ ходили по пристани и громко кричали по-французски, и имъ откликались съ этихъ пароходовъ. Въ маленькой городской церкви бойко звонили въ колокола.

— Сегодня воскресенье!—съ удовольствіемъ вспомнила Надежда Ѳедоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоровой и была въ веселомъ, праздничномъ настроеніи. Въ новомъ просторномъ платьѣ изъ грубой мужской чечунчи и въ большой соломенной шляпѣ, широкія поля которой сильно были загнуты къ ушамъ, такъ что лицо ея глядѣло какъ-будто изъ коробочки, она казалась себѣ очень миленькой. Она думала о томъ, что во всемъ городѣ есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина—это она, и что только она одна умѣетъ одѣться дешево, изящно и со вкусомъ. Напримѣръ, это платье стоитъ только 22 рубля, а между тѣмъ какъ мило! Во всемъ городѣ только она одна можетъ нравиться, а мужчинъ много, и потому всѣ они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Она радовалась, что Лаевскій въ послѣднее время былъ

съ нею холоденъ, сдержанно-вѣжливъ и временами даже дерзокъ и грубъ; на всѣ его выходки и презрительные, холодные или странные непонятные взгляды она прежде отвѣчала бы слезами, попреками и угрозами уѣхать отъ него, или уморить себя голодомъ, теперь же въ отвѣтъ она только краснѣла, виновато поглядывала на него и радовалась, что онъ не ласкается къ ней. Если бы онъ бранилъ ее, или угрожалъ, то было бы еще лучше и пріятнѣе, такъ какъ она чувствовала себя кругомъ виноватою передъ нимъ. Ей казалось, что она виновата въ томъ, во-первыхъ, что не сочувствовала его мечтамъ о трудовой жизни, ради которой онъ бросилъ Петербургъ и пріѣхалъ сюда на Кавказъ, и была она увѣрена, что сердился онъ на нее въ послѣднее время именно за это. Когда она ѣхала на Кавказъ, ей казалось, что она въ первый же день найдетъ здѣсь укромный уголокъ на берегу, уютный садикъ съ тѣнью, птицами и ручьями, гдѣ можно будетъ садить цвѣты и овощи, разводить утокъ и куръ, принимать сосѣдей, лѣчить бѣдныхъ мужиковъ и раздавать имъ книжки; оказалось же, что Кавказъ—это лысыя горы, лѣса и громадныя долины, гдѣ надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никакихъ тутъ сосѣдей нѣтъ и очень жарко, и могутъ ограбить. Лаевскій не торопился пріобрѣтать участокъ; она была рада этому, и оба они точно условились мысленно никогда не упоминать о трудовой жизни. Онъ молчалъ, думала она, значитъ сердился на нее за то, что она молчитъ.

Во-вторыхъ, она безъ его вѣдома за эти два года набрала въ магазинѣ Ачміанова разныхъ пустяковъ рублей на триста. Брала она понемножку то матеріи, то шелку, то зонтикъ, и незамѣтно скопился такой долгъ.

— Сегодня же скажу ему объ этомъ...—рѣшила она, но тотчасъ же сообразила, что при теперешнемъ настроеніи Лаевскаго едва ли удобно говорить ему о долгахъ.

Въ-третьихъ, она уже два раза, въ отсутствіи Лаевскаго, принимала у себя Кирилина, полицейскаго пристава: разъ утромъ, когда Лаевскій уходилъ купаться, и въ другой разъ въ полночь, когда онъ игралъ въ карты. Вспомнивъ объ этомъ, Надежда Ѳедоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, какъ бы боясь, чтобы та не подслушала ея мыслей. Длинные, нестерпимо жаркіе, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душныя ночи, и вся эта жизнь, когда отъ

утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивыя мысли о томъ, что она самая красивая и молодая женщина въ городѣ, и что молодость ея проходитъ даромъ, и самъ Лаевскій, честный, идейный, но однообразный, вѣчно шаркающій туфлями, грызущій ногти и наскучающій своими капризами — сдѣлали то, что ею мало-по-малу овладѣли желанія и она, какъ сумасшедшая, день и ночь думала объ одномъ и томъ же. Въ своемъ дыханіи, во взглядахъ, въ тонѣ голоса и въ походкѣ она чувствовала только желаніе; шумъ моря говорилъ ей, что надо любить, вечерняя темнота—то же, горы—то же... И когда Кирилинъ сталъ ухаживать за нею, она была не въ силахъ и не хотѣла, не могла противиться, и отдалась ему...

Теперь иностранные пароходы и люди въ бѣломъ напомнили ей почему-то огромную залу; вмѣстѣ съ французскимъ говоромъ зазвенѣли у нея въ ушахъ звуки вальса, и грудь ея задрожала отъ безпричинной радости. Ей захотѣлось танцовать и говорить по-французски.

Она съ радостью соображала, что въ ея измѣнѣ нѣтъ ничего страшнаго. Въ ея измѣнѣ душа не участвовала; она продолжаетъ любить Лаевскаго, и это видно изъ того, что она ревнуетъ его, жалѣетъ и скучаетъ, когда онъ не бываетъ дома. Кирилинъ же оказался такъ себѣ, грубоватымъ, хотя и красивымъ, съ нимъ все уже порвано и больше ничего не будетъ. Что было, то прошло, никому до этого нѣтъ дѣла, а если Лаевскій узнаетъ, то не повѣритъ.

На берегу была только одна купальня для дамъ, мужчины же купались подъ открытымъ небомъ. Войдя въ купальню, Надежда Ѳедоровна застала тамъ пожилую даму Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника, и ея 15-лѣтнюю дочь Катю, гимназистку; обѣ онѣ сидѣли на лавочкѣ и раздѣвались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и съ паосомъ. До 32 лѣтъ она жила въ гувернанткахъ, потомъ вышла за чиновника Битюгова, маленькаго, лысаго человѣка, зачесывавшаго волосы на виски и очень смирнаго. До сихъ поръ она была влюблена въ него, ревновала, краснѣла при словѣ «любовь» и увѣряла всѣхъ, что она очень счастлива.

— Дорогая моя! — сказала она восторженно, увидѣвъ Надежду Ѳедоровну и придавая своему лицу выраженіе,

которое всѣ ея знакомые называли миндальнымъ.—Милая, какъ пріятно, что вы пришли! Мы будемъ купаться вмѣстѣ—это очаровательно!

Ольга быстро сбросила съ себя платье и сорочку и стала раздѣвать свою барыню.

— Сегодня погода не такая жаркая, какъ вчера,—не правда ли?—сказала Надежда Ѳедоровна, пожимаясь отъ грубыхъ прикосновеній голой кухарки.—Вчера я едва не умерла отъ духоты.

— О, да, моя милая! Я сама едва не задохнулась. Вѣрите ли, я вчера купалась три раза... представьте, милая, три раза! Даже Никодимъ Александрычъ безпокоился.

«Ну можно ли быть такими некрасивыми?» подумала Надежда Ѳедоровна, поглядѣвъ на Ольгу и на чиновницу; она взглянула на Катю и подумала: «дѣвочка недурно сложена». — Вашъ Никодимъ Александрычъ очень, очень милъ!—сказала она.—Я въ него просто влюблена.

— Ха-ха-ха!—принужденно засмѣялась Марья Константиновна.—Это очаровательно!

Освободившись отъ одежи, Надежда Ѳедоровна почувствовала желаніе летѣть. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непремѣнно бы улетѣла вверхъ. Раздѣвшись, она замѣтила, что Ольга брезгливо смотритъ на ея бѣлое тѣло. Ольга, молодая солдатка, жила съ законнымъ мужемъ, и потому считала себя лучше и выше ея. Надежда Ѳедоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважаютъ и боятся ея. Это было непріятно и, чтобы поднять себя въ ихъ мнѣніи, она сказала:

— У насъ въ Петербургѣ дачная жизнь теперь въ разгарѣ. У меня и у мужа столько знакомыхъ! Надо бы съѣздить повидаться.

— Вашъ мужъ, кажется, инженеръ?—робко спросила Марья Константиновна.

— Я говорю о Лаевскомъ. У него очень много знакомыхъ. Но, къ сожалѣнію, его мать, гордая аристократка, недалекая...

Надежда Ѳедоровна не договорила и бросилась въ воду; за нею полѣзли Марья Константиновна и Катя.

— У насъ въ свѣтѣ очень много предразсудковъ,—продолжала Надежда Ѳедоровна: — и живется не такъ легко, какъ кажется.

Марья Константиновна, служившая гувернанткою въ аристократическихъ семействахъ и знавшая толкъ въ свѣтѣ, сказала:

— О да! Вѣрите ли, милая, у Гаратынскихъ и къ завтраку, и къ обѣду требовался непремѣнно туалетъ, такъ что я, точно актриса, кромѣ жалованья, получала еще и на гардеробъ.

Она стала между Надеждой Ѳедоровной и Катей, какъ бы загораживая свою дочь отъ той воды, которая омывала Надежду Ѳедоровну. Въ открытую дверь, выходившую наружу въ море, было видно, какъ кто-то плылъ въ ста шагахъ отъ купальни.

— Мама, это нашъ Костя!—сказала Катя.

— Ахъ, ахъ! — закудахтала Марья Константиновна въ испугѣ. — Ахъ! Костя, — закричала она:—вернись! Костя, вернись!

Костя, мальчикъ лѣтъ 14, чтобы похвастать своею храбростью передъ матерью и сестрой, нырнулъ и поплылъ дальше, но утомился и поспѣшилъ назадъ, и по его серьезному, напряженному лицу видно было, что онъ не вѣрилъ въ свои силы.

— Бѣда съ этими мальчиками, милая!—сказала Марья Константиновна, успокаиваясь. — Того и гляди, свернетъ себѣ шею. Ахъ, милая, какъ пріятно и въ то же время какъ тяжело быть матерью! Всего боишься.

Надежда Ѳедоровна надѣла свою соломенную шляпу и бросилась наружу въ море. Она отплыла саженей на четыре и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, городъ, и все это вмѣстѣ со зноемъ и прозрачными нѣжными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить... Мимо нея быстро, энергически разрѣзывая волны и воздухъ, пронеслась парусная лодка; мужчина, сидѣвшій у руля, глядѣлъ на нее, и ей пріятно было, что на нее глядятъ...

Выкупавшись, дамы одѣлись и пошли вмѣстѣ.

— У меня черезъ день бываетъ лихорадка, а между тѣмъ я не худѣю,—говорила Надежда Ѳедоровна, облизывая свои соленыя отъ купанья губы и отвѣчая улыбкой на поклоны знакомыхъ. — Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнѣла.

— Это, милая, отъ расположенія. Если кто не располо-

женъ къ полнотѣ, какъ я, напримѣръ, то никакая пища не поможетъ. Однако, милая, вы измочили свою шляпу.

— Ничего, высохнетъ.

Надежда Ѳедоровна опять увидѣла людей въ бѣломъ, которые ходили по набережной и разговаривали по-французски; и почему-то опять въ груди у нея заволновалась радость и смутно припомнилась ей какая-то большая зала, въ которой она когда-то танцовала, или которая, быть-можетъ, когда-то снилась ей. И что-то въ самой глубинѣ души, смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина...

Марья Константиновна остановилась около своихъ воротъ и пригласила ее зайти посидѣть.

— Зайдите, моя дорогая!—сказала она умоляющимъ голосомъ и въ то же время поглядѣла на Надежду Ѳедоровну съ тоской и съ надеждой: авось откажется и не зайдетъ!

— Съ удовольствіемъ,—согласилась Надежда Ѳедоровна.— Вы знаете, какъ я люблю быть у васъ!

И она вошла въ домъ. Марья Константиновна усадила ее, дала кофе, накормила сдобными булками, потомъ показала ей фотографіи своихъ бывшихъ воспитанницъ — барышенъ Гаратынскихъ, которыя уже повыходили замужъ, показала также экзаменаціонныя отмѣтки Кати и Кости; отмѣтки были очень хорошія, но чтобы онѣ показались еще лучше, она со вздохомъ пожаловалась на то, какъ трудно теперь учиться въ гимназіи... Она ухаживала за гостьей и, въ то же время, жалѣла ее и страдала отъ мысли, что Надежда Ѳедоровна своимъ присутствіемъ можетъ дурно повліять на нравственность Кости и Кати, и радовалась, что ея Никодима Александрыча не было дома. Такъ какъ, по ея мнѣнію, всѣ мужчины любятъ «такихъ», то Надежда Ѳедоровна могла дурно повліять и на Никодима Александрыча.

Разговаривая съ гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечеромъ будетъ пикникъ, и что фонъ-Коренъ убѣдительно просилъ не говорить объ этомъ макакамъ, т. е. Лаевскому и Надеждѣ Ѳедоровнѣ, но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала въ смущеніи:

— Надѣюсь, и вы будете!

VI.

Условились ѣхать за семь верстъ отъ города по дорогѣ къ югу, остановиться около духана, при сліяніи двухъ рѣчекъ—Черной и Желтой, и варить тамъ уху. Выѣхали въ началѣ шестого часа. Впереди всѣхъ, въ шарабанѣ, ѣхали Самойленко и Лаевскій, за ними въ коляскѣ, заложенной въ тройку, Марья Константиновна, Надежда Ѳедоровна, Катя и Костя; при нихъ была корзина съ провизіей и посуда. Въ слѣдующемъ экипажѣ ѣхали приставъ Кирилинъ и молодой Ачміановъ, сынъ того самаго купца Ачміанова, которому Надежда Ѳедоровна была должна триста рублей, и противъ ихъ на скамеечкѣ, скорчившись и поджавъ ноги, сидѣлъ Никодимъ Александрычъ, маленькій, аккуратненькій, съ зачесанными височками. Позади всѣхъ ѣхали фонъ-Коренъ и дьяконъ; у дьякона въ ногахъ стояла корзина съ рыбой.

— Пррава! — кричалъ во все горло Самойленко, когда попадалась навстрѣчу арба или абхазецъ верхомъ на ослѣ.

— Черезъ два года, когда у меня будутъ готовы средства и люди, я отправлюсь въ экспедицію,—разсказывалъ фонъ-Коренъ дьякону.—Я пройду берегомъ отъ Владивостока до Берингова пролива и потомъ отъ пролива до устья Енисея. Мы начертимъ карту, изучимъ фауну и флору и обстоятельно займемся геологіей, антропологическими и этнографическими изслѣдованіями. Отъ васъ зависитъ поѣхать со мною или нѣтъ.

— Это невозможно,—сказалъ дьяконъ.

— Почему?

— Я человѣкъ зависимый, семейный.

— Дьяконица васъ отпуститъ. Мы ее обезпечимъ. Еще лучше, если бы вы убѣдили ее, для общей пользы, постричься въ монахини; это дало бы вамъ возможность самому постричься и поѣхать въ экспедицію іеромонахомъ. Я могу вамъ устроить это.

Дьяконъ молчалъ.

— Вы свою богословскую часть хорошо знаете?—спросилъ зоологъ.

— Плоховато.

— Гм... Я вамъ не могу сдѣлать никакихъ указаній на этотъ счетъ, потому что я самъ мало знакомъ съ богословіемъ.

Вы дайте мнѣ списочекъ книгъ, какія вамъ нужны, и я вышлю вамъ зимою изъ Петербурга. Вамъ также нужно будетъ прочесть записки духовныхъ путешественниковъ; между ними попадаются хорошіе этнологи и знатоки восточныхъ языковъ. Когда вы ознакомитесь съ ихъ манерой, вамъ легче будетъ приступить къ дѣлу. Ну, а пока книгъ нѣтъ, не теряйте времени попусту, ходите ко мнѣ, и мы займемся компасомъ, пройдемъ метеорологію. Все это необходимо.

— Такъ-то такъ...—пробормоталъ дьяконъ и засмѣялся.— Я просилъ себѣ мѣста въ средней Россіи, и мой дядя-протоіерей обѣщалъ мнѣ поспособствовать. Если я поѣду съ вами, то выйдетъ, что я ихъ даромъ безпокоилъ.

— Не понимаю я вашихъ колебаній. Продолжая быть обыкновеннымъ дьякономъ, который обязанъ служить только по праздникамъ, а въ остальные дни—почивать отъ дѣлъ, вы и черезъ десять лѣтъ останетесь все такимъ же, какой вы теперь, и прибавятся у васъ развѣ только усы и бородка, тогда какъ, вернувшись изъ экспедиціи, черезъ эти же десять лѣтъ вы будете другимъ человѣкомъ, вы обогатитесь сознаніемъ, что вами кое-что сдѣлано.

Изъ дамскаго экипажа послышались крики ужаса и восторга. Экипажи ѣхали по дорогѣ, прорытой въ совершенно отвѣсномъ скалистомъ берегу, и всѣмъ казалось, что они скачутъ по полкѣ, придѣланной къ высокой стѣнѣ, и что сейчасъ экипажи свалятся въ пропасть. Направо разстилалось море, налѣво — была неровная коричневая стѣна съ черными пятнами, красными жилами и ползучими корневищами, а сверху, нагнувшись, точно со страхомъ и любопытствомъ, смотрѣли внизъ кудрявыя хвои. Черезъ минуту опять визгъ и смѣхъ: пришлось ѣхать подъ громаднымъ нависшимъ камнемъ.

— Не понимаю, за какимъ такимъ чортомъ я ѣду съ вами,—сказалъ Лаевскій.—Какъ глупо и пошло! Мнѣ надо ѣхать на сѣверъ, бѣжать, спасаться, а я почему-то ѣду на этотъ дурацкій пикникъ.

— А ты посмотри, какая панорама! — сказалъ ему Самойленко, когда лошади повернули влѣво и открылась долина Желтой рѣчки, и блеснула сама рѣчка—желтая, мутная, сумасшедшая...

— Ничего я, Саша, не вижу въ этомъ хорошаго,—отвѣ-

тилъ Лаевскій. — Восторгаться постоянно природой — это значитъ показывать скудость своего воображенія. Въ сравненіи съ тѣмъ, что мнѣ можетъ дать мое воображеніе, всѣ эти ручейки и скалы—дрянь и больше ничего.

Коляски ѣхали уже по берегу рѣчки. Высокіе гористые берега мало-по-малу сходились, долина суживалась и представлялась впереди ущельемъ; каменистая гора, около которой ѣхали, была сколочена природою изъ громадныхъ камней, давившихъ другъ друга съ такой страшной силой, что при взглядѣ на нихъ Самойленко всякій разъ невольно кряхтѣлъ. Мрачная и красивая гора мѣстами прорѣзывалась узкими трещинами и ущельями, изъ которыхъ вѣяло на ѣхавшихъ влагой и таинственностью; сквозь ущелья видны были другія горы, бурыя, розовыя, лиловыя, дымчатыя или залитыя яркимъ свѣтомъ. Слышалось изрѣдка, когда проѣзжали мимо ущелій, какъ гдѣ-то съ высоты падала вода и шлепала по камнямъ.

— Ахъ, проклятыя горы, — вздыхалъ Лаевскій: — какъ онѣ мнѣ надоѣли!

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ Черная рѣчка впадала въ Желтую, и черная вода, похожая на чернила, пачкала желтую и боролась съ ней, въ сторонѣ отъ дороги стоялъ духанъ татарина Кербалая съ русскимъ флагомъ на крышѣ и съ вывѣской, написанной мѣломъ: «Пріятный духанъ»; около него былъ небольшой садикъ, обнесенный плетнемъ, гдѣ стояли столы и скамьи, и среди жалкаго колючаго кустарника возвышался одинъ единственный кипарисъ, красивый и темный.

Кербалай, маленькій, юркій татаринъ, въ синей рубахѣ и бѣломъ фартукѣ, стоялъ на дорогѣ и, взявшись за животъ, низко кланялся навстрѣчу экипажамъ и, улыбаясь, показывалъ свои бѣлые блестящіе зубы.

— Здорово, Кербалайка! — крикнулъ ему Самойленко. — Мы отъѣдемъ немножко дальше, а ты тащи туда самоваръ и стулья! Живо!

Кербалай кивалъ своей стриженой головой и что-то бормоталъ и только сидѣвшіе въ заднемъ экипажѣ могли разслышать: «есть форели, ваше превосходительство».

— Тащи, тащи!—сказалъ ему фонъ-Кореиъ.

Отъѣхавъ шаговъ пятьсотъ отъ духана, экипажи остановились. Самойленко выбралъ небольшой лужокъ, на ко-

торомъ были разбросаны камни, удобные для сидѣнья, и лежало дерево, поваленное бурей, съ вывороченнымъ мохнатымъ корнемъ и съ высохшими желтыми иглами. Тутъ черезъ рѣчку былъ перекинутъ жидкій бревенчатый мостъ, и на другомъ берегу, какъ разъ напротивъ, на четырехъ невысокихъ сваяхъ стоялъ сарайчикъ, сушильня для кукурузы, напоминавшая сказочную избушку на курьихъ ножкахъ; отъ ея двери внизъ спускалась лѣсенка.

Первое впечатлѣніе у всѣхъ было такое, какъ будто они никогда не выберутся отсюда. Со всѣхъ сторонъ, куда ни посмотришь, громоздились и надвигались горы, и быстро, быстро со стороны духана и темнаго кипариса набѣгала вечерняя тѣнь, и отъ этого узкая, кривая долина Черной рѣчки становилась уже, а горы выше. Слышно было, какъ ворчала рѣка и безъ умолку кричали цикады.

— Очаровательно! — сказала Марья Константиновна, дѣлая глубокія вдыханія отъ восторга.—Дѣти, посмотрите, какъ хорошо! Какая тишина!

— Да, въ самомъ дѣлѣ хорошо, — согласился Лаевскій, которому понравился видъ и почему-то, когда онъ посмотрѣлъ на небо и потомъ на синій дымокъ, выходившій изъ трубы духана, вдругъ стало грустно.—Да, хорошо!—повторилъ онъ.

— Иванъ Андреичъ, опишите этотъ видъ!—сказала слезливо Марья Константиновна.

— Зачѣмъ? — спросилъ Лаевскій. — Впечатлѣніе лучше всякаго описанія. Это богатство красокъ и звуковъ, какое всякій получаетъ отъ природы путемъ впечатлѣній, писатели выбалтываютъ въ безобразномъ, неузнаваемомъ видѣ.

— Будто бы?—холодно спросилъ фонъ-Кореиъ, выбравъ себѣ самый большой камень около воды и стараясь взобраться на него и сѣсть.—Будто бы?—повторилъ онъ, глядя въ упоръ на Лаевскаго.—А Ромео и Джульета? А, напримѣръ, Украинская ночь Пушкина? Природа должна придти и въ ножки поклониться.

— Пожалуй... согласился Лаевскій, которому было лѣнь соображать и противорѣчить.—Впрочемъ,—сказалъ онъ немного погодя:—что такое Ромео и Джульета въ сущности? Красивая, поэтическая святая любовь—это розы, подъ которыми хотятъ спрятать гниль. Ромео—такое же животное, какъ и всѣ.

— О чемъ съ вами ни заговоришь, вы все сводите къ... Фонъ-Коренъ оглянулся на Катю и не договорилъ.

— Къ чему я свожу?—спросилъ Лаевскій.

— Вамъ говоришь, напримѣръ: «какъ красива кисть винограда!», а вы: «да, но какъ она безобразна, когда ее жуютъ и перевариваютъ въ желудкахъ». Къ чему это говорить? Не ново и... вообще странная манера.

Лаевскій зналъ, что его не любитъ фонъ-Коренъ, и потому боялся его и въ его присутствіи чувствовалъ себя такъ, какъ будто всѣмъ было тѣсно и за спиной стоялъ кто-то. Онъ ничего не отвѣтилъ, отошелъ въ сторону и пожалѣлъ, что поѣхалъ.

— Господа, маршъ за хворостомъ для костра!—скомандовалъ Самойленко.

Всѣ разбрелись, куда попало, и на мѣстѣ остались только Кирилинъ, Ачміановъ и Никодимъ Александрычъ. Кербалай принесъ стулья, разостлалъ на землѣ коверъ и поставилъ нѣсколько бутылокъ вина. Приставъ Кирилинъ, высокій, видный мужчина, во всякую погоду носившій сверхъ кителя шинель, своею горделивою осанкою, важной походкой и густымъ, нѣсколько хриплымъ голосомъ, напоминалъ провинціальныхъ полицеймейстеровъ изъ молодыхъ. Выраженіе у него было грустное и сонное, какъ будто его только-что разбудили противъ его желанія.

— Ты что же это, скотина, принесъ?—спросилъ онъ у Кербалая, медленно выговаривая каждое слово.—Я приказывалъ тебѣ подать кварели, а ты что принесъ, татарская морда? А? Кого?

— У насъ много своего вина, Егоръ Алексѣичъ,— робко и вѣжливо замѣтилъ Никодимъ Александрычъ.

— Что-съ? Но я желаю, чтобы и мое вино было. Я участвую въ пикникѣ и, полагаю, имѣю полное право внести свою долю. По-ла-гаю! Принеси десять бутылокъ кварели!

— Для чего такъ много?—удивился Никодимъ Александрычъ, знавшій, что у Кирилина не было денегъ.

— Двадцать бутылокъ! Тридцать!—крикнулъ Кирилинъ.

— Ничего, пусть,—шепнулъ Ачміановъ Никодиму Александрычу,—я заплачу.

Надежда Ѳедоровна была въ веселомъ, шаловливомъ настроеніи. Ей хотѣлось прыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. Въ своемъ дешевомъ платьѣ изъ сит-

чика съ голубыми глазками, въ красныхъ туфелькахъ и въ той же самой соломенной шляпѣ она казалась себѣ маленькой, простенькой, легкой и воздушной, какъ бабочка. Она пробѣжала по жидкому мостику и минуту глядѣла въ воду, чтобы закружилась голова, потомъ вскрикнула и со смѣхомъ побѣжала на ту сторону къ сушильнѣ, и ей казалось, что всѣ мужчины и даже Кербалай, любовались ею. Когда въ быстро наступавшихъ потемкахъ деревья слились съ горами, лошади съ экипажами и въ окнахъ духана блеснулъ огонекъ, она по тропинкѣ, которая вилась между камнями и колючими кустами, взобралась на гору и сѣла на камень. Внизу уже горѣлъ костеръ. Около огня съ засученными рукавами двигался дьяконъ, и его длинная черная тѣнь радіусомъ ходила вокругъ костра; онъ подкладывалъ хворость и ложкой, привязанной къ длинной палкѣ, мѣшалъ въ котлѣ. Самойленко, съ мѣдно-краснымъ лицомъ, хлопоталъ около огня, какъ у себя въ кухнѣ, и кричалъ свирѣпо:

— Гдѣ же соль, господа? Небось забыли? Что же это всѣ разсѣлись, какъ помѣщики, а я одинъ хлопочи?

На поваленномъ деревѣ рядышкомъ сидѣли Лаевскій и Никодимъ Александрычъ и задумчиво смотрѣли на огонь. Марья Константиновна, Катя и Костя вынимали изъ корзинъ чайную посуду и тарелки. Фонъ-Коренъ, скрестивъ руки и поставивъ одну ногу на камень, стоялъ на берегу около самой воды и о чемъ-то думалъ. Красныя пятна отъ костра, вмѣстѣ съ тѣнями, ходили по землѣ около темныхъ человѣческихъ фигуръ, дрожали на горѣ, на деревьяхъ, на мосту, на сушильнѣ; на другой сторонѣ обрывистый, изрытый бережокъ весь былъ освѣщенъ, мигалъ и отражался въ рѣчкѣ, и быстро бѣгущая бурливая вода рвала на части его отраженіе.

Дьяконъ пошелъ за рыбой, которую на берегу чистилъ и мылъ Кербалай, но на полдорогѣ остановился и посмотрѣлъ вокругъ.

«Боже мой, какъ хорошо!—подумалъ онъ.—Люди, камни, огонь, сумерки, уродливое дерево—ничего больше, но какъ хорошо!»

На томъ берегу около сушильни появились какіе-то незнакомые люди. Оттого, что свѣтъ мелькалъ и дымъ отъ костра несло на ту сторону, нельзя было разсмотрѣть всѣхъ

этихъ людей сразу, а видны были по частямъ то мохнатая шапка и сѣдая борода, то синяя рубаха, то лохмотья отъ плечъ до колѣнъ и кинжалъ поперекъ живота, то молодое смуглое лицо съ черными бровями, такими густыми и рѣзкими, какъ будто онѣ были написаны углемъ. Человѣкъ пять изъ нихъ сѣли въ кружокъ на землѣ, а остальные пять пошли въ сушильню. Одинъ сталъ въ дверяхъ спиною къ костру и, заложивъ руки назадъ, сталъ разсказывать что-то, должно-быть, очень интересное, потому что, когда Самойленко подложилъ хворосту и костеръ вспыхнулъ, брызнулъ искрами и ярко освѣтилъ сушильню, было видно, какъ изъ дверей глядѣли двѣ физіономіи, спокойныя, выражавшія глубокое вниманіе, и какъ тѣ, которые сидѣли въ кружокъ, обернулись и стали прислушиваться къ разсказу. Немного погодя, сидѣвшіе въ кружокъ тихо запѣли что-то протяжное, мелодичное, похожее на великопостную церковную пѣсню... Слушая ихъ, дьяконъ вообразилъ, что будетъ съ нимъ черезъ десять лѣтъ, когда онъ вернется изъ экспедиціи: онъ—молодой іеромонахъ-миссіонеръ, авторъ съ именемъ и великолѣпнымъ прошлымъ; его посвящаютъ въ архимандриты, потомъ въ архіереи; онъ служитъ въ каѳедральномъ соборѣ обѣдню: въ золотой митрѣ, съ панагіей выходитъ на амвонъ и, осѣняя массу народа трикиріемъ и дикиріемъ, возглашаетъ:—«Призри съ небесе, Боже, и виждь и посѣти виноградъ сей, его же насади десница Твоя!» А дѣти ангельскими голосами поютъ въ отвѣтъ: «Святый Боже»...

— Дьяконъ, гдѣ же рыба?—послышался голосъ Самойленка.

Вернувшись къ костру, дьяконъ вообразилъ, какъ въ жаркій іюльскій день по пыльной дорогѣ идетъ крестный ходъ: впереди мужики несутъ хоругви, а бабы и дѣвки иконы, за ними мальчишки-пѣвчіе и дьячокъ съ подвязанной щекой и съ соломой въ волосахъ, потомъ по порядку онъ, дьяконъ, за нимъ попъ въ скуфейкѣ и съ крестомъ, а сзади пылитъ толпа мужиковъ, бабъ мальчишекъ; тутъ же въ толпѣ попадья и дьяконица въ платочкахъ. Поютъ пѣвчіе, ревутъ дѣти, кричатъ перепела, заливается жаворонокъ... Вотъ остановились и покропили святой водой стадо... Пошли дальше и съ колѣнопреклоненіемъ попросили дождя. Потомъ закуска, разговоры...

«И это тоже хорошо...»—подумалъ дьяконъ.

VII.

Кирилинъ и Ачміановъ взбирались на гору по тропинкѣ Ачміановъ отсталъ и остановился, а Кирилинъ подошелъ къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ.

— Добрый вечеръ!—сказалъ онъ, дѣлая подъ козырекъ.

— Добрый вечеръ.

— Да-съ!—сказалъ Кирилинъ, глядя на небо и думая.

— Что—да-съ?—спросила Надежда Ѳедоровна, помолчавъ немного и замѣчая, что Ачміановъ наблюдаетъ за ними обоими.

— Итакъ, значитъ,— медленно выговорилъ офицеръ:— наша любовь увяла, не успѣвъ расцвѣсть, такъ сказать. Какъ прикажете это понять? Кокетство это съ вашей стороны, въ своемъ родѣ, или же вы считаете меня шалопаемъ, съ которымъ можно поступать какъ угодно?

— Это была ошибка! Оставьте меня!— сказала рѣзко Надежда Ѳедоровна, въ этотъ прекрасный, чудесный вечеръ глядя на него со страхомъ и спрашивая себя въ недоумѣніи: «неужели въ самомъ дѣлѣ была минута, когда этотъ человѣкъ нравился ей и былъ близокъ?»

— Такъ-съ! — сказалъ Кирилинъ; онъ молча постоялъ немного, подумалъ и сказалъ:—Что жъ? Подождемъ, когда вы будете въ лучшемъ настроеніи, а пока смѣю васъ увѣрить, я человѣкъ порядочный и сомнѣваться въ этомъ никому не позволю. Мной играть нельзя! Adieu!

Онъ сдѣлалъ подъ козырекъ и пошелъ въ сторону, пробираясь межъ кустами. Немного погодя, нерѣшительно подошелъ Ачміановъ.

— Хорошій вечеръ сегодня! — сказалъ онъ съ легкимъ армянскимъ акцентомъ.

Онъ былъ недуренъ собой, одѣвался по модѣ, держался просто, какъ благовоспитанный юноша, но Надежда Ѳедоровна не любила его за то, что была должна его отцу триста рублей; ей непріятно было также, что на пикникъ пригласили лавочника, и было непріятно, что онъ подошелъ къ ней именно въ этотъ вечеръ, когда на душѣ у нея было такъ чисто.

— Вообще пикникъ удался,—сказалъ онъ, помолчавъ.

— Да,—согласилась она и, какъ будто только-что вспомнивъ про свой долгъ, сказала небрежно:—Да, скажите въ

своемъ магазинѣ, что на-дняхъ зайдетъ Иванъ Андреичъ и заплатитъ тамъ триста... или не помню сколько.

— Я готовъ дать еще триста, только чтобы вы каждый день не напоминали объ этомъ долгѣ. Къ чему проза?

Надежда Ѳедоровна засмѣялась; ей пришла въ голову смѣшная мысль, что если бы она была недостаточно нравственной и пожелала, то въ одну минуту могла бы отдѣлаться отъ долга. Если бы, напримѣръ, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Какъ бы это въ сущности было смѣшно, нелѣпо, дико! И ей вдругъ захотѣлось влюбить, обобрать, бросить, потомъ посмотрѣть, что изъ этого выйдетъ.

— Позвольте дать вамъ одинъ совѣтъ, — робко сказалъ Ачміановъ. — Прошу васъ, остерегайтесь Кирилина. Онъ всюду разсказываетъ про васъ ужасныя вещи.

— Мнѣ неинтересно знать, что разсказываетъ про меня всякій дуракъ,—сказала холодно Надежда Ѳеодоровна, и ею овладѣло безпокойство, и смѣшная мысль поиграть молодымъ, хорошенькимъ Ачміановымъ вдругъ потеряла свою прелесть.

— Надо внизъ идти,—сказала она.—Зовутъ.

Внизу уже была готова уха. Ее разливали по тарелкамъ и ѣли съ тѣмъ священнодѣйствіемъ, съ какимъ это дѣлается только на пикникахъ; и всѣ находили, что уха очень вкусна, и что дома они никогда не ѣли ничего такого вкуснаго. Какъ это водится на всѣхъ пикникахъ, теряясь въ массѣ салфетокъ, свертковъ, ненужныхъ, ползающихъ отъ вѣтра сальныхъ бумагъ, не знали, гдѣ чей стаканъ и гдѣ чей хлѣбъ, проливали вино на коверъ и себѣ на колѣни, разсыпали соль, а кругомъ было темно и костеръ горѣлъ уже не такъ ярко и каждому было лѣнь встать и подложить хворосту. Всѣ пили вино, и Костѣ, и Катѣ дали по полустакану. Надежда Ѳедоровна выпила стаканъ, потомъ другой, опьянѣла и забыла про Кирилина.

— Роскошный пикникъ, очаровательный вечеръ, — сказалъ Лаевскій, веселѣя отъ вина: — но я предпочелъ бы всему этому хорошую зиму. «Морозной пылью серебрится его бобровый воротникъ».

— У всякаго свой вкусъ,—замѣтилъ фонъ-Коренъ.

Лаевскій почувствовалъ неловкость: въ спину ему билъ жаръ отъ костра, а въ грудь и въ лицо—ненависть фонъ-

Корена; эта ненависть порядочнаго, умнаго человѣка, въ которой таилась, вѣроятно, основательная причина, унижала его, ослабляла, и онъ, не будучи въ силахъ противостоять ей, сказалъ заискивающимъ тономъ:

— Я страстно люблю природу и жалѣю, что я не естественникъ. Я завидую вамъ.

— Ну, а я не жалѣю и не завидую,—сказала Надежда Ѳедоровна.—Я не понимаю, какъ это можно серьезно заниматься букашками и козявками, когда страдаетъ народъ.

Лаевскій раздѣлялъ ея мнѣніе. Онъ былъ совершенно незнакомъ съ естественными науками и потому никогда не могъ помириться съ авторитетнымъ тономъ и ученымъ, глубокомысленнымъ видомъ людей, которые занимаются муравьиными усиками и тараканьими лапками, и ему всегда было досадно, что эти люди, на основаніи усиковъ, лапокъ и какой-то протоплазмы (онъ почему-то воображалъ ее въ видѣ устрицы), берутся рѣшать вопросы, охватывающіе собою происхожденіе и жизнь человѣка. Но въ словахъ Надежды Ѳедоровны ему послышалась ложь, и онъ сказалъ только для того, чтобы противорѣчить ей:

— Дѣло не въ козявкахъ, а въ выводахъ!

VIII.

Стали садиться въ экипажи, чтобы ѣхать домой, поздно, часу въ одиннадцатомъ. Всѣ сѣли и недоставало только Надежды Ѳедоровны и Ачміанова, которые по ту сторону рѣки бѣгали въ перегонки и хохотали.

— Господа, поскорѣй!—крикнулъ имъ Самойленко.

— Не слѣдовало бы дамамъ давать вино,—тихо сказалъ фонъ-Коренъ.

Лаевскій, утомленный пикникомъ, ненавистью фонъ-Корена и своими мыслями, пошелъ къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ навстрѣчу и, когда она, веселая, радостная, чувствуя себя легкой, какъ перышко, запыхавшись и хохоча, схватила его за обѣ руки и положила ему голову на грудь, онъ сдѣлалъ шагъ назадъ и сказалъ сурово:

— Ты ведешь себя, какъ... кокотка.

Это вышло ужъ очень грубо, такъ что ему даже стало жаль ея. На его сердитомъ, утомленномъ лицѣ она прочла ненависть, жалость, досаду на себя, и вдругъ пала духомъ. Она поняла, что пересолила, вела себя слишкомъ развязно,

и, опечаленная, чувствуя себя тяжелой, толстой, грубой и пьяною, сѣла въ первый попавшійся пустой экипажъ вмѣстѣ съ Ачміановымъ. Лаевскій сѣлъ съ Кирилинымъ, зоологъ съ Самойленкомъ, дьяконъ съ дамами, и поѣздъ тронулся.

— Вотъ они каковы макаки... — началъ фонъ-Коренъ, кутаясь въ плащъ и закрывая глаза. — Ты слышалъ, она не хотѣла бы заниматься букашками и козявками, потому что страдаетъ народъ. Такъ судятъ нашего брата всѣ макаки. Племя рабское, лукавое, въ десяти поколѣніяхъ запуганное кнутомъ и кулакомъ; оно трепещетъ, умиляется и куритъ ѳиміамы только передъ насиліемъ, но впусти макаку въ свободную область, гдѣ ее некому брать за шиворотъ, тамъ она развертывается и даетъ себя знать. Посмотри, такъ она смѣла на картинныхъ выставкахъ, въ музеяхъ, въ театрахъ, или когда судитъ о наукѣ: она топорщится, становится на дыбы, ругается, критикуетъ... И непремѣнно критикуетъ — рабская черта! Ты прислушайся: людей свободныхъ профессій ругаютъ чаще, чѣмъ мопенниковъ — это оттого, что общество на три четверти состоитъ изъ рабовъ, изъ такихъ же вотъ макакъ. Не случается, чтобы рабъ протянулъ тебѣ руку и сказалъ искренно спасибо за то, что ты работаешь.

— Не знаю, что ты хочешь! — сказалъ Самойленко, зѣвая. — Бѣдненькой по простотѣ захотѣлось поговорить съ тобой объ умномъ, а ты ужъ заключеніе выводишь. Ты сердитъ на него за что-то, ну и на нее за компанію. А она прекрасная женщина!

— Э, полно! Обыкновенная содержанка, развратная и пошлая. Послушай, Александръ Давидычъ, когда ты встрѣчаешь простую бабу, которая не живетъ съ мужемъ, ничего не дѣлаетъ и только хи-хи да ха-ха, ты говоришь ей: ступай работать. Почему же ты тутъ робѣешь и боишься говорить правду? Потому только, что Надежда Ѳедоровна живетъ на содержаніи не у матроса, а у чиновника?

— Что же мнѣ съ ней дѣлать? — разсердился Самойленко. — Бить ее, что ли?

— Не льстить пороку. Мы проклинаемъ порокъ только за глаза, а это похоже на кукишъ въ карманѣ. Я зоологъ, или соціологъ, что одно и то же, ты — врачъ; общество намъ вѣритъ; мы обязаны указывать ему на тотъ страшный

вредъ, какимъ угрожаетъ ему и будущимъ поколѣніямъ существованіе госпожъ въ родѣ этой Надежды Ивановны.

— Ѳедоровны,—поправилъ Самойленко. — А что должно дѣлать общество?

— Оно? Это его дѣло. По-моему, самый прямой и вѣрный путь, это—насиліе. Manu militari ее слѣдуетъ отправить къ мужу, а если мужъ не приметъ, то отдать ее въ каторжныя работы, или въ какое-нибудь исправительное заведеніе.

— Уфъ!—вздохнулъ Самойленко; онъ помолчалъ и спросилъ тихо: — Какъ-то на-дняхъ ты говорилъ, что такихъ людей, какъ Лаевскій, уничтожать надо... Скажи мнѣ, если бы того... положимъ, государство, или общество поручило тебѣ уничтожить его, ты бы... рѣшился?

— Рука бы не дрогнула.

IX.

Пріѣхавъ домой, Лаевскій и Надежда Ѳедоровна вошли въ свои темныя, душныя, скучныя комнаты. Оба молчали. Лаевскій зажегъ свѣчу, а Надежда Ѳедоровна сѣла и, не снимая манто и шляпы, подняла на него печальные, виноватые глаза.

Онъ понялъ, что она ждетъ отъ него объясненія; но объясняться было бы скучно, безполезно и утомительно, и на душѣ было тяжело оттого, что онъ не удержался и сказалъ ей грубость. Случайно онъ нащупалъ у себя въ карманѣ письмо, которое каждый день собирался прочесть ей, и подумалъ, что если показать ей теперь это письмо, то оно отвлечетъ ея вниманіе въ другую сторону.

«Пора ужъ выяснить отношенія,—подумалъ онъ.—Дамъ ей; что будетъ, то будетъ».

Онъ вынулъ письмо и подалъ ей.

— Прочти. Это тебя касается.

Сказавши это, онъ пошелъ къ себѣ къ кабинетъ и легъ на диванъ въ потемкахъ, безъ подушки. Надежда Ѳедоровна прочла письмо, и показалось ей, что потолокъ опустился и стѣны подошли близко къ ней. Стало вдругъ тѣсно, темно и страшно. Она быстро перекрестилась три раза и проговорила:

— Упокой Господи... упокой Господи...

И заплакала.

— Ваня!—позвала она.—Иванъ Андреичъ!

Отвѣта не было. Думая, что Лаевскій вошелъ и стоитъ у нея за стуломъ, она всхлипывала, какъ ребенокъ, и говорила:

— Зачѣмъ ты раньше не сказалъ мнѣ, что онъ умеръ? Я бы не поѣхала на пикникъ, не хохотала бы такъ страшно... Мужчины говорили мнѣ пошлости. Какой грѣхъ, какой грѣхъ! Спаси меня, Ваня, спаси меня... Я обезумѣла... Я пропала...

Лаевскій слышалъ ея всхлипыванья. Ему было нестерпимо душно, и сильно стучало сердце. Въ тоскѣ онъ поднялся, постоялъ посреди комнаты, нащупалъ въ потемкахъ кресло около стола и сѣлъ.

«Это тюрьма... — подумалъ онъ. — Надо уйти... Я не могу»...

Идти играть въ карты было уже поздно, ресторановъ въ городѣ не было. Онъ опять легъ и заткулъ уши, чтобы не слышать всхлипываній, и вдругъ вспомнилъ, что можно пойти къ Самойленку. Чтобы не проходить мимо Надежды Ѳедоровны, онъ черезъ окно пробрался въ садикъ, перелѣзъ черезъ палисадникъ и пошелъ по улицѣ. Было темно. Только-что пришелъ какой-то пароходъ, судя по огнямъ, большой пассажирскій... Загремѣла якорная цѣпь. Отъ берега по направленію къ пароходу быстро двигался красный огонекъ: это плыла таможенная лодка.

«Спятъ себѣ пассажиры въ каютахъ»...—подумалъ Лаевскій и позавидовалъ чужому покою.

Окна въ домѣ Самойленка были открыты. Лаевскій поглядѣлъ въ одно изъ нихъ, потомъ въ другое: въ комнатахъ было темно и тихо.

— Александръ Давидычъ, ты спишь? — позвалъ онъ.— Александръ Давидычъ!

Послышался кашель и тревожный окрикъ:

— Кто тамъ? Какого чорта?

— Это я, Александръ Давидычъ. Извини.

Немного погодя, отворилась дверь; блеснулъ мягкій свѣтъ отъ лампадки и показался громадный Самойленко весь въ бѣломъ и въ бѣломъ колпакѣ.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ, тяжело дыша съ просонокъ и почесываясь.—Погоди, я сейчасъ отопру.

— Не трудись, я въ окно...

Лаевскій влѣзъ въ окошко и, подойдя къ Самойленку, схватилъ его за руку.

— Александръ Давидычъ,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ:—спаси меня! Умоляю тебя, заклинаю, пойми меня! Положеніе мое мучительно. Если оно продолжится еще хотя день-два, то я задушу себя, какъ... какъ собаку!

— Постой... Ты насчетъ чего собственно?

— Зажги свѣчу.

— Охъ, охъ...—вздохнулъ Самойленко, зажигая свѣчу.—Боже мой, Боже мой... А уже второй часъ, братъ.

— Извини, но я не могу дома сидѣть,—сказалъ Лаевскій, чувствуя большое облегченіе отъ свѣта и присутствія Самойленка.—Ты, Александръ Давидычъ, мой единственный, мой лучшій другъ... Вся надежда на тебя. Хочешь, не хочешь, Бога ради выручай. Во что бы то ни стало, я долженъ уѣхать отсюда. Дай мнѣ денегъ взаймы!

— Охъ, Боже мой, Боже мой!..—вздохнулъ Самойленко, почесываясь.—Засыпаю и слышу: свистокъ, пароходъ пришелъ, а потомъ ты... Много тебѣ нужно?

— По крайней мѣрѣ рублей триста. Ей нужно оставить сто и мнѣ на дорогу двѣсти... Я тебѣ долженъ уже около четырехсотъ, но я все вышлю... все...

Самойленко забралъ въ одну руку оба бакена, разставилъ ноги и задумался.

— Такъ...—пробормоталъ онъ въ раздумьи.—Триста... Да... Но у меня нѣтъ столько. Придется занять у кого-нибудь.

— Займи, Бога ради!—сказалъ Лаевскій, видя по лицу Самойленка, что онъ хочетъ дать ему денегъ и непремѣнно дастъ.—Займи, а я непремѣнно отдамъ. Вышлю изъ Петербурга, какъ только пріѣду туда. Это ужъ будь покоенъ. Вотъ что, Саша,—сказалъ онъ, оживляясь:—давай выпьемъ вина!

— Такъ... Можно и вина.

Оба пошли въ столовую.

— А какъ же Надежда Ѳедоровна?—спросилъ Самойленко, ставя на столъ три бутылки и тарелку съ персиками.—Она останется развѣ?

— Все устрою, все устрою...—сказалъ Лаевскій, чувствуя неожиданный приливъ радости.—Я потомъ вышлю ей денегъ, она пріѣдетъ ко мнѣ... Тамъ ужъ мы и выяснимъ наши отношенія. За твое здоровье, друже.

— Погоди! — сказалъ Самойленко. — Сначала ты этого выпей... Это изъ моего виноградника. Это вотъ бутылка изъ виноградника Наваридзе, а это Ахатулова... Попробуй всѣ три сорта и скажи откровенно... Мое какъ будто съ кислотцой. А? Не находишь?

— Да. Утѣшилъ ты меня, Александръ Давидычъ. Спасибо... Я ожилъ.

— Съ кислотцой?

— А чортъ его знаетъ, не знаю. Но ты великолѣпный, чудный человѣкъ!

Глядя на его блѣдное, возбужденное, доброе лицо, Самойленко вспомнилъ мнѣніе фонъ-Корена, что такихъ уничтожать нужно, и Лаевскій показался ему слабымъ, беззащитнымъ ребенкомъ, котораго всякій можетъ обидѣть и уничтожить.

— А ты, когда поѣдешь, съ матерью помирись,—сказалъ онъ.—Не хорошо.

— Да, да, непремѣнно.

Помолчали немного. Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказалъ:

— Помирился бы ты и съ фонъ-Кореномъ. Оба вы прекраснѣйшіе, умнѣйшіе люди, а глядите другъ на дружку, какъ волки.

— Да, онъ прекраснѣйшій, умнѣйшій человѣкъ,—согласился Лаевскій, готовый теперь всѣхъ хвалить и прощать.—Онъ замѣчательный человѣкъ, но сойтись съ нимъ для меня невозможно. Нѣтъ! Наши натуры слишкомъ различны. Я натура вялая, слабая, подчиненная; быть-можетъ, въ хорошую минуту и протянулъ бы ему руку, но онъ отвернулся бы отъ меня... съ презрѣніемъ.

Лаевскій хлебнулъ вина, прошелся изъ угла въ уголъ и продолжалъ, стоя посреди комнаты:

— Я отлично понимаю фонъ-Корена. Это натура твердая, сильная, деспотическая. Ты слышалъ, онъ постоянно говоритъ объ экспедиціи, и это не пустыя слова. Ему нужна пустыня, лунная ночь: кругомъ въ палаткахъ и подъ открытымъ небомъ спятъ его голодные и больные, замученные тяжелыми переходами казаки, проводники, носильщики, докторъ, священникъ, и не спитъ только одинъ онъ и, какъ Стэнли, сидитъ на складномъ стулѣ и чувствуетъ себя царемъ пустыни и хозяиномъ этихъ людей. Онъ идетъ,

идетъ, идетъ куда-то, люди его стонутъ и мрутъ одинъ за другимъ, а онъ идетъ и идетъ, въ концѣ концовъ погибаетъ самъ и все-таки остается деспотомъ и царемъ пустыни, такъ какъ крестъ у его могилы виденъ караванамъ за тридцать-сорокъ миль и царитъ надъ пустыней. Я жалѣю, что этотъ человѣкъ не на военной службѣ. Изъ него вышелъ бы превосходный, геніальный полководецъ. Онъ умѣлъ бы топить въ рѣкѣ свою конницу и дѣлать изъ труповъ мосты, а такая смѣлость на войнѣ нужнѣе всякихъ фортификацій и тактикъ. О, я его отлично понимаю! Скажи, зачѣмъ онъ проѣдается здѣсь? Что ему тутъ нужно?

— Онъ морскую фауну изучаетъ.

— Нѣтъ. Нѣтъ, братъ, нѣтъ! — вздохнулъ Лаевскій. — Мнѣ на пароходѣ одинъ проѣзжій ученый разсказывалъ, что Черное море бѣдно фауной и что на глубинѣ его, благодаря изобилію сѣроводорода, невозможна органическая жизнь. Всѣ серьезные зоологи работаютъ на біологическихъ станціяхъ въ Неаполѣ, или Villefranche. Но фонъ-Кореиъ самостоятеленъ и упрямъ: онъ работаетъ на Черномъ морѣ, потому что никто здѣсь не работаетъ; онъ порвалъ съ университетомъ, не хочетъ знать ученыхъ и товарищей, потому что онъ прежде всего деспотъ, а потомъ ужъ зоологъ. И изъ него, увидишь, выйдетъ большой толкъ. Онъ ужъ и теперь мечтаетъ, что, когда вернется изъ экспедиціи, то выкуритъ изъ нашихъ университетовъ интригу и посредственность и скрутитъ ученыхъ въ баранiй рогъ. Деспотія и въ наукѣ такъ же сильна, какъ на войнѣ. А живетъ онъ второе лѣто въ этомъ вонючемъ городишкѣ, потому что лучше быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ въ городѣ вторымъ. Онъ здѣсь король и орелъ; онъ держитъ всѣхъ жителей въ ежахъ и гнететъ ихъ своимъ авторитетомъ. Онъ прибралъ къ рукамъ всѣхъ, вмѣшивается въ чужія дѣла, все ему нужно и всѣ боятся его. Я ускользаю изъ-подъ его лапы, онъ чувствуетъ это и ненавидитъ меня. Не говорилъ ли онъ тебѣ, что меня нужно уничтожить, или отдать въ общественныя работы?

— Да,—засмѣялся Самойленко.

Лаевскій тоже засмѣялся и выпилъ вина.

— И идеалы у него деспотическіе,—сказалъ онъ, смѣясь и закусывая персикомъ. — Обыкновенные смертные, если работаютъ на общую пользу, то имѣютъ въ виду своего

ближняго: меня, тебя, однимъ словомъ человѣка. Для фонъ-Корена же люди—щенки и ничтожества, слишкомъ мелкія для того, чтобы быть цѣлью его жизни. Онъ работаетъ, пойдетъ въ экспедицію и свернетъ себѣ тамъ шею не во-имя любви къ ближнему, а во-имя такихъ абстрактовъ, какъ человѣчество, будущія поколѣнія, идеальная порода людей. Онъ хлопочетъ объ улучшеніи человѣческой породы и въ этомъ отношеніи мы для него только рабы, мясо для пушекъ, вьючныя животныя; однихъ бы онъ уничтожилъ, или законопатилъ на каторгу, другихъ скрутилъ бы дисциплиной, заставилъ бы, какъ Аракчеевъ, вставать и ложиться по барабану, поставилъ бы евнуховъ, чтобы стеречь наше цѣломудріе и нравственность, велѣлъ бы стрѣлять во всякаго, кто выходитъ за кругъ нашей узкой, консервативной морали, и все это во-имя улучшенія человѣческой породы... А что такое человѣческая порода? Иллюзія, миражъ... Деспоты всегда были иллюзіонистами. Я, братъ, отлично понимаю его. Я цѣню его и не отрицаю его значенія; на такихъ, какъ онъ, этотъ міръ держится, и если бы міръ былъ предоставленъ только однимъ намъ, то мы, при всей своей добротѣ и благихъ намѣреніяхъ, сдѣлали бы изъ него то же самое, что вотъ мухи изъ этой картины. Да.

Лаевскій сѣлъ рядомъ съ Самойленкомъ и сказалъ съ искреннимъ увлеченіемъ:

— Я пустой, ничтожный, падшій человѣкъ! Воздухъ, которымъ дышу, это вино, любовь, однимъ словомъ, жизнь я до сихъ поръ покупалъ цѣною лжи, праздности и малодушія. До сихъ поръ я обманывалъ людей и себя, я страдалъ отъ этого, и страданія мои были дешевы и пошлы. Передъ ненавистью фонъ-Корена я робко гну спину, потому что временами самъ ненавижу и презираю себя.

Лаевскій опять въ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ и сказалъ:

— Я радъ, что ясно вижу свои недостатки и сознаю ихъ. Это поможетъ мнѣ воскреснуть и стать другимъ человѣкомъ. Голубчикъ мой, если бъ ты зналъ, какъ страстно, съ какою тоской я жажду своего обновленія. И, клянусь тебѣ, я буду человѣкомъ! Буду! Не знаю, вино ли во мнѣ заговорило, или оно такъ и есть на самомъ дѣлѣ, но мнѣ кажется, что я давно уже не переживалъ такихъ свѣтлыхъ, чистыхъ минутъ, какъ сейчасъ у тебя.

— Пора, братецъ, спать...—сказалъ Самойленко.

— Да, да... Извини. Я сейчасъ.

Лаевскій засуетился около мебели и оконъ, ища своей фуражки.

— Спасибо...—бормоталъ онъ, вздыхая.—Спасибо... Ласка и доброе слово выше милостыни. Ты оживилъ меня.

Онъ нашелъ свою фуражку, остановился и виновато посмотрѣлъ на Самойленка.

— Александръ Давидычъ! — сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ.

— Что?

— Позволь, голубчикъ, остаться у тебя ночевать!

— Сдѣлай милость... отчего же?

Лаевскій легъ спать на диванѣ и еще долго разговаривалъ съ докторомъ.

X.

Дня черезъ три послѣ пикника къ Надеждѣ Оедоровнѣ неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обѣ руки, прижала ихъ къ своей груди и сказала въ сильномъ волненіи:

— Дорогая моя, я взволнована, поражена. Нашъ милый, симпатичный докторъ вчера передавалъ моему Никодиму Александрычу, что будто скончался вашъ мужъ. Скажите, дорогая... Скажите, это правда?

— Да, правда, онъ умеръ,—отвѣтила Надежда Оедоровна.

— Это ужасно, ужасно, дорогая! Но нѣтъ худа безъ добра. Вашъ мужъ былъ, вѣроятно, дивный, чудный, святой человѣкъ, а такіе на небѣ нужнѣе, чѣмъ на землѣ.

На лицѣ у Марьи Константиновны задрожали всѣ черточки и точечки, какъ будто подъ кожей запрыгали мелкія иголочки, она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь:

— Итакъ, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смѣло глядѣть людямъ въ глаза. Отнынѣ Богъ и люди благословятъ вашъ союзъ съ Иваномъ Андреичемъ. Это очаровательно. Я дрожу отъ радости, не нахожу словъ. Милая, я буду вашею свахой... Мы съ Никодимомъ Александрычемъ такъ любили васъ, вы позволите намъ благословить вашъ законный, чистый союзъ. Когда, когда вы думаете вѣнчаться?

— Я и не думала объ этомъ, — сказала Надежда Ѳедоровна, освобождая свои руки.

— Это невозможно, милая. Вы думали, думали!

— Ей-Богу, не думала, — засмѣялась Надежда Ѳедоровна. — Къ чему намъ вѣнчаться? Я не вижу въ этомъ никакой надобности. Будемъ жить, какъ жили.

— Что вы говорите! — ужаснулась Марья Константиновна.—Ради Бога, что вы говорите!

— Отъ того, что мы повѣнчаемся, не станетъ лучше. Напротивъ, даже хуже. Мы потеряемъ свою свободу.

— Милая! Милая, что вы говорите!—воскликнула Марья Константиновна, отступая назадъ и всплескивая руками.— Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угомонитесь!

— То-есть, какъ угомониться? Я еще не жила, а вы— угомонитесь!

Надежда Ѳедоровна вспомнила, что она въ самомъ дѣлѣ еще не жила. Кончила курсъ въ институтѣ и вышла за нелюбимаго человѣка, потомъ сошлась съ Лаевскимъ и все время жила съ нимъ на этомъ скучномъ, пустынномъ берегу въ ожиданіи чего-то лучшаго. Развѣ это жизнь?

«А повѣнчаться бы слѣдовало...» — подумала она, но вспомнила про Кирилина и Ачміанова, покраснѣла и сказала:

— Нѣтъ, это невозможно. Если бы даже Иванъ Андреичъ сталъ просить меня объ этомъ на колѣняхъ, то и тогда бы я отказалась.

Марья Константиновна минуту сидѣла молча на диванѣ, печальная, серьезная, и глядѣла въ одну точку, потомъ встала и проговорила холодно:

— Прощайте, милая! Извините, что побезпокоила. Хотя это для меня и не легко, но я должна сказать вамъ, что съ этого дня между нами все кончено и, несмотря на мое глубокое уваженіе къ Ивану Андреичу, дверь моего дома для васъ закрыта.

Она проговорила это съ торжественностью, и сама же была подавлена своимъ торжественнымъ тономъ; лицо ея опять задрожало, приняло мягкое, миндальное выраженіе, она протянула испуганной, сконфуженной Надеждѣ Ѳедоровнѣ обѣ руки и сказала умоляюще:

— Милая моя, позвольте мнѣ хотя одну минуту побыть вашею матерью, или старшей сестрой! Я буду откровенна съ вами, какъ мать.

Надежда Ѳедоровна почувствовала въ своей груди такую теплоту, радость и состраданіе къ себѣ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ воскресла ея мать и стояла передъ ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицомъ къ ея плечу. Обѣ заплакали. Онѣ сѣли на диванъ и нѣсколько минутъ всхлипывали, не глядя другъ на друга и будучи не въ силахъ выговорить ни одного слова.

— Милая, дитя мое,—начала Марья Константиновна:— я буду говорить вамъ суровыя истины, не щадя васъ.

— Ради Бога, ради Бога!

— Довѣрьтесь мнѣ, милая. Вы вспомните, изъ всѣхъ здѣшнихъ дамъ только я одна принимала васъ. Вы ужаснули меня съ перваго же дня, но я была не въ силахъ отнестись къ вамъ съ пренебреженіемъ, какъ всѣ. Я страдала за милаго, добраго Ивана Андреича, какъ за сына. Молодой человѣкъ на чужой сторонѣ, неопытенъ, слабъ, безъ матери, и я мучилась, мучилась... Мужъ былъ противъ знакомства съ нимъ, но я уговорила... убѣдила... Мы стали принимать Ивана Андреича, а съ нимъ, конечно, и васъ, иначе бы онъ оскорбился. У меня дочь, сынъ... Вы понимаете, нѣжный дѣтскій умъ, чистое сердце... аще кто соблазнитъ единаго изъ малыхъ сихъ... Я принимала васъ и дрожала за дѣтей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страхъ. И всѣ удивлялись, что я принимаю васъ, извините, какъ порядочную, намекали мнѣ... ну, конечно, сплетни, гипотезы... Въ глубинѣ моей души я осудила васъ, но вы были несчастны, жалки, экстравагантны, и я страдала отъ жалости.

— Но почему? Почему?—спросила Надежда Ѳедоровна, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Что я кому сдѣлала?

— Вы страшная грѣшница. Вы нарушили обѣтъ, который дали мужу передъ алтаремъ. Вы соблазнили прекраснаго молодого человѣка, который, быть-можетъ, если бы не встрѣтился съ вами, взялъ бы себѣ законную подругу жизни изъ хорошей семьи своего круга, и былъ бы теперь, какъ всѣ. Вы погубили его молодость. Не говорите, не говорите, милая! Я не повѣрю, чтобы въ нашихъ грѣхахъ былъ виноватъ мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины въ домашнемъ быту легкомысленны, живутъ умомъ, а не сердцемъ, не понимаютъ многаго, но женщина все понимаетъ. Отъ нея все зависитъ. Ей много дано, съ нея много и взыщется. О, милая, если бы она была въ этомъ отношеніи глу-

нѣе или слабѣе мужчины, то Богъ не ввѣрилъ бы ей воспитанія мальчиковъ и дѣвочекъ. И затѣмъ, дорогая, вы вступили на стезю порока, забывъ всякую стыдливость; другая въ вашемъ положеніи укрылась бы отъ людей, сидѣла бы дома запершись, и люди видѣли бы ее только въ храмѣ Божіемъ, блѣдную, одѣтую во все черное, плачущую, и каждый бы въ искреннемъ сокрушеніи сказалъ:—«Боже, это согрѣшившій ангелъ опять возвращается къ Тебѣ...» Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грѣхомъ, вы рѣзвились, хохотали, и я, глядя на васъ, дрожала отъ ужаса и боялась, чтобы громъ небесный не поразилъ нашего дома въ то время, когда вы сидите у насъ. Милая, не говорите, не говорите!—вскликнула Марья Константиновна, замѣтивъ, что Надежда Ѳедоровна хочетъ говорить.—Довѣрьтесь мнѣ, я не обману васъ и не скрою отъ взоровъ вашей души ни одной истины. Слушайте же меня, дорогая... Богъ отмѣчаетъ великихъ грѣшниковъ, и вы были отмѣчены. Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны!

Надежда Ѳедоровна, бывшая всегда самаго лучшаго мнѣнія о своихъ костюмахъ, перестала плакать и посмотрѣла на нее съ удивленіемъ.

— Да, ужасны!—продолжала Марья Константиновна.— По изысканности и пестротѣ вашихъ нарядовъ всякій можетъ судить о вашемъ поведеніи. Всѣ, глядя на васъ, посмѣивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала... И простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встрѣчались въ купальнѣ, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье еще туда-сюда, но юбка, сорочка... милая, я краснѣю! Бѣдному Ивану Андреичу тоже никто не завяжетъ галстука, какъ слѣдуетъ, и по бѣлью, и по сапогамъ бѣдняжки видно, что дома за нимъ никто не смотритъ. И всегда онъ у васъ, мой голубчикъ, голоденъ, и въ самомъ дѣлѣ, если дома некому позаботиться насчетъ самовара и кофе, то поневолѣ будешь проживать въ павильонѣ половину своего жалованья. А дома у васъ просто ужасъ, ужасъ! Во всемъ городѣ ни у кого нѣтъ мухъ, а у васъ отъ нихъ отобою нѣтъ, всѣ тарелки и блюдечки черны. На окнахъ и на столахъ, посмотрите, пыль, дохлыя мухи, стаканы... Къ чему тутъ стаканы? И, милая, до сихъ поръ у васъ со стола не убрано. А въ спальню къ вамъ войти

стыдно: разбросано вездѣ бѣлье, висятъ на стѣнахъ эти ваши разные каучуки, стоитъ какая-то посуда... Милая! Мужъ ничего не долженъ знать и жена должна быть передъ нимъ чистой, какъ ангельчикъ. Я каждое утро просыпаюсь чуть-свѣтъ и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодимъ Александрычъ не замѣтилъ, что я заспанная.

— Это все пустяки,—зарыдала Надежда Ѳедоровна. — Если бы я была счастлива, но я такъ несчастна!

— Да, да, вы очень несчастны!—вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. — И васъ ожидаетъ въ будущемъ страшное горе! Одинокая старость, болѣзни, а потомъ отвѣтъ на страшномъ судилищѣ... Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягиваетъ вамъ руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Вѣнчайтесь, скорѣе вѣнчайтесь!

— Да, надо, надо, — сказала Надежда Ѳедоровна: — но это невозможно!

— Почему же?

— Невозможно! О, если бъ вы знали!

Надежда Ѳедоровна хотѣла разсказать про Кирилина и про то, какъ она вчера вечеромъ встрѣтилась на пристани съ молодымъ, красивымъ Ачміановымъ и какъ ей пришла въ голову сумасшедшая, смѣшная мысль отдѣлаться отъ долга въ триста рублей, ей было очень смѣшно, и она вернулась домой поздно вечеромъ, чувствуя себя безповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, какъ это случилось. И ей хотѣлось теперь поклясться передъ Марьей Константиновной, что она непремѣнно отдастъ долгъ, но рыданія и стыдъ мѣшали ей говорить.

— Я уѣду, — сказала она. — Иванъ Андреичъ пусть остается, а я уѣду.

— Куда?

— Въ Россію.

— Но чѣмъ вы будете тамъ жить? Вѣдь у васъ ничего нѣтъ.

— Я буду переводами заниматься, или... или открою библіотечку...

— Не фантазируйте, моя милая. На библіотечку деньги нужны. Ну, я васъ теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте, а завтра приходите ко мнѣ веселенькая. Это будетъ очаровательно! Ну, прощайте, мой ангелочекъ. Дайте я васъ поцѣлую.

Марья Константиновна поцѣловала Надежду Ѳедоровну въ лобъ, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга въ кухнѣ зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Ѳедоровна пошла въ спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она раздѣлась, смяла платье къ ногамъ и свернулась подъ одѣяломъ клубочкомъ. Ей хотѣлось пить, и некому было подать.

— Я отдамъ!—говорила она себѣ, и ей въ бреду казалось, что она сидитъ возлѣ какой-то больной и узнаетъ въ ней самоё себя.—Я отдамъ. Было бы глупо думать, что я изъ-за денегъ... Я уѣду и вышлю ему деньги изъ Петербурга. Сначала сто... потомъ сто... и потомъ—сто...

Поздно ночью пришелъ Лаевскій.

— Сначала сто...—сказала ему Надежда Ѳедоровна:—потомъ сто...

— Ты бы приняла хины,—сказалъ онъ, и подумалъ: «Завтра среда, отходитъ пароходъ, и я не ѣду. Значитъ, придется жить здѣсь до субботы».

Надежда Ѳедоровна поднялась въ постели на колѣни.

— Я ничего сейчасъ не говорила?—спросила она, улыбаясь и щурясь отъ свѣчи.

— Ничего. Надо будетъ завтра утромъ за докторомъ послать. Спи.

Онъ взялъ подушку и пошелъ къ двери. Послѣ того, какъ онъ окончательно рѣшилъ уѣхать и оставить Надежду Ѳедоровну, она стала возбуждать въ немъ жалость и чувство вины; ему было въ ея присутствіи немножко совѣстно, какъ въ присутствіи больной, или старой лошади, которую рѣшили убить. Онъ остановился въ дверяхъ и оглянулся на нее.

— На пикникѣ я былъ раздраженъ и сказалъ тебѣ грубость. Ты извини меня, Бога ради.

Сказавши это, онъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, легъ и долго не могъ уснуть.

Когда на другой день утромъ Самойленко, одѣтый, по случаю табельнаго дня, въ полную парадную форму съ эполетами и орденами, пощупавъ у Надежды Ѳедоровны пульсъ и поглядѣвъ ей на языкъ, выходилъ изъ спальни, Лаевскій, стоявшій у порога, спросилъ его съ тревогой:

— Ну, что? Что?

Лицо его выражало страхъ, крайнее безпокойство и надежду.

— Успокойся, ничего опаснаго,—сказалъ Самойленко.— Обыкновенная лихорадка.

— Я не о томъ,—нетерпѣливо поморщился Лаевскій.— Досталъ денегъ?

— Душа моя, извини,—зашепталъ Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь.—Бога ради извини! Ни у кого нѣтъ свободныхъ денегъ, и я собралъ пока по пяти да по десяти рублей—всего-на-все сто десять. Сегодня еще кое съ кѣмъ поговорю. Потерпи.

— Но крайній срокъ суббота! — прошепталъ Лаевскій, дрожа отъ нетерпѣнія.—Ради всѣхъ святыхъ, до субботы! Если я въ субботу не уѣду, то ничего мнѣ не нужно... ничего! Не понимаю, какъ это у доктора могутъ не быть деньги!

— Да, Господи, Твоя воля,—быстро и съ напряженіемъ зашепталъ Самойленко, и что-то даже пискнуло у него въ горлѣ:—у меня все разобрали, должны мнѣ семь тысячъ, и я кругомъ долженъ. Развѣ я виноватъ?

— Значитъ: къ субботѣ достанешь? Да?

— Постараюсь.

— Умоляю, голубчикъ! Такъ, чтобы въ пятницу утромъ деньги у меня въ рукахъ были.

Самойленко сѣлъ и прописалъ хину въ растворѣ, kalii bromati, ревенной настойки, tincturae gentianae, aquae foeniculi—все это въ одной микстурѣ, прибавилъ розоваго сиропу, чтобы горько не было, и ушелъ.

XI.

— У тебя такой видъ, какъ будто ты идешь арестовать меня,—сказалъ фонъ-Коренъ, увидѣвъ входившаго къ нему Самойленка въ парадной формѣ.

— А я иду мимо и думаю: дай-ка зайду, зоологію провѣдаю,—сказалъ Самойленко, садясь у большого стола, сколоченнаго самимъ зоологомъ изъ простыхъ досокъ.—Здравствуй, святой отецъ!—кивнулъ онъ дьякону, который сидѣлъ у окна и что-то переписывалъ.—Посижу минуту и побѣгу домой распорядиться насчетъ обѣда. Уже пора... Я вамъ не помѣшалъ?

— Нисколько,—отвѣтилъ зоологъ, раскладывая по столу мелко исписанныя бумажки.—Мы перепиской занимаемся.

— Такъ... Охъ, Боже мой, Боже мой...—вздохнулъ Са-

мойленко; онъ осторожно потянулъ со стола запыленную книгу, на которой лежала мертвая сухая фаланга, и сказалъ:—Однако! Представь, идетъ по своимъ дѣламъ какой-нибудь зелененькій жучокъ и вдругъ по дорогѣ встрѣчаетъ такую анаѳему. Воображаю, какой ужасъ!

— Да, полагаю.

— Ей ядъ данъ, чтобы защищаться отъ враговъ?

— Да, защищаться и самой нападать.

— Такъ, такъ, такъ... И все въ природѣ, голубчики мои, цѣлесообразно и объяснимо,—вздохнулъ Самойленко.—Только вотъ чего я не понимаю. Ты, величайшаго ума человѣкъ, объясни-ка мнѣ, пожалуйста. Бываютъ, знаешь, звѣрки, не больше крысы, на видъ красивенькіе, но въ высочайшей степени, скажу я тебѣ, подлые и безнравственные. Идетъ такой звѣрекъ, положимъ, по лѣсу; увидалъ птичку, поймалъ и съѣлъ. Идетъ дальше и видитъ въ травѣ гнѣздышко съ яйцами; жрать ему уже не хочется, сытъ, но все-таки раскусываетъ яйцо, а другія вышвыриваетъ изъ гнѣзда лапкой. Потомъ встрѣчаетъ лягушку и давай съ ней играть. Замучилъ лягушку, идетъ и облизывается, а навстрѣчу ему жукъ. Онъ жука лапкой... И все онъ портитъ и разрушаетъ на своемъ пути... Залѣзаетъ и въ чужія норы, разрываетъ зря муравейники, раскусываетъ улитокъ... Встрѣтится крыса—онъ съ ней въ драку; увидитъ змѣйку или мышонка—задушить надо. И такъ цѣлый день. Ну, скажи, для чего такой звѣрь нуженъ? Зачѣмъ онъ созданъ?

— Я не знаю, про какого звѣрка ты говоришь,—сказалъ фонъ-Коренъ:—вѣроятно, про какого-нибудь изъ насѣкомоядныхъ. Ну, что жъ? Птица попалась ему, потому что неосторожна; онъ разрушилъ гнѣздо съ яйцами, потому что птица не искусна, дурно сдѣлала гнѣздо и не сумѣла замаскировать его. У лягушки, вѣроятно, какой-нибудь изъянъ въ цвѣтовой окраскѣ, иначе бы онъ не увидѣлъ ея, и такъ далѣе. Твой звѣрь сокрушаетъ только слабыхъ, неискусныхъ, неосторожныхъ, однимъ словомъ, имѣющихъ недостатки, которые природа не находитъ нужнымъ передавать въ потомство. Остаются въ живыхъ только болѣе ловкіе, осторожные, сильные и развитые. Такимъ образомъ, твой звѣрекъ, самъ того не подозрѣвая, служитъ великимъ цѣлямъ усовершенствованія.

— Да, да, да... Кстати, братъ,—сказалъ Самойленко развязно:—дай-ка мнѣ взаймы рублей сто.

Хорошо. Между насѣкомоядными попадаются очень интересные субъекты. Напримѣръ, кротъ. Про него говорятъ, что онъ полезенъ, такъ какъ истребляетъ вредныхъ насѣкомыхъ. Разсказываютъ, что будто какой-то нѣмецъ прислалъ императору Вильгельму I шубу изъ кротовыхъ шкурокъ и будто императоръ приказалъ сдѣлать ему выговоръ за то, что онъ истребилъ такое множество полезныхъ животныхъ. А между тѣмъ кротъ въ жестокости нисколько не уступитъ твоему звѣрку и къ тому же очень вреденъ, такъ какъ страшно портитъ луга.

Фонъ-Коренъ отперъ шкатулку и досталъ оттуда сторублевую бумажку.

— У крота сильная грудная клѣтка, какъ у летучей мыши,—продолжалъ онъ, запирая шкатулку:—страшно развитыя кости и мышцы, необыкновенное вооруженіе рта. Если бы онъ имѣлъ размѣры слона, то былъ бы всесокрушающимъ, непобѣдимымъ животнымъ. Интересно, когда два крота встрѣчаются подъ землей, то они оба, точно сговорившись, начинаютъ рыть площадку; эта площадка нужна имъ для того, чтобы удобнѣе было сражаться. Сдѣлавъ ее, они вступаютъ въ жестокій бой и дерутся до тѣхъ поръ, пока не падаетъ слабѣйшій. Возьми же сто рублей,—сказалъ фонъ-Коренъ, понизивъ тонъ:—но съ условіемъ, что ты берешь не для Лаевскаго.

— А хоть бы и для Лаевскаго!—вспыхнулъ Самойленко.—Тебѣ какое дѣло?

— Для Лаевскаго я не могу дать. Я знаю, ты любишь давать взаймы. Ты далъ бы и разбойнику Кериму, если бы онъ попросилъ у тебя, но, извини, помогать тебѣ въ этомъ направленіи я не могу.

— Да, я прошу для Лаевскаго! — сказалъ Самойленко, вставая и размахивая правой рукой.—Да! Для Лаевскаго! И никакой ни чортъ, ни дьяволъ не имѣетъ права учить меня, какъ я долженъ распоряжаться своими деньгами. Вамъ не угодно дать? Нѣтъ?

Дьякопъ захохоталъ.

— Ты не кипятись, а разсуждай, — сказалъ зоологъ.— Благодѣтельствовать г. Лаевскому такъ же не умно, по-моему, какъ поливать сорную траву, или прикармливать саранчу.

— А по-моему, мы обязаны помогать нашимъ ближнимъ!— крикнулъ Самойленко.

— Въ такомъ случаѣ помоги вотъ этому голодному турку, что лежитъ подъ заборомъ! Онъ работникъ и нужнѣе, полезнѣе твоего Лаевскаго. Отдай ему эти сто рублей! Или пожертвуй мнѣ сто рублей на экспедицію!

— Ты дашь или нѣтъ, я тебя спрашиваю?

— Ты скажи откровенно: на что ему нужны деньги?

— Это не секретъ. Ему нужно въ субботу въ Петербургъ ѣхать.

— Вотъ какъ!—сказалъ протяжно фонъ-Кореиъ.—Ага... Понимаемъ. А она съ нимъ поѣдетъ, или какъ?

— Она пока здѣсь остается. Онъ устроитъ въ Петербургѣ свои дѣла и пришлетъ ей денегъ, тогда и она поѣдетъ.

— Ловко!..—сказалъ зоологъ и засмѣялся короткимъ топоровымъ смѣхомъ.—Ловко! Умно придумано.

Онъ быстро подошелъ къ Самойленку и, ставъ лицомъ къ лицу, глядя ему въ глаза, спросилъ:

— Ты говори откровенно: онъ разлюбилъ? Да? Говори: разлюбилъ? Да?

— Да,—выговорилъ Самойленко и вспотѣлъ.

— Какъ это отвратительно!—сказалъ фонъ-Кореиъ, и по лицу его видно было, что онъ чувствовалъ отвращеніе.— Что-нибудь изъ двухъ, Александръ Давидычъ: или ты съ нимъ въ заговорѣ, или же, извини, ты простофиля. Неужели ты не понимаешь, что онъ проводитъ тебя, какъ мальчишку, самымъ безсовѣстнымъ образомъ? Вѣдь ясно, какъ день, что онъ хочетъ отдѣлаться отъ нея и бросить ее здѣсь. Она останется на твоей шеѣ, и ясно, какъ день, что тебѣ придется отправлять ее въ Петербургъ на свой счетъ. Неужели твой прекрасный другъ до такой степени ослѣпилъ тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самыхъ простыхъ вещей?

— Это одни только предположенія,—сказалъ Самойленко, садясь.

— Предположенія? Но почему онъ ѣдетъ одинъ, а не вмѣстѣ съ ней? И почему, спроси его, не поѣхать бы ей впередъ, а ему послѣ? Продувная бестія!

Подавленный внезапными сомнѣніями и подозрѣніями насчетъ своего пріятеля, Самойленко вдругъ ослабѣлъ и понизилъ тонъ.

— Но это невозможно!—сказалъ онъ, вспоминая ту ночь, когда Лаевскій ночевалъ у него.—Онъ такъ страдаетъ!

— Что жъ изъ этого? Воры и поджигатели тоже страдаютъ!

— Положимъ даже, что ты правъ... — сказалъ въ раздумьи Самойленко.—Допустимъ... Но онъ молодой человѣкъ, на чужой сторонѣ... студентъ, мы тоже студенты и кромѣ насъ тутъ некому оказать ему поддержку.

— Помогать ему дѣлать мерзости только потому, что ты и онъ въ разное время были въ университетѣ и оба тамъ ничего не дѣлали! Что за вздоръ!

— Постой, давай хладнокровно разсудимъ. Можно будетъ, полагаю, устроить вотъ какъ... — соображалъ Самойленко, шевеля пальцами.—Я, понимаешь, дамъ ему деньги, но возьму съ него честное, благородное слово, что черезъ недѣлю же онъ пришлетъ Надеждѣ Ѳедоровнѣ на дорогу.

— И онъ дастъ тебѣ честное слово, даже прослезится и самъ себѣ повѣритъ, но цѣна-то этому слову? Онъ его не сдержитъ, и когда черезъ годъ—два ты встрѣтишь его на Невскомъ подъ ручку съ новой любовью, то онъ будетъ оправдываться тѣмъ, что его искалѣчила цивилизація и что онъ сколокъ съ Рудина. Брось ты его, Бога ради! Уйди отъ грязи и не копайся въ ней обѣими руками!

Самойленко подумалъ минуту и сказалъ рѣшительно:

— Но я все-таки дамъ ему денегъ. Какъ хочешь. Я не въ состояніи отказать человѣку на основаніи однихъ только предположеній.

— И превосходно. Поцѣлуйся съ нимъ.

— Такъ дай же мнѣ сто рублей,—робко попросилъ Самойленко.

— Не дамъ.

Наступило молчаніе. Самойленко совсѣмъ ослабѣлъ; лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выраженіе, и какъ-то странно было видѣть это жалкое, дѣтски-сконфуженное лицо у громаднаго человѣка съ эполетами и орденами.

— Здѣшній преосвященный объѣзжаетъ свою епархію не въ каретѣ, а верхомъ на лошади, — сказалъ дьяконъ, кладя перо.—Видъ его, сидящаго на лошадкѣ, до чрезвычайности трогателенъ. Простота и скромность его преисполнены библейскаго величія.

— Онъ хорошій человѣкъ?—спросилъ фонъ-Коренъ, который радъ былъ перемѣнить разговоръ.

— А то какъ же? Если бъ не былъ хорошимъ, то развѣ его посвятили бы въ архіереи?

— Между архіереями встрѣчаются очень хорошіе и даровитые люди,—сказалъ фонъ-Коренъ. — Жаль только, что у многихъ изъ нихъ есть слабость—воображать себя государственными мужами. Одинъ занимается обрусеніемъ, другой критикуетъ науки. Это не ихъ дѣло. Они бы лучше почаще въ консисторію заглядывали.

— Свѣтскій человѣкъ не можетъ судить архіереевъ.

— Почему же, дьяконъ? Архіерей такой же человѣкъ, какъ и я.

— Такой да не такой, — обидѣлся дьяконъ, принимаясь за перо.—Ежели бы вы были такой, то на васъ почила бы благодать и вы сами были бы архіереемъ, а ежели вы не архіерей, то, значитъ, не такой.

— Не мели, дьяконъ!—сказалъ Самойленко съ тоской.— Послушай, вотъ что я придумалъ,—обратился онъ къ фонъ-Корену.—Ты мнѣ этихъ ста рублей не давай. Ты у меня до зимы будешь столоваться еще три мѣсяца, такъ вотъ дай мнѣ впередъ за три мѣсяца.

— Не дамъ.

Самойленко замигалъ глазами и побагровѣлъ; онъ машинально потянулъ къ себѣ книгу съ фалангой и посмотрѣлъ на нее, потомъ всталъ и взялся за шапку. Фонъ-Корену стало жаль его.

— Вотъ извольте жить и дѣло дѣлать съ такими господами!—сказалъ зоологъ и въ негодованіи швырнулъ ногой въ уголъ какую-то бумагу.—Пойми же, что это не доброта, не любовь, а малодушіе, распущенность, ядъ! Что дѣлаетъ разумъ, то разрушаютъ ваши дряблыя, никуда негодныя сердца! Когда я гимназистомъ былъ боленъ брюшнымъ тифомъ, моя тетушка изъ состраданія обкормила меня маринованными грибами, и я чуть не умеръ. Пойми ты вмѣстѣ съ тетушкой, что любовь къ человѣку должна находиться не въ сердцѣ, не подъ ложечкой и не въ поясницѣ, а вотъ здѣсь!

Фонъ-Коренъ хлопнулъ себя по лбу.

— Возьми! — сказалъ онъ и швырнулъ сторублевую бумажку.

— Напрасно ты сердишься, Коля,—кротко сказалъ Самойленко, складывая бумажку.—Я тебя отлично понимаю, но... войди въ мое положеніе.

— Баба ты старая, вотъ что!

Дьяконъ захохоталъ.

— Послушай, Александръ Давидычъ, послѣдняя просьба!—горячо сказалъ фонъ-Коренъ. — Когда ты будешь давать тому прохвосту деньги, то предложи ему условіе: пусть уѣзжаетъ вмѣстѣ со своей барыней, или же отошлетъ ее впередъ, а иначе не давай. Церемониться съ нимъ нечего. Такъ ему и скажи, а если не скажешь, то, даю тебѣ честное слово, я пойду къ нему въ присутствіе и спущу его тамъ съ лѣстницы, а съ тобою знаться не буду. Такъ и знай!

— Что жъ? Если онъ уѣдетъ вмѣстѣ съ ней, или впередъ ее отправитъ, то для него же удобнѣе,—сказалъ Самойленко. — Онъ даже радъ будетъ. Ну, прощай.

Онъ нѣжно простился и вышелъ, но, прежде чѣмъ затворить за собою дверь, оглянулся на фонъ-Корена, сдѣлалъ страшное лицо и сказалъ:

— Это тебя, братъ, нѣмцы испортили! Да! Нѣмцы!

XII.

На другой день, въ четвергъ, Марья Константиновна праздновала день рожденія своего Кости. Въ полдень всѣ были приглашены кушать пирогъ, а вечеромъ пить шоколадъ. Когда вечеромъ пришли Лаевскій и Надежда Ѳедоровна, зоологъ, уже сидѣвшій въ гостиной и пившій шоколадъ, спросилъ у Самойленка:

— Ты говорилъ съ нимъ?

— Нѣтъ еще.

— Смотри же не церемонься. Не понимаю я наглости этихъ господъ! Вѣдь отлично знаютъ взглядъ здѣшней семьи на ихъ сожительство, а между тѣмъ лѣзутъ сюда.

— Если обращать вниманіе на каждый предразсудокъ, — сказалъ Самойленко: — то придется никуда не ходить.

— Развѣ отвращеніе массы къ внѣбрачной любви и распущенности предразсудокъ?

— Конечно. Предразсудокъ и ненавистничество. Солдаты, какъ увидятъ дѣвицу легкаго поведенія, то хохочутъ и свищутъ, а спроси-ка ихъ: кто они сами?

— Недаромъ они свищутъ. То, что дѣвки душатъ своихъ незаконно-прижитыхъ дѣтей и идутъ на каторгу, и что Анна Каренина бросилась подъ поѣздъ, и что въ деревняхъ мажутъ ворота дегтемъ, и что намъ съ тобой, неизвѣстно почему, нравится въ Катѣ ея чистота, и то, что каждый смутно чувствуетъ потребность въ чистой любви, хотя знаетъ, что такой любви нѣтъ,—развѣ все это предразсудокъ? Это, братецъ, единственное, что уцѣлѣло отъ естественнаго подбора и, не будь этой темной силы, регулирующей отношенія половъ, господа Лаевскіе показали бы тебѣ, гдѣ раки зимуютъ, и человѣчество выродилось бы въ два года.

Лаевскій вошелъ въ гостиную; со всѣми поздоровался и, пожимая руку фонъ-Корену, заискивающе улыбнулся. Онъ выждалъ удобную минуту и сказалъ Самойленку:

— Извини, Александръ Давидычъ, мнѣ нужно сказать тебѣ два слова.

Самойленко всталъ, обнялъ его за талію, и оба пошли въ кабинетъ Никодима Александрыча.

— Завтра пятница...—сказалъ Лаевскій, грызя ногти.— Ты досталъ, что обѣщалъ?

— Досталъ только двѣсти десять. Остальныя сегодня достану, или завтра. Будь покоенъ.

— Слава Богу!..—вздохнулъ Лаевскій, и руки задрожали у него отъ радости.—Ты меня спасаешь, Александръ Давидычъ, и, клянусь тебѣ Богомъ, своимъ счастьемъ и чѣмъ хочешь, эти деньги я вышлю тебѣ тотчасъ же по пріѣздѣ. И старый долгъ вышлю.

— Вотъ что, Ваня...—сказалъ Самойленко, беря его за пуговицу и краснѣя.—Ты извини, что я вмѣшиваюсь въ твои семейныя дѣла, но... почему бы тебѣ не уѣхать вмѣстѣ съ Надеждой Ѳедоровной?

— Чудакъ, но развѣ это можно? Одному изъ насъ непремѣнно надо остаться, иначе кредиторы завопіютъ. Вѣдь я долженъ по лавкамъ рублей семьсотъ, если не больше. Погоди, вышлю имъ деньги, заткну зубы, тогда и она выѣдетъ отсюда.

— Такъ... Но почему бы тебѣ не отправить ее впередъ?

— Ахъ, Боже мой, развѣ это возможно? — ужаснулся Лаевскій.—Вѣдь она женщина, что она тамъ одна сдѣлаетъ?

Что она понимаетъ? Это только проволочка времени и липшія трата денегъ.

«Резонно» — подумалъ Самойленко, но вспомнилъ разговоръ свой съ фонъ-Кореномъ, потупился и сказалъ угрюмо:

— Съ тобою я не могу согласиться. Или поѣзжай вмѣстѣ съ ней, или же отправь ее впередъ, иначе... иначе я не дамъ тебѣ денегъ. Это мое послѣднее слово...

Онъ попятился назадъ, навалился спиною на дверь и вышелъ въ гостиную красный, въ страшномъ смущеніи.

«Пятница... пятница, — думалъ Лаевскій, возвращаясь въ гостиную. — Пятница...»

Ему подали чашку шоколаду. Онъ ожегъ губы и языкъ горячимъ шоколадомъ и думалъ:

«Пятница... пятница...»

Слово «пятница» почему-то не выходило у него изъ головы; онъ ни о чемъ, кромѣ пятницы, не думалъ и для него ясно было только, но не въ головѣ, а гдѣ-то подъ сердцемъ, что въ субботу ему не уѣхать. Передъ нимъ стоялъ Никодимъ Александрычъ, аккуратненькій, съ зачесанными височками и просилъ:

— Кушайте, покорнѣйше прошу-съ...

Марья Константиновна показывала гостямъ отмѣтки Кати и говорила протяжно:

— Теперь ужасно, ужасно трудно учиться! Такъ много требуютъ...

— Мама!—стонала Катя, не зная куда спрятаться отъ стыда и похвалъ.

Лаевскій тоже посмотрѣлъ въ отмѣтки и похвалилъ. Законъ Божій, русскій языкъ, поведеніе, пятерки и четверки запрыгали въ его глазахъ и все это вмѣстѣ съ привязавшейся къ нему пятницей, съ зачесанными височками Никодима Александрыча и съ красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобѣдимой скукой, что онъ едва не вскрикнулъ съ отчаянія и спросилъ себя: — «Неужели, неужели я не уѣду?»

Поставили рядомъ два ломберныхъ стола и сѣли играть въ почту. Лаевскій тоже сѣлъ.

«Пятница... пятница... — думалъ онъ, улыбаясь и вынимая изъ кармана карандашъ. — Пятница...»

Онъ хотѣлъ обдумать свое положеніе и боялся думать. Ему страшно было сознаться, что докторъ поймалъ его на

обманѣ, который онъ такъ долго и тщательно скрывалъ отъ самого себя. Всякій разъ, думая о своемъ будущемъ, онъ не давалъ своимъ мыслямъ полной свободы. Онъ сядетъ въ вагонъ и поѣдетъ—этимъ рѣшался вопросъ его жизни, и дальше онъ не пускалъ своихъ мыслей. Какъ далекій тусклый огонекъ въ полѣ, такъ изрѣдка въ головѣ его мелькала мысль, что гдѣ-то въ одномъ изъ переулковъ Петербурга, въ отдаленномъ будущемъ, для того, чтобы разойтись съ Надеждой Ѳедоровной и уплатить долги, ему придется прибѣгнуть къ маленькой лжи; онъ солжетъ только одинъ разъ, и затѣмъ наступитъ полное обновленіе. И это хорошо: цѣною маленькой лжи онъ купитъ большую правду.

Теперь же, когда докторъ своимъ отказомъ грубо намекнулъ ему на обманъ, ему стало понятно, что ложь понадобится ему не только въ отдаленномъ будущемъ, но и сегодня, и завтра, и черезъ мѣсяцъ и, быть-можетъ, даже до конца жизни. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы уѣхать, ему нужно будетъ солгать Надеждѣ Ѳедоровнѣ, кредиторамъ и начальству; затѣмъ, чтобы добыть въ Петербургѣ денегъ, придется солгать матери, сказать ей, что онъ уже разошелся съ Надеждой Ѳедоровной; и мать не дастъ ему больше пятисотъ рублей, значитъ, онъ уже обманулъ доктора, такъ какъ будетъ не въ состояніи въ скоромъ времени прислать ему денегъ. Затѣмъ, когда въ Петербургъ пріѣдетъ Надежда Ѳедоровна, нужно будетъ употребить цѣлый рядъ мелкихъ и крупныхъ обмановъ, чтобы разойтись съ ней; и опять слезы, скука, постылая жизнь, раскаяніе и, значитъ, никакого обновленія не будетъ. Обманъ и больше ничего. Въ воображеніи Лаевскаго выросла цѣлая гора лжи. Чтобы перескочить ее въ одинъ разъ, а не лгать по частямъ, нужно было рѣшиться на крутую мѣру, напримѣръ, ни слова не говоря, встать съ мѣста, надѣть шапку и тотчасъ же уѣхать безъ денегъ, не говоря ни слова, но Лаевскій чувствовалъ, что для него это невозможно.

«Пятница, пятница... — думалъ онъ. — Пятница...»

Писали записки, складывали ихъ вдвое и клали въ старый цилиндръ Никодима Александрыча и, когда скоплялось достаточно записокъ, Костя, изображавшій почтальона, ходилъ вокругъ стола и раздавалъ ихъ. Дьяконъ, Катя и Костя, получавшіе смѣшныя записки и старавшіеся писать посмѣшнѣе, были въ восторгѣ.

«Намъ надо поговорить»,—прочла Надежда Ѳедоровна на записочкѣ. Она переглянулась съ Марьей Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой.

«О чемъ же говорить?—подумала Надежда Ѳедоровна.—Если нельзя разсказать всего, то и говорить незачѣмъ».

Передъ тѣмъ, какъ идти въ гости, она завязала Лаевскому галстукъ, и это пустое дѣло наполнило ея душу нѣжностью и печалью. Тревога на его лицѣ, разсѣянные взгляды, блѣдность и непонятная перемѣна, происшедшая съ нимъ въ послѣднее время, и то, что она имѣла отъ него страшную, отвратительную тайну, и то, что у нея дрожали руки, когда она завязывала галстукъ, — все это почему-то говорило ей, что имъ обоимъ уже недолго осталось жить вмѣстѣ. Она глядѣла на него, какъ на икону, со страхомъ и раскаяніемъ, и думала: — «Прости, прости...» Противъ нея за столомъ сидѣлъ Ачміановъ и не отрывалъ отъ нея своихъ черныхъ влюбленныхъ глазъ; ее волновали желанія, она стыдилась себя и боялась, что даже тоска и печаль не помѣшаютъ ей уступить нечистой страсти, не сегодня, такъ завтра,—и что она, какъ запойный пьяница, уже не въ силахъ остановиться.

Чтобы не продолжать этой жизни, позорной для нея и оскорбительной для Лаевскаго, она рѣшила уѣхать. Она будетъ съ плачемъ умолять его, чтобы онъ отпустилъ ее, и если онъ будетъ противиться, то она уйдетъ отъ него тайно. Она не разскажетъ ему о томъ, что произошло. Пусть онъ сохранитъ о ней чистое воспоминаніе.

«Люблю, люблю, люблю»,—прочла она.—Это отъ Ачміанова.

Она будетъ жить гдѣ-нибудь въ глуши, работать и высылать Лаевскому «отъ неизвѣстнаго» деньги, вышитыя сорочки, табакъ, и вернется къ нему только въ старости и въ случаѣ, если онъ опасно заболѣетъ и понадобится ему сидѣлка. Когда въ старости онъ узнаетъ, по какимъ причинамъ она отказалась быть его женой и оставила его, онъ оцѣнитъ ея жертву и проститъ.

«У васъ длинный носъ». — Это, должно-быть, отъ дьякона, или отъ Кости.

Надежда Ѳедоровна вообразила, какъ, прощаясь съ Лаевскимъ, она крѣпко обниметъ его, поцѣлуетъ ему руку и поклянется, что будетъ любить его всю, всю жизнь, а по-

томъ, живя въ глуши, среди чужихъ людей, она будетъ каждый день думать о томъ, что гдѣ-то у нея есть другъ, любимый человѣкъ, чистый, благородный и возвышенный, который хранитъ о ней чистое воспоминаніе.

«Если вы сегодня не назначите мнѣ свиданія, то я прійму мѣры, увѣряю честнымъ словомъ. Такъ съ порядочными людьми не поступаютъ, надо это понять». — Это отъ Кирилина.

XIII.

Лаевскій получилъ двѣ записки; онъ развернулъ одну и прочелъ: «Не уѣзжай, голубчикъ мой».

«Кто бы это могъ написать?—подумалъ онъ.—Конечно, не Самойленко... И не дьяконъ, такъ какъ онъ не знаетъ, что я хочу уѣхать. Фонъ-Кореиъ развѣ?»

Зоологъ нагнулся къ столу и рисовалъ пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются.

«Вѣроятно, Самойленко проболтался...»—подумалъ Лаевскій.

На другой запискѣ тѣмъ же самымъ изломаннымъ почеркомъ съ длинными хвостами и закорючками было написано: «А кто-то въ субботу не уѣдетъ».

«Глупое издѣвательство, — подумалъ Лаевскій. — Пятница, пятница...»

Что-то подступило у него къ горлу. Онъ потрогалъ воротничокъ и кашлянулъ, но вмѣсто кашля изъ горла вырвался смѣхъ.

— Ха-ха-ха! — захохоталъ онъ. — Ха-ха-ха! «Чему это я?»—подумалъ онъ.—Ха-ха-ха!

Онъ попытался удержать себя, закрылъ рукою ротъ, но смѣхъ давилъ ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта.

«Какъ это, однако, глупо!—думалъ онъ, покатываясь со смѣху.—Я съ ума сошелъ, что ли?»

Хохотъ становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевскій хотѣлъ встать изъ-за стола, но ноги его не слушались и правая рука какъ-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала ихъ. Онъ увидѣлъ удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленка и взглядъ зоолога, полный холодной насмѣшки и гадливости, и понялъ, что съ нимъ истерика.

«Какое безобразіе, какой стыдъ, — думалъ онъ, чувствуя на лицѣ теплоту отъ слезъ...—Ахъ, ахъ, какой срамъ! Никогда со мною этого не было...»

Вотъ взяли его подъ руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то; вотъ стаканъ блеснулъ передъ глазами и стукнулъ по зубамъ, и вода пролилась на грудь; вотъ маленькая комната, посреди двѣ постели рядомъ, покрытыя чистыми, бѣлыми, какъ снѣгъ, покрывалами. Онъ повалился на одну постель и зарыдалъ.

— Ничего, ничего... — говорилъ Самойленко. — Это бываетъ... Это бываетъ...

Похолодѣвшая отъ страха, дрожа всѣмъ тѣломъ и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Ѳедоровна стояла у постели и спрашивала:

— Что съ тобой? Что? Ради Бога говори...

«Не написалъ ли ему чего-нибудь Кирилинъ?» — думала она.

— Ничего...—сказалъ Лаевскій, смѣясь и плача.—Уйди отсюда... голубка.

Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращенія: значитъ, онъ ничего не знаетъ; Надежда Ѳедоровна немного успокоилась и пошла въ гостиную.

— Не волнуйтесь, милая!—сказала ей Марья Константиновна, садясь рядомъ и беря ее за руку.—Это пройдетъ. Мужчины такъ же слабы, какъ и мы, грѣшныя. Вы оба теперь переживаете кризисъ... это такъ понятно! Ну, милая, я жду отвѣта. Давайте поговоримъ.

— Нѣтъ, не будемъ говорить...—сказала Надежда Ѳедоровна, прислушиваясь къ рыданіямъ Лаевскаго. — У меня тоска... Позвольте мнѣ уйти...

— Что вы, что вы, милая!—испугалась Марья Константиновна. — Неужели вы думаете, что я отпущу васъ безъ ужина? Закусимъ, тогда и съ Богомъ.

— У меня тоска... —прошептала Надежда Ѳедоровна и, чтобы не упасть, взялась обѣими руками за ручку кресла.

— У него родимчикъ!—сказалъ весело фонъ-Кореиъ, входя въ гостиную, но, увидѣвъ Надежду Ѳедоровну, смутился и вышелъ.

Когда кончилась истерика, Лаевскій сидѣлъ на чужой постели и думалъ:

«*Срамъ*, разревѣлся, какъ дѣвчонка! Должно-быть, я

смѣшонъ и гадокъ. Уйду чернымъ ходомъ... Впрочемъ, это значило бы, что я придаю своей истерикѣ серьезное значеніе. Слѣдовало бы ее разыграть въ шутку...»

Онъ посмотрѣлся въ зеркало, посидѣлъ немного и вышелъ въ гостиную.

— А вотъ и я!—сказалъ онъ, улыбаясь; ему было мучительно стыдно и онъ чувствовалъ, что и другимъ стыдно въ его присутствіи.—Бываютъ же такія исторіи,—сказалъ онъ, садясь.—Сидѣлъ я и вдругъ, знаете ли, почувствовалъ страшную колющую боль въ боку... невыносимую, нервы не выдержали и... и вышла такая глупая штука. Нашъ нервный вѣкъ, ничего не подѣлаешь!

За ужиномъ онъ пилъ вино, разговаривалъ и изрѣдка, судорожно вздыхая, поглаживалъ себѣ бокъ, какъ бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кромѣ Надежды Ѳедоровны, не вѣрилъ ему, и онъ видѣлъ это.

Въ десятомъ часу пошли гулять на бульваръ. Надежда Ѳедоровна, боясь, чтобы съ нею не заговорилъ Кирилинъ, все время старалась держаться около Маріи Константиновны и дѣтей. Она ослабѣла отъ страха и тоски и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, такъ какъ была увѣрена, что за нею пойдетъ Кирилинъ или Ачміановъ, или оба вмѣстѣ. Кирилинъ шелъ сзади, рядомъ съ Никодимомъ Александрычемъ, и напѣвалъ вполголоса:

— Я игра-ать мной не позво-олю! Не позво-олю!

Съ бульвара повернули къ павильону и пошли по берегу и долго смотрѣли, какъ фосфорится море. Фонъ-Коренъ сталъ разсказывать, отчего оно фосфорится.

XIV.

— Однако, мнѣ пора винтить... Меня ждутъ,—сказалъ Лаевскій.—Прощайте, господа.

— И я съ тобой, погоди,—сказала Надежда Ѳедоровна и взяла его подъ руку.

Они простились съ обществомъ и пошли. Кирилинъ тоже простился, сказалъ, что ему по дорогѣ, и пошелъ рядомъ съ ними.

«Что будетъ, то будетъ...—думала Надежда Ѳедоровна.—Пусть...»

Ей казалось, что всѣ нехорошія воспоминанія вышли изъ ея головы и идутъ въ потемкахъ рядомъ съ ней и [illegible]

жело дышать, а она сама, какъ муха, попавшая въ чернила, ползетъ черезъ силу по мостовой и пачкаетъ въ черное бокъ и руку Лаевскаго.—«Если Кирилинъ,—думала она:—сдѣлаетъ что-нибудь дурное, то въ этомъ будетъ виноватъ не онъ, а она одна. Вѣдь было время, когда ни одинъ мужчина не разговаривалъ съ нею такъ, какъ Кирилинъ, и сама она порвала это время, какъ нитку, и погубила его безвозвратно—кто же виноватъ въ этомъ? Одурманенная своими желаніями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человѣку только потому, вѣроятно, что онъ статенъ и высокъ ростомъ, въ два свиданія онъ наскучилъ ей, и она бросила его, и развѣ поэтому,—думала она теперь:—онъ не имѣетъ права поступить съ нею, какъ ему угодно?»

— Тутъ, голубка, я съ тобой прощусь,—сказалъ Лаевскій, останавливаясь.—Тебя проводитъ Илья Михайлычъ.

Онъ поклонился Кирилину и быстро пошелъ поперекъ бульвара, прошелъ черезъ улицу къ дому Шешковскаго, гдѣ свѣтились окна, и слышно было затѣмъ, какъ онъ стукнулъ калиткой.

— Позвольте мнѣ объясниться съ вами,—началъ Кирилинъ.—Я не мальчишка, не какой-нибудь Ачкасовъ или Лачкасовъ, Зачкасовъ... Я требую серьезнаго вниманія!

У Надежды Ѳедоровны сильно забилось сердце. Она ничего не отвѣтила.

— Вашу рѣзкую перемѣну въ обращеніи со мной я объяснялъ сначала кокетствомъ,—продолжалъ Кирилинъ:—теперь же вижу, что вы просто не умѣете обращаться съ порядочными людьми. Вамъ просто хотѣлось поиграть мной, какъ съ этимъ мальчишкой армяниномъ, но я порядочный человѣкъ, и требую, чтобы со мной поступали, какъ съ порядочнымъ человѣкомъ. Итакъ, я къ вашимъ услугамъ...

— У меня тоска... — сказала Надежда Ѳедоровна и заплакала и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.

— У меня тоже тоска, но что же изъ этого слѣдуетъ?

Кирилинъ помолчалъ немного и сказалъ отчетливо, съ разстановкой:

— Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мнѣ сегодня свиданія, то сегодня же я сдѣлаю скандалъ.

— Отпустите меня сегодня,—сказала Надежда Ѳедоровна и не узнала своего голоса, до такой степени онъ былъ жалобенъ и тонокъ.

— Я долженъ проучить васъ... Извините за грубый тонъ, но мнѣ необходимо проучить васъ. Да-съ, къ сожалѣнію, я долженъ проучить васъ. Я требую два свиданія: сегодня и завтра. Послѣзавтра вы совершенно свободны и можете идти на всѣ четыре стороны съ кѣмъ вамъ угодно. Сегодня и завтра.

Надежда Ѳедоровна подошла къ своей калиткѣ и остановилась.

— Отпустите меня!—шептала она, дрожа всѣмъ тѣломъ и не видя передъ собою въ потемкахъ ничего, кромѣ бѣлаго кителя.—Вы правы, я ужасная женщина... я виновата, но отпустите... Я васъ прошу... — она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула.—Я васъ умоляю...

— Увы!—вздохнулъ Кирилинъ. — Увы! Не въ моихъ планахъ отпускать васъ, я только хочу проучить васъ, дать понять, и къ тому же, мадамъ, я слишкомъ мало вѣрю женщинамъ.

— У меня тоска...

Надежда Ѳедоровна прислушалась къ ровному шуму моря, поглядѣла на небо, усыпанное звѣздами, и ей захотѣлось скорѣе покончить все и отдѣлаться отъ проклятаго ощущенія жизни съ ея моремъ, звѣздами, мужчинами, лихорадкой...

— Только не у меня дома...—сказала она холодно.— Уведите меня куда-нибудь.

— Пойдемте къ Мюридову. Самое лучшее.

— Гдѣ это?

— Около стараго вала.

Она быстро пошла по улицѣ и потомъ повернула въ переулокъ, который велъ къ горамъ. Было темно. Кое-гдѣ на мостовой лежали блѣдныя свѣтовыя полосы отъ освѣщенныхъ оконъ, и ей казалось, что она, какъ муха, то попадаетъ въ чернила, то опять выползаетъ изъ нихъ на свѣтъ. Кирилинъ шелъ за нею. На одномъ мѣстѣ онъ споткнулся, едва не упалъ и засмѣялся.

«Онъ пьянъ... — подумала Надежда Ѳедоровна. — Все равно... все равно... Пусть».

Ачміановъ тоже скоро простился съ компаніей и пошелъ вслѣдъ за Надеждой Ѳедоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодкѣ. Онъ подошелъ къ ея дому и посмотрѣлъ черезъ палисадникъ: окна были открыты настежь, огня не было.

— Надежда Ѳедоровна!—позвалъ онъ.

Прошла минута. Онъ опять позвалъ.

— Кто тамъ?—послышался голосъ Ольги.

— Надежда Ѳедоровна дома?

— Нѣту. Еще не приходила.

«Странно... Очень странно,— подумалъ Ачміановъ, начиная чувствовать сильное безпокойство. — Она пошла домой...»

Онъ прошелся по бульвару, потомъ по улицѣ и заглянулъ въ окна къ Шешковскому. Лаевскій безъ сюртука сидѣлъ у стола и внимательно смотрѣлъ въ карты.

— Странно, странно...—пробормоталъ Ачміановъ, и при воспоминаніи объ истерикѣ, которая была съ Лаевскимъ, ему стало стыдно.—Если она не дома, то гдѣ же?

Онъ опять пошелъ къ квартирѣ Надежды Ѳедоровны и посмотрѣлъ на темныя окна.

«Это обманъ, обманъ...» — думалъ онъ, вспоминая, что она же сама, встрѣтясь съ нимъ сегодня въ полдень у Битюговыхъ, обѣщала вмѣстѣ кататься вечеромъ на лодкѣ.

Окна въ томъ домѣ, гдѣ жилъ Кирилинъ, были темны, и у воротъ на лавочкѣ сидѣлъ городовой и спалъ. Ачміанову, когда онъ посмотрѣлъ на окна и на городового, стало все ясно. Онъ рѣшилъ идти домой и пошелъ, но очутился опять около квартиры Надежды Ѳедоровны. Тутъ онъ сѣлъ на лавочку и снялъ шляпу, чувствуя, что его голова горитъ отъ ревности и обиды.

Въ городской церкви били часы только два раза въ сутки: въ полдень и въ полночь. Вскорѣ послѣ того, какъ они пробили полночь, послышались торопливые шаги.

— Значитъ, завтра вечеромъ опять у Мюридова!—услышалъ Ачміановъ и узналъ голосъ Кирилина.—Въ восемь часовъ. До свиданья-съ!

Около палисадника показалась Надежда Ѳедоровна. Не замѣчая, что на лавочкѣ сидитъ Ачміановъ, она прошла тѣнью мимо него, отворила калитку и, оставивъ ее отпертою, вошла въ домъ. У себя въ комнатѣ она зажгла свѣчу, быстро раздѣлась, но не легла въ постель, а опустилась передъ стуломъ на колѣни, обняла его и припала къ нему лбомъ.

Лаевскій вернулся домой въ третьемъ часу.

XV.

Рѣшивъ лгать не сразу, а по частямъ, Лаевскій на другой день, во второмъ часу, пошелъ къ Самойленку попросить денегъ, чтобы уѣхать непремѣнно въ субботу. Послѣ вчерашней истерики, которая къ тяжелому состоянію его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться въ городѣ было не мыслимо. Если Самойленко будетъ настаивать на своихъ условіяхъ, думалъ онъ, то можно будетъ согласиться на нихъ и взять деньги, а завтра, въ самый часъ отъѣзда, сказать, что Надежда Ѳедоровна отказалась ѣхать; съ вечера ее можно будетъ уговорить, что все это дѣлается для ея же пользы. Если же Самойленко, находящійся подъ очевиднымъ вліяніемъ фонъ-Корена, совершенно откажетъ въ деньгахъ, или предложитъ какія-нибудь новыя условія, то онъ, Лаевскій, сегодня же уѣдетъ на грузовомъ пароходѣ, или даже на парусникѣ въ Новый Аѳонъ, или Новороссійскъ, пошлетъ оттуда матери унизительную телеграмму и будетъ жить тамъ до тѣхъ поръ, пока мать не вышлетъ ему на дорогу.

Придя къ Самойленку, онъ засталъ въ гостиной фонъ-Корена. Зоологъ только-что пришелъ обѣдать и, по обыкновенію, раскрывъ альбомъ, разсматривалъ мужчинъ въ цилиндрахъ и дамъ въ чепцахъ.

«Какъ некстати,—подумалъ Лаевскій, увидѣвъ его.—Онъ можетъ помѣшать».—Здравствуйте!

— Здравствуйте,—отвѣтилъ фонъ-Коренъ, не глядя на него.

— Александръ Давидычъ дома?

— Да. Въ кухнѣ.

Лаевскій пошелъ въ кухню, но, увидѣвъ въ дверь, что Самойленко занятъ салатомъ, вернулся въ гостиную и сѣлъ. Въ присутствіи зоолога онъ всегда чувствовалъ неловкость, а теперь боялся, что придется говорить объ истерикѣ. Прошло больше минуты въ молчаніи. Фонъ-Коренъ вдругъ поднялъ глаза на Лаевскаго и спросилъ:

— Какъ вы себя чувствуете послѣ вчерашняго?

— Превосходно, — отвѣтилъ Лаевскій, краснѣя. — Въ сущности, вѣдь ничего не было особеннаго...

— До вчерашняго дня я полагалъ, что истерика бываетъ только у дамъ, и потому думалъ сначала, что у васъ пляска святого Витта.

Лаевскій заискивающе улыбнулся и подумалъ:

«Какъ это неделикатно съ его стороны. Вѣдь онъ отлично знаетъ, что мнѣ тяжело»... — Да, смѣшная была исторія,—сказалъ онъ, продолжая улыбаться.—Я сегодня все утро смѣялся. Курьезно въ истерическомъ припадкѣ то, что знаешь, что онъ нелѣпъ, и смѣешься надъ нимъ въ душѣ и въ то же время рыдаешь. Въ нашъ нервный вѣкъ мы рабы своихъ нервовъ; они наши хозяева и дѣлаютъ съ нами, что хотятъ. Цивилизація въ этомъ отношеніи оказала намъ медвѣжью услугу...

Лаевскій говорилъ, и ему было непріятно, что фонъ-Коренъ серьезно и внимательно слушаетъ его и глядитъ на него внимательно, не мигая, точно изучаетъ; и досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь къ фонъ-Корену, онъ никакъ не могъ согнать со своего лица заискивающей улыбки.

— Хотя, надо сознаться,—продолжалъ онъ:—были ближайшія причины для припадка и довольно-таки основательныя. Въ послѣднее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте къ этому скуку, постоянное безденежье... отсутствіе людей и общихъ интересовъ... Положеніе хуже губернаторскаго.

— Да, ваше положеніе безвыходно, — сказалъ фонъ-Коренъ.

Эти покойныя, холодныя слова, содержавшія въ себѣ не то насмѣшку, не то непрошенное пророчество, оскорбили Лаевскаго. Онъ вспомнилъ вчерашній взглядъ зоолога, полный насмѣшки и гадливости, помолчалъ немного и спросилъ, уже не улыбаясь:

— А вамъ откуда извѣстно мое положеніе?

— Вы только-что говорили о немъ сами, да и ваши друзья принимаютъ въ васъ такое горячее участіе, что цѣлый день только и слышишь, что о васъ.

— Какіе друзья? Самойленко, что ли?

— Да, и онъ.

— Я попросилъ бы Александра Давидыча и вообще моихъ друзей поменьше обо мнѣ заботиться.

— Вотъ идетъ Самойленко, попросите его, чтобы онъ о васъ поменьше заботился.

— Я не понимаю вашего тона... — пробормоталъ Лаевскій; его охватило такое чувство, какъ будто онъ сейчасъ

только понялъ, что зоологъ ненавидитъ его, презираетъ и издѣвается надъ нимъ и что зоологъ самый злѣйшій и непримиримый врагъ его.—Приберегите этотъ тонъ для когонибудь другого,—сказалъ онъ тихо, не имѣя силъ говорить громко отъ ненависти, которая уже тѣснила ему грудь и шею, какъ вчера желаніе смѣяться.

Вошелъ Самойленко безъ сюртука, потный и багровый отъ кухонной духоты.

— А, ты здѣсь?—сказалъ онъ.—Здравствуй, голубчикъ. Ты обѣдалъ? Не церемонься, говори: обѣдалъ?

— Александръ Давидычъ,—сказалъ Лаевскій, вставая:— если я обращался къ тебѣ съ какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождалъ тебя отъ обязанности быть скромнымъ и уважать чужія тайны.

— Что такое?—удивился Самойленко.

— Если у тебя нѣтъ денегъ, — продолжалъ Лаевскій, возвышая голосъ и отъ волненія переминаясь съ ноги на ногу: — то не давай, откажи, но зачѣмъ благовѣстить въ каждомъ переулкѣ о томъ, что мое положеніе безвыходно и прочее? Этихъ благодѣяній и дружескихъ услугъ, когда дѣлаютъ на копейку, а говорятъ на рубль, я терпѣть не могу! Можешь хвастать своими благодѣяніями, сколько тебѣ угодно, но никто не давалъ тебѣ права разоблачать мои тайны!

— Какія тайны? — спросилъ Самойленко, недоумѣвая и начиная сердиться.—Если ты пришелъ ругаться, то уходи. Послѣ придешь!

Онъ вспомнилъ правило, что когда гнѣваешься на ближняго, то начни мысленно считать до ста и успокоишься; и онъ началъ быстро считать.

— Прошу васъ обо мнѣ не заботиться! — продолжалъ Лаевскій.—Не обращайте на меня вниманія. И кому какое дѣло до меня и до того, какъ я живу? Да, я хочу уѣхать! Да, я дѣлаю долги, пью, живу съ чужой женой, у меня истерика, я пошлъ, не такъ глубокомысленъ, какъ нѣкоторые, но кому какое дѣло до этого? Уважайте личность!

— Ты, братецъ, извини, — сказалъ Самойленко, сосчитавъ до тридцати пяти:—но...

— Уважайте личность! — перебилъ его Лаевскій. — Эти постоянные разговоры на чужой счетъ, охи да ахи, постоянныя выслѣживанія, подслушиванія, эти сочувствія дру-

жескія... къ чорту! Мнѣ даютъ деньги взаймы и предлагаютъ условія, какъ мальчишкѣ! Меня третируютъ, какъ чортъ знаетъ что! Ничего я не желаю! — крикнулъ Лаевскій, шатаясь отъ волненія и боясь, какъ бы съ нимъ опять не приключилась истерика.—«Значитъ, въ субботу я не уѣду», мелькнуло у него въ мысляхъ. — Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня отъ опеки. Я не мальчишка и не сумасшедшій и прошу снять съ меня этотъ надзоръ!

Вошелъ дьяконъ и, увидѣвъ Лаевскаго, блѣднаго, размахивающаго руками и обращающагося со своею странною рѣчью къ портрету князя Воронцова, остановился около двери, какъ вкопанный.

— Постоянныя заглядыванія въ мою душу, — продолжалъ Лаевскій:—оскорбляютъ во мнѣ человѣческое достоинство, и я прошу добровольныхъ сыщиковъ прекратить свое шпіонство! Довольно!

— Что ты... что вы сказали? — спросилъ Самойленко, сосчитавъ до ста, багровѣя и подходя къ Лаевскому.

— Довольно! — повторилъ Лаевскій, задыхаясь и беря фуражку.

— Я русскій врачъ, дворянинъ и статскій совѣтникъ!— сказалъ съ разстановкой Самойленко. — Шпіономъ я никогда не былъ и никому не позволю себя оскорблять! — крикнулъ онъ дребезжащимъ голосомъ, дѣлая удареніе на послѣднемъ словѣ.—Замолчать!

Дьяконъ, никогда не видавшій доктора такимъ величественнымъ, надутымъ, багровымъ и страшнымъ, зажалъ ротъ, выбѣжалъ въ переднюю и покатился тамъ со смѣху. Словно въ туманѣ, Лаевскій видѣлъ, какъ фонъ-Коренъ всталъ и, заложивъ руки въ карманы панталонъ, остановился въ такой позѣ, какъ будто ждалъ, что будетъ дальше; эта покойная поза показалась Лаевскому въ высшей степени дерзкой и оскорбительной.

— Извольте взять ваши слова назадъ! — крикнулъ Самойленко.

Лаевскій, уже не помнившій, какія онъ слова говорилъ, отвѣчалъ:

— Оставьте меня въ покоѣ! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и нѣмецкіе выходцы изъ жидовъ оставили меня въ покоѣ! Иначе я приму мѣры! Я драться буду!

— Теперь понятно,—сказалъ фонъ-Коренъ, выходя изъ-за стола.—Г. Лаевскому хочется передъ отъѣздомъ поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствіе. Г. Лаевскій, я принимаю вашъ вызовъ.

— Вызовъ? — проговорилъ тихо Лаевскій, подходя къ зоологу и глядя съ ненавистью на его смуглый лобъ и курчавые волосы. — Вызовъ? Извольте! Я ненавижу васъ! Ненавижу!

— Очень радъ. Завтра утромъ пораньше около Кербалая, со всѣми подробностями въ вашемъ вкусѣ. А теперь убирайтесь.

— Ненавижу! —говорилъ Лаевскій тихо, тяжело дыша.— Давно ненавижу! Дуэль! Да!

— Убери его, Александръ Давидычъ, а то я уйду, — сказалъ фонъ-Коренъ.—Онъ меня укуситъ.

Покойный тонъ фонъ-Корена охладилъ доктора; онъ какъ-то вдругъ пришелъ въ себя, образумился, взялъ обѣими руками Лаевскаго за талію и, отводя его отъ зоолога, забормоталъ ласковымъ, дрожащимъ отъ волненія голосомъ:

— Друзья мои... хорошіе, добрые... Погорячились и будетъ... и будетъ... Друзья мои...

Услышавъ мягкій, дружескій голосъ, Лаевскій почувствовалъ, что въ его жизни только-что произошло что-то небывалое, чудовищное, какъ будто его чуть было не раздавилъ поѣздъ; онъ едва не заплакалъ, махнулъ рукой и выбѣжалъ изъ комнаты.

«Испытать на себѣ чужую ненависть, выказать себя передъ ненавидящимъ человѣкомъ въ самомъ жалкомъ, презрѣнномъ, безпомощномъ видѣ, — Боже мой, какъ это тяжело!—думалъ онъ, немного погодя, сидя въ павильонѣ и чувствуя точно ржавчину на тѣлѣ отъ только-что испытанной чужой ненависти.—Какъ это грубо, Боже мой!»

Холодная вода съ коньякомъ подбодрила его. Онъ съ ясностью представилъ себѣ покойное, надменное лицо фонъ-Корена, его вчерашній взглядъ, рубаху, похожую на коверъ, голосъ, бѣлыя руки, и тяжелая ненависть, страстная, голодная заворочалась въ его груди и потребовала удовлетворенія. Въ мысляхъ онъ повалилъ фонъ-Корена на землю и сталъ топтать его ногами. Онъ вспоминалъ въ мельчайшихъ подробностяхъ все происшедшее и удивлялся, какъ

это онъ могъ заискивающе улыбаться ничтожному человѣку и вообще дорожить мнѣніемъ мелкихъ, никому неизвѣстныхъ людишекъ, живущихъ въ ничтожнѣйшемъ городѣ, котораго, кажется, нѣтъ даже на картѣ и о которомъ въ Петербургѣ не знаетъ ни одинъ порядочный человѣкъ. Если бы этотъ городишко вдругъ провалился, или сгорѣлъ, то телеграмму объ этомъ прочли бы въ Россіи съ такою же скукой, какъ объявленіе о продажѣ подержанной мебели, Убить завтра фонъ-Корена, или оставить его въ живыхъ— это все равно, одинаково безполезно и неинтересно. Выстрѣлить въ ногу, или въ руку, ранить, потомъ посмѣяться надъ нимъ, и какъ насѣкомое съ оторванной ножкой теряется въ травѣ, такъ пусть онъ со своимъ глухимъ страданіемъ затеряется послѣ въ толпѣ такихъ же ничтожныхъ людей, какъ онъ самъ.

Лаевскій пошелъ къ Шешковскому, разсказалъ ему обо всемъ и пригласилъ его въ секунданты; потомъ оба они отправились къ начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его въ секунданты и остались у него обѣдать. За обѣдомъ много шутили и смѣялись. Лаевскій подтрунивалъ надъ тѣмъ, что онъ почти совсѣмъ не умѣетъ стрѣлять, и называлъ себя королевскимъ стрѣлкомъ и Вильгельмомъ Телемъ.

— Надо этого господина проучить...—говорилъ онъ.

Послѣ обѣда сѣли играть въ карты. Лаевскій игралъ, пилъ вино и думалъ, что дуэль вообще глупа и безтолкова, такъ какъ она не рѣшаетъ вопроса, а только осложняетъ его, но что безъ нея иногда нельзя обойтись. Напримѣръ, въ данномъ случаѣ: вѣдь не подашь же на фонъ-Корена мировому! И предстоящая дуэль еще тѣмъ хороша, что послѣ нея ему ужъ нельзя будетъ оставаться въ городѣ. Онъ слегка опьянѣлъ, развлекся картами и чувствовалъ себя хорошо.

Но когда зашло солнце и стало темно, имъ овладѣло безпокойство. Это былъ не страхъ передъ смертью, потому что въ немъ, пока онъ обѣдалъ и игралъ въ карты, сидѣла почему-то увѣренность, что дуэль кончится ничѣмъ; это былъ страхъ передъ чѣмъ-то неизвѣстнымъ, что должно случиться завтра утромъ первый разъ въ его жизни, и страхъ передъ наступающею ночью... Онъ зналъ, что ночь будетъ длинная, безсонная и что придется думать не объ

одномъ только фонъ-Коренѣ и его ненависти, но и о той горѣ лжи, которую ему предстояло пройти, и обойти которую у него не было силъ и умѣнья. Похоже было на то, какъ будто онъ заболѣлъ внезапно; онъ потерялъ вдругъ всякій интересъ къ картамъ и людямъ, засуетился и сталъ просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотѣлось поскорѣе лечь въ постель, не двигаться и приготовить свои мысли къ ночи. Шешковскій и почтовый чиновникъ проводили его и отправились къ фонъ-Корену, чтобы поговорить насчетъ дуэли.

Около своей квартиры Лаевскій встрѣтилъ Ачміанова. Молодой человѣкъ запыхался и былъ возбужденъ.

— А я васъ ищу, Иванъ Андреичъ! — сказалъ онъ. — Прошу васъ, пойдемте скорѣе...

— Куда?

— Васъ желаетъ видѣть одинъ незнакомый вамъ господинъ, который имѣетъ до васъ очень важное дѣло. Онъ убѣдительно проситъ васъ придти на минутку. Ему нужно о чемъ-то поговорить съ вами... Для него это все равно, какъ жизнь и смерть...

Волнуясь, Ачміановъ проговорилъ это съ сильнымъ армянскимъ акцентомъ, такъ что у него вышло не «жизнь», а «жизень».

— Кто онъ такой?—спросилъ Лаевскій.

— Онъ просилъ не говорить его имени.

— Скажите ему, что я занятъ. Завтра если угодно...

— Какъ можно! — испугался Ачміановъ. — Онъ хочетъ сказать вамъ такое очень важное для васъ... очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье.

— Странно...—пробормоталъ Лаевскій, не понимая, почему Ачміановъ такъ возбужденъ и какія это тайны могутъ быть въ скучномъ, никому не нужномъ городишкѣ. — Странно,—повторилъ онъ въ раздумьи.—Впрочемъ пойдемте. Все равно.

Ачміановъ быстро пошелъ впередъ, а онъ за нимъ. Прошли по улицѣ, потомъ переулкомъ.

— Какъ это скучно,—сказалъ Лаевскій.

— Сейчасъ, сейчасъ... Близко.

Около стараго вала они прошли узкимъ переулкомъ между двумя огороженными пустырями, затѣмъ вошли въ какой-то большой дворъ и направились къ небольшому домику...

— Это домъ Мюридова, что ли?—спросилъ Лаевскій.

— Да.

— Но зачѣмъ мы идемъ задворками, не понимаю? Могли бы и улицей. Тамъ ближе...

— Ничего, ничего...

Лаевскому показалось также страннымъ, что Ачміановъ повелъ его къ черному ходу и замахалъ ему рукой, какъ бы приглашая его идти потише и молчать.

— Сюда, сюда...—сказалъ Ачміановъ, осторожно отворяя дверь и входя въ сѣни на цыпочкахъ.—Тише, тише, прошу васъ... Могутъ услышать.

Онъ прислушался, тяжело перевелъ духъ и сказалъ шопотомъ:

— Отворите вотъ эту дверь и войдите... Не бойтесь.

Лаевскій, недоумѣвая, отворилъ дверь и вошелъ въ комнату съ низкимъ потолкомъ и занавѣшанными окнами. На столѣ стояла свѣча.

— Кого нужно? — спросилъ кто-то въ сосѣдней комнатѣ.—Ты, Мюридка?

Лаевскій повернулъ въ эту комнату и увидѣлъ Кирилина, а рядомъ съ нимъ Надежду Ѳедоровну.

Онъ не слышалъ, что ему сказали, попятился назадъ и не замѣтилъ, какъ очутился на улицѣ. Ненависть къ фонъ-Корену и безпокойство — все исчезло изъ души. Идя домой, онъ неловко размахивалъ правой рукой и внимательно смотрѣлъ себѣ подъ ноги, стараясь идти по гладкому. Дома, въ кабинетѣ, онъ, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, какъ будто ему было тѣсно въ пиджакѣ и сорочкѣ, прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ зажегъ свѣчу и сѣлъ за столъ...

XVI.

— Гуманитарныя науки, о которыхъ вы говорите, тогда только будутъ удовлетворять человѣческую мысль, когда въ движеніи своемъ онѣ встрѣтятся съ точными науками и пойдутъ съ ними рядомъ. Встрѣтятся ли онѣ подъ микроскопомъ, или въ монологахъ новаго Гамлета, или въ новой религіи, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чѣмъ это случится. Самое стойкое и живучее изъ всѣхъ гуманитарныхъ знаній, это, конечно, ученіе Христа, но, посмотрите, какъ даже оно различно по-

нимается! Одни учатъ, чтобы мы любили всѣхъ ближнихъ, и дѣлаютъ при этомъ исключеніе для солдатъ, преступниковъ и безумныхъ: первыхъ они разрѣшаютъ убивать на войнѣ, вторыхъ изолировать, или казнить, а третьимъ запрещаютъ вступленіе въ бракъ. Другіе толкователи учатъ любить всѣхъ ближнихъ безъ исключенія, не различая плюсовъ и минусовъ. По ихъ ученію, если къ вамъ приходитъ бугорчатный, или убійца, или эпилептикъ и сватаетъ вашу дочь—отдавайте; если кретины идутъ войной на физически и умственно здоровыхъ—подставляйте головы. Эта проповѣдь любви ради любви, какъ искусства для искусства, если бы могла имѣть силу, въ концѣ концовъ, привела бы человѣчество къ полному вымиранію и такимъ образомъ совершилось бы грандіознѣйшее изъ злодѣйствъ, какія когда-либо бывали на землѣ. Толкованій очень много, а если ихъ много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни однимъ изъ нихъ и къ массѣ всѣхъ толкованій спѣшитъ прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, какъ вы говорите, на философскую, или такъ-называемую христіанскую почву; этимъ вы только отдаляетесь отъ рѣшенія вопроса.

Дьяконъ внимательно выслушалъ зоолога, подумалъ и спросилъ:

— Нравственный законъ, который свойствененъ каждому изъ людей, философы выдумали, или же его Богъ создалъ вмѣстѣ съ тѣломъ?

— Не знаю. Но этотъ законъ до такой степени общъ для всѣхъ народовъ и эпохъ, что, мнѣ кажется, его слѣдуетъ признать органически связаннымъ съ человѣкомъ. Онъ не выдуманъ, а есть и будетъ. Я не скажу вамъ, что его увидятъ когда-нибудь подъ микроскопомъ, но органическая связь его уже доказывается очевидностью: серьезное страданіе мозга и всѣ такъ-называемыя душевныя болѣзни выражаются прежде всего въ извращеніи нравственнаго закона, насколько мнѣ извѣстно.

— Хорошо-съ. Значитъ, какъ желудокъ хочетъ ѣсть, такъ нравственное чувство хочетъ, чтобы мы любили своихъ ближнихъ. Такъ? Но естественная природа наша по себялюбію противится голосу совѣсти и разума, и потому возникаетъ много головоломныхъ вопросовъ. Къ кому же мы должны обращаться за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ, если вы не велите ставить ихъ на философскую почву?

— Обратитесь къ тѣмъ немногимъ точнымъ знаніямъ, какія у насъ есть. Довѣрьтесь очевидности и логикѣ фактовъ. Правда, это скудно, но зато не такъ зыбко и расплывчато, какъ философія. Нравственный законъ, положимъ, требуетъ, чтобы вы любили людей. Что жъ? Любовь должна заключаться въ устраненіи всего того, что такъ или иначе вредитъ людямъ и угрожаетъ имъ опасностью въ настоящемъ и будущемъ. Наши знанія и очевидность говорятъ вамъ, что человѣчеству грозитъ опасность со стороны нравственно и физически ненормальныхъ. Если такъ, то боритесь съ ненормальными. Если вы не въ силахъ возвысить ихъ до нормы, то у васъ хватитъ силы и умѣнья обезвредить ихъ, то-есть уничтожить.

— Значитъ, любовь въ томъ, чтобы сильный побѣждалъ слабаго?

— Несомнѣнно.

— Но вѣдь сильные распяли Господа нашего Іисуса Христа!—сказалъ горячо дьяконъ.

— Въ томъ-то и дѣло, что распяли его не сильные, а слабые. Человѣческая культура ослабила и стремится свести къ нулю борьбу за существованіе и подборъ; отсюда быстрое размноженіе слабыхъ и преобладаніе ихъ надъ сильными. Вообразите, что вамъ удалось внушить пчеламъ гуманныя идеи въ ихъ неразработанной, рудиментарной формѣ. Что произойдетъ отъ этого? Трутни, которыхъ нужно убивать, останутся въ живыхъ, будутъ съѣдать медъ, развращать и душить пчелъ—въ результатѣ преобладаніе слабыхъ надъ сильными и вырожденіе послѣднихъ. То же самое происходитъ теперь и съ человѣчествомъ: слабые гнетутъ сильныхъ. У дикарей, которыхъ еще не коснулась культура, самый сильный мудрый и самый нравственный идетъ впереди; онъ вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаемъ его распинать. Значитъ, у насъ чего-то недостаетъ... И это «что-то» мы должны возстановить у себя, иначе конца не будетъ этимъ недоразумѣніямъ.

— Но какой у васъ есть критеріумъ для различенія сильныхъ и слабыхъ?

— Знаніе и очевидность. Бугорчатныхъ и золотушныхъ узнаютъ по ихъ болѣзнямъ, а безнравственныхъ и сумасшедшихъ по поступкамъ.

— Но вѣдь возможны ошибки!

— Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожаетъ потопъ.

— Это философія,—засмѣялся дьяконъ.

— Нисколько. Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философіей, что во всемъ хотите видѣть одинъ только туманъ. Отвлеченныя науки, которыми набита ваша молодая голова, потому и называются отвлеченными, что онѣ отвлекаютъ вашъ умъ отъ очевидности. Смотрите въ глаза чорту прямо, и если онъ чортъ, то и говорите, что это чортъ, а не лѣзьте къ Канту или къ Гегелю за объясненіями.

Зоологъ помолчалъ и продолжалъ:

— Дважды два есть четыре, а камень есть камень. Завтра вотъ у насъ дуэль. Мы съ вами будемъ говорить, что это глупо и нелѣпо, что дуэль уже отжила свой вѣкъ, что аристократическая дуэль ничѣмъ по существу не отличается отъ пьяной драки въ кабакѣ, а все-таки мы не остановимся, поѣдемъ и будемъ драться. Есть, значитъ, сила, которая сильнѣе нашихъ разсужденій. Мы кричимъ, что война—это разбой, варварство, ужасъ, братоубійство, мы безъ обморока не можемъ видѣть крови; но стоитъ только французамъ или нѣмцамъ оскорбить насъ, какъ мы тотчасъ же почувствуемъ подъемъ духа, самымъ искреннимъ образомъ закричимъ ура и бросимся на врага, вы будете призывать на наше оружіе благословеніе Божіе, и наша доблесть будетъ вызывать всеобщій и притомъ искренній восторгъ. Опять-таки, значитъ, есть сила, которая если не выше, то сильнѣе насъ и нашей философіи. Мы не можемъ остановить ея такъ же, какъ вотъ этой тучи, которая подвигается изъ-за моря. Не лицемѣрьте же, не показывайте ей кукиша въ карманѣ и не говорите: «ахъ, глупо! ахъ, устарѣло! ахъ, не согласно съ писаніемъ!» а глядите ей прямо въ глаза, признавайте ея разумную законность, и когда она, напримѣръ, хочетъ уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мѣшайте ей вашими пилюлями и цитатами изъ дурно понятаго Евангелія. У Лѣскова есть совѣстливый Данила, который нашелъ за городомъ прокаженнаго и кормитъ, и грѣетъ его во имя любви и Христа. Если бы этотъ Данила въ самомъ дѣлѣ любилъ людей, то онъ оттащилъ бы прокаженнаго подальше отъ города и бросилъ его въ ровъ, а

самъ пошелъ бы служить здоровымъ. Христосъ, надѣюсь, заповѣдалъ намъ любовь разумную, осмысленную и полезную.

— Экой вы какой!—засмѣялся дьяконъ.—Въ Христа же вы не вѣруете, зачѣмъ же вы Его такъ часто упоминаете?

— Нѣтъ, вѣрую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему. Ахъ, дьяконъ, дьяконъ!—засмѣялся зоологъ; онъ взялъ дьякона за талію и сказалъ весело: — Ну, что жъ? Поѣдемъ завтра на дуэль?

— Санъ не позволяетъ, а то бы поѣхалъ.

— А что значитъ—санъ?

— Я посвященный. На мнѣ благодать.

— Ахъ, дьяконъ, дьяконъ, — повторилъ фонъ-Коренъ, смѣясь.—Люблю я съ вами разговаривать.

— Вы говорите—у васъ вѣра,—сказалъ дьяконъ.—Какая это вѣра? А вотъ у меня есть дядька попъ, такъ тотъ такъ вѣритъ, что когда въ засуху идетъ въ поле дождя просить, то беретъ съ собой дождевой зонтикъ и кожаное пальто, чтобы его на обратномъ пути дождикъ не промочилъ. Вотъ это вѣра! Когда онъ говоритъ о Христѣ, такъ отъ него сіяніе идетъ и всѣ бабы и мужики навзрыдъ плачутъ. Онъ бы и тучу эту остановилъ и всякую бы вашу силу обратилъ въ бѣгство. Да... Вѣра горами двигаетъ.

Дьяконъ засмѣялся и похлопалъ зоолога по плечу.

— Такъ-то... — продолжалъ онъ. — Вотъ вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабыхъ да сильныхъ, книжки пишете и на дуэли вызываете—и все остается на своемъ мѣстѣ, а глядите, какой-нибудь слабенькій старецъ святымъ духомъ пролепечетъ одно только слово, или изъ Аравіи прискачетъ на конѣ новый Магометъ съ шашкой, и полетитъ у васъ все вверхъ тарамашкой, и въ Европѣ камня на камнѣ не останется.

— Ну, это, дьяконъ, на небѣ вилами писано!

— Вѣра безъ дѣлъ мертва есть, а дѣла безъ вѣры — еще хуже, одна только трата времени и больше ничего.

На набережной показался докторъ. Онъ увидѣлъ дьякона и зоолога и подошелъ къ нимъ.

— Кажется, все готово,—сказалъ онъ, запыхавшись. — Секундантами будутъ Говоровскій и Бойко. Заѣдутъ утромъ въ пять часовъ. Наворотило-то какъ! — сказалъ онъ, посмотрѣвъ на небо. — Ничего не видать. Сейчасъ дождикъ будетъ.

— Ты, надѣюсь, поѣдешь съ нами? — спросилъ фонъ-Коренъ.

— Нѣтъ, Боже меня сохрани, я и такъ замучился. Вмѣсто меня Устимовичъ поѣдетъ. Я уже говорилъ съ нимъ.

Далеко надъ моремъ блеснула молнія и послышались глухіе раскаты грома.

— Какъ душно передъ грозой!—сказалъ фонъ-Коренъ.— Бьюсь объ закладъ, что ты уже былъ у Лаевскаго и плакалъ у него на груди.

— Зачѣмъ я къ нему пойду? — отвѣтилъ докторъ, смутившись.—Вотъ еще!

До захода солнца онъ нѣсколько разъ прошелся по бульвару и по улицѣ, въ надеждѣ встрѣтиться съ Лаевскимъ. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порывъ доброты, который послѣдовалъ за этой вспышкой. Онъ хотѣлъ извиниться передъ Лаевскимъ въ шуточномъ тонѣ, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль—остатки средневѣкового варварства, но что само Провидѣніе указало имъ на дуэль, какъ на средство примиренія: завтра оба они, прекраснѣйшіе, величайшаго ума люди, обмѣнявшись выстрѣлами, оцѣнятъ благородство другъ друга и сдѣлаются друзьями. Но Лаевскій ни разу не встрѣтился.

— Зачѣмъ я къ нему пойду?—повторилъ Самойленко.— Не я его оскорбилъ, а онъ меня. Скажи на милость, за что онъ на меня набросился? Что я ему дурного сдѣлалъ? Вхожу въ гостиную и вдругъ, здорово живешь: шпіонъ! Вотъ те на! Ты скажи: съ чего у васъ началось? Что ты ему сказалъ?

— Я ему сказалъ, что его положеніе безвыходно. И я былъ правъ. Только честные и мошенники могутъ найти выходъ изъ всякаго положенія, а тотъ, кто хочетъ въ одно и то же время быть честнымъ и мошенникомъ, не имѣетъ выхода. Однако, господа, ужъ 11 часовъ, а завтра намъ рано вставать.

Внезапно налетѣлъ вѣтеръ; онъ поднялъ на набережной пыль, закружилъ ее вихремъ, заревѣлъ и заглушилъ шумъ моря.

— Шквалъ!—сказалъ дьяконъ.—Надо идти, а то глаза запорошило.

Когда пошли, Самойленко вздохнулъ и сказалъ, придерживая фуражку:

— Должно-быть, я не буду нынче спать.

— А ты не волнуйся, — засмѣялся зоологъ. — Можешь быть покоенъ, дуэль ничѣмъ не кончится. Лаевскій великодушно въ воздухъ выстрѣлитъ, онъ иначе не можетъ, а я, должно-быть, и совсѣмъ стрѣлять не буду. Попадать подъ судъ изъ-за Лаевскаго, терять время—не стоитъ игра свѣчъ. Кстати, какая отвѣтственность полагается за дуэль?

— Арестъ, а въ случаѣ смерти противника, заключеніе въ крѣпости до трехъ лѣтъ.

— Въ Петропавловской?

— Нѣтъ, въ военной, кажется.

— Хотя слѣдовало бы проучить этого молодца!

Позади на морѣ сверкнула молнія и на мгновеніе освѣтила крыши домовъ и горы. Около бульвара пріятели разошлись. Когда докторъ исчезъ въ потемкахъ и уже стихали его шаги, фонъ-Коренъ крикнулъ ему:

— Какъ бы погода не помѣшала намъ завтра!

— Чего добраго! А далъ бы Богъ!

— Спокойной ночи!

— Что—ночь? Что ты говоришь?

За шумомъ вѣтра и моря и за раскатами грома трудно было разслышать.

— Ничего!—крикнулъ зоологъ и поспѣшилъ домой.

XVII.

... въ умѣ, подавленномъ тоской,
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

Пушкинъ.

Убьютъ ли его завтра утромъ, или посмѣются надъ нимъ, то-есть оставятъ ему эту жизнь, онъ все равно погибъ. Убьетъ ли себя съ отчаянія и стыда эта опозоренная женщина, или будетъ влачить свое жалкое существованіе, она все равно погибла...

Такъ думалъ Лаевскій, сидя за столомъ поздно вечеромъ и все еще продолжая потирать руки. Окно вдругъ отворилось и хлопнуло, въ комнату ворвался сильный вѣтеръ и бумаги полетѣли со стола. Лаевскій заперъ окно и нагнулся, чтобы собрать съ полу бумаги. Онъ чувствовалъ въ своемъ

тѣлѣ что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавалъ своихъ движеній; ходилъ онъ не смѣло, тыча въ стороны локтями и подергивая плечами, а когда сѣлъ за столъ, то опять сталъ потирать руки. Тѣло его потеряло гибкость.

Наканунѣ смерти надо писать къ близкимъ людямъ. Лаевскій помнилъ объ этомъ. Онъ взялъ перо и написалъ дрожащимъ почеркомъ:

«Матушка!»

Онъ хотѣлъ написать матери, чтобы она во-имя милосерднаго Бога, въ Котораго она вѣруетъ, дала бы пріютъ и согрѣла лаской несчастную, обезчещенную имъ женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все, все, все и жертвою хотя отчасти искупила страшный грѣхъ сына; но онъ вспомнилъ, какъ его мать, полная, грузная старуха, въ кружевномъ чепцѣ, выходитъ утромъ изъ дома въ садъ, а за нею идетъ приживалка съ болонкой, какъ мать кричитъ повелительнымъ голосомъ на садовника и на прислугу, и какъ гордо, надменно ея лицо,—онъ вспомнилъ объ этомъ и зачеркнулъ написанное слово.

Во всѣхъ трехъ окнахъ ярко блеснула молнія, и вслѣдъ за этимъ раздался оглушительный, раскатистый ударъ грома, сначала глухой, а потомъ грохочущій и съ трескомъ, и такой сильный, что зазвенѣли въ окнахъ стекла. Лаевскій всталъ, подошелъ къ окну и припалъ лбомъ къ стеклу. На дворѣ была сильная, красивая гроза. На горизонтѣ молніи бѣлыми лентами непрерывно бросались изъ тучъ въ море и освѣщали на далекое пространство высокія черныя волны. И справа, и слѣва, и, вѣроятно, также надъ домомъ сверкали молніи.

— Гроза!—прошепталъ Лаевскій; онъ чувствовалъ желаніе молиться кому-нибудь, или чему-нибудь, хотя бы молніи или тучамъ.—Милая гроза!

Онъ вспомнилъ, какъ въ дѣтствѣ во время грозы онъ съ непокрытой головой выбѣгалъ въ садъ, а за нимъ гнались двѣ бѣловолосыя дѣвочки съ голубыми глазами, и ихъ мочилъ дождь; онѣ хохотали отъ восторга, но когда раздавался сильный ударъ грома, дѣвочки довѣрчиво прижимались къ мальчику, онъ крестился и спѣшилъ читать: «Святъ, святъ, святъ...» О, куда вы ушли, въ какомъ вы морѣ утонули, зачатки прекрасной чистой жизни? Грозы ужъ онъ

не боится и природы не любитъ, Бога у него нѣтъ, всѣ довѣрчивыя дѣвочки, какихъ онъ зналъ когда-либо, уже сгублены имъ и его сверстниками, въ родномъ саду онъ за всю свою жизнь не посадилъ ни одного деревца и не выростилъ ни одной травки, а живя среди живыхъ, не спасъ ни одной мухи, а только разрушалъ, губилъ и лгалъ, лгалъ...

«Что въ моемъ прошломъ не порокъ?»—спрашивалъ онъ себя, стараясь уцѣпиться за какое-нибудь свѣтлое воспоминаніе, какъ падающій въ пропасть цѣпляется за кусты.

Гимназія? Университетъ? Но это обманъ. Онъ учился дурно и забылъ то, чему его учили. Служеніе обществу? Это тоже обманъ, потому что на службѣ онъ ничего не дѣлалъ, жалованье получалъ даромъ и служба его—это гнусное казнокрадство, за которое не отдаютъ подъ судъ.

Истина не нужна была ему и онъ не искалъ ея, его совѣсть, околдованная порокомъ и ложью, спала, или молчала; онъ, какъ чужой, или нанятый съ другой планеты, не участвовалъ въ общей жизни людей, былъ равнодушенъ къ ихъ страданіямъ, идеямъ, религіямъ, знаніямъ, исканіямъ, борьбѣ, онъ не сказалъ людямъ ни одного добраго слова, не написалъ ни одной полезной, не пошлой строчки, не сдѣлалъ людямъ ни на одинъ грошъ, а только ѣлъ ихъ хлѣбъ, пилъ ихъ вино, увозилъ ихъ женъ, жилъ ихъ мыслями и, чтобы оправдать свою презрѣнную, паразитную жизнь передъ ними и самимъ собой, всегда старался придавать себѣ такой видъ, какъ будто онъ выше и лучше ихъ. Ложь, ложь и ложь...

Онъ ясно вспомнилъ то, что видѣлъ вечеромъ въ домѣ Мюридова, и ему было невыносимо жутко отъ омерзѣнія и тоски. Кирилинъ и Ачміановъ отвратительны, но вѣдь они продолжали то, что онъ началъ; они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая довѣряла ему больше, чѣмъ брату, онъ отнялъ мужа, кругъ знакомыхъ и родину, и завезъ ее сюда—въ зной, въ лихорадку и въ скуку; изо дня въ день она, какъ зеркало, должна была отражать въ себѣ его праздность, порочность и ложь—и этимъ, только этимъ наполнялась ея жизнь, слабая, вялая, жалкая; потомъ онъ пресытился ею, возненавидѣлъ, но не хватило мужества бросить, и онъ старался все крѣпче опутать ее лганьемъ, какъ паутиной... Остальное додѣлали эти люди.

Лаевскій то садился у стола, то опять отходилъ къ окну; онъ то тушилъ свѣчу, то опять зажигалъ ее. Онъ вслухъ

проклиналъ себя, плакалъ, жаловался, просилъ прощенія; нѣсколько разъ въ отчаяніи подбѣгалъ онъ къ столу и писалъ: «Матушка!»

Кромѣ матери, у него не было никого родныхъ и близкихъ; но какъ могла помочь ему мать? И гдѣ она? Онъ хотѣлъ бѣжать къ Надеждѣ Ѳедоровнѣ, чтобы пасть къ ея ногамъ, цѣловать ея руки и ноги, умолять о прощеніи, но она была его жертвой и онъ боялся ея, точно она умерла.

— Погибла жизнь!—бормоталъ онъ, потирая руки.—Зачѣмъ же я еще живъ, Боже мой!..

Онъ столкнулъ съ неба свою тусклую звѣзду, она закатилась и слѣдъ ея смѣшался съ ночною тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только одинъ разъ и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, онъ ложь въ нихъ замѣнилъ бы правдой, праздность—трудомъ, скуку — радостью, онъ вернулъ бы чистоту тѣмъ, у кого взялъ ее, нашелъ бы Бога и справедливость, но это такъ же невозможно, какъ закатившуюся звѣзду вернуть опять на небо. И оттого, что это невозможно, онъ приходилъ въ отчаяніе.

Когда прошла гроза, онъ сидѣлъ у открытаго окна и покойно думалъ о томъ, что будетъ съ нимъ. Фонъ-Коренъ, вѣроятно, убьетъ его. Ясное, холодное міросозерцаніе этого человѣка допускаетъ уничтоженіе хилыхъ и негодныхъ; если же оно измѣнитъ въ рѣшительную минуту, то помогутъ ему ненависть и чувство гадливости, какія возбуждаетъ въ немъ Лаевскій. Если же онъ промахнется, или для того, чтобы посмѣяться надъ ненавистнымъ противникомъ, только ранитъ его, или выстрѣлитъ въ воздухъ, то что тогда дѣлать? Куда идти?

— Ѣхать въ Петербургъ?—спрашивалъ себя Лаевскій.—Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищетъ спасенія въ перемѣнѣ мѣста, какъ перелетная птица, тотъ ничего не найдетъ, такъ какъ для него земля вездѣ одинакова. Искать спасенія въ людяхъ? Въ комъ искать и какъ? Доброта и великодушіе Самойленка такъ же мало спасительны, какъ смѣшливость дьякона или ненависть фонъ-Корена. Спасенія надо искать только въ себѣ самомъ, а если не найдешь, то къ чему терять время, надо убить себя, вотъ и все...

Послышался шумъ экипажа. Уже свѣтало. Коляска про-

ѣхала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. Въ коляскѣ сидѣли двое.

— Погодите, я сейчасъ! — сказалъ имъ Лаевскій въ окно.—Я не сплю. Развѣ уже пора?

– Да. Четыре часа. Пока доѣдемъ...

Лаевскій надѣлъ пальто и фуражку, взялъ въ карманъ папиросъ и остановился въ раздумьи; ему казалось, что нужно было сдѣлать еще что-то. На улицѣ тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади, и эти звуки въ ранее сырое утро, когда всѣ спятъ и чуть брезжитъ небо, наполнили душу Лаевскаго унынiемъ, похожимъ на дурное предчувствiе. Онъ постоялъ немного въ раздумьи и пошелъ въ спальню.

Надежда Ѳедоровна лежала въ своей постели, вытянувшись, окутанная съ головою въ пледъ; она не двигалась и напоминала, особенно головою, египетскую мумію. Глядя на нее молча, Лаевскій мысленно попросилъ у нея прощенiя и подумалъ, что если небо не пусто и въ самомъ дѣлѣ тамъ есть Богъ, то Онъ сохранитъ ее; если же Бога нѣтъ, то пусть она погибнетъ, жить ей не зачѣмъ.

Она вдругъ вскочила и сѣла въ постели. Поднявъ свое блѣдное лицо и глядя съ ужасомъ на Лаевскаго, она спросила:

— Это ты? Гроза прошла?

— Прошла.

Она вспомнила, положила обѣ руки на голову и вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

— Какъ мнѣ тяжело!—проговорила она. — Если бъ ты зналъ, какъ мнѣ тяжело! Я ждала,—продолжала она, жмурясь:—что ты убьешь меня, или прогонишь изъ дому подъ дождь и грозу, а ты медлишь... медлишь...

Онъ порывисто и крѣпко обнялъ ее, осыпалъ поцѣлуями ея колѣни и руки, потомъ, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала отъ воспоминанiй, онъ пригладилъ ея волосы и, всматриваясь ей въ лицо, понялъ, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкiй, родной и незамѣнимый человѣкъ.

Когда онъ, выйдя изъ дому, садился въ коляску, ему хотѣлось вернуться домой живымъ.

XVIII.

Дьяконъ всталъ, одѣлся, взялъ свою толстую суковатую палку и тихо вышелъ изъ дому. Было темно, и дьяконъ въ первыя минуты, когда пошелъ по улицѣ, не видѣлъ даже своей бѣлой палки; на небѣ не было ни одной звѣзды, и походило на то, что опять будетъ дождь. Пахло мокрымъ пескомъ и моремъ.

«Пожалуй, не напали бы чеченцы»,—думалъ дьяконъ, слушая, какъ его палка стучала о мостовую и какъ звонко и одиноко раздавался въ ночной тишинѣ этотъ стукъ.

Выйдя за городъ, онъ сталъ видѣть и дорогу, и свою палку; на черномъ небѣ кое-гдѣ показались мутныя пятна и скоро выглянула одна звѣзда и робко заморгала своимъ однимъ глазомъ. Дьяконъ шелъ по высокому каменистому берегу и не видѣлъ моря; оно засыпало внизу, и невидимыя волны его лѣниво и тяжело ударялись о берегъ и точно вздыхали: уфъ! И какъ медленно! Ударилась одна волна, дьяконъ успѣлъ сосчитать восемь шаговъ, тогда ударилась другая, черезъ шесть шаговъ третья. Такъ же точно не было ничего видно, и въ потемкахъ слышался лѣнивый, сонный шумъ моря, слышалось безконечно далекое, невообразимое время, когда Богъ носился надъ хаосомъ.

Дьякону стало жутко. Онъ подумалъ о томъ, какъ бы Богъ не наказалъ его за то, что онъ водитъ компанію съ невѣрующими и даже идетъ смотрѣть на ихъ дуэль. Дуэль будетъ пустяковая, безкровная, смѣшная, но, какъ бы то ни было, она—зрѣлище языческое и присутствовать на ней духовному лицу совсѣмъ неприлично. Онъ остановился и подумалъ: не вернуться ли? Но сильное, безпокойное любопытство взяло верхъ надъ сомнѣніями, и онъ пошелъ дальше.

«Они хотя невѣрующіе, но добрые люди и спасутся», успокаивалъ онъ себя.—Обязательно спасутся! — сказалъ онъ вслухъ, закуривая папиросу.

Какою мѣрою нужно измѣрять достоинства людей, чтобы судить о нихъ справедливо? Дьяконъ вспомнилъ своего врага, инспектора духовнаго училища, который и въ Бога вѣровалъ, и на дуэляхъ не дрался, и жилъ въ цѣломудріи, но когда-то кормилъ дьякона хлѣбомъ съ пескомъ и однажды едва не оторвалъ ему уха. Если человѣческая жизнь сло-

жилась такъ немудро, что этого жестокаго и нечестнаго инспектора, кравшаго казенную муку, всѣ уважали и молились въ училищѣ о здравіи его и спасеніи, то справедливо ли сторониться такихъ людей, какъ фонъ-Коренъ и Лаевскій только потому, что они невѣрующіе? Дьяконъ сталъ рѣшать этотъ вопросъ, но ему вспомнилось, какая смѣшная фигура была сегодня у Самойленка, и это прервало теченіе его мыслей. Сколько завтра будетъ смѣху! Дьяконъ воображалъ, какъ онъ засядетъ подъ кустъ и будетъ подсматривать, а когда завтра за обѣдомъ фонъ-Коренъ начнетъ хвастать, то онъ, дьяконъ, со смѣхомъ станетъ разсказывать ему всѣ подробности дуэли.

«Откуда вы все знаете?» спроситъ зоологъ.—«То-то вотъ и есть. Дома сидѣлъ, а знаю».

Хорошо бы описать дуэль въ смѣшномъ видѣ. Тесть будетъ читать и смѣяться, тестя же кашей не корми, а только разскажи или напиши ему что-нибудь смѣшное.

Открылась долина Желтой рѣчки. Отъ дождя рѣчка стала шире и злѣе, и ужъ она не ворчала, какъ прежде, а ревѣла. Начинался разсвѣтъ. Сѣрое тусклое утро, и облака, бѣжавшія на западъ, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанныя туманомъ, и мокрыя деревья—все показалось дьякону некрасивымъ и сердитымъ. Онъ умылся изъ ручья, прочелъ утреннія молитвы, и захотѣлось ему чаю и горячихъ пышекъ со сметаной, которыя каждое утро подаютъ у тестя къ столу. Впомнилась ему дьяконица и «Невозвратное», которое она играетъ на фортепіано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней въ одну недѣлю; пожилъ онъ съ нею меньше мѣсяца и его командировали сюда, такъ что онъ и не разобралъ до сихъ поръ, что она за человѣкъ. А все-таки безъ нея скучновато.

«Надо ей письмишко написать»...—думалъ онъ.

Флагъ на духанѣ размокъ отъ дождя и повисъ, и самъ духанъ съ мокрой крышей казался темнѣе и ниже, чѣмъ онъ былъ раньше. Около дверей стояла арба; Кербалай, какихъ-то два абхазца и молодая татарка въ шароварахъ, должно-быть, жена или дочь Кербалая, выносили изъ духана мѣшки съ чѣмъ-то и клали ихъ въ арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустивъ головы, стояла пара *ословъ*. Уложивъ мѣшки, абхазцы и татарка стали накры-

вать ихъ сверху соломой, а Кербалай принялся поспѣшно запрягатьословъ.

«Контрабанда, пожалуй»,—подумалъ дьяконъ.

Вотъ поваленное дерево съ высохшими иглами, вотъ черное пятно отъ костра. Припомнился пикникъ со всѣми его подробностями, огонь, пѣніе абхазцевъ, сладкія мечты объ архіерействѣ и крестномъ ходѣ... Черная рѣчка отъ дождя стала чернѣе и шире. Дьяконъ осторожно прошелъ по жидкому мостику, до котораго уже дохватывали грязныя волны своими гривами, и взобрался по лѣсенкѣ въ сушильню.

«Славная голова!—думалъ онъ, растягиваясь на соломѣ и вспоминая о фонъ-Коренѣ.—Хорошая голова, дай Богъ здоровья. Только въ немъ жестокость есть»...

За что онъ ненавидитъ Лаевскаго, а тотъ его? За что они будутъ драться на дуэли? Если бы они съ дѣтства знали такую нужду, какъ дьяконъ, если бы они воспитывались въ средѣ невѣжественныхъ, черствыхъ сердцемъ, алчныхъ до наживы, попрекающихъ кускомъ хлѣба, грубыхъ и неотесанныхъ въ обращеніи, плюющихъ на полъ и отрыгивающихъ за обѣдомъ и во время молитвы, если бы они съ дѣтства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избраннымъ кругомъ людей, то какъ бы они ухватились другъ за друга, какъ бы охотно прощали взаимно недостатки и цѣнили бы то, что есть въ каждомъ изъ нихъ. Вѣдь даже внѣшне порядочныхъ людей такъ мало на свѣтѣ! Правда, Лаевскій шалый, распущенный, странный, но вѣдь онъ не украдетъ, не плюнетъ громко на полъ, не попрекнетъ жену: «лопаешь, а работать не хочешь», не станетъ бить ребенка вожжами, или кормить своихъ слугъ вонючей солониной—неужели этого недостаточно, чтобы относиться къ нему снисходительно? Къ тому же, вѣдь онъ первый страдаетъ отъ своихъ недостатковъ, какъ больной отъ своихъ ранъ. Вмѣсто того, чтобы, отъ скуки и по какому-то недоразумѣнію, искать другъ въ другѣ вырожденія, вымиранія, наслѣдственности и прочаго, что мало понятно, не лучше ли имъ спуститься пониже и направить ненависть и гнѣвъ туда, гдѣ стономъ гудятъ цѣлыя улицы отъ грубаго невѣжества, алчности, попрековъ, нечистоты, ругани, женскаго визга...

Послышался стукъ экипажа и прервалъ мысли дьякона. Онъ выглянулъ въ дверь и увидѣлъ коляску, а въ ней

троихъ: Лаевскаго, Шешковскаго и начальника почтово-телеграфной конторы.

— Стопъ!—сказалъ Шешковскій.

Всѣ трое вылѣзли изъ коляски и посмотрѣли другъ на друга.

— Ихъ еще нѣтъ,—сказалъ Шешковскій, стряхивая съ себя грязь.—Что жъ? Пока судъ да дѣло, пойдемъ поищемъ удобнаго мѣста. Здѣсь повернуться негдѣ.

Они пошли дальше вверхъ по рѣкѣ и скоро скрылись изъ виду. Кучеръ-татаринъ сѣлъ въ коляску, склонилъ голову на плечо и заснулъ. Подождавъ минутъ десять, дьяконъ вышелъ изъ сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не замѣтили, присѣдая и оглядываясь, сталъ пробираться по берегу между кустами и полосами кукурузы; съ деревьевъ и съ кустовъ сыпались на него крупныя капли, трава и кукуруза были мокры.

— Срамота! — бормоталъ онъ, подбирая свои мокрыя и грязныя фалды.—Зналъ бы, не пошелъ.

Скоро онъ услышалъ голоса и увидѣлъ людей. Лаевскій, засунувъ руки въ рукава и согнувшись, быстро ходилъ взадъ и впередъ по небольшой полянѣ; его секунданты стояли у самаго берега и крутили папиросы.

«Странно... — подумалъ дьяконъ, не узнавая походки Лаевскаго.—Будто старикъ».

— Какъ это невѣжливо съ ихъ стороны!—сказалъ почтовый чиновникъ, глядя на часы.—Можетъ-быть, по-ученому, и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство.

Шешковскій, толстый человѣкъ съ черной бородой, прислушался и сказалъ:

— Ѣдутъ!

XIX.

— Первый разъ въ жизни вижу! Какъ славно! — сказалъ фонъ-Коренъ, показываясь на полянѣ и протягивая обѣ руки къ востоку.—Посмотрите: зеленые лучи!

На востокѣ изъ-за горъ вытянулись два зеленыхъ луча, и это, въ самомъ дѣлѣ, было красиво. Восходило солнце.

— Здравствуйте!—продолжалъ зоологъ, кивнувъ головой секундантамъ Лаевскаго.—Я не опоздалъ?

За нимъ шли его секунданты, два очень молодыхъ офицера одинаковаго роста, Бойко и Говоровскій, въ бѣлыхъ *кителяхъ*, и тощій, нелюдимый докторъ Устимовичъ, кото-

рый въ одной рукѣ несъ узелъ съ чѣмъ-то, а другую заложилъ назадъ; по обыкновенію, вдоль спины у него была вытянута трость. Положивъ узелъ на землю и ни съ кѣмъ не здороваясь, онъ отправилъ и другую руку за спину и зашагалъ по полянѣ.

Лаевскій чувствовалъ утомленіе и неловкость человѣка, который, быть-можетъ, скоро умретъ и поэтому обращаетъ на себя общее вниманіе. Ему хотѣлось, чтобы его поскорѣе убили, или же отвезли домой. Восходъ солнца онъ видѣлъ теперь первый разъ въ жизни; это раннее утро, зеленые лучи, сырость и люди въ мокрыхъ сапогахъ казались ему лишними въ его жизни, ненужными и стѣсняли его; все это не имѣло никакой связи съ пережитою ночью, съ его мыслями и съ чувствомъ вины, и потому онъ охотно бы ушелъ, не дожидаясь дуэли.

Фонъ-Коренъ былъ замѣтно возбужденъ и старался скрыть это, дѣлая видъ, что его больше всего интересуютъ зеленые лучи. Секунданты были смущены и переглядывались другъ съ другомъ, какъ бы спрашивая, зачѣмъ они тутъ и что имъ дѣлать.

— Я полагаю, господа, что идти дальше намъ не зачѣмъ,—сказалъ Шешковскій.—И здѣсь ладно.

— Да, конечно,—согласился фонъ-Коренъ.

Наступило молчаніе. Устимовичъ, шагая, вдругъ круто повернулъ къ Лаевскому и, сказалъ вполголоса, дыша ему въ лицо:

— Вамъ, вѣроятно, еще не успѣли сообщить моихъ условій. Каждая сторона платитъ мнѣ по 15 рублей, а въ случаѣ смерти одного изъ противниковъ оставшійся въ живыхъ платитъ всѣ 30.

Лаевскій былъ раньше знакомъ съ этимъ человѣкомъ, но только теперь въ первый разъ отчетливо увидѣлъ его тусклые глаза, жесткіе усы и тощую, чахоточную шею: ростовщикъ, а не докторъ! Дыханіе его имѣло непріятный, говяжій запахъ.

«Какихъ только людей не бываетъ на свѣтѣ»,—подумалъ Лаевскій и отвѣтилъ:

— Хорошо.

Докторъ кивнулъ головой и опять зашагалъ, и видно было, что ему вовсе не нужны были деньги, а спрашивалъ онъ ихъ просто изъ ненависти. Всѣ чувствовали, что пора уже

начинать, или кончать то, что уже начато, но не начинали и не кончали, а ходили, стояли и курили. Молодые офицеры, которые первый разъ въ жизни присутствовали на дуэли, и теперь плохо вѣрили въ эту штатскую, по ихъ мнѣнію, не нужную дуэль, внимательно осматривали свои кителя и поглаживали рукава. Шешковскій подошелъ къ нимъ и сказалъ тихо:

— Господа, мы должны употребить всѣ усилія, чтобы эта дуэль не состоялась. Нужно помирить ихъ.

Онъ покраснѣлъ и продолжалъ:

— Вчера у меня былъ Кирилинъ и жаловался, что Лаевскій засталъ его вчера съ Надеждой Ѳедоровной и всякая штука.

— Да, намъ тоже это извѣстно,—сказалъ Бойко.

— Ну, вотъ видите ли... У Лаевскаго дрожатъ руки и всякая штука... Онъ и пистолета теперь не подниметъ. Драться съ нимъ такъ же не-человѣчно, какъ съ пьянымъ или съ тифознымъ. Если примиреніе не состоится, то надо, господа, хоть отложить дуэль, что ли... Такая чертовщина, что не глядѣлъ бы.

— Вы поговорите съ фонъ-Кореномъ.

— Я правилъ дуэли не знаю, чортъ ихъ подери совсѣмъ, и знать не желаю; можетъ-быть, онъ подумаетъ, что Лаевскій струсилъ и меня подослалъ къ нему. А, впрочемъ, какъ ему угодно, я поговорю.

Шешковскій нерѣшительно, слегка прихрамывая, точно отсидѣлъ ногу, направился къ фонъ-Корену и, пока онъ шелъ и покрякивалъ, вся его фигура дышала лѣнью.

— Вотъ что я долженъ вамъ сказать, сударь мой,—началъ онъ, внимательно разсматривая цвѣты на рубахѣ зоолога.—Это конфиденціально... Я правилъ дуэли не знаю, чортъ ихъ побери совсѣмъ, и знать не желаю и разсуждаю не какъ секундантъ и всякая штука, а какъ человѣкъ и все.

— Да. Ну?

— Когда секунданты предлагаютъ мириться, то ихъ обыкновенно не слушаютъ, смотрятъ, какъ на формальность. Самолюбіе и все. Но я прошу васъ покорнѣйше обратить вниманіе на Ивана Андреича. Онъ сегодня не въ нормальномъ состояніи, такъ сказать, не въ своемъ умѣ и жалокъ. У *него* произошло несчастіе. Терпѣть я не могу сплетенъ,—

Шешковскій покраснѣлъ и оглянулся: — но въ виду дуэли я нахожу нужнымъ сообщить вамъ. Вчера вечеромъ онъ въ домѣ Мюридова засталъ свою мадамъ съ... однимъ господиномъ.

— Какая гадость! — пробормоталъ зоологъ; онъ поблѣднѣлъ, поморщился и громко сплюнулъ:—Тьфу!

Нижняя губа у него задрожала; онъ отошелъ отъ Шешковскаго, не желая дальше слушать, и, какъ будто нечаянно попробовалъ чего-то горькаго, опять громко сплюнулъ и съ ненавистью первый разъ за все утро взглянулъ на Лаевскаго. Его возбужденіе и неловкость прошли, онъ встряхнулъ головой и сказалъ громко:

— Господа, что же это мы ждемъ, спрашивается? Почему не начинаемъ?

Шешковскій переглянулся съ офицерами и пожалъ плечами.

— Господа!—сказалъ онъ громко, ни къ кому не обращаясь.—Господа! Мы предлагаемъ вамъ помириться!

— Покончимъ скорѣе съ формальностями,—сказалъ фонъ-Коренъ. — О примиреніи уже говорили. Теперь еще какая слѣдующая формальность? Поскорѣе бы, господа, а то время не ждетъ.

— Но мы все-таки настаиваемъ на примиреніи, — сказалъ Шишковскій виноватымъ голосомъ, какъ человѣкъ, который вынужденъ вмѣшиваться въ чужія дѣла; онъ покраснѣлъ, приложилъ руку къ сердцу и продолжалъ: — Господа, мы не видимъ причинной связи между оскорбленіемъ и дуэлью. У обиды, какую мы иногда по слабости человѣческой наносимъ другъ другу, и у дуэли нѣтъ ничего общаго. Вы люди университетскіе и образованные и, конечно, сами видите въ дуэли одну только устарѣлую, пустую формальность и всякая штука. Мы такъ на нее и смотримъ, иначе бы не поѣхали, такъ какъ не можемъ допустить, чтобы въ нашемъ присутствіи люди стрѣляли другъ въ друга и все.—Шешковскій вытеръ съ лица потъ и продолжалъ: — Покончите же, господа, ваше недоразумѣніе, подайте другъ другу руки и поѣдемъ домой пить мировую. Честное слово, господа!

Фонъ-Коренъ молчалъ. Лаевскій, замѣтивъ, что на него смотрятъ, сказалъ:

— Я ничего не имѣю противъ Николая Васильича.

Если онъ находитъ, что я виноватъ, то я готовъ извиниться передъ нимъ.

Фонъ-Коренъ обидѣлся.

— Очевидно, господа,—сказалъ онъ:—вамъ угодно, чтобы г. Лаевскій вернулся домой великодушнымъ и рыцаремъ, но я не могу доставить вамъ и ему этого удовольствія. И не было надобности вставать рано и ѣхать изъ города за десять верстъ для того только, чтобы пить мировую, закусывать и объяснять мнѣ, что дуэль устарѣлая формальность. Дуэль есть дуэль, и не слѣдуетъ дѣлать ее глупѣе и фальшивѣе, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ. Я желаю драться!

Наступило молчаніе. Офицеръ Бойко досталъ изъ ящика два пистолета: одинъ подали фонъ-Корену, другой Лаевскому, и затѣмъ произошло замѣшательство, которое ненадолго развеселило зоолога и секундантовъ. Оказалось, что изъ всѣхъ присутствовавшихъ ни одинъ не былъ на дуэли ни разу въ жизни и никто не зналъ точно, какъ нужно становиться и что должны говорить и дѣлать секунданты. Но потомъ Бойко вспомнилъ и, улыбаясь, сталъ объяснять.

— Господа, кто помнитъ, какъ описано у Лермонтова?— спросилъ фонъ-Коренъ, смѣясь.—У Тургенева также Базаровъ стрѣлялся съ кѣмъ-то тамъ...

— Къ чему тутъ помнить?—сказалъ нетерпѣливо Устимовичъ, останавливаясь.—Отмѣрьте разстояніе—вотъ и все.

И онъ раза три шагнулъ, какъ бы показывая, какъ надо отмѣривать. Бойко отсчиталъ шаги, а его товарищъ обнажилъ шашку и поцарапалъ землю на крайнихъ пунктахъ, чтобы обозначить барьеръ.

Противники, при всеобщемъ молчаніи, заняли свои мѣста.

«Кроты», вспомнилъ дьяконъ, сидѣвшій въ кустахъ.

Что-то говорилъ Шешковскій, что-то объяснялъ опять Бойко, но Лаевскій не слышалъ, или, вѣрнѣе, слышалъ, но не понималъ. Онъ, когда настало для этого время, взвелъ курокъ и поднялъ тяжелый, холодный пистолетъ дуломъ вверхъ. Онъ забылъ разстегнуть пальто, и у него сильно сжимало въ плечѣ и подъ мышкой, и рука поднималась съ такою неловкостью, какъ будто рукавъ былъ сшитъ изъ жести. Онъ вспомнилъ свою вчерашнюю ненависть къ смуглому лбу и курчавымъ волосамъ и подумалъ, *что даже* вчера, въ минуту сильной ненависти и гнѣва, онъ

не смогъ бы выстрѣлить въ человѣка. Боясь, чтобы пуля какъ-нибудь невзначай не попала въ фонъ-Корена, онъ поднималъ пистолетъ все выше и выше, и чувствовалъ, что это слишкомъ показное великодушіе не деликатно и не великодушно, но иначе не умѣлъ и не могъ. Глядя на блѣдное, насмѣшливо улыбавшееся лицо фонъ-Корена, который, очевидно, съ самаго начала былъ увѣренъ, что его противникъ выстрѣлитъ въ воздухъ, Лаевскій думалъ, что сейчасъ, слава Богу, все кончится и что вотъ только нужно надавить покрѣпче собачку...

Сильно отдало въ плечо, раздался выстрѣлъ и въ горахъ отвѣтило эхо: пахъ-тахъ!

И фонъ-Коренъ взвелъ курокъ и посмотрѣлъ въ сторону Устимовича, который попрежнему шагалъ, заложивъ руки назадъ и не обращая ни на что вниманія.

— Докторъ,—сказалъ зоологъ:—будьте добры, не ходите, какъ маятникъ. У меня отъ васъ мелькаетъ въ глазахъ.

Докторъ остановился. Фонъ-Коренъ сталъ прицѣливаться въ Лаевскаго.

«Кончено!»—подумалъ Лаевскій.

Дуло пистолета, направленное прямо въ лицо, выраженіе ненависти и презрѣнія въ позѣ и во всей фигурѣ фонъ-Корена и это убійство, которое сейчасъ совершитъ порядочный человѣкъ среди бѣла дня въ присутствіи порядочныхъ людей, и эта тишина, и неизвѣстная сила, заставляющая Лаевскаго стоять, а не бѣжать — какъ все это таинственно, и непонятно, и страшно! Время, пока фонъ-Коренъ прицѣливался, показалось Лаевскому длиннѣе ночи. Онъ умоляюще взглянулъ на секундантовъ; они не шевелились и были блѣдны.

«Скорѣе же стрѣляй!»—думалъ Лаевскій и чувствовалъ, что его блѣдное, дрожащее, жалкое лицо должно возбуждать въ фонъ-Коренѣ еще большую ненависть.

«Я его сейчасъ убью, — думалъ фонъ-Коренъ, прицѣливаясь въ лобъ и уже ощущая пальцемъ собачку.—Да, конечно, убью...»

— Онъ убьетъ его!—послышался вдругъ отчаянный крикъ гдѣ-то очень близко.

Тотчасъ же раздался выстрѣлъ. Увидѣвъ, что Лаевскій стоитъ на мѣстѣ, а не упалъ, всѣ посмотрѣли въ ту сторону, откуда послышался крикъ, и увидѣли дьякона. Онъ,

блѣдный, съ мокрыми, прилипшими ко лбу и къ щекамъ волосами, весь мокрый и грязный, стоялъ на томъ берегу въ кукурузѣ, какъ-то странно улыбался и махалъ мокрой шляпой. Шешковскій засмѣялся отъ радости, заплакалъ и отошелъ въ сторону...

XX.

Немного погодя, фонъ-Коренъ и дьяконъ сошлись около мостика. Дьяконъ былъ взволнованъ, тяжело дышалъ и избѣгалъ смотрѣть въ глаза. Ему было стыдно и за свой страхъ, и за свою грязную, мокрую одежу.

— Мнѣ показалось, что вы хотѣли его убить...—бормоталъ онъ.—Какъ это противно природѣ человѣческой! До какой степени это противоестественно!

— Какъ вы сюда попали, однако?—спросилъ зоологъ.

— Не спрашивайте,—махнулъ рукой дьяконъ. — Нечистый попуталъ: иди да иди... Вотъ и пошелъ, и чуть въ кукурузѣ не померъ отъ страха. Но теперь, слава Богу, слава Богу... Я весьма вами доволенъ, — бормоталъ дьяконъ.—И нашъ дѣдка-тарантулъ будетъ доволенъ... Смѣху-то, смѣху! А только я прошу васъ убѣдительно, никому не говорите, что я былъ тутъ, а то мнѣ, пожалуй, влетитъ въ загривокъ отъ начальства. Скажутъ: дьяконъ секундантомъ былъ.

— Господа!—сказалъ фонъ-Коренъ. — Дьяконъ проситъ васъ никому не говорить, что вы видѣли его здѣсь. Могутъ выйти непріятности.

— Какъ это противно природѣ человѣческой!—вздохнулъ дьяконъ. — Извините меня великодушно, но у васъ такое было лицо, что я думалъ, что вы непремѣнно его убьете.

— У меня было сильное искушеніе прикончить этого мерзавца, — сказалъ фонъ-Коренъ: — но вы крикнули мнѣ подъ руку, и я промахнулся. Вся эта процедура, однако, противна съ непривычки и утомила меня, дьяконъ. Я ужасно ослабѣлъ. Поѣдемте...

— Нѣтъ, ужъ дозвольте мнѣ пѣшкомъ идти. Мнѣ просохнуть надо, а то я измокъ и прозябъ.

— Ну, какъ знаете, — сказалъ томнымъ голосомъ ослабѣвшій зоологъ, садясь въ коляску и закрывая глаза.— Какъ знаете...

Пока ходили около экипажей и усаживались, Кербалай

стоялъ у дороги и, взявшись обѣими руками за животъ, низко кланялся и показывалъ зубы; онъ думалъ, что господа пріѣхали наслаждаться природой и пить чай, и не понималъ, почему это они садятся въ экипажи. При общемъ безмолвіи поѣздъ тронулся, и около духана остался одинъ только дьяконъ.

— Ходилъ духанъ, пилъ чай,—сказалъ онъ Кербалаю.—Мой хочетъ кушать.

Кербалай хорошо говорилъ по-русски, но дьяконъ думалъ, что татаринъ скорѣе пойметъ его, если онъ будетъ говорить съ нимъ на ломаномъ русскомъ языкѣ.

— Яичницу жарилъ, сыръ давалъ...

— Иди, иди, попъ,—сказалъ Кербалай, кланяясь.—Все дамъ... И сыръ есть, и вино есть... Кушай, чего хочешь.

— Какъ по-татарски — Богъ? — спрашивалъ дьяконъ, входя въ духанъ.

— Твой Богъ и мой Богъ все равно, — сказалъ Кербалай, не понявъ его.—Богъ у всѣхъ одинъ, а только люди разные. Которые русскіе, которые турки, или которые англійски—всякихъ людей много, а Богъ одинъ.

— Хорошо-съ. Если всѣ народы поклоняются единому Богу, то почему же вы, мусульмане, смотрите на христіанъ какъ на вѣковѣчныхъ враговъ своихъ?

— Зачѣмъ сердишься? — сказалъ Кербалай, хватаясь обѣими руками за животъ. — Ты попъ, я мусульманъ, ты говоришь — кушать хочу, я даю... Только богатый разбираетъ, какой Богъ твой, какой мой, а для бѣднаго все равно. Кушай, пожалуста.

Пока въ духанѣ происходилъ богословскій разговоръ, Лаевскій ѣхалъ домой и вспоминалъ, какъ жутко ему было ѣхать на разсвѣтѣ, когда дорога, скалы и горы были мокры и темны и неизвѣстное будущее представлялось страшнымъ, какъ пропасть, у которой не видно дна, а теперь дождевыя капли, висѣвшія на травѣ и на камняхъ, сверкали отъ солнца, какъ алмазы, природа радостно улыбалась, и страшное будущее оставалось позади. Онъ посматривалъ на угрюмое, заплаканное лицо Шешковскаго и впередъ на двѣ коляски, въ которыхъ сидѣли фонъ-Коренъ, его секунданты и докторъ, и ему казалось, какъ будто они всѣ возвращались изъ кладбища, гдѣ только-что похоронили тяжелаго, невыносимаго человѣка, который мѣшалъ всѣмъ жить.

«Все кончено»,—думалъ онъ о своемъ прошломъ, осторожно поглаживая пальцами шею.

У него въ правой сторонѣ шеи, около воротничка, вздулась небольшая опухоль, длиною и толщиною съ мизинецъ, и чувствовалась боль, какъ будто кто провелъ по шеѣ утюгомъ. Это контузила пуля.

Затѣмъ, когда онъ пріѣхалъ домой, для него потянулся длинный, странный, сладкій и туманный, какъ забытье, день. Онъ, какъ выпущенный изъ тюрьмы или больницы, всматривался въ давно знакомые предметы и удивлялся, что столы, окна, стулья, свѣтъ и море возбуждаютъ въ немъ живую, дѣтскую радость, какой онъ давно-давно уже не испытывалъ. Блѣдная и сильно похудѣвшая Надежда Ѳедоровна не понимала его кроткаго голоса и странной походки; она торопилась разсказать ему все, что съ нею было... Ей казалось, что онъ, вѣроятно, плохо слышитъ и не понимаетъ ее, и что если онъ все узнаетъ, то проклянетъ ее и убьетъ, а онъ слушалъ ее, гладилъ ей лицо и волоса, смотрѣлъ ей въ глаза и говорилъ:

— У меня нѣтъ никого, кромѣ тебя...

Потомъ они долго сидѣли въ палисадникѣ, прижавшись другъ къ другу, и молчали, или же, мечтая вслухъ о своей будущей счастливой жизни, говорили короткія, отрывистыя фразы, и ему казалось, что онъ никогда раньше не говорилъ такъ длинно и красиво.

XXI.

Прошло три мѣсяца съ лишнимъ.

Наступилъ день, назначенный фонъ-Кореномъ для отъѣзда. Съ ранняго утра шелъ крупный, холодный дождь, дулъ нордъ-остовый вѣтеръ и на морѣ развело сильную волну. Говорили, что въ такую погоду пароходъ едва ли зайдетъ на рейдъ. По росписанію онъ долженъ былъ придти въ десятомъ часу утра, но фонъ-Коренъ, выходившій на набережную въ полдень и послѣ обѣда, не увидѣлъ въ бинокль ничего, кромѣ сѣрыхъ волнъ и дождя, застилавшаго горизонтъ.

Къ концу дня дождь пересталъ и вѣтеръ началъ замѣтно стихать. Фонъ-Коренъ уже помирился съ мыслью, что ему сегодня не уѣхать, и сѣлъ играть съ Самойленкомъ въ шах-

маты; но когда стемнѣло, денщикъ доложилъ, что на морѣ показались огни и что видѣли ракету.

Фонъ-Коренъ заторопился. Онъ надѣлъ сумочку черезъ плечо, поцѣловался съ Самойленкомъ и съ дьякономъ, безъ всякой надобности обошелъ всѣ комнаты, простился съ денщикомъ и съ кухаркой и вышелъ на улицу съ такимъ чувствомъ, какъ будто забылъ что-то у доктора или у себя на квартирѣ. На улицѣ шелъ онъ рядомъ съ Самойленкомъ, за ними дьяконъ съ ящикомъ, а позади всѣхъ денщикъ съ двумя чемоданами. Только Самойленко и денщикъ различали тусклые огоньки на морѣ, остальные же смотрѣли въ потемки и ничего не видѣли. Пароходъ остановился далеко отъ берега.

— Скорѣе, скорѣе,—торопился фонъ-Коренъ.—Я боюсь, что онъ уйдетъ!

Проходя мимо трехъ-оконнаго домика, въ который перебрался Лаевскій вскорѣ послѣ дуэли, фонъ-Коренъ не удержался и заглянулъ въ окно. Лаевскій, согнувшись, сидѣлъ за столомъ, спиною къ окну и писалъ.

— Я удивляюсь,—тихо сказалъ зоологъ.—Какъ онъ скрутилъ себя!

— Да, удивленія достойно,—вздохнулъ Самойленко.—Такъ съ утра до вечера сидитъ, все сидитъ и работаетъ. Долги хочетъ выплатить. А живетъ, братъ, хуже нищаго!

Прошло полминуты въ молчаніи. Зоологъ, докторъ и дьяконъ стояли у окна и все смотрѣли на Лаевскаго.

— Такъ и не уѣхалъ отсюда, бѣдняга,—сказалъ Самойленко.—А помнишь, какъ онъ хлопоталъ?

— Да, сильно онъ скрутилъ себя,—повторилъ фонъ-Коренъ.—Его свадьба, эта цѣлодневная работа изъ-за куска хлѣба, какое-то новое выраженіе на его лицѣ и даже его походка — все это до такой степени необыкновенно, что я и не знаю, какъ назвать это, — зоологъ взялъ Самойленко за рукавъ и продолжалъ съ волненіемъ въ голосѣ:—Ты передай ему и его женѣ, что когда я уѣзжалъ, я удивился имъ, желалъ всего хорошаго... и попроси его, чтобы онъ, если это можно, не поминалъ меня лихомъ. Онъ меня знаетъ. Онъ знаетъ, что если бы я могъ тогда предвидѣть эту перемѣну, то я могъ бы стать его лучшимъ другомъ.

— Ты зайди къ нему, простись.

— Нѣтъ. Это неудобно.

— Отчего? Богъ знаетъ, можетъ, больше ужъ никогда не увидишься съ нимъ.

Зоологъ подумалъ и сказалъ:

— Это правда.

Самойленко тихо постучалъ пальцемъ въ окно. Лаевскій вздрогнулъ и оглянулся.

— Ваня, Николай Васильичъ желаетъ съ тобой проститься,—сказалъ Самойленко.—Онъ сейчасъ уѣзжаетъ.

Лаевскій всталъ изъ-за стола и пошелъ въ сѣни, чтобы отворить дверь. Самойленко, фонъ-Коренъ и дьяконъ вошли въ домъ.

— Я на одну минутку,—началъ зоологъ, снимая въ сѣняхъ калоши и уже жалѣя, что онъ уступилъ чувству и вошелъ сюда безъ приглашенія. «Я какъ будто навязываюсь,—подумалъ онъ:—а это глупо». — Простите, что я безпокою васъ,—сказалъ онъ, входя за Лаевскимъ въ его комнату:—но я сейчасъ уѣзжаю, и меня потянуло къ вамъ. Богъ знаетъ, увидимся ли когда еще.

— Очень радъ... Покорнѣйше прошу,—сказалъ Лаевскій и неловко подставилъ гостямъ стулья, точно желая загородить имъ дорогу, и остановился посреди комнаты, потирая руки.

«Напрасно я не оставилъ свидѣтелей на улицѣ»,—подумалъ фонъ-Коренъ и сказалъ твердо: — Не поминайте меня лихомъ, Иванъ Андреичъ. Забыть прошлаго, конечно, нельзя, оно слишкомъ грустно, и я не затѣмъ пришелъ сюда, чтобы извиняться или увѣрять, что я не виноватъ. Я дѣйствовалъ искренно и не измѣнилъ своихъ убѣжденій съ тѣхъ поръ... Правда, какъ вижу теперь къ великой моей радости, я ошибся относительно васъ, но вѣдь спотыкаются и на ровной дорогѣ, и такова ужъ человѣческая судьба: если не ошибаешься въ главномъ, то будешь ошибаться въ частностяхъ. Никто не знаетъ настоящей правды.

— Да, никто не знаетъ правды...—сказалъ Лаевскій.

— Ну, прощайте... Дай Богъ намъ всего хорошаго.

Фонъ-Коренъ подалъ Лаевскому руку; тотъ пожалъ ее и поклонился.

— Не поминайте же лихомъ,—сказалъ фонъ-Коренъ.— Поклонитесь вашей женѣ и скажите ей, что я очень жалѣлъ, что не могъ проститься съ ней.

— Она дома.

Лаевскій подошелъ къ двери и сказалъ въ другую комнату:

— Надя, Николай Васильевичъ желаетъ съ тобой проститься.

Вошла Надежда Ѳедоровна; она остановилась около двери и робко взглянула на гостей. Лицо у нея было виноватое и испуганное, и руки она держала, какъ гимназистка, которой дѣлаютъ выговоръ.

— Я сейчасъ уѣзжаю, Надежда Ѳедоровна,—сказалъ фонъ-Коренъ:—и пришелъ проститься.

Она нерѣшительно протянула ему руку, а Лаевскій поклонился.

«Какъ они, однако, оба жалки! — подумалъ фонъ-Коренъ.—Не дешево достается имъ эта жизнь».—Я буду въ Москвѣ и въ Петербургѣ,— спросилъ онъ: — не нужно ли вамъ что-нибудь прислать оттуда?

— Что же?—сказала Надежда Ѳедоровна и встревоженно переглянулась съ мужемъ.—Кажется, ничего...

— Да, ничего...—сказалъ Лаевскій, потирая руки.—Кланяйтесь.

Фонъ-Коренъ не зналъ, что еще можно и нужно сказать, а раньше, когда входилъ, то думалъ, что скажетъ очень много хорошаго, теплаго и значительнаго. Онъ молча пожалъ руки Лаевскому и его женѣ и вышелъ отъ нихъ съ тяжелымъ чувствомъ.

— Какіе люди! — говорилъ дьяконъ вполголоса, идя сзади. — Боже мой, какіе люди! Воистину десница Божія насадила виноградъ сей! Господи, Господи! Одинъ побѣдилъ тысячи, а другой тьмы. Николай Васильичъ, — сказалъ онъ восторженно:—знайте, что сегодня вы побѣдили величайшаго изъ враговъ человѣческихъ—гордость!

— Полно, дьяконъ! Какіе мы съ нимъ побѣдители? Побѣдители орлами смотрятъ, а онъ жалокъ, робокъ, забитъ, кланяется, какъ китайскій болванчикъ, а мнѣ... мнѣ грустно.

Сзади послышались шаги. Это догонялъ Лаевскій, чтобы проводить. На пристани стоялъ денщикъ съ двумя чемоданами, а нѣсколько поодаль—четыре гребца.

— Однако, подуваетъ... брррр!—сказалъ Самойленко.—Въ морѣ, должно-быть, теперь штормяга—ой, ой! Не въ пору ты ѣдешь, Коля.

— Я не боюсь морской болѣзни.

— Не въ томъ... Не опрокинули бы тебя эти дураки. Слѣдовало бы на агентской шлюпкѣ доѣхать. Гдѣ агентская шлюпка?—крикнулъ онъ гребцамъ.

— Ушла, ваше превосходительство.

— А таможенная?

— Тоже ушла.

— Отчего же не доложили?—разсердился Самойленко.— Остолопы!

— Все равно, не волнуйся...—сказалъ фонъ-Коренъ.— Ну, прощай. Храни васъ Богъ.

Самойленко обнялъ фонъ-Корена и перекрестилъ его три раза.

— Не забывай же, Коля... Пиши... Будущей весной ждать будемъ.

— Прощайте, дьяконъ,—сказалъ фонъ-Коренъ, пожимая дьякону руку.—Спасибо вамъ за компанію и за хорошіе разговоры. Насчетъ экспедиціи подумайте.

— Да, Господи, хоть на край свѣта!—засмѣялся дьяконъ.—Развѣ я противъ?

Фонъ-Коренъ узналъ въ потемкахъ Лаевскаго и молча протянулъ ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя молъ загораживалъ ее отъ большой зыби. Фонъ-Коренъ спустился по трапу, прыгнулъ въ лодку и сѣлъ у руля.

— Пиши!—крикнулъ ему Самойленко.—Здоровье береги!

«Никто не знаетъ настоящей правды»,—думалъ Лаевскій, поднимая воротникъ своего пальто и засовывая руки въ рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на просторъ. Она исчезла въ волнахъ, но тотчасъ же изъ глубокой ямы скользнула на высокій холмъ, такъ что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назадъ сажени на двѣ.

— Пиши!—крикнулъ Самойленко.—Понесла тебя нелегкая въ такую погоду!

«Да, никто не знаетъ настоящей правды...»—думалъ Лаевскій, съ тоскою глядя на безпокойное темное море.

«Лодку бросаетъ назадъ,—думалъ онъ:—дѣлаетъ она два шага впередъ и шагъ назадъ, но гребцы упрямы, машутъ неутомимо веслами и не боятся высокихъ волнъ. Лодка

идетъ все впередъ и впередъ, вотъ ужъ ея и не видно, а пройдетъ съ полчаса и гребцы ясно увидятъ пароходные огни, а черезъ часъ будутъ уже у пароходнаго трапа. Такъ и въ жизни... Въ поискахъ за правдой люди дѣлаютъ два шага впередъ, шагъ назадъ. Страданія, ошибки и скука жизни бросаютъ ихъ назадъ, но жажда правды и упрямая воля гонятъ впередъ и впередъ. И кто знаетъ? Быть-можетъ, доплывутъ до настоящей правды...»

— Проща-а-айГ— крикнулъ Самойленко.

— Не видать и не слыхать,—сказалъ дьяконъ.—Счастливой дороги!

Сталъ накрапывать дождь.

— Я не боюсь морской болѣзни.

— Не въ томъ... Не опрокинули бы тебя эти дураки. Слѣдовало бы на агентской шлюпкѣ доѣхать. Гдѣ агентская шлюпка?—крикнулъ онъ гребцамъ.

— Ушла, ваше превосходительство.

— А таможенная?

— Тоже ушла.

— Отчего же не доложили?—разсердился Самойленко.— Остолопы!

— Все равно, не волнуйся... — сказалъ фонъ-Коренъ.— Ну, прощай. Храни васъ Богъ.

Самойленко обнялъ фонъ-Корена и перекрестилъ его три раза.

— Не забывай же, Коля... Пиши... Будущей весной ждать будемъ.

— Прощайте, дьяконъ,—сказалъ фонъ-Коренъ, пожимая дьякону руку. — Спасибо вамъ за компанію и за хорошіе разговоры. Насчетъ экспедиціи подумайте.

— Да, Господи, хоть на край свѣта!—засмѣялся дьяконъ.—Развѣ я противъ?

Фонъ-Коренъ узналъ въ потемкахъ Лаевскаго и молча протянулъ ему руку. Гребцы уже стояли внизу и придерживали лодку, которая билась о сваи, хотя молъ загораживалъ ее отъ большой зыби. Фонъ-Коренъ спустился по трапу, прыгнулъ въ лодку и сѣлъ у руля.

— Пиши!—крикнулъ ему Самойленко.—Здоровье береги!

«Никто не знаетъ настоящей правды»,—думалъ Лаевскій, поднимая воротникъ своего пальто и засовывая руки въ рукава.

Лодка бойко обогнула пристань и вышла на просторъ. Она исчезла въ волнахъ, но тотчасъ же изъ глубокой ямы скользнула на высокій холмъ, такъ что можно было различить и людей, и даже весла. Лодка прошла сажени три, и ее отбросило назадъ сажени на двѣ.

— Пиши!—крикнулъ Самойленко.—Понесла тебя нелегкая въ такую погоду!

«Да, никто не знаетъ настоящей правды...»—думалъ Лаевскій, съ тоскою глядя на безпокойное темное море.

«Лодку бросаетъ назадъ,—думалъ онъ:—дѣлаетъ она два шага впередъ и шагъ назадъ, но гребцы упрямы, машутъ неутомимо веслами и не боятся высокихъ волнъ. Лодка

идетъ все впередъ и впередъ, вотъ ужъ ея и не видно, а пройдетъ съ полчаса и гребцы ясно увидятъ пароходные огни, а черезъ часъ будутъ уже у пароходнаго трапа. Такъ и въ жизни... Въ поискахъ за правдой люди дѣлаютъ два шага впередъ, шагъ назадъ. Страданія, ошибки и скука жизни бросаютъ ихъ назадъ, но жажда правды и упрямая воля гонятъ впередъ и впередъ. И кто знаетъ? Быть-можетъ, доплывутъ до настоящей правды...»

— Проща-а-ай!— крикнулъ Самойленко.

— Не видать и не слыхать,—сказалъ дьяконъ.—Счастливой дороги!

Сталъ накрапывать дождь.

ПАЛАТА № 6.

I.

Въ больничномъ дворѣ стоитъ небольшой флигель, окруженный цѣлымъ лѣсомъ репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на немъ ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а отъ штукатурки остались одни только слѣды. Переднимъ фасадомъ обращенъ онъ къ больницѣ, заднимъ—глядитъ въ поле, отъ котораго отдѣляетъ его сѣрый больничный заборъ съ гвоздями. Эти гвозди, обращенные остріями кверху, и заборъ, и самый флигель имѣютъ тотъ особый унылый, окаянный видъ, какой у насъ бываетъ только у больничныхъ и тюремныхъ построекъ.

Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинкѣ, ведущей къ флигелю, и посмотримъ, что дѣлается внутри. Отворивъ первую дверь, мы входимъ въ сѣни. Здѣсь у стѣнъ и около печки навалены цѣлыя горы больничнаго хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи съ синими полосками, никуда негодная, истасканная обувь,—вся эта рвань свалена въ кучи, перемята, спуталась, гніетъ и издаетъ удушливый запахъ.

На хламѣ всегда съ трубкой въ зубахъ лежитъ сторожъ Никита, старый отставной солдатъ съ порыжѣлыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшія брови, придающія лицу выраженіе степной овчарки, и красный носъ; онъ невысокъ ростомъ, на видъ сухощавъ и жилистъ, но *осанка* у него внушительная и кулаки здоровенные. При-

надлежитъ онъ къ числу тѣхъ простодушныхъ, положительныхъ, исполнительныхъ и тупыхъ людей, которые больше всего на свѣтѣ любятъ порядокъ и потому убѣждены, что ихъ надо бить. Онъ бьетъ по лицу, по груди, по спинѣ, по чемъ попало, и увѣренъ, что безъ этого не было бы здѣсь порядка.

Далѣе вы входите въ большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сѣней. Стѣны здѣсь вымазаны грязно-голубой краской, потолокъ закопченъ, какъ въ курной избѣ,—ясно, что здѣсь зимой дымятъ печи и бываетъ угарно. Окна изнутри обезображены желѣзными рѣшетками. Полъ сѣръ и занозистъ. Воняетъ кислою капустой, фитильною гарью, клопами и амміакомъ, и эта вонь въ первую минуту производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы входите въ звѣринецъ.

Въ комнатѣ стоятъ кровати, привинченныя къ полу. На нихъ сидятъ и лежатъ люди въ синихъ больничныхъ халатахъ и по-старинному въ колпакахъ. Это—сумасшедшіе.

Всѣхъ ихъ здѣсь пять человѣкъ. Только одинъ благороднаго званія, остальные же всѣ мѣщане. Первый отъ двери, высокій, худощавый мѣщанинъ съ рыжими, блестящими усами и съ заплаканными глазами, сидитъ, подперевъ голову, и глядитъ въ одну точку. День и ночь онъ груститъ, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; въ разговорахъ онъ рѣдко принимаетъ участіе и на вопросы обыкновенно не отвѣчаетъ. Ѣстъ и пьетъ онъ машинально, когда даютъ. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобѣ и румянцу на щекахъ, у него начинается чахотка.

За нимъ слѣдуетъ маленькій, живой, очень подвижной старикъ съ острою бородкой и съ черными, кудрявыми, какъ у негра, волосами. Днемъ онъ прогуливается по палатѣ отъ окна къ окну или сидитъ на своей постели, поджавъ по-турецки ноги, и неугомонно, какъ снигирь, насвистываетъ, тихо поетъ и хихикаетъ. Дѣтская веселость и живой характеръ проявляетъ онъ и ночью, когда встаетъ за тѣмъ, чтобы помолиться Богу, то-есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцемъ въ дверяхъ. Это жидъ Мойсейка, дурачокъ, помѣшавшійся лѣтъ двадцать назадъ, когда у него сгорѣла шапочная мастерская.

Изъ всѣхъ обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить изъ флигеля и даже изъ больничнаго

двора на улицу. Такой привилегіей онъ пользуется издавна, вѣроятно, какъ больничный старожилъ и какъ тихій, безвредный дурачокъ, городской шутъ, котораго давно уже привыкли видѣть на улицахъ, окруженнымъ мальчишками и собаками. Въ халатишкѣ, въ смѣшномъ колпакѣ и въ туфляхъ, иногда босикомъ и даже безъ панталонъ, онъ ходитъ по улицамъ, останавливаясь у воротъ и лавочекъ, и проситъ копеечку. Въ одномъ мѣстѣ дадутъ ему квасу, въ другомъ—хлѣба, въ третьемъ—копеечку, такъ что возвращается онъ во флигель обыкновенно сытымъ и богатымъ. Все, что онъ приноситъ съ собой, отбираетъ у него Никита въ свою пользу. Дѣлаетъ это солдатъ грубо, съ сердцемъ, выворачивая карманы и призывая Бога въ свидѣтели, что онъ никогда уже больше не станетъ пускать жида на улицу и что безпорядки для него хуже всего на свѣтѣ.

Мойсейка любитъ услуживать. Онъ подаетъ товарищамъ воду, укрываетъ ихъ, когда они спятъ, обѣщаетъ каждому принести съ улицы по копеечкѣ и сшить по новой шапкѣ; онъ же кормитъ съ ложки своего сосѣда съ лѣвой стороны, паралитика. Поступаетъ онъ такъ не изъ состраданія и не изъ какихъ-либо соображеній гуманнаго свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему сосѣду съ правой стороны, Громову.

Иванъ Дмитричъ Громовъ, мужчина лѣтъ тридцати трехъ, изъ благородныхъ, бывшій судебный приставъ и губернскій секретарь, страдаетъ маніей преслѣдованія. Онъ или лежитъ на постели, свернувшись калачикомъ, или же ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ бы для моціона, сидитъ же очень рѣдко. Онъ всегда возбужденъ, взволнованъ и напряженъ какимъ-то смутнымъ, неопредѣленнымъ ожиданіемъ. Достаточно малѣйшаго шороха въ сѣняхъ или крика на дворѣ, чтобы онъ поднялъ голову и сталъ прислушиваться: не за нимъ ли это идутъ? Не его ли ищутъ? И лицо его при этомъ выражаетъ крайнее безпокойство и отвращеніе.

Мнѣ нравится его широкое, скуластое лицо, всегда блѣдное и несчастное, отражающее въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, замученную борьбой и продолжительнымъ страхомъ душу. Гримасы его странны и болѣзненны, но тонкія черты, положенныя на его лицо глубокимъ искреннимъ страданіемъ, разумны и интеллигентны, и въ глазахъ теплый, здоровый

блескъ. Нравится мнѣ онъ самъ, вѣжливый, услужливый и необыкновенно деликатный въ обращеніи со всѣми, кромѣ Никиты. Когда кто-нибудь роняетъ пуговку или ложку, онъ быстро вскакиваетъ съ постели и поднимаетъ. Каждое утро онъ поздравляетъ своихъ товарищей съ добрымъ утромъ, ложась спать—желаетъ имъ спокойной ночи.

Кромѣ постоянно напряженнаго состоянія и гримасничанья, сумашествіе его выражается еще въ слѣдующемъ. Иногда по вечерамъ онъ запахивается въ свой халатикъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, стуча зубами, начинаетъ быстро ходить изъ угла въ уголъ и между кроватей. Похоже на то, какъ будто у него сильная лихорадка. По тому, какъ онъ внезапно останавливается и взглядываетъ на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, повидимому, соображая, что его не будутъ слушать или не поймутъ, онъ нетерпѣливо встряхиваетъ головой и продолжаетъ шагать. Но скоро желаніе говорить беретъ верхъ надъ всякими соображеніями, и онъ даетъ себѣ волю и говоритъ горячо и страстно. Рѣчь его безпорядочна, лихорадочна, какъ бредъ, порывиста и не всегда понятна, но зато въ ней слышится, и въ словахъ, и въ голосѣ, что-то чрезвычайно хорошее. Когда онъ говоритъ, вы узнаете въ немъ сумасшедшаго и человѣка. Трудно передать на бумагѣ его безумную рѣчь. Говоритъ онъ о человѣческой подлости, о насиліи, попирающемъ правду, о прекрасной жизни, какая со временемъ будетъ на землѣ, объ оконныхъ рѣшеткахъ, напоминающихъ ему каждую минуту о тупости и жестокости насильниковъ. Получается безпорядочное, нескладное попури изъ старыхъ, но еще недопѣтыхъ пѣсенъ.

II.

Лѣтъ 12—15 тому назадъ, въ городѣ, на самой главной улицѣ, въ собственномъ домѣ проживалъ чиновникъ Громовъ, человѣкъ солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергѣй и Иванъ. Будучи уже студентомъ четвертаго курса, Сергѣй заболѣлъ скоротечною чахоткой и умеръ, и эта смерть какъ бы послужила началомъ цѣлаго ряда несчастій, которыя вдругъ посыпались на семью Громовыхъ. Черезъ недѣлю послѣ похоронъ Сергѣя старикъ-отецъ былъ отданъ подъ судъ за подлоги и растраты и вскорѣ умеръ въ тюремной больницѣ отъ тифа. Домъ и вся движимость

двора на улицу. Такой привилегіей онъ пользуется издавна, вѣроятно, какъ больничный старожилъ и какъ тихій, безвредный дурачокъ, городской шутъ, котораго давно уже привыкли видѣть на улицахъ, окруженнымъ мальчишками и собаками. Въ халатишкѣ, въ смѣшномъ колпакѣ и въ туфляхъ, иногда босикомъ и даже безъ панталонъ, онъ ходитъ по улицамъ, останавливаясь у воротъ и лавочекъ, и проситъ копеечку. Въ одномъ мѣстѣ дадутъ ему квасу, въ другомъ—хлѣба, въ третьемъ—копеечку, такъ что возвращается онъ во флигель обыкновенно сытымъ и богатымъ. Все, что онъ приноситъ съ собой, отбираетъ у него Никита въ свою пользу. Дѣлаетъ это солдатъ грубо, съ сердцемъ, выворачивая карманы и призывая Бога въ свидѣтели, что онъ никогда уже больше не станетъ пускать жида на улицу и что безпорядки для него хуже всего на свѣтѣ.

Мойсейка любитъ услуживать. Онъ подаетъ товарищамъ воду, укрываетъ ихъ, когда они спятъ, обѣщаетъ каждому принести съ улицы по копеечкѣ и сшить по новой шапкѣ; онъ же кормитъ съ ложки своего сосѣда съ лѣвой стороны, паралитика. Поступаетъ онъ такъ не изъ состраданія и не изъ какихъ-либо соображеній гуманнаго свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему сосѣду съ правой стороны, Громову.

Иванъ Дмитричъ Громовъ, мужчина лѣтъ тридцати трехъ, изъ благородныхъ, бывшій судебный приставъ и губернскій секретарь, страдаетъ маніей преслѣдованія. Онъ или лежитъ на постели, свернувшись калачикомъ, или же ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ бы для моціона, сидитъ же очень рѣдко. Онъ всегда возбужденъ, взволнованъ и напряженъ какимъ-то смутнымъ, неопредѣленнымъ ожиданіемъ. Достаточно малѣйшаго шороха въ сѣняхъ или крика на дворѣ, чтобы онъ поднялъ голову и сталъ прислушиваться: не за нимъ ли это идутъ? Не его ли ищутъ? И лицо его при этомъ выражаетъ крайнее безпокойство и отвращеніе.

Мнѣ нравится его широкое, скуластое лицо, всегда блѣдное и несчастное, отражающее въ себѣ, какъ въ зеркалѣ, замученную борьбой и продолжительнымъ страхомъ душу. Гримасы его странны и болѣзненны, но тонкія черты, положенныя на его лицо глубокимъ искреннимъ страданіемъ, разумны и интеллигентны, и въ глазахъ теплый, здоровый

блескъ. Нравится мнѣ онъ самъ, вѣжливый, услужливый и необыкновенно деликатный въ обращеніи со всѣми, кромѣ Никиты. Когда кто-нибудь роняетъ пуговку или ложку, онъ быстро вскакиваетъ съ постели и поднимаетъ. Каждое утро онъ поздравляетъ своихъ товарищей съ добрымъ утромъ, ложась спать—желаетъ имъ спокойной ночи.

Кромѣ постоянно напряженнаго состоянія и гримасничанья, сумашествіе его выражается еще въ слѣдующемъ. Иногда по вечерамъ онъ запахивается въ свой халатикъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ, стуча зубами, начинаетъ быстро ходить изъ угла въ уголъ и между кроватей. Похоже на то, какъ будто у него сильная лихорадка. По тому, какъ онъ внезапно останавливается и взглядываетъ на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, повидимому, соображая, что его не будутъ слушать или не поймутъ, онъ нетерпѣливо встряхиваетъ головой и продолжаетъ шагать. Но скоро желаніе говорить беретъ верхъ надъ всякими соображеніями, и онъ даетъ себѣ волю и говоритъ горячо и страстно. Рѣчь его безпорядочна, лихорадочна, какъ бредъ, порывиста и не всегда понятна, но зато въ ней слышится, и въ словахъ, и въ голосѣ, что-то чрезвычайно хорошее. Когда онъ говоритъ, вы узнаете въ немъ сумасшедшаго и человѣка. Трудно передать на бумагѣ его безумную рѣчь. Говоритъ онъ о человѣческой подлости, о насиліи, попирающемъ правду, о прекрасной жизни, какая со временемъ будетъ на землѣ, объ оконныхъ рѣшеткахъ, напоминающихъ ему каждую минуту о тупости и жестокости насильниковъ. Получается безпорядочное, нескладное попури изъ старыхъ, но еще недопѣтыхъ пѣсенъ.

II.

Лѣтъ 12—15 тому назадъ, въ городѣ, на самой главной улицѣ, въ собственномъ домѣ проживалъ чиновникъ Громовъ, человѣкъ солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергѣй и Иванъ. Будучи уже студентомъ четвертаго курса, Сергѣй заболѣлъ скоротечною чахоткой и умеръ, и эта смерть какъ бы послужила началомъ цѣлаго ряда несчастій, которыя вдругъ посыпались на семью Громовыхъ. Черезъ недѣлю послѣ похоронъ Сергѣя старикъ-отецъ былъ отданъ подъ судъ за подлоги и растраты и вскорѣ умеръ въ тюремной больницѣ отъ тифа. Домъ и вся движимость

были проданы съ молотка, и Иванъ Дмитричъ съ матерью остались безъ всякихъ средствъ.

Прежде, при отцѣ, Иванъ Дмитричъ, проживая въ Петербургѣ, гдѣ онъ учился въ университетѣ, получалъ 60—70 рублей въ мѣсяцъ и не имѣлъ никакого понятія о нуждѣ, теперь же ему пришлось рѣзко измѣнить свою жизнь. Онъ долженъ былъ отъ утра до ночи давать грошевые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, такъ какъ весь заработокъ посылался матери на пропитаніе. Такой жизни не выдержалъ Иванъ Дмитричъ; онъ палъ духомъ, захирѣлъ и, бросивъ университетъ, уѣхалъ домой. Здѣсь, въ городкѣ, онъ по протекціи получилъ мѣсто учителя въ уѣздномъ училищѣ, но не сошелся съ товарищами, не понравился ученикамъ и скоро бросилъ мѣсто. Умерла мать. Онъ съ полгода ходилъ безъ мѣста, питаясь только хлѣбомъ и водой, затѣмъ поступилъ въ судебные пристава. Эту должность занималъ онъ до тѣхъ поръ, пока не былъ уволенъ по болѣзни.

Онъ никогда, даже въ молодые студенческіе годы, не производилъ впечатлѣнія здороваго. Всегда онъ былъ блѣденъ, худъ, подверженъ простудѣ, мало ѣлъ, дурно спалъ. Отъ одной рюмки вина у него кружилась голова и дѣлалась истерика. Его всегда тянуло къ людямъ, но, благодаря своему раздражительному характеру и мнительности, онъ ни съ кѣмъ близко не сходился и друзей не имѣлъ. О горожанахъ онъ всегда отзывался съ презрѣніемъ, говоря, что ихъ грубое невѣжество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорилъ онъ теноромъ, громко, горячо и не иначе, какъ негодуя и возмущаясь, или съ восторгомъ и удивленіемъ, и всегда искренно. О чемъ, бывало, ни заговоришь съ нимъ, онъ все сводитъ къ одному: въ городѣ душно и скучно жить, у общества нѣтъ высшихъ интересовъ, оно ведетъ тусклую, безсмысленную жизнь, разнообразя ее насиліемъ, грубымъ развратомъ и лицемѣріемъ; подлецы сыты и одѣты, а честные питаются крохами; нужны школы, мѣстная газета съ честнымъ направленіемъ, театръ, публичныя чтенія, сплоченность интеллигентныхъ силъ; нужно, чтобъ общество сознало себя и ужаснулось. Въ своихъ сужденіяхъ о людяхъ онъ клалъ густыя краски, только бѣлую и черную, не признавая никакихъ оттѣнковъ; человѣчество дѣлилось у него на чест-

ныхъ и подлецовъ; середины же не было. О женщинахъ и любви онъ всегда говорилъ страстно, съ восторгомъ, но ни разу не былъ влюбленъ.

Въ городѣ, несмотря на рѣзкость его сужденій и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучокъ, болѣзненный видъ и семейныя несчастія внушали хорошее, теплое и грустное чувство; къ тому же, онъ былъ хорошо образованъ и начитанъ, зналъ, по мнѣнію горожанъ, все и былъ въ городѣ чѣмъ-то въ родѣ ходячаго справочнаго словаря.

Читалъ онъ очень много. Бывало, все сидитъ въ клубѣ, нервно теребитъ бородку и перелистываетъ журналы и книги; и по лицу его видно, что онъ не читаетъ, а глотаетъ, едва успѣвъ разжевать. Надо думать, что чтеніе было одною изъ его болѣзненныхъ привычекъ, такъ какъ онъ съ одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему подъ руки, даже на прошлогодніе газеты и календари. Дома у себя читалъ онъ всегда лежа.

III.

Однажды осеннимъ утромъ, поднявъ воротникъ своего пальто и шлепая по грязи, по переулкамъ и задворкамъ пробирался Иванъ Дмитричъ къ какому-то мѣщанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроеніе у него было мрачное, какъ всегда по утрамъ. Въ одномъ изъ переулковъ встрѣтились ему два арестанта въ кандалахъ и съ ними четыре конвойныхъ съ ружьями. Раньше Иванъ Дмитричъ очень часто встрѣчалъ арестантовъ, и всякій разъ они возбуждали въ немъ чувства состраданія и неловкости, теперь же эта встрѣча произвела на него какое-то особенное, странное впечатлѣніе. Ему вдругъ почему-то показалось, что его тоже могутъ заковать въ кандалы и такимъ же образомъ вести по грязи въ тюрьму. Побывавъ у мѣщанина и возвращаясь къ себѣ домой, онъ встрѣтилъ около почты знакомаго полицейскаго надзирателя, который поздоровался и прошелъ съ нимъ по улицѣ нѣсколько шаговъ, и почему-то это показалось ему подозрительнымъ. Дома цѣлый день у него не выходили изъ головы арестанты и солдаты съ ружьями, и непонятная душевная тревога мѣшала ему

читать и сосредоточиться. Вечеромъ онъ не зажигалъ у себя огня, а ночью не спалъ и все думалъ о томъ, что его могутъ арестовать, заковать и посадить въ тюрьму. Онъ не зналъ за собой никакой вины и могъ поручиться, что и въ будущемъ никогда не убьетъ, не подожжетъ и не украдетъ; но развѣ трудно совершить преступленіе нечаянно, невольно, и развѣ не возможна клевета, наконецъ, судебная ошибка? Вѣдь недаромъ же вѣковой народный опытъ учитъ отъ сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнемъ судопроизводствѣ очень возможна, и ничего въ ней нѣтъ мудренаго. Люди, имѣющіе служебное, дѣловое отношеніе къ чужому страданію, напримѣръ, судьи, полицейскіе, врачи, съ теченіемъ времени, въ силу привычки, закаляются до такой степени, что хотѣли бы, да не могутъ относиться къ своимъ кліентамъ иначе, какъ формально; съ этой стороны они ничѣмъ не отличаются отъ мужика, который на задворкахъ рѣжетъ барановъ и телятъ и не замѣчаетъ крови. При формальномъ же, бездушномъ отношеніи къ личности, для того, чтобы невиннаго человѣка лишить всѣхъ правъ состоянія и присудить къ каторгѣ, судьѣ нужно только одно: время. Только время на соблюденіе кое-какихъ формальностей, за которыя судьѣ платятъ жалованье, а затѣмъ—все кончено. Ищи потомъ справедливости и защиты въ этомъ маленькомъ, грязномъ городишкѣ, за двѣсти верстъ отъ желѣзной дороги! Да и не смѣшно ли помышлять о справедливости, когда всякое насиліе встрѣчается обществомъ, какъ разумная и цѣлесообразная необходимость, и всякій актъ милосердія, напримѣръ, оправдательный приговоръ, вызываетъ цѣлый взрывъ неудовлетвореннаго, мстительнаго чувства?

Утромъ Иванъ Дмитричъ поднялся съ постели въ ужасѣ, съ холоднымъ потомъ на лбу, совсѣмъ уже увѣренный, что его могутъ арестовать каждую минуту. Если вчерашнія тяжелыя мысли такъ долго не оставляютъ его, — думалъ онъ,—то, значитъ, въ нихъ есть доля правды. Не могли же онѣ въ самомъ дѣлѣ придти въ голову безо всякаго повода.

Городовой, не спѣша, прошелъ мимо оконъ: это недаромъ. Вотъ два человѣка остановились около дома и молчатъ. Почему они молчатъ?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и

ночи. Всѣ проходившіе мимо оконъ и входившіе во дворъ казались шпіонами и сыщиками. Въ полдень обыкновенно исправникъ проѣзжалъ на парѣ по улицѣ; это онъ ѣхалъ изъ своего подгороднаго имѣнія въ полицейское правленіе, но Ивану Дмитричу казалось каждый разъ, что онъ ѣдетъ слишкомъ быстро и съ какимъ-то особеннымъ выраженіемъ, очевидно, спѣшитъ объявить, что въ городѣ проявился очень важный преступникъ. Иванъ Дмитричъ вздрагивалъ при всякомъ звонкѣ и стукѣ въ ворота, томился, когда встрѣчалъ у хозяйки новаго человѣка; при встрѣчѣ съ полицейскими и жандармами улыбался и насвистывалъ, чтобы казаться равнодушнымъ. Онъ не спалъ всѣ ночи напролетъ, ожидая ареста, но громко храпѣлъ и вздыхалъ, какъ сонный, чтобы хозяйкѣ казалось, что онъ спитъ; вѣдь если не спитъ, то, значитъ, его мучаютъ угрызенія совѣсти—какая улика! Факты и здравая логика убѣждали его, что всѣ эти страхи — вздоръ и психопатія, что въ арестѣ и тюрьмѣ, если взглянуть на дѣло пошире, въ сущности, нѣтъ ничего страшнаго, — была бы совѣсть спокойна; но чѣмъ умнѣе и логичнѣе онъ разсуждалъ, тѣмъ сильнѣе и мучительнѣе становилась душевная тревога. Это было похоже на то, какъ одинъ пустынникъ хотѣлъ вырубить себѣ мѣстечко въ дѣвственномъ лѣсу; чѣмъ усерднѣе онъ работалъ топоромъ, тѣмъ гуще и сильнѣе разрастался лѣсъ. Иванъ Дмитричъ, въ концѣ концовъ, видя, что это безполезно, совсѣмъ бросилъ разсуждать и весь отдался отчаянію и страху.

Онъ сталъ уединяться и избѣгать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Онъ боялся, что его какъ-нибудь подведутъ, положатъ ему незамѣтно въ карманъ взятку и потомъ уличатъ, или онъ самъ нечаянно сдѣлаетъ въ казенныхъ бумагахъ ошибку, равносильную подлогу, или потеряетъ чужія деньги. Странно, что никогда въ другое время мысль его не была такъ гибка и изобрѣтательна, какъ теперь, когда онъ каждый день выдумывалъ тысячи разнообразныхъ поводовъ къ тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабѣлъ интересъ къ внѣшнему міру, въ частности къ книгамъ, и стала сильно измѣнять память.

Весной, когда сошелъ снѣгъ, въ оврагѣ около кладбища

нашли два полусгнившіе трупа — старухи и мальчика, съ признаками насильственной смерти. Въ городѣ только и разговора было, что объ этихъ трупахъ и неизвѣстныхъ убійцахъ. Иванъ Дмитричъ, чтобы не подумали, что это онъ убилъ, ходилъ по улицамъ и улыбался, а при встрѣчѣ со знакомыми блѣднѣлъ, краснѣлъ и начиналъ увѣрять, что нѣтъ подлѣе преступленія, какъ убійство слабыхъ и беззащитныхъ. Но эта ложь скоро утомила его и, послѣ нѣкотораго размышленія, онъ рѣшилъ, что въ его положеніи самое лучшее—это спрятаться въ хозяйкинъ погребъ. Въ погребѣ просидѣлъ онъ день, потомъ ночь и другой день, сильно озябъ и, дождавшись потемокъ, тайкомъ, какъ воръ, пробрался къ себѣ въ комнату. До разсвѣта простоялъ онъ среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утромъ до восхода солнца къ хозяйкѣ пришли печники. Иванъ Дмитричъ хорошо зналъ, что они пришли затѣмъ, чтобы перекладывать въ кухнѣ печь, но страхъ подсказалъ ему, что это полицейскіе, переодѣтые печниками. Онъ потихоньку вышелъ изъ квартиры и, охваченный ужасомъ, безъ шапки и сюртука, побѣжалъ по улицѣ. За нимъ съ лаемъ гнались собаки, кричалъ гдѣ-то позади мужикъ, въ ушахъ свистѣлъ воздухъ, и Ивану Дмитричу казалось, что насиліе всего міра скопилось за его спиной и гонится за нимъ.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за докторомъ. Докторъ Андрей Ефимычъ, о которомъ рѣчь впереди, прописалъ холодныя примочки на голову и лавровишневыя капли, грустно покачалъ головой и ушелъ, сказавъ хозяйкѣ, что ужъ больше онъ не придетъ, потому что не слѣдуетъ мѣшать людямъ сходить съ ума. Такъ какъ дома не на что было жить и лѣчиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили въ больницу и положили его тамъ въ палатѣ для венерическихъ больныхъ. Онъ не спалъ по ночамъ, капризничалъ и безпокоилъ больныхъ, и скоро, по распоряженію Андрея Ефимыча, былъ переведенъ въ палату № 6.

Черезъ годъ въ городѣ уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленныя хозяйкой въ сани подъ навѣсомъ, были растасканы мальчишками.

IV.

Сосѣдъ съ лѣвой стороны у Ивана Дмитрича, какъ я уже сказалъ, жидъ Мойсейка, сосѣдъ же съ правой — оплывшій жиромъ, почти круглый мужикъ съ тупымъ, совершенно безсмысленнымъ лицомъ. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. Отъ него постоянно идетъ острый, удушливый смрадъ.

Никита, убирающій за нимъ, бьетъ его страшно, со всего размаха, не щадя своихъ кулаковъ; и страшно тутъ не то, что его бьютъ,—къ этому можно привыкнуть,—а то, что это отупѣвшее животное не отвѣчаетъ на побои ни звукомъ, ни движеніемъ, ни выраженіемъ глазъ, а только слегка покачивается, какъ тяжелая бочка.

Пятый и послѣдній обитатель палаты № 6—мѣщанинъ, служившій когда-то сортировщикомъ на почтѣ, маленькій, худощавый блондинъ съ добрымъ, но нѣсколько лукавымъ лицомъ. Судя по умнымъ, покойнымъ глазамъ, смотрящимъ ясно и весело, онъ себѣ на умѣ и имѣетъ какую-то очень важную и пріятную тайну. У него есть подъ подушкой и подъ матрацомъ что-то такое, чего онъ никому не показываетъ, но не изъ страха, что могутъ отнять, или украсть, а изъ стыдливости. Иногда онъ подходитъ къ окну и обернувшись къ товарищамъ спиной, надѣваетъ себѣ что-то на грудь и смотритъ, нагнувъ голову; если въ это время подойти къ нему, то онъ сконфузится и сорветъ что-то съ груди. Но тайну его угадать не трудно.

— Поздравьте меня,—говоритъ онъ часто Ивану Дмитричу: — я представленъ къ Станиславу второй степени со звѣздой. Вторую степень со звѣздой даютъ только иностранцамъ, но для меня почему-то хотятъ сдѣлать исключеніе,— улыбается онъ, въ недоумѣніи пожимая плечами. — Вотъ ужъ, признаться, не ожидалъ!

— Я въ этомъ ничего не понимаю,—угрюмо заявляетъ Иванъ Дмитричъ.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? — продолжаетъ бывшій сортировщикъ, лукаво щуря глаза. — Я непремѣнно получу шведскую «Полярную Звѣзду». Орденъ такой, что стоитъ похлопотать. Бѣлый крестъ и черная лента. Это очень красиво.

Вѣроятно, нигдѣ въ другомъ мѣстѣ такъ жизнь не однообразна, какъ во флигелѣ. Утромъ больные, кромѣ паралитика и толстаго мужика, умываются въ сѣняхъ изъ большого ушата и утираются фалдами халатовъ; послѣ этого пьютъ изъ оловянныхъ кружекъ чай, который приноситъ изъ главнаго корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружкѣ. Въ полдень ѣдятъ щи изъ кислой капусты и кашу, вечеромъ ужинаютъ кашей, оставшеюся отъ обѣда. Въ промежуткахъ лежатъ, спятъ, глядятъ въ окна и ходятъ изъ угла въ уголъ. И такъ каждый день. Даже бывшій сортировщикъ говоритъ все объ однихъ и тѣхъ же орденахъ.

Свѣжихъ людей рѣдко видятъ въ палатѣ № 6. Новыхъ помѣшанныхъ докторъ давно уже не принимаетъ, а любителей посѣщать сумасшедшіе дома немного на этомъ свѣтѣ. Разъ въ два мѣсяца бываетъ во флигелѣ Семенъ Лазаричъ, цырюльникъ. Какъ онъ стрижетъ сумасшедшихъ и какъ Никита помогаетъ ему дѣлать это, и въ какое смятеніе приходятъ больные всякій разъ при появленіи пьянаго улыбающагося цырюльника, мы говорить не будемъ.

Кромѣ цырюльника никто не заглядываетъ во флигель. Больные осуждены видѣть изо дня въ день одного только Никиту.

Впрочемъ, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слухъ.

Распустили слухъ, что палату № 6 будто бы сталъ посѣщать докторъ.

V.

Странный слухъ!

Докторъ Андрей Ефимычъ Рагинъ—замѣчательный человѣкъ въ своемъ родѣ. Говорятъ, что въ ранней молодости онъ былъ очень набоженъ и готовилъ себя къ духовной карьерѣ, и что, кончивъ въ 1863 году курсъ въ гимназіи, онъ намѣревался поступить въ духовную академію, но будто бы его отецъ, докторъ медицины и хирургъ, ѣдко посмѣялся надъ нимъ и заявилъ категорически, что не будетъ считать его своимъ сыномъ, если онъ пойдетъ въ попы. Насколько это вѣрно — не знаю, но самъ Андрей Ефимычъ не разъ признавался, что онъ никогда не чувствовалъ призванія къ медицинѣ и вообще къ спеціальнымъ наукамъ.

Какъ бы то ни было, кончивъ курсъ по медицинскому факультету, онъ въ священники не постригся. Набожности онъ не проявлялъ и на духовную особу въ началѣ своей врачебной карьеры походилъ такъ же мало, какъ теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая; своимъ лицомъ, бородой, плоскими волосами и крѣпкимъ, неуклюжимъ сложеніемъ напоминаетъ онъ трактирщика на большой дорогѣ, разъѣвшагося, невоздержнаго и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькіе, носъ красный. При высокомъ ростѣ и широкихъ плечахъ у него громадныя руки и ноги; кажется, хватитъ кулакомъ—духъ вонъ. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрѣчѣ въ узкомъ коридорѣ онъ всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басомъ, какъ ждешь, а тонкимъ, мягкимъ теноркомъ говоритъ: «виноватъ!» У него на шеѣ небольшая опухоль, которая мѣшаетъ ему носить жесткіе крахмальные воротнички, и потому онъ всегда ходитъ въ мягкой полотняной или ситцевой сорочкѣ. Вообще, одѣвается онъ не по-докторски. Одну и ту же пару онъ таскаетъ лѣтъ по десяти, а новая одежа, которую онъ обыкновенно покупаетъ въ жидовской лавкѣ, кажется на немъ такою же поношенною и помятою, какъ старая; въ одномъ и томъ же сюртукѣ онъ и больныхъ принимаетъ, и обѣдаетъ, и въ гости ходитъ; но это не изъ скупости, а отъ полнаго невниманія къ своей наружности.

Когда Андрей Ефимычъ пріѣхалъ въ городъ, чтобы принять должность, «богоугодное заведеніе» находилось въ ужасномъ состояніи. Въ палатахъ, коридорахъ и въ больничномъ дворѣ тяжело было дышать отъ смрада. Больничные мужики, сидѣлки и ихъ дѣти спали въ палатахъ вмѣстѣ съ больными. Жаловались, что житья нѣтъ отъ таракановъ, клоповъ и мышей. Въ хирургическомъ отдѣленіи не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, въ ваннахъ держали картофель. Смотритель, кастеляншa и фельдшеръ грабили больныхъ, а про стараго доктора, предшественника Андрея Ефимыча, разсказывали, будто онъ занимался тайною продажей больничнаго спирта и завелъ себѣ изъ сидѣлокъ и больныхъ женщинъ цѣлый гаремъ. Въ городѣ отлично знали про эти безпорядки и даже преувеличивали ихъ, но

относились къ нимъ спокойно; одни оправдывали ихъ тѣмъ, что въ больницу ложатся только мѣщане и мужики, которые не могутъ быть недовольны, такъ какъ дома живутъ гораздо хуже, чѣмъ въ больницѣ; не рябчиками же ихъ кормить! Другіе же въ оправданіе говорили, что одному городу безъ помощи земства не подъ силу содержать хорошую больницу; слава Богу, что хоть плохая да есть. А молодое земство не открывало лѣчебницы ни въ городѣ, ни возлѣ, ссылаясь на то, что городъ уже имѣетъ свою больницу.

Осмотрѣвъ больницу, Андрей Ефимычъ пришелъ къ заключенію, что это учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнѣнію, самое умное, что можно было сдѣлать, это — выпустить больныхъ на волю, а больницу закрыть. Но онъ разсудилъ, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы безполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать съ одного мѣста, то она перейдетъ на другое; надо ждать, когда она сама вывѣтрится. Къ тому же, если люди открывали больницу и терпятъ ее у себя, то, значитъ, она имъ нужна; предразсудки и всѣ эти житейскія гадости и мерзости нужны, такъ какъ они съ теченіемъ времени перерабатываются во что-нибудь путное, какъ навозъ въ черноземъ. На землѣ нѣтъ ничего такого хорошаго, что въ своемъ первоисточникѣ не имѣло бы гадости.

Принявъ должность, Андрей Ефимычъ отнесся къ безпорядкамъ, повидимому, довольно равнодушно. Онъ попросилъ только больничныхъ мужиковъ и сидѣлокъ не ночевать въ палатахъ и поставилъ два шкапа съ инструментами; смотритель же, кастеляншa, фельдшеръ и хирургическая рожа остались на своихъ мѣстахъ.

Андрей Ефимычъ чрезвычайно любитъ умъ и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватаетъ характера и вѣры въ свое право. Приказывать, запрещать и настаивать онъ положительно не умѣетъ. Похоже на то, какъ будто онъ далъ обѣтъ никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительнаго наклоненія. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется ѣсть, онъ нерѣшительно покашливаетъ и говоритъ кухаркѣ: «Какъ бы мнѣ чаю»... или: «Какъ бы мнѣ

пообѣдать». Сказать же смотрителю, чтобъ онъ пересталъ красть, или прогнать его, или совсѣмъ упразднить эту ненужную паразитную должность — для него совершенно не подъ силу. Когда обманываютъ Андрея Ефимыча или льстятъ ему, или подносятъ для подписи завѣдомо подлый счетъ, то онъ краснѣетъ, какъ ракъ, и чувствуетъ себя виноватымъ, но счетъ все-таки подписываетъ; когда больные жалуются ему на голодъ или на грубыхъ сидѣлокъ, онъ конфузится и виновато бормочетъ:

— Хорошо, хорошо, я разберу послѣ... Вѣроятно, тутъ недоразумѣніе...

Въ первое время Андрей Ефимычъ работалъ очень усердно. Онъ принималъ ежедневно съ утра до обѣда, дѣлалъ операціи и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что онъ внимателенъ и отлично угадываетъ болѣзни, особенно дѣтскія и женскія. Но съ теченіемъ времени дѣло замѣтно прискучило ему своимъ однообразіемъ и очевидною безполезностью. Сегодня примешь 30 больныхъ, а завтра, глядишь, привалило ихъ 35, послѣзавтра 40, и такъ изо дня въ день, изъ года въ годъ, а смертность въ городѣ не уменьшается, и больные не перестаютъ ходить. Оказать серьезную помощь 40 приходящимъ больнымъ отъ утра до обѣда нѣтъ физической возможности, значитъ, поневолѣ выходитъ одинъ обманъ. Принято въ отчетномъ году 12.000 приходящихъ больныхъ, значитъ, попросту разсуждая, обмануто 12.000 человѣкъ. Класть же серьезныхъ больныхъ въ палаты и заниматься ими по правиламъ науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нѣтъ; если же оставить философію и педантически слѣдовать правиламъ, какъ прочіе врачи, то для этого, прежде всего, нужны чистота и вентиляція, а не грязь, здоровая пища, а не щи изъ вонючей кислой капусты, и хорошіе помощники, а не воры.

Да и къ чему мѣшать людямъ умирать, если смерть есть нормальный и законный конецъ каждаго? Что изъ того, если какой-нибудь торгашъ или чиновникъ проживетъ лишнихъ пять, десять лѣтъ? Если же видѣть цѣль медицины въ томъ, что лѣкарства облегчаютъ страданія, то невольно напрашивается вопросъ: зачѣмъ ихъ облегчать? Во-первыхъ, говорятъ, что страданія ведутъ человѣка къ совершенству, и, во-вторыхъ, если человѣчество въ самомъ дѣлѣ научится

облегчать свои страданія пилюлями и каплями, то оно совершенно забросить религію и философію, въ которыхъ до сихъ поръ находило не только защиту отъ всякихъ бѣдъ, но даже счастіе. Пушкинъ передъ смертью испытывалъ страшныя мученія, бѣдняжка Гейне нѣсколько лѣтъ лежалъ въ параличѣ; почему же не поболѣть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матренѣ Савишнѣ, жизнь которыхъ безсодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страданія?

Подавляемый такими разсужденіями, Андрей Ефимычъ опустилъ руки и сталъ ходить въ больницу не каждый день.

VI.

Жизнь его проходитъ такъ. Обыкновенно онъ встаетъ утромъ часовъ въ восемь, одѣвается и пьетъ чай. Потомъ садится у себя въ кабинетѣ читать или идетъ въ больницу. Здѣсь, въ больницѣ, въ узкомъ темномъ коридорчикѣ сидятъ амбулаторные больные, ожидающіе пріемки. Мимо нихъ, стуча сапогами по кирпичному полу, бѣгаютъ мужики и сидѣлки, проходятъ тощіе больные въ халатахъ, проносятъ мертвецовъ и посуду съ нечистотами, плачутъ дѣти, дуетъ сквозной вѣтеръ. Андрей Ефимычъ знаетъ, что для лихорадящихъ, чахоточныхъ и вообще впечатлительныхъ больныхъ такая обстановка мучительна, но что подѣлаешь? Въ пріемной встрѣчаетъ его фельдшеръ Сергѣй Сергѣичъ, маленькій, толстый человѣкъ съ бритымъ, чисто вымытымъ, пухлымъ лицомъ, съ мягкими плавными манерами и въ новомъ просторномъ костюмѣ, похожій больше на сенатора, чѣмъ на фельдшера. Въ городѣ онъ имѣетъ громадную практику, носитъ бѣлый галстукъ и считаетъ себя болѣе свѣдущимъ, чѣмъ докторъ, который совсѣмъ не имѣетъ практики. Въ углу, въ пріемной, стоитъ большой образъ въ кіотѣ, съ тяжелою лампадой, возлѣ — ставникъ въ бѣломъ чехлѣ; на стѣнахъ висятъ портреты архіереевъ, видъ Святогорскаго монастыря и вѣнки изъ сухихъ васильковъ. Сергѣй Сергѣичъ религіозенъ и любитъ благолѣпіе. Образъ поставленъ его иждивеніемъ; по воскресеньямъ въ пріемной кто-нибудь изъ больныхъ, по его приказанію, читаетъ вслухъ акаѳистъ, а послѣ чтенія самъ Сергѣй Сергѣичъ обходитъ всѣ палаты съ кадильницей и кадитъ въ нихъ ладаномъ.

Больныхъ много, а времени мало, и потому дѣло ограничивается однимъ только короткимъ опросомъ и выдачей какого-нибудь лѣкарства, въ родѣ летучей мази или касторки. Андрей Ефимычъ сидитъ, подперевъ щеку кулакомъ, задумавшись и машинально задаетъ вопросы. Сергѣй Сергѣичъ тоже сидитъ, потираетъ свои ручки и изрѣдка вмѣшивается.

— Болѣемъ и нужду терпимъ оттого,—говоритъ онъ:— что Господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время пріемки Андрей Ефимычъ не дѣлаетъ никакихъ операцій; онъ давно уже отвыкъ отъ нихъ и видъ крови его непріятно волнуетъ. Когда ему приходится раскрывать ребенку ротъ, чтобы заглянуть въ горло, а ребенокъ кричитъ и защищается ручонками, то отъ шума въ ушахъ у него кружится голова и выступаютъ слезы на глазахъ. Онъ торопится прописать лѣкарство и машетъ руками, чтобы баба поскорѣе унесла ребенка.

На пріемкѣ скоро ему прискучаютъ робость больныхъ и ихъ безтолковость, близость благолѣпнаго Сергѣя Сергѣича, портреты на стѣнахъ и свои собственные вопросы, которые онъ задаетъ неизмѣнно уже болѣе двадцати лѣтъ. И онъ уходитъ, принявъ пять-шесть больныхъ. Остальныхъ безъ него принимаетъ фельдшеръ.

Съ пріятною мыслью, что, слава Богу, частной практики у него давно уже нѣтъ и что ему никто не помѣшаетъ, Андрей Ефимычъ, придя домой, немедленно садится въ кабинетѣ за столъ и начинаетъ читать. Читаетъ онъ очень много и всегда съ большимъ удовольствіемъ. Половина жалованья уходитъ у него на покупку книгъ, и изъ шести комнатъ его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего онъ любитъ сочиненія по исторіи и философіи; по медицинѣ же выписываетъ одного только «Врача», котораго всегда начинаетъ читать съ конца. Чтеніе всякій разъ продолжается безъ перерыва по нѣскольку часовъ и его не утомляетъ. Читаетъ онъ не такъ быстро и порывисто, какъ когда-то читалъ Иванъ Дмитричъ, а медленно, съ проникновеніемъ, часто останавливаясь на мѣстахъ, которыя ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоитъ графинчикъ съ водкой и лежитъ соленый огурецъ или моченое яблоко прямо на сукнѣ, безъ тарелки. Черезъ каждые полчаса онъ, не отрывая глазъ отъ книги, нали-

ваетъ себѣ рюмку водки и выпиваетъ, потомъ, не глядя, нащупываетъ огурецъ и откусываетъ кусочекъ.

Въ три часа онъ осторожно подходитъ къ кухонной двери, кашляетъ и говоритъ:

— Дарьюшка, какъ бы мнѣ пообѣдать...

Послѣ обѣда, довольно плохого и неопрятнаго, Андрей Ефимычъ ходитъ по своимъ комнатамъ, скрестивъ на груди руки, и думаетъ. Бьетъ четыре часа, потомъ пять, а онъ все ходитъ и думаетъ. Изрѣдка поскрипываетъ кухонная дверь и показывается изъ нея красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимычъ, вамъ не пора пиво пить?—спрашиваетъ она озабоченно.

— Нѣтъ, еще не время...—отвѣчаетъ онъ.—Я погожу... погожу...

Къ вечеру обыкновенно приходитъ почтмейстеръ, Михаилъ Аверьянычъ, единственный во всемъ городѣ человѣкъ, общество котораго для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаилъ Аверьянычъ когда-то былъ очень богатымъ помѣщикомъ и служилъ въ кавалеріи, но разорился и изъ нужды поступилъ подъ старость въ почтовое вѣдомство. У него бодрый, здоровый видъ, роскошные сѣдые бакены, благовоспитанныя манеры и громкій пріятный голосъ. Онъ добръ и чувствителенъ, но вспыльчивъ. Когда на почтѣ кто-нибудь изъ посѣтителей протестуетъ, не соглашается или просто начинаетъ разсуждать, то Михаилъ Аверьянычъ багровѣетъ, трясется всѣмъ тѣломъ и кричитъ громовымъ голосомъ: «Замолчать!» такъ что за почтовымъ отдѣленіемъ давно уже установилась репутація учрежденія, въ которомъ страшно бывать. Михаилъ Аверьянычъ уважаетъ и любитъ Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, къ прочимъ же обывателямъ относится свысока, какъ къ своимъ подчиненнымъ.

— А вотъ и я!—говоритъ онъ, входя къ Андрею Ефимычу.—Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоѣлъ вамъ, а?

— Напротивъ, очень радъ,—отвѣчаетъ ему докторъ.—Я всегда радъ вамъ.

Пріятели садятся въ кабинетѣ на диванъ и нѣкоторое время молча курятъ.

— Дарьюшка, какъ бы намъ пива! — говоритъ Андрей Ефимычъ.

Первую бутылку выпиваютъ тоже молча: докторъ—задумавшись, а Михаилъ Аверьянычъ—съ веселымъ, оживленнымъ видомъ, какъ человѣкъ, который имѣетъ разсказать что-то очень интересное. Разговоръ всегда начинаетъ докторъ.

— Какъ жаль, — говоритъ онъ медленно и тихо, покачивая головой и не глядя въ глаза собесѣднику (онъ никогда не смотритъ въ глаза):—какъ глубоко жаль, уважаемый Михаилъ Аверьянычъ, что въ нашемъ городѣ совершенно нѣтъ людей, которые бы умѣли и любили вести умную и интересную бесѣду. Это громадное для насъ лишеніе. Даже интеллигенція не возвышается надъ пошлостью; уровень ея развитія, увѣряю васъ, нисколько не выше, чѣмъ у низшаго сословія.

— Совершенно вѣрно. Согласенъ.

— Вы сами изволите знать,—продолжаетъ докторъ тихо и съ разстановкой:—что на этомъ свѣтѣ все незначительно и неинтересно, кромѣ высшихъ духовныхъ проявленій человѣческаго ума. Умъ проводитъ рѣзкую грань между животнымъ и человѣкомъ, намекаетъ на божественность послѣдняго и въ нѣкоторой степени даже замѣняетъ ему безсмертіе, котораго нѣтъ. Исходя изъ этого, умъ служитъ единственно возможнымъ источникомъ наслажденія. Мы же не видимъ и не слышимъ около себя ума, — значитъ, мы лишены наслажденія. Правда, у насъ есть книги, но это совсѣмъ не то, что живая бесѣда и общеніе. Если позволите сдѣлать не совсѣмъ удачное сравненіе, то книги—это ноты, а бесѣда—пѣніе.

— Совершенно вѣрно.

Наступаетъ молчаніе. Изъ кухни выходитъ Дарьюшка и съ выраженіемъ тупой скорби, подперевъ кулачкомъ лицо, останавливается въ дверяхъ, чтобы послушать.

— Эхъ! — вздыхаетъ Михаилъ Аверьянычъ. — Захотѣли отъ нынѣшнихъ ума!

И онъ разсказываетъ, какъ жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была въ Россіи умная интеллигенція и какъ высоко она ставила понятія о чести и дружбѣ. Давали деньги взаймы безъ векселя, и считалось позоромъ не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какіе

были походы, приключенія, стычки, какіе товарищи, какія женщины! А Кавказъ—какой удивительный край! А жена одного батальоннаго командира, странная женщина, надѣвала офицерское платье и уѣзжала по вечерамъ въ горы, одна безъ проводника. Говорятъ, что въ аулахъ у нея былъ романъ съ какимъ-то князькомъ.

— Царица небесная, матушка...—вздыхаетъ Дарьюшка.

— А какъ пили! Какъ ѣли! А какіе были отчаянные либералы!

Андрей Ефимычъ слушаетъ и не слышитъ; онъ о чемъ-то думаетъ и прихлебываетъ пиво.

— Мнѣ часто снятся умные люди и бесѣды съ ними,— говоритъ онъ неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча.—Мой отецъ далъ мнѣ прекрасное образованіе, но подъ вліяніемъ идей шестидесятыхъ годовъ заставилъ меня сдѣлаться врачомъ. Мнѣ кажется, что если бъ я тогда не послушался его, то теперь я находился бы въ самомъ центрѣ умственнаго движенія. Вѣроятно, былъ бы членомъ какого-нибудь факультета. Конечно, умъ тоже не вѣченъ и преходящъ, но вы уже знаете, почему я питаю къ нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящій человѣкъ достигаетъ возмужалости и приходитъ въ зрѣлое сознаніе, то онъ невольно чувствуетъ себя какъ бы въ ловушкѣ, изъ которой нѣтъ выхода. Въ самомъ дѣлѣ, противъ его воли вызванъ онъ какими-то случайностями изъ небытія къ жизни... Зачѣмъ? Хочетъ онъ узнать смыслъ и цѣль своего существованія, ему не говорятъ или же говорятъ нелѣпости; онъ стучится—ему не отворяютъ; къ нему приходитъ смерть — тоже противъ его воли. И вотъ, какъ въ тюрьмѣ люди, связанные общимъ несчастіемъ, чувствуютъ себя легче, когда сходятся вмѣстѣ, такъ и въ жизни не замѣчаешь ловушки, когда люди, склонные къ анализу и обобщеніямъ, сходятся вмѣстѣ и проводятъ время въ обмѣнѣ гордыхъ, свободныхъ идей. Въ этомъ смыслѣ умъ есть наслажденіе незамѣнимое.

— Совершенно вѣрно.

Не глядя собесѣднику въ глаза, тихо и съ паузами, Андрей Ефимычъ продолжаетъ говорить объ умныхъ людяхъ и бесѣдахъ съ ними, а Михаилъ Аверьянычъ внимательно слушаетъ его и соглашается: «Совершенно вѣрно».

— А вы не вѣрите въ безсмертіе души?—вдругъ спрашиваетъ почтмейстеръ.

— Нѣтъ, уважаемый Михаилъ Аверьянычъ, не вѣрю и не имѣю основанія вѣрить.

— Признаться, и я сомнѣваюсь. А хотя, впрочемъ, у меня такое чувство, какъ будто я никогда не умру. Ой, думаю себѣ, старый хрѣнъ, умирать пора! А въ душѣ какой-то голосочекъ: не вѣрь, не умрешь!..

Въ началѣ десятаго часа Михаилъ Аверьянычъ уходитъ. Надѣвая въ передней шубу, онъ говоритъ со вздохомъ:

— Однако, въ какую глушь занесла насъ судьба! Досаднѣе всего, что здѣсь и умирать придется. Эхъ!..

VII.

Проводивъ пріятеля, Андрей Ефимычъ садится за столъ и опять начинаетъ читать. Тишина вечера и потомъ ночи не нарушается ни однимъ звукомъ и время, кажется, останавливается и замираетъ вмѣстѣ съ докторомъ надъ книгой, и кажется, что ничего не существуетъ, кромѣ этой книги и лампы съ зеленымъ колпакомъ. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-по-малу озаряется улыбкой умиленія и восторга передъ движеніями человѣческаго ума. О, зачѣмъ человѣкъ не безсмертенъ?—думаетъ онъ.—Зачѣмъ мозговые центры и извилины, зачѣмъ зрѣніе, рѣчь, самочувствіе, геній, если всему этому суждено уйти въ почву и, въ концѣ концовъ, охладѣть вмѣстѣ съ земною корой, а потомъ милліоны лѣтъ безъ смысла и безъ цѣли носиться съ землей вокругъ солнца? Для того, чтобы охладѣть и потомъ носиться, совсѣмъ не нужно извлекать изъ небытія человѣка съ его высокимъ, почти божескимъ умомъ, и потомъ, словно въ насмѣшку, превращать его въ глину.

Обмѣнъ веществъ! Но какая трусость утѣшать себя этимъ суррогатомъ безсмертія! Безсознательные процессы, происходящіе въ природѣ, ниже даже человѣческой глупости, такъ какъ въ глупости есть все-таки сознаніе и воля, въ процессахъ же ровно ничего. Только трусъ, у котораго больше страха передъ смертью, чѣмъ достоинства, можетъ утѣшать себя тѣмъ, что тѣло его будетъ со временемъ жить въ травѣ, въ камнѣ, въ жабѣ... Видѣть свое безсмертіе въ обмѣнѣ веществъ такъ же странно, какъ пророчить бле-

стящую будущность футляру послѣ того, какъ разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьютъ часы, Андрей Ефимычъ откидывается на спинку кресла и закрываетъ глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, подъ вліяніемъ хорошихъ мыслей, вычитанныхъ изъ книги, онъ бросаетъ взглядъ на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о немъ. А въ настоящемъ то же, что въ прошломъ. Онъ знаетъ, что въ то время, когдя его мысли носятся вмѣстѣ съ охлажденною землей вокругъ солнца, рядомъ съ докторской квартирой, въ большомъ корпусѣ томятся люди въ болѣзняхъ и физической нечистотѣ; быть-можетъ, кто-нибудь не спитъ и воюетъ съ насѣкомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонетъ отъ туго положенной повязки; быть-можетъ, больные играютъ въ карты съ сидѣлками и пьютъ водку. Въ отчетномъ году было обмануто 12.000 человѣкъ; все больничное дѣло, какъ и 20 лѣтъ назадъ, построено на воровствѣ, дрязгахъ, сплетняхъ, кумовствѣ, на грубомъ шарлатанствѣ, и больница попрежнему представляетъ изъ себя учрежденіе безнравственное и въ высшей степени вредное для здоровья жителей. Онъ знаетъ, что въ палатѣ № 6 за рѣшетками Никита колотитъ больныхъ и что Мойсейка каждый день ходитъ по городу и собираетъ милостыню.

Съ другой же стороны, ему отлично извѣстно, что за послѣднія 25 лѣтъ съ медициной произошла сказочная перемѣна. Когда онъ учился въ университетѣ, ему казалось, что медицину скоро постигнетъ участь алхиміи и метафизики, теперь же, когда онъ читаетъ по ночамъ, медицина трогаетъ его и возбуждаетъ въ немъ удивленіе и даже восторгъ. Въ самомъ дѣлѣ, какой неожиданный блескъ, какая революція! Благодаря антисептикѣ, дѣлаютъ операціи, какія великій Пироговъ считалъ невозможными даже in spe. Обыкновенные земскіе врачи рѣшаются производить резекцію колѣннаго сустава, на сто чревосѣченій одинъ только смертный случай, а каменная болѣзнь считается такимъ пустякомъ, что о ней даже не пишутъ. Радикально излѣчивается сифилисъ. А теорія наслѣдственности, гипнотизмъ, открытія Пастера и Коха, гигіена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психіатрія съ ея теперешнею классификаціей болѣзней, мето-

дами распознаванія и лѣченія—это въ сравненіи съ тѣмъ, что было, цѣлый Эльборусъ. Теперь помѣшаннымъ не льютъ на голову холодную воду и не надѣваютъ на нихъ горячечныхъ рубахъ; ихъ содержатъ по-человѣчески и даже, какъ пишутъ въ газетахъ, устраиваютъ для нихъ спектакли и балы. Андрей Ефимычъ знаетъ, что при теперешнихъ взглядахъ и вкусахъ такая мерзость, какъ палата № 6, возможна развѣ только въ двухстахъ верстахъ отъ желѣзной дороги, въ городкѣ, гдѣ городской голова и всѣ гласные—полуграмотные мѣщане, видящіе во врачѣ жреца, которому нужно вѣрить безъ всякой критики, хотя бы онъ вливалъ въ ротъ расплавленное олово; въ другомъ же мѣстѣ публика и газеты давно бы уже расхватали въ клочья эту маленькую Бастилію.

«Но что же?—спрашиваетъ себя Андрей Ефимычъ, открывая глаза.—Что же изъ этого? И антисептика, и Кохъ, и Пастеръ, а сущность дѣла нисколько не измѣнилась. Болѣзненность и смертность все тѣ же. Сумасшедшимъ устраиваютъ балы и спектакли, а на волю ихъ все-таки не выпускаютъ. Значитъ, все вздоръ и суета, и разницы между лучшею вѣнскою клиникой и моею больницей, въ сущности, нѣтъ никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мѣшаютъ ему быть равнодушнымъ. Это, должно-быть, отъ утомленія. Тяжелая голова склоняется къ книгѣ, онъ кладетъ подъ лицо руки, чтобы мягче было, и думаетъ:

«Я служу вредному дѣлу и получаю жалованье отъ людей, которыхъ обманываю; я не честенъ. Но вѣдь самъ по себѣ я ничто, я только частица необходимаго соціальнаго зла: всѣ уѣздные чиновники вредны и даромъ получаютъ жалованье... Значитъ, въ своей нечестности виноватъ не я, а время... Родись я двумя-стами лѣтъ позже, я былъ бы другимъ».

Когда бьетъ 3 часа, онъ тушитъ лампу и уходитъ въ спальню. Спать ему не хочется.

VIII.

Года два тому назадъ земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно въ качествѣ пособія на усиленіе медицинскаго персонала въ городской больницѣ впредь до открытія земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу

былъ приглашенъ городомъ уѣздный врачъ Евгеній Ѳедорычъ Хоботовъ. Это еще очень молодой человѣкъ — ему нѣтъ и тридцати,—высокій брюнетъ съ широкими скулами и маленькими глазками; вѣроятно, предки его были инородцами. Пріѣхалъ онъ въ городъ безъ гроша денегъ, съ небольшимъ чемоданчикомъ и съ молодою некрасивою женщиной, которую онъ называетъ своей кухаркой. У этой женщины грудной младенецъ. Ходитъ Евгеній Ѳедорычъ въ фуражкѣ съ козырькомъ и въ высокихъ сапогахъ, а зимой въ полушубкѣ. Онъ близко сошелся съ фельдшеромъ Сергѣемъ Сергѣичемъ и съ казначеемъ, а остальныхъ чиновниковъ называетъ почему-то аристократами и сторонится ихъ. Во всей квартирѣ у него есть только одна книга—«Новѣйшіе рецепты вѣнской клиники за 1881 г.». Идя къ больному, онъ всегда беретъ съ собой и эту книжку. Въ клубѣ по вечерамъ играетъ онъ въ билліардъ, картъ же не любитъ. Большой охотникъ употреблять въ разговорѣ такія слова, какъ «каинтель», «мантифолія съ уксусомъ», «будетъ тебѣ тѣнь наводить» и т. п.

Въ больницѣ онъ бываетъ два раза въ недѣлю, обходитъ палаты и дѣлаетъ пріемку больныхъ. Совершенное отсутствіе антисептики и кровососныя банки возмущаютъ его, но новыхъ порядковъ онъ не вводитъ, боясь оскорбить этимъ Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча онъ считаетъ старымъ плутомъ, подозрѣваетъ у него большія средства и втайнѣ завидуетъ ему. Онъ охотно бы занялъ его мѣсто.

IX.

Въ одинъ изъ весеннихъ вечеровъ, въ концѣ марта, когда уже на землѣ не было снѣга и въ больничномъ саду пѣли скворцы, докторъ вышелъ проводить до воротъ своего пріятеля почтмейстера. Какъ разъ въ это время во дворъ входилъ жидъ Мойсейка, возвращавшійся съ добычи. Онъ былъ безъ шапки и въ мелкихъ калошахъ на босую ногу и въ рукахъ держалъ небольшой мѣшочекъ съ милостыней.

— Дай копеечку!—обратился онъ къ доктору, дрожа отъ холода и улыбаясь.

Андрей Ефимычъ, который никогда не умѣлъ отказывать, подалъ ему гривенникъ.

«Какъ это не хорошо, — подумалъ онъ, глядя на его

босыя ноги съ красными тощими щиколками. — Вѣдь, мокро».

И, побуждаемый чувствомъ, похожимъ и на жалость, и на брезгливость, онъ пошелъ во флигель вслѣдъ за евреемъ, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входѣ доктора, съ кучи хлама вскочилъ Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита, — сказалъ мягко Андрей Ефимычъ.—Какъ бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородіе. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его отъ моего имени. Скажи, что я просилъ.

Дверь изъ сѣней въ палату была отворена. Иванъ Дмитричъ, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, съ тревогой прислушивался къ чужому голосу и вдругъ узналъ доктора. Онъ весь затрясся отъ гнѣва, вскочилъ и съ краснымъ, злымъ лицомъ, съ глазами на выкатѣ, выбѣжалъ на середину палаты.

— Докторъ пришелъ! — крикнулъ онъ и захохоталъ. — Наконецъ-то! Господа, поздравляю, докторъ удостаиваетъ насъ своимъ визитомъ! Проклятая гадина!—взвизгнулъ онъ и въ изступленіи, какого никогда еще не видѣли въ палатѣ, топнулъ ногой.—Убить эту гадину! Нѣтъ, мало убить! Утопить въ отхожемъ мѣстѣ!

Андрей Ефимычъ, слышавшій это, выглянулъ изъ сѣней въ палату и спросилъ мягко:

— За что?

— За что?—крикнулъ Иванъ Дмитричъ, подходя къ нему съ угрожающимъ видомъ и судорожно запахиваясь въ халатъ.—За что? Воръ! — проговорилъ онъ съ отвращеніемъ и дѣлая губы такъ, какъ будто желая плюнуть.—Шарлатанъ! Палачъ!

— Успокойтесь, — сказалъ Андрей Ефимычъ, виновато улыбаясь.— Увѣряю васъ, я никогда ничего не крадъ, въ остальномъ же, вѣроятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу васъ, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здѣсь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, боленъ. Но вѣдь десятки, сотни сумасшедшихъ гуляютъ на свободѣ, потому что ваше невѣжество неспо-

собно отличить ихъ отъ здоровыхъ. Почему же я и вотъ эти несчастные должны сидѣть тутъ за всѣхъ, какъ козлы отпущенія? Вы, фельдшеръ, смотритель и вся ваша больничная сволочь въ нравственномъ отношеніи неизмѣримо ниже каждаго изъ насъ, почему же мы сидимъ, а вы нѣтъ? Гдѣ логика?

— Нравственное отношеніе и логика тутъ ни при чемъ. Все зависитъ отъ случая. Кого посадили, тотъ сидитъ, а кого не посадили, тотъ гуляетъ, вотъ и все. Въ томъ, что я докторъ, а вы душевно-больной, нѣтъ ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю... — глухо проговорилъ Иванъ Дмитричъ и сѣлъ на свою кровать.

Мойсейка, котораго Никита постѣснился обыскивать въ присутствіи доктора, разложилъ у себя на постели кусочки хлѣба, бумажки и косточки и, все еще дрожа отъ холода, что-то быстро и пѣвуче заговорилъ по-еврейски. Вѣроятно, онъ вообразилъ, что открылъ лавочку.

— Отпустите меня,—сказалъ Иванъ Дмитричъ, и голосъ его дрогнулъ.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не въ моей власти. Посудите, какая польза вамъ отъ того, если я отпущу васъ? Идите. Васъ задержатъ горожане или полиція и вернутъ назадъ.

— Да, да, это правда...—проговорилъ Иванъ Дмитричъ и потеръ себѣ лобъ.—Это ужасно! Но что же мнѣ дѣлать? Что?

Голосъ Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо съ гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотѣлось приласкать молодого человѣка и успокоить его. Онъ сѣлъ рядомъ съ нимъ на постель, подумалъ и сказалъ:

— Вы спрашиваете, что дѣлать? Самое лучшее въ вашемъ положеніи — бѣжать отсюда. Но, къ сожалѣнію, это безполезно. Васъ задержатъ. Когда общество ограждаетъ себя отъ преступниковъ, психическихъ больныхъ и вообще неудобныхъ людей, то оно непобѣдимо. Вамъ остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребываніе здѣсь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Разъ существуютъ тюрьмы и сумасшедшіе дома, то долженъ же кто-нибудь сидѣть въ нихъ. Не вы — такъ я,

не я—такъ кто-нибудь третій. Погодите, когда въ далекомъ будущемъ закончатъ свое существованіе тюрьмы и сумасшедшіе дома, то не будетъ ни рѣшетокъ на окнахъ, ни халатовъ. Конечно, такое время рано или поздно настанетъ.

Иванъ Дмитричъ насмѣшливо улыбнулся.

— Вы шутите,—сказалъ онъ, щуря глаза.—Такимъ господамъ, какъ вы и вашъ помощникъ Никита, нѣтъ никакого дѣла до будущаго, но можете быть увѣрены, милостивый государь, настанутъ лучшія времена! Пусть я выражаюсь пошло, смѣйтесь, но возсіяетъ заря новой жизни, восторжествуетъ правда, и — на нашей улицѣ будетъ праздникъ! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Привѣтствую ихъ отъ всей души и радуюсь, радуюсь за нихъ! Впередъ! Помогай вамъ Богъ, друзья!

Иванъ Дмитричъ съ блестящими глазами поднялся и, протягивая руки къ окну, продолжалъ съ волненіемъ въ голосѣ:

— Изъ-за этихъ рѣшетокъ благословляю васъ! Да здравствуетъ правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказалъ Андрей Ефимычъ, которому движеніе Ивана Дмитрича показалось театральнымъ и въ то же время очень понравилось. — Тюремъ и сумасшедшихъ домовъ не будетъ, и правда, какъ вы изволили выразиться, восторжествуетъ, но вѣдь сущность вещей не измѣнится, законы природы останутся все тѣ же. Люди будутъ болѣть, стариться и умирать такъ же, какъ и теперь. Какая бы великолѣпная заря ни освѣщала вашу жизнь, все же въ концѣ концовъ васъ заколотятъ въ гробъ и бросятъ въ яму.

— А безсмертіе?

— Э, полноте!

— Вы не вѣрите, ну, а я вѣрю. У Достоевскаго или у Вольтера кто-то говоритъ, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко вѣрю, что если нѣтъ безсмертія, то его рано или поздно изобрѣтетъ великій человѣческій умъ.

— Хорошо сказано,—проговорилъ Андрей Ефимычъ, улыбаясь отъ удовольствія.—Это хорошо, что вы вѣруете. Съ такою вѣрой можно жить припѣваючи даже замурованному въ стѣнѣ. Вы изволили гдѣ-нибудь получить образованіе?

— Да, я былъ въ университетѣ, но не кончилъ.

— Вы мыслящій и вдумчивый человѣкъ. При всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное и глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни, и полное презрѣніе къ глупой суетѣ міра,— вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя рѣшетками. Діогенъ жилъ въ бочкѣ, однако же былъ счастливѣе всѣхъ царей земныхъ.

— Вашъ Діогенъ былъ болванъ, — угрюмо проговорилъ Иванъ Дмитричъ. — Что вы мнѣ говорите про Діогена, да про какое-то уразумѣніе?—разсердился онъ вдругъ и вскочилъ. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня манія преслѣдованія, постоянный мучительный страхъ, но бываютъ минуты, когда меня охватываетъ жажда жизни, и тогда я боюсь сойти съ ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Онъ въ волненіи прошелся по палатѣ и сказалъ, понизивъ голосъ:

— Когда я мечтаю, меня посѣщаютъ призраки. Ко мнѣ ходятъ какіе-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мнѣ, что я гуляю по какимъ-то лѣсамъ, по берегу моря, и мнѣ такъ страстно хочется суеты, заботы... Скажите мнѣ, ну, что тамъ новаго? — спросилъ Иванъ Дмитричъ. — Что тамъ?

— Вы про городъ желаете знать или вообще?

— Ну, сначала разскажите мнѣ про городъ, а потомъ вообще.

— Что жъ? Въ городѣ томительно скучно... Не съ кѣмъ слова сказать, не кого послушать. Новыхъ людей нѣтъ. Впрочемъ, пріѣхалъ недавно молодой врачъ Хоботовъ.

— Онъ еще при мнѣ пріѣхалъ. Что, хамъ?

— Да, некультурный человѣкъ. Странно, знаете ли... Судя по всему, въ нашихъ столицахъ нѣтъ умственнаго застоя, есть движеніе, — значитъ, должны быть тамъ и настоящіе люди, но почему-то всякій разъ оттуда присылаютъ къ намъ такихъ людей, что не глядѣлъ бы. Несчастный городъ!

— Да, несчастный городъ!—вздохнулъ Иванъ Дмитричъ и засмѣялся. — А вообще какъ? Что пишутъ въ газетахъ и журналахъ?

Въ палатѣ было уже темно. Докторъ поднялся и,

стоя, началъ разсказывать, что̀ пишутъ за границей и въ Россіи, и какое замѣчается теперь направленіе мысли. Иванъ Дмитричъ внимательно слушалъ и задавалъ вопросы, но вдругъ, точно вспомнивъ что-то ужасное, хватилъ себя за голову и легъ на постель, спиной къ доктору.

— Что съ вами?—спросилъ Андрей Ефимычъ.

— Вы отъ меня не услышите больше ни одного слова!—грубо проговорилъ Иванъ Дмитричъ.—Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вамъ: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимычъ пожалъ плечами, вздохнулъ и вышелъ. Проходя черезъ сѣни, онъ сказалъ:

— Какъ бы здѣсь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запахъ!

— Слушаю, ваше высокоблагородіе.

«Какой пріятный молодой человѣкъ! — думалъ Андрей Ефимычъ, идя къ себѣ на квартиру.—За все время, пока я тутъ живу, это, кажется, первый, съ которымъ можно поговорить. Онъ умѣетъ разсуждать и интересуется именно тѣмъ, чѣмъ нужно».

Читая и потомъ ложась спать, онъ все время думалъ объ Иванѣ Дмитричѣ, а проснувшись на другой день утромъ, вспомнилъ, что вчера познакомился съ умнымъ и интереснымъ человѣкомъ, и рѣшилъ сходить къ нему еще разъ при первой возможности.

X.

Иванъ Дмитричъ лежалъ въ такой же позѣ, какъ вчера, обхвативъ голову руками и поджавъ ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой другъ, — сказалъ Андрей Ефимычъ.—Вы не спите?

— Во-первыхъ, я вамъ не другъ,—проговорилъ Иванъ Дмитричъ въ подушку:—а во-вторыхъ, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь отъ меня ни одного слова.

— Странно... — пробормоталъ Андрей Ефимычъ въ смущеніи. — Вчера мы бесѣдовали такъ мирно, но вдругъ вы почему-то обидѣлись и сразу оборвали... Вѣроятно, я выразился какъ-нибудь неловко или, быть-можетъ, высказалъ мысль, несогласную съ вашими убѣжденіями...

— Да, такъ я вамъ и повѣрю! — сказалъ Иванъ Дмитричъ, приподнимаясь и глядя на доктора насмѣшливо и

съ тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпіонить и пытать въ другое мѣсто, а тутъ вамъ нечего дѣлать. Я еще вчера понялъ, зачѣмъ вы приходили.

— Странная фантазія!—усмѣхнулся докторъ.—Значитъ, вы полагаете, что я шпіонъ?

— Да, полагаю... Шпіонъ или докторъ, къ которому положили меня на испытаніе,—это все равно.

— Ахъ, какой вы, право, извините... чудакъ!

Докторъ сѣлъ на табуретъ возлѣ постели и укоризненно покачалъ головой.

— Но допустимъ, что вы правы, — сказалъ онъ. — Допустимъ, что я предательски ловлю васъ на словѣ, чтобы выдать полиціи. Васъ арестуютъ и потомъ судятъ. Но развѣ въ судѣ и въ тюрьмѣ вамъ будетъ хуже, чѣмъ здѣсь? А если сошлютъ на поселеніе и даже на каторгу, то развѣ это хуже, чѣмъ сидѣть въ этомъ флигелѣ? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подѣйствовали на Ивана Дмитрича. Онъ покойно сѣлъ.

Былъ пятый часъ вечера, — время, когда обыкновенно Андрей Ефимычъ ходитъ у себя по комнатамъ и Дарьюшка спрашиваетъ его, не пора ли ему пиво пить. На дворѣ была тихая, ясная погода.

— А я послѣ обѣда вышелъ прогуляться, да вотъ и зашелъ, какъ видите,—сказалъ докторъ.—Совсѣмъ весна.

— Теперь какой мѣсяцъ? Мартъ? — спросилъ Иванъ Дмитричъ.

— Да, конецъ марта.

— Грязно на дворѣ?

— Нѣтъ, не очень. Въ саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проѣхаться въ коляскѣ куда-нибудь за городъ, — сказалъ Иванъ Дмитричъ, потирая свои красные глаза, точно съ просонокъ:—потомъ вернуться бы домой въ теплый, уютный кабинетъ и... и полѣчиться у порядочнаго доктора отъ головной боли... Давно уже я не жилъ по-человѣчески. А здѣсь гадко! Нестерпимо гадко!

Послѣ вчерашняго возбужденія онъ былъ утомленъ и вялъ и говорилъ неохотно. Пальцы у него дрожали и по лицу видно было, что у него сильно болѣла голова.

— Между теплымъ, уютнымъ кабинетомъ и этою палатой

нѣтъ никакой разницы,—сказалъ Андрей Ефимычъ.—Покой и довольство человѣка не внѣ его, а въ немъ самомъ.

— То-есть какъ?

— Обыкновенный человѣкъ ждетъ хорошаго или дурного извнѣ, то-есть отъ коляски и кабинета, а мыслящій—отъ самого себя.

— Идите, проповѣдуйте эту философію въ Греціи, гдѣ тепло и пахнетъ померанцемъ, а здѣсь она не по климату. Съ кѣмъ это я говорилъ о Діогенѣ? Съ вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Діогенъ не нуждался въ кабинетѣ и въ тепломъ помѣщеніи; тамъ и безъ того жарко. Лежи себѣ въ бочкѣ, да кушай апельсины и оливки. А доведись ему въ Россіи жить, такъ онъ не то что въ декабрѣ, а въ маѣ запросился бы въ комнату. Небось, скрючило бы отъ холода.

— Нѣтъ. Холодъ, какъ и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Маркъ Аврелій сказалъ: «Боль есть живое представленіе о боли: сдѣлай усиліе воли, чтобъ измѣнить это представленіе, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнетъ». Это справедливо. Мудрецъ, или, попросту, мыслящій, вдумчивый человѣкъ отличается именно тѣмъ, что презираетъ страданіе; онъ всегда доволенъ и ничему не удивляется.

— Значитъ, я идіотъ, такъ какъ я страдаю, недоволенъ и удивляюсь человѣческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, какъ ничтожно все то внѣшнее, что волнуетъ насъ. Нужно стремиться къ уразумѣнію жизни, а въ немъ—истинное благо.

— Уразумѣніе...—поморщился Иванъ Дмитричъ.—Внѣшнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только,—сказалъ онъ, вставая и сердито глядя на доктора:—я знаю, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-съ! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую! На боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ. По-моему, это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ онъ менѣе чувствителенъ и тѣмъ слабѣе отвѣчаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше, тѣмъ онъ воспріимчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность.

Какъ не знать этого? Докторъ, а не знаетъ такихъ пустяковъ! Чтобы презиратъ страданіе, быть всегда довольнымъ и ничему не удивляться, нужно дойти вотъ до этакого состоянія, — и Иванъ Дмитричъ указалъ на толстаго, заплывшаго жиромъ мужика: — или же закалить себя страданіями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность къ нимъ, то-есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрецъ и не философъ, — продолжалъ Иванъ Дмитричъ съ раздраженіемъ: — и ничего я въ этомъ не понимаю. Я не въ состояніи разсуждать.

— Напротивъ, вы прекрасно разсуждаете.

— Стоики, которыхъ вы пародируете, были замѣчательные люди, но ученіе ихъ застыло еще двѣ тысячи лѣтъ назадъ и ни капли не подвинулось впередъ и не будетъ двигаться, такъ какъ оно не практично и не жизненно. Оно имѣло успѣхъ только у меньшинства, которое проводитъ свою жизнь въ штудированіи и смакованіи всякихъ ученій, большинство же не понимало его. Ученіе, проповѣдующее равнодушіе къ богатству, къ удобствамъ жизни, презрѣніе къ страданіямъ и смерти, совсѣмъ непонятно для громаднаго большинства, такъ какъ это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобствъ въ жизни; а презирать страданія значило бы для него презирать самую жизнь, такъ какъ все существо человѣка состоитъ изъ ощущеній голода, холода, обидъ, потерь и гамлетовскаго страха передъ смертью. Въ этихъ ощущеніяхъ вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидѣть ее, но не презирать. Да, такъ, повторяю, ученіе стоиковъ никогда не можетъ имѣть будущности, прогрессируютъ же, какъ видите, отъ начала вѣка до сегодня борьба, чуткость къ боли, способность отвѣчать на раздраженіе...

Иванъ Дмитричъ вдругъ потерялъ нить мыслей, остановился и досадливо потеръ лобъ.

— Хотѣлъ сказать что-то важное, да сбился, — сказалъ онъ. — О чемъ я? Да! Такъ вотъ я и говорю: кто-то изъ стоиковъ продалъ себя въ рабство затѣмъ, чтобы выкупить своего ближняго. Вотъ видите, значитъ, и стоикъ реагировалъ на раздраженіе, такъ какъ для такого великодушнаго акта, какъ уничтоженіе себя ради ближняго, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забылъ тутъ въ тюрьмѣ все, что училъ, а то бы еще что-нибудь вспомнилъ. А

Христа взять? Христосъ отвѣчалъ на дѣйствительность тѣмъ, что плакалъ, улыбался, печалился, гнѣвался, даже тосковалъ; Онъ не съ улыбкой шелъ навстрѣчу страданіямъ и не презиралъ смерти, а молился въ саду Геосиманскомъ, чтобы Его миновала чаша сія.

Иванъ Дмитричъ засмѣялся и сѣлъ.

— Положимъ, покой и довольство человѣка не внѣ его, а въ немъ самомъ,—сказалъ онъ.—Положимъ, нужно презирать страданія и ничему не удивляться. Но вы-то на какомъ основаніи проповѣдуете это? Вы мудрецъ? Философъ?

— Нѣтъ, я не философъ, но проповѣдывать это долженъ каждый, потому что это разумно.

— Нѣтъ, я хочу знать, почему вы въ дѣлѣ уразумѣнія, презрѣнія къ страданіямъ и прочее считаете себя компетентнымъ? Развѣ вы страдали когда-нибудь? Вы имѣете понятіе о страданіяхъ? Позвольте: васъ въ дѣтствѣ сѣкли?

— Нѣтъ, мои родители питали отвращеніе къ тѣлеснымъ наказаніямъ.

— А меня отецъ поролъ жестоко. Мой отецъ былъ крутой, геморроидальный чиновникъ, съ длиннымъ носомъ и съ желтою шеей. Но будемъ говорить о васъ. Во всю вашу жизнь до васъ никто не дотронулся пальцемъ, никто васъ не запугивалъ, не забивалъ; здоровы вы, какъ быкъ. Росли вы подъ крылышкомъ отца и учились на его счетъ, а потомъ сразу захватили синекуру. Больше двадцати лѣтъ вы жили на безплатной квартирѣ, съ отопленіемъ, съ освѣщеніемъ, съ прислугой, имѣя притомъ право работать, какъ и сколько вамъ угодно, хоть ничего не дѣлать. Отъ природы вы человѣкъ лѣнивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь такъ, чтобы васъ ничто не безпокоило и не двигало съ мѣста. Дѣла вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидѣли въ теплѣ, да въ тишинѣ, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышленіями о разной возвышенной чепухѣ и (Иванъ Дмитричъ посмотрѣлъ на красный носъ доктора) выпивахомъ. Однимъ словомъ, жизни вы не видѣли, не знаете ея совершенно, а съ дѣйствительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страданія и ничему не удивляетесь по очень простой причинѣ: суета-суетъ, внѣшнее и внутреннее, презрѣніе къ жизни, страданіямъ и смерти,

уразумѣніе, истинное благо, — все это философія, самая подходящая для россійскаго лежебока. Видите вы, напримѣръ, какъ мужикъ бьетъ жену. Зачѣмъ вступаться? Пускай бьетъ, все равно оба помрутъ рано или поздно; и бьющій къ тому же оскорбляетъ побоями не того, кого бьетъ, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить— умирать и не пить — умирать. Приходитъ баба, зубы болятъ... Ну, что жъ? Боль есть представленіе о боли и къ тому же безъ болѣзней не проживешь на этомъ свѣтѣ, всѣ помремъ, а потому ступай баба прочь, не мѣшай мнѣ мыслить и водку пить. Молодой человѣкъ проситъ совѣта, что дѣлать, какъ жить; прежде чѣмъ отвѣтить, другой бы задумался, а тутъ ужъ готовъ отвѣтъ: стремись къ уразумѣнію или къ истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Отвѣта нѣтъ, конечно. Насъ держатъ здѣсь за рѣшеткой, гноятъ, истязуютъ, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплымъ, уютнымъ кабинетомъ нѣтъ никакой разницы. Удобная философія: и дѣлать нечего, и совѣсть чиста, и мудрецомъ себя чувствуешь... Нѣтъ, сударь, это не философія, не мышленіе, не широта взгляда, а лѣнь, факирство, сонная одурь... Да!—опять разсердился Иванъ Дмитричъ.— Страданія презираете, а небось прищеми вамъ дверью палецъ, такъ заорете во все горло!

— А, можетъ, и не заору, — сказалъ Андрей Ефимычъ, кротко улыбаясь.

— Да, какъ же! А вотъ, если бы васъ трахнулъ параличъ или, положимъ, какой-нибудь дуракъ и наглецъ, пользуясь своимъ положеніемъ и чиномъ, оскорбилъ васъ публично и вы знали бы, что это пройдетъ ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, какъ это отсылать другихъ къ уразумѣнію и истинному благу.

— Это оригинально,—сказалъ Андрей Ефимычъ, смѣясь отъ удовольствія и потирая руки. — Меня пріятно поражаетъ въ васъ склонность къ обобщеніямъ, а моя характеристика, которую вы только-что изволили сдѣлать, просто блестяща. Признаться, бесѣда съ вами доставляетъ мнѣ громадное удовольствіе. Ну-съ, я васъ выслушалъ, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI.

Этотъ разговоръ продолжался еще около часа и, повидимому, произвелъ на Андрея Ефимыча глубокое впечатлѣніе. Онъ сталъ ходить во флигель каждый день. Ходилъ онъ туда по утрамъ и послѣ обѣда, и часто вечерняя темнота заставала его въ бесѣдѣ съ Иваномъ Дмитричемъ. Въ первое время Иванъ Дмитричъ дичился его, подозрѣвалъ въ злomъ умыслѣ и откровенно выражалъ свою непріязнь, потомъ же привыкъ къ нему и свое рѣзкое обращеніе смѣнилъ на снисходительно-ироническое.

Скоро по больницѣ разнесся слухъ, что докторъ Андрей Ефимычъ сталъ посѣщать палату № 6. Никто—ни фельдшеръ, ни Никита, ни сидѣлки не могли понять, зачѣмъ онъ ходилъ туда, зачѣмъ просиживалъ тамъ по цѣлымъ часамъ, о чемъ разговаривалъ и почему не прописывалъ рецептовъ. Поступки его казались странными. Михаилъ Аверьянычъ часто не заставалъ его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, такъ какъ докторъ пилъ пиво уже не въ опредѣленное время и иногда даже запаздывалъ къ обѣду.

Однажды, это было уже въ концѣ іюня, докторъ Хоботовъ пришелъ по какому-то дѣлу къ Андрею Ефимычу; не заставъ его дома, онъ отправился искать его по двору; тутъ ему сказали, что старый докторъ пошелъ къ душевнобольнымъ. Войдя во флигель и остановившись въ сѣняхъ, Хоботовъ услышалъ такой разговоръ:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня въ свою вѣру вамъ не удастся,—говорилъ Иванъ Дмитричъ съ раздраженіемъ.—Съ дѣйствительностью вы совершенно не знакомы и никогда вы не страдали, а только, какъ пьявица, кормились около чужихъ страданій, я же страдалъ непрерывно со дня рожденія до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше васъ и компетентнѣе во всѣхъ отношеніяхъ. Не вамъ учить меня.

— Я совсѣмъ не имѣю претензіи обращать васъ въ свою вѣру,—проговорилъ Андрей Ефимычъ тихо и съ сожалѣніемъ, что его не хотятъ понять.—И не въ этомъ дѣло, мой другъ. Дѣло не въ томъ, что вы страдали, а я нѣтъ. Страданія и радости преходящи; оставимъ ихъ, Богъ съ ними. А дѣло въ томъ, что мы съ вами мыслимъ; мы

видимъ другъ въ другѣ людей, которые способны мыслить и разсуждать, и это дѣлаетъ насъ солидарными, какъ бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, другъ мой, какъ надоѣли мнѣ всеобщее безуміе, бездарность, тупость, и съ какою радостью я всякій разъ бесѣдую съ вами! Вы умный человѣкъ, и я наслаждаюсь вами.

Хоботовъ отворилъ на вершокъ дверь и взглянулъ въ палату; Иванъ Дмитричъ въ колпакѣ и докторъ Андрей Ефимычъ сидѣли рядомъ на постели. Сумасшедшій гримасничалъ, вздрагивалъ и судорожно запахивался въ халатъ, а докторъ сидѣлъ неподвижно, опустивъ голову, и лицо у него было красное, безпомощное, грустное. Хоботовъ пожалъ плечами, усмѣхнулся и переглянулся съ Никитой. Никита тоже пожалъ плечами.

На другой день Хоботовъ приходилъ во флигель вмѣстѣ съ фельдшеромъ. Оба стояли въ сѣняхъ и подслушивали.

— А нашъ дѣдъ, кажется, совсѣмъ сдрефилъ!—сказалъ Хоботовъ, выходя изъ флигеля.

— Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ!—вздохнулъ благолѣпный Сергѣй Сергѣичъ, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своихъ ярко вычищенныхъ сапоговъ.— Признаться, уважаемый Евгеній Ѳедорычъ, я давно уже ожидалъ этого!

XII.

Послѣ этого Андрей Ефимычъ сталъ замѣчать кругомъ какую-то таинственность. Мужики, сидѣлки и больные при встрѣчѣ съ нимъ вопросительно взглядывали на него и потомъ шептались. Дѣвочка Маша, дочь смотрителя, которую онъ любилъ встрѣчать въ больничномъ саду, теперь, когда онъ съ улыбкой подходилъ къ ней, чтобы погладить ее по головкѣ, почему-то убѣгала отъ него. Почтмейстеръ Михаилъ Аверьянычъ, слушая его, уже не говорилъ: «Совершенно вѣрно», а въ непонятномъ смущеніи бормоталъ: «да, да, да...» и глядѣлъ на него задумчиво и печально; почему-то онъ сталъ совѣтовать своему другу оставить водку и пиво, но при этомъ, какъ человѣкъ деликатный, говорилъ не прямо, а намеками, разсказывая то про одного батальоннаго командира, отличнаго человѣка, то про полкового священника, славнаго малаго, которые пили и заболѣли, но, бросивъ пить, совершенно выздоровѣли. Два-три

раза приходилъ къ Андрею Ефимычу коллега Хоботовъ; онъ тоже совѣтовалъ оставить спиртные напитки и безъ всякаго видимаго повода рекомендовалъ принимать бромистый калій.

Въ августѣ Андрей Ефимычъ получилъ отъ городского головы письмо съ просьбой пожаловать по очень важному дѣлу. Придя въ назначенное время въ управу, Андрей Ефимычъ засталъ тамъ воинскаго начальника, штатнаго смотрителя уѣзднаго училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полнаго, бѣлокураго господина, котораго представили ему какъ доктора. Этотъ докторъ, съ польскою, трудно выговариваемою фамиліей, жилъ въ тридцати верстахъ отъ города, на конскомъ заводѣ и былъ теперь въ городѣ проѣздомъ.

— Тутъ заявленьице по вашей части-съ,—обратился членъ управы къ Андрею Ефимычу послѣ того, какъ всѣ поздоровались и сѣли за столъ.—Вотъ Евгеній Ѳедорычъ говорятъ, что аптекѣ тѣсновато въ главномъ корпусѣ и что ее надо бы перевести въ одинъ изъ флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина—флигель ремонту захочетъ.

— Да, безъ ремонта не обойтись,—сказалъ Андрей Ефимычъ, подумавъ.—Если, напримѣръ, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсотъ. Расходъ непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имѣлъ честь докладывать десять лѣтъ назадъ,—продолжалъ Андрей Ефимычъ тихимъ голосомъ:—что эта больница въ настоящемъ ея видѣ является для города роскошью не по средствамъ. Строилась она въ сороковыхъ годахъ, но вѣдь тогда были не тѣ средства. Городъ слишкомъ много затрачиваетъ на ненужныя постройки и лишнія должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при другихъ порядкахъ, содержать двѣ образцовыя больницы.

— Такъ вотъ и давайте заводить другіе порядки!—живо сказалъ членъ управы.

— Я уже имѣлъ честь докладывать: передайте медицинскую часть въ вѣдѣніе земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдетъ,—засмѣялся бѣлокурый докторъ.

— Это какъ водится,—согласился членъ управы, и тоже засмѣялся.

Андрей Ефимычъ вяло и тускло посмотрѣлъ на бѣлокураго доктора и сказалъ:

— Надо быть справедливымъ.

Опять помолчали. Подали чай. Воинскій начальникъ, почему-то очень смущенный, черезъ столъ дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказалъ:

— Совсѣмъ вы насъ забыли, докторъ. Впрочемъ, вы монахъ: въ карты не играете, женщинъ не любите. Скучно вамъ съ нашимъ братомъ.

Всѣ заговорили о томъ, какъ скучно порядочному человѣку жить въ этомъ городѣ. Ни театра, ни музыки, а на послѣднемъ танцовальномъ вечерѣ въ клубѣ было около двадцати дамъ и только два кавалера. Молодежь не танцуетъ, а все время толпится около буфета или играетъ въ карты. Андрей Ефимычъ медленно и тихо, ни на кого не глядя, сталъ говорить о томъ, какъ жаль, какъ глубоко жаль, что горожане тратятъ свою жизненную энергію, свое сердце и умъ на карты и сплетни, а не умѣютъ и не хотятъ проводить время въ интересной бесѣдѣ и въ чтеніи, не хотятъ пользоваться наслажденіями, какія даетъ умъ. Только одинъ умъ интересенъ и замѣчателенъ, все же остальное мелко и низменно. Хоботовъ внимательно слушалъ своего коллегу и вдругъ спросилъ:

— Андрей Ефимычъ, какое сегодня число?

Получивъ отвѣтъ, онъ и бѣлокурый докторъ тономъ экзаменаторовъ, чувствующихъ свою неумѣлость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней въ году и правда ли, что въ палатѣ № 6 живетъ замѣчательный пророкъ.

Въ отвѣтъ на послѣдній вопросъ Андрей Ефимычъ покраснѣлъ и сказалъ:

— Да, это больной, но интересный молодой человѣкъ.

Больше ему не задавали никакихъ вопросовъ.

Когда онъ въ передней надѣвалъ пальто, воинскій начальникъ положилъ руку ему на плечо и сказалъ со вздохомъ:

— Намъ, старикамъ, на отдыхъ пора!

Выйдя изъ управы, Андрей Ефимычъ понялъ, что это была комиссія, назначенная для освидѣтельствованія его

умственныхъ способностей. Онъ вспомнилъ вопросы, которые задавали ему, покраснѣлъ и почему-то теперь первый разъ въ жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой,—думалъ онъ, вспоминая, какъ врачи только что изслѣдовали его:—вѣдь они такъ недавно слушали психіатрію, держали экзаменъ—откуда же это круглое невѣжество? Они понятія не имѣютъ о психіатріи!»

И въ первый разъ въ жизни онъ почувствовалъ себя оскорбленнымъ и разсерженнымъ.

Въ тотъ же день вечеромъ у него былъ Михаилъ Аверьянычъ. Не здороваясь, почтмейстеръ подошелъ къ нему, взялъ его за обѣ руки и сказалъ взволнованнымъ голосомъ:

— Дорогой мой, другъ мой, докажите мнѣ, что вы вѣрите въ мое искреннее расположеніе и считаете меня своимъ другомъ... Другъ мой!—и, мѣшая говорить Андрею Ефимычу, онъ продолжалъ, волнуясь: — Я люблю васъ за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязываютъ докторовъ скрывать отъ васъ правду, но я по-военному рѣжу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже замѣтили всѣ окружающіе. Сейчасъ мнѣ докторъ Евгеній Ѳедорычъ говорилъ, что для пользы вашего здоровья вамъ необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно вѣрно! Превосходно! На сихъ дняхъ я беру отпускъ и уѣзжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мнѣ другъ, поѣдемъ вмѣстѣ! Поѣдемъ, тряхнемъ стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровымъ, — сказалъ Андрей Ефимычъ, подумавъ.—Ѣхать же не могу. Позвольте мнѣ какъ-нибудь иначе доказать вамъ свою дружбу.

Ѣхать куда-то, неизвѣстно зачѣмъ, безъ книгъ, безъ Дарьюшки, безъ пива, рѣзко нарушить порядокъ жизни, установившійся за 20 лѣтъ,—такая идея въ первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но онъ вспомнилъ разговоръ, бывшій въ управѣ, и тяжелое настроеніе, какое онъ испыталъ, возвращаясь изъ управы домой, и мысль уѣхать ненадолго изъ города, гдѣ глупые люди считаютъ его сумасшедшимъ, улыбнулась ему.

— А вы собственно куда намѣрены ѣхать? — спросилъ онъ.

— Въ Москву, въ Петербургъ, въ Варшаву... Въ Вар-

шанѣ я провелъ пять счастливѣйшихъ лѣтъ моей жизни. Что за городъ изумительный! Ѣдемте, дорогой мой!

XIII.

Черезъ недѣлю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то-есть подать въ отставку, къ чему онъ отнесся равнодушно, а еще черезъ недѣлю онъ и Михаилъ Аверьянычъ уже сидѣли въ почтовомъ тарантасѣ и ѣхали на ближайшую желѣзнодорожную станцію. Дни были прохладные, ясные, съ голубымъ небомъ и съ прозрачною далью. Двѣсти верстъ до станціи проѣхали въ двое сутокъ и по пути два раза ночевали. Когда на почтовыхъ станціяхъ подавали къ чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаилъ Аверьянычъ багровѣлъ, трясся всѣмъ тѣломъ и кричалъ: «Замолчать! не разсуждать!» А сидя въ тарантасѣ, онъ, не переставая ни на минуту, разсказывалъ о своихъ поѣздкахъ по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключеній, какія встрѣчи! Онъ говорилъ громко и при этомъ дѣлалъ такіе удивленные глаза, что можно было подумать, что онъ лгалъ. Вдобавокъ, разсказывая, онъ дышалъ въ лицо Андрею Ефимычу и хохоталъ ему въ ухо. Это стѣсняло доктора и мѣшало ему думать и сосредоточиться.

По желѣзной дорогѣ ѣхали изъ экономіи въ третьемъ классѣ, въ вагонѣ для некурящихъ. Публика на-половину была чистая. Михаилъ Аверьянычъ скоро со всѣми перезнакомился и, переходя отъ скамьи къ скамьѣ, громко говорилъ, что не слѣдуетъ ѣздить по этимъ возмутительнымъ дорогамъ. Кругомъ мошенничество! То ли дѣло верхомъ на конѣ: отмахаешь въ одинъ день сто верстъ и потомъ чувствуешь себя здоровымъ и свѣжимъ. А неурожаи у насъ оттого, что осушили Пинскія болота. Вообще безпорядки страшные. Онъ горячился, говорилъ громко и не давалъ говорить другимъ. Эта безконечная болтовня въ перемежку съ громкимъ хохотомъ и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто изъ насъ обоихъ сумасшедшій?—думалъ онъ съ досадой.—Я ли, который стараюсь ничѣмъ не обезпокоить пассажировъ, или этотъ эгоистъ, который думаетъ, что онъ здѣсь умнѣе и интереснѣе всѣхъ, и оттого никому не даетъ покоя?»

Въ Москвѣ Михаилъ Аверьянычъ надѣлъ военный сюртукъ безъ погоновъ и панталоны съ красными кантами. На улицѣ онъ ходилъ въ военной фуражкѣ и въ шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это былъ человѣкъ, который изъ всего барскаго, которое у него когда-то было, промоталъ все хорошее и оставилъ себѣ одно только дурное. Онъ любилъ, чтобъ ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали передъ нимъ на столѣ, и онъ ихъ видѣлъ, но кричалъ человѣку, чтобы тотъ подалъ ему спички; при горничной онъ не стѣснялся ходить въ одномъ нижнемъ бѣльѣ; лакеямъ всѣмъ безъ разбора, даже старикамъ, говорилъ ты и, осердившись, величалъ ихъ болванами и дураками. Это, какъ казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаилъ Аверьянычъ повелъ своего друга къ Иверской. Онъ молился горячо, съ земными поклонами и со слезами, и когда кончилъ, глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Хоть и не вѣришь, но оно какъ-то покойнѣе, когда помолишься. Приложитесь, голубчикъ.

Андрей Ефимычъ сконфузился и приложился къ образу, а Михаилъ Аверьянычъ вытянулъ губы и, покачивая головой, помолился шопотомъ, и опять у него на глазахъ навернулись слезы. Затѣмъ пошли въ Кремль и посмотрѣли тамъ на царь-пушку и царь-колоколъ, и даже пальцами ихъ потрогали, полюбовались видомъ на Замоскворѣчье, побывали въ храмѣ Спасителя и въ Румянцевскомъ музеѣ.

Обѣдали они у Тѣстова. Михаилъ Аверьянычъ долго смотрѣлъ въ меню, разглаживая бакены, и сказалъ тономъ гурмана, привыкшаго чувствовать себя въ ресторанахъ какъ дома:

— Посмотримъ, чѣмъ вы насъ сегодня покормите, ангелъ!

XIV.

Докторъ ходилъ, смотрѣлъ, ѣлъ, пилъ, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотѣлось отдохнуть отъ друга, уйти отъ него, спрятаться, а другъ считалъ своимъ долгомъ не отпускать его ни на шагъ отъ себя и доставлять ему возможно больше развлеченій. Когда не на что было смотрѣть, онъ развлекалъ его разговорами

Два дня терпѣлъ Андрей Ефимычъ, но на третій объявилъ своему другу, что онъ боленъ и хочетъ остаться на весь день дома. Другъ сказалъ, что въ такомъ случаѣ и онъ остается. Въ самомъ дѣлѣ, надо отдохнуть, а то этакъ ногъ не хватитъ. Андрей Ефимычъ легъ на диванъ, лицомъ къ спинкѣ и, стиснувъ зубы, слушалъ своего друга, который горячо увѣрялъ его, что Франція рано или поздно непремѣнно разобьетъ Германію, что въ Москвѣ очень много мошенниковъ и что по наружному виду лошади нельзя судить о ея достоинствахъ. У доктора начались шумъ въ ушахъ и сердцебіеніе, но попросить друга уйти или помолчать онъ изъ деликатности не рѣшался. Къ счастію, Михаилу Аверьянычу наскучило сидѣть въ номерѣ, и онъ послѣ обѣда ушелъ прогуляться.

Оставшись одинъ, Андрей Ефимычъ предался чувству отдыха. Какъ пріятно лежать неподвижно на диванѣ и сознавать, что ты одинъ въ комнатѣ! Истинное счастіе невозможно безъ одиночества. Падшій ангелъ измѣнилъ Богу, вѣроятно потому, что захотѣлъ одиночества, котораго не знаютъ ангелы. Андрей Ефимычъ хотѣлъ думать о томъ, что онъ видѣлъ и слышалъ въ послѣдніе дни, но Михаилъ Аверьянычъ не выходилъ у него изъ головы.

«А вѣдь онъ взялъ отпускъ и поѣхалъ со мной изъ дружбы, изъ великодушія,—думалъ докторъ съ досадой.— Хуже нѣтъ ничего, какъ эта дружеская опека. Вѣдь, вотъ, кажется, и добръ, и великодушенъ, и весельчакъ, а скученъ. Нестерпимо скученъ. Такъ же вотъ бываютъ люди, которые всегда говорятъ одни только умныя и хорошія слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

Въ слѣдующіе затѣмъ дни Андрей Ефимычъ сказывался больнымъ и не выходилъ изъ номера. Онъ лежалъ лицомъ къ спинкѣ дивана и томился, когда другъ развлекалъ его разговорами, или же отдыхалъ, когда другъ отсутствовалъ. Онъ досадовалъ на себя за то, что поѣхалъ, и на друга, который съ каждымъ днемъ становился все болтливѣе и развязнѣе; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный ладъ ему никакъ не удавалось.

«Это меня пробираетъ дѣйствительность, о которой говорилъ Иванъ Дмитричъ,—думалъ онъ сердясь на свою мелочность. — Впрочемъ, вздоръ... Пріѣду домой и все пойдетъ по-старому»...

И въ Петербургѣ то же самое: онъ по цѣлымъ днямъ не выходилъ изъ номера, лежалъ на диванѣ и вставалъ только затѣмъ, чтобы выпить пива.

Михаилъ Аверьянычъ все время торопилъ ѣхать въ Варшаву.

— Дорогой мой, зачѣмъ я туда поѣду?—говорилъ Андрей Ефимычъ умоляющимъ голосомъ.—Поѣзжайте одни, а мнѣ позвольте ѣхать домой! Прошу васъ!

— Ни подъ какимъ видомъ! — протестовалъ Михаилъ Аверьянычъ. — Это изумительный городъ. Въ немъ я провелъ пять счастливѣйшихъ лѣтъ моей жизни!

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своемъ, и онъ, скрѣпя сердце, поѣхалъ въ Варшаву. Тутъ онъ не выходилъ изъ номера, лежалъ на диванѣ и злился на себя, на друга и на лакеевъ, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаилъ Аверьянычъ, по обыкновенію, здоровый, бодрый и веселый, съ утра до вечера гулялъ по городу и разыскивалъ своихъ старыхъ знакомыхъ. Нѣсколько разъ онъ не ночевалъ дома. Послѣ одной ночи, проведенной неизвѣстно гдѣ, онъ вернулся домой рано утромъ въ сильно возбужденномъ состояніи, красный и непричесанный. Онъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, что-то бормоча про себя, потомъ остановился и сказалъ:

— Честь прежде всего!

Походивъ еще немного, онъ схватилъ себя за голову и произнесъ трагическимъ голосомъ:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мнѣ впервые пришло въ голову ѣхать въ этотъ Вавилонъ! Дорогой мой—обратился онъ къ доктору,—презирайте меня: я проигрался! Дайте мнѣ пятьсотъ рублей!

Андрей Ефимычъ отсчиталъ пятьсотъ рублей и молча отдалъ ихъ своему другу. Тотъ, все еще багровый отъ стыда и гнѣва, безсвязно произнесъ какую-то ненужную клятву, надѣлъ фуражку и вышелъ. Вернувшись часа черезъ два, онъ повалился въ кресло, громко вздохнулъ и сказалъ:

— Честь спасена! Ѣдемте, мой другъ! Ни одной минуты я не желаю остаться въ этомъ проклятомъ городѣ. Мошенники! Австрійскіе шпіоны!

Когда пріятели вернулись въ свой городъ, былъ уже

ноябрь и на улицахъ лежалъ глубокій снѣгъ. Мѣсто Андрея Ефимыча занималъ докторъ Хоботовъ; онъ жилъ еще на старой квартирѣ, въ ожиданіи, когда Андрей Ефимычъ пріѣдетъ и очиститъ больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую онъ называлъ своею кухаркой, уже жила въ одномъ изъ флигелей.

По городу ходили новыя больничныя сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителемъ и этотъ будто бы ползалъ передъ нею на колѣняхъ, прося прощенія.

Андрею Ефимычу въ первый же день по пріѣздѣ пришлось отыскивать себѣ квартиру.

— Другъ мой,—сказалъ ему робко почтмейстеръ:—извините за нескромный вопросъ: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимычъ молча сосчиталъ свои деньги и сказалъ:

— Восемьдесятъ шесть рублей.

— Я не о томъ спрашиваю,—проговорилъ въ смущеніи Михаилъ Аверьянычъ, не понявъ доктора.—Я спрашиваю, какія у васъ средства вообще?

— Я же и говорю вамъ: восемьдесятъ шесть рублей... Больше у меня ничего нѣтъ.

Михаилъ Аверьянычъ считалъ доктора честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, но все-таки подозрѣвалъ, что у него есть капиталъ по крайней мѣрѣ тысячъ въ двадцать. Теперь же, узнавъ, что Андрей Ефимычъ нищій, что ему нечѣмъ жить, онъ почему-то вдругъ заплакалъ и обнялъ своего друга.

XV.

Андрей Ефимычъ жилъ въ трехъоконномъ домикѣ мѣщанки Бѣловой. Въ этомъ домикѣ было только три комнаты, не считая кухни. Двѣ изъ нихъ, съ окнами на улицу, занималъ докторъ, а въ третьей и въ кухнѣ жили Дарьюшка и мѣщанка съ тремя дѣтьми. Иногда къ хозяйкѣ приходилъ ночевать любовникъ, пьяный мужикъ, бушевавшій по ночамъ и наводившій на дѣтей и на Дарьюшку ужасъ. Когда онъ приходилъ, и усѣвшись на кухнѣ, начиналъ требовать водки, всѣмъ становилось очень тѣсно, и докторъ изъ жалости бралъ къ себѣ плачущихъ дѣтей, укладывалъ

ихъ у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствіе.

Вставалъ онъ попрежнему въ восемь часовъ и послѣ чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денегъ. Оттого ли, что книги были старыя, или, быть-можетъ, отъ перемѣны обстановки, чтеніе уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени въ праздности, онъ составлялъ подробный каталогъ своимъ книгамъ и прикленвалъ къ ихъ корешкамъ билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснѣе, чѣмъ чтеніе. Однообразная кропотливая работа какимъ-то непонятнымъ образомъ убаюкивала его мысли, онъ ни о чемъ не думалъ, и время проходило быстро. Даже сидѣть въ кухнѣ и чистить съ Дарьюшкой картофель или выбирать соръ изъ гречневой крупы ему казалось интересно. По субботамъ и воскресеньямъ онъ ходилъ въ церковь. Стоя около стѣны и зажмуривъ глаза, онъ слушалъ пѣніе и думалъ объ отцѣ, о матери, объ университетѣ, о религіяхъ; ему было покойно, грустно, и потомъ, уходя изъ церкви, онъ жалѣлъ, что служба такъ скоро кончилась.

Онъ два раза ходилъ въ больницу къ Ивану Дмитричу, чтобы поговорить съ нимъ. Но въ оба раза Иванъ Дмитричъ былъ необыкновенно возбужденъ и золъ; онъ просилъ оставить его въ покоѣ, такъ какъ ему давно уже надоѣла пустая болтовня, и говорилъ, что у проклятыхъ подлыхъ людей онъ за всѣ страданія проситъ только одной награды—одиночнаго заключенія. Неужели даже въ этомъ ему отказываютъ? Когда Андрей Ефимычъ прощался съ нимъ въ оба раза и желалъ покойной ночи, то онъ огрызался и говорилъ:

— Къ чорту!

И Андрей Ефимычъ не зналъ теперь, пойти ему въ третій разъ или нѣтъ. А пойти хотѣлось.

Прежде въ послѣобѣденное время Андрей Ефимычъ ходилъ по комнатамъ и думалъ, теперь же онъ отъ обѣда до вечерняго чая лежалъ на диванѣ лицомъ къ спинкѣ и предавался мелочнымъ мыслямъ, которыхъ никакъ не могъ побороть. Ему было обидно, что за его больше чѣмъ двадцатилѣтнюю службу ему не дали ни пенсіи, ни единовременнаго пособія. Правда, онъ служилъ не честно, но вѣдь

пенсію получаютъ всѣ служащіе безъ различія, честны они или нѣтъ. Современная справедливость и заключается именно въ томъ, что чинами, орденами и пенсіями награждаются не нравственныя качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же онъ одинъ долженъ составлять исключеніе? Денегъ у него совсѣмъ не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядѣть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мѣщанкѣ Бѣловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продаетъ старыя платья и книги и лжетъ хозяйкѣ, что скоро докторъ получитъ очень много денегъ.

Онъ сердился на себя за то, что истратилъ на путешествіе тысячу рублей, которая у него была скоплена. Какъ бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляютъ въ покоѣ люди. Хоботовъ считалъ своимъ долгомъ изрѣдка навѣщать больного коллегу. Все было въ немъ противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тонъ, и слово «коллега», и высокіе сапоги; самое же противное было то, что онъ считалъ своею обязанностью лѣчить Андрея Ефимыча и думалъ, что въ самомъ дѣлѣ лѣчитъ. Въ каждое свое посѣщеніе онъ приносилъ стклянку съ бромистымъ каліемъ и пилюли изъ ревеня.

И Михаилъ Аверьянычъ тоже считалъ своимъ долгомъ навѣщать друга и развлекать его. Всякій разъ онъ входилъ къ Андрею Ефимычу съ напускною развязностью, принужденно хохоталъ и начиналъ увѣрять его, что онъ сегодня прекрасно выглядитъ и что дѣла, слава Богу, идутъ на поправку, и изъ этого можно было заключить, что положеніе своего друга онъ считалъ безнадежнымъ. Онъ не выплатилъ еще своего варшавскаго долга и былъ удрученъ тяжелымъ стыдомъ, былъ напряженъ и потому старался хохотать громче и разсказывать смѣшнѣе. Его анекдоты и разсказы казались теперь безконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

Въ его присутствіи Андрей Ефимычъ ложился обыкновенно на диванъ лицомъ къ стѣнѣ и слушалъ, стиснувъ зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и послѣ каждаго посѣщенія друга онъ чувствовалъ, что накипь эта становится все выше и словно подходитъ къ горлу.

Чтобы заглушить мелочныя чувства, онъ спѣшилъ ду-

мать о томъ, что и онъ самъ, и Хоботовъ, и Михаилъ Аверьянычъ должны рано или поздно погибнуть, не оставивъ въ природѣ даже отпечатка. Если вообразить, что черезъ милліонъ лѣтъ мимо земного шара пролетитъ въ пространствѣ какой-нибудь духъ, то онъ увидитъ только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный законъ—пропадетъ и даже лопухомъ не порастетъ. Что же значатъ стыдъ передъ лавочникомъ, ничтожный Хоботовъ, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздоръ и пустяки.

Но такія разсужденія уже не помогали. Едва онъ воображалъ земной шаръ черезъ милліонъ лѣтъ, какъ изъ-за голаго утеса показывался Хоботовъ въ высокихъ сапогахъ или напряженно хохочущій Михаилъ Аверьянычъ и даже слышался стыдливый шопотъ: «А варшавскій долгъ, голубчикъ, возвращу на этихъ дняхъ... Непремѣнно».

XVI.

Однажды Михаилъ Аверьянычъ пришелъ послѣ обѣда, когда Андрей Ефимычъ лежалъ на диванѣ. Случилось такъ, что въ это же время явился и Хоботовъ съ бромистымъ каліемъ. Андрей Ефимычъ тяжело поднялся, сѣлъ и уперся обѣими руками о диванъ.

— А сегодня, дорогой мой,—началъ Михаилъ Аверьянычъ:—у васъ цвѣтъ лица гораздо лучше, чѣмъ вчера. Да вы молодцомъ! Ей-Богу, молодцомъ!

— Пора, пора поправляться, коллега, — сказалъ Хоботовъ зѣвая.—Небось, вамъ самимъ надоѣла эта канитель.

— И поправимся! — весело сказалъ Михаилъ Аверьянычъ.—Еще лѣтъ сто жить будемъ! Такъ-тось!

— Сто не сто, а на двадцать еще хватитъ,— утѣшалъ Хоботовъ.—Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будетъ вамъ тѣнь наводить.

— Мы еще покажемъ себя!—захохоталъ Михаилъ Аверьянычъ и похлопалъ друга по колѣну.— Мы еще покажемъ! Будущимъ лѣтомъ, Богъ дастъ, махнемъ на Кавказъ и весь его верхомъ объѣдемъ—гопъ! гопъ! гопъ! А съ Кавказа вернемся, гляди, чего добраго, на свадьбѣ гулять будемъ.—Михаилъ Аверьянычъ лукаво подмигнулъ глазомъ.— Женимъ васъ, дружка милаго... женимъ...

Андрей Ефимычъ вдругъ почувствовалъ, что накипь подходитъ къ горлу; у него страшно забилось сердце.

— Это пошло! — сказалъ онъ, быстро вставая и отходя къ окну. — Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?

Онъ хотѣлъ продолжать мягко и вѣжливо, но противъ воли вдругъ сжалъ кулаки и поднялъ ихъ выше головы.

— Оставьте меня! — крикнулъ онъ не своимъ голосомъ, багровѣя и дрожа всѣмъ тѣломъ.—Вонъ! Оба вонъ, оба!

Михаилъ Аверьянычъ и Хоботовъ встали и уставились на него сначала съ недоумѣніемъ, потомъ со страхомъ.

— Оба вонъ!—продолжалъ кричать Андрей Ефимычъ.— Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мнѣ ни дружбы, ни твоихъ лѣкарствъ, тупой человѣкъ! Пошлость! Гадость!

Хоботовъ и Михаилъ Аверьянычъ, растерянно переглядываясь, попятились къ двери и вышли въ сѣни. Андрей Ефимычъ схватилъ стклянку съ бромистымъ каліемъ и швырнулъ имъ вслѣдъ; стклянка со звономъ разбилась о порогъ.

— Убирайтесь къ чорту!—крикнулъ онъ плачущимъ голосомъ, выбѣгая въ сѣни.—Къ чорту!

По уходѣ гостей, Андрей Ефимычъ, дрожа какъ въ лихорадкѣ, легъ на диванъ и долго еще повторялъ:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда онъ успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бѣдному Михаилу Аверьянычу теперь, должно-быть, страшно стыдно и тяжело на душѣ, и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобнаго. Гдѣ же умъ и тактъ? Гдѣ уразумѣніе вещей и философское равнодушіе?

Докторъ всю ночь не могъ уснуть отъ стыда и досады на себя, а утромъ, часовъ въ десять, отправился въ почтовую контору и извинился передъ почтмейстеромъ.

— Не будемъ вспоминать о томъ, что произошло,—сказалъ со вздохомъ растроганный Михаилъ Аверьянычъ, крѣпко пожимая ему руку. — Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Любавкинъ! — вдругъ крикнулъ онъ такъ громко, что всѣ почтальоны и посѣтители вздрогнули.—Подай стулъ. А ты подожди! — крикнулъ онъ бабѣ, которая сквозь рѣшетку протягивала къ нему заказное письмо. — Развѣ не видишь, что я занятъ? Не будемъ вспоминать

старое, — продолжалъ онъ нѣжно, обращаясь къ Андрею Ефимычу.—Садитесь, покорнѣйше прошу, мой дорогой.

Онъ минуту молча поглаживалъ себѣ колѣни и потомъ сказалъ:

— У меня и въ мысляхъ не было обижаться на васъ. Болѣзнь не свой братъ, я понимаю. Вашъ припадокъ испугалъ насъ вчера съ докторомъ, и мы долго потомъ говорили о васъ. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашею болѣзнью? Развѣ можно такъ? Извините за дружескую откровенность, — зашепталъ Михаилъ Аверьянычъ: — вы живете въ самой неблагопріятной обстановкѣ: тѣснота, нечистота, ухода за вами нѣтъ, лѣчиться не на что... Дорогой мой другъ, умоляемъ васъ вмѣстѣ съ докторомъ всѣмъ сердцемъ, послушайтесь нашего совѣта: ложитесь въ больницу! Тамъ и пища здоровая, и уходъ, и лѣченіе. Евгеній Ѳедоровичъ хотя и моветонъ, между нами говоря, но свѣдущій, на него вполнѣ можно положиться. Онъ далъ мнѣ слово, что займется вами.

Андрей Ефимычъ былъ тронутъ искреннимъ участіемъ и слезами, которыя вдругъ заблестѣли на щекахъ у почтмейстера.

— Уважаемый, не вѣрьте!—зашепталъ онъ, прикладывая руку къ сердцу.—Не вѣрьте имъ! Это обманъ! Болѣзнь моя только въ томъ, что за двадцать лѣтъ я нашелъ во всемъ городѣ одного только умнаго человѣка, да и тотъ сумасшедшій. Болѣзни нѣтъ никакой, а просто я попалъ въ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ выхода. Мнѣ все равно, я на все готовъ.

— Ложитесь въ больницу, дорогой мой.

— Мнѣ все равно, хоть въ яму.

— Дайте, голубчикъ, слово, что вы будете слушаться во всемъ Евгенія Ѳедорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попалъ въ заколдованный кругъ. Теперь все, даже искреннее участіе моихъ друзей, клонится къ одному—къ моей погибели. Я погибаю и имѣю мужество сознавать это.

— Голубчикъ, вы выздоровѣете.

— Къ чему это говорить? — сказалъ Андрей Ефимычъ съ раздраженіемъ. — Рѣдкій человѣкъ подъ конецъ жизни не испытываетъ того же, что я теперь. Когда вамъ скажутъ, что у васъ что-нибудь въ родѣ плохихъ почекъ и

увеличеннаго сердца и вы станете лѣчиться, или скажутъ, что вы сумасшедшій или преступникъ, то-есть, однимъ словомъ, когда люди вдругъ обратятъ на васъ вниманіе, то знайте, что вы попали въ заколдованный кругъ, изъ котораго уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакія человѣческія усилія уже не спасутъ васъ. Такъ мнѣ кажется.

Между тѣмъ, у рѣшетки толпилась публика. Андрей Ефимычъ, чтобы не мѣшать, всталъ и началъ прощаться. Михаилъ Аверьянычъ еще разъ взялъ съ него честное слово и проводилъ его до наружной двери.

Въ тотъ же день, передъ вечеромъ, къ Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботовъ въ полушубкѣ и въ высокихъ сапогахъ и сказалъ такимъ тономъ, какъ будто вчера ничего не случилось:

— А я къ вамъ по дѣлу, коллега. Пришелъ приглашать васъ: не хотите ли со мной на консиліумъ, а?

Думая, что Хоботовъ хочетъ развлечь его прогулкой или, въ самомъ дѣлѣ, дать ему заработать, Андрей Ефимычъ одѣлся и вышелъ съ нимъ на улицу. Онъ радъ былъ случаю загладить вчерашнюю вину и помириться, и въ душѣ благодарилъ Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнемъ и, повидимому, щадилъ его. Отъ этого некультурнаго человѣка трудно было ожидать такой деликатности.

— А гдѣ вашъ больной?—спросилъ Андрей Ефимычъ.

— У меня въ больницѣ. Мнѣ ужъ давно хотѣлось показать вамъ... Интереснѣйшій случай.

Вошли въ больничный дворъ и, обойдя главный корпусъ, направились къ флигелю, гдѣ помѣщались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновенію, вскочилъ и вытянулся.

— Тутъ у одного произошло осложненіе со стороны легкихъ, — сказалъ вполголоса Хоботовъ, входя съ Андреемъ Ефимычемъ въ палату.—Вы погодите здѣсь, а я сейчасъ. Схожу только за стетоскопомъ.

И вышелъ.

XVII.

Уже смеркалось. Иванъ Дмитричъ лежалъ на своей постели, уткнувшись лицомъ въ подушку; паралитикъ сидѣлъ

неподвижно, тихо плакалъ и шевелилъ губами. Толстый мужикъ и бывшій сортировщикъ спали. Было тихо.

Андрей Ефимычъ сидѣлъ на кровати Ивана Дмитрича и ждалъ. Но прошло съ полчаса, и вмѣсто Хоботова вошелъ въ палату Никита, держа въ охапкѣ халатъ, чье-то бѣлье и туфли.

— Пожалуйте одѣваться, ваше высокоблагородіе, — сказалъ онъ тихо.—Вотъ ваша постелька, пожалуйте сюда,—добавилъ онъ, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать.—Ничего, Богъ дастъ, выздоровѣете.

Андрей Ефимычъ все понялъ. Онъ, ни слова не говоря, перешелъ къ кровати, на которую указалъ Никита, и сѣлъ; видя, что Никита стоитъ и ждетъ, онъ раздѣлся до-гола, и ему стало стыдно. Потомъ онъ надѣлъ больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а отъ халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровѣете, Богъ дастъ,—повторилъ Никита.

Онъ забралъ въ охапку платье Андрея Ефимыча, вышелъ и затворилъ за собой дверь.

«Все равно...—думалъ Андрей Ефимычъ, стыдливо запахиваясь въ халатъ и чувствуя, что въ своемъ новомъ костюмѣ онъ похожъ на арестанта.—Все равно... Все равно, что фракъ, что мундиръ, что этотъ халатъ»...

Но какъ же часы? А записная книжка, что въ боковомъ карманѣ? А папиросы? Куда Никита унесъ платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надѣвать брюкъ, жилета и сапоговъ. Все это какъ-то странно и даже непонятно въ первое время. Андрей Ефимычъ и теперь былъ убѣжденъ, что между домомъ мѣщанки Бѣловой и палатой № 6 нѣтъ никакой разницы, что все на этомъ свѣтѣ вздоръ и суета-суетъ, а между тѣмъ у него дрожали руки, ноги холодѣли и было жутко отъ мысли, что скоро Иванъ Дмитричъ встанетъ и увидитъ, что онъ въ халатѣ. Онъ всталъ, прошелся и опять сѣлъ.

Вотъ онъ просидѣлъ уже полчаса, часъ, и ему надоѣло до тоски; неужели здѣсь можно прожить день, недѣлю и даже годы, какъ эти люди? Ну, вотъ онъ сидѣлъ, прошелся и опять сѣлъ; можно пойти и посмотрѣть въ окно, и опять пройтись изъ угла въ уголъ. А потомъ что? Такъ и сидѣть все время, какъ истуканъ, и думать? Нѣтъ, это едва ли возможно.

Андрей Ефимычъ легъ, но тотчасъ же всталъ, вытеръ рукавомъ со лба холодный потъ и почувствовалъ, что все лицо его запахло копченою рыбой. Онъ опять прошелся.

— Это какое-то недоразумѣніе...—проговорилъ онъ, разводя руками въ недоумѣніи.—Надо объясниться, тутъ недоразумѣніе...

Въ это время проснулся Иванъ Дмитричъ. Онъ сѣлъ и подперъ щеки кулаками. Сплюнулъ. Потомъ онъ лѣниво взглянулъ на доктора и, повидимому, въ первую минуту ничего не понялъ; но скоро сонное лицо его стало злымъ и насмѣшливымъ.

— Ага, и васъ засадили сюда, голубчикъ!—проговорилъ онъ сиплымъ съ просонокъ голосомъ, зажмуривъ одинъ глазъ.—Очень радъ. То вы пили изъ людей кровь, а теперь изъ васъ будутъ пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумѣніе... — проговорилъ Андрей Ефимычъ, пугаясь словъ Ивана Дмитрича; онъ пожалъ плечами и повторилъ:—недоразумѣніе какое-то...

Иванъ Дмитричъ опять сплюнулъ и легъ.

— Проклятая жизнь!—проворчалъ онъ.—И что горько и обидно, вѣдь эта жизнь кончится не наградой за страданія, не апоѳеозомъ, какъ въ операхъ, а смертью; придутъ мужики и потащутъ мертваго за руки и за ноги въ подвалъ. Брр! Ну, ничего... Зато на томъ свѣтѣ будетъ нашъ праздникъ... Я съ того свѣта буду являться сюда тѣнью и пугать этихъ гадинъ. Я ихъ посѣдѣть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидѣвъ доктора, протянулъ руку.

— Дай копеечку!—сказалъ онъ.

XVIII.

Андрей Ефимычъ отошелъ къ окну и посмотрѣлъ въ поле. Уже становилось темно и на горизонтѣ съ правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко отъ больничнаго забора, въ ста саженяхъ, не больше, стоялъ высокій бѣлый домъ, обнесенный каменною стѣной. Это была тюрьма.

«Вотъ она дѣйствительность!»—подумалъ Андрей Ефимычъ, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборѣ, и далекій пламень въ костопальномъ заводѣ. Сзади послышался вздохъ. Андрей Ефимычъ оглянулся и увидѣлъ чело-

вѣка съ блестящими звѣздами и съ орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивалъ глазомъ. И это показалось страшнымъ.

Андрей Ефимычъ увѣрялъ себя, что въ лунѣ и въ тюрьмѣ нѣтъ ничего особеннаго, что и психически здоровые люди носятъ ордена и что все со временемъ сгніетъ и обратится въ глину, но отчаяніе вдругъ овладѣло имъ, онъ ухватился обѣими руками за рѣшетку и изо всей силы потрясъ ее. Крѣпкая рѣшетка не поддалась.

Потомъ, чтобы не такъ было страшно, онъ пошелъ къ постели Ивана Дмитрича и сѣлъ.

— Я палъ духомъ, дорогой мой, — пробормоталъ онъ, дрожа и утирая холодный потъ.—Палъ духомъ.

— А вы пофилософствуйте,—сказалъ насмѣшливо Иванъ Дмитричъ.

— Боже мой, Боже мой... Да, да... Вы какъ-то изволили говорить, что въ Россіи нѣтъ философіи, но философствуютъ всѣ, даже мелюзга. Но вѣдь отъ философствованія мелюзги никому нѣтъ вреда,—сказалъ Андрей Ефимычъ такимъ тономъ, какъ будто хотѣлъ заплакать и разжалобить.—Зачѣмъ же, дорогой мой, этотъ злорадный смѣхъ? И какъ не философствовать этой мелюзгѣ, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человѣку, подобію Божію, нѣтъ другого выхода, какъ идти лѣкаремъ въ грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, піявки, горчичники! Шарлатанство, узость, пошлость! О, Боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если въ лѣкаря противно, шли бы въ министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой... Былъ я равнодушенъ, бодро и здраво разсуждалъ, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мнѣ, какъ я палъ духомъ... прострація... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, съ молокомъ матери всосали благіе порывы, но едва вступили въ жизнь, какъ утомились и заболѣли... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кромѣ страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время съ наступленія вечера. Наконецъ, онъ сообразилъ, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,—сказалъ онъ.—Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу такъ... не въ состояніи...

Андрей Ефимычъ пошелъ къ двери и отворилъ ее, но тотчасъ же Никита вскочилъ и загородилъ ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя!—сказалъ онъ.—Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись!—оторопѣлъ Андрей Ефимычъ.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнулъ дверь и прислонился къ ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сдѣлается отъ этого? — спросилъ Андрей Ефимычъ, пожимая плечами. — Не понимаю! Никита, я долженъ выйти!—сказалъ онъ дрогнувшимъ голосомъ.—Мнѣ нужно!

— Не заводите безпорядковъ, нехорошо!—сказалъ наставительно Никита.

— Это чортъ знаетъ что такое! — вскрикнулъ вдругъ Иванъ Дмитричъ и вскочилъ. — Какое онъ имѣетъ право не пускать? Какъ они смѣютъ держать насъ здѣсь?-Въ законѣ, кажется, ясно сказано, что никто не можетъ быть лишенъ свободы безъ суда! Это насиліе! Произволъ!

— Конечно, произволъ! — сказалъ Андрей Ефимычъ, подбодряемый крикомъ Ивана Дмитрича. — Мнѣ нужно, я долженъ выйти! Онъ не имѣетъ права! Отпусти, тебѣ говорятъ!

— Слышишь, тупая скотина?—крикнулъ Иванъ Дмитричъ и постучалъ кулакомъ въ дверь.—Отвори, а то я дверь выломаю! Живодеръ!

— Отвори! — крикнулъ Андрей Ефимычъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.—Я требую!

— Поговори еще! — отвѣтилъ за дверью Никита.—Поговори!

— По крайней мѣрѣ, поди позови сюда Евгенія Ѳедорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придутъ.

— Никогда насъ не выпустятъ! — продолжалъ между тѣмъ Иванъ Дмитричъ.—Сгноятъ насъ здѣсь! О, Господи, неужели же въ самомъ дѣлѣ на томъ свѣтѣ нѣтъ ада и эти негодяи будутъ прощены? Гдѣ же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь!—крикнулъ онъ сиплымъ голосомъ и навалился на дверь.—Я размозжу себѣ голову! Убійцы!

Никита быстро отворилъ дверь, грубо обѣими руками и колѣномъ отпихнулъ Андрея Ефимыча, потомъ размахнулся и ударилъ его кулакомъ по лицу. Андрею Ефимычу пока-

залось, что громадная соленая волна накрыла его съ головой и потащила къ кровати; въ самомъ дѣлѣ, во рту было солоно: вѣроятно, изъ зубовъ пошла кровь. Онъ, точно желая выплыть, замахалъ руками и ухватился за чью-то кровать, и въ это время почувствовалъ, что Никита два раза ударилъ его въ спину.

Громко вскрикнулъ Иванъ Дмитричъ. Должно-быть, и его били.

Затѣмъ все стихло. Жидкій лунный свѣтъ шелъ сквозь рѣшетки и на полу лежала тѣнь, похожая на сѣть. Было страшно. Андрей Ефимычъ легъ и притаилъ дыханіе; онъ съ ужасомъ ждалъ, что его ударятъ еще разъ. Точно кто взялъ серпъ, воткнулъ въ него и нѣсколько разъ повернулъ въ груди и въ кишкахъ. Отъ боли онъ укусилъ подушку и стиснулъ зубы, и вдругъ въ головѣ его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня въ день, эти люди, казавшіеся теперь при лунномъ свѣтѣ черными тѣнями. Какъ могло случиться, что въ продолженіе больше, чѣмъ двадцати лѣтъ, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать этого? Онъ не зналъ, не имѣлъ понятія о боли, значитъ, онъ не виноватъ, но совѣсть, такая же несговорчивая и грубая, какъ Никита, заставила его похолодѣть отъ затылка до пятъ. Онъ вскочилъ, хотѣлъ крикнуть изо всѣхъ силъ и бѣжать скорѣе, чтобъ убить Никиту, потомъ Хоботова, смотрителя и фельдшера, потомъ себя, но изъ груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, онъ рванулъ на груди халатъ и рубаху, порвалъ и безъ чувствъ повалился на кровать.

XIX.

Утромъ на другой день у него болѣла голова, гудѣло въ ушахъ и во всемъ тѣлѣ чувствовалось недомоганіе. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Онъ былъ вчера малодушенъ, боялся даже луны, искренно высказывалъ чувства и мысли, какихъ раньше и не подозрѣвалъ у себя. Напримѣръ, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Онъ не ѣлъ, не пилъ, лежалъ неподвижно и молчалъ.

«Мнѣ все равно, — думалъ онъ, когда ему задавали вопросы.—Отвѣчать не стану... Мнѣ все равно».

Послѣ обѣда пришелъ Михаилъ Аверьянычъ и принесъ четвертку чаю и фунтъ мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и цѣлый часъ стояла около кровати съ выраженіемъ тупой скорби на лицѣ. Посѣтилъ его и докторъ Хоботовъ. Онъ принесъ стклянку съ бромистымъ каліемъ и приказалъ Никитѣ покурить въ палатѣ чѣмъ-нибудь.

Подъ вечеръ Андрей Ефимычъ умеръ отъ апоплексическаго удара. Сначала онъ почувствовалъ потрясающій ознобъ и тошноту; что-то отвратительное, какъ казалось, проникая во все тѣло, даже въ пальцы, потянуло отъ желудка къ головѣ и залило глаза и уши. Позеленѣло въ глазахъ. Андрей Ефимычъ понялъ, что ему пришелъ конецъ, и вспомнилъ, что Иванъ Дмитричъ, Михаилъ Аверьянычъ и милліоны людей вѣрятъ въ безсмертіе. А вдругъ оно есть? Но безсмертія ему не хотѣлось, и онъ думалъ о немъ только одно мгновеніе. Стадо оленей, необыкновенно красивыхъ и граціозныхъ, о которыхъ онъ читалъ вчера, пробѣжало мимо него; потомъ баба протянула къ нему руку съ заказнымъ письмомъ... Сказалъ что-то Михаилъ Аверьянычъ. Потомъ все исчезло, и Андрей Ефимычъ забылся навѣки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли въ часовню. Тамъ онъ лежалъ на столѣ съ открытыми глазами, и луна ночью освѣщала его. Утромъ пришелъ Сергѣй Сергѣичъ, набожно помолился на Распятіе и закрылъ своему бывшему начальнику глаза.

Черезъ день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронахъ были только Михаилъ Аверьянычъ и Дарьюшка.

ГУСЕВЪ.

I.

Уже потемнѣло, скоро ночь.

Гусевъ, безсрочно-отпускной рядовой, приподнимается на койкѣ и говоритъ вполголоса:

— Слышишь, Павелъ Иванычъ? Мнѣ одинъ солдатъ въ Сучанѣ сказывалъ: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наѣхало и днище себѣ проломило.

Человѣкъ неизвѣстнаго званія, къ которому онъ обращается и котораго всѣ въ судовомъ лазаретѣ зовутъ Павломъ Иванычемъ, молчитъ, какъ будто не слышитъ.

И опять наступаетъ тишина... Вѣтеръ гуляетъ по снастямъ, стучитъ винтъ, хлещутъ волны, скрипятъ койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо и кажется, что все кругомъ спитъ и безмолвствуетъ. Скучно. Тѣ трое больныхъ— два солдата и одинъ матросъ — которые весь день играли въ карты, уже спятъ и бредятъ.

Кажется, начинаетъ покачивать. Койка подъ Гусевымъ медленно поднимается и опускается, точно вздыхаетъ—и этакъ разъ, другой, третій... Что-то ударилось о полъ и зазвенѣло: должно-быть, кружка упала.

— Вѣтеръ съ цѣпи сорвался... — говоритъ Гусевъ, прислушиваясь.

На этотъ разъ Павелъ Иванычъ кашляетъ и отвѣчаетъ раздраженно:

— То у тебя судно на рыбу наѣхало, то вѣтеръ съ цѣпи сорвался... Вѣтеръ звѣрь, что ли, что съ цѣпи срывается?

— Такъ крещеные говорятъ.

— И крещеные такіе же невѣжды, какъ ты... Мало ли чего они не говорятъ? Надо свою голову имѣть на плечахъ и разсуждать. Безсмысленный человѣкъ.

Павелъ Иванычъ подверженъ морской болѣзни. Когда качаетъ, онъ обыкновенно сердится и приходитъ въ раздраженіе отъ малѣйшаго пустяка. А сердиться, по мнѣнію Гусева, положительно не на что. Что страннаго, или мудренаго, напримѣръ, хоть въ рыбѣ, или въ вѣтрѣ, который срывается съ цѣпи? Положимъ, что рыба величиной съ гору и что спина у нея твердая, какъ у осетра; также положимъ, что тамъ, гдѣ конецъ свѣта, стоятъ толстыя каменныя стѣны, а къ стѣнамъ прикованы злые вѣтры... Если они не сорвались съ цѣпи, то почему же они мечутся по всему морю, какъ угорѣлые, и рвутся, словно собаки? Если ихъ не приковываютъ, то куда же они дѣваются, когда бываетъ тихо?

Гусевъ долго думаетъ о рыбахъ, величиною съ гору, и о толстыхъ, заржавленныхъ цѣпяхъ, потомъ ему становится скучно, и онъ начинаетъ думать о родной сторонѣ, куда теперь возвращается онъ послѣ пятилѣтней службы на Дальнемъ Востокѣ. Рисуется ему громадный прудъ, занесенный снѣгомъ... На одной сторонѣ пруда фарфоровый заводъ кирпичнаго цвѣта, съ высокой трубой и съ облаками чернаго дыма; на другой сторонѣ—деревня... Изъ двора, пятаго съ краю, ѣдетъ въ саняхъ братъ Алексѣй; позади него сидятъ сынишка Ванька, въ большихъ валенкахъ, и дѣвчонка Акулька, тоже въ валенкахъ. Алексѣй выпивши, Ванька смѣется, а Акулькина лица не видать—закуталась.

«Неровенъ часъ, дѣтей поморозитъ...» — думаетъ Гусевъ.—Пошли имъ, Господи,—шепчетъ онъ:—ума-разума, чтобъ родителей почитали и умнѣй отца-матери не были...

— Тутъ нужны новыя подметки,—бредитъ басомъ больной матросъ.—Да, да!

Мысли у Гусева обрываются, и вмѣсто пруда вдругъ ни къ селу, ни къ городу показывается большая бычья голова безъ глазъ, а лошадь и сани ужъ не ѣдутъ, а кружатся въ черномъ дыму. Но онъ все-таки радъ, что повидалъ родныхъ. Радость захватываетъ у него дыханіе, бѣгаетъ мурашками по тѣлу, дрожитъ въ пальцахъ.

— Привелъ Господь повидаться!—бредитъ онъ, но тотчасъ же открываетъ глаза и ищетъ въ потемкахъ воду.

Онъ пьетъ и ложится, и опять ѣдутъ сани, потомъ опять бычья голова безъ глазъ, дымъ, облака... И такъ до разсвѣта.

II.

Сначала въ потемкахъ обозначается синій кружокъ—это круглое окошечко; потомъ Гусевъ мало-по-малу начинаетъ различать своего сосѣда по койкѣ, Павла Иваныча. Этотъ человѣкъ спитъ сидя, такъ какъ въ лежачемъ положеніи онъ задыхается. Лицо у него сѣрое, носъ длинный, острый, глаза отъ того, что онъ страшно исхудалъ, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на головѣ длинные... Глядя на лицо, никакъ не поймешь, какого онъ званія: баринъ ли, купецъ или мужицкаго званія? Судя по выраженію и длиннымъ волосамъ, онъ какъ будто бы постникъ, монастырскій послушникъ, а прислушаешься къ его словамъ—выходитъ какъ будто бы и не монахъ. Отъ кашля, духоты и отъ своей болѣзни онъ изнемогъ, тяжело дышитъ и шевелитъ высохшими губами. Замѣтивъ, что Гусевъ глядитъ на него, онъ поворачивается къ нему лицомъ и говоритъ:

— Я начинаю догадываться... Да... Я теперь отлично все понимаю.

— Что вы понимаете, Павелъ Иванычъ?

— А вотъ что... Мнѣ все казалось страннымъ, какъ это вы, тяжело больные, вмѣсто того, чтобы находиться въ покоѣ, очутились на пароходѣ, гдѣ и духота, и жаръ, и качка, все, однимъ словомъ, угрожаетъ вамъ смертью, теперь же для меня все ясно... Да... Ваши доктора сдали васъ на пароходъ, чтобы отвязаться отъ васъ. Надоѣло съ вами возиться, со скотами... Денегъ вы имъ не платите, возня съ вами, да и отчетность своими смертями портите — сталобыть, скоты! А отдѣлаться отъ васъ не трудно... Для этого нужно только, во-первыхъ, не имѣть совѣсти и человѣколюбія и, во-вторыхъ, обмануть пароходное начальство. Первое условіе можно хоть и не считать, въ этомъ отношеніи мы артисты, а второе всегда удается при нѣкоторомъ навыкѣ. Въ толпѣ четырехсотъ здоровыхъ солдатъ и матросовъ пять больныхъ не бросаются въ глаза; ну, согнали васъ на пароходъ, смѣшали со здоровыми, наскоро сосчитали и въ суматохѣ ничего дурного не замѣтили, а

когда пароходъ отошелъ, то и увидѣли: на палубѣ валяются параличные да чахоточные въ послѣднемъ градусѣ...

Гусевъ не понимаетъ Павла Иваныча; думая, что ему дѣлаютъ выговоръ, онъ говоритъ въ свое оправданіе:

— Я лежалъ на палубѣ потому, что силъ не было; когда насъ изъ баржи на пароходъ выгружали, я шибко озябъ.

— Возмутительно! — продолжаетъ Павелъ Иванычъ. — Главное, отлично вѣдь знаютъ, что вы не перенесете этого далекаго перехода, а все-таки сажаютъ васъ сюда! Ну, положимъ, до Индѣйскаго океана вы дойдете, а потомъ что? Страшно подумать... И это благодарность за вѣрную безпорочную службу!

Павелъ Иванычъ дѣлаетъ злые глаза, брезгливо морщится и говоритъ, задыхаясь:

— Вотъ бы кого въ газетахъ расщелкать такъ, чтобы перья посыпались!

Больные два солдата и матросъ проснулись и уже играютъ въ карты. Матросъ полулежитъ на койкѣ, солдаты сидятъ возлѣ на полу и въ самыхъ неудобныхъ позахъ. У одного солдата правая рука въ повязкѣ и на кисти наворочена цѣлая шапка, такъ что карты держитъ онъ въ правой подмышкѣ или въ локтевомъ сгибѣ, а ходитъ лѣвой рукой. Сильно качаетъ. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лѣкарства принять.

— Ты въ денщикахъ служилъ? — спрашиваетъ Павелъ Иванычъ у Гусева.

— Точно такъ, въ денщикахъ.

— Боже мой, Боже мой! — говоритъ Павелъ Иванычъ и печально покачиваетъ головой. — Вырвать человѣка изъ роднаго гнѣзда, тащить пятнадцать тысячъ верстъ, потомъ вогнать въ чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтобъ сдѣлать изъ него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Какъ много логики!

— Дѣло не трудное, Павелъ Иванычъ. Встанешь утромъ, сапоги почистишь, самоваръ поставишь, комнаты уберешь, а потомъ и дѣлать нечего. Поручикъ цѣлый день планты чертитъ, а ты хочешь — Богу молись, хочешь — книжки читай, хочешь — на улицу ступай. Дай Богъ всякому такой жизни.

— Да, очень хорошо! Поручикъ планты чертитъ, а ты

весь день на кухнѣ сидишь и по родинѣ тоскуешь... Планты.. Не въ плантахъ дѣло, а въ жизни человѣческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.

— Оно, конечно, Павелъ Иванычъ, дурному человѣку нигдѣ пощады нѣтъ, ни дома, ни на службѣ, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимаютъ... За пять лѣтъ я ни разу въ карцерѣ не сидѣлъ, а битъ былъ, дай Богъ память, не больше одного раза...

— За что?

— За драку. У меня рука тяжелая, Павелъ Иванычъ. Вошли къ намъ во дворъ четыре манзы; дрова носили, что ли—не помню. Ну, мнѣ скучно стало, я имъ того, бока помялъ, у одного проклятаго изъ носа кровь пошла... Поручикъ увидѣлъ въ окошко, осерчалъ и далъ мнѣ по-уху.

— Глупый, жалкій ты человѣкъ...—шепчетъ Павелъ Иванычъ.—Ничего ты не понимаешь.

Онъ совсѣмъ изнемогъ отъ качки и закрылъ глаза; голова у него то откидывается назадъ, то опускается на грудь. Нѣсколько разъ пробуетъ онъ лечь, но ничего у него не выходитъ: мѣшаетъ удушье.

— А за что ты четырехъ манзъ побилъ?—спрашиваетъ онъ, немного погодя.

— Такъ. Во дворъ вошли, я и побилъ.

И наступаетъ тишина... Картежники играютъ часа два, съ азартомъ и съ руганью, но качка утомляетъ и ихъ; они бросаютъ карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой прудъ, заводъ, деревня... Опять ѣдутъ сани, опять Ванька смѣется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите, молъ, люди добрые, у меня не такіе валенки, какъ у Ваньки, а новые.

— Шестой годочекъ пошелъ, а все еще разума нѣтъ!—бредитъ Гусевъ.—Замѣсто того, чтобы ноги задирать, поди-кась дядькѣ служивому напиться принеси. Гостинца дамъ.

Вотъ Андронъ съ кремневымъ ружьемъ на плечѣ несетъ убитаго зайца, а за нимъ идетъ дряхлый жидъ Исайчикъ и предлагаетъ ему промѣнять зайца на кусокъ мыла; вотъ черная телочка въ сѣняхъ, вотъ Домна рубаху шьетъ и о чемъ-то плачетъ, а вотъ опять бычья голова безъ глазъ, черный дымъ...

Наверху кто-то громко крикнулъ, пробѣжало нѣсколько матросовъ; кажется, протащили по палубѣ что-то громоздкое, или что-то треснуло. Опять пробѣжали... Ужъ не случилось ли несчастье? Гусевъ поднимаетъ голову, прислушивается и видитъ: два солдата и матросъ опять играютъ въ карты; Павелъ Иванычъ сидитъ и шевелитъ губами. Душно, нѣтъ силъ дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.

Вдругъ съ солдатомъ-картежникомъ дѣлается что-то странное... Онъ называетъ черви бубнами, путается въ счетѣ и роняетъ карты, потомъ испуганно и глупо улыбается и обводитъ всѣхъ глазами.

— Я сейчасъ, братцы... — говоритъ онъ и ложится на полъ.

Всѣ въ недоумѣніи. Его окликаютъ, онъ не отзывается.

— Степанъ, можетъ, тебѣ нехорошо? а?—спрашиваетъ другой солдатъ съ повязкой на рукѣ.—Можетъ, попа призвать? а?

— Ты, Степанъ, воды выпей...—говоритъ матросъ.—На, братишка, пей.

— Ну, что ты его по зубамъ кружкой колотишь—сердится Гусевъ.—Нешто не видишь, голова садовая?

— Что?

— Что! — передразниваетъ Гусевъ. — Въ немъ дыханія нѣтъ, померъ! Вотъ тебѣ—и что! Экій народъ не разумный, Господи, ты Боже мой!..

III.

Качки нѣтъ, и Павелъ Иванычъ повеселѣлъ. Онъ уже не сердится. Выраженіе лица у него хвастливое, задорное и насмѣшливое. Онъ какъ будто хочетъ сказать: «Да, сейчасъ я скажу вамъ такую штуку, что вы всѣ отъ смѣха животы себѣ порвете». Круглое окошечко открыто, и на Павла Иваныча дуетъ мягкій вѣтерокъ. Слышны голоса, шлепанье веселъ о воду... Подъ самымъ окошечкомъ кто-то завываетъ тоненькимъ, противнымъ голоскомъ; должно-быть, китаецъ поетъ.

— Да, вотъ мы и на рейдѣ,—говоритъ Павелъ Иванычъ, насмѣшливо улыбаясь.—Еще какой-нибудь одинъ мѣсяцъ, и мы въ Россіи. Нда-съ, многоуважаемые господа солдафоны. Пріѣду въ Одессу, а оттуда прямо въ Харьковъ.

Въ Харьковѣ у меня литераторъ пріятель. Приду къ нему и скажу: ну, братъ, оставь на время свои гнусные сюжеты насчетъ бабьихъ амуровъ и красотъ природы и обличай двуногую мразь... Вотъ тебѣ темы...

Минуту онъ думаетъ о чемъ-то, потомъ говоритъ:

— Гусевъ, а ты знаешь, какъ я надулъ ихъ?

— Кого, Павелъ Иванычъ?

— Да этихъ самыхъ... Понимаешь ли, тутъ на пароходѣ существуютъ только первый и третій классы, причемъ въ третьемъ классѣ дозволяется ѣхать однимъ только мужикамъ, то-есть хамамъ. Если же ты въ пиджакѣ и хоть издали похожъ на барина, или на буржуа, то изволь ѣхать въ первомъ классѣ. Хоть тресни, а выкладывай пятьсотъ рублей. Къ чему, спрашиваю, завели вы такой порядокъ? Ужъ не хотите ли поднять этимъ престижъ россійской интеллигенціи? «Нисколько. Не пускаемъ васъ просто потому, что въ третьемъ классѣ нельзя ѣхать порядочному человѣку: ужъ очень тамъ скверно и безобразно». Да-съ? Благодарю, что такъ заботитесь о порядочныхъ людяхъ. Но во всякомъ случаѣ, скверно тамъ, или хорошо, а пятисотъ рублей у меня нѣтъ. Казны я не грабилъ, инородцевъ не эксплоатировалъ, контрабандой не занимался, никого не запоролъ до-смерти, а потому судите: имѣю ли я право возсѣдать въ первомъ классѣ, а тѣмъ паче причислять себя къ россійской интеллигенціи? Но ихъ логикой не проймешь... Пришлось прибѣгнуть къ надувательству. Надѣлъ я чуйку и большіе сапоги, состроилъ пьяную хамскую рожу и иду къ агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородіе, билетишко»...

— А вы сами какого званія?—спрашиваетъ матросъ.

— Духовнаго. Мой отецъ былъ честный попъ. Всегда говорилъ великимъ міра сего правду въ глаза и за это много страдалъ.

Павелъ Иванычъ утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжаетъ:

— Да, я всегда говорю въ лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. Въ этомъ отношеніи между мной и вами—разница громадная. Вы люди темные, слѣпые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вамъ говорятъ, что вѣтеръ съ цѣпи срывается, что вы скоты, печенѣги, вы и вѣрите; по шеѣ васъ бьютъ, вы

ручку цѣлуете; ограбитъ васъ какое-нибудь животное въ енотовой шубѣ и потомъ швырнетъ вамъ пятіалтынный на чай, а вы: «пожалуйте, баринъ, ручку». Паріи вы, жалкіе люди... Я же другое дѣло. Я живу сознательно, я все вижу, какъ видитъ орелъ или ястребъ, когда летаетъ надъ землей, и все понимаю. Я воплощенный протестъ. Вижу произволъ—протестую, вижу ханжу и лицемѣра—протестую, вижу торжествующую свинью — протестую. И я непобѣдимъ, никакая испанская инквизиція не можетъ заставить меня замолчать. Да... Отрѣжь мнѣ языкъ—буду протестовать мимикой, замуравь меня въ погребъ — буду кричать оттуда такъ, что за версту будетъ слышно, или уморю себя голодомъ, чтобъ на ихъ черной совѣсти однимъ пудомъ было больше, убей меня—буду являться тѣнью. Всѣ знакомые говорятъ мнѣ: «Невыносимѣйшій вы человѣкъ, Павелъ Иванычъ!» Горжусь такой репутаціей. Прослужилъ на Дальнемъ Востокѣ три года, а оставилъ послѣ себя память на сто лѣтъ: со всѣми разругался. Пріятели пишутъ изъ Россіи: «Не пріѣзжай». А я вотъ возьму, да на зло и пріѣду... Да... Вотъ это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.

Гусевъ не слушаетъ и смотритъ въ окошечко. На прозрачной, нѣжно-бирюзовой водѣ, вся залитая ослѣпительнымъ, горячимъ солнцемъ, качается лодка. Въ ней стоятъ голые китайцы, протягиваютъ вверхъ клѣтки съ канарейками и кричатъ:

— Поетъ! Поетъ!

О лодку стукнулась другая лодка, пробѣжалъ паровой катеръ. А вотъ еще лодка: сидитъ въ ней толстый китаецъ и ѣстъ палочками рисъ. Лѣниво колышется вода, лѣниво носятся надъ нею бѣлыя чайки.

«Вотъ этого жирнаго по шеѣ бы смазать...»—думаетъ Гусевъ, глядя на толстаго китайца и зѣвая.

Онъ дремлетъ, и кажется ему, что вся природа находится въ дремотѣ. Время бѣжитъ быстро. Незамѣтно проходитъ день, незамѣтно наступаютъ потемки... Пароходъ не стоитъ ужъ на мѣстѣ, а идетъ куда-то дальше.

IV.

Проходитъ два дня. Павелъ Иванычъ уже не сидитъ, а лежитъ; глаза у него закрыты, носъ сталъ какъ будто острѣе.

— Павелъ Иванычъ!—окликаетъ его Гусевъ.—А, Павелъ Иванычъ!

Павелъ Иванычъ открываетъ глаза и шевелитъ губами.

— Вамъ нездорово?

— Ничего...—отвѣчаетъ Павелъ Иванычъ, задыхаясь.— Ничего, даже, напротивъ... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...

— Ну, и слава Богу, Павелъ Иванычъ.

— Какъ сравнишь себя съ вами, жалко мнѣ васъ... бѣднягъ. Легкія у меня здоровыя, а кашель это желудочный... Я могу перенести адъ, не то что Красное море! Къ тому же, я отношусь критически и къ болѣзни своей, и къ лѣкарствамъ. А вы... вы темные... Тяжело вамъ, очень, очѣнь тяжело!

Качки нѣтъ, тихо, но зато душно и жарко, какъ въ банѣ; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусевъ обнялъ колѣни, положилъ на нихъ голову и думаетъ о родной сторонѣ. Боже мой, въ такую духоту какое наслажденіе думать о снѣгѣ и холодѣ! Ѣдешь на саняхъ; вдругъ лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорогъ, ни канавъ, ни овраговъ, несутся онѣ, какъ бѣшеныя, по всей деревнѣ, черезъ прудъ, мимо завода, потомъ по полю... «Держи!—кричатъ во все горло заводскіе и встрѣчные.—Держи!» Но зачѣмъ держать! Пусть рѣзкій, холодный вѣтеръ бьетъ въ лицо и кусаетъ руки, пусть комья снѣга, подброшенные копытами, падаютъ на шапку, за воротникъ на шею, на грудь, пусть визжатъ полозья и обрываются постромки и вальки, чортъ съ ними совсѣмъ! А какое наслажденіе, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху въ сугробъ, прямо лицомъ въ снѣгъ, а потомъ встанешь весь бѣлый, съ сосульками на усахъ; ни шапки, ни рукавицъ, поясъ развязался... Люди хохочутъ, собаки лаютъ...

Павелъ Иванычъ открываетъ наполовину одинъ глазъ, глядитъ имъ на Гусева и спрашиваетъ тихо:

— Гусевъ, твой командиръ кралъ?

— А кто жъ его знаетъ, Павелъ Иванычъ! Мы не знаемъ, до насъ не доходитъ.

И затѣмъ много времени проходитъ въ молчаніи. Гусевъ думаетъ, бредитъ и то и дѣло пьетъ воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится онъ, чтобъ съ нимъ не за-

говорили. Проходитъ часъ, другой, третій; наступаетъ вечеръ, потомъ ночь, но онъ не замѣчаетъ этого, а все сидитъ и думаетъ о морозѣ.

Слышно, какъ будто кто вошелъ въ лазаретъ, раздаются голоса, но проходитъ минутъ пять, и все смолкаетъ.

— Царство небесное, вѣчный покой,—говоритъ солдатъ съ повязкой на рукѣ.—Неспокойный былъ человѣкъ!

— Что?—спрашиваетъ Гусевъ.—Кого?

— Померъ. Сейчасъ наверхъ унесли.

— Ну, что жъ,—бормочетъ Гусевъ зѣвая.—Царство небесное.

— Какъ по-твоему, Гусевъ?—спрашиваетъ послѣ нѣкотораго молчанія солдатъ съ повязкой.—Будетъ онъ въ царствѣ небесномъ или нѣтъ?

— Про кого ты?

— Про Павла Иваныча.

— Будетъ... мучился долго. И то взять, изъ духовнаго званія, а у поповъ родни много. Замолятъ.

Солдатъ съ повязкой садится на койку къ Гусеву и говоритъ вполголоса:

— И ты, Гусевъ, не жилецъ на этомъ свѣтѣ. Не доѣдешь ты до Россіи.

— Нешто докторъ или фельдшеръ сказывалъ?—спрашиваетъ Гусевъ.

— Не то, чтобы кто сказывалъ, а видать... Человѣка, который скоро помретъ, сразу видно. Не ѣшь ты, не пьешь, исхудалъ—глядѣть страшно. Чахотка, однимъ словомъ. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а къ тому, можетъ ты захочешь причаститься и собороваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдалъ бы ты ихъ старшему офицеру.

— Я домой не написалъ...—вздыхаетъ Гусевъ.—Помру, и не узнаютъ.

— Узнаютъ,—говоритъ басомъ больной матросъ.—Когда помрешь, здѣсь запишутъ въ вахтенный журналъ, въ Одессѣ дадутъ воинскому начальнику выписку, а тотъ пошлетъ въ волость или куда тамъ...

Гусеву становится жутко отъ такого разговора и начинаетъ его томить какое-то желаніе. Пьетъ онъ воду—не то; тянется къ круглому окошечку и вдыхаетъ горячій, влажный воздухъ—не то; старается думать о родной сторонѣ, о морозѣ—не то... Наконецъ, ему кажется, что если

онъ еще хоть одну минуту пробудетъ въ лазаретѣ, то непремѣнно задохнется.

— Тяжко, братцы...—говоритъ онъ.—Я пойду наверхъ. Сведите меня ради Христа наверхъ!

— Ладно,—соглашается солдатъ съ повязкой. — Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.

Гусевъ обнимаетъ солдата за шею, тотъ обхватываетъ его здоровою рукою и несетъ наверхъ. На палубѣ въ повалку спятъ безсрочно-отпускные солдаты и матросы; ихъ такъ много, что трудно пройти.

— Становись наземь, — говоритъ тихо солдатъ съ повязкой.—Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...

Темно. Нѣтъ огней ни на палубѣ, ни на мачтахъ, ни кругомъ на морѣ. На самомъ носу стоитъ неподвижно, какъ статуя, часовой, но похоже на то, какъ будто и онъ спитъ. Кажется, что пароходъ предоставленъ собственной волѣ и идетъ, куда хочетъ.

— Въ море теперь Павла Иваныча бросятъ...—говоритъ солдатъ съ повязкой.—Въ мѣшокъ да въ воду.

— Да. Порядокъ такой.

— А дома въ землѣ лучше лежать. Все хоть мать придетъ на могилку, да поплачетъ.

— Извѣстно.

Запахло навозомъ и сѣномъ. Понуривъ головы, стоятъ у борта быки. Разъ, два, три... восемь штукъ! А вотъ и маленькая лошадка. Гусевъ протягиваетъ руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочетъ укусить его за рукавъ.

— Прроклятая...—сердится Гусевъ.

Оба, онъ и солдатъ, тихо пробираются къ носу, потомъ становятся у борта и молча глядятъ то вверхъ, то внизъ. Наверху глубокое небо, ясныя звѣзды, покой и тишина—точь-въ-точь какъ дома въ деревнѣ, внизу же—темнота и безпорядокъ. Неизвѣстно для чего, шумятъ высокія волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всѣхъ, и давитъ, и гонитъ другую; на нее съ шумомъ, отсвѣчивая своей бѣлой гривой, налетаетъ третья, такая же свирѣпая и безобразная.

У моря нѣтъ ни смысла, ни жалости. Будь пароходъ поменьше и сдѣланъ не изъ толстаго желѣза, волны разбили бы его безъ всякаго сожалѣнія и сожрали бы всѣхъ

людей, не разбирая святыхъ и грѣшныхъ. У парохода тоже безсмысленное и жестокое выраженіе. Это носатое чудовище претъ впередъ и рѣжетъ на своемъ пути милліоны волнъ; оно не боится ни потемокъ, ни вѣтра, ни пространства, ни одиночества, ему все нипочемъ, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы ихъ, не разбирая тоже святыхъ и грѣшныхъ.

— Гдѣ мы теперь?—спрашиваетъ Гусевъ.

— Не знаю. Должно, въ океанѣ.

— Не видать земли...

— Гдѣ жъ! Говорятъ, только черезъ семь дней увидимъ.

Оба солдата смотрятъ на бѣлую пѣну, отсвѣчивающую фосфоромъ, молчатъ и думаютъ. Первый нарушаетъ молчаніе Гусевъ.

— А ничего нѣту страшнаго, — говоритъ онъ. — Только жутко, словно въ темномъ лѣсу сидишь, а ежели бъ, положимъ, спустили сейчасъ на воду шлюпку и офицеръ приказалъ ѣхать за сто верстъ въ море рыбу ловить — поѣхалъ бы. Или, скажемъ, крещеный упалъ бы сейчасъ въ воду—упалъ бы и я за имъ. Нѣмца или манзу не сталъ бы спасать, а за крещенымъ полѣзъ бы.

— А помирать страшно?

— Страшно. Мнѣ хозяйства жалко. Братъ у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьетъ, родителей не почитаетъ. Безъ меня все пропадетъ, и отецъ со старухой, гляди, по-міру пойдутъ. Одначе, братъ, ноги у меня не стоятъ, да и душно тутъ... Пойдемъ спать.

V.

Гусевъ возвращается въ лазаретъ и ложится на койку. Попрежнему томитъ его неопредѣленное желаніе, и онъ никакъ не можетъ понять, что̀ ему нужно. Въ груди давитъ, въ головѣ стучитъ, во рту такъ сухо, что трудно пошевельнуть языкомъ. Онъ дремлетъ и бредитъ, и, замученный кошмарами, кашлемъ и духотой, къ утру крѣпко засыпаетъ. Снится ему, что въ казармѣ только-что вынули хлѣбъ изъ печи, а онъ залѣзъ въ печь и парится въ ней березовымъ вѣникомъ. Спитъ онъ два дня, а на третій въ полдень приходятъ сверху два матроса и выносятъ его изъ лазарета.

Его зашиваютъ въ парусину и, чтобы онъ сталъ тяжелѣе, кладутъ вмѣстѣ съ нимъ два желѣзныхъ колосника.

Зашитый въ парусину, онъ становится похожимъ на морковь, или рѣдьку: у головы широко, къ ногамъ узко... Передъ заходомъ солнца выносятъ его на палубу и кладутъ на доску; одинъ конецъ доски лежитъ на бортѣ, другой на ящикѣ, поставленномъ на табуретѣ. Вокругъ стоятъ безсрочно-отпускные и команда безъ шапокъ.

— Благословенъ Богъ нашъ,—начинаетъ священникъ:— всегда, нынѣ и присно и вовѣки вѣковъ!

— Аминь!—поютъ три матроса.

Безсрочно-отпускные и команда крестятся и поглядываютъ въ сторону на волны. Странно, что человѣкъ зашитъ въ парусину и что онъ полетитъ сейчасъ въ волны. Неужели это можетъ случиться со всякимъ?

Священникъ посыпаетъ Гусева землей и кланяется. Поютъ вѣчную память.

Вахтенный приподнимаетъ конецъ доски, Гусевъ сползаетъ съ нея, летитъ внизъ головой, потомъ переворачивается въ воздухѣ и — бултыхъ! Пѣна покрываетъ его, и мгновеніе кажется онъ окутаннымъ въ кружева, но прошло это мгновеніе—и онъ исчезаетъ въ волнахъ.

Онъ быстро идетъ ко дну. Дойдетъ ли? До дна, говорятъ, четыре версты. Пройдя саженъ восемь-десять, онъ начинаетъ идти тише и тише, мѣрно покачивается, точно раздумываетъ, и, увлекаемый теченіемъ, ужъ несется въ сторону быстрѣе, чѣмъ внизъ.

Но вотъ встрѣчаетъ онъ на пути стаю рыбокъ, которыхъ называютъ лоцманами. Увидѣвъ темное тѣло, рыбки останавливаются, какъ вкопанныя, и вдругъ всѣ разомъ поворачиваютъ назадъ и исчезаютъ. Меньше, чѣмъ черезъ минуту, онѣ быстро, какъ стрѣлы, опять налетаютъ на Гусева и начинаютъ зигзагами пронизывать вокругъ него воду...

Послѣ этого показывается другое темное тѣло. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замѣчая Гусева, подплываетъ подъ него, и онъ опускается къ ней на спину, затѣмъ она поворачивается вверхъ брюхомъ, нѣжится въ теплой, прозрачной водѣ и лѣниво открываетъ пасть съ двумя рядами зубовъ. Лоцмана въ восторгѣ; они остановились и смотрятъ, что будетъ дальше. Поигравши тѣломъ, акула нехотя подставляетъ подъ него пасть, осторожно касается зубами и парусина разрывается во всю длину

тѣла, отъ головы до ногъ; одинъ колосникъ выпадаетъ и, испугавши лоцмановъ, ударивши акулу по боку, быстро идетъ ко дну.

А наверху въ это время, въ той сторонѣ, гдѣ заходитъ солнце, скучиваются облака: одно облако похоже на тріумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Изъза облаковъ выходитъ широкій зеленый лучъ и протягивается до самый средины неба; немного погодя, рядомъ съ этимъ ложится фіолетовый, рядомъ съ этимъ золотой, потомъ розовый... Небо становится нѣжно-сиреневымъ. Глядя на это великолѣпное, очаровательное небо, океанъ сначала хмурится, но скоро самъ пріобрѣтаетъ цвѣта ласковые, радостные, страстные, какіе на человѣческомъ языкѣ и назвать трудно.

БАБЫ.

Въ селѣ Райбужѣ, какъ разъ противъ церкви, стоитъ двухъ этажный домъ на каменномъ фундаментѣ и съ желѣзной крышей. Въ нижнемъ этажѣ живетъ со своей семьей самъ хозяинъ, Филиппъ Ивановъ Кашинъ, по прозванію Дюдя, а въ верхнемъ, гдѣ лѣтомъ бываетъ очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проѣзжіе чиновники, купцы и помѣщики. Дюдя арендуетъ участки, держитъ на большой дорогѣ кабакъ, торгуетъ и дегтемъ, и медомъ, и скотомъ, и сороками, и у него ужъ набралось тысячъ восемь, которыя лежатъ въ городѣ въ банкѣ.

Старшій сынъ его Ѳедоръ служитъ на заводѣ въ старшихъ механикахъ и, какъ говорятъ про него мужики, далеко въ гору пошелъ, такъ что до него теперь рукой не достанешь; жена Ѳедора, Софья, некрасивая и болѣзненная баба, живетъ дома при свекрѣ, все плачетъ и каждое воскресенье ѣздитъ въ больницу лѣчиться. Второй сынъ Дюди, горбатенькій Алешка, живетъ дома при отцѣ. Его недавно женили на Варварѣ, которую взяли изъ бѣдной семьи: это баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуютъ, чтобы самоваръ имъ подавала и постели постилала непремѣнно Варвара.

Въ одинъ іюньскій вечеръ, когда заходило солнце и въ воздухѣ пахло сѣномъ, теплымъ навозомъ и парнымъ молокомъ, во дворъ къ Дюдѣ въѣхала простая повозка, на которой сидѣло трое: мужчина лѣтъ тридцати въ парусинковомъ костюмѣ, рядомъ съ нимъ мальчикъ, лѣтъ семи-

восьми, въ длинномъ черномъ сюртукѣ съ большими костяными пуговицами, и молодой парень въ красной рубахѣ за кучера.

Парень распрягъ лошадей и повелъ ихъ на улицу прохаживать, а проѣзжій умылся, помолился на церковь, потомъ разостлалъ около повозки полость и сѣлъ съ мальчикомъ ужинать; ѣлъ онъ не спѣша, степенно, и Дюдя, видавшій на своемъ вѣку много проѣзжихъ, узналъ въ немъ по манерамъ человѣка дѣлового, серьезнаго и знающаго себѣ цѣну.

Дюдя сидѣлъ на крылечкѣ въ одной жилеткѣ, безъ шапки и ждалъ, когда заговоритъ проѣзжій. Онъ привыкъ къ тому, что проѣзжіе по вечерамъ на сонъ грядущій разсказывали всякія исторіи, и любилъ это. Его старуха Аѳанасьевна и невѣстка Софья доили подъ навѣсомъ коровъ; другая невѣстка Варвара сидѣла у открытаго окна въ верхнемъ этажѣ и ѣла подсолнухи.

— Мальчишка этотъ твой сынокъ будетъ, стало?—спросилъ Дюдя у проѣзжаго.

— Нѣтъ, пріемышекъ, сиротка. Взялъ его къ себѣ за спасеніе души.

Разговорились. Проѣзжій оказался человѣкомъ словоохотливымъ и краснорѣчивымъ, и Дюдя изъ разговора узналъ, что это мѣщанинъ изъ города, домовладѣлецъ, что зовутъ его Матвѣемъ Саввичемъ, что ѣдетъ онъ теперь смотрѣть сады, которые арендуетъ у нѣмцевъ-колонистовъ, и что мальчика зовутъ Кузькой. Вечеръ былъ жаркій и душный, спать никому не хотѣлось. Когда стемнѣло и на небѣ кое-гдѣ замигали блѣдныя звѣзды, Матвѣй Саввичъ сталъ разсказывать, откуда у него взялся Кузька. Аѳанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали, а Кузька пошелъ къ воротамъ.

— Это, дѣдушка, исторія подробная до чрезвычайности—началъ Матвѣй Саввичъ:—и если тебѣ разсказать все, какъ было, то и ночи не хватитъ. Лѣтъ десять назадъ, на нашей улицѣ, какъ разъ рядомъ со мной въ домикѣ, гдѣ теперь свѣчной заводъ и маслобойня, жила Марѳа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нея было два сына: одинъ служилъ въ кондукторахъ на чугункѣ, а другой, Вася, мой сверстникъ, жилъ дома при маменькѣ. Покойный старикъ Каплунцевъ держалъ лошадей, паръ пять, и посылалъ по

городу ломовыхъ извозчиковъ; вдова этого дѣла не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, такъ что въ иные дни чистаго рублей пять выѣзжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистыхъ разводилъ и продавалъ охотникамъ; все, бывало, стоитъ на крышѣ, вѣникъ вверхъ швыряетъ и свиститъ, а турманы подъ самыми небесами, а ему все мало и еще выше хочется. Чижей и скворцовъ ловилъ, клѣтки мастерилъ... Пустое дѣло, а гляди по пустякамъ въ мѣсяцъ рублей десять набѣжитъ. Ну-съ, по прошествіи времени, у старушки отнялись ноги и слегла она въ постель. По причинѣ такого факта домъ остался безъ хозяйки, а это все равно, что человѣкъ безъ глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчасъ сваху, пятое-десятое, бабьи разговоры, и пошелъ нашъ Вася невѣстъ глядѣть. Засваталъ онъ у вдовы Самохвалихи Машеньку. Недолго думаючи, благословили и въ одну недѣлю все дѣло оборудовали. Дѣвочка молодая, лѣтъ семнадцати, маленькая, кургузенькая, но лицомъ бѣлая и пріятная, со всѣми качествами, какъ барышня; и приданое ничего себѣ: деньгами рублей пятьсотъ, коровенка, постель... А старуха, чуяло ея сердце, на третій же день послѣ свадьбы отправилась въ горній Іерусалимъ, идѣже нѣсть ни болѣзней, ни воздыханій. Молодые помянули и зажили. Прожили они съ полгодика великолѣпнымъ образомъ и вдругъ новое горе. Пришла бѣда, отворяй ворота: потребовали Васю въ присутствіе жребій вынимать. Взяли его, сердягу, въ солдаты и даже льготы не дали. Забрили лобъ и погнали въ Царство Польское. Божья воля, ничего не подѣлаешь. Когда съ женой во дворѣ прощался — ничего, а какъ взглянулъ послѣдній разъ на сѣнникъ съ голубями, залился ручьемъ. Глядѣть было жалко. Въ первое время Машенька, чтобъ скучно не было, взяла къ себѣ мать; та пожила до родовъ, когда вотъ этотъ самый Кузька родился, и поѣхала въ Обоянь къ другой дочкѣ, тоже замужней, и осталась Машенька одна съ ребеночкомъ. Пять ломовыхъ мужиковъ, народъ все пьяный, озорной; лошади, дроги, тамъ гляди заборъ обвалился, или въ трубѣ сажа загорѣлась—не женскаго ума дѣло, и стала она по сосѣдству ко мнѣ за каждымъ пустякомъ обращаться. Ну, придешь распорядишься, посовѣтуешь... Извѣстное дѣло, не безъ того, зайдешь въ домъ чаю выпьешь, поговоришь.

Человѣкъ я былъ молодой, умственный, любилъ поговорить о всякихъ предметахъ, она тоже была образованная и вѣжливая. Одѣвалась чистенько и лѣтомъ съ зонтикомъ ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчетъ политики, а ей лестно, она меня чаемъ и вареньемъ... Однимъ словомъ, чтобъ долго не расписывать, скажу тебѣ, дѣдушка, не прошло и года, какъ смутилъ меня нечистый духъ, врагъ рода человѣческаго. Сталъ я замѣчать, что въ который день не пойду къ ней, мнѣ словно не по-себѣ, скучно. И все придумываю, за чѣмъ бы къ ней сходить. «Вамъ, говорю, пора зимнія рамы вставлять», и цѣлый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы двѣ оставить. «Надо бы голубей Васиныхъ сосчитать, не пропали бы которые» — и все такъ. Все, бывало, съ ней черезъ заборъ разговариваю и подъ конецъ, чтобы недалеко было ходить, сдѣлалъ я въ заборѣ калиточку. На этомъ свѣтѣ отъ женскаго пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грѣшные, но и святые мужи совращались. Машенька меня отъ себя не отвадила. Вмѣсто того, чтобъ мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Сталъ я замѣчать, что ей тоже скучно и что все она около забора похаживаетъ и въ щелки въ мой дворъ смотритъ. Завертѣлись въ моей головѣ мозги отъ фантазіи. Въ четвергъ на Святой недѣлѣ иду рано утромъ, чуть свѣтъ, на базаръ, прохожу мимо ея воротъ, а нечистый тутъ какъ тутъ; поглядѣлъ я — у нея калитка съ этакой рѣшеточкой наверху,—а она стоитъ среди двора, уже проснувшись, и утокъ кормитъ. Я не удержался и окликнулъ. Она подошла и глядитъ на меня сквозь рѣшетку. Личико бѣлое, глазки ласковые, заспанные... Очень она мнѣ понравилась, и сталъ я ей комплименты говорить, словно мы не у воротъ, а на именинахъ, а она покраснѣла, смѣется и все смотритъ мнѣ въ самые глаза и не мигаетъ. Потерялъ я разумъ и началъ объяснять ей свои любовныя чувства... Она отперла калитку, впустила и съ того утра стали мы жить, какъ мужъ и жена.

Съ улицы во дворъ вошелъ горбатенькій Алешка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побѣжалъ въ домъ; черезъ минуту онъ выбѣжалъ изъ дома съ гармоникой и, звеня въ карманѣ мѣдными деньгами, щелкая на бѣгу подсолнухи, скрылся за воротами.

— А это кто у васъ?—спросилъ Матвѣй Саввичъ.

— Сынъ Алексѣй, — отвѣтилъ Дюдя. — Гулять пошелъ, подлецъ. Богъ его горбомъ обидѣлъ, такъ мы ужъ не очень взыскиваемъ.

— И все онъ гуляетъ съ ребятами, и все гуляетъ, — вздохнула Аѳанасьевна. — Передъ масляной женили его, думали—какъ лучше; а онъ, поди, еще хуже сталъ.

— Безъ пользы. Только чужую дѣвку осчастливили задаромъ,—сказалъ Дюдя.

Гдѣ-то за церковью запѣли великолѣпную печальную пѣсню. Нельзя было разобрать словъ, и слышались одни только голоса: два тенора и басъ. Оттого, что всѣ прислушались, во дворѣ стало тихо-тихо... Два голоса вдругъ оборвали пѣсню раскатистымъ смѣхомъ, а третій, теноръ, продолжалъ пѣть и взялъ такую высокую ноту, что всѣ невольно посмотрѣли вверхъ, какъ будто голосъ въ высотѣ своей достигалъ самаго неба. Варвара вышла изъ дому и, заслонивъ глаза рукою, какъ отъ солнца, поглядѣла на церковь.

— Это поповичи съ учителемъ,—сказала она.

Опять всѣ три голоса запѣли вмѣстѣ. Матвѣй Саввичъ вздохнулъ и продолжалъ:

— Такія-то дѣла, дѣдушка. Года черезъ два получили мы письмо отъ Васи изъ Варшавы. Пишетъ, что начальство отправляетъ его домой на поправку. Нездоровъ. Къ тому времени я дурь изъ головы выбросилъ, и за меня ужъ хорошую невѣсту сватали, и не зналъ я только, какъ съ любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить съ Машенькой, да не зналъ, съ какой стороны къ ней подступить, чтобъ бабьяго визгу не было. Письмо мнѣ руки развязало. Прочитали мы его съ Машенькой, она побѣлѣла, какъ снѣгъ, а я и говорю: — Слава Богу, теперь, говорю, значитъ, ты опять будешь мужняя жена.—А она мнѣ: «Не стану я съ нимъ жить». — Да вѣдь онъ тебѣ мужъ? — говорю. — «Легко ли... Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велѣла».—Да ты, говорю, не отвиливай, дура, ты скажи: вѣнчалась ты съ нимъ въ церкви или нѣтъ?—«Вѣнчалась, говоритъ, но я тебя люблю и буду жить съ тобой до самой смерти. Пускай люди смѣются... Я безъ вниманія»... — Ты, говорю, богомольная и читала писаніе, что тамъ написано?

— За мужа выдана, съ мужемъ и жить должна, — сказалъ Дюдя.

— Жена и мужъ едина плоть.—Погрѣшили, говорю, мы съ тобой и будетъ, надо совѣсть имѣть и Бога бояться. Повинимся, говорю, передъ Васей, онъ человѣкъ смирный, робкій — не убьетъ. Да и лучше, говорю, на этомъ свѣтѣ мýки отъ законнаго мужа претерпѣть, чѣмъ на страшномъ судилищѣ зубами скрежетать.—Не слушаетъ баба, уперлась на своемъ и хоть ты что! «Тебя люблю» — и больше ничего. Пріѣхалъ Вася въ субботу подъ самую Троицу, рано утромъ. Мнѣ въ заборъ все было видно; вбѣжалъ онъ въ домъ, черезъ минуту вышелъ съ Кузькой на рукахъ, и смѣется, и плачетъ, Кузьку цѣлуетъ, а самъ на сѣникъ смотритъ—и Кузьку бросать жалко и къ голубямъ хочется. Нѣжный былъ человѣкъ, чувствительный. День прошелъ благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всенощной, я и думаю: завтра Троица, что же они воротъ и забора зеленями не убираютъ? Дѣло, думаю, неладно. Пошелъ я къ нимъ. Гляжу, сидитъ онъ среди комнаты на полу, поводитъ глазами, какъ пьяный, слезы по щекамъ текутъ и руки трясутся; вынимаетъ онъ изъ узла баранки, монисты, пряники и всякіе гостинцы и расшвыриваетъ по полу. Кузька — тогда ему три годочка было—ползаетъ около и пряники жуетъ, а Машенька стоитъ около печки, блѣдная, вся дрожитъ и бормочетъ: «Я тебѣ не жена, не хочу съ тобой жить» — и всякія глупости. Поклонился я Васѣ въ ноги и говорю: «Виноваты мы передъ тобой, Василій Максимычъ, прости Христа ради!» Потомъ всталъ и говорю Машенькѣ такія слова: «Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василію Максимычу ноги мыть и юшку пить. И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь Богу, чтобъ Онъ, говорю, милосердный, простилъ мнѣ мое согрѣшеніе». Какъ будто мнѣ было внушеніе отъ ангела небеснаго, прочиталъ я ей наставленіе и говорилъ такъ чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Этакъ дня черезъ два приходитъ ко мнѣ Вася. «Я, говоритъ, прощаю, Матюша, и тебя, и жену, Богъ съ вами. Она солдатка, дѣло женское, молодое, трудно себя соблюсти. Не она первая, не она послѣдняя. А только, говоритъ, я прошу тебя жить такъ, какъ будто между вами ничего не было, и виду не показывай, а я, говоритъ, буду стараться

ей угождать во всемъ, чтобы она меня опять полюбила». Руку мнѣ подалъ, чайку попилъ и ушелъ веселый. Ну, думаю, слава Богу, и весело мнѣ стало, что все такъ хорошо вышло. Но только-что Вася изъ двора, какъ пришла Машенька. Чистое наказаніе! Вѣшается на шею, плачетъ и молитъ: «Ради Бога не бросай, жить безъ тебя не могу».

— Эка подлая!—вздохнулъ Дюдя.

— Я на нее закричалъ, ногами затопалъ, выволокъ ее въ сѣни и дверь на крючокъ заперъ. «Иди, кричу, къ мужу! Не срами меня передъ людями, Бога побойся!» И каждый день такая исторія. Разъ утромъ стою я у себя на дворѣ около конюшни и починяю уздечку. Вдругъ, смотрю, бѣжитъ она черезъ калитку ко мнѣ во дворъ, босая, въ одной юбкѣ, и прямо ко мнѣ; ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась въ смолѣ, трясется, плачетъ... «Не могу жить съ постылымъ; силъ моихъ нѣтъ! Если не любишь, то лучше убей». Я осерчалъ и ударилъ ее раза два уздечкой, а въ это время вбѣгаетъ въ калитку Вася и кричитъ отчаяннымъ голосомъ: «Не бей! не бей!» А самъ подбѣжалъ и, словно очумѣлъ, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы, потомъ повалилъ на землю и ну топтать ногами: я сталъ оборонять, а онъ схватилъ вожжи и давай вожжами. Бьетъ и все, какъ жеребенокъ, повизгиваетъ: ги-ги-ги!

— Взять вожжи, да тебя бы такъ...— проворчала Варвара, отходя.—Извели нашу сестру, проклятые...

— Замолчи, ты!—крикнулъ на нее Дюдя.—Кобыла!

— Ги-ги-ги!—продолжалъ Матвѣй Саввичъ. — Изъ его двора прибѣжалъ извозчикъ, кликнулъ я своего работника, и всѣ втроемъ отняли у него Машеньку и повели подъ ручки домой. Срамота! Того же дня вечеромъ пошелъ я провѣдать. Она лежитъ въ постели, вся закутанная, въ примочкахъ, только одни глаза и носъ видать, и глядитъ въ потолокъ. Я говорю:—Здравствуйте, Марья Семеновна! Молчитъ. А Вася сидитъ въ другой комнатѣ, держится за голову и плачетъ: — Злодѣй я! Погубилъ я свою жизнь! Пошли мнѣ, Господи, смерть!—Я посидѣлъ съ полчасика около Машеньки и прочиталъ ей наставленіе. Пострашалъ. — Праведные, говорю, на томъ свѣтѣ войдутъ въ рай, а ты въ геену огненную, заодно со всѣми блудни-

цами... Не противься мужу, иди ему въ ноги поклонись.— А она ни словечка, даже глазомъ не моргнула, словно я столбу говорю. На другой же день Вася заболѣлъ, въ родѣ какъ бы холерой, и къ вечеру, слышу, померъ. Похоронили. Машенька на кладбищѣ не была, не хотѣла людямъ свое безстыжее лицо и синяки показывать. И въ скорости пошли по мѣщанству разговоры, что Вася померъ не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него въ животѣ мышьякъ. Дѣло было ясное, какъ пить дать; пришла полиція и забрала Машеньку, а съ ней и Кузьму-безсребренника. Посадили въ острогъ. Допрыгалась баба, наказалъ Богъ... Мѣсяцевъ черезъ восемь судили. Сидитъ, помню, на скамеечкѣ въ бѣломъ платочкѣ и въ сѣромъ халатикѣ, а сама худенькая, блѣдная, остроглазая, смотрѣть жалко. Позади солдатъ съ ружьемъ. Не признавалась. Одни на судѣ говорили, что она мужа отравила, а другіе доказывали, что мужъ самъ съ горя отравился. Я въ свидѣтеляхъ былъ. Когда меня спрашивали, я объяснялъ все по совѣсти.—Ея говорю, грѣхъ. Скрывать нечего, не любила мужа, съ характеромъ была... Судить начали съ утра, а къ ночи вынесли такое рѣшеніе: сослать ее въ каторгу въ Сибирь на 13 лѣтъ. Послѣ такого рѣшенія Машенька потомъ въ нашемъ острогѣ мѣсяца три сидѣла. Я ходилъ къ ней и по человѣчности носилъ ей чайку, сахарку. А она, бывало, увидитъ меня и начнетъ трястись всѣмъ тѣломъ, машетъ руками и бормочетъ: «Уйди! Уйди!» И Кузьку къ себѣ прижимаетъ, словно боится, чтобъ я не отнялъ. — Вотъ, говорю, до чего ты дожила! Эхъ, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я училъ тебя уму, вотъ и плачься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини. — Я ей читаю наставленіе, а она: «Уйди! уйди!» и жмется съ Кузькой къ стѣнѣ и дрожитъ. Когда ее отъ насъ въ губернію отправляли, я провожать ходилъ до вокзала и сунулъ ей въ узелъ рублишку за спасеніе души. Но не дошла она до Сибири... Въ губерніи заболѣла горячкой и померла въ острогѣ.

— Собакѣ собачья и смерть,—сказалъ Дюдя.

— Кузьку вернули назадъ домой... Я подумалъ, подумалъ и взялъ его къ себѣ. Что жъ? Хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная... Жалко. Сдѣ-

лаю его приказчикомъ, а ежели своихъ дѣтей не будетъ, то и въ купцы выведу. Теперь, какъ ѣду куда, беру его съ собой: пускай пріучается.

Пока Матвѣй Саввичъ разсказывалъ, Кузька все время сидѣлъ около воротъ на камешкѣ и, подперевъ обѣими руками голову, смотрѣлъ на небо; издали въ потемкахъ походилъ онъ на пенекъ.

— Кузька, иди спать!—крикнулъ ему Матвѣй Саввичъ.

— Да, ужъ время, — сказалъ Дюдя, поднимаясь; онъ громко зѣвнулъ и добавилъ: — норовятъ все своимъ умомъ жить, не слушаются, вотъ и выходитъ по-ихнему.

Надъ дворомъ на небѣ плыла уже луна; она быстро бѣжала въ одну сторону, а облака подъ нею въ другую; облака уходили дальше, а она все была видна надъ дворомъ. Матвѣй Саввичъ помолился на церковь и, пожелавъ доброй ночи, легъ на землѣ около повозки. Кузька тоже помолился, легъ въ повозку и укрылся сюртучкомъ; чтобы удобнѣе было, онъ намялъ себѣ въ сѣнѣ ямочку и согнулся такъ, что локти его касались колѣней. Со двора видно было, какъ Дюдя у себя внизу зажегъ свѣчку, надѣлъ очки и сталъ въ углу съ книжкой. Онъ долго читалъ и кланялся.

Пріѣзжіе уснули. Аѳанасьевна и Софья подошли къ повозкѣ и стали смотрѣть на Кузьку.

— Спитъ сиротка, — сказала старуха. — Худенькій, тощенькій, одинѣ кости. Родной матери нѣтъ, и покормить его путемъ некому.

— Мой Гришутка, должно, годочка на два старше,— сказала Софья. — На заводѣ въ неволѣ живетъ, безъ матери. Хозяинъ бьетъ, небось. Какъ поглядѣла я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку—сердце мое кровью запеклось.

Прошла минута въ молчаніи.

— Чай, не помнитъ матери,—сказала старуха.

— Гдѣ помнить!

И у Софьи изъ глазъ потекли крупныя слезы.

— Калачикомъ свернулся...—сказала она, всхлипывая и смѣясь отъ умиленія и жалости.—Сиротка моя бѣдная.

Кузька вздрогнулъ и открылъ глаза. Онъ увидѣлъ передъ собой некрасивое, сморщенное заплаканное лицо, рядомъ съ нимъ другое старушечье, беззубое, съ острымъ

подбородкомъ и горбатымъ носомъ, а выше ихъ бездонное небо съ бѣгущими облаками и луной, и вскрикнулъ отъ ужаса. Софья тоже вскрикнула: имъ обоимъ отвѣтило эхо и въ душномъ воздухѣ пронеслось безпокойство; застучалъ по сосѣдству сторожъ, залаяла собака. Матвѣй Саввичъ пробормоталъ что-то во снѣ и повернулся на другой бокъ.

Поздно вечеромъ, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и сосѣдній сторожъ, Софья вышла за ворота и сѣла на лавочку. Ей было душно и отъ слезъ разболѣлась голова. Улица была широкая и длинная; направо версты двѣ налѣво столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла отъ двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным свѣтомъ, а другая чернѣла отъ тѣней; длинныя тѣни тополей и скворешенъ тянулись черезъ всю улицу, а тѣнь отъ церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. Съ конца улицы изрѣдка доносилась едва слышная музыка; должно-быть, это Алешка игралъ на своей гармоникѣ.

Въ тѣни около церковной ограды кто-то ходилъ, и нельзя было разобрать, человѣкъ это или корова, или, быть-можетъ, никого не было и только большая птица шуршала въ деревьяхъ. Но вотъ изъ тѣни вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужскимъ голосомъ, потомъ скрылась въ переулкѣ около церкви. Немного погодя, саженяхъ въ двухъ отъ воротъ, показалась еще фигура; она шла отъ церкви прямо къ воротамъ и, увидѣвъ на лавочкѣ Софью, остановилась.

— Варвара, ты, что ли?—спросила Софья.

— А хоть бы и я.

Это была Варвара. Она минуту постояла, потомъ подошла къ лавочкѣ и сѣла.

— Ты гдѣ ходила?—спросила Софья.

Варвара ничего не отвѣтила.

— Не нагуляла ли ты себѣ, молодайка, какого горя,— сказала Софья. — Слыхала, какъ Машеньку и ногами, и вожжами? Тебѣ бы, гляди, того не было.

— А пускай.

Варвара засмѣялась въ платокъ и сказала шопотомъ:

— Съ поповичемъ сейчасъ гуляла.

— Болтаешь.

— Ей-Богу.

— Грѣхъ!—шепнула Софья.

— А пускай... Чего жалѣть? Грѣхъ, такъ грѣхъ, а лучше пускай громъ убьетъ, чѣмъ такая жизнь. Я молодая, здоровая, а мужъ у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятаго. Въ дѣвкахъ жила, куска не доѣдала, босая ходила и ушла отъ тѣхъ злыдней, польстилась на Алешкино богатство и попала въ неволю, какъ рыба въ вершу, и легче мнѣ было бы съ гадюкой спать, чѣмъ съ этимъ Алешкой паршивымъ. А твоя жизнь? Не глядѣли бъ мои глаза. Твой Ѳедоръ прогналъ тебя съ завода къ отцу, а самъ себѣ другую завелъ; мальчишку у тебя отняли и въ неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и добраго слова не слышишь. Лучше весь свой вѣкъ въ дѣвкахъ маяться, лучше съ поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше въ колодезь головой...

— Грѣхъ!—опять шепнула Софья.

— А пускай.

Гдѣ-то за церковью опять запѣли печальную пѣсню тѣ же самые три голоса: два тенора и басъ. И опять нельзя было разобрать словъ.

— Полунощники...—засмѣялась Варвара.

И она стала разсказывать шопотомъ, какъ она по ночамъ гуляетъ съ поповичемъ, и что онъ ей говоритъ, и какіе у него товарищи, и какъ она съ проѣзжими чиновниками и купцами гуляла. Отъ печальной пѣсни потянуло свободной жизнью, Софья стала смѣяться, ей было и грѣшно, и страшно, и сладко слушать, и завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грѣшила, когда была молода и красива...

На погостѣ въ старой церкви ударили полночь.

— Пора спать,—сказала Софья, вставая,—а то какъ бы Дюдя не хватился.

Обѣ тихо пошли во дворъ.

— Я ушла и не слыхала, что онъ про Машеньку разсказывалъ,—сказала Варвара, постилая подъ окномъ.

— Померла, говоритъ, въ острогѣ. Мужа отравила.

Варвара легла рядомъ съ Софьей, подумала и сказала тихо:

— Я бы своего Алешку извела и не пожалѣла.

— Болтаешь, Богъ съ тобой.

Когда Софья засыпала, Варвара прижалась къ ней и шепнула на ухо:

— Давай Дюдю и Алешку изведемъ!

Софья вздрогнула и ничего не сказала, потомъ открыла глаза и долго, не мигая, глядѣла на небо.

— Люди узнаютъ,—сказала она.

— Не узнаютъ. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алешка, скажутъ, отъ пьянства издохъ.

— Страшно... Богъ убьетъ.

— А пускай...

Обѣ не спали и молча думали.

— Холодно, — сказала Софья, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Должно, утро скоро... Ты спишь?

— Нѣтъ... Ты меня не слушай, голубка, — зашептала Варвара.—Злоблюсь на нихъ, проклятыхъ, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то ужъ заря занимается... Спи...

Обѣ замолчали, успокоились и скоро уснули.

Раньше всѣхъ проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обѣ пошли подъ навѣсъ доить коровъ. Пришелъ горбатенькій Алешка, совершенно пьяный, безъ гармоники; грудь и колѣни у него были въ пыли и соломѣ—должно-быть, падалъ дорогой. Покачиваясь, онъ пошелъ подъ навѣсъ и, не раздѣваясь, повалился въ сани и тотчасъ же захрапѣлъ. Когда отъ восходившаго солнца яркимъ пламенемъ загорѣлись кресты на церкви, потомъ окна, и черезъ дворъ по росистой травѣ потянулись тѣни отъ деревьевъ и колодезнаго журавля, Матвѣй Саввичъ вскочилъ и засуетился.

— Кузька, вставай!—закричалъ онъ. — Запрягать пора! Живо!

Началась утренняя суматоха.. Молодая жидовка, въ коричневомъ платьѣ съ оборками, привела во дворъ лошадь на водопой. Заскрипѣлъ жалобно колодезный журавль, застучало ведро... Кузька сонный, вялый, покрытый росой, сидѣлъ на повозкѣ, лѣниво надѣвалъ сюртучокъ и слушалъ, какъ въ колодезѣ изъ ведра плескалась вода, и пожимался отъ холода.

— Тетка, — крикнулъ Матвѣй Саввичъ Софьѣ: — тюкни моему парню, чтобы запрягать шелъ!

И Дюдя въ это время кричалъ изъ окошка:

— Софья, возьми съ жидовки за водопой копейку! Повадились, пархатые.

На улицѣ взадъ и впередъ бѣгали овцы и блеяли; бабы кричали на пастуха, а онъ игралъ на свирѣли, хлопалъ бичомъ, или отвѣчалъ имъ тяжелымъ, сиплымъ басомъ. Во дворъ забѣжали три овцы и, не находя воротъ, тыкались у забора. Отъ шума проснулась Варвара, забрала въ охапку постель и пошла къ дому.

— Ты бы хоть овецъ выгнала!—крикнула ей старуха.—Барыня!

— Вотъ еще! Стану я на васъ, иродовъ, работать,—проворчала Варвара, уходя въ домъ.

Подмазали повозку и запрягли лошадей. Изъ дома вышелъ Дюдя со счетами въ рукахъ, сѣлъ на крылечкѣ и сталъ считать, сколько приходится съ проѣзжаго за ночлегъ, за овесъ и водопой.

— Дорого, дѣдушка, за овесъ кладешь,—сказалъ Матвѣй Саввичъ.

— Коли дорого, не бери. Мы, купецъ, не неволимъ.

Когда проѣзжіе пошли къ повозкѣ, чтобы садиться и ѣхать, ихъ на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.

— Куда же ты, свиненокъ, ее дѣвалъ?—крикнулъ сердито Матвѣй Саввичъ.—Гдѣ она?

У Кузьки отъ ужаса перекосило лицо, онъ заметался около повозки и, не найдя тутъ, побѣжалъ къ воротамъ, потомъ подъ навѣсъ. Ему помогали искать старуха и Софья.

— Я тебѣ уши оборву! — крикнулъ Матвѣй Саввичъ.—Поганецъ этакій!

Шапка нашлась на днѣ повозки. Кузька рукавомъ стряхнулъ съ ноя сѣно, надѣлъ и робко, все еще съ выраженіемъ ужаса на лицѣ, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полѣзъ въ повозку. Матвѣй Саввичъ перекрестился, парень дернулъ за вожжи, и повозка, тронувшись съ мѣста, покатила со двора.

Оглавленіе

VIII ТОМА.

	стр.		стр.
Учитель.	3	Палата № 6	124
Тяжелые люди	11	Гусевъ	179
Дуэль	19	Бабы.	193

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Ант. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

съ приложеніемъ портрета Антона Чехова.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Страхъ.—Разсказъ неизвѣстнаго человѣка.—Хорошіе люди.—Бабье царство.—Попрыгунья.—Черный монахъ.—Скрипка Ротшильда.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СТРАХЪ.

(Разсказъ моего пріятеля).

Дмитрій Петровичъ Силинъ кончилъ курсъ въ университетѣ и служилъ въ Петербургѣ, но въ 30 лѣтъ бросилъ службу и занялся сельскимъ хозяйствомъ. Хозяйство шло у него не дурно, но все-таки мнѣ казалось, что онъ не на своемъ мѣстѣ и что хорошо бы онъ сдѣлалъ, если бы опять уѣхалъ въ Петербургъ. Когда онъ, загорѣлый, сѣрый отъ пыли, замученный работой, встрѣчалъ меня около воротъ или у подъѣзда и потомъ за ужиномъ боролся съ дремотой, и жена уводила его спать, какъ ребенка, или когда онъ, осиливъ дремоту, начиналъ своимъ мягкимъ, душевнымъ, точно умоляющимъ голосомъ излагать свои хорошія мысли, то я видѣлъ въ немъ не хозяина и не агронома, а только замученнаго человѣка, и мнѣ ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтобъ день прошелъ — и слава Богу.

Я любилъ бывать у него и, случалось, гостилъ въ его усадьбѣ дня по два, по три. Я любилъ и его домъ, и паркъ, и большой фруктовый садъ, и рѣчку, и его философію, немножко вялую и витіеватую, но ясную. Должно-быть, я любилъ и его самого, хотя не могу сказать этого навѣрное, такъ какъ до сихъ поръ еще не могу разобраться въ своихъ тогдашнихъ чувствахъ. Это былъ умный, добрый, нескучный и искренній человѣкъ, но помню очень хорошо, что когда онъ повѣрялъ мнѣ свои сокровенныя тайны и называлъ наши отношенія дружбою, то это непріятно волновало меня, и я чувствовалъ неловкость. Въ его дружбѣ

ко мнѣ было что-то неудобное, тягостное, и я охотно предпочелъ бы ей обыкновенныя пріятельскія отношенія.

Дѣло въ томъ, что мнѣ чрезвычайно нравилась его жена, Марія Сергѣевна. Я влюбленъ въ нее не былъ, но мнѣ нравились ея лицо, глаза, голосъ, походка, я скучалъ по ней, когда долго не видалъ ея, и мое воображеніе въ то время никого не рисовало такъ охотно, какъ эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ея я не имѣлъ никакихъ опредѣленныхъ намѣреній и ни о чемъ не мечталъ, но почему-то всякій разъ, когда мы оставались вдвоемъ, я вспоминалъ, что ея мужъ считалъ меня своимъ другомъ, и мнѣ становилось неловко. Когда она играла на роялѣ мои любимыя пьесы, или разсказывала мнѣ что-нибудь интересное, я съ удовольствіемъ слушалъ и въ то же время почему-то въ мою голову лѣзли мысли о томъ, что она любитъ своего мужа, что онъ мой другъ и что она сама считаетъ меня его другомъ, настроеніе мое портилось, и я становился вялъ, неловокъ и скученъ. Она замѣчала эту перемѣну и обыкновенно говорила:

— Вамъ скучно безъ вашего друга. Надо послать за нимъ въ поле.

И когда приходилъ Дмитрій Петровичъ, она говорила:

— Ну, вотъ теперь пришелъ вашъ другъ. Радуйтесь.

Такъ продолжалось года полтора.

Какъ-то разъ въ одно изъ іюльскихъ воскресеній я и Дмитрій Петровичъ, отъ нечего дѣлать, поѣхали въ большое село Клушино, чтобы купить тамъ къ ужину закусокъ. Пока мы ходили по лавкамъ, зашло солнце и наступилъ вечеръ, тотъ вечеръ, котораго я, вѣроятно, не забуду никогда въ жизни. Купивши сыру, похожаго на мыло, и окаменѣлой колбасы, отъ которой пахло дегтемъ, мы отправились въ трактиръ спросить, нѣтъ ли пива. Нашъ кучеръ уѣхалъ въ кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будемъ ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смѣялись надъ своими покупками, а за нами молча и съ таинственнымъ видомъ, точно сыщикъ, слѣдовалъ человѣкъ, имѣвшій у насъ въ уѣздѣ довольно странное прозвище: Сорокъ Мучениковъ. Этотъ Сорокъ Мучениковъ былъ не кто иной, какъ Гаврила Сѣверовъ, или попросту, Гаврюшка, служившій у меня недолго лакеемъ и уволенный мною за пьянство. Онъ служилъ и у Дмитрія

Петровича и имъ тоже былъ уволенъ все за тотъ же грѣхъ. Это былъ лютый пьяница, да и вообще вся его судьба была пьяною и такою же безпутною, какъ онъ самъ. Отецъ у него былъ священникъ, а мать дворянка, значитъ, по рожденію принадлежалъ онъ къ сословію привилегированному, но какъ я ни всматривался въ его испитое, почтительное, всегда потное лицо, въ его рыжую уже сѣдѣющую бороду, въ жалкенькій рваный пиджакъ и красную рубаху навыпускъ, я никакъ не могъ найти даже слѣда того, что у насъ въ общежитіи зовется привилегіями. Онъ называлъ себя образованнымъ и разсказывалъ, что учился въ духовномъ училищѣ, гдѣ курса не кончилъ, такъ какъ его уволили за куреніе табаку; затѣмъ пѣлъ въ архіерейскомъ хорѣ и года два жилъ въ монастырѣ, откуда его тоже уволили, но ужъ не за куреніе, а за «слабость». Онъ исходилъ пѣшкомъ двѣ губерніи, подавалъ зачѣмъ-то прошенія въ консисторіи и въ разныя присутственныя мѣста, четыре раза былъ подъ судомъ. Наконецъ, застрявши у насъ въ уѣздѣ, онъ служилъ въ лакеяхъ, лѣсникахъ, псаряхъ, церковныхъ сторожахъ, женился на гулящей вдовѣ-кухаркѣ и окончательно погрязъ въ холуйскую жизнь и такъ сжился съ ея грязью и дрязгами, что уже самъ говорилъ о своемъ привилегированномъ происхожденіи съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, какъ о какомъ-то миѳѣ. Въ описываемое время онъ шатался безъ мѣста, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала гдѣ-то безъ вѣсти.

Изъ трактира мы пошли къ церкви и сѣли на паперти въ ожиданіи кучера. Сорокъ Мучениковъ сталъ поодаль и поднесъ руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть въ нее, когда понадобится. Было уже темно; сильно пахло вечерней сыростью и собиралась восходить луна. На чистомъ, звѣздномъ небѣ было только два облака и какъ разъ надъ нами: одно большое, другое поменьше; они одинокія, точно мать съ дитятею, бѣжали другъ за дружкой въ ту сторону, гдѣ догорала вечерняя заря.

— Славный сегодня день, — сказалъ Дмитрій Петровичъ.

— До чрезвычайности...—согласился Сорокъ Мучениковъ и почтительно кашлянулъ въ руку.—Какъ это вы, Дмитрій Петровичъ, изволили надумать сюда пріѣхать? — спросилъ

онъ вкрадчивымъ голосомъ, видимо, желая завязать разговоръ.

Дмитрій Петровичъ ничего не отвѣтилъ. Сорокъ Мучениковъ глубоко вздохнулъ и проговорилъ тихо, не глядя на насъ:

— Страдаю единственно черезъ причину, за которую долженъ дать отвѣтъ Всемогущему Богу. Оно, конечно, человѣкъ я потерянный и неспособный, но вѣрьте совѣсти: безъ куска хлѣба и хуже собаки... Простите, Дмитрій Петровичъ!

Силинъ не слушалъ и, подперевъ голову кулаками, о чемъ-то думалъ. Церковь стояла на краю улицы, на высокомъ берегу, и намъ сквозь рѣшетку ограды были видны рѣка, заливные луга по ту сторону и яркій, багровый огонь отъ костра, около котораго двигались черные люди и лошади. А дальше за костромъ еще огоньки: это деревушка... Тамъ пѣли пѣсню.

На рѣкѣ и кое-гдѣ на лугу поднимался туманъ. Высокіе, узкіе клочья тумана, густые и бѣлые, какъ молоко, бродили надъ рѣкой, заслоняя отраженія звѣздъ и цѣпляясь за ивы. Они каждую минуту мѣняли свой видъ и казалось, что одни обнимались, другіе кланялись, третьи поднимали къ небу свои руки съ широкими поповскими рукавами, какъ будто молились... Вѣроятно, они навели Дмитрія Петровича на мысль о привидѣніяхъ и покойникахъ, потому что онъ обернулся ко мнѣ лицомъ и спросилъ, грустно улыбаясь:

— Скажите мнѣ, дорогой мой, почему это, когда мы хотимъ разсказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаемъ матеріалъ не изъ жизни, а непремѣнно изъ міра привидѣній и загробныхъ тѣней?

— Страшно то, что непонятно.

— А развѣ жизнь вамъ понятна? Скажите: развѣ жизнь вы понимаете больше, чѣмъ загробный міръ?

Дмитрій Петровичъ подсѣлъ ко мнѣ совсѣмъ близко, такъ что я чувствовалъ на своей щекѣ его дыханіе. Въ вечернихъ сумеркахъ его блѣдное, худощавое лицо казалось еще блѣднѣе, а темная борода—черпѣе сажи. Глаза у него были грустные, искренніе и немножко испуганные, какъ будто онъ собирался разсказать мнѣ что-нибудь страшное. Онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза и продолжалъ своимъ, по обыкновенію, умоляющимъ голосомъ:

— Наша жизнь и загробный міръ одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидѣній, тотъ долженъ бояться и меня, и этихъ огней, и неба, такъ какъ все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менѣе, чѣмъ выходцы съ того свѣта. Принцъ Гамлетъ не убивалъ себя потому, что боялся тѣхъ видѣній, которыя, быть-можетъ, посѣтили бы его смертный сонъ; этотъ его знаменитый монологъ мнѣ нравится, но, откровенно говоря, онъ никогда не трогалъ меня за душу. Признаюсь вамъ, какъ другу, я иногда въ тоскливыя минуты рисовалъ себѣ свой смертный часъ, моя фантазія изобрѣтала тысячи самыхъ мрачныхъ видѣній, и мнѣ удавалось доводить себя до мучительной экзальтаціи, до кошмара, и это, увѣряю васъ, мнѣ не казалось страшнѣе дѣйствительности. Что и говорить, страшны видѣнія, но страшна и жизнь. Я, голубчикъ, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть-можетъ, я больной, свихнувшійся человѣкъ. Нормальному, здоровому человѣку кажется, что онъ понимаетъ все, что видитъ и слышитъ, а я вотъ утерялъ это «кажется» и изо-дня въ день отравляю себя страхомъ. Есть болѣзнь—боязнь пространства, такъ вотъ и я боленъ боязнью жизни. Когда я лежу на травѣ и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимаетъ, то мнѣ кажется, что ея жизнь состоитъ изъ сплошного ужаса, и въ ней я вижу самого себя.

— Что же собственно вамъ страшно?—спросилъ я.

— Мнѣ все страшно. Я человѣкъ отъ природы не глубокій и мало интересуюсь такими вопросами, какъ загробный міръ, судьбы человѣчества, и вообще рѣдко уношусь въ высь поднебесную. Мнѣ страшна главнымъ образомъ обыденщина, отъ которой никто изъ насъ не можетъ спрятаться. Я неспособенъ различать, что̀ въ моихъ поступкахъ правда и что̀ ложь, и они тревожатъ меня; я сознаю, что условія жизни и воспитаніе заключили меня въ тѣсный кругъ лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, какъ ежедневная забота о томъ, чтобы обманывать себя и людей и не замѣчать этого, и мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой лжи. Сегодня я дѣлаю что-нибудь, а завтра ужъ не понимаю, зачѣмъ я это сдѣлалъ. Поступилъ я въ Петербургѣ на службу и испугался, пріѣхалъ сюда, чтобъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, и

тоже испугался... Я вижу, что мы мало знаемъ и поэтому каждый день ошибаемся, бываемъ несправедливы, клевещемъ, заѣдаемъ чужой вѣкъ, расходуемъ всѣ свои силы на вздоръ, который намъ не нуженъ и мѣшаетъ намъ жить, и это мнѣ страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно. Я, голубчикъ, не понимаю людей и боюсь ихъ. Мнѣ страшно смотрѣть на мужиковъ, я не знаю, для какихъ такихъ высшихъ цѣлей они страдаютъ и для чего они живутъ. Если жизнь есть наслажденіе, то они лишніе, ненужные люди; если же цѣль и смыслъ жизни— въ нуждѣ и непроходимомъ, безнадежномъ невѣжествѣ, то мнѣ непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиція. Никого и ничего я не понимаю. Извольте-ка вы понять вотъ этого субъекта! — сказалъ Дмитрій Петровичъ, указывая на Сорокъ Мучениковъ.—Вдумайтесь!

Замѣтивъ, что оба мы посмотрѣли на него, Сорокъ Мучениковъ почтительно кашлянулъ въ кулакъ и сказалъ:

— У хорошихъ господъ я завсегда былъ вѣрной слугой, но главная причина — спиртные напитки. Ежели бы мнѣ теперь уважили, несчастному человѣку, и дали мѣсто, то я бы образъ поцѣловалъ. Слово мое твердо!

Церковный сторожъ прошелъ мимо, съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на насъ и сталъ дергать за веревку. Колоколъ медленно и протяжно, рѣзко нарушая тишину вечера, пробилъ десять.

— Однако, уже десять часовъ!—сказалъ Дмитрій Петровичъ. — Пора бы ужъ намъ ѣхать. Да, голубчикъ мой, — вздохнулъ онъ:—если бы вы знали, какъ я боюсь своихъ сбыденныхъ, житейскихъ мыслей, въ которыхъ, кажется, не должно быть ничего страшнаго. Чтобъ не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтобъ крѣпко спать ночью. Дѣти, жена—у другихъ это обыкновенно, но у меня какъ это тяжело, голубчикъ!

Онъ помялъ руками лицо, крякнулъ и засмѣялся.

— Если бъ я могъ разсказать вамъ, какого я дурака разыгралъ въ жизни! — сказалъ онъ. — Мнѣ всѣ говорятъ: у васъ милая жена, прелестныя дѣти и сами вы прекрасный семьянинъ. Думаютъ, что я очень счастливъ, и завидуютъ мнѣ. Ну, коли на то пошло, то скажу вамъ по секрету: моя счастливая семейная жизнь—одно только печальное недоразумѣніе, и я боюсь ея.

Его блѣдное лицо стало некрасивымъ отъ напряженной улыбки. Онъ обнялъ меня за талію и продолжалъ вполголоса:

— Вы мой искренній другъ, я вамъ вѣрю и глубоко уважаю васъ. Дружбу посылаетъ намъ небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться отъ тайнъ, которыя угнетаютъ насъ. Позвольте же мнѣ воспользоваться вашимъ дружескимъ расположеніемъ ко мнѣ и высказать вамъ всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вамъ такою восхитительной, — мое главное несчастье и мой главный страхъ. Я женился странно и глупо. Надо вамъ сказать, что до свадьбы я любилъ Машу безумно и ухаживалъ за нею два года. Я дѣлалъ ей предложеніе пять разъ, и она отказывала мнѣ, потому что была ко мнѣ совершенно равнодушна. Въ шестой разъ, когда я, угорѣвши отъ любви, ползалъ передъ ней на колѣняхъ и просилъ руки, какъ милостыни, она согласилась... Такъ она сказала мнѣ: — «Я васъ не люблю, но буду вамъ вѣрна»... Такое условіе я принялъ съ восторгомъ. Я тогда понималъ, что это значитъ, но теперь, клянусь Богомъ, не понимаю. — «Я васъ не люблю, но буду вамъ вѣрна», — что это значитъ? Это туманъ, потемки... Я люблю ее теперь такъ же сильно, какъ въ первый день свадьбы, а она, мнѣ кажется, попрежнему равнодушна и, должно-быть, бываетъ рада, когда я уѣзжаю изъ дому. Я не знаю навѣрное, любитъ она меня, или нѣтъ, не знаю, не знаю, но вѣдь мы живемъ подъ одной крышей, говоримъ другъ другу ты, спимъ вмѣстѣ, имѣемъ дѣтей, собственность у насъ общая... Что же это значитъ? Къ чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчикъ? Жестокая пытка! Оттого, что въ нашихъ отношеніяхъ я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоихъ вмѣстѣ, все у меня въ головѣ перепуталось, я мучаю себя и тупѣю, а какъ на зло она съ каждымъ днемъ все хорошѣетъ, она становится удивительной... По-моему, волосы у нея замѣчательные, а улыбается она, какъ ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь къ женщинѣ, отъ которой имѣешь уже двухъ дѣтей! Развѣ это понятно и не страшно? Развѣ это не страшнѣе привидѣній?

Онъ находился въ такомъ настроеніи, что говорилъ бы еще очень долго, но къ счастью послышался голосъ ку-

чера. Пришли наши лошади. Мы сѣли въ коляску, и Сорокъ Мучениковъ, снявъ шапку, подсадилъ насъ обоихъ и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто давно уже ждалъ случая, чтобы прикоснуться къ нашимъ драгоцѣннымъ тѣламъ.

— Дмитрій Петровичъ, позвольте къ вамъ придти,—проговорилъ онъ, сильно моргая глазами и склонивъ голову на бокъ.— Явите Божескую милость! Пропадаю съ голоду!

— Ну, ладно, — сказалъ Силинъ. — Приходи, поживешь три дня, а тамъ увидимъ.

— Слушаю-съ! — обрадовался Сорокъ Мучениковъ. — Я сегодня же приду-съ.

До дому было шесть верстъ. Дмитрій Петровичъ, довольный тѣмъ, что, наконецъ, высказался передъ другомъ, всю дорогу держалъ меня за талію, и ужъ не съ горечью и не съ испугомъ, а весело говорилъ мнѣ, что если бы у него въ семьѣ было благополучно, то онъ вернулся бы въ Петербургъ и занялся тамъ наукой. То вѣяніе, говорилъ онъ, которое погнало въ деревню столько даровитыхъ молодыхъ людей, было печальное вѣяніе. Ржи и пшеницы у насъ въ Россіи много, но совсѣмъ нѣтъ культурныхъ людей. Надо, чтобы даровитая, здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой; поступать иначе— значитъ, быть неразсчетливымъ. Онъ философствовалъ съ удовольствіемъ и выражалъ сожалѣніе, что завтра рано утромъ разстанется со мной, такъ какъ ему нужно ѣхать на лѣсные торги.

А мнѣ было неловко и грустно, и казалось мнѣ, что я обманываю человѣка. И въ то же время мнѣ было пріятно. Я смотрѣлъ на громадную, багровую луну, которая восходила, и воображалъ себѣ высокую, стройную блондинку, блѣднолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускусъ, и мнѣ почему-то весело было думать, что она не любитъ своего мужа.

Пріѣхавъ домой, мы сѣли ужинать. Марія Сергѣевна, смѣясь, угощала насъ нашими покупками, а я находилъ, что у нея въ самомъ дѣлѣ замѣчательные волосы и что улыбается она, какъ ни одна женщина. Я слѣдилъ за ней, и мнѣ хотѣлось въ каждомъ ея движеніи и взглядѣ видѣть то, что она не любитъ своего мужа, и мнѣ казалось, что я это вижу.

Дмитрій Петровичъ скоро сталъ бороться съ дремотой. Послѣ ужина онъ посидѣлъ съ нами минутъ десять и сказалъ:

— Какъ вамъ угодно, господа, а мнѣ завтра нужно вставать въ три часа. Позвольте оставить васъ.

Онъ нѣжно поцѣловалъ жену, крѣпко, съ благодарностью пожалъ мнѣ руку и взялъ съ меня слово, что я непремѣнно пріѣду на будущей недѣлѣ. Чтобы завтра не проспать, онъ пошелъ ночевать во флигель.

Марія Сергѣевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я былъ радъ этому.

— И такъ?—началъ я, когда мы остались одни.—Итакъ, вы будете добры, сыграете что-нибудь.

Мнѣ не хотѣлось музыки, но я не зналъ, какъ начать разговоръ. Она сѣла за рояль и сыграла, не помню что. Я сидѣлъ возлѣ, смотрѣлъ на ея бѣлыя, пухлыя руки и старался прочесть что-нибудь на ея холодномъ, равнодушномъ лицѣ. Но вотъ она чему-то улыбнулась и поглядѣла на меня.

— Вамъ скучно безъ вашего друга,—сказала она.

Я засмѣялся.

— Для дружбы достаточно было бы ѣздить сюда разъ въ мѣсяцъ, а я бываю тутъ чаще, чѣмъ каждую недѣлю.

Сказавши это, я всталъ и въ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ. Она тоже встала и отошла къ камину.

— Вы что хотите этимъ сказать?—спросила она, поднимая на меня свои большіе, ясные глаза.

Я ничего не отвѣтилъ.

— Вы сказали неправду,—продолжала она, подумавъ.—Вы бываете здѣсь только ради Дмитрія Петровича. Что жъ, я очень рада. Въ нашъ вѣкъ рѣдко кому приходится видѣть такую дружбу.

— Эге!—подумалъ я и, не зная, что̀ сказать, спросилъ:—Хотите пройтись по̀ саду?

— Нѣтъ.

Я вышелъ на террасу. По головѣ у меня бѣгали мурашки и мнѣ было холодно отъ волненія. Я уже былъ увѣренъ, что разговоръ нашъ будетъ самый ничтожный и что ничего особеннаго мы не сумѣемъ сказать другъ другу, но что непремѣнно въ эту ночь должно случиться то, о чемъ я не смѣлъ даже мечтать. Непремѣнно въ эту ночь, или никогда.

— Какая хорошая погода!—сказалъ я громко.

— Для меня это рѣшительно все равно, — послышался отвѣтъ.

Я вошелъ въ гостиную. Марія Сергѣевна попрежнему стояла около камина, заложивъ назадъ руки, о чемъ-то думая, и смотрѣла въ сторону.

— Почему же это для васъ рѣшительно все равно? — спросилъ я.

— Потому что мнѣ скучно. Вамъ бываетъ скучно только безъ вашего друга, а мнѣ всегда скучно. Впрочемъ... это для васъ не интересно.

Я сѣлъ за рояль и взялъ нѣсколько аккордовъ, выжидая, что она скажетъ.

— Вы, пожалуйста, не церемоньтесь,—сказала она сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать съ досады.—Если вамъ хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы другъ Дмитрія Петровича, то ужъ обязаны скучать съ его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите.

Я не ушелъ, конечно. Она вышла на террасу, а я остался въ гостиной и минутъ пять перелистывалъ ноты. Потомъ и я вышелъ. Мы стояли рядомъ въ тѣни отъ занавѣсокъ, а подъ нами были ступени, залитыя луннымъ свѣтомъ. Черезъ цвѣточныя клумбы и по желтому песку аллей тянулись черныя тѣни деревьевъ.

— Мнѣ тоже нужно уѣзжать завтра,—сказалъ я.

— Конечно, если мужа нѣтъ дома, то вамъ нельзя оставаться здѣсь,—проговорила она насмѣшливо.—Воображаю, какъ бы вы были несчастны, если бы влюбились въ меня! Вотъ погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вамъ на шею... Посмотрю, съ какимъ ужасомъ вы побѣжите отъ меня. Это интересно.

Ея слова и блѣдное лицо были сердиты, но ея глаза были полны самой нѣжной страстной любви. Я уже смотрѣлъ на это прекрасное созданіе, какъ на свою собственность, и тутъ впервые я замѣтилъ, что у нея золотистыя брови, чудныя брови, какихъ я раньше никогда не видѣлъ. Мысль, что я сейчасъ могу привлечь ее къ себѣ, ласкать, касаться ея замѣчательныхъ волосъ, представилась мнѣ вдругъ такою чудовищной, что я засмѣялся и закрылъ глаза.

— Однако, уже пора... Спокойной ночи,—проговорила она.

— Я не хочу спокойной ночи... — сказалъ я смѣясь и идя за ней въ гостиную.—Я прокляну эту ночь, если она будетъ спокойной.

Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видѣлъ по ея лицу, что она понимаетъ меня и рада, что я тоже понимаю ее.

Я пошелъ къ себѣ въ комнату. На столѣ у меня около книгъ лежала фуражка Дмитрія Петровича, и это напомнило мнѣ объ его дружбѣ. Я взялъ трость и вышелъ въ садъ. Тутъ ужъ подымался туманъ, и около деревьевъ и кустовъ, обнимая ихъ, бродили тѣ самыя высокія и узкія привидѣнія, которыхъ я видѣлъ давеча на рѣкѣ. Какъ жаль, что я не могъ съ ними говорить!

Въ необыкновенно прозрачномъ воздухѣ отчетливо выдѣлялись каждый листокъ, каждая росинка—все это улыбалось мнѣ въ тишинѣ, съ просонокъ, и, проходя мимо зеленыхъ скамей, я вспоминалъ слова изъ какой-то шекспировской пьесы: какъ сладко спитъ сіяніе луны здѣсь на скамьѣ!

Въ саду была горка. Я взошелъ на нее и сѣлъ. Меня томило очаровательное чувство. Я зналъ навѣрное, что сейчасъ буду обнимать, прижиматься къ ея роскошному тѣлу, цѣловать золотыя брови, и мнѣ хотѣлось не вѣрить этому, дразнить себя, и было жаль, что она меня такъ мало мучила и такъ скоро сдалась.

Но вотъ неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллеѣ показался мужчина средняго роста, и я тотчасъ же узналъ въ немъ Сорокъ Мучениковъ. Онъ сѣлъ на скамью и глубоко вздохнулъ, потомъ три раза перекрестился и легъ. Черезъ минуту онъ всталъ и легъ на другой бокъ. Комары и ночная сырость мѣшали ему уснуть.

— Ну, жизнь!—проговорилъ онъ.—Несчастная, горькая жизнь!

Глядя на его тощее, согнутое тѣло и слушая тяжелые, хриплые вздохи, я вспомнилъ еще про одну несчастную, горькую жизнь, которая сегодня исповѣдалась мнѣ, и мнѣ стало жутко и страшно своего блаженнаго состоянія. Я спустился съ горки и пошелъ къ дому.

«Жизнь, по его мнѣнію, страшна,—думалъ я:—такъ не церемонься же съ нею, ломай ее и, пока она тебя не задавила, бери все, что можно урвать отъ нея».

На террасѣ стояла Марія Сергѣевна. Я молча обнялъ ее и сталъ жадно цѣловать ея брови, виски, шею...

Въ моей комнатѣ она говорила мнѣ, что она любитъ меня уже давно, больше года. Она клялась мнѣ въ любви, плакала, просила, чтобы я увезъ ее къ себѣ. Я то и дѣло подводилъ ее къ окну, чтобы посмотрѣть на ея лицо при лунномъ свѣтѣ, и она казалась мнѣ прекраснымъ сномъ, и я торопился крѣпко обнять ее, чтобы повѣрить въ дѣйствительность. Давно ужъ я не переживалъ такихъ восторговъ... Но все-таки далеко, гдѣ-то въ глубинѣ души я чувствовалъ какую-то неловкость, и мнѣ было не по-себѣ. Въ ея любви ко мнѣ было что-то неудобное и тягостное, какъ въ дружбѣ Дмитрія Петровича. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами, а я хотѣлъ, чтобы не было ничего серьезнаго — ни слезъ, ни клятвъ, ни разговоровъ о будущемъ. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула въ нашей жизни свѣтлымъ метеоромъ — и баста.

Ровно въ три часа она вышла отъ меня и, когда я, стоя въ дверяхъ, смотрѣлъ ей вслѣдъ, въ концѣ коридора вдругъ показался Дмитрій Петровичъ. Встрѣтясь съ нимъ, она вздрогнула и дала ему дорогу, и во всей ея фигурѣ было написано отвращеніе. Онъ какъ-то странно улыбнулся, кашлянулъ и вошелъ ко мнѣ въ комнату.

— Тутъ я забылъ вчера свою фуражку...—сказалъ онъ, не глядя на меня.

Онъ нашелъ и обѣими руками надѣлъ на голову фуражку, потомъ посмотрѣлъ на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорилъ не своимъ, а какимъ-то страннымъ, сиплымъ голосомъ:

Мнѣ, вѣроятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то... поздравляю васъ. У меня темно въ глазахъ.

И онъ вышелъ, покашливая. Потомъ я видѣлъ въ окно, какъ онъ самъ около конюшни запрягалъ лошадей. Руки у него дрожали, онъ торопился и оглядывался на домъ; вѣроятно, ему было страшно. Затѣмъ онъ сѣлъ въ тарантасъ и со страшнымъ выраженіемъ, точно боясь погони, ударилъ по лошадямъ.

Немного погодя, уѣхалъ и я самъ. Уже восходило солнце и вчерашній туманъ робко жался къ кустамъ и пригор-

камъ. На козлахъ сидѣлъ Сорокъ Мучениковъ, уже успѣвшій гдѣ-то выпить, и мололъ пьяный вздоръ.

— Я человѣкъ вольный!—кричалъ онъ на лошадей.—Эй, вы, малиновыя! Я потомственный почетный гражданинъ, ежели желаете знать!

Страхъ Дмитрія Петровича, который не выходилъ у меня изъ головы, сообщился и мнѣ. Я думалъ о томъ, что случилось, и ничего не понималъ. Я смотрѣлъ на грачей, и мнѣ было странно и страшно, что они летаютъ.

— Зачѣмъ я это сдѣлалъ?—спрашивалъ я себя въ недоумѣніи и съ отчаяніемъ.—Почему это вышло именно такъ, а не иначе? Кому и для чего это нужно было, чтобъ она любила меня серьезно и чтобъ онъ явился въ комнату за фуражкой? Причемъ тутъ фуражка?

Въ тотъ же день я уѣхалъ въ Петербургъ, и съ Дмитріемъ Петровичемъ и его женой ужъ больше ни разу не видѣлся. Говорятъ, что они продолжаютъ жить вмѣстѣ.

РАЗСКАЗЪ НЕИЗВѢСТНАГО ЧЕЛОВѢКА.

I.

По причинамъ, о которыхъ не время теперь говорить подробно, я долженъ былъ поступить въ лакеи къ одному петербургскому чиновнику, по фамиліи Орлову. Было ему около тридцати пяти лѣтъ и звали его Георгіемъ Иванычемъ.

Къ этому Орлову поступилъ я ради его отца, извѣстнаго государственнаго человѣка, котораго считалъ я серьезнымъ врагомъ своего дѣла. Я разсчитывалъ, что, живя у сына, по разговорамъ, которые услышу, и по бумагамъ и запискамъ, какія буду находить на столѣ, я въ подробности изучу планы и намѣренія отца.

Обыкновенно часовъ въ одиннадцать утра въ моей лакейской трещалъ электрическій звонокъ, давая мнѣ знать, что проснулся баринъ. Когда я съ вычищеннымъ платьемъ и сапогами приходилъ въ спальню, Георгій Иванычъ сидѣлъ неподвижно въ постели, не заспанный, а скорѣе утомленный сномъ, и глядѣлъ въ одну точку, не выказывая по поводу своего пробужденія никакого удовольствія. Я помогалъ ему одѣваться, а онъ неохотно подчинялся мнѣ, молча и не замѣчая моего присутствія; потомъ съ мокрою отъ умыванья головой и пахнущій свѣжими духами, онъ шелъ въ столовую пить кофе. Онъ сидѣлъ за столомъ, пилъ кофе и перелистывалъ газеты, а я и горничная Поля почтительно стояли у дверей и смотрѣли на него. Два взрослыхъ человѣка должны были съ самымъ серьезнымъ вниманіемъ смотрѣть, какъ третій пьетъ кофе и грызетъ сухарики. Это, по

всей вѣроятности, смѣшно и дико, но я не видѣлъ для себя ничего унизительнаго въ томъ, что приходилось стоять около двери, хотя былъ такимъ же дворяниномъ и образованнымъ человѣкомъ, какъ самъ Орловъ.

У меня тогда начиналась чахотка, а съ нею еще кое-что, пожалуй, поважнѣе чахотки. Не знаю, подъ вліяніемъ ли болѣзни, или начинавшейся перемѣны міровоззрѣнія, которой я тогда не замѣчалъ, мною изо дня въ день овладѣвала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни. Мнѣ хотѣлось душевнаго покоя, здоровья, хорошаго воздуха, сытости. Я становился мечтателемъ и, какъ мечтатель, не зналъ, что̀ собственно мнѣ нужно. То мнѣ хотѣлось уйти въ монастырь, сидѣть тамъ по цѣлымъ днямъ у окошка и смотрѣть на деревья и поля; то я воображалъ, какъ я покупаю десятинъ пять земли и живу помѣщикомъ; то я давалъ себѣ слово, что займусь наукой и непремѣнно сдѣлаюсь профессоромъ какого-нибудь провинціальнаго университета. Я — отставной лейтенантъ нашего флота; мнѣ грезилось море, наша эскадра и корветъ, на которомъ я совершилъ кругосвѣтное плаваніе. Мнѣ хотѣлось еще разъ испытать то невыразимое чувство, когда, гуляя въ тропическомъ лѣсу или глядя на закатъ солнца въ Бенгальскомъ заливѣ, замираешь отъ восторга и въ то же время грустишь по родинѣ. Мнѣ снились горы, женщины, музыка, и съ любопытствомъ, какъ мальчикъ, я всматривался въ лица, вслушивался въ голоса. И когда я стоялъ у двери и смотрѣлъ, какъ Орловъ пьетъ кофе, я чувствовалъ себя не лакеемъ, а человѣкомъ, которому интересно все на свѣтѣ, даже Орловъ.

Наружность у Орлова была петербургская: узкія плечи, длинная талія, впалые виски, глаза неопредѣленнаго цвѣта и скудная, тускло окрашенная растительность на головѣ, бородѣ и усахъ. Лицо у него было холеное, потертое и непріятное. Особенно непріятно оно было, когда онъ задумывался или спалъ. Описывать обыкновенную наружность едва ли и слѣдуетъ; къ тому же Петербургъ — не Испанія, наружность мужчинъ здѣсь не имѣетъ большого значенія даже въ любовныхъ дѣлахъ и нужна только представительнымъ лакеямъ и кучерамъ. Заговорилъ же я о лицѣ и волосахъ Орлова потому только, что въ его наружности было нѣчто, о чемъ стоитъ упомянуть, а именно: когда Орловъ брался

за газету или книгу, какая бы она ни была, или же встрѣчался съ людьми, кто бы они ни были, то глаза его начинали иронически улыбаться и все лицо принимало выраженіе легкой, не злой насмѣшки. Передъ тѣмъ, какъ прочесть что-нибудь или услышать, у него всякій разъ была уже наготовѣ иронія, точно щитъ у дикаря. Это была иронія привычная, старой закваски, и въ послѣднее время она показывалась на лицѣ уже безо всякаго участія воли, вѣроятно, а какъ бы по рефлексу. Но объ этомъ послѣ.

Въ первомъ часу онъ съ выраженіемъ ироніи бралъ свой портфель, набитый бумагами, и уѣзжалъ на службу. Обѣдалъ онъ не дома и возвращался послѣ восьми. Я зажигалъ въ кабинетѣ лампу и свѣчи, а онъ садился въ кресло, протягивалъ ноги на стулъ и, развалившись такимъ образомъ, начиналъ читать. Почти каждый день онъ привозилъ съ собой или ему присылали изъ магазиновъ новыя книги, и у меня въ лакейской въ углахъ и подъ моею кроватью лежало множество книгъ на трехъ языкахъ, не считая русскаго, уже прочитанныхъ и брошенныхъ. Читалъ онъ съ необыкновенною быстротой. Говорятъ: скажи мнѣ, что ты читаешь, и я скажу тебѣ, кто ты. Это, быть можетъ, и правда, но судить объ Орловѣ по тѣмъ книгамъ, какія онъ читалъ, положительно нельзя. То была какая-то каша. И философія, и французскіе романы, и политическая экономія, и финансы, и новые поэты, и изданія «Посредника», — и все онъ прочитывалъ одинаково быстро и все съ тѣмъ же ироническимъ выраженіемъ глазъ.

Послѣ десяти онъ тщательно одѣвался, часто во фракъ, очень рѣдко въ свой камеръ-юнкерскій мундиръ, и уѣзжалъ изъ дому. Возвращался подъ утро.

Жили мы съ нимъ тихо и мирно и никакихъ недоразумѣній у насъ не было. Обыкновенно онъ не замѣчалъ моего присутствія и, когда говорилъ со мною, то на лицѣ у него не было ироническаго выраженія, — очевидно, не считалъ меня человѣкомъ.

Только одинъ разъ я видѣлъ его сердитымъ. Однажды,— это было черезъ недѣлю послѣ того, какъ я поступилъ къ нему,—онъ вернулся съ какого-то обѣда часовъ въ девять; лицо у него было капризное, утомленное. Когда я шелъ за нимъ въ кабинетъ, чтобы зажечь тамъ свѣчи, онъ сказалъ мнѣ:

— У насъ въ комнатахъ чѣмъ-то воняетъ.

— Нѣтъ, воздухъ чистъ,—отвѣтилъ я.

— А я тебѣ говорю, что воняетъ,—повторилъ онъ раздраженно.

— Я каждый день отворяю форточки.

— Не разсуждай, болванъ!—крикнулъ онъ.

Я обидѣлся и хотѣлъ возражать, и Богъ знаетъ, чѣмъ бы это кончилось, если бы не вмѣшалась Поля, знавшая своего барина лучше, чѣмъ я.

— Въ самомъ дѣлѣ, какой дурной запахъ!—сказала она, поднимая брови.—Откуда бы это? Степанъ, отвори въ гостиной форточки и затопи каминъ.

Она заахала, засуетилась и пошла ходить по всѣмъ комнатамъ, шурша своими юбками и шипя въ пульверизаторъ. А Орловъ все былъ не въ духѣ; онъ, видимо, сдерживая себя, чтобы не сердиться громко, сидѣлъ за столомъ и быстро писалъ письмо. Написавши нѣсколько строкъ, онъ сердито фыркнулъ и порвалъ письмо, потомъ началъ снова писать.

— Чортъ ихъ возьми!—пробормоталъ онъ.—Хотятъ, чтобъ я имѣлъ чудовищную память!

Наконецъ, письмо было написано; онъ всталъ изъ-за стола и сказалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Ты поѣдешь на Знаменскую и отдашь это письмо Зинаидѣ Ѳедоровнѣ Красновской въ собственныя руки. Но сначала спроси у швейцара, не вернулся ли мужъ, то-есть господинъ Красновскій. Если онъ вернулся, то письма не отдавай и поѣзжай назадъ. Постой!.. Въ случаѣ, если она спроситъ, есть ли кто-нибудь у меня, то ты скажешь ей, что съ восьми часовъ у меня сидятъ два какихъ-то господина и что-то пишутъ.

Я поѣхалъ на Знаменскую. Швейцаръ сказалъ мнѣ, что господинъ Красновскій еще не вернулись, и я отправился на третій этажъ. Мнѣ отворилъ дверь высокій, толстый, бурый лакей съ черными бакенами и сонно, вяло и грубо, какъ только лакей можетъ разговаривать съ лакеемъ, спросилъ меня, что мнѣ нужно. Не успѣлъ я отвѣтить, какъ въ переднюю изъ залы быстро вошла дама въ черномъ платьѣ. Она прищурила на меня глаза.

— Зинаида Ѳедоровна дома?—спросилъ я.

— Это я,—сказала дама.

— Письмо отъ Георгія Иваныча.

Она нетерпѣливо распечатала письмо и, держа его въ обѣихъ рукахъ и показывая мнѣ свои кольца съ брильянтами, стала читать. Я разглядѣлъ бѣлое лицо съ мягкими линіями, выдающійся впередъ подбородокъ, длинныя, темныя рѣсницы. На видъ я могъ дать этой дамѣ не больше двадцати пяти лѣтъ.

— Кланяйтесь и благодарите, — сказала она, кончивъ читать. — Есть кто-нибудь у Георгія Иваныча? — спросила она мягко, радостно и какъ бы стыдясь своего недовѣрія.

— Какіе-то два господина,—отвѣтилъ я.—Что-то пишутъ.

— Кланяйтесь и благодарите, — повторила она и, склонивъ голову на бокъ и читая на ходу письмо, безшумно вышла.

Я тогда встрѣчалъ мало женщинъ, и эта дама, которую я видѣлъ мелькомъ, произвела на меня впечатлѣніе. Возвращаясь домой пѣшкомъ, я вспомнилъ ея лицо и запахъ тонкихъ духовъ, и мечталъ. Когда я вернулся, Орлова уже не было дома.

II.

Итакъ, съ хозяиномъ мы жили тихо и мирно, но все-таки то нечистое и оскорбительное, чего я такъ боялся, поступая въ лакеи, было налицо и давало себя чувствовать каждый день. Я не ладилъ съ Полей. Это была хорошо упитанная, избалованная тварь, обожавшая Орлова за то, что онъ баринъ, и презиравшая меня за то, что я лакей. Вѣроятно, съ точки зрѣнія настоящаго лакея или повара, она была обольстительна: румяныя щеки, вздернутый носъ, прищуренные глаза и полнота тѣла, переходящая уже въ пухлость. Она пудрилась, красила брови и губы, затягивалась въ корсетъ и носила турнюръ и браслетку изъ монетъ. Походка у нея была мелкая, подпрыгивающая; когда она ходила, то вертѣла или, какъ говорится, дрыгала плечами и задомъ. Шуршанье ея юбокъ, трескъ корсета и звонъ браслета и этотъ хамскій запахъ губной помады, туалетнаго уксуса и духовъ, украденныхъ у барина, возбуждали во мнѣ, когда я по утрамъ убиралъ съ нею комнаты, такое чувство, какъ будто я дѣлалъ вмѣстѣ съ нею что-то *мерзкое*.

Оттого ли, что я не воровалъ вмѣстѣ съ нею, или не изъявлялъ никакого желанія стать ея любовникомъ, что, вѣроятно, оскорбляло ее, или, быть-можетъ, оттого, что она чуяла во мнѣ чужого человѣка, она возненавидѣла меня съ перваго же дня. Моя неумѣлость, не лакейская наружность и моя болѣзнь представлялись ей жалкими и вызывали въ ней чувство гадливости. Я тогда сильно кашлялъ и, случалось, по ночамъ мѣшалъ ей спать, такъ какъ ея и мою комнату отдѣляла одна только деревянная перегородка, и каждое утро она говорила мнѣ:

— Ты опять не давалъ мнѣ спать. Въ больницѣ тебѣ лежать, а не у господъ жить.

Она такъ искренно вѣрила, что я не человѣкъ, а нѣчто, стоящее неизмѣримо ниже ея, что, подобно римскимъ матронамъ, которыя не стыдились купаться въ присутствіи рабовъ, при мнѣ иногда ходила въ одной сорочкѣ.

Однажды за обѣдомъ (мы каждый день получали изъ трактира супъ и жаркое), когда у меня было прекрасное мечтательное настроеніе, я спросилъ:

— Поля, вы въ Бога вѣруете?

— А то какъ же!

— Стало-быть, вы вѣруете,—продолжалъ я:—что будетъ страшный судъ и что мы дадимъ отвѣтъ Богу за каждый свой дурной поступокъ?

Она ничего не отвѣтила и только сдѣлала презрительную гримасу, и, глядя въ этотъ разъ на ея сытые, холодные глаза, я понялъ, что у этой цѣльной, вполнѣ законченной натуры не было ни Бога, ни совѣсти, ни законовъ, и что если бы мнѣ понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не могъ бы найти лучшаго сообщника.

Въ необычной обстановкѣ, да еще при моей непривычкѣ къ *ты* и къ постоянному лганью (говорить «барина нѣтъ дома», когда онъ дома), мнѣ въ первую недѣлю жилось у Орлова не легко. Въ лакейскомъ фракѣ я чувствовалъ себя какъ въ латахъ. Но потомъ привыкъ. Какъ настоящій лакей, я прислуживалъ, убиралъ комнаты, бѣгалъ и ѣздилъ, исполняя всякія порученія. Когда Орлову не хотѣлось ѣхать на свиданіе къ Зинандѣ Ѳедоровнѣ, или когда онъ забывалъ, что обѣщалъ быть у нея, я ѣздилъ на Знаменскую, отдавалъ тамъ письмо въ собственныя руки и лгалъ. И въ результатѣ выходило совсѣмъ не то, что я ожидалъ, поэтому

пая въ лакеи; всякій день этой моей новой жизни оказывался пропащимъ и для меня, и для моего дѣла, такъ какъ Орловъ никогда не говорилъ о своемъ отцѣ, его гости— тоже, и о дѣятельности извѣстнаго государственнаго человѣка я зналъ только то, что̀ удавалось мнѣ, какъ и раньше, добывать изъ газетъ и переписки съ товарищами. Сотни записокъ и бумагъ, которыя я находилъ въ кабинетѣ и читалъ, не имѣли даже отдаленнаго отношенія къ тому, что̀ я искалъ. Орловъ былъ совершенно равнодушенъ къ громкой дѣятельности своего отца и имѣлъ такой видъ, какъ будто не слыхалъ о ней или какъ будто отецъ у него давно умеръ.

III.

По четвергамъ у насъ бывали гости.

Я заказывалъ въ ресторанѣ кусокъ ростбифа и говорилъ въ телефонъ Елисѣеву, чтобы прислали намъ икры, сыру, устрицъ и проч. Покупалъ игральныхъ картъ. Поля уже съ утра приготовляла чайную посуду и сервировку для ужина. Сказать по правдѣ, эта маленькая дѣятельность нѣсколько разнообразила нашу праздную жизнь, и четверги для насъ были самыми интересными днями.

Гостей приходило только трое. Самымъ солиднымъ и, пожалуй, самымъ интереснымъ былъ гость по фамиліи Пекарскій, высокій, худощавый человѣкъ, лѣтъ сорока пяти, съ длиннымъ, горбатымъ носомъ, съ большою черною бородой и съ лысиной. Глаза у него были большіе, навыкатѣ, и выраженіе лица серьезное, вдумчивое, какъ у греческаго философа. Служилъ онъ въ управленіи желѣзной дороги и въ банкѣ, былъ юрисконсультомъ при какомъ-то важномъ казенномъ учрежденіи и состоялъ въ дѣловыхъ отношеніяхъ со множествомъ частныхъ лицъ, какъ опекунъ, предсѣдатель конкурса и т. п. Имѣлъ онъ чинъ совсѣмъ небольшой и скромно называлъ себя присяжнымъ повѣреннымъ, но вліяніе у него было громадное. Его визитной карточки или записки достаточно было, чтобы васъ принялъ не въ очередь знаменитый докторъ, директоръ дороги или важный чиновникъ; говорили, что по его протекціи можно было получить должность даже четвертаго класса и замять какое угодно непріятное дѣло. Считался онъ очень умнымъ человѣкомъ, но это былъ какой-то особенный, странный умъ.

Онъ могъ въ одно мгновеніе помножить въ умѣ 213 на 373 или перевести стерлинги на марки безъ помощи карандаша и табличекъ, превосходно зналъ желѣзнодорожное дѣло и финансы, и во всемъ, что касалось администраціи, для него не существовало тайнъ; по гражданскимъ дѣламъ, какъ говорили, это былъ искуснѣйшій адвокатъ, и тягаться съ нимъ было нелегко. Но этому необыкновенному уму было совершенно непонятно многое, что̀ знаетъ даже иной глупый человѣкъ. Такъ, онъ рѣшительно не могъ понять, почему это люди скучаютъ, плачутъ, стрѣляются и даже другихъ убиваютъ, почему они волнуются по поводу вещей и событій, которыя ихъ лично не касаются, и почему они смѣются, когда читаютъ Гоголя или Щедрина... Все отвлеченное, исчезающее въ области мысли и чувства, было для него непонятно и скучно, какъ музыка для того, кто не имѣетъ слуха. На людей смотрѣлъ онъ только съ дѣловой точки зрѣнія и дѣлилъ ихъ на способныхъ и неспособныхъ. Иного дѣленія у него не существовало. Честность и порядочность составляютъ лишь признакъ способности. Кутить, играть въ карты и развратничать можно, но такъ, чтобы это не мѣшало дѣлу. Вѣровать въ Бога не умно, но религія должна быть охраняема, такъ какъ для народа необходимо сдерживающее начало, иначе онъ не будетъ работать. Наказанія нужны только для устрашенія. На дачу выѣзжать незачѣмъ, такъ какъ и въ городѣ хорошо. И такъ далѣе. Онъ былъ вдовъ и дѣтей не имѣлъ, но жизнь велъ на широкую, семейную ногу и платилъ за квартиру три тысячи въ годъ.

Другой гость, Кукушкинъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ изъ молодыхъ, былъ небольшого роста и отличался въ высшей степени непріятнымъ выраженіемъ, какое придавала ему несоразмѣрность его толстаго, пухлаго туловища съ маленькимъ, худощавымъ лицомъ. Губы у него были сердечкомъ и стриженные усики имѣли такой видъ, какъ будто были приклеены лакомъ. Это былъ человѣкъ съ манерами ящерицы. Онъ не входилъ, а какъ-то вползалъ, мелко сѣменя ногами, покачиваясь и хихикая, а когда смѣялся, то скалилъ зубы. Онъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій при комъ-то и ничего не дѣлалъ, хотя получалъ большое содержаніе, особенно лѣтомъ, когда для него изобрѣтали разныя командировки. Это былъ карьеристъ

мозга костей, а глубже, до послѣдней капли крови, и притомъ карьеристъ мелкій, неувѣренный въ себѣ, строившій свою карьеру на однѣхъ лишь подачкахъ. За какой-нибудь иностранный крестикъ или за то, чтобы въ газетахъ напечатали, что онъ присутствовалъ на панихидѣ или на молебнѣ вмѣстѣ съ прочими высокопоставленными особами, онъ готовъ былъ идти на какое угодно униженіе, клянчить, льстить, обѣщать. Изъ трусости онъ льстилъ Орлову и Пекарскому, потому что считалъ ихъ сильными людями, льстилъ Полѣ и мнѣ, потому что мы служили у вліятельнаго человѣка. Всякій разъ, когда я снималъ съ него шубу, онъ хихикалъ и спрашивалъ меня: «Степанъ, ты женатъ?»—и затѣмъ слѣдовали скабрезныя пошлости—знакъ особаго ко мнѣ вниманія. Кукушкинъ льстилъ слабостямъ Орлова, его испорченности, сытости; чтобы понравиться ему, онъ прикидывался злымъ насмѣшникомъ и безбожникомъ, критиковалъ вмѣстѣ съ нимъ тѣхъ, передъ кѣмъ въ другомъ мѣстѣ рабски ханжилъ. Когда за ужиномъ говорили о женщинахъ и о любви, онъ прикидывался утонченнымъ и изысканнымъ развратникомъ. Вообще, надо замѣтить, петербургскіе жуиры любятъ поговорить о своихъ необыкновенныхъ вкусахъ. Иной дѣйствительный статскій совѣтникъ изъ молодыхъ превосходно довольствуется ласками своей кухарки или какой-нибудь несчастной, гуляющей по Невскому, но послушать его, такъ онъ зараженъ всѣми пороками Востока и Запада, состоитъ почетнымъ членомъ цѣлаго десятка тайныхъ предосудительныхъ обществъ и уже на замѣчаніи у полиціи. Кукушкинъ вралъ про себя безсовѣстно, и ему не то чтобы не вѣрили, а какъ-то мимо ушей пропускали всѣ его небылицы.

Третій гость — Грузинъ, сынъ почтеннаго ученаго генерала, ровесникъ Орлова, длинноволосый и подслѣповатый блондинъ, въ золотыхъ очкахъ. Мнѣ припоминаются его длинные, блѣдные пальцы, какъ у піаниста; да и во всей его фигурѣ было что-то музыкантское, виртуозное. Такія фигуры въ оркестрахъ играютъ первую скрипку. Онъ кашлялъ и страдалъ мигренью, вообще казался болѣзненнымъ и слабенькимъ. Вѣроятно, дома его раздѣвали и одѣвали, какъ ребенка. Онъ кончилъ въ училищѣ правовѣдѣнія и служилъ сначала по судебному вѣдомству, потомъ перевели его въ сенатъ, отсюда онъ ушелъ и по протекціи получилъ

мѣсто въ министерствѣ государственныхъ имуществъ и скоро опять ушелъ. Въ мое время онъ служилъ въ отдѣленіи Орлова, былъ у него столоначальникомъ, но поговаривалъ, что скоро перейдетъ опять въ судебное вѣдомство. Къ службѣ и къ своимъ перекочевкамъ съ мѣста на мѣсто онъ относился съ рѣдкимъ легкомысліемъ, и когда при немъ серьезно говорили о чинахъ, орденахъ, окладахъ, то онъ добродушно улыбался и повторялъ афоризмъ Пруткова: «Только на государственной службѣ познаешь истину!» У него была маленькая жена со сморщеннымъ лицомъ, очень ревнивая, и пятеро тощенькихъ дѣтей; женѣ онъ измѣнялъ, дѣтей любилъ, только когда видѣлъ ихъ, а въ общемъ относился къ семьѣ довольно равнодушно и подшучивалъ надъ ней. Жилъ онъ съ семьей въ долгъ, занимая, гдѣ и у кого попало, при всякомъ удобномъ случаѣ, не пропуская даже своихъ начальниковъ и швейцаровъ. Это была натура рыхлая, лѣнивая до полнаго равнодушія къ себѣ и плывшая по теченію неизвѣстно куда и зачѣмъ. Куда его вели, туда и шелъ. Вели его въ какой-нибудь притонъ—онъ шелъ, ставили передъ нимъ вино—пилъ, не ставили—не пилъ; бранили при немъ женъ—и онъ бранилъ свою, увѣряя, что она испортила ему жизнь, а когда хвалили, то онъ тоже хвалилъ и искренно говорилъ: «Я ее, бѣдную, очень люблю». Шубы у него не было и носилъ онъ всегда плэдъ, отъ котораго пахло дѣтской. Когда за ужиномъ, о чемъ-то задумавшись, онъ каталъ шарики изъ хлѣба и пилъ много краснаго вина, то, странное дѣло, я бывалъ почти увѣренъ, что въ немъ сидитъ что-то, что онъ, вѣроятно, самъ чувствуетъ въ себѣ смутно, но за суетой и пошлостями не успѣваетъ понять и оцѣнить. Онъ немножко игралъ на роялѣ. Бывало, сядетъ за рояль, возьметъ два-три аккорда и запоетъ тихо:

Что день грядущій мнѣ готовитъ?

по тотчасъ же, точно испугавшись, встанетъ и уйдетъ подальше отъ рояля.

Гости обыкновенно сходились къ десяти часамъ. Они играли въ кабинетѣ Орлова въ карты, а я и Поля подавали имъ чай. Тутъ только я могъ, какъ слѣдуетъ, постигнуть всю сладость лакейства. Стоять въ продолженіе четырехъ-пяти часовъ около двери, слѣдить за тѣмъ, чтобы не было пустыхъ стакановъ, перемѣнять пепельницы, подбѣгать къ столу, чтобы поднять оброненный мѣлокъ или карту, а,

главное, стоять, ждать, быть внимательнымъ и не смѣть ни говорить, ни кашлять, ни улыбаться, это, увѣряю васъ, тяжелѣе самаго тяжелаго крестьянскаго труда. Я когда-то стаивалъ на вахтѣ по четыре часа въ бурныя зимнія ночи и нахожу, что вахта несравненно легче.

Играли въ карты часовъ до двухъ, иногда до трехъ и потомъ, потягиваясь, шли въ столовую ужинать или, какъ говорилъ Орловъ, подзакусить. За ужиномъ разговоры. Начиналось обыкновенно съ того, что Орловъ со смѣющимися глазами заводилъ рѣчь о какомъ-нибудь знакомомъ, о недавно прочитанной книгѣ, о новомъ назначеніи или проектѣ; льстивый Кукушкинъ подхватывалъ въ тонъ, и начиналась, по тогдашнему моему настроенію, препротивная музыка. Иронія Орлова и его друзей не знала предѣловъ и не щадила никого и ничего. Говорили о религіи — иронія, говорили о философіи, о смыслѣ и цѣляхъ жизни—иронія, поднималъ ли кто вопросъ о народѣ — иронія. Въ Петербургѣ есть особая порода людей, которые спеціально занимаются тѣмъ, что вышучиваютъ каждое явленіе жизни; они не могутъ пройти даже мимо голоднаго или самоубійцы безъ того, чтобы не сказать пошлости. Но Орловъ и его пріятели не шутили и не вышучивали, а говорили съ ироніей. Они говорили, что Бога нѣтъ и со смертью личность исчезаетъ совершенно; безсмертные существуютъ только во французской академіи. Истиннаго блага нѣтъ и не можетъ быть, такъ какъ наличность его обусловлена человѣческимъ совершенствомъ, а послѣднее есть логическая нелѣпость. Россія такая же скучная и убогая страна, какъ Персія. Интеллигенція безнадежна; по мнѣнію Пекарскаго, она въ громадномъ большинствѣ состоитъ изъ людей неспособныхъ и никуда не годныхъ. Народъ же спился, облѣнился, изворовался и вырождается. Науки у насъ нѣтъ, литература неуклюжа, торговля держится на мошенничествѣ: — «не обманешь — не продашь». И все въ такомъ родѣ, и все смѣшно.

Отъ вина къ концу ужина становилось веселѣе и переходили къ веселымъ разговорамъ. Подсмѣивались надъ семейною жизнью Грузина, надъ побѣдами Кукушкина или надъ Пекарскимъ, у котораго будто бы въ расходной книжкѣ была одна страничка съ заголовкомъ: *На дѣла благотворительности* и другая — *На физіологическія потребности.*

Говорили, что нѣтъ вѣрныхъ женъ; нѣтъ такой жены, отъ которой, при нѣкоторомъ навыкѣ, нельзя было бы добиться ласкъ, не выходя изъ гостиной, въ то время, когда рядомъ въ кабинетѣ сидитъ мужъ. Дѣвочки-подростки развращены и уже знаютъ все. Орловъ хранитъ у себя письмо одной четырнадцатилѣтней гимназистки: она, возвращаясь изъ гимназіи, «замарьяжила на Невскомъ офицерика», который будто бы увелъ ее къ себѣ и отпустилъ только поздно вечеромъ, а она поспѣшила написать объ этомъ подругѣ, чтобы подѣлиться восторгами. Говорили, что чистоты нравовъ не было никогда и нѣтъ ея, очевидно, она не нужна; человѣчество до сихъ поръ прекрасно обходилось безъ нея. Вредъ же отъ такъ-называемаго разврата несомнѣнно преувеличенъ. Извращеніе, предусмотрѣнное въ нашемъ уставѣ о наказаніяхъ, не мѣшало Діогену быть философомъ и учителемъ; Цезарь и Цицеронъ были развратники и въ то же время великіе люди. Старикъ Катонъ женился на молоденькой, и все-таки продолжалъ считаться суровымъ постникомъ и блюстителемъ нравовъ.

Въ три или четыре часа гости расходились или уѣзжали вмѣстѣ за городъ или на Офицерскую къ какой-то Варварѣ Осиповнѣ, а я уходилъ къ себѣ въ лакейскую и долго не могъ уснуть отъ головной боли и кашля.

IV.

Недѣли черезъ три послѣ того, какъ я поступилъ къ Орлову, помнится, въ воскресенье утромъ кто-то позвонилъ. Былъ одиннадцатый часъ и Орловъ еще спалъ. Я пошелъ отворить. Можете себѣ представить мое изумленіе: за дверью на площадкѣ лѣстницы стояла дама съ вуалью.

— Георгій Иванычъ всталъ?—спросила она.

И по голосу я узналъ Зинаиду Ѳедоровну, къ которой я носилъ письма на Знаменскую. Не помню, успѣлъ ли и сумѣлъ ли я отвѣтить ей, — я былъ смущенъ ея появленіемъ. Да и не нуженъ ей былъ мой отвѣтъ. Въ одно мгновеніе она шмыгнула мимо меня и, наполнивъ переднюю ароматомъ своихъ духовъ, которые я до сихъ поръ еще прекрасно помню, ушла въ комнаты, и шаги ея затихли. По крайней мѣрѣ, съ полчаса потомъ ничего не было слышно. Но опять кто-то позвонилъ. На этотъ разъ какая-то расфранченная дѣвушка, повидимому, горничная изъ богатаго

дома, и нашъ швейцаръ, оба запыхавшись, внесли два чемодана и багажную корзину.

— Это Зинаидѣ Ѳедоровнѣ,—сказала дѣвушка.

И ушла, не сказавъ больше ни слова. Все это было таинственно и вызывало у Поли, благоговѣвшей передъ барскими шалостями, хитрую усмѣшку; она какъ будто хотѣла сказать: «Вотъ какіе мы!»—и все время ходила на цыпочкахъ. Наконецъ, послышались шаги; Зинаида Ѳедоровна быстро вошла въ переднюю и, увидѣвъ меня въ дверяхъ моей лакейской, сказала:

— Степанъ, дайте Георгію Иванычу одѣться.

Когда я вошелъ къ Орлову съ платьемъ и сапогами, онъ сидѣлъ на кровати, свѣсивъ ноги на медвѣжій мѣхъ. Вся его фигура выражала смущеніе. Меня онъ не замѣчалъ и моимъ лакейскимъ мнѣніемъ не интересовался; очевидно, былъ смущенъ и конфузился передъ самимъ собой, передъ своимъ «внутреннимъ окомъ». Одѣвался, умывался и потомъ возился онъ со щетками и гребенками молча и не спѣша, какъ будто давая себѣ время обдумать свое положеніе и сообразить, и даже по спинѣ его замѣтно было, что онъ смущенъ и недоволенъ собой.

Пили они кофе вдвоемъ. Зинаида Ѳедоровна налила изъ кофейника себѣ и Орлову, потомъ поставила локти на столъ и засмѣялась.

— Мнѣ все еще не вѣрится, — сказала она. — Когда долго путешествуешь и потомъ пріѣдешь въ отель, то все еще не вѣрится, что уже не надо ѣхать. Пріятно легко вздохнуть.

Съ выраженіемъ дѣвочки, которой очень хочется шалить, она легко вздохнула и опять засмѣялась.

— Вы мнѣ простите,—сказалъ Орловъ, кивнувъ на газеты.—Читать за кофе—это моя непобѣдимая привычка. Но я умѣю дѣлать два дѣла разомъ: и читать, и слушать.

— Читайте, читайте... Ваши привычки и ваша свобода останутся при васъ. Но отчего у васъ постная физіономія? Вы всегда бываете такимъ по утрамъ или только сегодня? Вы не рады?

— Напротивъ. Но я, признаюсь, немножко ошеломленъ.

— Отчего? Вы имѣли время приготовиться къ моему нашествію. Я каждый день угрожала вамъ.

— Да, но я не ожидалъ, что вы приведете вашу угрозу въ исполненіе именно сегодня.

— И я сама не ожидала, но это лучше. Лучше, мой другъ. Вырвать больной зубъ сразу и—конецъ.

— Да, конечно.

— Ахъ, милый мой!—сказала она, зажмуривая глаза.— Все хорошо, что хорошо кончается, но, прежде чѣмъ кончилось хорошо, сколько было горя! Вы не смотрите, что я смѣюсь; я рада, счастлива, но мнѣ плакать хочется больше, чѣмъ смѣяться. Вчера я выдержала цѣлую баталію,—продолжала она по-французски. — Только одинъ Богъ знаетъ, какъ мнѣ было тяжело. Но я смѣюсь, потому что мнѣ не вѣрится. Мнѣ кажется, что сижу я съ вами и пью кофе не наяву, а во снѣ.

Затѣмъ она, продолжая говорить по-французски, разсказала, какъ вчера разошлась съ мужемъ, и ея глаза то наполнялись слезами, то смѣялись и съ восхищеніемъ смотрѣли на Орлова. Она разсказала, что мужъ давно уже подозрѣвалъ ее, но избѣгалъ объясненій; очень часто бывали ссоры, и обыкновенно въ самый разгаръ ихъ онъ внезапно умолкалъ и уходилъ къ себѣ въ кабинетъ чтобы вдругъ въ запальчивости не высказать своихъ подозрѣній и чтобы она сама не начала объясняться. Зинаида же Ѳедоровна чувствовала себя виноватой, ничтожной, неспособной на смѣлый, серьезный шагъ, и отъ этого съ каждымъ днемъ все сильнѣе ненавидѣла себя и мужа и мучилась, какъ въ аду. Но вчера, во время ссоры, когда онъ закричалъ плачущимъ голосомъ: «Когда же все это кончится, Боже мой?»—и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ, она погналась за нимъ, какъ кошка за мышью, и, мѣшая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидитъ его всею душой. Тогда онъ впустилъ ее въ кабинетъ, и она высказала ему все и призналась, что любитъ другого, что этотъ другой ея настоящій, самый законный мужъ, и она считаетъ долгомъ совѣсти сегодня же переѣхать къ нему, несмотря ни на что, хотя бы въ нее стрѣляли изъ пушекъ.

— Въ васъ сильно бьется романтическая жилка,—перебилъ ее Орловъ, не отрывая глазъ отъ газеты.

Она засмѣялась и продолжала разсказывать, не дотрогиваясь до своего кофе. Щеки ея разгорѣлись, это ее смущало немного, и она конфузливо поглядывала на меня и на Орлова.

Изъ ея дальнѣйшаго разсказа я узналъ, что мужъ отвѣтилъ ей попреками, угрозами и въ концѣ-концовъ слезами, и вѣрнѣе было бы сказать, что не она, а онъ выдержалъ баталію.

— Да, мой другъ, пока нервы мои были подняты, все шло прекрасно, — разсказывала она: — но какъ только наступила ночь, я пала духомъ. Вы, Жоржъ, не вѣрите въ Бога, а я немножко вѣрую и боюсь возмездія. Богъ требуетъ отъ насъ терпѣнія, великодушія, самопожертвованія, а я вотъ отказываюсь терпѣть и хочу устроить жизнь на свой ладъ. Хорошо ли это? А вдругъ это съ точки зрѣнія Бога не хорошо? Въ два часа ночи мужъ вошелъ ко мнѣ и говоритъ: «Вы не посмѣете уйти. Я вытребую васъ со скандаломъ черезъ полицію». А немного погодя, гляжу, онъ опять въ дверяхъ, какъ тѣнь. «Пощадите меня. Ваше бѣгство можетъ повредить мнѣ по службѣ». Эти слова подѣйствовали на меня грубо, я точно заржавѣла отъ нихъ, подумала, что это уже начинается возмездіе, и стала дрожать отъ страха и плакать. Мнѣ казалось, что на меня обвалится потолокъ, что меня сейчасъ поведутъ въ полицію, что вы меня разлюбите,—однимъ словомъ, Богъ знаетъ что! Уйду, думаю, въ монастырь или куда-нибудь въ сидѣлки, откажусь отъ счастья, но тутъ вспоминаю, что вы меня любите и что я не въ правѣ распоряжаться собой безъ вашего вѣдома, и все у меня въ головѣ начинаетъ путаться, и я въ отчаяніи, не знаю, что думать и дѣлать. Но взошло солнышко, и я опять повеселѣла. Дождалась утра и прикатила къ вамъ. Ахъ, какъ замучилась, милый мой! Подъ рядъ двѣ ночи не спала!

Она была утомлена и возбуждена. Ей хотѣлось въ одно и то же время и спать, и безъ конца говорить, и смѣяться, и плакать, и ѣхать въ ресторанъ завтракать, чтобы почувствовать себя на свободѣ.

— У тебя уютная квартира, но боюсь, для двоихъ она будетъ мала, — говорила она послѣ кофе, быстро обходя всѣ комнаты.—Какую ты дашь мнѣ комнату? Мнѣ нравится вотъ эта, потому что она рядомъ съ твоимъ кабинетомъ.

Во второмъ часу она переодѣлась въ комнатѣ рядомъ съ кабинетомъ, которую стала послѣ этого называть *своею, и* уѣхала съ Орловымъ завтракать. Обѣдали они тоже

въ ресторанѣ, а въ длинный промежутокъ между завтракомъ и обѣдомъ ѣздили по магазинамъ. Я до поздняго вечера отворялъ приказчикамъ и посыльнымъ изъ магазиновъ и принималъ отъ нихъ разныя покупки. Привезли, между прочимъ, великолѣпное трюмо, туалетъ, кровать и роскошный чайный сервизъ, который былъ намъ не нуженъ. Привезли цѣлое семейство мѣдныхъ кастрюлей, которыя мы поставили рядкомъ на полкѣ въ нашей пустой холодной кухнѣ. Когда мы разворачивали чайный сервизъ, то у Поли разгорѣлись глаза, и она раза три взглянула на меня съ ненавистью и со страхомъ, что, быть-можетъ, не она, а я первый украду одну изъ этихъ граціозныхъ чашечекъ. Привезли дамскій письменный столъ, очень дорогой, но неудобный. Очевидно, Зинаида Ѳедоровна имѣла намѣреніе засѣсть у насъ крѣпко, по-хозяйски.

Вернулась она съ Орловымъ часу въ десятомъ. Полная горделиваго сознанія, что ею совершено что-то смѣлое и необыкновенное, страстно любящая и, какъ казалось ей, страстно любимая, томная, предвкушающая крѣпкій и счастливый сонъ, Зинаида Ѳедоровна упивалась новою жизнью. Отъ избытка счастья она крѣпко сжимала себѣ руки, увѣряла, что все прекрасно, и клялась, что будетъ любить вѣчно, и эти клятвы и наивная, почти дѣтская увѣренность, что ее тоже крѣпко любятъ и будутъ любить вѣчно, молодили ее лѣтъ на пять. Она говорила милый вздоръ и смѣялась надъ собой.

— Нѣтъ выше блага, какъ свобода!—говорила она, заставляя себя сказать что-нибудь серьезное и значительное. — Вѣдь какая, подумаешь, нелѣпость! Мы не даемъ никакой цѣны своему собственному мнѣнію, даже если оно умно, но дрожимъ передъ мнѣніемъ разныхъ глупцовъ. Я боялась чужого мнѣнія до послѣдней минуты, но какъ только послушалась самоё себя и рѣшила жить по-своему, глаза у меня открылись, я побѣдила свой глупый страхъ и теперь счастлива и всѣмъ желаю такого счастья.

Но тотчасъ же порядокъ мыслей у нея обрывался, и она говорила о новой квартирѣ, объ обояхъ, лошадяхъ, о путешествіи въ Швейцарію и Италію. Орловъ же былъ утомленъ поѣздкой по ресторанамъ и магазинамъ и продолжалъ испытывать то смущеніе передъ самимъ собой, какое я замѣтилъ у него утромъ. Онъ улыбался, но больше

мымъ напряженіемъ мысли: — если я когда-нибудь женюсь во второй разъ и тебѣ вздумается наставить мнѣ рога, то дѣлай это такъ, чтобы я не замѣтилъ. Гораздо честнѣе обманывать человѣка, чѣмъ портить ему порядокъ жизни и репутацію. Я понимаю. Вы оба думаете, что, живя открыто, вы поступаете необыкновенно честно и либерально, но съ этимъ... какъ это называется?.. съ этимъ романтизмомъ согласиться я не могу.

Орловъ ничего не отвѣтилъ. Онъ былъ не въ духѣ и ему не хотѣлось говорить. Пекарскій, продолжая недоумѣвать, постучалъ пальцами по столу, подумалъ и сказалъ:

— Я все-таки васъ обоихъ не понимаю. Ты не студентъ и она не швейка. Оба вы люди со средствами. Полагаю, ты могъ бы устроить для нея отдѣльную квартиру.

— Нѣтъ, не могъ бы. Почитай-ка Тургенева.

— Зачѣмъ мнѣ его читать? Я уже читалъ.

— Тургеневъ въ своихъ произведеніяхъ учитъ, чтобы всякая возвышенная, честно мыслящая дѣвица уходила съ любимымъ мужчиною на край свѣта и служила бы его идеѣ,— сказалъ Орловъ, иронически щуря глаза. — Край свѣта — это licentia poëtica; весь свѣтъ со всѣми своими краями помѣщается въ квартирѣ любимаго мужчины. Поэтому не жить съ женщиной, которая тебя любитъ, въ одной квартирѣ — значитъ отказывать ей въ ея высокомъ назначеніи и не раздѣлять ея идеаловъ. Да, душа моя, Тургеневъ писалъ, а я вотъ теперь за него кашу расхлебывай.

— При чемъ тутъ Тургеневъ, не понимаю,—сказалъ тихо Грузинъ и пожалъ плечами.—А помните, Жоржинька, какъ онъ въ *Трехъ встрѣчахъ* идетъ поздно вечеромъ гдѣ-то въ Италіи и вдругъ слышитъ: Vieni pensando a me segretamente!—запѣлъ Грузинъ.—Хорошо!

— Но вѣдь она не насильно къ тебѣ переѣхала,—сказалъ Пекарскій.—Ты самъ этого захотѣлъ.

— Ну, вотъ еще! Я не только не хотѣлъ, но даже не могъ думать, что это когда-нибудь случится. Когда она говорила, что переѣдетъ ко мнѣ, то я думалъ, что она мило шутитъ.

Всѣ засмѣялись.

— Я не могъ хотѣть этого,—продолжалъ Орловъ такимъ тономъ, какъ будто его вынуждали оправдываться.—Я не тургеневскій герой и если мнѣ когда-нибудь понадобится

освобождать Болгарію, то я не понуждаюсь въ дамскомъ обществѣ. На любовь я прежде всего смотрю какъ на потребность моего организма, низменную и враждебную моему духу; ее нужно удовлетворять съ разсужденіемъ, или же совсѣмъ отказаться отъ нея, иначе она внесетъ въ твою жизнь такіе же нечистые элементы, какъ она сама. Чтобы она была наслажденіемъ, а не мученіемъ, я стараюсь дѣлать ее красивой и обставлять множествомъ иллюзій. Я не поѣду къ женщинѣ, если заранѣе не увѣренъ, что она будетъ красива, увлекательна; и самъ я не поѣду къ ней, если я не въ ударѣ. И лишь при такихъ условіяхъ намъ удается обмануть другъ друга и намъ кажется, что мы любимъ и что мы счастливы. Но могу ли я хотѣть мѣдныхъ кастрюлей и нечесанной головы, или чтобы меня видѣли, когда я не умытъ и не въ духѣ? Зинаида Ѳедоровна въ простотѣ сердца хочетъ заставить меня полюбить то, отъ чего я прятался всю свою жизнь. Она хочетъ, чтобы у меня въ квартирѣ пахло кухней и судомойками; ей нужно съ шумомъ перебираться на новую квартиру, разъѣзжать на своихъ лошадяхъ, ей нужно считать мое бѣлье и заботиться о моемъ здоровьѣ; ей нужно каждую минуту вмѣшиваться въ мою личную жизнь и слѣдить за каждымъ моимъ шагомъ, и въ то же время искренно увѣрять, что мои привычки и свобода останутся при мнѣ. Она убѣждена, что мы, какъ молодожены, въ самомъ скоромъ времени совершимъ путешествіе, то-есть она хочетъ неотлучно находиться при мнѣ и въ купэ, и въ отеляхъ, а между тѣмъ, въ дорогѣ я люблю читать и терпѣть не могу разговаривать.

— А ты сдѣлай ей внушеніе,—сказалъ Пекарскій.

— Какъ? Ты думаешь, она пойметъ меня? Помилуй, мы мыслимъ такъ различно! По ея мнѣнію, уйти отъ папаши и мамаши или отъ мужа къ любимому мужчинѣ—это верхъ гражданскаго мужества, а по-моему это — ребячество. Полюбить, сойтись съ мужчиной—это значитъ начать новую жизнь, а по-моему это ничего не значитъ. Любовь и мужчина составляютъ главную суть ея жизни и, быть-можетъ, въ этомъ отношеніи работаетъ въ ней философія безсознательнаго; изволь-ка убѣдить ее, что любовь есть только простая потребность, какъ пища и одежда, что міръ вовсе не погибаетъ отъ того, что мужья и жены плохи, что

можно быть развратникомъ, обольстителемъ и въ то же время геніальнымъ и благороднымъ человѣкомъ, и съ другой стороны—можно отказываться отъ наслажденій любви и въ то же время быть глупымъ, злымъ животнымъ. Современный культурный человѣкъ, стоящій даже внизу, напримѣръ, французскій рабочій, тратитъ въ день на обѣдъ 10 су, на вино къ обѣду 5 су и на женщину отъ 5 до 10 су, а свой умъ и нервы онъ цѣликомъ отдаетъ работѣ. Зинаида же Ѳедоровна отдаетъ любви не су, а всю свою душу. Я, пожалуй, сдѣлаю ей внушеніе, а она въ отвѣтъ искренно завопіетъ, что я погубилъ ее, что у нея въ жизни ничего больше не осталось.

— Ты ей ничего не говори, — сказалъ Пекарскій: — а просто найми для нея отдѣльную квартиру. Вотъ и все.

— Это легко говорить...

Немного помолчали.

— Но она мила,—сказалъ Кукушкинъ.—Она прелестна. Такія женщины воображаютъ, что будутъ любить вѣчно, и отдаются съ пафосомъ.

— Но надо имѣть голову на плечахъ,—сказалъ Орловъ:— надо разсуждать. Всѣ опыты, извѣстные намъ изъ повседневной жизни и занесенные на скрижали безчисленныхъ романовъ и драмъ, единогласно подтверждаютъ, что всякіе адюльтеры и сожительства у порядочныхъ людей, какова бы ни была любовь вначалѣ, не продолжаются дольше двухъ, а много—трехъ лѣтъ. Это она должна знать. А потому всѣ эти переѣзды, кастрюли и надежды на вѣчныя любовь и согласіе — ничего больше, какъ желаніе одурачить себя и меня. Она и мила, и прелестна,—кто споритъ? Но она перевернула телѣгу моей жизни: то, что до сихъ поръ я считалъ пустякомъ и вздоромъ, она вынуждаетъ меня возводить на степень серьезнаго вопроса, я служу идолу, котораго никогда не считалъ Богомъ. Она и мила, и прелестна, но почему-то теперь, когда я ѣду со службы домой, у меня бываетъ нехорошо на душѣ, какъ будто я жду, что встрѣчу у себя дома какое-то неудобство, въ родѣ печниковъ, которые разобрали всѣ печи и навалили горы кирпича. Однимъ словомъ, за любовь я отдаю уже не су, а часть своего покоя и своихъ нервовъ. А это скверно.

— И она не слышитъ этого злодѣя!—вздохнулъ Кукушкинъ.—Милостивый государь,—сказалъ онъ театрально:—

я освобожу васъ отъ тяжелой обязанности любить это прелестное созданіе! Я отобью у васъ Зинаиду Ѳедоровну!

— Можете...—сказалъ небрежно Орловъ.

Съ полминуты Кукушкинъ смѣялся тонкимъ голоскомъ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ, потомъ проговорилъ:

— Смотрите, я не шучу! Не извольте потомъ разыгрывать Отелло!

Всѣ стали говорить о неутомимости Кукушкина въ любовныхъ дѣлахъ, какъ онъ неотразимъ для женщинъ и опасенъ для мужей и какъ на томъ свѣтѣ черти будутъ поджаривать его на угольяхъ за безпутную жизнь. Онъ молчалъ и щурилъ глаза и, когда называли знакомыхъ дамъ, грозилъ мизинцемъ—нельзя-де выдавать чужихъ тайнъ. Орловъ вдругъ посмотрѣлъ на часы.

Гости поняли и стали собираться. Помню, Грузинъ, охмѣлѣвшій отъ вина, одѣвался на этотъ разъ томительно долго. Онъ надѣлъ свое пальто, похожее на тѣ капоты, какіе шьютъ дѣтямъ въ небогатыхъ семьяхъ, поднялъ воротникъ и сталъ что-то длинно разсказывать; потомъ, видя, что его не слушаютъ, перекинулъ черезъ плечо свой пледъ, отъ котораго пахло дѣтской, и съ виноватымъ, умоляющимъ лицомъ попросилъ меня отыскать его шапку.

— Жоржинька, ангелъ мой!—сказалъ онъ нѣжно.—Голубчикъ, послушайтесь меня, поѣдемте сейчасъ за городъ!

— Поѣзжайте, а мнѣ нельзя. Я теперь на женатомъ положеніи.

— Она славная, не разсердится. Начальникъ добрый мой, поѣдемъ! Погода великолѣпная, метелица, морозикъ... Честное слово, вамъ встряхнуться надо, а то вы не въ духѣ; чортъ васъ знаетъ...

Орловъ потянулся, зѣвнулъ и посмотрѣлъ на Пекарскаго.

— Ты поѣдешь?—спросилъ онъ въ раздумьи.

— Не знаю. Пожалуй.

— Развѣ напиться, а? Ну, ладно, поѣду,—рѣшилъ Орловъ послѣ нѣкотораго колебанія.—Погодите, схожу за деньгами.

Онъ пошелъ въ кабинетъ, а за нимъ поплелся Грузинъ, волоча за собою пледъ. Черезъ минуту оба вернулись въ переднюю. Пьяненькій и очень довольный Грузинъ комкалъ въ рукѣ десятирублевую бумажку.

— Завтра сочтемся,—говорилъ онъ.—А она добрая, не разсердится... Она у меня Лизочку крестила, я люблю ее,

бѣдную. Ахъ, милый человѣкъ!—радостно засмѣялся онъ вдругъ и припалъ лбомъ къ спинѣ Пекарскаго.—Ахъ, Пекарскій, душа моя! Адвокатиссимусъ, сухарь сухаремъ, а женщинъ небось любитъ...

— Прибавьте толстыхъ, — сказалъ Орловъ, надѣвая шубу. — Однако, поѣдемте, а то, гляди, на порогѣ встрѣтится.

Vieni pensando a me segretamente!—запѣлъ Грузинъ.

Наконецъ, уѣхали. Орловъ дома не ночевалъ и вернулся на другой день къ обѣду.

VI.

У Зинаиды Ѳедоровны пропали золотые часики, подаренные ей когда-то отцомъ. Эта пропажа удивила и испугала ее. Полдня она ходила по всѣмъ комнатамъ, растерянно оглядывая столы и окна, но часы какъ въ воду канули.

Вскорѣ послѣ этого, дня черезъ три, Зинаида Ѳедоровна, вернувшись откуда-то, забыла въ передней свой кошелекъ. Къ счастью для меня, въ этотъ разъ не я помогалъ ей раздѣваться, а Поля. Когда хватились кошелька, то въ передней его уже не оказалось.

— Странно! — недоумѣвала Зинаида Ѳедоровна. — Я отлично помню, вынула его изъ кармана, чтобъ заплатить извозчику... и потомъ положила здѣсь около зеркала. Чудеса!

Я не кралъ, но мною овладѣло такое чувство, какъ будто я укралъ и меня поймали. У меня даже слезы выступили. Когда садились обѣдать, Зинаида Ѳедоровна сказала Орлову по-французски:

— У насъ завелись духи. Я сегодня потеряла въ передней кошелекъ, а сейчасъ, гляжу, онъ лежитъ у меня на столѣ. Но духи не безкорыстно устроили такой фокусъ. Взяли себѣ за работу золотую монету и двадцать рублей.

— То у васъ часы пропадаютъ, то деньги... — сказалъ Орловъ. — Отчего со мною никогда не бываетъ ничего подобнаго?

Черезъ минуту Зинаида Ѳедоровна уже не помнила про фокусъ, который устроили духи, и со смѣхомъ разсказывала, какъ она на прошлой недѣлѣ заказала себѣ почтовой бумаги, но забыла сообщить свой новый адресъ и магазинъ послалъ бумагу на старую квартиру къ мужу, который дол-

женъ былъ заплатить по счету двѣнадцать рублей. И вдругъ она остановила свой взглядъ на Полѣ и пристально посмотрѣла на нее. При этомъ она покраснѣла и смутилась до такой степени, что заговорила о чемъ-то другомъ.

Когда я принесъ въ кабинетъ кофе, Орловъ стоялъ около камина спиной къ огню, а она сидѣла въ креслѣ противъ него.

— Я вовсе не въ дурномъ настроеніи, — говорила она по-французски.—Но я теперь стала соображать и мнѣ все понятно. Я могу назвать вамъ день и даже часъ, когда она украла у меня часы. А кошелекъ? Тутъ не можетъ быть никакихъ сомнѣній. О! — засмѣялась она, принимая отъ меня кофе. — Теперь я понимаю, отчего я такъ часто теряю свои платки и перчатки. Какъ хочешь, завтра я отпущу эту сороку на волю и пошлю Степана за своею Софьей. Та не воровка и у нея не такой... отталкивающій видъ.

— Вы не въ духѣ. Завтра вы будете въ другомъ настроеніи и поймете, что нельзя гнать человѣка только потому, что вы подозрѣваете его въ чемъ-то.

— Я не подозрѣваю, а увѣрена,—сказала Зинаида Ѳедоровна.—Пока я подозрѣвала этого пролетарія съ несчастнымъ лицомъ, вашего лакея, я ни слова не говорила. Обидно, Жоржъ, что вы мнѣ не вѣрите.

— Если мы съ вами различно думаемъ о какомъ-нибудь предметѣ, то это не значитъ, что я вамъ не вѣрю. Пусть вы правы,—сказалъ Орловъ, оборачиваясь къ огню и бросая туда папиросу:—но волноваться все-таки не слѣдуетъ. Вообще, признаться, я не ожидалъ, что мое маленькое хозяйство будетъ причинять вамъ столько серьезныхъ заботъ и волненій. Пропала золотая монета, ну, и Богъ съ ней, возьмите у меня ихъ хоть сотню, но мѣнять порядокъ, брать съ улицы новую горничную, ждать, когда она привыкнетъ,— все это длинно, скучно и не въ моемъ характерѣ. Теперешняя наша горничная, правда, толста и, быть-можетъ, имѣетъ слабость къ перчаткамъ и платкамъ, но зато она вполнѣ прилична, дисциплинирована и не визжитъ, когда ее щиплетъ Кукушкинъ.

— Однимъ словомъ, вы не можете съ ней разстаться... Такъ и скажите.

— Вы ревнуете?

— Да, я ревную! — сказала рѣшительно Зинаида Ѳедоровна.

— Благодарю.

— Да, я ревную! — повторила она, и на глазахъ у нея заблестѣли слезы.—Нѣтъ, это не ревность, а что-то хуже... я затрудняюсь назвать.—Она взяла себя за виски и продолжала съ увлеченіемъ: — Вы, мужчины, бываете такъ гадки! Это ужасно!

— Ничего я не вижу тутъ ужаснаго.

— Я не видѣла, не знаю, но говорятъ, что вы, мужчины, еще въ дѣтствѣ начинаете съ горничными и потомъ уже по привычкѣ не чувствуете никакого отвращенія. Я не знаю, не знаю, но я даже читала... Жоржъ, ты, конечно, правъ,—сказала она, подходя къ Орлову и мѣняя свой тонъ на ласковый и умоляющій:—въ самомъ дѣлѣ, я сегодня не въ духѣ. Но ты пойми, я не могу иначе. Она мнѣ противна и я боюсь ея. Мнѣ тяжело ее видѣть.

— Неужели нельзя быть выше этихъ мелочей? — сказалъ Орловъ, пожимая въ недоумѣніи плечами и отходя отъ камина.—Вѣдь нѣтъ ничего проще: не замѣчайте ея, и она не будетъ противна и не понадобится вамъ изъ пустяка дѣлать цѣлую драму.

Я вышелъ изъ кабинета и не знаю, какой отвѣтъ получилъ Орловъ. Какъ бы то ни было, Поля осталась у насъ. Послѣ этого Зинаида Ѳедоровна ни за чѣмъ уже не обращалась къ ней и, видимо, старалась обходиться безъ ея услугъ; когда Поля подавала ей что-нибудь или даже только проходила мимо, звеня своимъ браслетомъ и треща юбками, то она вздрагивала.

Я думаю, что если бы Грузинъ или Пекарскій попросили Орлова расчитать Полю, то онъ сдѣлалъ бы это безъ малѣйшаго колебанія, не утруждая себя никакими объясненіями; онъ былъ сговорчивъ, какъ всѣ равнодушные люди. Но въ отношеніяхъ своихъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ онъ почему-то даже въ мелочахъ проявлялъ упрямство, доходившее подчасъ до самодурства. Такъ ужъ я и зналъ: если что понравилось Зинаидѣ Ѳедоровнѣ, то навѣрное не понравится ему. Когда она, вернувшись изъ магазина, спѣшила похвалиться передъ нимъ обновками, то онъ мелкомъ взглядывалъ на нихъ и холодно говорилъ, что чѣмъ больше въ квартирѣ лишнихъ вещей, тѣмъ меньше воздуха.

Случалось, уже надѣвши фракъ, чтобы идти куда-нибудь, и уже простившись съ Зинаидою Ѳедоровной, онъ вдругъ изъ упрямства оставался дома. Мнѣ казалось тогда, что онъ оставался дома для того только, чтобы чувствовать себя несчастнымъ.

— Почему же вы остались? — говорила Зинаида Ѳедоровна съ напускною досадой и въ то же время сіяя отъ удовольствія. — Почему? Вы привыкли по вечерамъ не сидѣть дома, и я не хочу, чтобы вы ради меня измѣняли вашимъ привычкамъ. Поѣзжайте, пожалуйста, если не хотите, чтобы я чувствовала себя виноватой.

— А развѣ васъ винитъ кто-нибудь?—говорилъ Орловъ.

Съ видомъ жертвы, онъ разваливался у себя въ кабинетѣ въ креслѣ и, заслонивъ глаза рукой, брался за книгу. Но скоро книга валилась изъ рукъ, онъ грузно поворачивался въ креслѣ и опять заслонялъ глаза, какъ отъ солнца. Теперь ужъ ему было досадно, что онъ не ушелъ.

— Можно войти? — говорила Зинаида Ѳедоровна, нерѣшительно входя въ кабинетъ.—Вы читаете? А я соскучилась и пришла на одну минутку... взглянуть.

Помню, въ одинъ изъ вечеровъ она вошла такъ же вотъ нерѣшительно и не кстати и опустилась на коверъ у ногъ Орлова, и по ея робкимъ, мягкимъ движеніямъ видно было, что она не понимала его настроенія и боялась.

— А вы все читаете...—начала она вкрадчиво, видимо, желая польстить ему.—Знаете, Жоржъ, въ чемъ еще тайна вашего успѣха? Вы очень образованы и умны. Это у васъ какая книга?

Орловъ отвѣтилъ. Прошло въ молчаніи нѣсколько минутъ, показавшихся мнѣ очень длинными. Я стоялъ въ гостиной, откуда наблюдалъ обоихъ, и боялся закашлять.

— Я хотѣла что-то сказать вамъ... — проговорила тихо Зинаида Ѳедоровна и засмѣялась.—Сказать? Вы, пожалуй, станете смѣяться и назовете это самообольщеніемъ. Видите ли, мнѣ ужасно, ужасно хочется думать, что вы сегодня остались дома ради меня... чтобы этотъ вечеръ провести вмѣстѣ. Да? Можно такъ думать?

— Думайте,—сказалъ Орловъ, заслоняя глаза.—Истинно счастливый человѣкъ тотъ, кто думаетъ не только о томъ, что есть, но даже о томъ, чего нѣтъ.

— Вы сказали что-то длинное, я не совсѣмъ поняла.

То-есть вы хотите сказать, что счастливые люди живутъ воображеніемъ? Да, это правда. Я люблю по вечерамъ сидѣть въ вашемъ кабинетѣ и уноситься мыслями далеко, далеко... Пріятно бываетъ помечтать. Давайте, Жоржъ, мечтать вслухъ!

— Я въ институтѣ не былъ, не проходилъ этой науки.

— Вы не въ духѣ?—спросила Зинаида Ѳедоровна, беря Орлова за руку.—Скажите—отчего? Когда вы бываете такой, я боюсь. Не поймешь, голова у васъ болитъ или вы сердитесь на меня...

Прошло въ молчаніи еще нѣсколько длинныхъ минутъ.

— Отчего вы перемѣнились?—сказала она тихо.—Отчего вы не бываете уже такъ нѣжны и веселы, какъ на Знаменской? Прожила я у васъ почти мѣсяцъ, но мнѣ кажется, мы еще не начинали жить и ни о чемъ еще не поговорили, какъ слѣдуетъ. Вы всякій разъ отвѣчаете мнѣ шуточками или холодно и длинно, какъ учитель. И въ шуточкахъ вашихъ что-то холодное... Отчего вы перестали говорить со мной серьезно?

— Я всегда говорю серьезно.

— Ну, вотъ давайте говорить. Ради Бога, Жоржъ... Давайте?

— Давайте. Но о чемъ?

— Будемъ говорить о нашей жизни, о будущемъ...—сказала мечтательно Зинаида Ѳедоровна.—Я все строю планы жизни, все строю — и мнѣ такъ хорошо! Жоржъ, я начну съ вопроса: когда вы оставите вашу службу?..

— Это зачѣмъ же? — спросилъ Орловъ, отнимая руку отъ лба.

— Съ вашими взглядами нельзя служить. Вы тамъ не на мѣстѣ.

— Мои взгляды?—спросилъ Орловъ.—Мои взгляды? По убѣжденіямъ и по натурѣ я обыкновенный чиновникъ, щедринскій герой. Вы принимаете меня за кого-то другого, смѣю васъ увѣрить.

— Опять шуточки, Жоржъ!

— Нисколько. Служба не удовлетворяетъ меня, быть-можетъ, но все же для меня она лучше, чѣмъ что-нибудь другое. Тамъ я привыкъ, тамъ люди такіе же, какъ я; тамъ я не лишній во всякомъ случаѣ и чувствую себя сносно.

— Вы ненавидите службу и вамъ она претитъ.

— Да? Если я подамъ въ отставку, стану мечтать вслухъ и унесусь въ иной міръ, то, вы думаете, этотъ міръ будетъ мнѣ менѣе ненавистенъ, чѣмъ служба?

— Чтобы противорѣчить мнѣ, вы готовы даже клеветать на себя,—обидѣлась Зинаида Ѳедоровна и встала.—Я жалѣю, что начала этотъ разговоръ.

— Что же вы сердитесь? Вѣдь я не сержусь, что вы не служите. Каждый живетъ, какъ хочетъ.

— Да развѣ вы живете, какъ хотите? Развѣ вы свободны? Писать всю жизнь бумаги, которыя противны вашимъ убѣжденіямъ, — продолжала Зинаида Ѳедоровна, въ отчаяніи всплескивая руками:—подчиняться, поздравлять начальство съ новымъ годомъ, потомъ карты, карты и карты, а, главное, служить порядкамъ, которые не могутъ быть вамъ симпатичны,—нѣтъ, Жоржъ, нѣтъ! Не шутите такъ грубо. Это ужасно. Вы идейный человѣкъ и должны служить только идеѣ.

— Право, вы принимаете меня за кого-то другого, — вздохнулъ Орловъ.

— Скажите просто, что вы не хотите со мной говорить. Я вамъ противна, вотъ и все,—проговорила сквозь слезы Зинаида Ѳедоровна.

— Вотъ что, моя милая,—сказалъ Орловъ наставительно поднимаясь въ креслѣ.—Вы сами изволили замѣтить, человѣкъ я умный и образованный, а ученаго учить — только портить. Всѣ идеи, малыя и великія, которыя вы имѣете въ виду, называя меня идейнымъ человѣкомъ, мнѣ хорошо извѣстны. Стало-быть, если службу и карты я предпочитаю этимъ идеямъ, то, вѣроятно, имѣю на то основаніе. Это разъ. Во-вторыхъ, вы, насколько мнѣ извѣстно, никогда не служили и сужденія свои о государственной службѣ можете черпать только изъ анекдотовъ и плохихъ повѣстей. Поэтому намъ не мѣшало бы условиться разъ навсегда; не говорить о томъ, что намъ давно уже извѣстно, или о томъ что не входитъ въ кругъ нашей компетенціи.

— Зачѣмъ вы со мной такъ говорите?—проговорила Зинаида Ѳедоровна, отступая назадъ, какъ бы въ ужасѣ. — Зачѣмъ? Жоржъ, опомнитесь Бога ради!

Голосъ ея дрогнулъ и оборвался; она, повидимому, хотѣла задержать слезы, но вдругъ зарыдала.

— Жоржъ, дорогой мой, я погибаю! — сказала она по-французски, быстро опускаясь передъ Орловымъ и кладя голову ему на колѣни.—Я измучилась, утомилась и не могу больше, не могу... Въ дѣтствѣ ненавистная, развратная мачиха, потомъ мужъ, а теперь вы... вы... Вы на мою безумную любовь отвѣчаете ироніей и холодомъ... И эта страшная, наглая горничная!—продолжала она, рыдая.—Да, да, я вижу: я вамъ не жена, не другъ, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашею любовницей... Я убью себя!

Я не ожидалъ, что эти слова и этотъ плачъ произведутъ на Орлова такое сильное впечатлѣніе. Онъ покраснѣлъ, безпокойно задвигался въ креслѣ и на лицѣ его вмѣсто ироніи показался тупой, мальчишескій страхъ.

— Дорогая моя, вы меня не поняли, клянусь вамъ, — растерянно забормоталъ онъ, трогая ее за волосы и плечи.— Простите меня, умоляю васъ. Я былъ неправъ и... ненавижу себя.

— Я оскорбляю васъ своими жалобами и нытьемъ... Вы честный, великодушный... рѣдкій человѣкъ, я сознаю это каждую минуту, но меня всѣ дни мучила тоска...

Зинаида Ѳедоровна порывисто обняла Орлова и поцѣловала его въ щеку.

— Только не плачьте, пожалуйста,—проговорилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ... Я уже наплакалась и мнѣ легко.

— Что касается горничной, то завтра же ея не будетъ,—сказалъ онъ, все еще безпокойно двигаясь въ креслѣ.

— Нѣтъ, она должна остаться, Жоржъ! Слышите? Я уже не боюсь ея... Надо быть выше мелочей и не думать глупостей. Вы правы! Вы—рѣдкій... необыкновенный человѣкъ!

Скоро она перестала плакать. Съ невысохшими слезинками на рѣсницахъ, сидя на колѣняхъ у Орлова, она вполголоса разсказывала ему что-то трогательное, похожее на воспоминанія дѣтства и юности, и гладила его рукой по лицу, цѣловала и внимательно разсматривала его руки съ кольцами и брелоки на цѣпочкѣ. Она увлекалась и своимъ разсказомъ, и близостью любимаго человѣка, и оттого, вѣроятно, что недавнія слезы очистили и освѣжили ея душу, голосъ ея звучалъ необыкновенно чисто и искренно. А Орловъ игралъ ея каштановыми волосами и цѣловалъ ея руки, беззвучно прикасаясь къ нимъ губами.

Затѣмъ пили въ кабинетѣ чай и Зинаида Ѳедоровна читала вслухъ какія-то письма. Въ первомъ часу пошли спать.

Въ эту ночь у меня сильно болѣлъ бокъ, и я до самаго утра не могъ согрѣться и уснуть. Мнѣ слышно было, какъ Орловъ прошелъ изъ спальни къ себѣ въ кабинетъ. Просидѣвъ тамъ около часа, онъ позвонилъ. Отъ боли и утомленія я забылъ о всѣхъ порядкахъ и приличіяхъ въ свѣтѣ и отправился въ кабинетъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ и босой. Орловъ въ халатѣ и въ шапочкѣ стоялъ въ дверяхъ и ждалъ меня.

— Когда тебя зовутъ, ты долженъ являться одѣтымъ,— сказалъ онъ строго.—Подай другія свѣчи.

Я хотѣлъ извиниться, но вдругъ сильно закашлялся и, чтобы не упасть, ухватился одною рукой за косякъ.

— Вы больны?—спросилъ Орловъ.

Кажется, за все время нашего знакомства это онъ въ первый разъ сказалъ мнѣ вы, Богъ его знаетъ, почему. Вѣроятно, въ нижнемъ бѣльѣ и съ лицомъ, искаженнымъ отъ кашля, я плохо игралъ свою роль и мало походилъ на лакея.

— Если вы больны, то зачѣмъ же вы служите? — сказалъ онъ.

— Чтобы не умереть съ голода,—отвѣтилъ я.

— Какъ все это въ сущности пакостно! — тихо проговорилъ онъ, идя къ своему столу.

Пока я, накинувъ на себя сюртукъ, вставлялъ и зажигалъ новыя свѣчи, онъ сидѣлъ около стола и, протянувъ ноги на кресло, обрѣзывалъ книгу.

Оставилъ я его углубленнымъ въ чтеніе, и книга уже не валилась у него изъ рукъ, какъ вечеромъ.

VII.

Теперь, когда я пишу эти строки, мою руку удерживаетъ воспитанный во мнѣ съ дѣтства страхъ — показаться чувствительнымъ и смѣшнымъ; когда мнѣ хочется ласкать и говорить нѣжности, я не умѣю быть искреннимъ. Вотъ именно отъ этого страха и съ непривычки я никакъ не могу выразить съ полной ясностью, что происходило тогда въ моей душѣ.

Я не былъ влюбленъ въ Зинаиду Ѳедоровну, но въ обыкновенномъ человѣческомъ чувствѣ, какое я питалъ къ ней,

было гораздо больше молодого, свѣжаго и радостнаго, чѣмъ въ любви Орлова.

Работая по утрамъ сапожною щеткой или вѣникомъ, я съ замираніемъ сердца ждалъ, когда, наконецъ, услышу ея голосъ и шаги. Стоять и смотрѣть на нее, когда она пила кофе и потомъ завтракала, подавать ей въ передней шубку и надѣвать на ея маленькія ножки калоши, причемъ она опиралась о мое плечо, потомъ ждать, когда снизу позвонитъ мнѣ швейцаръ, встрѣчать ее въ дверяхъ, розовую, холодную, попудренную снѣгомъ, слушать отрывистыя восклицанія насчетъ мороза или извозчика,—если бъ вы знали, какъ все это было для меня важно! Мнѣ хотѣлось влюбиться, имѣть свою семью, хотѣлось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голосъ. Я мечталъ и за обѣдомъ, и на улицѣ, когда меня посылали куда-нибудь, и ночью, когда не спалъ. Орловъ брезгливо отбрасывалъ отъ себя женскія тряпки, дѣтей, кухню, мѣдныя кастрюли, а я подбиралъ все это и бережно лелѣялъ въ своихъ мечтахъ, любилъ, просилъ у судьбы, и мнѣ грезились жена, дѣтская, тропинки въ саду, домикъ...

Я зналъ, что если бы я полюбилъ ее, то не посмѣлъ бы разсчитывать на такое чудо, какъ взаимность, но это соображеніе меня не безпокоило. Въ моемъ скромномъ, тихомъ чувствѣ, похожемъ на обыкновенную привязанность, не было ни ревности къ Орлову, ни даже зависти, такъ какъ я понималъ, что личное счастье для такого калѣки, какъ я, возможно только въ мечтахъ.

Когда Зинаида Ѳедоровна по ночамъ, поджидая своего Жоржа, неподвижно глядѣла въ книгу, не перелистывая страницъ, или когда вздрагивала и блѣднѣла оттого, что черезъ комнату проходила Поля, я страдалъ вмѣстѣ съ нею и мнѣ приходило въ голову—разрѣзать поскорѣе этотъ тяжелый нарывъ, сдѣлать поскорѣе такъ, чтобы она узнала все то, что говорилось здѣсь въ четверги за ужиномъ, но—какъ это сдѣлать? Все чаще и чаще мнѣ приходилось видѣть слезы. Въ первыя недѣли она смѣялась и пѣла свою пѣсенку, даже когда Орлова не было дома, но уже на другой мѣсяцъ у насъ въ квартирѣ была унылая тишина, нарушаемая только по четвергамъ.

Она льстила Орлову и, чтобы добиться отъ него неискренней улыбки или поцѣлуя, стояла передъ нимъ на колѣняхъ,

ласкалася, какъ собачонка. Проходя мимо зеркала, даже когда у нея на душѣ было очень тяжело, она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на себя и не поправить прически. Мнѣ казалось страннымъ, что она все еще продолжала интересоваться нарядами и приходить въ восторгъ отъ своихъ покупокъ. Это какъ-то не шло къ ея искренней печали. Она слѣдила за модой и шила себѣ дорогія платья. Для кого и для чего? Мнѣ особенно памятно одно новое платье, которое стоило четыреста рублей. За лишнее, не нужное платье отдавать четыреста рублей, когда наши поденщицы за свой каторжный трудъ получаютъ по двугривенному въ день на своихъ харчахъ, и когда венеціанскимъ и брюссельскимъ кружевницамъ платятъ только по полуфранку въ день въ расчетѣ, что остальное онѣ добудутъ развратомъ; и мнѣ было странно, что Зинаида Ѳедоровна не сознаетъ этого, мнѣ было досадно. Но стоило ей только уйти изъ дому, какъ я все извинялъ, все объяснялъ и ждалъ, когда позвонитъ мнѣ снизу швейцаръ.

Относилась она ко мнѣ, какъ къ лакею, существу низшему. Можно гладить собаку и въ то же время не замѣчать ея; мнѣ приказывали, задавали вопросы, но не замѣчали моего присутствія. Хозяева считали неприличнымъ говорить со мной больше, чѣмъ это принято; если бъ я, прислуживая за обѣдомъ, вмѣшался въ разговоръ или засмѣялся, то меня навѣрное сочли бы сумасшедшимъ и дали бы мнѣ расчетъ. Но все же Зинаида Ѳедоровна благоволила ко мнѣ. Когда она посылала меня куда-нибудь или объясняла, какъ обращаться съ новою лампой, или что-нибудь въ родѣ, то лицо у нея было необыкновенно ясное, доброе и привѣтливое, и глаза смотрѣли мнѣ прямо въ лицо. При этомъ мнѣ всякій разъ казалось, что она съ благодарностью вспоминаетъ, какъ я носилъ ей письма на Знаменскую. Когда она звонила, то Поля, считавшая меня ея фаворитомъ и ненавидѣвшая меня за это, говорила съ язвительною усмѣшкой:

— Иди, тебя *твоя* зоветъ.

Зинаида Ѳедоровна относилась ко мнѣ, какъ къ существу низшему, и не подозрѣвала, что если кто и былъ въ домѣ униженъ, такъ это только она одна. Она не знала, что я, лакей, страдалъ за нее и разъ двадцать на день спрашивалъ себя, что ожидаетъ ее впереди и чѣмъ все это кон-

чится. Дѣла съ каждымъ днемъ замѣтно становились хуже. Послѣ того вечера, когда говорили о службѣ, Орловъ, не любившій слезъ, сталъ видимо бояться и избѣгать разговоровъ; когда Зинаида Ѳедоровна начинала спорить или умолять, или собиралась заплакать, то онъ подъ благовиднымъ предлогомъ уходилъ къ себѣ въ кабинетъ или вовсе изъ дому. Онъ все рѣже и рѣже ночевалъ дома и еще рѣже обѣдалъ; по четвергамъ онъ уже самъ просилъ своихъ пріятелей, чтобъ они увезли его куда-нибудь. Зинаида Ѳедоровна попрежнему мечтала о своей кухнѣ, о новой квартирѣ и путешествіи за границу, но мечты оставались мечтами. Обѣдъ приносили изъ ресторана, квартирнаго вопроса Орловъ просилъ не поднимать впредь до возвращенія изъ-за границы, а о путешествіи говорилъ, что нельзя ѣхать раньше, чѣмъ у него отростутъ длинные волосы, такъ какъ таскаться по отелямъ и служить идеѣ нельзя безъ длинныхъ волосъ.

Въ довершеніе всего, къ намъ въ отсутствіе Орлова сталъ навѣдываться по вечерамъ Кукушкинъ. Въ поведеніи его не было ничего особеннаго, но я все никакъ не могъ забыть того разговора, когда онъ собирался отбить у Орлова Зинаиду Ѳедоровну. Его поили чаемъ и краснымъ виномъ, а онъ хихикалъ и, желая сказать пріятное, увѣрялъ, что гражданскій бракъ во всѣхъ отношеніяхъ выше церковнаго и что въ сущности всѣ порядочные люди должны придти теперь къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ и поклониться ей въ ножки.

VIII.

Рождественскія святки прошли скучно, въ смутныхъ ожиданіяхъ чего-то недобраго. Наканунѣ новаго года за утреннимъ кофе Орловъ неожиданно объявилъ, что начальство посылаетъ его съ особыми полномочіями къ сенатору, ревизующему какую-то губернію.

— Не хочется ѣхать, да не придумаешь отговорки! — сказалъ онъ съ досадой. — Надо ѣхать, ничего не подѣлаешь.

Отъ такой новости у Зинаиды Ѳедоровны мгновенно покраснѣли глаза.

— Надолго?—спросила она.

— Дней на пять.

— Я, признаться, рада, что ты ѣдешь, — сказала она,

подумавъ. — Развлечешься. Влюбишься въ кого-нибудь дорогой и потомъ мнѣ разскажешь.

Она при всякомъ удобномъ случаѣ старалась дать понять Орлову, что она его нисколько не стѣсняетъ и что онъ можетъ располагать собою, какъ хочетъ, и эта не хитрая, шитая бѣлыми нитками политика никого не обманывала и только лишній разъ напоминала Орлову, что онъ не свободенъ.

— Я поѣду сегодня вечеромъ, — сказалъ онъ и сталъ читать газеты.

Зинаида Ѳедоровна собиралась проводить его на вокзалъ, но онъ отговорилъ ее, сказавши, что онъ уѣзжаетъ не въ Америку и не на пять лѣтъ, а только всего на пять дней, даже меньше.

Въ восьмомъ часу происходило прощаніе. Онъ обнялъ ее одною рукой и поцѣловалъ въ лобъ и въ губы.

— Будь умницей, не скучай безъ меня, — проговорилъ онъ ласковымъ, сердечнымъ тономъ, который и меня тронулъ.—Храни тебя Создатель.

Она жадно вглядывалась въ его лицо, чтобы покрѣпче запечатлѣть въ памяти дорогія черты, потомъ граціозно обвила его шею руками и положила голову ему на грудь.

— Прости мнѣ наши недоразумѣнія,—сказала она по-французски.—Мужъ и жена не могутъ не ссориться, если любятъ, а я люблю тебя до сумасшествія. Не забывай... Телеграфируй почаще и подробнѣе.

Орловъ поцѣловалъ ее еще разъ и, не сказавъ ни слова, вышелъ въ смущеніи. Когда уже за дверью щелкнулъ замокъ, онъ остановился на срединѣ лѣстницы въ раздумьи и взглянулъ наверхъ. Мнѣ казалось, что если бы сверху въ это время донесся хоть одинъ звукъ, то онъ вернулся бы. Но было тихо. Онъ поправилъ на себѣ шинель и сталъ нерѣшительно спускаться внизъ.

У подъѣзда давно уже ждали извозчики. Орловъ сѣлъ на одного, я съ двумя чемоданами на другого. Былъ сильный морозъ и на перекресткахъ дымились костры. Отъ быстрой ѣзды холодный вѣтеръ щипалъ мнѣ лицо и руки, захватывало духъ, и я, закрывъ глаза, думалъ: какая она великолѣпная женщина! Какъ она любитъ! Даже ненужныя вещи собираютъ теперь по дворамъ и продаютъ ихъ съ благотворительною цѣлью, и битое стекло

считается хорошимъ товаромъ, но такая драгоцѣнность, такая рѣдкость, какъ любовь изящной, молодой, неглупой и порядочной женщины, пропадаетъ совершенно даромъ. Одинъ старинный соціологъ смотрѣлъ на всякую дурную страсть, какъ на силу, которую при умѣньи можно направить къ добру, а у насъ и благородная, красивая страсть зарождается и потомъ вымираетъ, какъ безсиліе, никуда не направленная, не понятая или опошленная. Почему это?

Извозчики неожиданно остановились. Я открылъ глаза и увидѣлъ, что мы стоимъ на Сергіевской, около большого дома, гдѣ жилъ Пекарскій. Орловъ вышелъ изъ саней и скрылся въ подъѣздѣ. Минутъ черезъ пять въ дверяхъ показался лакей Пекарскаго, безъ шапки, и крикнулъ мнѣ, сердясь на морозъ:

— Глухой, что ли? Отпусти извозчиковъ и ступай наверхъ. Зовутъ!

Ничего не понимая, я отправился во второй этажъ. Я и раньше бывалъ въ квартирѣ Пекарскаго, то-есть стоялъ въ передней и смотрѣлъ въ залу, и послѣ сырой, мрачной улицы она всякій разъ поражала меня блескомъ своихъ картинныхъ рамъ, бронзы и дорогой мебели. Теперь въ этомъ блескѣ я увидѣлъ Грузина, Кукушкина и немного погодя Орлова.

— Вотъ что, Степанъ,—сказалъ онъ, подходя ко мнѣ.— Я проживу здѣсь до пятницы или субботы. Если будутъ письма и телеграммы, то каждый день приноси ихъ сюда. Дома, конечно, скажешь, что я уѣхалъ и велѣлъ кланяться. Ступай съ Богомъ.

Когда я вернулся домой, Зинаида Ѳедоровна лежала въ гостиной на софѣ и ѣла грушу. Горѣла только одна свѣча, вставленная въ канделябру.

— Не опоздали къ поѣзду? — спросила Зинаида Ѳедоровна.

— Никакъ нѣтъ. Приказали кланяться.

Я пошелъ къ себѣ въ лакейскую и тоже легъ. Дѣлать было нечего и читать не хотѣлось. Я не удивлялся и не возмущался, а только напрягалъ мысль, чтобы понять, для чего понадобился этотъ обманъ. Вѣдь такъ только подростки обманываютъ своихъ любовницъ. Неужели онъ, много читающій и разсуждающій человѣкъ, не могъ придумать чего-нибудь поумнѣе? Признаюсь, я былъ не пло-

хого мнѣнія объ его умѣ. Я думалъ, что если бы ему понадобилось обмануть своего министра или другого сильнаго человѣка, то онъ употребилъ бы на это много энергіи и искусства, тутъ же, чтобы обмануть женщину, сгодилось очевидно то, что первое пришло въ голову; удастся обманъ—хорошо, не удастся—бѣда не велика, можно будетъ солгать во второй разъ такъ же просто и скоро, не ломая головы.

Въ полночь, когда въ верхнемъ этажѣ надъ нами, встрѣчая новый годъ, задвигали стульями и прокричали ура, Зинаида Ѳедоровна позвонила мнѣ изъ комнаты, что рядомъ съ кабинетомъ. Она, вялая отъ долгаго лежанья, сидѣла за столомъ и писала что-то на клочкѣ бумаги.

— Нужно отправить телеграмму,—сказала она и улыбнулась.—Поѣзжайте скорѣе на вокзалъ и попросите послать вслѣдъ.

Выйдя затѣмъ на улицу, я прочелъ на клочкѣ: «Съ новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ. Скорѣй телеграфируй, скучаю ужасно. Прошла цѣлая вѣчность. Жалѣю, что нельзя послать по телеграфу тысячу поцѣлуевъ и самое сердце. Будь веселъ, радость моя. Зина».

Я послалъ эту телеграмму и на другой день утромъ отдалъ росписку.

IX.

Хуже всего, что Орловъ необдуманно посвятилъ въ тайну своего обмана также и Полю, приказавъ ей принести сорочки на Сергіевскую. Послѣ этого она со злорадствомъ и съ непостижимою для меня ненавистью смотрѣла на Зинаиду Ѳедоровну и не переставала у себя въ комнатѣ и въ передней фыркать отъ удовольствія.

— Зажилась, пора и честь знать! — говорила она съ восторгомъ.—Самой бы надо понимать...

Она уже нюхомъ чуяла, что Зинаидѣ Ѳедоровнѣ осталось у насъ не долго жить, и, чтобы не упустить времени, тащила все, что попадалось на глаза — флаконы, черепаховыя шпильки, платки, ботинки. На другой день новаго года Зинаида Ѳедоровна позвала меня въ свою комнату и сообщила мнѣ вполголоса, что у нея пропало черное платье. И потомъ ходила по всѣмъ комнатамъ, блѣдная,

съ испуганнымъ и негодующимъ лицомъ и разговаривала сама съ собой:

— Каково? Нѣтъ, каково? Вѣдь это неслыханная дерзость!

За обѣдомъ она хотѣла налить себѣ супу, но не могла,— дрожали руки. И губы у нея дрожали. Она безпомощно поглядывала на супъ и пирожки, ожидая, когда уймется дрожь, и вдругъ не выдержала и посмотрѣла на Полю.

— Вы, Поля, можете выйти отсюда, — сказала она.— Достаточно одного Степана.

— Ничего-съ, постою-съ,—отвѣтила Поля.

— Незачѣмъ вамъ тутъ стоять. Вы уходите отсюда совсѣмъ... совсѣмъ!—продолжала Зинаида Ѳедоровна, вставая въ сильномъ волненіи.—Можете искать себѣ другое мѣсто. Сейчасъ же уходите!

— Безъ приказанія барина я не могу уйти. Они меня нанимали. Какъ они прикажутъ, такъ и будетъ.

— Я тоже приказываю вамъ! Я тутъ хозяйка!—сказала Зинаида Ѳедоровна и вся покраснѣла.

— Можетъ, вы и хозяйка, но расчитать меня можетъ только баринъ. Они меня нанимали.

— Вы не смѣете оставаться здѣсь ни одной минуты!— крикнула Зинаида Ѳедоровна и ударила ножомъ по тарелкѣ.—Вы воровка! Слышите?

Зинаида Ѳедоровна бросила на столъ салфетку и быстро, съ жалкимъ, страдальческимъ лицомъ, вышла изъ столовой. Поля, громко рыдая и что-то причитывая, тоже вышла. Супъ и рябчикъ остыли. И почему-то теперь вся эта ресторанная роскошь, бывшая на столѣ, показалась мнѣ скудною, воровскою, похожею на Полю. Самый жалкій и преступный видъ имѣли два пирожка на тарелочкѣ. «Сегодня насъ унесутъ обратно въ ресторанъ, — какъ бы говорили они: — а завтра опять подадутъ къ обѣду какому-нибудь чиновнику или знаменитой пѣвицѣ».

— Важная барыня, подумаешь! — доносилось до моего слуха изъ комнаты Поли.—Если бы я захотѣла, давно бы такою же барыней была, да стыдъ есть! Посмотримъ, кто изъ насъ первая уйдетъ! Да!

Позвонила Зинаида Ѳедоровна. Она сидѣла у себя въ комнатѣ, въ углу, съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ее посадили въ уголъ въ наказаніе.

— Телеграммы не приносили?—спросила она.

— Никакъ нѣтъ.

— Справьтесь у швейцара, можетъ-быть, есть телеграмма. Да не уходите изъ дому,—сказала она мнѣ вслѣдъ:— мнѣ страшно оставаться одной.

Потомъ мнѣ почти каждый часъ приходилось бѣгать внизъ къ швейцару и спрашивать, нѣтъ ли телеграммы. Что за жуткое время, долженъ признаться! Зинаида Ѳедоровна, чтобы не видѣть Поли, обѣдала и пила чай у себя въ комнатѣ, тутъ же и спала на короткомъ диванѣ, похожемъ на букву Э, и сама убирала за собой постель. Въ первые дни носилъ телеграммы я, но, не получая отвѣта, она перестала вѣрить мнѣ и сама ѣздила на телеграфъ. Глядя на нее, я тоже съ нетерпѣніемъ ждалъ телеграммы. Я надѣялся, что онъ придумаетъ какую-нибудь ложь, напримѣръ, распорядится, чтобы ей послали телеграмму съ какой-нибудь станціи. Если онъ слишкомъ заигрался въ карты, думалъ я, или успѣлъ уже увлечься другою женщиной, то, конечно, напомнятъ ему о насъ и Грузинъ, и Кукушкинъ. Но напрасно мы ожидали. Разъ пять на день я входилъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ съ тѣмъ, чтобы разсказать ей всю правду, но она глядѣла, какъ коза, плечи у нея были опущены, губы шевелились, и я уходилъ назадъ, не сказавъ ни слова. Состраданіе и жалость отнимали у меня все мужество. Поля, какъ ни въ чемъ не бывало, веселая и довольная, убирала кабинетъ барина, спальню, рылась въ шкапахъ и стучала посудой, а проходя мимо двери Зинаиды Ѳедоровны, напѣвала что-то и кашляла. Ей нравилось, что отъ нея прятались. Вечеромъ она уходила куда-то, а часа въ два или три звонилась, и я долженъ былъ отворять ей и выслушивать замѣчанія насчетъ своего кашля. Тотчасъ же слышался другой звонокъ, я бѣжалъ къ комнатѣ, что рядомъ съ кабинетомъ, и Зинаида Ѳедоровна, просунувъ въ дверь голову, спрашивала: «Кто это звонилъ?» А сама смотрѣла мнѣ на руки — нѣтъ ли въ нихъ телеграммы.

Когда, наконецъ, въ субботу позвонили снизу и на лѣстницѣ послышался знакомый голосъ, она до такой степени обрадовалась, что зарыдала; она бросилась къ нему навстрѣчу, обняла его, цѣловала ему грудь и рукава, говорила что-то такое, чего нельзя было понять. Швейцаръ

внесъ чемоданы, послышался веселый голосъ Поли. Точно кто на каникулы пріѣхалъ!

— Отчего ты не телеграфировалъ? — говорила Зинаида Ѳедоровна, тяжело дыша отъ радости. — Отчего? Я измучилась, я едва пережила это время... О, Боже мой!

— Очень просто! Мы съ сенаторомъ въ первый же день поѣхали въ Москву, я не получалъ твоихъ телеграммъ,— сказалъ Орловъ. — Послѣ обѣда я, душа моя, дамъ тебѣ самый подробный отчетъ, а теперь спать, спать и спать... Замаялся въ вагонѣ.

Видно было, что онъ не спалъ всю ночь: вѣроятно, игралъ въ карты и много пилъ. Зинаида Ѳедоровна уложила его въ постель, и всѣ мы потомъ до самаго вечера ходили на цыпочкахъ. Обѣдъ прошелъ вполнѣ благополучно, но когда ушли въ кабинетъ пить кофе, началось объясненіе. Зинаида Ѳедоровна заговорила о чемъ-то быстро, вполголоса, она говорила по-французски, и рѣчь ея журчала, какъ ручей, потомъ послышался громкій вздохъ Орлова и его голосъ.

— Боже мой! — сказалъ онъ по-французски. — Неужели у васъ нѣтъ новостей посвѣжѣе, чѣмъ эта вѣчная пѣсня о злодѣйкѣ горничной?

— Но, милый, она меня обокрала и наговорила мнѣ дерзостей.

— Но отчего она меня не обкрадываетъ и не говоритъ мнѣ дерзостей? Отчего я никогда не замѣчаю ни горничныхъ, ни дворниковъ, ни лакеевъ? Милая моя, вы просто капризничаете и не хотите имѣть характера... Я даже подозрѣваю, что вы беременны. Когда я предлагалъ вамъ уволить ее, вы потребовали, чтобы она осталась, а теперь хотите, чтобы я прогналъ ее. А я въ такихъ случаяхъ тоже упрямый человѣкъ: на капризъ я отвѣчаю тоже капризомъ. Вы хотите, чтобы она ушла, ну, а я вотъ хочу, чтобы она осталась. Это единственный способъ излѣчить васъ отъ нервовъ.

— Ну, будетъ, будетъ!—сказала испуганно Зинаида Ѳедоровна.—Перестанемъ говорить объ этомъ... Отложимъ до завтра. Теперь разскажи мнѣ о Москвѣ... Что въ Москвѣ?

X.

На другой день — это было 7-го января, день Іоанна Крестителя—Орловъ послѣ завтрака надѣлъ черный фракъ

и орденъ, чтобы ѣхать къ отцу поздравлять его съ ангеломъ. Нужно было ѣхать къ двумъ часамъ, а когда онъ кончилъ одѣваться, была только половина второго. Какъ употребить эти полчаса? Онъ ходилъ по гостиной и декламировалъ поздравительные стихи, которые читалъ когда-то въ дѣтствѣ отцу и матери. Тутъ же сидѣла Зинаида Ѳедоровна, собравшаяся ѣхать къ портнихѣ или въ магазинъ, и слушала его съ улыбкой. Не знаю, съ чего у нихъ начался разговоръ, но когда я принесъ Орлову перчатки, онъ стоялъ передъ Зинаидою Ѳедоровной и съ капризнымъ, умоляющимъ лицомъ говорилъ ей:

— Ради Бога, ради всего святого, не говорите вы о томъ, что уже извѣстно всѣмъ и каждому. И что за несчастная способность у нашихъ умныхъ, мыслящихъ дамъ говорить съ глубокомысленнымъ видомъ и съ азартомъ о томъ, что давно уже набило оскомину даже гимназистамъ. Ахъ, если бы вы исключили изъ нашей супружеской программы всѣ эти серьезные вопросы! Какъ бы одолжили!

— Мы, женщины, не можемъ смѣть свое сужденіе имѣть.

— Я даю вамъ полную свободу, будьте либеральны и цитируйте какихъ угодно авторовъ, но сдѣлайте мнѣ уступку, не трактуйте въ моемъ присутствіи только о двухъ вещахъ: о зловредности высшаго свѣта и о ненормальностяхъ брака. Поймите же вы, наконецъ. Высшій свѣтъ бранятъ всегда, чтобы противопоставить его тому свѣту, гдѣ живутъ купцы, попы, мѣщане и мужики, разные тамъ Сидоры и Никиты. Оба свѣта мнѣ противны, но если бы мнѣ предложили выбирать по совѣсти между тѣмъ и другимъ, то я, не задумываясь, выбралъ бы высшій, и это не было бы ложью и кривляньемъ, такъ какъ всѣ мои вкусы на его сторонѣ. Нашъ свѣтъ и пошлъ, и пустъ, но зато мы съ вами хоть порядочно говоримъ по-французски, кое-что почитываемъ и не толкаемъ другъ друга подъ микитки, даже когда сильно ссоримся, а у Сидоровъ, Никитъ и у ихъ степенствъ — потрафляемъ, таперича, чтобъ тебѣ повылазило, и полная разнузданность кабацкихъ нравовъ и идолопоклонство.

— Мужикъ и купецъ кормятъ васъ.

— Да, ну такъ что же? Это рекомендуетъ съ дурной стороны не меня только, но и ихъ также. Они кормятъ меня и ломаютъ передо мною шапку, значитъ, у нихъ не

хватаетъ ума и честности поступать иначе. Я никого не браню и не хвалю, а только хочу сказать: высшій свѣтъ и низшій—оба лучше. Сердцемъ и умомъ я противъ обоихъ, но вкусы мои на сторонѣ перваго. Ну-съ, что же касается теперь ненормальностей брака,—продолжалъ Орловъ, взглянувъ на часы:—то пора вамъ понять, что никакихъ ненормальностей нѣтъ, а есть пока только неопредѣленныя требованія къ браку. Что вы хотите отъ брака? Въ законномъ и незаконномъ сожительствѣ, во всѣхъ союзахъ и сожительствахъ, хорошихъ и дурныхъ, — одна и та же сущность. Вы, дамы, живете только для одной этой сущности, она для васъ все, безъ нея ваше существованіе не имѣло бы для васъ смысла. Вамъ ничего не нужно, кромѣ сущности, вы и берете ее, но съ тѣхъ поръ, какъ вы начитались повѣстей, вамъ стало стыдно брать, и вы мечетесь изъ стороны въ сторону, мѣняете, очертя голову, мужчинъ и, чтобы оправдать эту сумятицу, заговорили о ненормальностяхъ брака. Разъ вы не можете и не хотите устранить сущности, самаго главнаго вашего врага, вашего сатану, разъ вы продолжаете рабски служить ему, то какіе тутъ могутъ быть серьезные разговоры? Все, что вы ни скажете мнѣ, будетъ вздоръ и кривлянье. Не повѣрю я вамъ.

Я пошелъ узнать у швейцара, есть ли извозчикъ, и, когда вернулся, то засталъ уже ссору. Какъ выражаются моряки, вѣтеръ крѣпчалъ.

— Вы, я вижу, хотите сегодня поразить меня вашимъ цинизмомъ, — говорила Зинаида Ѳедоровна, ходя въ сильномъ волненіи по гостиной.—Мнѣ отвратительно васъ слушать. Я чиста передъ Богомъ и людьми, и мнѣ не въ чемъ раскаиваться. Я ушла отъ мужа къ вамъ и горжусь этимъ. Горжусь, клянусь вамъ моею честью!

— Ну, и прекрасно.

— Если вы честный, порядочный человѣкъ, то вы тоже должны гордиться моимъ поступкомъ. Онъ возвышаетъ меня и васъ надъ тысячами людей, которые хотѣли бы поступить такъ же, какъ я, но не рѣшаются изъ малодушія или мелкихъ разсчетовъ. Но вы не порядочны. Вы боитесь свободы и насмѣхаетесь надъ честнымъ порывомъ изъ страха, чтобы какой-нибудь невѣжда не заподозрилъ, что вы честный человѣкъ. Вы боитесь показывать меня своимъ знакомымъ, для васъ нѣтъ выше наказанія, какъ ѣхать вмѣстѣ

со мною по улицѣ... Что? Развѣ это не правда? Почему вы до сихъ поръ не представили меня вашему отцу и вашей кузинѣ? Почему? Нѣтъ, мнѣ это надоѣло, наконецъ!—крикнула Зинаида Ѳедоровна и топнула ногой.—Я требую того, что мнѣ принадлежитъ по праву. Извольте представить меня вашему отцу!

— Если онъ вамъ нуженъ, то представьтесь ему сами. Онъ принимаетъ ежедневно по утрамъ отъ десяти до половины одиннадцатаго.

— Какъ вы низки! — сказала Зинаида Ѳедоровна, въ отчаяніи ломая руки.—Если даже вы не искренни и говорите не то, что думаете, то за одну эту жестокость можно возненавидѣть васъ. О, какъ вы низки!

— Мы все ходимъ вокругъ да около и никакъ не договоримся до настоящей сути. Вся суть въ томъ, что вы ошиблись и не хотите въ этомъ сознаться вслухъ. Вы воображали, что я герой и что у меня какіе-то необычайные идеи и идеалы, а на повѣрку-то вышло, что я самый заурядный чиновникъ, картежникъ и не имѣю пристрастія ни къ какимъ идеямъ. Я достойный отпрыскъ того самаго гнилого свѣта, изъ котораго вы бѣжали, возмущенная его пустотой и пошлостью. Сознайтесь же и будьте справедливы: негодуйте не на меня, а на себя, такъ какъ ошиблись вы, а не я.

— Да, я сознаюсь: я ошиблась!

— Вотъ и прекрасно. До главнаго договорились, слава Богу. Теперь слушайте дальше, если угодно. Возвыситься до васъ я не могу, такъ какъ слишкомъ испорченъ: унизиться до меня вы тоже не можете, такъ какъ высоки слишкомъ. Остается, стало-быть, одно...

— Что?—быстро спросила Зинаида Ѳедоровна, притаивъ дыханіе и ставши вдругъ блѣдною, какъ бумага.

— Остается позвать на помощь логику...

— Георгій, за что вы меня мучаете?—сказала Зинаида Ѳедоровна вдругъ по-русски, надтреснувшимъ голосомъ.—За что? Поймите мои страданія...

Орловъ, испугавшійся слезъ, быстро пошелъ въ кабинетъ и, не знаю зачѣмъ,—желалъ ли онъ причинить ей лишнюю боль, или вспомнилъ, что это практикуется въ подобныхъ случаяхъ,—заперъ за собою дверь на ключъ. Она вскрикнула и побѣжала за нимъ вдогонку, шурша платьемъ.

— Это что значитъ?—спросила она, стучась въ дверь.— Это... это что значитъ?—повторила она тонкимъ, обрывающимся отъ негодованія голосомъ.—А, вы вотъ какъ? Такъ знайте же, я ненавижу, презираю васъ! Между нами все уже кончено! Все!

Послышался истерическій плачъ съ хохотомъ. Въ гостиной что-то небольшое упало со стола и разбилось. Орловъ пробрался изъ кабинета въ переднюю черезъ другую дверь и, трусливо оглядываясь, быстро надѣлъ шинель и цилиндръ и вышелъ.

Прошло полчаса, потомъ часъ, а она все плакала. Я вспомнилъ, что у нея нѣтъ ни отца, ни матери, ни родныхъ, что здѣсь она живетъ между человѣкомъ, который ее ненавидитъ, и Полей, которая ее обкрадываетъ,—и какою безотрадною представилась мнѣ ея жизнь! Я, самъ не знаю зачѣмъ, пошелъ къ ней въ гостиную. Она, слабая, безпомощная, съ прекрасными волосами, казавшаяся мнѣ образцомъ нѣжности и изящества, мучилась какъ больная; она лежала на кушеткѣ, пряча лицо, и вздрагивала всѣмъ тѣломъ.

— Сударыня, не прикажете ли сходить за докторомъ?— спросилъ я тихо.

— Нѣтъ, не нужно... пустяки, — сказала она и посмотрѣла на меня заплаканными глазами.—У меня немножко голова болитъ... Благодарю.

Я вышелъ. А вечеромъ она писала письмо за письмомъ и посылала меня то къ Пекарскому, то къ Кукушкину, то къ Грузину и, наконецъ, куда мнѣ угодно, лишь бы только я поскорѣе нашелъ Орлова и отдалъ ему письмо. Когда я всякій разъ возвращался обратно съ письмомъ, она бранила меня, умоляла, совала мнѣ въ руки деньги — точно въ горячкѣ. И ночью она не спала, а сидѣла въ гостиной и разговаривала сама съ собой.

На другой день Орловъ вернулся къ обѣду, и они помирились.

Въ первый четвергъ послѣ этого Орловъ жаловался своимъ пріятелямъ на невыносимо тяжелую жизнь; онъ много курилъ и говорилъ съ раздраженіемъ:

— Это не жизнь, а инквизиція. Слезы, вопли, умные разговоры, просьбы о прощеніи, опять слезы и вопли, а въ итогѣ—у меня нѣтъ теперь собственной квартиры, я заму-

чился и ее замучилъ. Неужели придется жить такъ еще мѣсяцъ или два? Неужели? А вѣдь это возможно!

— А ты съ ней поговори,—сказалъ Пекарскій.

— Пробовалъ, но не могу. Можно смѣло говорить какую угодно правду человѣку самостоятельному, разсуждающему, а вѣдь тутъ имѣешь дѣло съ существомъ, у котораго ни воли, ни характера, ни логики. Я не выношу слезъ, онѣ меня обезоруживаютъ. Когда она плачетъ, то я готовъ клясться въ вѣчной любви и самъ плакать.

Пекарскій не понялъ, почесалъ въ раздумьи свой широкій лобъ и сказалъ:

— Право, нанялъ бы ты ей отдѣльную квартиру. Вѣдь, это такъ просто!

— Ей нуженъ я, а не квартира. Да что говорить?— вздохнулъ Орловъ.—Я слышу только безконечные разговоры, но не вижу выхода изъ своего положенія. Вотъ ужъ воистину безъ вины виноватъ! Не назывался груздемъ, а полѣзай въ кузовъ. Всю свою жизнь открещивался отъ роли героя, всегда терпѣть не могъ тургеневскіе романы и вдругъ, словно на смѣхъ, попалъ въ самые настоящіе герои. Увѣряю честнымъ словомъ, что я вовсе не герой, привожу тому неопровержимыя доказательства, но мнѣ не вѣрятъ. Почему не вѣрятъ? Должно-быть, въ самомъ дѣлѣ у меня въ физіономіи есть что-нибудь геройское.

— А вы поѣзжайте ревизовать губерніи, — сказалъ Кукушкинъ со смѣхомъ.

— Да только это и остается.

Черезъ недѣлю послѣ этого разговора Орловъ объявилъ, что его опять командируютъ къ сенатору, и въ тотъ же день вечеромъ уѣхалъ со своими чемоданами къ Пекарскому.

XI.

На порогѣ стоялъ старикъ лѣтъ шестидесяти, въ длинной до земли шубѣ и въ бобровой шапкѣ.

— Дома Георгій Иванычъ?—спросилъ онъ.

Сначала я подумалъ, что это одинъ изъ ростовщиковъ, кредиторовъ Грузина, которые иногда хаживали къ Орлову за мелкими получками, но когда онъ вошелъ въ переднюю и распахнулъ шубу, я увидалъ густыя брови и характерно сжатыя губы, которыя я такъ хорошо изучилъ по фото-

графіямъ, и два ряда звѣздъ на форменномъ фракѣ. Я узналъ его: это былъ отецъ Орлова, извѣстный государственный человѣкъ.

Я отвѣтилъ ему, что Георгія Иваныча нѣтъ дома. Старикъ крѣпко сжалъ губы и въ раздумьи поглядѣлъ въ сторону, показывая мнѣ свой сухой, беззубый профиль.

— Я оставлю записку,—сказалъ онъ.—Проводи меня.

Онъ оставилъ въ передней калоши и, не снимая своей длинной, тяжелой шубы, пошелъ въ кабинетъ. Тутъ онъ сѣлъ въ кресло передъ письменнымъ столомъ и, прежде чѣмъ взяться за перо, минуты три думалъ о чемъ-то, заслонивъ глаза рукою, какъ отъ солнца,—точь въ точь, какъ это дѣлалъ его сынъ, когда бывалъ не въ духѣ. Лицо у него было грустное, задумчивое, съ выраженіемъ той покорности, какую мнѣ приходилось видѣть на лицахъ только у людей старыхъ и религіозныхъ. Я стоялъ позади, глядѣлъ на его лысину и на ямку въ затылкѣ, и для меня было ясно, какъ день, что этотъ слабый, больной старикъ теперь въ моихъ рукахъ. Вѣдь во всей квартирѣ, кромѣ меня и моего врага, не было ни души. Стоило бы мнѣ только употребить немножко физической силы, потомъ сорвать часы, чтобы замаскировать цѣли, и уйти чернымъ ходомъ, и я получилъ бы неизмѣримо больше, чѣмъ могъ разсчитывать, когда поступалъ въ лакеи. Я думалъ: едва ли когда представится мнѣ болѣе счастливый случай. Но вмѣсто того, чтобы дѣйствовать, я совершенно равнодушно посматривалъ то на лысину, то на мѣхъ и покойно размышлялъ объ отношеніяхъ этого человѣка къ своему единственному сыну и о томъ, что людямъ, избалованнымъ богатствомъ и властью, вѣроятно, не хочется умирать...

— Ты давно служишь у моего сына? — спросилъ онъ, выводя на бумагѣ крупныя буквы.

— Третій мѣсяцъ, ваше высокопревосходительство.

Онъ кончилъ писать и всталъ. У меня еще оставалось время. Я торопилъ себя и сжималъ кулаки, стараясь выдавить изъ своей души хотя каплю прежней ненависти; я вспоминалъ, какимъ страстнымъ, упрямымъ и неутомимымъ врагомъ я былъ еще такъ недавно... Но трудно зажечь спичку о рыхлый камень. Старое, грустное лицо и холодный блескъ звѣздъ вызывали во мнѣ только мелкія, деше-

выя и ненужныя мысли о бренности всего земного, о скорой смерти...

— Прощай, братецъ! — сказалъ старикъ, надѣлъ шапку и вышелъ.

Нельзя ужъ было сомнѣваться: во мнѣ произошла перемѣна, я сталъ другимъ. Чтобы провѣрить себя, я началъ вспоминать, но тотчасъ же мнѣ стало жутко, какъ будто я нечаянно заглянулъ въ темный сырой уголъ. Вспомнилъ я своихъ товарищей и знакомыхъ, и первая мысль моя была о томъ, какъ я теперь покраснѣю и растеряюсь, когда встрѣчу кого-нибудь изъ нихъ. Кто же я теперь такой? О чемъ мнѣ думать и что дѣлать? Куда идти? Для чего я живу?

Ничего я не понималъ и ясно сознавалъ только одно: надо поскорѣе укладывать свой багажъ и уходить. До посѣщенія старика мое лакейство имѣло еще смыслъ, теперь же оно было смѣшно. Слезы капали у меня въ раскрытый чемоданъ, было нестерпимо грустно, но какъ хотѣлось жить! Я готовъ былъ обнять и вмѣстить въ свою короткую жизнь все, доступное человѣку. Мнѣ хотѣлось и говорить, и читать, и стучать молотомъ гдѣ-нибудь въ большомъ заводѣ, и стоять на вахтѣ, и пахать. Меня тянуло и на Невскій, и въ поле, и въ море — всюду, куда хватало мое воображеніе. Когда вернулась Зинаида Ѳедоровна, я бросился отворять ей и съ особенною нѣжностью снялъ съ нея шубу. Въ послѣдній разъ!

Кромѣ старика, въ этотъ день приходило къ намъ еще двое. Вечеромъ, когда совсѣмъ уже стемнѣло, неожиданно пришелъ Грузинъ, чтобы взять для Орлова какія-то бумаги. Онъ открылъ столъ, досталъ нужныя бумаги и, свернувъ ихъ въ трубку, приказалъ мнѣ положить въ передней около его шапки, а самъ пошелъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ. Она лежала въ гостиной на софѣ, подложивъ руки подъ голову. Прошло уже пять или шесть дней, какъ Орловъ уѣхалъ на ревизію, и никому не было извѣстно, когда онъ вернется, но она уже не посылала телеграммъ и не ожидала ихъ. Поли, которая все еще жила у насъ, она какъ будто не замѣчала. «Пусть!» — читалъ я на ея безстрастномъ, очень блѣдномъ лицѣ. Ей уже, какъ Орлову, изъ упрямства хотѣлось быть несчастной; она на зло себѣ и всему на свѣтѣ по цѣлымъ днямъ лежала неподвижно на софѣ,

желая себѣ только одного дурного и ожидая только дурное. Вѣроятно, она воображала себѣ возвращеніе Орлова и неизбѣжныя ссоры съ нимъ, потомъ его охлажденіе, измѣны, потомъ какъ они разойдутся, и эти мучительныя мысли доставляли ей, быть-можетъ, удовольствіе. Но что бы она сказала, если бы вдругъ узнала настоящую правду?

— Я васъ люблю, кума,—говорилъ Грузинъ, здороваясь и цѣлуя ей руку. — Вы такая добрая! А Жоржинька-то уѣхалъ,—солгалъ онъ.—Уѣхалъ, злодѣй!

Онъ со вздохомъ сѣлъ и нѣжно погладилъ ее по рукѣ.

— Позвольте, голубка, посидѣть у васъ часокъ, — сказалъ онъ.—Домой мнѣ идти не хочется, а къ Биршовымъ еще рано. Сегодня у Биршовыхъ день рожденія ихъ Кати. Славная дѣвочка!

Я подалъ ему стаканъ чаю и графинчикъ съ коньякомъ. Онъ медленно, съ видимою неохотой выпилъ чай и, возвращая мнѣ стаканъ, спросилъ робко:

— А нѣтъ ли у васъ, дружокъ, чего-нибудь закусить? Я еще не обѣдалъ.

У насъ ничего не было. Я сходилъ въ ресторанъ и принесъ ему обыкновенный рублевый обѣдъ.

— За ваше здоровье, голубчикъ!—сказалъ онъ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ и выпилъ рюмку водки.—Моя маленькая, ваша крестница кланяется вамъ. Бѣдняжка, у нея золотушка! Ахъ дѣти, дѣти!—вздохнулъ онъ.—Что ни говорите, кума, а пріятно быть отцомъ. Жоржинькѣ непонятно это чувство.

Онъ еще выпилъ. Тощій, блѣдный, съ салфеткой на груди, точно въ передничкѣ, онъ съ жадностью ѣлъ и, поднимая брови, виновато поглядывалъ то на Зиниду Ѳедоровну, то на меня, какъ мальчикъ. Казалось, что если бы я не далъ ему рябчика или желе, то онъ заплакалъ бы. Утоливъ голодъ, онъ повеселѣлъ и сталъ со смѣхомъ разсказывать что-то о семьѣ Биршовыхъ, но, замѣтивъ, что это скучно и что Зинаида Ѳедоровна не смѣется, замолчалъ. И какъ-то вдругъ стало скучно. Послѣ обѣда оба сидѣли въ гостиной при свѣтѣ одной только лампы и молчали: ему тяжело было лгать, а она хотѣла спросить его о чемъ-то, но не рѣшалась. Такъ прошло съ полчаса. Грузинъ поглядѣлъ на часы.

— А пожалуй, что мнѣ и пора.

— Нѣтъ, посидите... Намъ поговорить надо.

Опять помолчали. Онъ сѣлъ за рояль, тронулъ одинъ клавишъ, потомъ заигралъ и тихо запѣлъ: «Что день грядущій мнѣ готовитъ?» — но по обыкновенію тотчасъ же всталъ и встряхнулъ головой.

— Сыграйте, кумъ, что-нибудь,—попросила Зинаида Ѳедоровна.

— Что же?—спросилъ онъ, пожавъ плечами.—Я все уже перезабылъ. Давно бросилъ.

Глядя на потолокъ, какъ бы припоминая, онъ съ чудеснымъ выраженіемъ сыгралъ двѣ пьесы Чайковскаго, такъ тепло, такъ умно! Лицо у него было такое, какъ всегда—не умное и не глупое, и мнѣ казалось просто чудомъ, что человѣкъ, котораго я привыкъ видѣть среди самой низменной, нечистой обстановки, былъ способенъ на такой высокій и недосягаемый для меня подъемъ чувства, на такую чистоту. Зинаида Ѳедоровна раскраснѣлась и въ волненіи стала ходить по гостиной.

— А вотъ погодите, кума, если вспомню, я сыграю вамъ одну штучку,—сказалъ онъ.—Я слышалъ, какъ ее играли на віолончели.

Сначала робко и подбирая, затѣмъ съ увѣренностью онъ заигралъ *Лебединую пѣсню* Сенъ-Санса. Сыгралъ и повторилъ.

— Мило, вѣдь?—сказалъ онъ.

Взволнованная Зинаида Ѳедоровна остановилась около него и спросила:

— Кумъ, скажите мнѣ искренно, по-дружески: что вы обо мнѣ думаете?

— Что же сказать?—проговорилъ онъ, поднимая брови.—Я люблю васъ и думаю о васъ одно только хорошее. Если же вы хотите, чтобъ я говорилъ вообще по интересующему васъ вопросу,—продолжалъ онъ, вытирая себѣ рукавъ около локтя и хмурясь:—то, милая, знаете ли... Свободно слѣдовать влеченіямъ своего сердца,—это не всегда даетъ хорошимъ людямъ счастье. Чтобы чувствовать себя свободнымъ и въ то же время счастливымъ, мнѣ кажется, надо не скрывать отъ себя, что жизнь жестока, груба и безпощадна въ своемъ консерватизмѣ, и надо отвѣчать ей тѣмъ, чего она стоитъ, то-есть быть такъ же, какъ она, грубымъ и безпощаднымъ въ своихъ стремленіяхъ къ свободѣ. Я такъ думаю.

— Куда мнѣ! — печально улыбнулась Зинаида Ѳедоровна.—Я уже утомилась, кумъ. Я такъ утомилась, что не пошевельну пальцемъ для своего спасенія.

— Ступайте, кума, въ монастырь.

Это онъ сказалъ шутя, но послѣ его словъ у Зинаиды Ѳедоровны, а потомъ и у него самого на глазахъ заблестѣли слезы.

— Ну-съ, — сказалъ онъ: — сидѣли-сидѣли, да поѣхали. Прощайте, кумушка милая. Дай Богъ вамъ здоровья.

Онъ поцѣловалъ ей обѣ руки и, нѣжно погладивъ ихъ, сказалъ, что непремѣнно побываетъ еще на-дняхъ. Надѣвая въ передней свое пальто, похожее на дѣтскій капотикъ, онъ долго шарилъ въ карманахъ, чтобы дать мнѣ на чай, но ничего не нашелъ.

— Прощай, голубчикъ!—сказалъ онъ грустно и вышелъ.

Никогда не забуду того настроенія, какое оставилъ послѣ себя этотъ человѣкъ. Зинаида Ѳедоровна все еще продолжала въ волненіи ходить по гостиной. Не лежала, а ходила — ужъ одно это хорошо. Я хотѣлъ воспользоваться этимъ настроеніемъ, чтобъ откровенно поговорить съ ней и тотчасъ уйти, но едва я успѣлъ проводить Грузина, какъ послышался звонокъ. Это пришелъ Кукушкинъ.

— Дома Георгій Иванычъ? — спросилъ онъ.—Вернулся? Ты говоришь: нѣтъ? Экая жалость! Въ такомъ случаѣ, пойду поцѣлую хозяйкѣ ручку и—вонъ. Зинаида Ѳедоровна, можно? — крикнулъ онъ.—Я хочу вамъ ручку поцѣловать. Извините, что такъ поздно.

Онъ просидѣлъ въ гостиной не долго, не больше десяти минутъ, но мнѣ казалось, что онъ сидитъ уже давно и никогда не уйдетъ. Я кусалъ себѣ губы отъ негодованія и досады и уже ненавидѣлъ Зинаиду Ѳедоровну. «Почему она не гонитъ его отъ себя?» — возмущался я, хотя было очевидно, что она скучала съ нимъ.

Когда я подавалъ ему шубу, онъ въ знакъ особаго ко мнѣ расположенія спросилъ меня, какъ это я могу обходиться безъ жены.

— Но, я думаю, ты не зѣваешь,—сказалъ онъ, смѣясь.— У тебя съ Полей, должно-быть, тутъ шуры-амуры... Шалунъ!

Несмотря на свой житейскій опытъ, я тогда мало зналъ людей, и очень возможно, что я часто преувеличивалъ ни-

чтожное и вовсе не замѣчалъ важнаго. Мнѣ показалось, что Кукушкинъ хихикаетъ и льститъ мнѣ не даромъ: ужъ не надѣется ли онъ, что я, какъ лакей, буду болтать всюду по чужимъ лакейскимъ и кухнямъ о томъ, что онъ бываетъ у насъ по вечерамъ, когда нѣтъ Орлова, и просиживаетъ съ Зинаидой Ѳедоровной до поздней ночи? А когда мои сплетни дойдутъ до ушей его знакомыхъ, онъ будетъ конфузливо опускать глаза и грозить мизинцемъ. И развѣ самъ онъ,— думалъ я, глядя на его маленькое, медовое лицо, — не будетъ сегодня же за картами дѣлать видъ и, пожалуй, проговариваться, что онъ уже отбилъ у Орлова Зинаиду Ѳедоровну?

Та ненависть, которой такъ недоставало мнѣ въ полдень, когда приходилъ старикъ, теперь овладѣла мной. Кукушкинъ вышелъ наконецъ, и я, прислушиваясь къ шарканью его кожаныхъ калошъ, чувствовалъ сильное желаніе послать ему вдогонку на прощанье какое-нибудь грубое ругательство, но сдержалъ себя. А когда шаги затихли на лѣстницѣ, я вернулся въ переднюю и, самъ не зная, что дѣлаю, схватилъ свертокъ бумагъ, забытый Грузинымъ, и опрометью побѣжалъ внизъ. Безъ пальто и безъ шапки я выбѣжалъ на улицу. Было не холодно, но шелъ крупный снѣгъ и дулъ вѣтеръ.

— Ваше превосходительство!—крикнулъ я, догоняя Кукушкина.—Ваше превосходительство!

Онъ остановился около фонаря и оглянулся съ недоумѣніемъ.

— Ваше превосходительство! — проговорилъ я, задыхаясь.—Ваше превосходительство!

И, не придумавъ, что сказать, я раза два ударилъ его бумажнымъ сверткомъ по лицу. Ничего не понимая и даже не удивляясь, — до такой степени я ошеломилъ его, — онъ прислонился спиной къ фонарю и заслонилъ руками лицо. Въ это время мимо проходилъ какой-то военный докторъ и видѣлъ, какъ я билъ человѣка, но только съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на насъ и пошелъ дальше.

Мнѣ стало стыдно, и я побѣжалъ обратно въ домъ.

XII.

Съ мокрою отъ снѣга головой и запыхавшись, я прибѣжалъ въ лакейскую и тотчасъ же сбросилъ фракъ, надѣлъ

пиджакъ и пальто и вынесъ свой чемоданъ въ переднюю. Бѣжать! Но, прежде чѣмъ уйти, я поскорѣе сѣлъ и сталъ писать Орлову:

«Оставляю вамъ свой фальшивый паспортъ,—началъ я:—прошу оставить его себѣ на память, фальшивый человѣкъ, господинъ петербургскій чиновникъ!»

«Вкрасться въ домъ подъ чужимъ именемъ, наблюдать изъ-подъ лакейской маски интимную жизнь, все видѣть и слышать, чтобы потомъ непрошенно изобличить во лжи,—все это скажете вы, похоже на воровство. Да, но мнѣ теперь не до благородства. Я пережилъ десятки вашихъ ужиновъ и обѣдовъ, когда вы говорили и дѣлали, что хотѣли, а я долженъ былъ слушать, видѣть и молчать,—я не хочу подарить вамъ этого. Къ тому же, если около васъ нѣтъ живой души, которая осмѣлилась бы говорить вамъ правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степанъ умоетъ вамъ вашу великолѣпную физіономію».

Это начало мнѣ не понравилось, но исправлять мнѣ не хотѣлось. Да и не все ли равно?

Большія окна съ темными портьерами, постель, скомканный фракъ на полу и мокрые слѣды отъ моихъ ногъ смотрѣли сурово и печально. И тишина была какая-то особенная.

Вѣроятно, оттого, что я выбѣгалъ на улицу безъ шапки и калошъ, у меня поднялся сильный жаръ. Горѣло лицо, ломило ноги... Тяжелую голову клонило къ столу, а въ мысляхъ было какое-то раздвоеніе, когда кажется, что за каждою мыслью въ мозгу движется ея тѣнь.

«Я боленъ, слабъ, нравственно угнетенъ,—продолжалъ я:—я не могу писать вамъ, какъ бы хотѣлъ. Въ первую минуту у меня было желаніе оскорбить и унизить васъ, но теперь мнѣ не кажется, что я имѣю на это право. Вы и я—оба упали и оба уже никогда не встанемъ, и мое письмо, если бы даже оно было краснорѣчиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стукъ по гробовой крышкѣ: какъ ни стучи—не разбудишь! Никакія усилія уже не могутъ согрѣть вашей проклятой холодной крови, и это вы знаете лучше, чѣмъ я. Зачѣмъ же писать? Но голова и сердце горятъ, я продолжаю писать, почему-то волнуюсь, какъ будто это письмо можетъ еще спасти васъ и меня. Отъ жара мысли не вяжутся въ головѣ и перо какъ-то

безсмысленно скрипитъ по бумагѣ, но вопросъ, который я хочу задать вамъ, стоитъ передо мной ясно, какъ огненный».

«Отчего я раньше времени ослабѣлъ и упалъ, объяснить не трудно. Я, подобно библейскому силачу, поднялъ на себя Газскія ворота, чтобы отнести ихъ на вершину горы, но только когда уже изнемогъ, когда во мнѣ навѣки погасли молодость и здоровье, я замѣтилъ, что эти ворота мнѣ не по плечамъ и что я обманулъ себя. Къ тому же у меня была непрерывная, жестокая боль. Я испыталъ голодъ, холодъ, болѣзни, лишеніе свободы; личнаго счастья я не зналъ и не знаю, пріюта у меня нѣтъ, воспоминанія мои тяжки и совѣсть моя часто боится ихъ. Но отчего вы-то упали, вы? Какія роковыя, дьявольскія причины помѣшали вашей жизни развернуться полнымъ весеннимъ цвѣтомъ, отчего вы, не успѣвъ начать жить, поторопились сбросить съ себя образъ и подобіе Божіе и превратились въ трусливое животное, которое лаетъ и этимъ лаемъ пугаетъ другихъ отъ того, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, какъ азіатъ, тотъ самый, который по цѣлымъ днямъ сидитъ на перинѣ и куритъ кальянъ. Да, вы много читаете и на васъ ловко сидитъ европейскій фракъ, но все же съ какою нѣжною, чисто азіатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя отъ голода, холода, физическаго напряженія,— отъ боли и безпокойства, какъ рано ваша душа спряталась въ халатъ, какого труса разыграли вы передъ дѣйствительною жизнью и природой, съ которою борется всякій здоровый и нормальный человѣкъ. Какъ вамъ мягко, уютно, тепло, удобно — и какъ скучно! Да, бываетъ убійственно, безпросвѣтно скучно, какъ въ одиночной тюрьмѣ, но вы стараетесь спрятаться и отъ этого врага: вы по восьми часовъ въ сутки играете въ карты».

«А ваша иронія? О, какъ хорошо я ее понимаю! Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна; для лѣниваго, праздная ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячамъ вашихъ сверстниковъ, поспѣшили смолоду поставить ее въ рамки; вы вооружились ироническимъ отношеніемъ къ жизни, или какъ хотите называйте, и сдержанная, припугнутая мысль не смѣетъ прыгнуть черезъ тотъ палисадникъ, который вы поставили ей, и когда вы глумитесь надъ идеями, которыя якобы *всѣ*

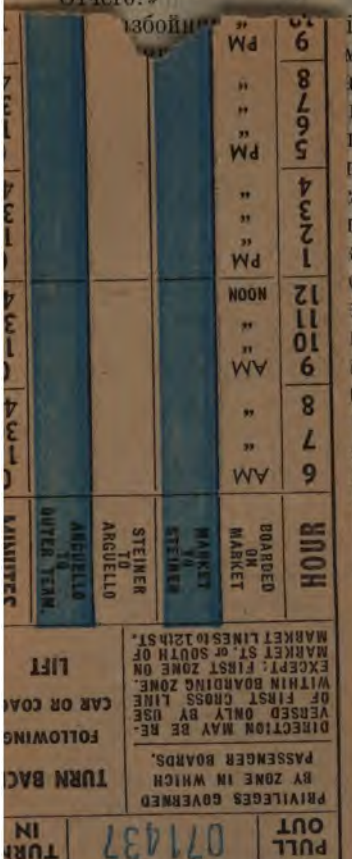
вамъ извѣстны, то вы похожи на дизертира, который позорно бѣжитъ съ поля битвы, но, чтобы заглушить стыдъ, смѣется надъ войной и надъ храбростью. Цинизмъ заглушаетъ боль. Въ какой-то повѣсти Достоевскаго старикъ топчетъ ногами портретъ своей любимой дочери, потому что онъ передъ нею неправъ, а вы гадко и пошловато посмѣиваетесь надъ идеями добра и правды, потому что уже не въ силахъ вернуться къ нимъ. Всякій искренній и правдивый намекъ на ваше паденіе страшенъ вамъ, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умѣютъ только льстить вашимъ слабостямъ. И не даромъ, не даромъ вы такъ боитесь слезъ!»

«Кстати, ваши отношенія къ женщинѣ. Безстыдство мы унаслѣдовали съ плотью и кровью и въ безстыдствѣ воспитаны, но, вѣдь, на то мы и люди, чтобы побѣждать въ себѣ звѣря. Съ возмужалостью, когда вамъ стали извѣстны *всѣ* идеи, вы не могли не увидѣть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ея, и, чтобы обмануть свою совѣсть, стали громко увѣрять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она такъ же низменна, какъ и ваши отношенія къ ней. Развѣ холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смѣхъ, всѣ ваши безчисленныя теоріи о сущности, неопредѣленныхъ требованіяхъ къ браку, о десяти су, которыя платитъ женщинѣ французскій рабочій, ваши вѣчныя ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч.,—развѣ все это не похоже на желаніе во что бы то ни стало пригнуть женщину низко къ грязи, чтобы она и ваши отношенія къ ней стояли на одномъ уровнѣ?-Вы—слабый, несчастный, несимпатичный человѣкъ».

Въ гостиной заиграла на роялѣ Зинаида Ѳедоровна, стараясь вспомнить пьесу Сенъ-Санса, которую игралъ Грузинъ. Я пошелъ и легъ на постель, но, вспомнивъ, что мнѣ пора уходить, поднялся черезъ силу и съ тяжелою, горячею головой опять пошелъ къ столу.

«Но вотъ вопросъ,—продолжалъ я.—Отчего мы утомились? Отчего мы вначалѣ такіе страстные, смѣлые, благородные, вѣрующіе, къ 30—35 годамъ становимся уже полными банкротами? Отчего одинъ гаснетъ въ чахоткѣ, другой пускаетъ пулю въ лобъ, третій ищетъ забвенія въ водкѣ, картахъ, четвертый, чтобы заглушить страхъ и тоску, цинически топчетъ ногами портретъ своей чистой, пре-

красной молодости? Отчего мы, упавши разъ, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищемъ другого? Отчего?»



ій на крестѣ, сумѣлъ вернуть себѣ мѣлую, осуществимую надежду, хотя, алось жить не больше часа. У васъ годы, и я, вѣроятно, умру не такъ го, если бы чудомъ настоящее ока- ъ кошмаромъ, и мы проснулись бы сильные, гордые своею правдой?... еня, и я едва дышу отъ волненія. кить, хочется, чтобы наша жизнь оржественна, какъ сводъ небесный. не восходитъ два раза въ день и ,—хватайтесь же цѣпко за остатки е ихъ...»

ъ ни одного слова. Мыслей было ѣ онѣ расплывались и не уклады- кончивъ письма, я подписалъ свое и пошелъ въ кабинетъ. Было темно. оложилъ письмо. Должно-быть, въ на мебель и производилъ шумъ. шался тревожный голосъ изъ го-

ѣ часы нѣжно пробили часъ ночи.

XIII.

райней мѣрѣ, съ полминуты цара- ее, потомъ медленно отворилъ и инаида Ѳедоровна лежала на ку- локоть, глядѣла мнѣ навстрѣчу. я медленно прошелъ мимо, и она ъ. Я постоялъ немного въ залѣ и она посмотрѣла на меня внима- ъ, даже со страхомъ. Наконецъ, я ть черезъ силу:

оги и смотрѣла на меня, не понимая. — повторилъ я, и у меня страшно не вернется, потому что не уѣзжалъ вѣтъ у Некарскаго.

вамъ извѣстны, то вы похожи на дизертира, который позорно бѣжитъ съ поля битвы, но, чтобы заглушить стыдъ, смѣется надъ войной и надъ храбростью. Цинизмъ заглушаетъ боль. Въ какой-то повѣсти Достоевскаго старикъ топчетъ ногами портретъ своей любимой дочери, потому что онъ передъ нею неправъ, а вы гадко и пошловато посмѣиваетесь надъ идеями добра и правды, потому что уже не въ силахъ вернуться къ нимъ. Всякій искренній и правдивый намекъ на ваше паденіе страшенъ вамъ, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умѣютъ только льстить вашимъ слабостямъ. И не даромъ, не даромъ вы такъ боитесь слезъ!»

«Кстати, ваши отношенія къ женщинѣ. Безстыдство мы унаслѣдовали съ плотью и кровью и въ безстыдствѣ воспитаны, но, вѣдь, на то мы и люди, чтобы побѣждать въ себѣ звѣря. Съ возмужалостью, когда вамъ стали извѣстны *всѣ* идеи, вы не могли не увидѣть правды; вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ея, и, чтобы обмануть свою совѣсть, стали громко увѣрять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она такъ же низменна, какъ и ваши отношенія къ ней. Развѣ холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смѣхъ, всѣ ваши безчисленныя теоріи о сущности, неопредѣленныхъ требованіяхъ къ браку, о десяти су, которыя платитъ женщинѣ французскій рабочій, ваши вѣчныя ссылки на бабью логику, лживость, слабость и проч.,—развѣ все это не похоже на желаніе во что бы то ни стало пригнуть женщину низко къ грязи, чтобы она и ваши отношенія къ ней стояли на одномъ уровнѣ? Вы—слабый, несчастный, несимпатичный человѣкъ».

Въ гостиной заиграла на роялѣ Зинаида Ѳедоровна, стараясь вспомнить пьесу Сенъ-Санса, которую игралъ Грузинъ. Я пошелъ и легъ на постель, но, вспомнивъ, что мнѣ пора уходить, поднялся черезъ силу и съ тяжелою, горячею головой опять пошелъ къ столу.

«Но вотъ вопросъ, — продолжалъ я.—Отчего мы утомились? Отчего мы вначалѣ такіе страстные, смѣлые, благородные, вѣрующіе, къ 30—35 годамъ становимся уже полными банкротами? Отчего одинъ гаснетъ въ чахоткѣ, другой пускаетъ пулю въ лобъ, третій ищетъ забвенія въ водкѣ, картахъ, четвертый, чтобы заглушить страхъ и тоску, цинически топчетъ ногами портретъ своей чистой, пре-

красной молодости? Отчего мы, упавши разъ, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищемъ другого? Отчего?»

«Разбойникъ, висѣвшій на крестѣ, сумѣлъ вернуть себѣ жизненную радость и смѣлую, осуществимую надежду, хотя, быть-можетъ, ему оставалось жить не больше часа. У васъ впереди еще длинные годы, и я, вѣроятно, умру не такъ скоро, какъ кажется. Что, если бы чудомъ настоящее оказалось сномъ, страшнымъ кошмаромъ, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой?... Сладкія мечты жгутъ меня, и я едва дышу отъ волненія. Мнѣ страшно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный. Будемъ жить! Солнце не восходитъ два раза въ день и жизнь дается не дважды,—хватайтесь же цѣпко за остатки вашей жизни и спасайте ихъ...»

Больше я не написалъ ни одного слова. Мыслей было много въ головѣ, но всѣ онѣ расплывались и не укладывались въ строки. Не окончивъ письма, я подписалъ свое званіе, имя и фамилію и пошелъ въ кабинетъ. Было темно. Я нащупалъ столъ и положилъ письмо. Должно-быть, въ потемкахъ я натыкался на мебель и производилъ шумъ.

— Кто тамъ? — послышался тревожный голосъ изъ гостиной.

И тотчасъ же на столѣ часы нѣжно пробили часъ ночи.

XIII.

Въ потемкахъ я, по крайней мѣрѣ, съ полминуты царапалъ дверь, нащупывая ее, потомъ медленно отворилъ и вошелъ въ гостиную. Зинаида Ѳедоровна лежала на кушеткѣ и, поднявшись на локоть, глядѣла мнѣ навстрѣчу. Не рѣшаясь заговорить, я медленно прошелъ мимо, и она проводила меня взглядомъ. Я постоялъ немного въ залѣ и опять прошелъ мимо, и она посмотрѣла на меня внимательно и съ недоумѣніемъ, даже со страхомъ. Наконецъ, я остановился и проговорилъ черезъ силу:

— Онъ не вернется!

Она быстро встала на ноги и смотрѣла на меня, не понимая.

— Онъ не вернется! — повторилъ я, и у меня страшно застучало сердце.—Онъ не вернется, потому что не уѣзжалъ изъ Петербурга. Онъ живетъ у Некарскаго.

Она поняла и повѣрила мнѣ,—это я видѣлъ по ея внезапной блѣдности и по тому, какъ она вдругъ скрестила на груди руки со страхомъ и мольбой. Въ мгновеніе въ ея памяти промелькнуло ея недавнее прошлое, она сообразила и съ неумолимою ясностью увидѣла всю правду. Но въ то же время она вспомнила, что я лакей, низшее существо... Проходимецъ съ всклокоченными волосами, съ краснымъ отъ жара лицомъ, быть-можетъ, пьяный, въ какомъ-то пошломъ пальто, грубо вмѣшался въ ея интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мнѣ сурово:

— Васъ не спрашиваютъ. Подите отсюда прочь.

— О, вѣрьте мнѣ!—сказалъ я съ увлеченіемъ, протягивая къ ней руки. — Я не лакей, я такой же свободный, какъ и вы!

Я назвалъ себя и быстро, быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла къ себѣ, объяснилъ, кто я и зачѣмъ тутъ живу. Это новое открытіе поразило ее сильнѣе, чѣмъ первое. У нея ранѣе была все-таки надежда, что лакей солгалъ или ошибся или сказалъ глупость, теперь же, послѣ моего признанія, у нея не оставалось никакихъ сомнѣній. По выраженію ея несчастныхъ глазъ и лица, которое вдругъ стало некрасиво, потому что постарѣло и потеряло свою мягкость, я видѣлъ, что ей нестерпимо тяжело, что я не къ добру началъ этотъ разговоръ; но я продолжалъ съ увлеченіемъ:

— Сенаторъ и ревизія были придуманы, чтобы обмануть васъ. Въ январѣ онъ такъ же, какъ и теперь, никуда не уѣзжалъ, а жилъ у Пекарскаго, и я видѣлся съ нимъ каждый день и участвовалъ въ обманѣ. Вами тяготились, ваше присутствіе здѣсь ненавидѣли, надъ вами смѣялись... Если бы вы могли подслушать, какъ онъ и его друзья здѣсь издѣвались надъ вами и вашею любовью, то вы не остались бы здѣсь ни одной минуты! Бѣгите отсюда! Бѣгите!

— Ну, что жъ?—проговорила она дрожащимъ голосомъ и провела рукой по волосамъ.—Ну, что жъ? Пусть.

Глаза ея были полны слезъ, губы дрожали и все лицо было поразительно блѣдно и дышало гнѣвомъ. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презрѣнною, смѣшною; она улыбалась, и мнѣ не нравилась эта ея улыбка.

— Ну, что жъ?—повторила она и опять провела рукой по волосамъ. — Пусть. Онъ воображаетъ, что я умру отъ униженія, а мнѣ... смѣшно. Напрасно онъ прячется.—Она отошла отъ рояля и сказала, пожавъ плечами:—Напрасно... Было бы проще объясниться, чѣмъ прятаться и скитаться по чужимъ квартирамъ. У меня есть глаза, я сама давно уже видѣла... и только ждала его пріѣзда, чтобъ окончательно объясниться.

Потомъ она сѣла въ кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. Въ гостиной горѣла одна только свѣча въ канделябрѣ, и около креселъ, гдѣ она сидѣла, было темно, но я видѣлъ, какъ вздрагивали ея голова и плечи и какъ волосы, выбиваясь изъ прически, закрывали шею, лицо, руки... Въ ея тихомъ, ровномъ плачѣ, не истерическомъ, обыкновенномъ женскомъ плачѣ слышались оскорбленіе, униженная гордость, обида и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и къ чему нельзя привыкнуть. Въ моей взволнованной, страдающей душѣ ея плачъ отзывался эхомъ; я уже забылъ про свою болѣзнь и про все на свѣтѣ, ходилъ по гостиной и бормоталъ растерянно:

— Что же это за жизнь?.. О, нельзя такъ жить! Нельзя! Это—безуміе, преступленіе, а не жизнь!

— Какое униженіе! — говорила она сквозь плачъ. — Жить вмѣстѣ... улыбаться мнѣ въ то время, какъ я ему въ тягость, смѣшна... О, какое униженіе!

Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые отъ слезъ, и поправляя эти волосы, мѣшавшіе ей смотрѣть на меня, спросила:

— Они смѣялись?

— Этимъ людямъ были смѣшны и вы, и ваша любовь, и Тургеневъ, котораго вы будто бы начитались. И если мы оба сейчасъ умремъ съ отчаянія, то это имъ будетъ тоже смѣшно. Они сочинятъ смѣшной анекдотъ и будутъ разсказывать его на вашей панихидѣ. Да что о нихъ говорить?— сказалъ я съ нетерпѣніемъ. — Надо бѣжать отсюда. Я не могу оставаться здѣсь дольше ни одной минуты.

Она опять заплакала, а я отошелъ къ роялю и сѣлъ.

— Что жъ мы ждемъ?—спросилъ я уныло.—Уже третій часъ.

— Ничего я не жду,—сказала она.—Я пропала.

— Зачѣмъ говорить такъ? Давайте-ка лучше обдумаемъ вмѣстѣ, что намъ дѣлать. Ни вамъ, ни мнѣ уже нельзя оставаться здѣсь... Куда вы намѣрены ѣхать отсюда?

Вдругъ въ передней раздался звонокъ. У меня ёкнуло сердце. Ужъ не Орловъ ли это, которому пожаловался на меня Кукушкинъ? Какъ мы съ нимъ встрѣтимся? Я пошелъ отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула въ передней со своего бурнуса снѣгъ и, не сказавъ мнѣ ни слова, отправилась къ себѣ. Когда я вернулся въ гостиную, Зинаида Ѳедоровна, блѣдная, какъ мертвецъ, стояла среди комнаты и большими глазами смотрѣла мнѣ навстрѣчу.

— Кто это пришелъ?—спросила она тихо.

— Поля,—отвѣчалъ я.

Она провела рукой по волосамъ и въ изнеможеніи закрыла глаза.

— Я сейчасъ уѣду отсюда,—сказала она.—Вы будете добры, проводите меня на Петербургскую сторону. Теперь который часъ?

— Безъ четверти три.

XIV.

Когда мы, немного погодя, вышли изъ дому, на улицѣ было темно и безлюдно. Шелъ мокрый снѣгъ и влажный вѣтеръ хлесталъ по лицу. Помнится, тогда было начало марта, стояла оттепель и уже нѣсколько дней извозчики ѣздили на колесахъ. Подъ впечатлѣніемъ черной лѣстницы, холода, ночныхъ потемокъ и дворника въ тулупѣ, который опросилъ насъ, прежде чѣмъ выпустилъ за ворота, Зинаида Ѳедоровна совсѣмъ ослабѣла и пала духомъ. Когда мы сѣли въ пролетку и накрылись верхомъ, она, дрожа всѣмъ тѣломъ, торопливо заговорила о томъ, какъ она мнѣ благодарна.

— Я не сомнѣваюсь въ вашемъ доброжелательствѣ, но мнѣ стыдно, что вы безпокоитесь...—бормотала она.—О, я понимаю, понимаю... Когда сегодня былъ Грузинъ, я чувствовала, что онъ лжетъ и что-то скрываетъ. Ну, что жъ? Пусть. Но, все-таки, мнѣ совѣстно, что вы такъ безпокоитесь.

У нея оставались еще сомнѣнія. Чтобы окончательно разсѣять ихъ, я приказалъ извозчику ѣхать по Сергіевской; остановивши его у подъѣзда Пекарскаго, я вылѣзъ изъ

пролетки и позвонилъ. Когда вышелъ швейцаръ, я громко, чтобы могла слышать Зинаида Ѳедоровна, спросилъ, дома ли Георгій Иванычъ.

— Дома, — отвѣтилъ онъ. — Съ полчаса какъ пріѣхалъ. Должно, ужъ спитъ. А тебѣ что?

Зинаида Ѳедоровна не выдержала и высунулась изъ пролетки.

— А давно Георгій Ивановичъ живетъ здѣсь? — спросила она.

— Уже третью недѣлю.

— И никуда не уѣзжалъ?

— Никуда,—отвѣтилъ швейцаръ и посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Передай ему завтра пораньше,—сказалъ я:—что къ нему изъ Варшавы сестра пріѣхала. Прощай.

Затѣмъ мы поѣхали дальше. Въ пролеткѣ не было фартука и снѣгъ валилъ на насъ хлопьями, и вѣтеръ, особенно на Невѣ, пронизывалъ до костей. Мнѣ стало казаться, что мы давно уже ѣдемъ, давно страдаемъ и что я давно уже слышу, какъ дрожитъ дыханіе у Зинаиды Ѳедоровны. Я мелькомъ, въ какомъ-то полубреду, точно засыпая, оглянулся на свою странную, безтолковую жизнь, и вспомнилась мнѣ почему-то мелодрама *Парижскіе нищіе*, которую я раза два видѣлъ въ дѣтствѣ. И почему-то, когда я, чтобы встряхнуться отъ этого полубреда, выглянулъ изъ-подъ верха и увидѣлъ разсвѣтъ, всѣ образы прошлаго, всѣ туманныя мысли вдругъ слились у меня въ одну ясную, крѣпкую мысль: я и Зинаида Ѳедоровна погибли уже безвозвратно. Это была увѣренность, какъ будто синее холодное небо содержало въ себѣ пророчество, но черезъ мгновеніе я думалъ уже о другомъ и вѣрилъ въ другое.

— Что же я теперь?—говорила Зинаида Ѳедоровна голосомъ, сиплымъ отъ холода и сырости. — Куда мнѣ идти, что дѣлать? Грузинъ сказалъ: ступайте въ монастырь. О, я пошла бы! Перемѣнила бы одежду, свое лицо, имя, мысли... все, все, и спряталась бы навѣки. Но меня не пустятъ въ монастырь. Я беременна.

— Мы завтра поѣдемъ съ вами за границу,—сказалъ я.

— Нельзя это. Мужъ не дастъ мнѣ паспорта.

— Я провезу васъ безъ паспорта.

Извозчикъ остановился около двухъэтажнаго деревяннаго

дома, выкрашеннаго въ темный цвѣтъ. Я позвонилъ. Принимая отъ меня небольшую легкую корзинку, — единственный багажъ, который мы взяли съ собой,—Зинаида Ѳедоровна какъ-то кисло улыбнулась и сказала:

— Это мои bijoux...

Но она такъ ослабѣла, что была не въ силахъ держать эти bijoux. Намъ долго не отворяли. Послѣ третьяго или четвертаго звонка въ окнахъ замелькалъ свѣтъ и послышались шаги, кашель, шопотъ; наконецъ, щелкнулъ замокъ и въ дверяхъ показалась полная баба съ краснымъ, испуганнымъ лицомъ. Позади ея, на нѣкоторомъ разстояніи, стояла маленькая худенькая старушка съ стриженными сѣдыми волосами, въ бѣлой кофточкѣ и со свѣчой въ рукахъ. Зинаида Ѳедоровна вбѣжала въ сѣни и бросилась къ этой старушкѣ на шею.

— Нина, я обманута!—громко зарыдала она.—Я обманута грубо, гадко! Нина! Нина!

Я отдалъ бабѣ корзинку. Дверь заперли, но все еще слышались рыданія и крикъ: «Нина!» Я сѣлъ въ пролетку и приказалъ извозчику ѣхать не спѣша къ Невскому. Нужно было подумать и о своемъ ночлегѣ.

На другой день, передъ вечеромъ, я былъ у Зинаиды Ѳедоровны. Она сильно измѣнилась. На ея блѣдномъ, сильно похудѣвшемъ лицѣ не было уже и слѣда слезъ, и выраженіе было другое. Не знаю, оттого ли, что я видѣлъ ее теперь при другой обстановкѣ, далеко не роскошной, и что отношенія наши были уже иныя, или, быть-можетъ, сильное горе положило уже на нее свою печать, она не казалась теперь такою изящною и нарядною, какъ всегда; фигура у нея стала какъ будто мельче, въ движеніяхъ, въ походкѣ, въ ея лицѣ я замѣтилъ излишнюю нервность, порывистость, какъ будто она спѣшила, и не было прежней мягкости даже въ ея улыбкѣ. Я былъ одѣтъ теперь въ дорогую пару, которую купилъ себѣ днемъ. Она окинула взглядомъ прежде всего эту пару и шляпу въ моей рукѣ, потомъ остановила нетерпѣливый, испытующій взглядъ на моемъ лицѣ, какъ бы изучая его.

— Ваше превращеніе мнѣ все еще кажется какимъ-то чудомъ,—сказала она.—Извините, я съ такимъ любопытствомъ осматриваю васъ. Вѣдь, вы необыкновенный человѣкъ.

Я разсказалъ ей еще разъ, кто я и зачѣмъ жилъ у

Орлова, и разсказывалъ объ этомъ дольше и подробнѣе, чѣмъ вчера. Она слушала съ большимъ вниманіемъ и, не давъ мнѣ кончить, проговорила:

— Тамъ у меня все уже кончено. Знаете, я не выдержала и написала письмо. Вотъ отвѣтъ.

На листикѣ, который она подала мнѣ, почеркомъ Орлова было написано: «Я не стану оправдываться. Но согласитесь: ошиблись вы, а не я. Желаю счастья и прошу поскорѣе забыть уважающаго васъ Г. О.

«PS. Посылаю ваши вещи».

Сундуки и корзины, присланные Орловымъ, стояли тутъ же въ гостиной и среди нихъ находился также и мой жалкій чемоданъ.

— Значитъ...—сказала Зинаида Ѳедоровна и не договорила.

Мы помолчали. Она взяла записку и минуты двѣ держала ее передъ глазами, и въ это время лицо ея приняло то самое надменное, презрительное и гордое, черствое выраженіе, какое у нея было вчера въ началѣ нашего объясненія; на глазахъ у нея выступили слезы, не робкія, не горькія, а гордыя, сердитыя слезы.

— Слушайте, — сказала она, порывисто поднимаясь и отходя къ окну, чтобы я не видѣлъ ея лица. — Я рѣшила такъ: завтра же ѣду съ вами за границу.

— И прекрасно. Я готовъ ѣхать хоть сегодня.

— Вербуйте меня. Вы читали Бальзака?—спросила она вдругъ, обернувшись. — Читали? Его романъ *Père Goriot* кончается тѣмъ, что герой глядитъ съ вершины холма на Парижъ и грозитъ этому городу: «Теперь мы раздѣлаемся!»— и послѣ этого начинаетъ новую жизнь. Такъ и я, когда изъ вагона взгляну въ послѣдній разъ на Петербургъ, то скажу ему: «Теперь мы раздѣлаемся!»

И, сказавши это, она улыбнулась этой своей шуткѣ и почему-то вздрогнула всѣмъ тѣломъ.

XV

Въ Венеціи у меня начались плевритическія боли. Вѣроятно, я простудился вечеромъ, когда мы съ вокзала плыли въ Hôtel Bauer. Пришлось съ перваго же дня лечь въ постель и пролежать недѣли двѣ. Каждое утро, пока я былъ боленъ, приходила ко мнѣ изъ своего номера Зинаида Ѳедоровна, чтобы вмѣстѣ пить кофе, и потомъ читала мнѣ

ея номерѣ и разговаривали. Мы не боялись трогать старыхъ, еще не зажившихъ ранъ, — напротивъ, я почему-то даже испытывалъ удовольствіе, когда разсказывалъ ей о своей жизни у Орлова, или откровенно касался отношеній, которыя мнѣ были извѣстны и не могли быть отъ меня скрыты.

— Минутами я васъ ненавидѣлъ,—говорилъ я.—Когда онъ капризничалъ, снисходилъ и лгалъ, то меня поражало, какъ это вы ничего не видите, не понимаете, когда все такъ ясно. Цѣлуете ему руки, стоите на колѣняхъ, льстите...

— Когда я... цѣловала руки и стояла на колѣняхъ, я любила...—говорила она, краснѣя.

— Неужели было такъ трудно разгадать его? Хорошъ сфинксъ! Сфинксъ — камеръ-юнкеръ! Я ни въ чемъ васъ не упрекаю, храни Богъ,—продолжалъ я, чувствуя, что я грубоватъ, что у меня нѣтъ свѣтскости и той деликатности, которая такъ нужна, когда имѣешь дѣло съ чужою душой; раньше, до знакомства съ ней, я не замѣчалъ въ себѣ этого недостатка.—Но какъ вы могли не угадать?—повторялъ я, но уже тише и неувѣреннѣе.

— Вы хотите сказать, что презираете мое прошлое, и вы правы,—говорила она въ сильномъ волненіи.—Вы принадлежите къ особенному разряду людей, которыхъ нельзя мѣрить на обыкновенный аршинъ, ваши нравственныя требованія отличаются исключительною строгостью, и, я понимаю, вы не можете прощать; я понимаю васъ и, если иной разъ я противорѣчу, то это не значитъ, что я иначе смотрю на вещи, чѣмъ вы; говорю я прежній вздоръ просто оттого, что еще не успѣла износить своихъ старыхъ платьевъ и предразсудковъ. Я сама ненавижу и презираю свое прошлое, и Орлова, и свою любовь... Какая это любовь? Теперь даже смѣшно все это, — говорила она, подходя къ окну и глядя внизъ на каналъ. — Всѣ эти любви только туманятъ совѣсть и сбиваютъ съ толку. Смыслъ жизни только въ одномъ—въ борьбѣ. Наступить каблукомъ на подлую змѣиную голову, и чтобы она — кракъ! — Вотъ въ чемъ смыслъ. Въ этомъ одномъ, или же вовсе нѣтъ смысла.

Я разсказывалъ ей длинныя исторіи изъ своего прошлаго и описывалъ свои въ самомъ дѣлѣ изумительныя похожде-

нія. Но о той перемѣнѣ, какая произошла во мнѣ, я не обмолвился ни однимъ словомъ. Она съ большимъ вниманіемъ слушала меня всякій разъ и въ интересныхъ мѣстахъ потирала руки, какъ будто съ досадой, что ей не удалось еще пережить такія же приключенія, страхи и радости, но вдругъ задумывалась, уходила въ себя, и я уже видѣлъ по ея лицу, что она не слушаетъ меня.

Я закрывалъ окна, выходящія на каналъ, и спрашивалъ: не затопить ли каминъ?

— Нѣтъ, Богъ съ нимъ. Мнѣ не холодно, — говорила она, вяло улыбаясь:—я только ослабѣла вся. Знаете, мнѣ кажется, что за послѣднее время я страшно поумнѣла. У меня теперь необыкновенныя, оригинальныя мысли. Когда я, напримѣръ, думаю о прошломъ, о своей тогдашней жизни... ну, о людяхъ вообще, то все это сливается у меня въ одно — въ образъ моей мачихи. Грубая, наглая, бездушная, фальшивая, развратная и къ тому же еще морфинистка. Отецъ, слабый и безхарактерный, женился на моей матери изъ-за денегъ и вогналъ ее въ чахотку, а эту вотъ свою вторую жену, мою мачиху, любилъ страстно, безъ памяти... Натерпѣлась я! Ну, да что говорить! Такъ вотъ все, говорю я, сливается въ одинъ образъ... И мнѣ досадно: зачѣмъ мачиха умерла? Хотѣлось бы теперь встрѣтиться съ ней!..

— Зачѣмъ?

— Такъ, не знаю... — отвѣчала она со смѣхомъ, красиво встряхивая головой. — Спокойной ночи. Выздоравливайте. Какъ только поправитесь, займемся нашими дѣлами... Пора...

Когда я, уже простившись, брался за ручку двери, она говорила:

— Какъ думаете? Поля все еще живетъ у него?

— Вѣроятно.

И я уходилъ къ себѣ. Такъ мы прожили цѣлый мѣсяцъ. Въ одинъ пасмурный полдень, когда оба мы стояли у окна въ моемъ номерѣ и молча глядѣли на тучи, которыя надвигались съ моря, и на посинѣвшій каналъ и ожидали, что сейчасъ хлынетъ дождь, и когда ужъ узкая, густая полоса дождя, какъ марля, закрыла взморье, намъ обоимъ вдругъ стало скучно. Въ тотъ же день мы уѣхали во Флоренцію.

XVI.

Дѣло происходило уже осенью, въ Ниццѣ. Однажды утромъ, когда я зашелъ къ ней въ номеръ, она сидѣла въ креслѣ, положивъ ногу на ногу, сгорбившись, осунувшись, закрывъ лицо руками, и плакала горько, навзрыдъ, и ея длинные, не причесанные волосы падали ей на колѣни. Впечатлѣніе чуднаго, удивительнаго моря, которое я только-что видѣлъ, про которое хотѣлъ разсказать, вдругъ оставило меня, и сердце мое сжалось отъ боли.

— О чемъ вы?—спросилъ я; она отняла одну руку отъ лица и махнула мнѣ, чтобъ я вышелъ.—Ну, о чемъ вы?—повторилъ я, и въ первый разъ за все время нашего знакомства поцѣловалъ у нея руку.

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего!—проговорила она быстро.—Ахъ, ничего, ничего... Уйдите... Видите, я не одѣта.

Я вышелъ въ страшномъ смущеніи. Покой и безпечальное настроеніе, въ какомъ я такъ долго находился, были отравлены состраданіемъ. Мнѣ страстно хотѣлось пасть къ ея ногамъ, умолять, чтобы она не плакала въ одиночку, а дѣлилась бы со мной своимъ горемъ, и ровный шумъ моря заворчалъ въ моихъ ушахъ уже какъ мрачное пророчество, и я видѣлъ впереди новыя слезы, новыя скорби и потери. О чемъ, о чемъ она плачетъ?—спрашивалъ я, вспоминая ея лицо и страдальческій взглядъ. Я вспомнилъ, что она беременна. Она старалась скрыть свое положеніе и отъ людей, и отъ себя самой. Дома она ходила въ просторной блузѣ или въ кофточкѣ съ преувеличенно пышными складками на груди, а уходя куда-нибудь, затягивалась въ корсетъ такъ сильно, что два раза во время прогулокъ съ ней случались обмороки. Со мной она никогда не говорила о своей беременности, и однажды, когда я заикнулся о томъ, что ей не мѣшало бы посовѣтоваться съ докторомъ, она вся покраснѣла и не сказала ни слова.

Когда я потомъ вошелъ къ ней, она была уже одѣта и причесана.

— Полно, полно!—сказалъ я, видя, что она готова опять заплакать.—Давайте-ка лучше пойдемъ къ морю и потолкуемъ.

— Не могу я говорить. Простите, я теперь въ такомъ настроеніи, когда хочется быть одной. И, пожалуйста, Вла-

димiръ Ивановичъ, когда въ другой разъ захотите войти ко мнѣ, то предварительно постучите въ дверь.

Это «предварительно» прозвучало какъ-то особенно, не по-женски. Я вышелъ. Возвращалось проклятое, петербургское настроеніе и всѣ мои мечты свернулись и сжались, какъ листья отъ жара. Я чувствовалъ, что я опять одинокъ, что близости между нами нѣтъ. Я для нея то же, что вотъ для этой пальмы паутина, которая повисла на ней случайно и которую сорветъ и унесетъ вѣтеръ. Я прогулялся по скверу, гдѣ играла музыка, зашелъ въ казино; тутъ я оглядывалъ разодѣтыхъ, сильно пахнущихъ женщинъ, и каждая взглядывала на меня такъ, какъ будто хотѣла сказать: «Ты одинокъ, и прекрасно...» Потомъ я вышелъ на террасу и долго глядѣлъ на море. Вдали на горизонтѣ ни одного паруса, на лѣвомъ берегу въ лиловатой мглѣ горы, сады, башни, дома, на всемъ играетъ солнце, но все чуждо, равнодушно, путаница какая-то.

XVII.

Она попрежнему приходила ко мнѣ по утрамъ пить кофе, но мы уже не обѣдали вмѣстѣ; ей, какъ она говорила, не хотѣлось ѣсть, и питалась она только кофе, чаемъ и разными пустяками, въ родѣ апельсиновъ и карамели.

И разговоровъ у насъ по вечерамъ уже не было. Не знаю, почему такъ. Послѣ того, какъ я засталъ ее въ слезахъ, она стала относиться ко мнѣ какъ-то слегка, подчасъ небрежно, даже съ ироніей, и называла меня почему-то «сударь мой». То, что раньше казалось ей страшнымъ, удивительнымъ, героическимъ и что возбуждало въ ней зависть и восторгъ, теперь не трогало ея вовсе, и обыкновенно, выслушавъ меня, она слегка потягивалась и говорила:

— Да, было дѣло подъ Полтавой, сударь мой, было.

Случалось даже, что я не встрѣчался съ ней по цѣлымъ днямъ. Бывало, постучишься робко и виновато въ ея дверь — отвѣта нѣтъ; постучишься еще разъ — молчаніе... Стоишь около двери и слушаешь; но вотъ мимо проходитъ горничная и холодно заявляетъ: «madame est partie». Затѣмъ ходишь по коридору гостиницы, ходишь, ходишь... Какіе-то англичане, полногрудыя дамы, гарсоны во фракахъ... И когда я долго смотрю на длинный полосатый

коверъ, который тянется черезъ весь коридоръ, мнѣ приходитъ на мысль, что въ жизни этой женщины я играю странную, вѣроятно, фальшивую роль и что уже не въ моихъ силахъ измѣнить эту роль; я бѣгу къ себѣ въ номеръ, падаю на постель и думаю, думаю и не могу ничего придумать, и для меня ясно только, что мнѣ хочется жить, и что чѣмъ некрасивѣе, суше и черствѣе становится ея лицо, тѣмъ она ближе ко мнѣ и тѣмъ сильнѣе и больнѣй я чувствую наше родство. Пусть я — «сударь мой», пусть этотъ легкій, пренебрежительный тонъ, пусть что угодно, но только не оставляй меня, мое сокровище. Мнѣ теперь страшно одному.

Потомъ я опять выхожу въ коридоръ, съ тревогой прислушиваюсь... Я не обѣдаю, не замѣчаю, какъ наступаетъ вечеръ. Наконецъ, часу въ одиннадцатомъ слышатся знакомые шаги, и на поворотѣ около лѣстницы показывается Зинаида Ѳедоровна.

— Прогуливаетесь?—спрашиваетъ она проходя мимо.— Вы бы лучше шли наружу... Спокойной ночи!

— Но развѣ мы уже не увидимся сегодня?

— Уже поздно, кажется. Впрочемъ, какъ хотите?

— Скажите, гдѣ вы были?—спрашиваю я, входя за нею въ номеръ.

— Гдѣ? Въ Монте-Карло, — она достаетъ изъ кармана штукъ десять золотыхъ монетъ и говоритъ:—Вотъ, сударь мой. Выиграла. Это въ рулетку.

— Ну, вы не станете играть.

— Отчего же? Я и завтра опять поѣду.

Я воображалъ, какъ она съ нехорошимъ болѣзненнымъ лицомъ, беременная, сильно затянутая, стоитъ около игорнаго стола въ толпѣ кокотокъ, выжившихъ изъ ума старухъ, которыя жмутся у золота, какъ мухи у меда, вспоминалъ, что она уѣзжала въ Морте-Карло почему-то тайно отъ меня...

— Я не вѣрю вамъ,—сказалъ я однажды.—Вы не поѣдете туда.

— Не волнуйтесь. Много я не могу проиграть.

— Дѣло не въ проигрышѣ, — сказалъ я съ досадой. — Развѣ вамъ не приходило на мысль, когда вы тамъ играли, что блескъ золота, всѣ эти женщины, старыя и молодыя,

крупье, вся обстановка, что все это—подлая, гнусная насмѣшка надъ трудомъ рабочаго, надъ кровавымъ потомъ?

— Если не играть, то что же тутъ дѣлать? — спросила она. — И трудъ рабочаго, и кровавый потъ — это краснорѣчіе вы отложите до другого раза, а теперь, разъ вы начали, то позвольте мнѣ продолжать; позвольте мнѣ поставить ребромъ вопросъ: что мнѣ тутъ дѣлать и что я буду дѣлать?

— Что дѣлать?—сказалъ я, пожавъ плечами.—На этотъ вопросъ нельзя отвѣтить сразу.

— Я прошу отвѣта по совѣсти, Владиміръ Иванычъ,— сказала она, и лицо ея стало сердитымъ.—Разъ я рѣшилась задать вамъ этотъ вопросъ, то не для того, чтобы слышать общія фразы. Я васъ спрашиваю, — продолжала она, стуча ладонью по столу, какъ бы отбивая тактъ: — что я должна здѣсь дѣлать? И не только здѣсь въ Ниццѣ, но вообще?

Я молчалъ и смотрѣлъ въ окно на море. Сердце у меня страшно забилось.

— Владиміръ Иванычъ, — сказала она тихо и прерывисто дыша; ей тяжело было говорить. — Владиміръ Иванычъ, если вы сами не вѣрите въ дѣло, если вы уже не думаете вернуться къ нему, то зачѣмъ... зачѣмъ вы тащили меня изъ Петербурга? Зачѣмъ обѣщали и зачѣмъ возбудили во мнѣ сумасшедшія надежды? Убѣжденія ваши измѣнились, вы стали другимъ человѣкомъ, и никто не винитъ васъ въ этомъ—убѣжденія не всегда въ нашей власти, но,.. но, Владиміръ Иванычъ, Бога ради, зачѣмъ вы неискренни?— продолжала она тихо, подходя ко мнѣ. — Когда я всѣ эти мѣсяцы мечтала вслухъ, бредила, восхищалась своими планами, перестраивала свою жизнь на новый ладъ, то почему вы не говорили мнѣ правды, а молчали, или поощряли разсказами и держали себя такъ, какъ будто вполнѣ сочувствовали мнѣ? Почему? Для чего это было нужно?

— Трудно сознаваться въ своемъ банкротствѣ, — проговорилъ я, оборачиваясь, но не глядя на нее. — Да, я не вѣрю, утомился, палъ духомъ... Тяжело быть искреннимъ, страшно тяжело, и я молчалъ. Не дай Богъ никому пережить то, что я пережилъ.

Мнѣ показалось, что я сейчасъ заплачу, и я замолчалъ.

— Владиміръ Иванычъ,—сказала она и взяла меня за

обѣ руки.—Вы много пережили и испытали, знаете больше, чѣмъ я; подумайте серьезно и скажите: что мнѣ дѣлать? Научите меня. Если вы сами уже не въ силахъ идти и вести за собой другихъ, то по крайней мѣрѣ укажите, куда мнѣ идти. Согласитесь, вѣдь я живой, чувствующій и разсуждающій человѣкъ. Попасть въ ложное положеніе... играть какую-то нелѣпую роль... мнѣ это тяжело. Я не упрекаю, не обвиняю васъ, а только прошу.

Принесли чай.

— Ну, что же?—спросила Зинаида Ѳедоровна, подавая мнѣ стаканъ.—Что вы мнѣ скажете?

— Не только свѣту, что въ окнѣ, — отвѣтилъ я. — И кромѣ меня есть люди, Зинаида Ѳедоровна.

— Такъ вотъ укажите мнѣ ихъ,—живо сказала она.—Я объ этомъ только и прошу васъ.

— И еще я хочу сказать, — продолжалъ я. — Служить идеѣ можно не въ одномъ какомъ-нибудь поприщѣ. Если ошиблись, извѣрились въ одномъ, то можно отыскать другое. Міръ идей широкъ и неисчерпаемъ.

— Міръ идей! — проговорила она и насмѣшливо поглядѣла мнѣ въ лицо. — Такъ ужъ лучше мы перестанемъ... Что ужъ тутъ...

Она покраснѣла.

— Міръ идей!—повторила она и отбросила салфетку въ сторону, и лицо ея приняло негодующее, брезгливое выраженіе.—Всѣ эти ваши прекрасныя идеи, я вижу, сводятся къ одному неизбѣжному, необходимому шагу: я должна сдѣлаться вашею любовницей. Вотъ что нужно. Носиться съ идеями и не быть любовницей честнѣйшаго, идейнѣйшаго человѣка — значитъ не понимать идей. Надо начинать съ этого... то-есть съ любовницы, а остальное само приложится.

— Вы раздражены, Зинаида Ѳедоровна,—сказалъ я.

— Нѣтъ, я искренна! — крикнула она, тяжело дыша.— Я искренна!

— Вы искренни, быть-можетъ, но вы заблуждаетесь, и мнѣ больно слушать васъ.

— Я заблуждаюсь!—засмѣялась она.—Кто бы говорилъ, да не вы, сударь мой. Пусть я покажусь вамъ недели-катной, жестокой, но куда ни шло: вы любите меня? Вѣдь любите?

Я пожалъ плечами.

— Да, пожимайте плечами! — продолжала она насмѣшливо.—Когда вы были больны, я слышала, какъ вы бредили, потомъ постоянно эти обожающіе глаза, вздохи, благонамѣренные разговоры о близости, духовномъ родствѣ... Но, главное, почему вы до сихъ поръ были не искренни? Почему вы скрывали то, что есть, а говорили о томъ, чего нѣтъ? Сказали бы съ самаго начала, какія собственно идеи заставили васъ вытащить меня изъ Петербурга, такъ бы ужъ я и знала. Отравилась бы тогда, какъ хотѣла, и не было бы теперь этой нудной комедіи... Э, да что говорить!—она махнула на меня рукой и сѣла.

— Вы говорите такимъ тономъ, какъ будто подозрѣваете во мнѣ безчестныя намѣренія,—обидѣлся я.

— Ну, да ужъ ладно. Что ужъ тутъ. Я не намѣренія подозрѣваю въ васъ, а то, что у васъ никакихъ намѣреній не было. Будь они у васъ, я бы ужъ знала ихъ. Кромѣ идей и любви, у васъ ничего не было. Теперь идеи и любовь, а въ перспективѣ—я любовница. Таковъ ужъ порядокъ вещей и въ жизни и въ романахъ... Вотъ вы бранили его, — сказала она и ударила ладонью по столу: — а вѣдь поневолѣ съ нимъ согласишься. Не даромъ онъ презираетъ всѣ эти идеи.

— Онъ не презираетъ идей, а боится ихъ, — крикнулъ я.—Онъ трусъ и лжецъ.

— Ну, да ужъ ладно! Онъ трусъ, лжецъ и обманулъ меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Онъ обманулъ и бросилъ меня на произволъ судьбы въ Петербургѣ, а вы обманули и бросили меня здѣсь. Но тотъ хоть идей не приплеталъ къ обману, а вы...

— Бога ради, зачѣмъ вы это говорите? — ужаснулся я, ломая руки и быстро подходя къ ней. — Нѣтъ, Зинаида Ѳедоровна, нѣтъ, это цинизмъ, нельзя такъ отчаиваться, выслушайте меня,—продолжалъ я, ухватившись за мысль, которая вдругъ неясно блеснула у меня въ головѣ и, казалось, могла еще спасти насъ обоихъ. — Слушайте меня. Я испыталъ на своемъ вѣку много, такъ много, что теперь при воспоминаніи голова кружится, и я теперь крѣпко понялъ мозгомъ, своей изболѣвшей душой, что назначеніе человѣка или ни въ чемъ, или только въ одномъ—въ са-

моотверженной любви къ ближнему. Вотъ куда мы должны идти и въ чемъ наше назначеніе! Вотъ моя вѣра!

Дальше я хотѣлъ говорить о милосердіи, о всепрощеніи, но голосъ мой вдругъ зазвучалъ неискренно, и я смутился.

— Мнѣ жить хочется!—проговорилъ я искренно.—Жить, жить! Я хочу мира, тишины, хочу тепла, вотъ этого моря, вашей близости. О, какъ бы я хотѣлъ внушить и вамъ эту страстную жажду жизни! Вы только-что говорили про любовь, но для меня было бы довольно и одной близости вашей, вашего голоса, выраженія лица...

Она покраснѣла и сказала быстро, чтобы помѣшать мнѣ говорить:

— Вы любите жизнь, а я ее ненавижу. Стало-быть, дороги у насъ разныя.

Она налила себѣ чаю, но не дотронулась до него, пошла въ спальню и легла.

— Я полагаю, намъ бы лучше прекратить этотъ разговоръ,—сказала она мнѣ оттуда. — Для меня все уже кончено и ничего мнѣ не нужно... Что жъ тутъ разговаривать еще!

— Нѣтъ, не все кончено!

— Ну, да ладно!.. Знаю я! Надоѣло... Будетъ.

Я постоялъ, прошелся изъ угла въ уголъ и вышелъ въ коридоръ. Когда потомъ, поздно ночью, я подошелъ къ ея двери и прислушался, мнѣ явственно послышался плачъ.

На другой день утромъ лакей, подавая мнѣ платье, сообщилъ съ улыбкой, что госпожа изъ 13-го номера родитъ. Я кое-какъ одѣлся и, замирая отъ ужаса, поспѣшилъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ. Въ ея номерѣ находились докторъ, акушерка и пожилая русская дама изъ Харькова, которую звали Дарьей Михайловной. Пахло эфирными каплями. Едва я переступилъ порогъ, какъ изъ комнаты, гдѣ лежала она, послышался тихій, жалобный стонъ, и точно это вѣтеръ донесъ мнѣ его изъ Россіи, я вспомнилъ Орлова, его иронію, Полю, Неву, снѣгъ хлопьями, потомъ пролетку безъ фартука, пророчество, какое я прочелъ на холодномъ утреннемъ небѣ, и отчаянный крикъ: «Нина! Нина!»

— Вы сходите къ ней,—сказала дама.

Я вошелъ къ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ съ такимъ чувствомъ, какъ будто я былъ отцомъ ребенка. Она лежала съ за-

крытыми глазами, худая, блѣдная, въ бѣломъ чепчикѣ съ кружевами. Помню, два выраженія были на ея лицѣ: одно равнодушное, холодное, вялое, другое дѣтское и безпомощное, какое придавалъ ей бѣлый чепчикъ. Она не слышала, какъ я вошелъ или, быть-можетъ, слышала, но не обратила на меня вниманія. Я стоялъ, смотрѣлъ на нее и ждалъ.

Но вотъ лицо ея покривилось отъ боли, она открыла глаза и стала глядѣть въ потолокъ, какъ бы соображая, что съ ней... На ея лицѣ выразилось отвращеніе.

— Гадко,—прошептала она.

— Зинаида Ѳедоровна,—позвалъ я слабо.

Она равнодушно, вяло поглядѣла на меня и закрыла глаза. Я постоялъ немного и вышелъ.

Ночью Дарья Михайловна сообщила мнѣ, что родилась дѣвочка, но что роженица въ опасномъ положеніи; потомъ по коридору бѣгали, былъ шумъ. Опять приходила ко мнѣ Дарья Михайловна и съ отчаяннымъ лицомъ, ломая руки, говорила:

— О, это ужасно! Докторъ подозрѣваетъ, что она приняла ядъ! О, какъ не хорошо ведутъ себя здѣсь русскія!

А на другой день въ полдень Зинаида Ѳедоровна скончалась.

XVIII.

Прошло два года. Обстоятельства измѣнились, я опять поѣхалъ въ Петербургъ и могъ жить тутъ, уже не скрываясь. Я уже не боялся быть и казаться чувствительнымъ и весь ушелъ въ отеческое или, вѣрнѣе, идолопоклонническое чувство, какое возбуждала во мнѣ Соня, дочь Зинаиды Ѳедоровны. Я кормилъ ее изъ своихъ рукъ, купалъ, укладывалъ спать, не сводилъ съ нея глазъ по цѣлымъ ночамъ и вскрикивалъ, когда мнѣ казалось, что нянька ее сейчасъ уронитъ. Моя жажда обыкновенной обывательской жизни съ теченіемъ времени становилась все сильнѣе и раздражительнѣе, но широкія мечты остановились около Сони, какъ будто нашли въ ней, наконецъ, именно то, что мнѣ нужно было. Я любилъ эту дѣвочку безумно. Въ ней я видѣлъ продолженіе своей жизни, и мнѣ не то чтобы казалось, а я чувствовалъ, почти вѣровалъ, что когда, наконецъ, я сброшу съ себя длинное, костлявое, бородатое тѣло, то буду жить въ этихъ голубыхъ глазкахъ, въ бѣлокурыхъ

шелковыхъ волосикахъ и въ этихъ пухлыхъ розовыхъ ручонкахъ, которыя такъ любовно гладятъ меня по лицу и обнимаютъ мою шею.

Судьба Сони пугала меня. Отцомъ ея былъ Орловъ, въ метрическомъ свидѣтельствѣ она называлась Красновскою, а единственный человѣкъ, который зналъ объ ея существованіи и для котораго оно было интересно, то-есть я, уже дотягивалъ свою пѣсню. Нужно было подумать о ней серьезно.

На другой же день по пріѣздѣ въ Петербургъ, я отправился къ Орлову. Отворилъ мнѣ толстый старикъ съ рыжими бакенами и безъ усовъ, повидимому нѣмецъ. Поля, убиравшая въ гостиной, не узнала меня, но зато Орловъ узналъ тотчасъ же.

— А, господинъ крамольникъ!—сказалъ онъ, оглядывая меня съ любопытствомъ и смѣясь.—Какими судьбами?

Онъ нисколько не измѣнился: все то же холеное, непріятное лицо, та же иронія. И на столѣ, какъ въ прежнее время, лежала какая-то новая книга съ заложеннымъ въ нее ножомъ изъ слоновой кости. Очевидно, читалъ до моего прихода. Онъ усадилъ меня, предложилъ сигару и съ деликатностью, свойственною только отлично воспитаннымъ людямъ, скрывая непріятное чувство, какое возбуждали въ немъ мое лицо и моя тощая фигура, замѣтилъ вскользь, что я нисколько не измѣнился и что меня легко узнать, несмотря даже на то, что я обросъ бородою. Поговорили о погодѣ, о Парижѣ. Чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ тяжелаго неизбѣжнаго вопроса, который томилъ и его, и меня, онъ спросилъ:

— Зинаида Ѳедоровна умерла?

— Да, умерла,—отвѣтилъ я.

— Отъ родовъ?

— Да, отъ родовъ. Докторъ подозрѣвалъ другую причину смерти, но... и для васъ, и для меня покойнѣе думать, что она умерла отъ родовъ.

Онъ вздохнулъ изъ приличія и помолчалъ. Пролетѣлъ тихій ангелъ.

— Такъ-съ, а у меня все по-старому, никакихъ особенныхъ перемѣнъ,—живо заговорилъ онъ, замѣтивъ, что я оглядываю кабинетъ.—Отецъ, какъ вы знаете, въ отставкѣ и уже на покоѣ, я все тамъ же. Пекарскаго помните? Онъ

все такой же. Грузинъ въ прошломъ году умеръ отъ дифтерита... Ну-съ, Кукушкинъ живъ и частенько вспоминаетъ о васъ. Кстати,—продолжалъ Орловъ, застѣнчиво опуская глаза: — когда Кукушкинъ узналъ, кто вы, то сталъ вездѣ разсказывать, что вы будто учинили на него нападеніе, хотѣли его убить... и онъ едва спасся.

Я промолчалъ.

— Старые слуги не забываютъ своихъ господъ... Это очень мило съ вашей стороны,—пошутилъ Орловъ.—Однако, не хотите ли вина или кофе? Я прикажу сварить.

— Нѣтъ, благодарю. Я къ вамъ по очень важному дѣлу, Георгій Иванычъ.

— Я не охотникъ до важныхъ дѣлъ, но вамъ радъ служить. Что прикажете?

— Видите ли,—началъ я, волнуясь:—со мной въ настоящее время находится здѣсь дочь покойной Зинаиды Ѳедоровны... До сихъ поръ я занимался ея воспитаніемъ, но, какъ видите, не сегодня-завтра я превращусь въ звукъ пустой. Мнѣ хотѣлось бы умереть съ мыслью, что она пристроена.

Орловъ слегка покраснѣлъ, нахмурился и сурово, мелькомъ взглянулъ на меня. На него непріятно подѣйствовало не столько «важное дѣло», какъ слова мои о превращеніи въ звукъ пустой, о смерти.

— Да, объ этомъ надо подумать,—сказалъ онъ, заслоняя глаза, какъ отъ солнца. — Благодарю васъ. Вы говорите: дѣвочка?

— Да, дѣвочка. Чудная дѣвочка!

— Такъ. Это, конечно, не мопсъ, а человѣкъ... понятно, надо серьезно подумать. Я готовъ принять участіе и... и очень обязанъ вамъ.

Онъ всталъ, прошелся, кусая ногти, и остановился передъ картиной.

— Объ этомъ надо подумать,—сказалъ онъ глухо, стоя ко мнѣ спиной. — Я сегодня побываю у Пекарскаго и попрошу его съѣздить къ Красновскому. Думаю, что Красновскій не будетъ долго ломаться и согласится взять эту дѣвочку.

— Но, простите, я не знаю, при чемъ тутъ Красновскій,—сказалъ я, тоже вставая и подходя къ картинѣ въ другомъ концѣ кабинета.

— Но, вѣдь, она носитъ его фамилію, надѣюсь! — сказалъ Орловъ.

— Да, онъ, быть-можетъ, обязанъ по закону принять къ себѣ этого ребенка, я не знаю, но я пришелъ къ вамъ, Георгій Иванычъ, не для того, чтобъ говорить о законахъ.

— Да, да, вы правы, — живо согласился онъ. — Я, кажется, говорю вздоръ. Но вы не волнуйтесь. Мы все это обсудимъ ко взаимному удовольствію. Не одно, такъ другое, не другое, такъ третье, а такъ или иначе этотъ щекотливый вопросъ будетъ рѣшенъ. Пекарскій все устроитъ. Вы будете добры, оставите мнѣ свой адресъ, и я сообщу вамъ немедленно то рѣшеніе, къ какому мы придемъ. Вы гдѣ живете?

Орловъ записалъ мой адресъ, вздохнулъ и сказалъ съ улыбкой:

— Что за комиссія, Создатель, быть малой дочери отцомъ! Но Пекарскій все устроитъ. Это «умный» мужчина. А вы долго прожили въ Парижѣ?

— Мѣсяца два.

Мы помолчали. Орловъ, очевидно, боялся, что я опять заговорю о дѣвочкѣ и, чтобы отвлечь мое вниманіе въ другую сторону, сказалъ:

— Вы, вѣроятно, уже забыли про свое письмо. А я берегу его. Ваше тогдашнее настроеніе я понимаю и, признаться, уважаю это письмо. Проклятая, холодная кровь, азіатъ, лошадиный смѣхъ — это мило и характерно,—продолжалъ онъ, иронически улыбаясь. — И основная мысль, пожалуй, близка къ правдѣ, хотя можно было бы спорить безъ конца. То-есть,—замялся онъ:—спорить не съ самою мыслью, а съ вашимъ отношеніемъ къ вопросу, съ вашимъ, такъ сказать, темпераментомъ. Да, моя жизнь ненормальна, испорчена, не годится ни къ чему, и начать новую жизнь мнѣ мѣшаетъ трусость, — тутъ вы совершенно правы. Но что вы такъ близко принимаете это къ сердцу, волнуетесь и приходите въ отчаяніе,—это не резонъ, тутъ вы совсѣмъ неправы.

— Живой человѣкъ не можетъ не волноваться и не отчаиваться, когда видитъ, какъ погибаетъ самъ и вокругъ гибнутъ другіе.

— Кто говоритъ! Я вовсе не проповѣдую равнодушія, а хочу только объективнаго отношенія къ жизни. Чѣмъ объек-

тивнѣе, тѣмъ меньше риску впасть въ ошибку. Надо смотрѣть въ корень и искать въ каждомъ явленіи причину всѣхъ причинъ. Мы ослабѣли, опустились, пали наконецъ, наше поколѣніе всплошную состоитъ изъ неврастениковъ и нытиковъ, мы только и знаемъ, что толкуемъ объ усталости и переутомленіи, но виноваты въ этомъ не вы и не я; мы слишкомъ мелки, чтобы отъ нашего произвола могла зависѣть судьба цѣлаго поколѣнія. Тутъ, надо думать, причины большія, общія, имѣющія съ точки зрѣнія біологической свой солидный raison d'être. Мы неврастеники, кисляи, отступники, но, быть-можетъ, это нужно и полезно для тѣхъ поколѣній, которыя будутъ жить послѣ насъ. Ни единый волосъ не падаетъ съ головы безъ воли Отца Небеснаго,—другими словами, въ природѣ и въ человѣческой средѣ ничто не творится такъ-себѣ. Все обосновано и необходимо. А если такъ, то чего же намъ особенно безпокоиться и писать отчаянныя письма?

— Такъ-то такъ,—сказалъ я, подумавъ.—Я вѣрю, слѣдующимъ поколѣніямъ будетъ легче и виднѣй; къ ихъ услугамъ будетъ нашъ опытъ. Но вѣдь хочется жить независимо отъ будущихъ поколѣній и не только для нихъ. Жизнь дается одинъ разъ, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется дѣлать исторію, чтобы тѣ же поколѣнія не имѣли права сказать про каждаго изъ насъ: то было ничтожество, или еще хуже того... Я вѣрю и въ цѣлесообразность, и въ необходимость того, что происходитъ вокругъ, но какое мнѣ дѣло до этой необходимости, зачѣмъ пропадать моему «я»?

— Ну, что дѣлать! — вздохнулъ Орловъ, поднимаясь и какъ бы давая понять, что разговоръ нашъ уже конченъ.

Я взялся за шапку.

— Только полчаса посидѣли, а сколько вопросовъ рѣшили, подумаешь! — говорилъ Орловъ, провожая меня до передней.—Такъ я позабочусь о томъ... Сегодня же повидаюсь съ Пекарскимъ. Будьте безъ сумлѣнія.

Онъ остановился въ ожиданіи, пока я одѣнусь, и видимо чувствовалъ удовольствіе отъ того, что я сейчасъ уйду.

— Георгій Иванычъ, возвратите мнѣ мое письмо,—сказалъ я.

— Слушаю-съ.

Онъ пошелъ въ кабинетъ и черезъ минуту вернулся съ письмомъ. Я поблагодарилъ и вышелъ.

На другой день я получилъ отъ него записку. Онъ поздравлялъ меня съ благополучнымъ рѣшеніемъ вопроса. У Пекарскаго есть знакомая дама, писалъ онъ, которая держитъ пансіонъ, что-то въ родѣ дѣтскаго сада, куда принимаются даже очень маленькія дѣти. На даму можно положиться вполнѣ, но прежде чѣмъ входить съ нею въ соглашеніе, не мѣшаетъ переговорить съ Красновскимъ — этого требуетъ формальность. Совѣтовалъ мнѣ немедленно отправиться къ Пекарскому и кстати прихватить съ собою метрическое свидѣтельство, если таковое имѣется. «Примите увѣреніе въ искреннемъ уваженіи и преданности вашего покорнаго слуги»...

Я читалъ это письмо, а Соня сидѣла на столѣ и смотрѣла на меня внимательно, не мигая, какъ будто знала, что рѣшается ея участь.

ХОРОШІЕ ЛЮДИ.

Жилъ-былъ въ Москвѣ Владиміръ Семенычъ Лядовскій. Онъ кончилъ курсъ въ университетѣ по юридическому факультету, служилъ въ контролѣ какой-то желѣзной дороги, но если бы вы спросили его, чѣмъ онъ занимается, то сквозь золотое pince-nez открыто и ясно поглядѣли бы на васъ большіе, блестящіе глаза, и тихій, бархатный, шепелявящій баритонъ отвѣтилъ бы вамъ:

— Я занимаюсь литературой!

Послѣ окончанія курса въ университетѣ, Владиміръ Семенычъ помѣстилъ въ одной газетѣ театральную замѣтку. Съ замѣтки перешелъ онъ къ библіографическому отдѣлу, а годъ спустя уже велъ въ газетѣ еженедѣльный критическій фельетонъ. Но изъ такого начала не слѣдуетъ, что онъ былъ дилетантъ, что его писательство имѣло случайный, преходящій характеръ. Когда я видѣлъ его чистенькую, худощавую фигурку, большой лобъ и длинную гриву, когда вслушивался въ его рѣчи, то мнѣ всякій разъ казалось, что его писательство, независимо отъ того, что и какъ онъ пишетъ, свойственно ему органически, какъ біеніе сердца, и что еще во чревѣ матери въ его мозгу сидѣла наростомъ вся его программа. Даже въ его походкѣ, жестикуляціи, въ манерѣ сбрасывать съ папиросы пепелъ я читалъ всю эту программу отъ а до ижицы, со всей ея шумихой, скукой и порядочностью. Въ немъ былъ виденъ пишущій, когда съ вдохновеннымъ лицомъ возлагалъ онъ вѣнокъ на гробъ какой-нибудь знаменитости, или съ важнымъ, торжественнымъ выраженіемъ собиралъ подписи для

адреса; его страсть знакомиться съ извѣстными литераторами, способность находить таланты даже тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, постоянная восторженность, пульсъ 120 въ минуту, незнаніе жизни, та чисто женская взбудораженность, съ какою онъ хлопоталъ на концертахъ и литературныхъ вечерахъ въ пользу учащейся молодежи, тяготѣніе къ молодежи—все это создало бы ему репутацію «пишущаго», если бы даже онъ и не писалъ своихъ фельетоновъ.

Это пишущій, къ которому очень шло, когда онъ говорилъ: «Насъ немного!», или: «Что за жизнь безъ борьбы? Впередъ!», хотя онъ ни съ кѣмъ никогда не боролся и никогда не шелъ впередъ. Не выходило также приторно, когда онъ начиналъ толковать объ идеалахъ. Въ каждую университетскую годовщину, въ Татьянинъ день, онъ напивался пьянъ, подтягивалъ не въ тонъ «gaudeamus», и въ это время его сіяющее, вспотѣвшее лицо какъ бы говорило: «Глядите, я пьянъ, я кучу!» Но и это шло къ нему.

Владиміръ Семенычъ искренно вѣровалъ въ свое право писать и въ свою программу, не зналъ никакихъ сомнѣній и, повидимому, былъ очень доволенъ собой. Одно только печалило его, а именно: у газеты, въ которой онъ работалъ, было мало подписчиковъ и не было солидной репутаціи. Но Владиміръ Семенычъ вѣровалъ, что рано или поздно ему удастся пристроиться въ толстомъ журналѣ, гдѣ онъ развернется и покажетъ себя — и его маленькая печаль блѣднѣла въ виду яркихъ надеждъ.

Бывая у этого милаго человѣка, я познакомился съ его родной сестрой, женщиной-врачомъ Вѣрой Семеновной. Съ перваго же взгляда эта женщина поразила меня своимъ утомленнымъ, крайне болѣзненнымъ видомъ. Она была молода, хорошо сложена, съ правильнымъ, нѣсколько грубоватымъ лицомъ, но, въ сравненіи съ подвижнымъ, изящнымъ и болтливымъ братомъ, казалась угловатой, вялой, неряшливой и угрюмой. Ея движенія, улыбки и слова носили въ себѣ что-то вымученное, холодное, апатичное, и она не нравилась, ее считали гордой, недалекой.

На самомъ же дѣлѣ, мнѣ кажется, онъ отдыхала.

— Милый другъ мой,—часто говорилъ мнѣ ея братъ, вздыхая и красивымъ писательскимъ жестомъ откидывая назадъ волосы:—никогда не судите по наружности! Поглядите вы на эту книгу: она давно уже прочтена, закорузла,

растрепана, валяется въ пыли, какъ ненужная вещь, но раскройте ее, и она заставитъ васъ поблѣднѣть и заплакать. Моя сестра похожа на эту книгу. Приподнимите переплетъ, загляните въ душу, и васъ охватитъ ужасъ. Въ какіе-нибудь три мѣсяца Вѣра перенесла, сколько хватило бы на всю человѣческую жизнь!

Владиміръ Семенычъ оглядывался, бралъ меня за рукавъ и начиналъ шептать:

— Вы знаете, кончивъ курсъ, она вышла замужъ по любви за одного архитектора. Цѣлая драма! Едва успѣли молодые прожить мѣсяцъ, какъ мужъ—фюйть! — умираетъ отъ тифа. Но это не все. Она сама заражается отъ мужа тифомъ и, когда, выздоровѣвъ, узнаетъ, что ея Иванъ умеръ, принимаетъ хорошую дозу морфія. Если бы не энергія подругъ, то моя Вѣра была бы уже въ раю. Послушайте, развѣ это не драма? И развѣ моя сестра не похожа на ingénue, которая уже сыграла всѣ пять дѣйствій своей жизни? Пусть публика глядитъ водевиль, но ingénue должна ѣхать домой отдыхать.

Вѣра Семеновна, переживъ три несчастныхъ мѣсяца, поселилась у брата. Практическая медицина была не по ней, не удовлетворяла и утомляла ее; да она и не производила впечатлѣнія знающей, и я ни разу не слышалъ, чтобы она говорила о чемъ-нибудь, имѣющемъ отношеніе къ ея наукѣ.

Она оставила медицину и въ бездѣльи и молчаніи, точно заключенная, поникнувъ головой и опустивъ руки, лѣниво и безцвѣтно доживала свою молодость. Единственное, къ чему она еще не относилась равнодушно и что немного проясняло ея жизненныя сумерки, было присутствіе около нея брата, котораго она любила. Она любила его самого, его программу, благоговѣла передъ его фельетонами, и когда ее спрашивали, чѣмъ занимается ея братъ, она тихимъ голосомъ, точно боясь разбудить или помѣшать, отвѣчала: «Онъ пишетъ!..» Обыкновенно, когда онъ писалъ, она сидѣла возлѣ и не сводила глазъ съ его пишущей руки. Въ это время она походила на больное животное, грѣющееся на солнцѣ...

Въ одинъ изъ зимнихъ вечеровъ Владиміръ Семенычъ сидѣлъ у себя за столомъ и писалъ для газеты критическій фельетонъ, возлѣ сидѣла Вѣра Семеновна и по обы-

кновенію глядѣла на его пишущую руку. Критикъ писалъ быстро, безъ помарокъ и остановокъ. Перо поскрипывало и взвизгивало. На столѣ около пишущей руки лежала раскрытая, только-что обрѣзанная книжка толстаго журнала.

Тамъ былъ разсказъ изъ крестьянской жизни, подписанный двумя буквами. Владиміръ Семенычъ былъ въ восторгѣ. Онъ находилъ, что авторъ прекрасно справляется съ формой изложенія, въ описаніяхъ природы напоминаетъ Тургенева, искрененъ и знаетъ превосходно крестьянскую жизнь. Самъ критикъ былъ знакомъ съ этой жизнью только по книгамъ и по наслышкѣ, но чувство и внутреннее убѣжденіе заставляли его вѣрить разсказу. Онъ предсказывалъ автору блестящую будущность, увѣрялъ его, что ждетъ окончанія разсказа съ большимъ нетерпѣніемъ и проч.

— Прекрасный разсказъ!—проговорилъ онъ, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза отъ удовольствія.—Идея въ высшей степени симпатичная!

Вѣра Семеновна поглядѣла на него, громко зѣвнула и вдругъ задала неожиданный вопросъ. Вообще вечерами она имѣла привычку нервно зѣвать и задавать короткіе, отрывистые вопросы, не всегда шедшіе къ дѣлу.

— Володя, — спросила она: — что значитъ непротивленіе злу?

— Непротивленіе злу? — переспросилъ братъ, открывая глаза.

— Да. Какъ ты его понимаешь?

— Видишь ли, милая, представь, что на тебя нападаютъ воры или разбойники и хотятъ тебя ограбить, а ты вмѣсто того, чтобы...

— Нѣтъ, ты дай логическое опредѣленіе.

— Логическое опредѣленіе? Гм!.. Ну, что жъ?—замялся Владиміръ Семенычъ.—Непротивленіе злу выражаетъ безучастное отношеніе ко всему, что въ сферѣ нравственнаго именуется зломъ.

Сказавши это, Владиміръ Семенычъ нагнулся къ столу и принялся за повѣсть. Въ этой повѣсти, написанной женщиною, изображалась тягость нелегальнаго положенія свѣтской дамы, живущей подъ одной крышей съ любовникомъ и со своимъ незаконнорожденнымъ ребенкомъ. Владиміръ Семенычъ былъ доволенъ и симпатичной идеей, и фабулой,

и исполненіемъ. Передавая вкратцѣ содержаніе повѣсти, онъ выбиралъ лучшія мѣста и прибавлялъ къ нимъ отъ себя: «Не правда ли, какъ все это вѣрно дѣйствительности, какъ жизненно и картинно! Авторъ не только повѣствователь-художникъ, но онъ также и тонкій психологъ, умѣющій вглядываться въ душу своихъ персонажей. Для примѣра возьмемъ хоть это рельефное описаніе душевнаго состоянія героини во время встрѣчи ея съ мужемъ» и т. д.

— Володя!—перебила Вѣра Семеновна его критическія изліянія.—Странная мысль занимаетъ меня со вчерашняго дня. Я все думаю: что мы изображали бы изъ себя, если бы жизнь человѣческая была построена на началахъ непротивленія злу?

— По всей вѣроятности, ничего. Непротивленіе злу дало бы полную свободу преступной волѣ, а отъ этого, не говоря ужъ о цивилизаціи, на землѣ не осталось бы камня на камнѣ.

— А что же бы осталось?

— Баши-бузуки и дома терпимости. Въ слѣдующемъ фельетонѣ я поговорю насчетъ этого, пожалуй. Спасибо, что напомнила.

И мой пріятель черезъ недѣлю сдержалъ свое обѣщаніе. Это было какъ разъ время—восьмидесятые годы, когда у насъ въ обществѣ и печати заговорили о непротивленіи злу, о правѣ судить, наказывать, воевать, когда кое-кто изъ нашей среды сталъ обходиться безъ прислуги, уходилъ въ деревню пахать, отказывался отъ мясной пищи и плотской любви.

Прочитавъ фельетонъ брата, Вѣра Семеновна подумала и едва замѣтно пожала плечами.

— Очень мило!—сказала она.—Но все же я еще многаго не понимаю. Напримѣръ, въ «Соборянахъ» Лѣскова есть одинъ чудакъ-огородникъ, который сѣетъ на долю всѣхъ: покупателей, нищихъ и тѣхъ, кто захочетъ украсть. Разумно онъ поступаетъ?

По выраженію лица и по тону сестры Владиміръ Семенычъ понялъ, что его фельетонъ не понравился ей, и чуть ли не первый разъ въ жизни въ немъ вздрогнуло его авторское чувство. Не безъ раздраженія онъ отвѣтилъ:

— Кража—явленіе безнравственное. Сѣять на долю воровъ, значитъ, признавать за ворами право на ихъ суще-

ствованіе. Что бы ты сказала, если бы я, открывая газету и планируя ее на отдѣлы, кромѣ честныхъ идей имѣлъ бы въ виду еще и шантажъ? Вѣдь по логикѣ этого огородника я долженъ удѣлить мѣсто также и шантажистамъ, подлецамъ мысли! Да?

Вѣра Семеновна ничего не отвѣтила. Она встала изъ-за стола, лѣниво поплелась къ дивану и легла.

— Не знаю, ничего не знаю! — сказала она въ раздумьи.—Ты, вѣроятно, правъ, но мнѣ кажется, я такъ чувствую, что въ нашей борьбѣ со зломъ есть какая-то фальшь, точно что-то не досказано или скрыто. Богъ знаетъ, быть-можетъ, наши пріемы въ противленіи злу принадлежатъ къ числу предразсудковъ, которые вкоренились въ насъ такъ глубоко, что мы уже не въ силахъ разстаться съ ними и потому уже не можемъ судить о нихъ правильно.

— То-есть какъ же это?

— Я не знаю, какъ тебѣ объяснить. Быть-можетъ, человѣкъ ошибается, думая, что онъ обязанъ и имѣетъ право бороться со зломъ, такъ же, какъ ошибается, думая, напримѣръ, что сердце имѣетъ видъ червоннаго туза. Очень можетъ быть, что въ борьбѣ со зломъ мы имѣемъ право дѣйствовать не силой, а тѣмъ, что противоположно силѣ, то-есть, если ты, напримѣръ, хочешь, чтобы у тебя не украли этой картины, то не запирай ее, а отдай...

— Умно, очень умно! Если я хочу жениться на богатой купчихѣ, то, чтобы помѣшать мнѣ сдѣлать эту подлость, купчиха должна поспѣшить сама выйти за меня замужъ!

До полуночи бесѣдовали братъ и сестра, не понимая другъ друга. Если бы посторонній человѣкъ подслушалъ ихъ, то едва ли бы понялъ, чего хочетъ одинъ и чего хочетъ другая.

Вечерами братъ и сестра обыкновенно сидѣли дома. Знакомыхъ семейныхъ домовъ у нихъ не было, да они и не чувствовали потребности въ знакомствахъ, въ театръ ходили только на новыя пьесы,—таковъ былъ тогда обычай у пишущихъ,—на концертахъ не бывали, потому что не любили музыки...

— Ты какъ хочешь думай, — сказала на другой день Вѣра Семеновна;—но для меня вопросъ уже отчасти рѣшенъ. Глубоко я убѣждена, что противиться злу, направленному противъ меня лично, я не имѣю никакого осно-

ванія. Захотятъ убить меня? Пусть. Отъ того, что я буду защищаться, убійца не станетъ лучше. Теперь для меня остается только рѣшить вторую половину вопроса: какъ я должна относиться къ злу, направленному противъ моихъ ближнихъ?

— Вѣра, ты не взбѣсись!—сказалъ Владиміръ Семенычъ и засмѣялся.—Непротивленіе становится, какъ я вижу, твоей idée-fixe!

Ему хотѣлось разыграть эти скучные разговоры въ шутку, но какъ-то уже было не до шутокъ, улыбка на лицѣ выходила кривой и кислой. Сестра ужъ не садилась у его стола и не слѣдила благоговѣйно за его пишущей рукой, а самъ онъ каждый вечеръ чувствовалъ, что позади него на диванѣ лежитъ человѣкъ, не согласный съ нимъ... И спина у него какъ будто деревянѣла и нѣмѣла, а въ душѣ вѣяло холодомъ. Авторское чувство злопамятно, неумолимо, не знаетъ прощенія, а сестра была первая и единственная, которая обнажила и растревожила это безпокойное чувство, похожее на больной ящикъ съ посудой, которую распаковать легко, но уложить опять, какъ она была, невозможно.

Проходили недѣли и мѣсяцы, а сестра не оставляла своихъ мыслей и не садилась у стола. Однажды, весеннимъ вечеромъ, Владиміръ Семенычъ сидѣлъ за столомъ и писалъ фельетонъ. Онъ разбиралъ повѣсть о томъ, какъ одна сельская учительница отказываетъ любимому и любящему ее человѣку, богатому и интеллигентному, только потому, что для нея съ бракомъ сопряжена невозможность продолжать свою педагогическую дѣятельность. Вѣра Семеновна лежала на диванѣ и думала о чемъ-то.

— Боже, какая скука!—сказала она, потягиваясь.—Какъ вяло и безсодержательно течетъ жизнь! Я не знаю, что дѣлать съ собой, а ты тратишь свои лучшіе годы на Богъ знаетъ что. Какъ алхимикъ, роешься въ старомъ, никому ненужномъ хламѣ—о, Боже мой!

Владиміръ Семенычъ выронилъ перо и медленно оглянулся на сестру.

— Скучно глядѣть на тебя! — продолжала сестра. — Вагнеръ изъ «Фауста» выкапывалъ червей, но тотъ хоть клада искалъ, а ты ищешь червей ради червей...

— Туманно-съ!

— Да, Володя, всѣ эти дни я думала, долго, мучительно думала и убѣдилась: ты безнадежный обскурантъ и рутинеръ. Ну, спроси себя, что̀ можетъ дать тебѣ твоя усердная и добросовѣстная работа? Скажи: что? Вѣдь изъ этого стараго хлама, въ которомъ ты роешься, давно уже извлекли все, что̀ можно было извлечь. Какъ ни толки воду въ ступѣ, какъ ни разлагай ее, а больше того, что̀ уже сказано химиками, не скажешь...

— Вотъ ка-акъ!—протянулъ Владиміръ Семенычъ, поднимаясь.—Да, все это старый хламъ, потому что идеи эти вѣчны, но что̀ же по-твоему ново?

— Ты берешься работать въ области мысли, твое дѣло придумать что-нибудь новое. Не мнѣ тебя учить.

— Я — алхимикъ! — удивлялся и возмущался критикъ, насмѣшливо щуря глаза. — Искусство, прогрессъ — это алхимія!?

— Видишь ли, Володя, мнѣ кажется, что если бы всѣ вы, мыслящіе люди, посвятили себя рѣшенію большихъ задачъ, то всѣ эти твои вопросики, надъ которыми ты теперь бьешься, рѣшились бы сами собой, побочнымъ путемъ. Если ты поднимешься на шарѣ, чтобы увидѣть городъ, то поневолѣ, само собою, увидишь и поле, и деревни, и рѣки... Когда добываютъ стеаринъ, то, какъ побочный продуктъ, получается глицеринъ. Мнѣ кажется, что современная мысль засѣла на одномъ мѣстѣ и прилипла къ этому мѣсту. Она предубѣждена, вяла, робка, боится широкаго, гигантскаго полета, какъ мы съ тобой боимся взобраться на высокую гору, она консервативна.

Подобные разговоры не проходили безслѣдно. Взаимныя отношенія брата и сестры съ каждымъ днемъ становились все хуже и хуже. Братъ въ присутствіи сестры уже не могъ работать и раздражался, когда зналъ, что сестра лежитъ на диванѣ и глядитъ ему въ спину; сестра же какъ-то болѣзненно морщилась и потягивалась, когда онъ, пытаясь вернуть прошлое, пробовалъ дѣлиться съ нею своими восторгами. Каждый вечеръ она жаловалась на скуку, заводила рѣчь о свободѣ мысли, о рутинерахъ. Увлеченная своими новыми мыслями, Вѣра Семеновна доказывала, что работа, въ которую былъ погруженъ ея братъ, есть предразсудокъ, тщетная попытка консервативныхъ умовъ продолжать то, что̀ уже сослужило свою службу и уже сходитъ со сцены.

Сравненіямъ не было конца. Она сравнивала брата то съ алхимикомъ, то съ раскольникомъ-начетчикомъ, который скорѣе умретъ, чѣмъ поддастся убѣжденію...

Мало-по-малу стала замѣчаться перемѣна и въ ея образѣ жизни. Она могла уже по цѣлымъ днямъ и вечерамъ лежать на диванѣ, ничего не дѣлая, не читая, а только думая, причемъ лицо ея принимало холодное, сухое выраженіе, какое бываетъ у людей односторонникъ, сильно вѣрующихъ; она стала отказываться отъ удобствъ, доставляемыхъ прислугой: сама за собой убирала, выносила, сама чистила полусапожки и платье. Братъ не могъ безъ раздраженія и даже ненависти глядѣть на ея холодное лицо, когда она принималась за черную работу. Въ этой работѣ, совершаемой всегда съ нѣкоторою торжественностью, онъ видѣлъ что-то натянутое, фальшивое, видѣлъ и фарисейство, и кокетство. И ужъ зная, что онъ не въ силахъ тронуть ее убѣжденіемъ, онъ, какъ школьникъ, придирался, дразнилъ ее.

— Не противишься злу, а сама противишься тому, что я имѣю прислугу! — язвилъ онъ. — Если прислуга зло, то зачѣмъ же ты противишься? Это непослѣдовательно!

Онъ страдалъ, возмущался и даже стыдился. Ему стыдно дѣлалось, когда сестра начинала дурить при посторонникъ.

— Ужасно, голубчикъ!—говорилъ онъ мнѣ по секрету, въ отчаяніи взмахивая руками.—Оказывается, что наша ingénue осталась играть еще и въ водевилѣ. Опсихопатилась до мозга костей! Я уже рукой махнулъ, пусть мыслитъ, какъ хочетъ, но зачѣмъ она говоритъ, зачѣмъ волнуетъ меня. Она бы подумала: каково-то мнѣ слушать ее? Каково мнѣ, когда въ моемъ присутствіи осмѣливаются кощунственно подтверждать свое заблужденіе ученіемъ Христа? Мнѣ душно! Меня бросаетъ въ жаръ, когда моя сестрица берется проповѣдывать свое ученіе и старается перетолковать Евангеліе въ свою пользу, когда она нарочно умалчиваетъ объ изгнаніи торгующихъ изъ храма! Вотъ что значитъ, батенька, недоразвитіе, недомысліе! Вотъ что значитъ медицинскій факультетъ, не дающій общаго развитія!

Разъ Владиміръ Семенычъ, вернувшись со службы домой, засталъ сестру плачущей. Она сидѣла на диванѣ, опу-

стивъ голову и ломая руки, и обильныя слезы текли у ней по лицу. Доброе сердце критика сжалось отъ боли. Слезы потекли и у него изъ глазъ, и ему захотѣлось приласкать сестру, простить ее, попросить прощенія, зажить по-старому... Онъ сталъ на колѣни, осыпалъ поцѣлуями ея голову, руки, плечи... Она улыбнулась, улыбнулась непонятно, горько, а онъ радостно вскрикнулъ, вскочилъ, схватилъ со стола журналъ и сказалъ съ жаромъ:

— Ура! Живемъ по-старому, Вѣрочка! Господи благослови! А какую я для тебя штучку приготовилъ! Давай-ка вмѣсто примирительнаго шампанскаго прочтемъ ее вмѣстѣ! Прекрасная, чудная вещь!

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ...—испугалась Вѣра Семеновна, отстраняя книгу.—Я уже читала! Не нужно, не нужно!

— Когда же ты читала?

— Годъ... два назадъ... Давно читала и знаю, знаю!

— Гм!.. Ты фанатичка!—сказалъ холодно братъ, бросая на столъ журналъ.

— Нѣтъ, ты фанатикъ, а не я! Ты!

И Вѣра Семеновна опять залилась слезами. Братъ стоялъ передъ ней, глядѣлъ на ея вздрагивающія плечи и думалъ. Думалъ онъ не о мукахъ одиночества, какое переживаетъ всякій, начинающій мыслить по-новому, по-своему, не о страданіяхъ, какія неизбѣжны при серьезномъ душевномъ переворотѣ, а о своей оскорбленной программѣ, о своемъ уязвленномъ авторскомъ чувствѣ.

Съ этого раза сталъ онъ относиться къ сестрѣ холодно, небрежно-насмѣшливо и терпѣлъ ее въ своей квартирѣ, какъ терпятъ старухъ-приживалокъ, она же перестала спорить съ нимъ и на всѣ его убѣжденія, насмѣшки и придирки отвѣчала снисходительнымъ молчаніемъ, которое еще болѣе раздражало его.

Въ одно лѣтнее утро Вѣра Семеновна, одѣтая по-дорожному, съ сумочкой черезъ плечо, вошла къ брату и холодно поцѣловала его въ лобъ.

— Ты это куда?—удивился Владиміръ Семенычъ.

— Въ N—скую губернію, оспу прививать.

Братъ вышелъ проводить ее на улицу.

— Ишь, ты, проказница, что надумала... — бормоталъ онъ.—Денегъ тебѣ не нужно?

— Нѣтъ, спасибо. Прощай.

Сестра пожала брату руку и пошла.

— Что же ты извозчика не нанимаешь?—крикнулъ Владиміръ Семенычъ.

Докторша не отвѣчала. Братъ поглядѣлъ вслѣдъ на ея рыжій ватерпруфъ, на покачиванія ея стана отъ лѣнивой походки, насильно вздохнулъ, но не возбудилъ въ себѣ чувства жалости. Сестра была для него уже чужой. Да и онъ былъ чуждъ для нея. По крайней мѣрѣ, она ни разу не оглянулась.

Вернувшись къ себѣ въ комнату, Владиміръ Семенычъ тотчасъ же сѣлъ за столъ и принялся за фельетонъ.

И потомъ уже я ни разу не видѣлъ Вѣры Семеновны. Гдѣ она теперь — не знаю. А Владиміръ Семенычъ все писалъ свои фельетоны, возлагалъ вѣнки, пѣлъ «gaudeamus», хлопоталъ о «кассѣ взаимопомощи сотрудниковъ московскихъ повременныхъ изданій».

Какъ-то онъ заболѣлъ воспаленіемъ легкаго: лежалъ онъ больной три мѣсяца, сначала дома, потомъ въ Голицынской больницѣ. Образовалась у него фистула въ колѣнѣ. Поговаривали о томъ, что надо бы отправить его въ Крымъ, стали собирать въ его пользу. Но въ Крымъ онъ не поѣхалъ—умеръ. Мы похоронили его въ Ваганьковскомъ кладбищѣ, на лѣвой сторонѣ, гдѣ хоронятъ артистовъ и литераторовъ.

Какъ-то мы, пишущіе, сидѣли въ Татарскомъ ресторанѣ. Я разсказалъ, что недавно я былъ въ Ваганьковскомъ кладбищѣ и видѣлъ могилу Владиміра Семеныча. Могила была совершенно заброшена, сравнялась уже почти съ землей, крестъ повалился; необходимо было привести ее въ порядокъ, собрать для этого нѣсколько рублей...

Но меня выслушали равнодушно, не отвѣтили ни слова, и я не собралъ ни копейки. Уже никто не помнилъ Владиміра Семеныча. Онъ былъ совершенно забытъ.

БАБЬЕ ЦАРСТВО.

I.

Наканунѣ.

Вотъ толстый денежный пакетъ. Это изъ лѣсной дачи, отъ приказчика. Онъ пишетъ, что посылаетъ полторы тысячи рублей, которыя онъ отсудилъ у кого-то, выигравъ дѣло во второй инстанціи. Анна Акимовна не любила и боялась такихъ словъ, какъ отсудилъ и выигралъ дѣло. Она знала, что безъ правосудія нельзя, но почему-то, когда директоръ завода Назарычъ или приказчикъ на дачѣ, которые часто судились, выигрывали въ пользу ея какое-нибудь дѣло, то ей всякій разъ становилось жутко и какъ будто совѣстно. И теперь ей стало жутко и неловко, и захотѣлось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видѣть ихъ.

Она думала съ досадой: ея ровесницы,—а ей шелъ двадцать-шестой годъ,—теперь хлопочутъ по хозяйству, утомились и крѣпко уснутъ, а завтра утромъ проснутся въ праздничномъ настроеніи; многія изъ нихъ давно уже повыходили замужъ и имѣютъ дѣтей. Только она одна почему-то обязана, какъ старуха, сидѣть за этими письмами, дѣлать на нихъ помѣтки, писать отвѣты, потомъ весь вечеръ до полуночи ничего не дѣлать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будутъ ее поздравлять и просить у ней, а послѣ-завтра на заводѣ непремѣнно случится какой-нибудь скандалъ,—побьютъ кого, или кто-нибудь умретъ отъ водки, и ее почему-то будетъ мучить совѣсть; а послѣ праздниковъ Назарычъ уволитъ за прогулъ человѣкъ двадцать,

и всѣ эти двадцать будутъ безъ шапокъ жаться около ея крыльца, и ей будетъ совѣстно выйти къ нимъ, и ихъ прогонятъ, какъ собакъ. И всѣ знакомые будутъ говорить за глаза и писать ей въ анонимныхъ письмахъ, что она милліонерша, эксплуататорша, что она заѣдаетъ чужой вѣкъ и сосетъ у рабочихъ кровь.

Вотъ въ сторонѣ лежитъ пачка прочитанныхъ и уже отложенныхъ писемъ. Это отъ просителей. Тутъ голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные... Анна Акимовна уже намѣтила на каждомъ письмѣ, кому три рубля, кому пять; письма эти сегодня же пойдутъ въ контору, и завтра тамъ будетъ происходить выдача пособій, или, какъ говорятъ служащіе, кормленіе звѣрей.

Раздадутъ по мелочамъ и 470 рублей—проценты съ капитала, завѣщаннаго покойнымъ Акимомъ Иванычемъ на нищихъ и убогихъ. Будетъ безобразная толкотня. Отъ воротъ до дверей конторы потянется гусемъ длинный рядъ какихъ-то чужихъ людей со звѣриными лицами, въ лохмотьяхъ, озябшихъ, голодныхъ и уже пьяныхъ, поминающихъ хриплыми голосами матушку-благодѣтельницу Анну Акимовну и ея родителей; задніе будутъ напирать на переднихъ, а передніе—браниться нехорошими словами. Конторщикъ, которому прискучатъ шумъ, брань и причитыванія, выскочитъ и дастъ кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствію. А свои люди, рабочіе, не получившіе къ празднику ничего, кромѣ своего жалованья, и уже истратившіе все до копейки, будутъ стоять среди двора, смотрѣть и посмѣиваться—одни завистливо, другіе иронически.

«Купцы, а особенно купчихи больше любятъ нищихъ, чѣмъ своихъ рабочихъ,— подумала Анна Акимовна.—Это всегда такъ».

Взглядъ ея упалъ на денежный пакетъ. Хорошо бы раздать завтра эти ненужныя, противныя деньги рабочимъ, но нельзя ничего давать рабочему даромъ, а то запроситъ въ другой разъ. Да и что значатъ эти полторы тысячи, если на заводѣ всѣхъ рабочихъ тысяча-восемьсотъ слишкомъ, не считая ихъ женъ и дѣтей? А то, пожалуй, выбрать одного изъ просителей, писавшихъ эти письма, какого-нибудь несчастнаго, давно уже потерявшаго надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бѣдняка ошеломятъ эти

деньги, какъ громъ, и, быть-можетъ, первый разъ въ жизни онъ почувствуетъ себя счастливымъ. Эта мысль показалась Аннѣ Акимовнѣ оригинальной и забавной и развлекла ее. Она наудачу потянула изъ пачки одно письмо и прочла. Какой-то губернскій секретарь Чаликовъ давно уже безъ мѣста, боленъ и проживаетъ въ домѣ Гущина; жена въ чахоткѣ, пять малолѣтнихъ дочерей. Гущинскій четырехъэтажный домъ, въ которомъ жилъ Чаликовъ, хорошо знала Анна Акимовна. Ахъ, нехорошій, гнилой, нездоровый домъ!

— Вотъ отдамъ этому Чаликову,—рѣшила она.—Посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишнихъ разговоровъ. Да,—разсуждала она, пряча въ карманъ полторы тысячи:—посмотрю и, пожалуй, дѣвочекъ куда-нибудь пристрою.

Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей.

Когда она садилась въ сани, былъ седьмой часъ вечера. Окна во всѣхъ корпусахъ были ярко освѣщены, и оттого на громадномъ дворѣ казалось очень темно. У воротъ и далеко въ глубинѣ двора, около складовъ и рабочихъ бараковъ горѣли электрическіе фонари.

Этихъ темныхъ, угрюмыхъ корпусовъ, складовъ и бараковъ, гдѣ жили рабочіе, Анна Акимовна не любила и боялась. Въ главномъ корпусѣ послѣ смерти отца она была только одинъ разъ. Высокіе потолки съ желѣзными балками, множество громадныхъ, быстро вертящихся колесъ, приводныхъ ремней и рычаговъ, пронзительное шипѣніе, визгъ стали, дребезжанье вагонетокъ, жесткое дыханіе пара, блѣдныя или багровыя или черныя отъ угольной пыли лица, мокрыя отъ пота рубахи, блескъ стали, мѣди и огня, запахъ масла и угля, и вѣтеръ, то очень горячій, то холодный, произвели на нее впечатлѣніе ада. Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячіе шипящіе цилиндры стараются сорваться со своихъ связей, чтобы уничтожить людей, а люди, съ озабоченными лицами, не слыша другъ друга, бѣгаютъ и суетятся около машинъ, стараясь остановить ихъ странное движеніе. Аннѣ Акимовнѣ что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнитъ, какъ въ кузнечномъ отдѣленіи вытащили изъ печи кусокъ раскаленнаго желѣза, и какъ одинъ старикъ съ ремешкомъ на головѣ, а другой—молодой, въ синей блузѣ, съ цѣпочкой на груди и съ сер-

дитымъ лицомъ, должно-быть, изъ старшихъ, ударили молотками по куску желѣза, и какъ брызнули во всѣ стороны золотыя искры, и какъ, немного погодя, гремѣли передъ ней громаднымъ кускомъ листового желѣза; старикъ стоялъ на вытяжку и улыбался, а молодой вытиралъ рукавомъ мокрое лицо и объяснялъ ей что-то. И она еще помнитъ, какъ въ другомъ отдѣленіи старикъ съ однимъ глазомъ пилилъ кусокъ желѣза, и сыпались желѣзныя опилки, и какъ рыжій, въ темныхъ очкахъ и съ дырами на рубахѣ, работалъ у токарнаго станка, дѣлая что-то изъ куска стали; станокъ ревѣлъ и визжалъ и свистѣлъ, а Анну Акимовну тошнило отъ этого шума, и казалось, что у нея сверлятъ въ ушахъ. Она глядѣла, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысячъ отъ дѣла, котораго не понимаешь и не можешь любить,—какъ это странно!

А въ рабочихъ баракахъ она не была ни разу. Тамъ, говорятъ, сырость, клопы, развратъ, безначаліе. Удивительное дѣло: на благоустройство бараковъ уходятъ ежегодно тысячи рублей, а положеніе рабочихъ, если вѣрить анонимнымъ письмамъ, съ каждымъ годомъ становится все хуже и хуже...

«При отцѣ было больше порядка, — думала Анна Акимовна, выѣзжая со двора: — потому что онъ самъ былъ рабочій и зналъ, что нужно. Я же ничего не знаю и дѣлаю однѣ глупости».

Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поѣхала, и мысль о счастливцѣ, на котораго сваливаются съ неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ѣхать къ какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падаетъ милліонное дѣло, и рабочіе въ баракахъ живутъ хуже арестантовъ, — это значитъ дѣлать глупости и обманывать свою совѣсть. По шоссе и около него черезъ поле, направляясь къ городскимъ огнямъ, шли толпами рабочіе изъ сосѣднихъ фабрикъ—ситцевой и бумажной. Въ морозномъ воздухѣ раздавались смѣхъ и веселый говоръ. Анна Акимовна поглядѣла на женщинъ и малолѣтковъ, и ей вдругъ захотѣлось простоты, грубости, тѣсноты. Она ясно представила себѣ то далекое время, когда ее звали Анюткой, и когда она, маленькая, лежала подъ однимъ одѣяломъ съ матерью, а рядомъ

комнатѣ, стирала бѣлье жилица-прачка, и изъ сосѣднихъ квартиръ, сквозь тонкія стѣны, слышались смѣхъ, брань, дѣтскій плачъ, гармоника, жужжаніе токарныхъ станковъ и швейныхъ машинъ, а отецъ, Акимъ Ивапычъ, знавшій почти всѣ ремесла, не обращая никакого вниманія на тѣсноту и шумъ, паялъ что-нибудь около печки или чертилъ или строгалъ. И ей захотѣлось стирать, гладить, бѣгать въ лавку и кабакъ, какъ это она дѣлала каждый день, когда жила съ матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой! Ея большой домъ съ люстрами и картинами, лакей Мишенька во фракѣ и съ бархатными усиками, благолѣпная Варварушка и льстивая Агаѳьюшка, и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день приходятъ къ ней просить денегъ, и передъ которыми она почему-то всякій разъ чувствуетъ себя виноватой, и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящіе на ея счетъ, льстящіе ей и презирающіе ее втайнѣ за низкое происхожденіе, — какъ все это уже прискучило и чуждо ей!

Вотъ желѣзнодорожный переѣздъ и застава; пошли дома вперемежку съ огородами; вотъ, наконецъ, и широкая улица, гдѣ стоитъ знаменитый домъ Гущина. На улицѣ, обыкновенно тихой, теперь по случаю кануна праздника было большое движеніе. Въ трактирахъ и портерныхъ шумѣли. Если бы проѣзжалъ теперь по улицѣ кто-нибудь не здѣшній, живущій въ центрѣ города, то онъ замѣтилъ бы только грязныхъ, пьяныхъ и ругателей, но Анна Акимовна, жившая съ дѣтства въ этихъ краяхъ, узнавала теперь въ толпѣ то своего покойнаго отца, то мать, то дядю. Отецъ былъ мягкая, расплывчатая душа, немножко фантазёръ, безпечный и лекомысленный; у него не было пристрастія ни къ деньгамъ, ни къ почету, ни къ власти; онъ говорилъ, что рабочему человѣку некогда разбирать праздники и ходить въ церковь; и если бъ не жена, то онъ, пожалуй, никогда бы не говѣлъ и въ постъ ѣлъ бы скоромное. А дядя, Иванъ Иванычъ, наоборотъ, былъ кремень; во всемъ, что относилось къ религіи, политикѣ и нравственности, онъ былъ крутъ и неумолимъ, и наблюдалъ не только за собой, но и за всѣми служащими и знакомыми. Не дай Богъ, бывало, войти къ нему въ комнату и не перекреститься! Роскошныя хоромы, въ которыхъ живетъ теперь Анна Акимовна, онъ держалъ запертыми и отпиралъ ихъ только въ большіе

праздники для важныхъ гостей, а самъ жилъ въ конторѣ, въ одной маленькой комнаткѣ, уставленной образами. Онъ тяготѣлъ къ старой вѣрѣ и постоянно принималъ у себя старообрядческихъ архіереевъ и поповъ, хотя былъ крещенъ и вѣнчанъ, и жену свою похоронилъ по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственнаго наслѣдника, онъ не любилъ за легкомысліе, которое называлъ простотой и глупостью, и за равнодушіе къ вѣрѣ. Онъ держалъ его въ черномъ тѣлѣ, на положеніи рабочаго, платилъ ему по 16 руб. въ мѣсяцъ. Акимъ говорилъ своему брату *вы* и въ прощеные дни со всѣмъ своимъ семействомъ кланялся ему въ ноги. Но года за три до своей смерти Иванъ Ивановичъ приблизилъ его къ себѣ, простилъ и приказалъ нанять для Анютки гувернантку.

Ворота подъ домомъ Гущина темныя, глубокія, вонючія; слышно, какъ около стѣнъ покашливаютъ мужчины. Оставивъ сани на улицѣ, Анна Акимовна вошла во дворъ и спросила тутъ, какъ пройти въ 46-й номеръ къ чиновнику Чаликову. Ее направили къ крайней двери направо, въ третій этажъ. И во дворѣ, и около крайней двери, даже на лѣстницѣ былъ тотъ же противный запахъ, что и подъ воротами. Въ дѣтствѣ, когда отецъ Анны Акимовны былъ простымъ рабочимъ, она живала въ такихъ домахъ, и потомъ, когда обстоятельства измѣнились, часто посѣщала ихъ въ качествѣ благотворительницы; узкая каменная лѣстница съ высокими ступенями, грязная, прерываемая въ каждомъ этажѣ площадкою; засаленный фонарь въ пролетѣ; смрадъ, на площадкахъ около дверей корыта, горшки, лохмотья,—все это было знакомо ей уже давнымъ-давно... Одна дверь была открыта, и въ нее видно было, какъ на столахъ сидѣли портные-евреи въ шапкахъ и шили. На лѣстницѣ Аннѣ Акимовнѣ встрѣчались люди, но ей и въ голову не приходило, что ее могутъ обидѣть. Рабочихъ и мужиковъ, трезвыхъ и пьяныхъ, она такъ же мало боялась, какъ своихъ интеллигентныхъ знакомыхъ.

Въ квартирѣ № 46 сѣней не было, и начиналась она съ кухни. Обыкновенно въ квартирахъ фабричныхъ и мастеровыхъ пахнетъ лакомъ, смолой, кожей, дымомъ, смотря по тому, чѣмъ занимается хозяинъ; квартиры же обѣднѣвшихъ дворянъ и чиновниковъ узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этотъ противный запахъ обдалъ Анну

Акимовну и теперь, едва она переступила порогъ. Въ углу за столомъ сидѣлъ спиной къ двери какой-то мужчина въ черномъ сюртукѣ, должно-быть, самъ Чаликовъ, и съ нимъ пять дѣвочекъ. Старшей, широколицей и худенькой, съ гребенкой въ волосахъ, было на видъ лѣтъ пятнадцать, а младшей, пухленькой, съ волосами какъ у ежа,—не больше трехъ. Всѣ шестеро ѣли. Около печи, съ ухватомъ въ рукѣ, стояла маленькая, очень худая, съ желтымъ лицомъ женщина въ юбкѣ и бѣлой кофточкѣ, беременная.

— Не ожидалъ я отъ тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, — говорилъ мужчина съ укоризной. — Ай, ай, какъ стыдно! Значитъ, ты хочешь, чтобы папочка тебя высѣкъ, да?

Увидѣвъ на порогѣ незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и оставила ухватъ.

— Василій Никитичъ!—окликнула она не сразу, глухимъ голосомъ, какъ будто не вѣря своимъ глазамъ.

Мужчина оглянулся и вскочилъ. Это былъ костлявый, узкоплечій человѣкъ, со впалыми висками и съ плоскою грудью. Глаза у него были маленькіе, глубокіе, съ темными кругами, носъ длинный, птичій и немножко покривившійся вправо, ротъ широкій. Борода у него двоилась, усы онъ брилъ и отъ этого походилъ больше на выѣзднаго лакея, чѣмъ на чиновника.

— Здѣсь живетъ господинъ Чаликовъ?—спросила Анна Акимовна.

— Точно такъ-съ,—строго отвѣтилъ Чаликовъ, но тотчасъ же узналъ Анну Акимовну и вскрикнулъ: — Госпожа Глаголева! Анна Акимовна!—и вдругъ задохнулся и всплеснулъ руками, какъ бы отъ страшнаго испуга. — Благодѣтельница.

Со стономъ онъ подбѣжалъ къ ней и, мыча, какъ параличный,—на бородѣ у него была капуста, и нахло отъ него водкой,—припалъ лбомъ къ муфтѣ и какъ бы замеръ.

— Ручку! Ручку святую!—проговорилъ онъ, задыхаясь.— Сонъ! Прекрасный сонъ! Дѣти, разбудите меня!

Онъ повернулъ къ столу и сказалъ рыдающимъ голосомъ, потрясая кулаками:

— Провидѣніе услышало насъ! Пришла наша избавительница, нашъ ангелъ! Мы спасены! Дѣти, на колѣни! На колѣни!

Госпожа Чаликова и дѣвочки, кромѣ самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.

— Вы писали, что ваша жена очень больна,—сказала Анна Акимовна, и ей стало совѣстно и досадно.

«Полторы тысячи я ему не дамъ»,—подумала она.

— Вотъ она, моя жена! — сказалъ Чаликовъ тонкимъ женскимъ голоскомъ, какъ будто слезы ударили ему въ голову.—Вотъ она, несчастная! Одною ногою въ могилѣ! Но мы, сударыня, не ропщемъ. Легче умереть, чѣмъ такъ жить. Умирай, несчастная!

«Что онъ ломается?—подумала Анна Акимовна съ досадой. — Сейчасъ видно, что привыкъ имѣть дѣло съ купцами».

— Говорите со мной, пожалуйста, по-человѣчески,—сказала она.—Я комедій не люблю.

— Да, сударыня, пятеро осиротѣвшихъ дѣтей вокругъ гроба матери при погребальныхъ свѣчахъ — это комедія! Эхъ!—сказалъ Чаликовъ съ горечью и отвернулся.

— Замолчи!—шепнула жена и дернула его за рукавъ.— У насъ, сударыня, не прибрано,—сказала она, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ: — ужъ вы извините... Дѣло семейное, сами изволите знать. Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ.

«Не дамъ я имъ полторы тысячи»,—опять подумала Анна Акимовна.

И, чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ этихъ людей и отъ кислаго запаха, она уже достала портмонэ и рѣшила оставить рублей 25—не больше; но ей вдругъ стало совѣстно, что она ѣхала такъ далеко и безпокоила людей изъ-за пустяковъ.

— Если вы дадите мнѣ бумаги и чернилъ, то я сейчасъ напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы онъ побывалъ у васъ, — сказала она, краснѣя. — Докторъ очень хорошій. А на лѣкарства я вамъ оставлю.

Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола.

— Здѣсь не чисто! Куда ты? — прошипѣлъ Чаликовъ, глядя на нее со злобой.—Проводи къ жильцу! Пожалуйте, сударыня, къ жильцу, осмѣлюсь просить васъ,—обратился онъ къ Аннѣ Акимовнѣ.—Тамъ чисто.

— Осипъ Ильичъ не велѣлъ ходить въ его комнату!— сказала строго одна изъ дѣвочекъ.

Но Анну Акимовну уже повели изъ кухни черезъ узкую

проходную комнату, межъ двухъ кроватей; видно было по расположенію постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой—трое поперекъ. Въ слѣдующей затѣмъ комнатѣ жильца, въ самомъ дѣлѣ, было чисто. Опрятная постель съ краснымъ шерстянымъ одѣяломъ, подушка въ бѣлой наволочкѣ, даже башмачокъ для часовъ, столъ, покрытый пеньковою скатертью, а на немъ чернильница молочнаго цвѣта, перья, бумага, фотографіи въ рамочкахъ, все какъ слѣдуетъ, и другой столъ, черный, на которомъ въ порядкѣ лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стѣнахъ были развѣшаны молотки, клещи, буравчики, стамезки, плоскозубцы и т. п., и висѣло трое стѣнныхъ часовъ, которые тикали; одни часы громадные, съ толстыми гирями, какіе бываютъ въ трактирахъ.

Принимаясь за письмо, Анна Акимовна увидѣла передъ собой на столѣ портретъ отца и свой портретъ. Это ее удивило.

— Кто здѣсь у васъ живетъ?—спросила она.

— Жилецъ, сударыня, Пименовъ. Онъ у васъ на заводѣ служитъ.

— Да? А я думала, часовой мастеръ.

— Часами онъ занимается приватнымъ образомъ, между дѣломъ. Любитель-съ.

Послѣ нѣкотораго молчанія, когда слышно было только, какъ тикали часы и скрипѣло перо по бумагѣ, Чаликовъ вздохнулъ и сказалъ насмѣшливо, съ негодованіемъ:

— Правда говорится: изъ благородства да изъ чиновъ шубы себѣ не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титулъ, а кушать нечего. По-моему, если человѣкъ низкаго званія помогаетъ бѣднымъ, то онъ гораздо благороднѣе какого-нибудь Чаликова, который погрязъ въ нищетѣ и порокѣ.

Чтобы польстить Аннѣ Акимовнѣ, онъ сказалъ еще нѣсколько фразъ, обидныхъ для своего благородства, и было ясно, что онъ унижалъ себя потому, что считалъ себя выше ея. Она, между тѣмъ, кончила письмо и запечатала. Письмо будетъ брошено, а деньги пойдутъ не на лѣченіе,—это она знала, но все-таки положила на столъ 25 рублей и, подумавъ, прибавила еще двѣ красныхъ бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нея передъ глазами и сжала деньги въ кулачокъ.

— Это вы изволили дать на лѣкарства,—сказалъ Чаликовъ дрогнувшимъ голосомъ:—но протяните руку помощи также мнѣ... и дѣтямъ,—добавилъ онъ и всхлипнулъ:—дѣтямъ несчастнымъ! Не за себя боюсь, за дочерей боюсь! Гидры разврата боюсь!

Стараясь открыть портмонэ, въ которомъ испортился замочекъ, Анна Акимовна сконфузилась, покраснѣла. Ей было стыдно, что люди стоятъ передъ ней, смотрятъ ей въ руки и ждутъ и, вѣроятно, въ глубинѣ души смѣются надъ ней. Въ это время кто-то вошелъ въ кухню и застучалъ ногами, стряхивая снѣгъ.

— Жилецъ пришелъ,—сказала госпожа Чаликова.

Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотѣлось, чтобы кто-нибудь изъ заводскихъ засталъ ее въ этомъ смѣшномъ положеніи. Жилецъ, какъ нарочно, вошелъ въ свою комнату въ ту самую минуту, когда она, сломавши, наконецъ замочекъ, подавала Чаликову нѣсколько бумажекъ, а Чаликовъ мычалъ, какъ параличный, и искалъ губами, куда бы поцѣловать ее. Въ жильцѣ она узнала рабочаго, который когда-то въ кузнечномъ отдѣленіи гремѣлъ передъ ней желѣзнымъ листомъ и давалъ ей объясненія. Очевидно, онъ пришелъ теперь прямо съ завода: лицо у него было смуглое отъ копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсѣмъ черныя, и блуза безъ пояса лоснилась отъ масляной грязи. Это былъ мужчина лѣтъ тридцати, средняго роста, черноволосый, плечистый и, повидимому, очень сильный. Анна Акимовна съ перваго же взгляда опредѣлила въ немъ старшаго, получающаго не меньше 35 руб. въ мѣсяцъ, строгаго, крикливаго, бьющаго рабочихъ по зубамъ, и это видно было по его манерѣ стоять, по той позѣ, какую онъ невольно вдругъ принялъ, увидѣвъ у себя въ комнатѣ даму, а главное потому, что у него были брюки на-выпускъ, карманы на груди и острая, красиво подстриженная бородка. Покойный отецъ, Акимъ Иванычъ, былъ братомъ хозяина, а все-таки боялся старшихъ, въ родѣ этого жильца и заискивалъ у нихъ.

— Извините, мы безъ васъ распорядились тутъ,—сказала Анна Акимовна.

Рабочій смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, конфузливо улыбался и молчалъ.

— Вы, сударыня, погромче...—тихо сказалъ Чаликовъ.—

Господинъ Пименовъ, когда приходятъ по вечерамъ съ завода, бываютъ туги на ухо.

Но Анна Акимовна была уже рада, что ей тутъ больше нечего дѣлать, кивнула головой и быстро вышла. Пименовъ пошелъ проводить ее.

— Вы давно у насъ служите?—спросила она громко, не оборачиваясь къ нему.

— Съ девяти лѣтъ. Я еще при вашемъ дяденькѣ опредѣлился.

— Какъ, однако, давно! Вотъ дядя и отецъ знали всѣхъ служащихъ, а я почти никого не знаю. Я васъ видѣла и раньше, но не знала, что ваша фамилія Пименовъ.

Анна Акимовна чувствовала желаніе оправдаться передъ нимъ, сдѣлать видъ, что давала она сейчасъ деньги не серьезно, а шутя.

— Охъ, эта бѣдность! — вздохнула она. — Творимъ мы добрыя дѣла и въ праздники, и въ будни, а все толку нѣтъ. Мнѣ кажется, что помогать такимъ, какъ этотъ Чаликовъ, безполезно.

— Конечно, безполезно,—согласился Пименовъ.—Сколько ни дайте, все пропьетъ. А теперь всю ночь мужъ и жена будутъ отнимать другъ у дружки и драться,—добавилъ онъ и засмѣялся.

— Да, надо сознаться, наша филантропія безполезна, скучна и смѣшна. Но, вѣдь, тоже, согласитесь, нельзя сидѣть сложа руки, надо дѣлать что-нибудь. Напримѣръ, что дѣлать съ Чаликовыми?

Она обернулась къ Пименову и остановилась, ожидая отъ него отвѣта; онъ тоже остановился и медленно и молча пожалъ плечами. Очевидно, онъ зналъ что̀ дѣлать съ Чаликовыми, но это было такъ грубо и нечеловѣчно, что онъ не рѣшался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени не интересны и ничтожны, что черезъ мгновеніе онъ уже не помнилъ о нихъ; глядя въ глаза Аннѣ Акимовнѣ, онъ улыбался отъ удовольствія, и выраженіе у него было такое, какъ будто ему снилось что-то очень хорошее. Анна Акимовна только теперь, стоя къ нему близко, по его лицу, особенно по глазамъ, увидала, какъ онъ утомленъ и какъ ему хочется спать.

«Вотъ ему бы дать тѣ полторы тысячи!»—подумала она,

по эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова.

— У васъ небось все тѣло болитъ отъ работы, а вы меня провожаете,—сказала она, спускаясь по лѣстницѣ.— Идите домой.

Но онъ не разслышалъ. Когда выходили на улицу, онъ забѣжалъ впередъ, отстегнулъ у саней полость и, подсаживая Анну Акимовну, сказалъ:

— Благополучно праздника встрѣтить!

II.

У т р о.

— Ужъ давно отзвонили! Наказаніе Господне, и къ шапочному разбору не поспѣете! Вставайте!

— Двѣ лошади бѣгутъ, бѣгутъ...—сказала Анна Акимовна и проснулась; передъ ней со свѣчой въ рукахъ стояла ея горничная, рыжая Маша.—Что? Что тебѣ?

— Обѣдня уже отошла!—говорила Маша съ отчаяньемъ.— Третій разъ бужу! По мнѣ хоть до вечера спите, но вѣдь сами приказали будить!

Анна Акимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворѣ еще было совсѣмъ темно, и только нижній край оконной рамы бѣлѣлъ отъ снѣга. Слышался густой низкій звонъ, но это звонили не въ приходѣ, а гдѣ-то дальше. Часы на столикѣ показывали три минуты седьмого.

— Хорошо, Маша... Черезъ три минутки... — сказала Анна Акимовна умоляющимъ голосомъ и укрылась съ головой.

Она представила себѣ снѣгъ у крыльца, сани, темное небо, толпу въ церкви и запахъ можжевельника, и ей стало жутко, но она все-таки рѣшила, что тотчасъ же встанетъ и поѣдетъ къ ранней обѣднѣ. И пока она грѣлась въ постели и боролась со сномъ, который, какъ нарочно, бываетъ удивительно сладокъ, когда не велятъ спать, и пока ей мерещился то громадный садъ на горѣ, то Гущинскій домъ, ее все время безпокоила мысль, что ей надо сію минуту вставать и ѣхать въ церковь.

Но когда она встала, было уже совсѣмъ свѣтло, и часы показывали половину десятаго. За ночь навалило много новаго снѣгу, деревья одѣлись въ бѣлое, и воздухъ былъ

необыкновенно свѣтелъ, прозраченъ и нѣженъ, такъ что когда Анна Акимовна поглядѣла въ окно, то ей, прежде всего, захотѣлось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остатокъ давняго дѣтскаго чувства, — радость, что сегодня Рождество, вдругъ шевельнулась въ ея груди, и послѣ этого стало легко, свободно и чисто на душѣ, какъ будто и душа умылась или окунулась въ бѣлый снѣгъ. Вошла Маша, разряженная и крѣпко затянутая въ корсетъ, и поздравила съ праздникомъ; потомъ она долго причесывала и помогала надѣвать платье. Запахъ и ощущеніе новаго, пышнаго, прекраснаго платья, его легкій шумъ и запахъ свѣжихъ духовъ возбуждали Анну Акимовну.

— Вотъ и святки,—сказала она весело Машѣ.—Теперь будемъ гадать.

— Мнѣ лѣтошній годъ вышло—за старикомъ быть. Три раза такъ выходило.

— Ну, Богъ милостивъ.

— А что жъ, Анна Акимовна? Я такъ думаю, чѣмъ ни то, ни се, ни два, ни полтора, такъ ужъ лучше за старика, — сказала печально Маша и вздохнула. — Мнѣ ужъ двадцать-первый годъ пошелъ, не шутка.

Всѣмъ въ домѣ было извѣстно, что рыжая Маша была влюблена въ лакея Мишеньку, и вотъ уже три года, какъ продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.

— Ну, полно пустяки говорить, — утѣшила Анна Акимовна.—Мнѣ скоро тридцать лѣтъ, а я все собираюсь за молодого.

Пока хозяйка одѣвалась, Мишенька, въ новомъ фракѣ и въ лакированныхъ ботинкахъ, ходилъ по залѣ и гостиной и ждалъ, когда она выйдетъ, чтобы поздравить ее съ праздникомъ. Онъ ходилъ всегда какъ-то особенно, мягко и нѣжно ступая; глядя при этомъ на его ноги, руки и наклонъ головы, можно было подумать, что онъ это не просто ходитъ, а учится танцовать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкіе бархатные усики и красивую, нѣсколько даже шулерскую наружность, онъ былъ степенъ, разсудителенъ и набоженъ, какъ старикъ. Молился онъ Богу всегда съ земными поклонами и любилъ кадить у себя въ комнатѣ ладаномъ. Богатыхъ и знатныхъ онъ уважалъ и благоговѣлъ предъ ними, бѣдняковъ же и вся-

каго рода просителей презиралъ всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Подъ крахмальною сорочкой у него была еще фланелевая, которую онъ носилъ зимою и лѣтомъ, крѣпко дорожа своимъ здоровьемъ; уши были заткнуты ватой.

Когда черезъ залу проходила Анна Акимовна съ Машей, онъ склонилъ голову внизъ и нѣсколько на бокъ и сказалъ своимъ пріятнымъ, медовымъ голосомъ:

— Честь имѣю поздравить васъ, Анна Акимовна, съ высокоторжественнымъ праздникомъ Рождества Христова.

Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бѣдная Маша обомлѣла. Его праздничный видъ, поза, голосъ и то, что онъ сказалъ, поразили ее своею красотой и изяществомъ; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чемъ не думала, ничего не видѣла и только улыбалась то блаженно, то горько.

Верхній этажъ въ домѣ назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, гдѣ хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено названіе торговой, стариковской или просто бабьей половины. Въ первой принимали обыкновенно благородныхъ и образованныхъ, а во второй—кого попроще и личныхъ знакомыхъ тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свѣжая, чувствуя на себѣ роскошное платье, отъ котораго, казалось ей, во всѣ стороны шло сіяніе, Анна Акимовна спустилась въ нижній этажъ. Тутъ ее встрѣтили упреками, что она, образованная, Бога забыла, проспала обѣдню и не приходила внизъ разговляться, и всѣ всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она вѣрила этому, смѣялась, цѣловалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человѣку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь,—кіоты, образа, лампады, портреты духовныхъ особъ, пахнетъ монахами, въ кухнѣ стучатъ ножами, и уже понесся по всѣмъ комнатамъ запахъ чего-то скоромнаго, очень вкуснаго. Желтые крашеные полы сіяютъ, и отъ дверей къ переднимъ угламъ идутъ дорожками узкіе ковры съ ярко-синими полосами, а солнце такъ и рѣжетъ въ окна.

Въ столовой сидятъ какія-то чужія старушки; въ комнатѣ Варварушки тоже старушки и съ ними глухонѣмая дѣвица, которая все стыдится чего-то и говоритъ:

блы...» Двѣ тощенькія дѣвочки, взятыя изъ пріюта на праздники, подошли къ Аннѣ Акимовнѣ, чтобы поцѣловать ручку, и остановились передъ ней, пораженныя роскошью ея платья; она замѣтила, что одна изъ дѣвочекъ косенькая, и среди легкаго праздничнаго настроенія у нея вдругъ болѣзненно сжалось сердце отъ мысли, что этою дѣвочкой будутъ пренебрегать женихи, и она никогда не выйдетъ замужъ. Въ комнатѣ у кухарки Агаѳьюшки за самоваромъ сидѣло человѣкъ пять громадныхъ мужиковъ въ новыхъ рубахахъ, но это были не рабочіе съ завода, а кухонная родня. Увидѣвъ Анну Акимовну, мужики вскочили съ мѣстъ и изъ приличія перестали жевать, хотя у всѣхъ были полные рты; въ комнату вошелъ изъ кухни поваръ Степанъ, въ бѣломъ колпакѣ и съ ножомъ въ рукѣ, и поздравилъ; пришли дворники въ валенкахъ и тоже поздравили. Выглянулъ водовозъ съ сосульками на бородѣ, но не посмѣлъ войти.

Анна Акимовна ходила по комнатамъ, а за нею весь штатъ: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марѳа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всѣхъ въ домѣ, одѣтая во все черное, пахнущая кипарисомъ и кофеемъ, въ каждой комнатѣ крестилась на образа и кланялась въ поясъ, и при взглядѣ на нее почему-то всякій разъ приходило на память, что она уже приготовила себѣ къ смертному часу саванъ, и что въ томъ же сундукѣ, гдѣ лежитъ этотъ саванъ, спрятаны также ея выигрышные билеты.

— Ты, Анютинька, будь милостива ради праздника,— сказала она, отворяя дверь въ кухню.—Простй его, ужъ Богъ съ нимъ! Ну ихъ!

Среди кухни на колѣняхъ стоялъ кучеръ Пантелей, уволенный за пьянство еще въ ноябрѣ. Это былъ добрый человѣкъ, но во хмелю онъ бывалъ буенъ и никакъ не могъ уснуть, а все ходилъ въ корпуса и кричалъ тамъ угрожающимъ тономъ: «Мнѣ все извѣстно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазамъ, налитымъ кровью, видно было, что съ ноября до праздника онъ пилъ не переставая.

— Простите, Анна Акимовна!—проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ, стукнувъ лбомъ о полъ и показывая свой бычій затылокъ.

— Тебя тетушка уволила, у нея и проси.

— Что тетушка?—говорила тетушка, входя въ кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ея груди могли бы помѣститься самоваръ и подносъ съ чашками.—Что тамъ еще тетушка? Ты тутъ хозяйка, ты и распоряжайся, а по мнѣ ихъ, подлецовъ, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боровъ!—крикнула она на Пантелея, не вытерпѣвъ.—Пошелъ съ глазъ! Послѣдній разъ тебя прощаю, а случится опять грѣхъ—не проси милости!

Затѣмъ пошли въ столовую пить кофе. Но едва сѣли за столъ, какъ опрометью вбѣжала нижняя Маша и проговорила съ ужасомъ: «Пѣвчіе!»—и побѣжала назадъ. Послышались сморканье, низкій басовой кашель и шумъ шаговъ, похожій на то, какъ будто въ переднюю около залы вводили подкованныхъ лошадей. На полминуты все затихло... Пѣвчіе вскрикнули внезапно и такъ громко, что всѣ вздрогнули. Пока они пѣли, пріѣхалъ богадѣленскій батюшка, а съ нимъ дьяконъ и дьячокъ. Надѣвая епитрахиль, батюшка медленно разсказалъ, что ночью, когда звонили къ утренѣ, шелъ снѣгъ и было не холодно, а къ утру морозъ сталъ крѣпчать, Богъ съ нимъ, и теперь, должно-быть, градусовъ двадцать.

— Многіе, однако, утверждаютъ, что зима для человѣка здоровѣе, чѣмъ лѣто,—сказалъ дьяконъ, но тотчасъ же придалъ своему лицу суровое выраженіе и запѣлъ вслѣдъ за священникомъ: «Рождество Твое, Христе Боже нашъ...»

Вскорѣ пріѣхалъ батюшка изъ чернорабочей больницы съ дьячкомъ, потомъ сестры изъ общины, дѣти изъ пріюта, и пѣніе слышалось почти непрерывно. Пѣли, закусывали и уходили.

Пришли съ поздравленіемъ служащіе на заводѣ, человѣкъ двадцать. Тутъ были одни только старшіе: механики, ихъ помощники, модельщики, бухгалтеръ и проч.,—всѣ благообразные, въ новыхъ черныхъ сюртукахъ. Все это были молодцы, точно на подборъ, каждый зналъ себѣ цѣну, т. е. зналъ, что, потеряй онъ сегодня мѣсто, завтра же его съ удовольствіемъ пригласятъ на другой заводъ. Повидимому, тетушку они любили, такъ какъ держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтеръ, когда толпой подходили къ закускѣ, взялъ ее за широкую талію. Развязны они были отчасти и оттого, быть-можетъ, что Варварушка,

имѣвшая при старикахъ большую власть и слѣдившая за нравственностью служащихъ, теперь не имѣла въ домѣ никакого значенія, а, быть-можетъ, и оттого, что многіе изъ нихъ еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали въ строгости, была одѣта простою бабой, на манеръ Агаѳьюшки, и когда Анна Акимовна бѣгала по двору около корпусовъ, и всѣ звали ее Анюткой.

Служащіе кушали, говорили и посматривали съ недоумѣніемъ на Анну Акимовну: какъ она выросла, какъ похорошѣла! Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями дѣвушка была уже чужая для нихъ, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила имъ *ты*, угощала ихъ непрерывно и, чокаясь съ ними, уже выпила двѣ рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая, выскочка или ворона въ павлиньихъ перьяхъ; и теперь, пока служащіе толпились около закуски, она не выходила изъ столовой и вмѣшивалась въ разговоръ. У своего вчерашняго знакомаго Пименова она спросила.

— Отчего у васъ въ комнатѣ такъ много часовъ?

— Я въ починку беру,—отвѣтилъ онъ. — Занимаюсь этакъ между дѣломъ, по праздникамъ, или когда не спится.

— Значитъ, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вамъ ихъ въ починку?—спросила Анна Акимовна, смѣясь.

— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,—сказалъ Пименовъ, и на лицѣ его выразилось умиленіе, когда она, сама не зная зачѣмъ, отцѣпила отъ корсажа свои великолѣпные часики и подала ему; онъ молча осмотрѣлъ ихъ и возвратилъ.— Что жъ? Я съ удовольствіемъ,—повторилъ онъ.—Я уже не починяю карманныхъ часовъ. У меня зрѣніе слабое, и докторъ запретилъ мнѣ заниматься мелкой работой. Но для васъ я могу сдѣлать исключеніе.

— Доктора врутъ, — сказалъ бухгалтеръ; всѣ засмѣялись.—Ты не вѣрь имъ,—продолжалъ онъ, польщенный этимъ смѣхомъ.—Въ прошломъ году, въ посту, изъ барабана зубъ выскочилъ и угораздилъ прямо въ старика Калмыкова, въ голову, такъ что мозгъ видать было, и докторъ сказалъ, что помретъ; одначе, до сихъ поръ живъ и работаетъ, только послѣ этой штуки заикаться сталъ.

— Врутъ-то, врутъ доктора, да не очень, — вздохнула

тетушка.—Петръ Андреичъ покойничекъ потерялъ глаза. Такъ же вотъ, какъ ты, день-деньской работалъ на заводѣ около горячей печки и ослѣпъ. Глаза не любятъ жара. Ну, да что толковать?—встрепенулась она.—Пойдемъ выпьемъ! Съ праздничкомъ васъ поздравляю, голубчики мои. Ни съ кѣмъ не пью, а съ вами выпью, грѣшница. Дай Богъ!

Аннѣ Акимовнѣ казалось, что Пименовъ послѣ вчерашняго презираетъ ее, какъ филантропку, но очарованъ ею, какъ женщиной. Она смотрѣла на него и находила, что онъ держится очень мило и одѣтъ прилично. Правда, у сюртука немного рукава коротки и, кажется, талія высокая и брюки не модныя, не широкія, но зато галстукъ повязанъ со вкусомъ и небрежно, и не такъ ярокъ, какъ у другихъ. И, повидимому, онъ добродушный человѣкъ, такъ какъ покорно кушаетъ все, что кладетъ ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой онъ былъ вчера черный, и какъ ему хотѣлось спать, и это воспоминаніе почему-то растрогало ее.

Когда служащіе собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку, ей хотѣлось сказать ему, чтобъ онъ какъ-нибудь запросто пришелъ посидѣть, но не сумѣла: какъ-то языкъ не послушался; и чтобы не подумали, что Пименовъ ей понравился, она и товарищамъ его подала руку.

Затѣмъ пришли ученики той школы, гдѣ она была попечительницей. Всѣ они были острижены и одѣты въ однообразныя сѣрыя блузы. Учитель,—высокій, еще безусый молодой человѣкъ съ красными пятнами на лицѣ,—замѣтно волнуясь, выстроилъ учениковъ въ ряды; мальчики запѣли стройно, но рѣзкими, непріятными голосами. Директоръ завода, Назарычъ, лысый, остроглазый старовѣръ, никогда не ладилъ съ учителями, но этого, который теперь суетливо помахивалъ рукой, онъ презиралъ и ненавидѣлъ, самъ не зная за что. Онъ обращался съ нимъ высокомѣрно и грубо, задерживалъ жалованье и вмѣшивался въ преподаваніе, и, чтобы окончательно выжить его, недѣли за двѣ до праздника опредѣлилъ въ школу сторожемъ дальняго родственника своей жены, пьянаго мужика, который не слушался учителя и при ученикахъ говорилъ ему дерзости.

Аннѣ Акимовнѣ все это было извѣстно, но помочь она не могла, такъ какъ сама боялась Назарыча. Теперь ей хотѣлось, по крайней мѣрѣ, обласкать учителя, сказать

ему, что она имъ очень довольна, но когда послѣ пѣнія онъ сталъ сильно конфузиться и извиняться въ чемъ-то, и когда тетушка, говоря ему *ты*, фамильярно потащила его къ столу, ей стало скучно и неловко, и она, приказавъ дать дѣтямъ гостинцевъ, пошла къ себѣ наверхъ.

— Въ этихъ праздничныхъ порядкахъ въ сущности много жестокаго,—сказала она, немного погодя, какъ бы про себя, глядя въ окно на мальчиковъ, какъ они толпою шли отъ дома къ воротамъ и на ходу, пожимаясь отъ холода, надѣвали свои шубы и пальто.—Въ праздники хочется отдыхать, сидѣть дома съ родными, а бѣдные мальчики, учитель, служащіе обязаны почему-то идти по морозу, потомъ поздравлять, выражать свое почтеніе, конфузиться...

Мишенька, стоявшій тутъ же въ залѣ у дверей и слышавшій это, сказалъ:

— Не отъ насъ это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человѣкъ, Анна Акимовна, но такъ понимаю, бѣдные должны всегда почитать богатыхъ. Сказано: Богъ шельму мѣтитъ. Въ острогахъ, въ ночлежныхъ домахъ и въ кабакахъ всегда только одни бѣдные, а порядочные люди, замѣтьте, всегда богатые. Про богатыхъ сказано: бездна бездну призываетъ.

— Вы, Миша, всегда выражаетесь какъ-то скучно и непонятно,—сказала Анна Акимовна и пошла въ другой конецъ залы.

Былъ только двѣнадцатый часъ въ началѣ. Тишина громадныхъ комнатъ, нарушаемая только изрѣдка пѣніемъ; доносившимся изъ нижняго этажа, нагоняла зѣвоту. Бронза, альбомы и картины на стѣнахъ, изображавшія море съ корабликами, лугъ съ коровками и рейнскіе виды, были до такой степени не новы, что взглядъ только скользилъ по нимъ и не замѣчалъ ихъ. Праздничное настроеніе стало уже прискучать. Анна Акимовна попрежнему чувствовала себя красивою, доброю и необыкновенною, но уже ей казалось, что это никому не нужно; казалось ей, что и это дорогое платье она надѣла неизвѣстно для кого и для чего. И ее уже, какъ это бывало во всѣ праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ея красота, здоровье, богатство—одинъ лишь обманъ, такъ какъ она лишняя на этомъ свѣтѣ, никому она не нужна, никто ее не любитъ.

Она прошлась по всѣмъ комнатамъ, напѣвая и поглядывая въ окна. Остановившись въ залѣ, она не могла удержаться, чтобы не заговорить съ Мишенькой.

— Не знаю, Миша, что вы о себѣ думаете,—сказала она и вздохнула.—Право, за это даже Богъ накажетъ.

— Вы о чемъ-съ?

— Вы знаете, о чемъ. Извините, что я вмѣшиваюсь въ ваши личныя дѣла, но мнѣ кажется, вы сами изъ упрямства портите себѣ жизнь. Согласитесь, вамъ теперь какъ разъ самая пора жениться, а она дѣвушка прекрасная, достойная. Лучше ея вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная... А наружность!.. Принадлежи она къ нашему, или высшему кругу, въ нее влюблялись бы за одни чудные рыжіе волосы. Посмотрите, какъ у нея волосы подходятъ къ цвѣту лица. Ахъ, Боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вамъ нужно,—сказала съ горечью Анна Акимовна, и слезы выступили у нея на глазахъ.—Бѣдная дѣвочка, мнѣ ее такъ жалко! Я знаю, вы хотите взять съ деньгами, но я вамъ уже говорила: я за Машей дамъ приданое.

Свою будущую супругу Мишенька рисовалъ въ воображеніи не иначе, какъ въ видѣ высокой, полной, солидной и благочестивой женщины съ походкой какъ у павы и почему-то непремѣнно съ длинною шалью на плечахъ, а Маша худа и тонка, стянута въ корсетъ, и походка у нея мелкая, а главное, она была слишкомъ соблазнительна и подчасъ сильно нравилась Мишенькѣ, но это, по его мнѣнію, годилось не для брака, а лишь для дурного поведенія. Когда Анна Акимовна пообѣщала дать приданое, то онъ нѣкоторое время колебался; но какъ-то бѣдный студентъ въ коричневомъ пальто поверхъ мундира, приходившій къ Аннѣ Акимовнѣ съ письмомъ, не могъ удержаться и, восхищенный, обнялъ Машу внизу около вѣшалокъ, и она слегка вскрикнула; Мишенька, стоя наверху на лѣстницѣ, видѣлъ это и съ той поры сталъ питать къ Машѣ брезгливое чувство. Бѣдный студентъ! Кто знаетъ, если бы ее обнялъ богатый студентъ или офицеръ, то послѣдствія были бы другія...

— Отчего же вы не хотите?—спрашивала Анна Акимовна.—Чего вамъ еще нужно?

Мишенька молчалъ и неподвижно глядѣлъ на кресло, поднявъ брови.

— Вы любите другую?

Молчаніе. Вошла рыжая Маша съ письмами и визитными карточками на подносѣ. Догадавшись, что разговоръ шелъ о ней, она покраснѣла до слезъ.

— Почтальоны приходили,—пробормотала она.—И тамъ пришелъ какой-то чиновникъ Чаликовъ и дожидается внизу. Говоритъ, что вы приказали ему зачѣмъ-то придти сегодня.

— Какая наглость!—разсердилась Анна Акимовна.—Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтобъ онъ убирался, меня дома нѣтъ!

Послышался звонокъ. Это были священники изъ своего прихода, ихъ всегда принимали въ благородной половинѣ, то-есть наверху. Вслѣдъ за попами пришли съ визитомъ директоръ завода Назарычъ и фабричный докторъ, потомъ Мишенька доложилъ объ инспекторѣ народныхъ училищъ. Пріемъ визитеровъ начался.

Когда выпадали свободныя минутки, Анна Акимовна садилась въ гостиной въ глубокое кресло и, закрывъ глаза, думала о томъ, что одиночество ея вполнѣ естественно, такъ какъ она не вышла замужъ и никогда не выйдетъ. Но въ этомъ не она виновата. Сама судьба изъ простой рабочей обстановки, гдѣ, если вѣрить воспоминаніямъ, ей было такъ удобно и по себѣ, бросила ее въ эти громадныя комнаты, гдѣ она никакъ не можетъ придумать, что съ собой дѣлать, и не можетъ понять, для чего передъ ней мелькаетъ такъ много людей; то, что происходило теперь, казалось ей ничтожнымъ, ненужнымъ, такъ какъ ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать.

«Вотъ влюбиться бы,—думала она, потягиваясь, и отъ одной этой мысли у нея около сердца становилось тепло.—И отъ завода избавиться бы...»—мечтала она, воображая, какъ съ ея совѣсти сваливаются всѣ эти тяжелые корпуса, бараки, школа... Затѣмъ она вспомнила отца и подумала, что если бы онъ жилъ дольше, то, навѣрное, выдалъ бы ее за простого человѣка, напримѣръ, за Пименова. Приказалъ бы ей выходить за него,—вотъ и все. И это было бы хорошо: заводъ тогда попалъ бы въ настоящія руки.

Она представила себѣ его курчавую голову, смѣлый профиль, тонкія, насмѣшливыя губы и силу, страшную силу въ его плечахъ, рукахъ, въ груди и то утомленіе, съ какимъ онъ сегодня разсматривалъ ея часики.

— Что жъ?—проговорила она.—И ничего бы... Я бы вышла.

— Анна Акимовна!—позвалъ ее Мишенька, неслышно войдя въ гостиную.

— Какъ вы меня испугали!—сказала она, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ.—Что вамъ?

— Анна Акимовна!—повторилъ онъ, прикладывая руку къ сердцу и поднимая брови.—Вы—моя госпожа и благодѣтельница, и вы одна только можете наставлять меня насчетъ брака, такъ какъ вы для меня все равно, что мать родная... Но прикажите, чтобы внизу не смѣялись и не дразнили. Проходу не даютъ!

— А какъ они васъ дразнятъ?

— Говорятъ: Машенькинъ Мишенька.

— Фуй, какой вздоръ!—возмутилась Анна Акимовна.—Какъ вы всѣ глупы! Какой вы глупый, Миша! Какъ вы надоѣли мнѣ! Я васъ видѣть не хочу!

III.

Обѣдъ.

Какъ и въ прошломъ году, послѣдніе пріѣхали съ визитомъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Крылинъ и извѣстный адвокатъ Лысевичъ. Пріѣхали они, когда на дворѣ становилось уже темно. Крылинъ, старикъ за 60 лѣтъ, съ широкимъ ртомъ и съ сѣдыми бакенами около ушей, похожій лицомъ на рысь, былъ въ мундирѣ съ аннинскою лентой и въ бѣлыхъ штанахъ. Онъ долго держалъ руку Анны Акимовны въ своихъ обѣихъ рукахъ, глядѣлъ ей пристально въ лицо, шевелилъ губами и, наконецъ, сказалъ съ разстановкой, въ одну ноту:

— Я уважалъ вашего дядюшку... и батюшку, и пользовался ихъ расположеніемъ. Теперь считаю пріятнымъ долгомъ, какъ видите, поздравить ихъ уважаемую наслѣдницу... несмотря на болѣзнь и на значительное разстояніе... И весьма радъ видѣть васъ въ добромъ здоровьи.

Присяжный повѣренный Лысевичъ, высокій красивый блондинъ, съ легкою просѣдью въ вискахъ и бородѣ, отличается необыкновенно изящными манерами. Онъ входитъ съ перевальцемъ, кланяется будто нехотя и, разговаривая, поводитъ плечами, и все это съ лѣнивою граціей, какъ за-

стоявшійся, избалованный конь. Онъ сытъ, чрезвычайно здоровъ и богатъ; разъ даже выигралъ сорокъ тысячъ, но скрылъ это отъ своихъ знакомыхъ. Любитъ хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую рѣдьку съ конопляпымъ масломъ, а въ Парижѣ, по его словамъ, онъ ѣлъ жареныя немытыя кишки. Говоритъ онъ складно, плавно, безъ запинки, и лишь изъ кокетства иной разъ позволитъ себѣ запнуться и щелкнуть пальцами, какъ бы подбирая слово. Во все то, что ему приходится говорить на судѣ, онъ давно уже не вѣритъ, или, быть-можетъ, и вѣритъ, но не придаетъ этому никакой цѣны,—все это давно уже извѣстно, старо, обыкновенно... Онъ вѣритъ въ одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль въ оригинальной формѣ вызываетъ у него слезы. Обѣ записныя книжки у него исписаны необыкновенными выраженіями, которыя онъ вычитываетъ у разныхъ авторовъ, и когда ему нужно бываетъ отыскать какое-нибудь выраженіе, то онъ первно роется въ обѣихъ книжкахъ и обыкновенно не находитъ. Еще покойный Акимъ Иванычъ въ веселую минуту изъ тщеславія пригласилъ его въ повѣренные по дѣламъ завода и назначилъ ему двѣнадцать тысячъ жалованья. Всѣ заводскія дѣла заключались въ двухъ-трехъ мелкихъ изысканіяхъ, которыя Лысевичъ поручалъ своимъ помощникамъ.

Анна Акимовна знала, что на заводѣ ему нечего дѣлать, но отказать ему не могла: не хватало мужества, да и привыкла къ нему. Онъ называлъ себя ея юрисконсультомъ, а свое жалованье, за которымъ онъ присылалъ аккуратно каждое первое число,—суровою прозой. Аннѣ Акимовнѣ было извѣстно, что когда послѣ смерти отца продавали ея лѣсъ на шпалы, то Лысевичъ нажилъ на этой продажѣ больше пятнадцати тысячъ и подѣлился съ Назарычемъ. Узнавши объ этомъ обманѣ, Анна Акимовна горько заплакала, но потомъ привыкла.

Поздравивъ и поцѣловавъ обѣ руки, онъ смѣрилъ ее взглядомъ и поморщился.

— Не надо,—сказалъ онъ съ искреннимъ огорченіемъ.— Я говорилъ, милая, не надо!

— Вы о чемъ, Викторъ Николаичъ?

— Я говорилъ: не надо полнѣть. Въ вашемъ роду у всѣхъ несчастная склонность къ полнотѣ. Не надо,—по-

вторилъ онъ умоляющимъ голосомъ и поцѣловалъ руку.— Вы такая хорошая! Вы такая славная! Вотъ, ваше превосходительство,—обратился онъ къ Крылину:—рекомендую: единственная въ свѣтѣ женщина, которую я когда-либо серьезно любилъ.

— Это неудивительно. Быть въ ваши годы знакомымъ съ Анной Акимовной и не любить ея—это невозможно.

— Я ее обожаю!—продолжалъ адвокатъ совершенно искренно, но со своею обычною лѣнивою граціей.—Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина; когда я съ ней, то кажется, что она какого-то третьяго пола, а я четвертаго, и мы уносимся вмѣстѣ въ область тончайшихъ цвѣтовыхъ оттѣнковъ и тамъ сливаемся въ спектръ. Лучше всѣхъ опредѣляетъ подобныя отношенія Leconte de Lisle. У него есть одно превосходное мѣсто, удивительное мѣсто.

Лысевичъ порылся въ одной книжкѣ, потомъ въ другой и, не найдя изреченія, успокоился. Стали говорить о погодѣ, объ оперѣ, о томъ, что скоро пріѣдетъ Дузе. Анна Акимовна вспомнила, что Лысевичъ и, кажется, Крылинъ въ прошломъ году обѣдали у нея, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющимъ голосомъ стала доказывать имъ, что такъ какъ они уже больше никуда не поѣдутъ съ визитомъ, то должны остаться у нея пообѣдать. Послѣ нѣкотораго колебанія гости согласились.

Кромѣ обѣда, состоящаго изъ щей, поросенка, гуся съ яблоками и проч., на кухнѣ въ большіе праздники готовили еще такъ-называемый французскій или поварской обѣдъ, на случай, если кто изъ гостей въ верхнемъ этажѣ пожелаетъ откушать. Когда въ столовой застучали посудой, Лысевичъ сталъ проявлять замѣтное возбужденіе; онъ потиралъ руки, поводилъ плечами, жмурился и съ чувствомъ разсказывалъ о томъ, какіе обѣды когда-то задавали старики и какой чудесный матлотъ изъ налимовъ умѣетъ готовить здѣшній поваръ,—не матлотъ, а откровеніе! Онъ предвкушалъ обѣдъ, уже ѣлъ его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его подъ руку въ столовую, и онъ, наконецъ, выпилъ рюмку водки и положилъ себѣ въ ротъ кусочекъ семги, то даже замурлыкалъ отъ удовольствія. Жевалъ онъ громко, противно, издавая носомъ какіе-то звуки, и глаза его при этомъ становились
ными и алчными.

Закуска была роскошная. Были, между прочимъ, свѣжіе бѣлые грибы въ сметанѣ и соусъ провансаль изъ жареныхъ устрицъ и раковыхъ шеекъ, сильно сдобренный горькими пикулями. Самый обѣдъ состоялъ изъ праздничныхъ, изысканныхъ блюдъ, и вина были прекрасныя. Мищенька прислуживалъ за столомъ съ упоеніемъ. Когда онъ ставилъ на столъ какое-нибудь новое кушанье и снималъ съ блестящей кастрюли крышку, или наливалъ вино, то дѣлалъ это съ важностью профессора черной магіи, и, глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру кадрили, адвокатъ нѣсколько разъ подумалъ: «Какой дуракъ!»

Послѣ третьяго блюда Лысевичъ говорилъ, обращаясь къ Аннѣ Акимовнѣ:

— Женщина fin de siècle,—я разумѣю молодую и, конечно, богатую,—должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смѣла и немножко развратна. Развратна въ мѣру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомленіе. Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, какъ всѣ, а смаковать жизнь, а легкій развратъ есть соусъ жизни. Зароѣтесь въ цвѣты съ одуряющимъ ароматомъ, задыхайтесь въ мускусѣ, ѣшьте гашишъ, а, главное, любите, любите и любите... На первыхъ порахъ я на вашемъ мѣстѣ завелъ бы себѣ семерыхъ мужчинъ, по числу дней въ недѣлѣ, и одного назвалъ бы Понедѣльникомъ, другого—Вторникомъ, третьяго—Средой и т. д., чтобы каждый зналъ свой день.

Этотъ разговоръ волновалъ Анну Акимовну. Она ничего не ѣла и только выпила рюмку вина.

— Дайте же мнѣ, наконецъ, сказать!—говорила она.—Для себя лично я не понимаю любви безъ семьи. Я одинока, одинока, какъ мѣсяцъ на небѣ, да еще съ ущербомъ, и, что бы вы тамъ ни говорили, я увѣрена, я чувствую, что этотъ ущербъ можно пополнить только любовью въ обыкновенномъ смыслѣ. Мнѣ кажется, что эта любовь опредѣлитъ мои обязанности, мой трудъ, освѣтитъ мое міросозерцаніе. Я хочу отъ любви мира моей душѣ, покоя, хочу подальше отъ мускуса и всѣхъ тамъ спиритизмовъ и fin de siècle... однимъ словомъ,—смѣшалась она:—мужъ и дѣти.

— Замужъ хотите? Что жъ, и это можно,—согласился Лысевичъ.—Вамъ все нужно испытать: и замужество, и ревность, и сладость первой измѣны, и даже дѣтей... Но

торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходитъ, не ждетъ.

— Вотъ возьму и выйду замужъ!—сказала она, сердито глядя на его сытое, довольное лицо.—Выйду самымъ обыкновеннымъ, самымъ пошлымъ образомъ и буду сіять отъ счастья. И, можете себѣ представить, выйду за простого рабочаго человѣка, за какого-нибудь механика или чертежника.

— И это недурно. Герцогиня Джосіана полюбила Гуинплена, и это ей позволяется, потому что она герцогиня; вамъ тоже все позволяется, потому что вы необыкновенная. Если, милая, захотите любить негра или арапа, то не стѣсняйтесь, выписывайте себѣ негра. Ни въ чемъ себѣ не отказывайте. Вы должны быть такъ же смѣлы, какъ ваши желанія. Не отставайте отъ нихъ.

— Неужели меня такъ трудно понять?—спросила Анна Акимовна съ изумленіемъ, и глаза ея заблестѣли отъ слезъ.—Поймите же, у меня на рукахъ громадное дѣло, двѣ тысячи рабочихъ, за которыхъ я должна отвѣтить передъ Богомъ. Люди, которые работаютъ на меня, слѣпнутъ и глохнутъ. Мнѣ страшно жить, страшно! Я страдаю, а вы имѣете жестокость говорить мнѣ о какихъ-то неграхъ и... и улыбаетесь!—Анна Акимовна ударила кулакомъ по столу.—Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же празднаго, неумѣлаго человѣка, какъ я, было бы просто преступленіемъ. Я не могу больше такъ жить,—сказала она горячо:—не могу!

— Какъ она хороша! — проговорилъ Лысевичъ, восхищаясь ею.—Богъ мой, какъ она хороша! Но что же вы сердитесь, милая? Пусть я не правъ, но неужели вы думаете, что если вы во имя идей, которыя я, впрочемъ, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себѣ въ жизненной радости, то рабочимъ станетъ отъ этого легче? Ничуть! Нѣтъ, развратъ, развратъ!—сказалъ онъ рѣшительно.— Вамъ необходимо, вы обязаны быть развратной! Обмозгуйте это, милая, обмозгуйте!

Анна Акимовна была рада, что высказалась, и повеселѣла. Ей нравилось, что она такъ хорошо говорила и такъ честно и красиво мыслитъ, и она была уже увѣрена, что если бы, напримѣръ, Пименовъ полюбилъ ее, то она пошла бы за него съ удовольствіемъ.

Мишенька сталъ наливать шампанское.

— Вы меня злите, Викторъ Николаичъ,—сказала она, чокаясь съ адвокатомъ.—Мнѣ досадно, что вы даете совѣты, а сами совсѣмъ не знаете жизни. По-вашему, если механикъ или чертежникъ, то ужъ непремѣнно мужикъ и невѣжа. А это умнѣйшіе люди! Необыкновенные люди!

— Вашъ батюшка и дядюшка... я ихъ зналъ и уважалъ, — проговорилъ съ разстановкой Крылинъ, который сидѣлъ, вытянувшись какъ истуканъ, и все время, не переставая, ѣлъ:—были люди значительнаго ума и... и высокихъ душевныхъ качествъ.

— Ладно, знаемъ мы эти качества!—пробормоталъ адвокатъ и попросилъ позволенія закурить.

Когда кончился обѣдъ, Крылина увели отдыхать. Лысевичъ докурилъ сигару и, покачиваясь отъ сытости, пошелъ за Анной Акимовной въ ея кабинетъ. Укромные уголки съ фотографіями, вѣерами на стѣнахъ и съ неизбѣжнымъ розовымъ или голубымъ фонаремъ среди потолка онъ не любилъ, какъ выраженіе вялаго, неоригинальнаго характера; къ тому же, воспоминанія о нѣкоторыхъ его романахъ, которыхъ онъ теперь стыдился, были у него связаны съ этимъ фонаремъ. Кабинетъ же Анны Акимовны съ голыми стѣнами и безвкусною мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидѣть на турецкомъ диванѣ и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидѣла на коврѣ передъ каминомъ и, охвативъ колѣни руками, глядѣла на огонь и о чемъ-то думала, и въ это время ему казалось, что въ ней играетъ мужицкая, старовѣрская кровь.

Всякій разъ послѣ обѣда, когда подавали кофе и ликеры, онъ оживлялся и разсказывалъ ей разныя литературныя новости. Говорилъ онъ витіевато, вдохновенно, самъ увлекался своимъ разсказомъ, а она слушала его и всякій разъ думала, что за такое удовольствіе можно заплатить не двѣнадцать тысячъ, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось въ немъ. Случалось, что онъ разсказывалъ ей содержаніе повѣстей и даже романовъ, и тогда два или три часа проходили незамѣтно, какъ минуты. Теперь онъ началъ какъ-то кисло, разслабленнымъ голосомъ и закрывши глаза.

— Я, милая, давно ужъ ничего не читалъ, — сказалъ онъ, когда она попросила его разсказать что-нибудь.— Впрочемъ, иногда читаю Жюля Верна.

— А я думала, что вы разскажете мнѣ что-нибудь новенькое.

— Гм... новенькое, — сонно пробормоталъ Лысевичъ и еще глубже забился въ уголъ дивана.—Вся новенькая литература, милая моя, для насъ съ вами не подходитъ. Конечно, она должна быть такою, какова она есть, и не признавать ея—значило бы не признавать естественнаго порядка вещей, и я признаю ее, но...

Лысевичъ, казалось, уснулъ. Но черезъ минуту опять послышался его голосъ:

— Вся новенькая литература, на манеръ осенняго вѣтра въ трубѣ, стонетъ и воетъ: «Ахъ, несчастный! ахъ, жизнь твою можно уподобить тюрьмѣ! ахъ, какъ тебѣ въ тюрьмѣ темно и сыро! ахъ, ты непремѣнно погибнешь, и нѣтъ тебѣ спасенія!» Это прекрасно, но я предпочелъ бы литературу, которая учитъ, какъ бѣжать изъ тюрьмы. Изъ всѣхъ современныхъ писателей я почитываю, впрочемъ, иногда одного Мопасана.—Лысевичъ открылъ глаза.—Хорошій писатель, превосходный писатель!—Лысевичъ задвигался на диванѣ.—Удивительный художникъ! Страшный, чудовищный, сверхъестественный художникъ! — Лысевичъ всталъ съ дивана и поднялъ кверху правую руку.—Мопасанъ!—сказалъ онъ въ восторгѣ.—Милая, читайте Мопасана! Одна страница его дастъ вамъ больше, чѣмъ всѣ богатства земли! Что ни строка, то новый горизонтъ. Мягчайшія, нѣжнѣйшія движенія души смѣняются сильными, бурными ощущеніями, ваша душа точно подъ давленіемъ сорока тысячъ атмосферъ обращается въ ничтожнѣйшій кусочекъ какого-то вещества неопредѣленнаго, розоватаго цвѣта, которое, какъ мнѣ кажется, если бы можно было положить его на языкъ, дало бы терпкій, сладострастный вкусъ. Какое бѣшенство переходовъ, мотивовъ, мелодій! Вы покоитесь на ландышахъ и розахъ, и вдругъ мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетаетъ на васъ, какъ локомотивъ, и обдаетъ васъ горячимъ паромъ и оглушаетъ свистомъ. Читайте, читайте Мопасана! Милая, я этого требую!

Лысевичъ замахалъ руками и въ сильномъ волненіи прошелся изъ угла въ уголъ.

— Нѣтъ, это невозможно!—проговорилъ онъ, какъ бы въ отчаяніи.—Послѣдняя его вещь истомила меня, опьянила! Но я боюсь, что вы останетесь къ ней равнодушны. Чтобъ

она увлекла васъ, надо ее смаковать, медленно выжимать сокъ изъ каждой строчки, пить... Надо ее пить!

Послѣ длиннаго вступленія, въ которомъ было много такихъ словъ, какъ демоническое сладострастіе, сѣть изъ тончайшихъ нервовъ, самумъ, кристаллъ и т. п., онъ, наконецъ, сталъ разсказывать содержаніе романа. Разсказывалъ онъ уже не такъ вычурно, но очень подробно, приводя наизусть цѣлыя описанія и разговоры; дѣйствующія лица романа восхищали его, и, характеризуя ихъ, онъ становился въ позы, мѣнялъ выраженіе лица и голосъ, какъ настоящій актеръ. Отъ восторга онъ хохоталъ то басомъ, то очень тонкимъ голоскомъ, всплескивалъ руками или хваталъ себя за голову съ такимъ выраженіемъ, какъ будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала съ восхищеніемъ, хотя уже читала этотъ романъ, и въ передачѣ адвоката онъ казался ей во много разъ красивѣе и сложнѣе, чѣмъ въ книжкѣ. Онъ обращалъ ея вниманіе на разныя тонкости и подчеркивалъ счастливыя выраженія и глубокія мысли, но она видѣла только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, какъ будто была дѣйствующимъ лицомъ романа; у нея поднимало духъ, и она сама, тоже хохоча и всплескивая руками, думала о томъ, что такъ жить нельзя, что нѣтъ надобности жить дурно, если можно жить прекрасно; она вспомнила свои слова и мысли за обѣдомъ и гордилась ими, и когда въ воображеніи вдругъ выросталъ Пименовъ, то ей было весело и хотѣлось, чтобы онъ полюбилъ ее.

Кончивши разсказывать, Лысевичъ, изнеможенный, сѣлъ на диванъ.

— Какая вы славная! Какая хорошая!—началъ онъ, немного погодя, слабымъ голосомъ, точно больной.—Я, милая, счастливъ около васъ, но все-таки зачѣмъ мнѣ сорокъ два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадаютъ: вы должны быть развратны, а я давно уже пережилъ этотъ фазисъ и хочу любви тончайшей, не матеріальной, какъ солнечный лучъ, то-есть, съ точки зрѣнія женщины вашихъ лѣтъ, я уже ни къ чорту не годенъ.

Онъ, по его словамъ, любилъ Тургенева, пѣвца дѣвственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы, но самъ онъ любилъ дѣвственную любовь не вблизи, а по наслышкѣ, какъ нѣчто отвлеченное, существующее внѣ дѣйствительной жизни. Теперь онъ увѣрялъ себя, что Анну Аки-

мовну онъ любилъ платонически, идеально, хотя самъ не зналъ, что это значитъ. Но ему было хорошо, уютно, тепло, Анна Акимовна казалась очаровательною, оригинальною, и онъ думалъ, что пріятное самочувствіе, вызываемое въ немъ этою обстановкой, и есть именно то самое, что называется платоническою любовью.

Онъ припалъ щекой къ ея рукѣ и сказалъ тономъ, какимъ обыкновенно ласкаютъ маленькихъ дѣтей:

— Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали?

— Какъ? Когда?

— Я къ празднику не получилъ отъ васъ наградныхъ.

Раньше Аннѣ Акимовнѣ ни разу не приходилось слышать, чтобы адвокату къ праздникамъ посылались наградныя, и теперь она находилась въ затрудненіи: сколько ему дать? А дать было нужно, такъ какъ онъ ждалъ, хотя смотрѣлъ на нее глазами, полными любви.

— Должно-быть, Назарычъ забылъ,—сказала она.—Но это не поздно поправить.

Вдругъ она вспомнила про вчерашнія полторы тысячи, которыя лежали у нея теперь въ спальнѣ, въ туалетномъ столикѣ. И когда она принесла эти несимпатичныя деньги и подала ихъ адвокату, и онъ съ лѣнивою граціей сунулъ ихъ въ боковой карманъ, то все это произошло какъ-то мило и естественно. Неожиданное напоминаніе о наградныхъ и эти полторы тысячи были къ лицу адвокату.

— Merçi,—сказалъ онъ и поцѣловалъ ей палецъ.

Вошелъ Крылинъ съ заспаннымъ блаженнымъ лицомъ, но уже безъ орденовъ.

Онъ и Лысевичъ посидѣли еще немного, выпили по стакану чаю и стали собираться. Анна Акимовна была немножко смущена... Она совершенно забыла, гдѣ служитъ Крылинъ, и нужно ли давать ему деньги или нѣтъ, а если нужно, то теперь дать или послать въ конвертѣ.

— Гдѣ онъ служитъ?—шепнула она Лысевичу.

— А чортъ его знаетъ,—пробормоталъ адвокатъ, зѣвая.

Она сообразила, что если Крылинъ бывалъ у дяди и отца и уважалъ ихъ, то не даромъ: очевидно, дѣлалъ добрыя дѣла на ихъ счетъ, служа въ какомъ-нибудь благотворительномъ учрежденіи. Она, прощаясь, сунула ему въ руку триста рублей; онъ какъ бы изумился и минуту молча

смотрѣлъ на нее оловянными глазами, но потомъ какъ бы понялъ и сказалъ:

— Но квитанцію, многоуважаемая Анна Акимовна, вы можете получить не раньше новаго года.

Лысевичъ совсѣмъ уже раскисъ и отяжелѣлъ и шатался, когда Мишенька надѣвалъ на него шубу. А спускаясь внизъ, онъ имѣлъ видъ совершенно разслабленнаго, и видно было, что какъ только онъ сядетъ въ сани, то уснетъ тотчасъ же.

— Ваше превосходительство, — сказалъ онъ Крылину томно, останавливаясь среди лѣстницы:—не приходилось ли вамъ испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягиваетъ васъ въ длину, вы все тянетесь-тянетесь и, наконецъ, обращаетесь въ тончайшую проволоку? Субъективно это выражается въ какомъ-то особенномъ сладострастномъ чувствѣ, которое ни съ чѣмъ сравнить нельзя.

Анна Акимовна, стоя наверху, видѣла, какъ оба они дали Мишенькѣ по бумажкѣ.

— Не забывайте! До свиданья! — крикнула она имъ и побѣжала къ себѣ въ спальню.

Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надѣла капотъ и побѣжала внизъ. И когда бѣжала по лѣстницѣ, то смѣялась и стучала ногами какъ мальчишка. Ей сильно хотѣлось шалить.

IV.

Вечеръ.

Тетушка въ просторной ситцевой блузѣ, Варварушка и еще какихъ-то двѣ старушки сидѣли въ столовой и ужинали. Передъ ними на столѣ лежали большой кусокъ солонины, окорокъ и разныя соленыя закуски, и отъ солонины, очень жирной и вкусной на видъ, валилъ къ потолку паръ. Въ нижнемъ этажѣ виноградныхъ винъ не употребляли, но зато было много разнаго рода водокъ и наливокъ. Кухарка Агаѳьюшка, полная, бѣлая, сытая, стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушанья подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка съ пунцовою лентой въ волосахъ. Старухи были сыты еще съ утра и за часъ до ужина пили чай со сладкимъ сдобнымъ

пирогомъ, а потому ѣли теперь черезъ силу, какъ бы по обязанности.

— Охъ, матушки!—охнула тетушка, когда въ столовую вдругъ вбѣжала Анна Акимовна и сѣла на стулъ рядомъ съ нею.—Испугала до смерти!

Въ домѣ любили, когда Анна Акимовна бывала въ духѣ и дурачилась; это всякій разъ напоминало, что старики уже умерли, а старухи въ домѣ не имѣютъ уже никакой власти, и каждый можетъ жить какъ угодно, не боясь, что съ него сурово взыщутъ. Только двѣ незнакомыя старухи покосились на Анну Акимовну съ недоумѣніемъ: она нацѣвала, а за столомъ грѣхъ пѣть.

— Матушка наша, красавица, картина писаная!—начала слащаво причитывать Агаоьюшка.—Алмазъ нашъ драгоцѣнный!.. Народу-то, народу нынче пріѣзжало нашу королевну глядѣть—Господи твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа... Я въ окно глядѣла-глядѣла, считала-считала, да и бросила.

— А по мнѣ, они хоть бы вовсе не ѣздили, подлецы!—сказала тетушка; она съ грустью поглядѣла на племянницу и добавила:—Только время провели сироткѣ моей бѣдной.

Анна Акимовна была голодна, такъ какъ съ самаго утра ничего не ѣла. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солониной съ горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потомъ нижняя Маша подала индѣйку, моченыя яблоки и крыжовникъ. И это тоже понравилось. Но только одно было непріятно: отъ изразцовой печки вѣяло жаромъ, было душно, и у всѣхъ разгорѣлись щеки. Послѣ ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки съ мятными пряниками, орѣхами и изюмомъ.

— Садись и ты... чего тамъ!—сказала тетушка кухаркѣ.

Агаоьюшка вздохнула и сѣла за столъ; передъ ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Аннѣ Акимовнѣ стало уже казаться, что одинаково, какъ отъ печки, такъ и отъ бѣлой шеи Агаоьюшки, вѣетъ жаромъ. Говорили всѣ о томъ, какъ теперь трудно стало выходить замужъ, что въ прежнее время мужчины если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что имъ нужно, и прежде оставались въ дѣвушкахъ только горбатыя и хромыя, а теперь не берутъ даже красивыхъ и богатыхъ. Тетушка стала объяснять это безнравствен-

ностью и тѣмъ, что люди Бога не боятся, но вдругъ вспомнила, что ея братъ Иванъ Иванычъ и Варварушка — оба святой жизни—и Бога боялись, а все же потихоньку дѣтей рожали и отправляли въ воспитательный домъ; она спохватилась и перевела разговоръ на то, какой у нея когда-то женишокъ былъ, изъ заводскихъ, и какъ она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца иконописца, который, слава Богу, черезъ два года померъ. Нижняя Маша тоже подсѣла къ столу и съ таинственнымъ видомъ разсказала, что вотъ уже недѣля, какъ каждый день по утрамъ во-дворѣ показывается какой-то неизвѣстный мужчина съ черными усами и въ пальто съ барашковымъ воротникомъ: войдетъ во дворъ, поглядитъ на окна большого дома и пойдетъ дальше—къ корпусамъ; мужчина ничего себѣ, видный...

Отъ всѣхъ этихъ разговоровъ Аннѣ Акимовнѣ почему-то вдругъ захотѣлось замужъ, захотѣлось сильно, до тоски; кажется, полжизни и все состояніе отдала бы, только знать бы, что въ верхнемъ этажѣ есть человѣкъ, который для нея ближе всѣхъ на свѣтѣ, что онъ крѣпко любитъ ее и скучаетъ по ней; и мысль объ этой близости, восхитительной, невыразимой на словахъ, волновала ея душу. И инстинктъ здоровья и молодости льстилъ ей и лгалъ, что настоящая поэзія жизни не пришла, а еще впереди, и она вѣрила и, откинувшись на спинку стула (у нея распустились волосы при этомъ), стала смѣяться, а глядя на нее, смѣялись и остальныя. И въ столовой долго не умолкалъ безпричинный смѣхъ.

Доложили, что пришла ночевать Жужелица. Это была богомолка Паша или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина, лѣтъ пятидесяти, въ черномъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ, остроглазая, остроносая, съ острымъ подбородкомъ; глаза у нея были хитрые, ехидные, и глядѣла она съ такимъ выраженіемъ, какъ будто всѣхъ насквозь видѣла. Губы у нея были сердечкомъ. За ехидство и ненавистничество въ купеческихъ домахъ ее прозвали Жужелицей.

Войдя въ столовую, она, ни на кого не глядя, направилась къ образамъ и запѣла альтомъ «Рождество Твое», потомъ спѣла «Дѣва днесь», потомъ «Христосъ рождается», затѣмъ обернулась и пронизала всѣхъ взглядомъ.

— Съ праздничкомъ! — сказала она и поцѣловала въ

плечо Анну Акимовну.—Насилу, насилу добралась до васъ, благодѣтели мои.—Она поцѣловала въ плечо тетушку.—Пошла я къ вамъ еще утромъ, да по дорогѣ къ добрымъ людямъ заходила отдохнуть. «Останься, да останься, Спиридоновна»,—анъ, и не видала, какъ вечеръ насталъ.

Такъ какъ она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всѣхъ исподлобья, и водочки три рюмки выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Аннѣ Акимовнѣ въ ноги.

Какъ это было въ прошломъ и въ третьемъ году, стали играть въ короли, а вся прислуга, сколько ся было въ двухъ этажахъ, столпилась въ дверяхъ, чтобы поглядѣть на игру. Аннѣ Акимовнѣ показалось, что раза два въ толпѣ бабъ и мужиковъ промелькнулъ и Мишенька съ снисходительною улыбкой. Первая вышла въ короли Жужелица, и Анна Акимовна-солдатъ платила ей дань, а потомъ тетушка стала королемъ, и Анна Акимовна попала въ мужики или «тютьки», что вызвало общій восторгъ, а Агаѳьюшка вышла въ принцы и застыдилась отъ удовольствія. На другомъ концѣ стола составилась еще партія: обѣ Маши, Варварушка и швейка Марѳа Петровна, которую разбудили нарочно для игры въ короли, и лицо у нея было заспанное, злое.

Во время игры разговоръ шелъ о мужчинахъ, о томъ, какъ трудно теперь выйти за хорошаго человѣка, и о томъ, какая доля лучше—дѣвичья или вдовья.

— Дѣвка ты красивая, здоровая, крѣпкая,—сказала Жужелица Аннѣ Акимовнѣ.—Только я никакъ не пойму, мать, для кого ты себя бережешь.

— Что же дѣлать, если никто не беретъ?

— А, можетъ, дала обѣтъ остаться въ дѣвахъ? — продолжала Жужелица, какъ бы не слыша.—Что жъ, хорошее дѣло, оставайся... Оставайся,—повторила она, внимательно и ехидно глядя себѣ въ карты.—Тэкъ, братъ, оставайся... да... Только дѣвы, преподобныя-то эти самыя, разныя бываютъ,—вздохнула она и пошла съ короля.—Охъ, разныя, мать! Однѣ, дѣйствительно, блюдутъ себя, словно монашенки, и ни синь пороха, а ежели какая и согрѣшитъ часомъ, то измучится вся, бѣдная, и осуждать грѣхъ. А вотъ другія дѣвушки и въ черныхъ платьяхъ ходятъ, и саваны себѣ шьютъ, а сами-то втихомолку старичковъ богатенькихъ

любятъ. Да-а, канареечки мои. Иная шельма околдуетъ старика и властвуетъ надъ нимъ, голубушки мои, властвуетъ, кружитъ его, кружитъ, а какъ набрала побольше денегъ да выигрышныхъ билетовъ, такъ и заколдуетъ до смерти.

Въ отвѣтъ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядѣла на образъ. На лицѣ ея изобразилось христіанское смиреніе.

— Есть у меня одна знакомая дѣвушка такая, врагиня моя лютая, — продолжала Жужелица, оглядывая всѣхъ съ торжествомъ.—Тоже все вздыхаетъ, да все на образа смотритъ, дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то, бывало, придешь къ ней, а она дастъ тебѣ кусокъ и прикажетъ земные поклоны класть, и сама читаетъ: «Въ рождествѣ дѣвство сохранила еси»... Въ праздникъ дастъ кусокъ, а въ будни попрекаетъ. Ну, а теперь ужъ я натѣшусь надъ ней! Натѣшусь вволю, алмазныя!

Варварушка опять взглянула на образъ и перекрестилась.

— Да, никто меня не беретъ, Спиридоновна,—сказала Анна Акимовна, чтобы перемѣнить разговоръ. — Что подѣлаешь?

— Сама виновата, мать. Все ждешь благородныхъ да образованныхъ, а шла бы за своего брата—купца.

— Купца не нужно! — сказала тетушка и встревожилась.—Спаси, Царица Небесная! Благородный деньги твои промотаетъ, да зато жалѣть тебя будетъ, дурочка. А купецъ заведетъ такія строгости, что ты въ своемъ же домѣ мѣста себѣ не найдешь. Тебѣ приласкаться къ нему хочется, а онъ купоны рѣжетъ, а сядешь съ нимъ ѣсть, онъ тебя твоимъ же кускомъ хлѣба попрекаетъ, деревенщина!.. Выходи за благороднаго.

Заговорили всѣ сразу, громко перебивая другъ друга, а тетушка стучала по столу щипцами для орѣховъ и, красная, сердитая, говорила:

— Не надо купца, не надо! А заведешь въ домѣ купца, пойду въ богадѣльню!

— Тш... Тише!—крикнула Жужелица; когда всѣ утихли, она прищурила одинъ глазъ и сказала: — Знаешь, что, Аннушка, ласточка моя? Выходить замужъ по-настоящему, какъ всѣ, тебѣ не къ чему. Ты человѣкъ богатый, вольный, сама себѣ королева; но и въ старыхъ дѣвкахъ оставаться какъ будто, дѣтка, не годится. Найду-ка я тебѣ, знаешь,

какого-нибудь завалященькаго и простоватенькаго человѣчка, примешь ты для видимости законъ и тогда — гуляй, Малашка! Ну, мужу сунешь тамъ тысячъ пять или десять, и пусть идетъ, откуда пришелъ, а ты дома сама себѣ госпожа,—кого хочешь, того любишь, и никто не можетъ тебя осудить. И люби ты тогда своихъ благородныхъ да образованныхъ. Эхъ, не жизнь, а масляница! — Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула:—Гуляй, Малашка!

— А грѣхъ!—сказала тетушка.

— Ну, грѣхъ,—усмѣхнулась Жужелица. — Она образованная, понимаетъ. Человѣка зарѣзать или старика околдовать—грѣхъ, это точно, а любить милаго дружочка даже очень не грѣхъ. Да и что тамъ, право! Никакого грѣха нѣтъ! Все это богомолки выдумали, чтобы простой народъ морочить. Я вотъ тоже вездѣ говорю — грѣхъ да грѣхъ, а сама и не знаю, почему грѣхъ.—Жужелица выпила наливки и крякнула.—Гуляй, Малашка! — сказала она, обращаясь на этотъ разъ, очевидно, къ себѣ самой.—Тридцать лѣтъ, бабочки, думала все о грѣхахъ, да боялась, а теперь вижу: прозѣвала, проворонила! Эхъ, дура я, дура! — вздохнула она. — Бабій вѣкъ—короткій вѣкъ, и каждымъ денечкомъ дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, а ужъ какъ стукнетъ тридцать-пять или сорокъ, только и вѣку твоего, пиши конецъ. Не слушай, братъ, никого, живи, гуляй до сорока, а потомъ успѣешь отмолить,—хватитъ времени поклоны бить, да саваны шить. Богу свѣчка, валяй и чорту кочергу! Валяй все въ одно мѣсто! Ну, такъ какъ же? Хочешь облагодѣтельствовать человѣчка?

— Хочу,—засмѣялась Анна Акимовна.—Мнѣ теперь все равно, я бы за простого пошла.

— Что жъ, и хорошо бы! Ухъ, какого бы ты тогда себѣ молодца выбрала!—Жужелица зажмурилась и покачала головой.—Ухъ!

— Я и сама ей говорю: благородныхъ не дождешься, такъ шла бы ужъ не за купца, а за кого попроще,—сказала тетушка.—По крайности, взяли бы мы себѣ въ домъ хозяина. А мало ли хорошихъ людей? Хоть нашихъ заводскихъ взять. Всѣ трезвые, степенные...

— А еще бы!—согласилась Жужелица.—Ребята славные. Хочешь, тетка, я Аннушку за Лебединскаго Василія посватаю?

— Ну, у Васи ноги длинныя,—сказала тетушка серьезно.— Сухой очень. Виду нѣтъ.

Въ толпѣ около дверей засмѣялись.

— Ну, за Пименова. Хочешь идти за Пименова?—спросила Жужелица у Анны Акимовны.

— Хорошо. Сватай за Пименова.

— Ей-Богу?

— Сватай!—сказала рѣшительно Анна Акимовна и ударила по столу.—Честное слово пойду!

— Ей-Богу?

Аннѣ Акимовнѣ вдругъ стало стыдно, что у нея горятъ щеки и что на нее всѣ смотрятъ, она смѣшала на столѣ карты и побѣжала изъ комнаты, и когда бѣжала по лѣстницѣ и потомъ пришла наверхъ и сѣла въ гостиной у рояля, изъ нижняго этажа доносился гулъ, будто море шумѣло; вѣроятно, говорили про нее и про Пименова и, быть-можетъ, пользуясь ея отсутствіемъ, Жужелица обижала Варварушку и ужъ, конечно, не стѣснялась въ выраженіяхъ.

Во всемъ верхнемъ этажѣ горѣла только одна лампа въ залѣ, и ея слабый свѣтъ черезъ дверь проникалъ въ темную гостиную. Былъ десятый часъ, не больше. Анна Акимовна сыграла одинъ вальсъ, потомъ другой, третій,— играла непрерывно. Она смотрѣла въ темный уголъ за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило въ голову: не поѣхать ли сейчасъ въ городъ къ кому-нибудь, напримѣръ, хоть къ Лысевичу, и не разсказать ли ему, что происходитъ у нея теперь на душѣ? Ей хотѣлось говорить безъ умолку, смѣяться, дурачиться, но темный уголъ за роялью угрюмо молчалъ и кругомъ, во всѣхъ комнатахъ верхняго этажа, было тихо, безлюдно.

Она любила чувствительные романсы, но у нея былъ грубый, необработанный голосъ, и потому она только аккомпанировала, а пѣла чуть слышно, однимъ лишь дыханіемъ. Она пѣла шопотомъ романсъ за романсомъ, все больше о любви, разлукѣ, утраченныхъ надеждахъ, и воображала, какъ она протянетъ къ нему руки и скажетъ съ мольбой, со слезами: «Пименовъ, снимите съ меня эту тяжесть!» И тогда, точно грѣхи ей простятся, станетъ на душѣ легко, радостно, наступитъ свободная и, быть-можетъ, счастливая жизнь. Въ тоскѣ ожиданія она склонилась къ клавишамъ

и ей страстно захотѣлось, чтобы перемѣна въ жизни произошла сейчасъ же, немедленно, и было страшно отъ мысли, что прежняя жизнь будетъ продолжаться еще нѣкоторое время. Потомъ опять играла и пѣла чуть слышно, и кругомъ было тихо. Изъ нижняго этажа уже не доносился гулъ: должно-быть, тамъ легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.

Анна Акимовна прошлась по всѣмъ комнатамъ, полежала на диванѣ, прочла у себя въ кабинетѣ письма, полученныя вечеромъ. Было двѣнадцать писемъ поздравительныхъ и три анонимныхъ, безъ подписи. Въ одномъ какой-то простой рабочій ужаснымъ, едва разборчивымъ почеркомъ жаловался на то, что въ фабричной лавкѣ продаются рабочимъ горькое постное масло, отъ котораго пахнетъ керосиномъ; въ другомъ—кто-то доносилъ почтительно, что Назарычъ на послѣднихъ торгахъ, покупая желѣзо, взялъ отъ кого-то взятку въ тысячу рублей; въ третьемъ ее бранили за безчеловѣчность.

Праздничное возбужденіе уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна сѣла опять за рояль и тихо заиграла одинъ изъ новыхъ вальсовъ, потомъ вспомнила, какъ умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обѣдомъ. Поглядѣла она кругомъ на темныя окна и стѣны съ картинами, на слабый свѣтъ, который шелъ изъ залы, и вдругъ нечаянно заплакала и ей досадно стало, что она такъ одинока, что ей не съ кѣмъ поговорить, посовѣтоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать въ воображеніи Пименова, но уже ничего не выходило.

Пробило двѣнадцать. Вошелъ Мишенька, уже не во фракѣ, а въ пиджакѣ, и молча зажегъ двѣ свѣчи; затѣмъ онъ вышелъ и черезъ минуту вернулся съ подносомъ, на которомъ была чашка съ чаемъ.

— Что вы смѣетесь? — спросила она, замѣтивъ на его лицѣ улыбку.

— Я внизу былъ и слышалъ, какъ вы шутили насчетъ Пименова... — сказалъ онъ и прикрылъ рукой смѣющійся ротъ.—Посадить бы его давеча обѣдать съ Викторомъ Николаевичемъ и съ генераломъ, такъ онъ померъ бы со страху.—У Мишеньки задрожали плечи отъ смѣха.—О—вилки, небось, держать не умѣетъ.

ПОПРЫГУНЬЯ.

I.

На свадьбѣ у Ольги Ивановны были всѣ ея друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, въ немъ что-то есть? — говорила она своимъ друзьямъ, кивая на мужа и какъ бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновеннаго и ничѣмъ не замѣчательнаго человѣка.

Ея мужъ, Осипъ Степанычъ Дымовъ, былъ врачомъ и имѣлъ чинъ титулярнаго совѣтника. Служилъ онъ въ двухъ больницахъ: въ одной сверхштатнымъ ординаторомъ, а въ другой — прозекторомъ. Ежедневно отъ 9 часовъ утра до полудня онъ принималъ больныхъ и занимался у себя въ палатѣ, а послѣ полудня ѣхалъ на конкѣ въ другую больницу, гдѣ вскрывалъ умершихъ больныхъ. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсотъ въ годъ. Вотъ и все. Что еще можно про него сказать? А между тѣмъ, Ольга Ивановна и ея друзья и добрые знакомые были не совсѣмъ обыкновенные люди. Каждый изъ нихъ былъ чѣмъ-нибудь замѣчателенъ и немножко извѣстенъ, имѣлъ уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не былъ еще знаменитъ, но зато подавалъ блестящія надежды. Артистъ изъ драматическаго театра, большой, давно признанный талантъ, изящный, умный и скромный человѣкъ и отличный чтецъ, учившій Ольгу Ивановну читать; пѣвецъ изъ оперы, добродушный толстякъ, со вздохомъ увѣрявшій

Ольгу Ивановну, что она губитъ себя: если бы она не лѣнилась и взяла себя въ руки, то изъ нея вышла бы замѣчательная пѣвица; затѣмъ, нѣсколько художниковъ и во главѣ ихъ жанристъ, анималистъ и пейзажистъ Рябовскій, очень красивый бѣлокурый молодой человѣкъ, лѣтъ 25, имѣвшій успѣхъ на выставкахъ и продавшій свою послѣднюю картину за пятьсотъ рублей; онъ поправлялъ Ольгѣ Ивановнѣ ея этюды и говорилъ, что изъ нея, быть-можетъ, выйдетъ толкъ; затѣмъ віолончелистъ, у котораго инструментъ плакалъ, и который откровенно сознавался, что изъ всѣхъ знакомыхъ ему женщинъ умѣетъ аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затѣмъ литераторъ, молодой, но уже извѣстный, писавшій повѣсти, пьесы и разсказы. Еще кто? Ну, еще Василій Васильевичъ, баринъ, помѣщикъ, дилетантъ-иллюстраторъ и виньетистъ, сильно чувствовавшій старый русскій стиль, былину и эпосъ; на бумагѣ, на фарфорѣ и на закопченыхъ тарелкахъ онъ производилъ буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компаніи, правда, деликатной и скромной, но вспоминавшій о существованіи какихъ-то докторовъ только во время болѣзни, и для которой имя Дымовъ звучало такъ же безразлично, какъ Сидоровъ или Тарасовъ, — среди этой компаніи Дымовъ казался чужимъ, лишнимъ и маленькимъ, хотя былъ высокъ ростомъ и широкъ въ плечахъ. Казалось, что на немъ чужой фракъ и что у него приказчицкая бородка. Впрочемъ, если бы онъ былъ писателемъ или художникомъ, то сказали бы, что своей бородкой онъ напоминаетъ Зола.

Артистъ говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что со своими льняными волосами и въ вѣнчальномъ нарядѣ она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бываетъ покрыто нѣжными бѣлыми цвѣтами.

— Нѣтъ, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Какъ это могло вдругъ случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вамъ сказать, что отецъ служилъ вмѣстѣ съ Дымовымъ въ одной больницѣ. Когда бѣдняжка-отецъ заболѣлъ, то Дымовъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ дежурилъ около его постели. Столько самопожертвованія! Слушайте, Рябовскій... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвованія, искренняго участія! Я тоже не спала

ночи и сидѣла около отца, и вдругъ — здравствуйте, побѣдила дѳбра молодца! Мой Дымовъ врѣзался по самыя уши. Право, судьба бываетъ такъ причудлива. Ну, послѣ смерти отца онъ иногда бывалъ у меня, встрѣчался на улицѣ и въ одинъ прекрасный вечеръ вдругъ—бацъ! сдѣлалъ предложеніе... какъ снѣгъ на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вотъ, какъ видите, стала супругой. Не правда ли, въ немъ есть что-то сильное, могучее, медвѣжье? Теперь его лицо обращено къ намъ въ три четверти, плохо освѣщено, но когда онъ обернется, вы посмотрите на его лобъ. Рябовскій, что вы скажете объ этомъ лбѣ? Дымовъ, мы о тебѣ говоримъ! — крикнула она мужу.—Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вотъ такъ. Будьте друзьями.

Дымовъ, добродушно и наивно улыбаясь, протянулъ Рябовскому руку и сказалъ:

— Очень радъ. Со мной кончилъ курсъ тоже нѣкто Рябовскій. Это не родственникъ вашъ?

II.

Ольгѣ Ивановнѣ было 22 года, Дымову 31. Зажили они послѣ свадьбы превосходно. Ольга Ивановна въ гостиной увѣшала всѣ стѣны сплошь своими и чужими этюдами въ рамахъ и безъ рамъ, а около рояля и мебели устроила красивую тѣсноту изъ китайскихъ зонтовъ, мольбертовъ, разноцвѣтныхъ тряпочекъ, кинжаловъ, бюстиковъ, фотографій... Въ столовой она оклеила стѣны лубочными картинами, повѣсила лапти и серпъ, поставила въ углу косу и грабли, и получилась столовая въ русскомъ вкусѣ. Въ спальнѣ она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолокъ и стѣны темнымъ сукномъ, повѣсила надъ кроватями венеціанскій фонарь, а у дверей поставила фигуру съ аллебардой. И всѣ находили, что у молодыхъ супруговъ очень миленькій уголокъ.

Ежедневно, вставши съ постели часовъ въ одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли, или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потомъ, въ первомъ часу, она ѣхала къ своей портнихѣ. Такъ какъ у нея и Дымова денегъ было очень немного, въ обрѣзъ, то, чтобы часто появляться въ новыхъ платьяхъ и поражать своими нарядами, ей и ея портнихѣ приходилось пускаться на

хитрости. Очень часто изъ стараго перекрашеннаго платья, изъ ничего не стоящихъ кусочковъ тюля, кружевъ, плюша и шелка выходили просто чудеса, нѣчто обворожительное, не платье, а мечта. Отъ портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ѣхала къ какой-нибудь знакомой актрисѣ, чтобы узнать театральныя новости и кстати похлопотать насчетъ билета къ первому представленію новой пьесы или къ бенефису. Отъ актрисы нужно было ѣхать въ мастерскую художника или на картинную выставку, потомъ къ кому-нибудь изъ знаменитостей—приглашать къ себѣ, или отдать визитъ, или просто поболтать. И вездѣ ее встрѣчали весело и дружелюбно и увѣряли ее, что она хорошая, милая, рѣдкая... Тѣ, которыхъ она называла знаменитыми и великими, принимали ее, какъ свою, какъ ровню, и пророчили ей въ одинъ голосъ, что при ея талантахъ, вкусѣ и умѣ, если она не разбросается, выйдетъ большой толкъ. Она пѣла, играла на рояли, писала красками, лѣпила, участвовала въ любительскихъ спектакляхъ, но все это не какъ-нибудь, а съ талантомъ; дѣлала ли она фонарики для иллюминаціи, рядилась ли, завязывала ли кому галстукъ—все у нея выходило необыкновенно художественно, граціозно и мило. Но ни въ чемъ ея талантливость не сказывалась такъ ярко, какъ въ ея умѣньи быстро знакомиться и коротко сходиться съ знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себѣ говорить, какъ она ужъ знакомилась съ нимъ, въ тотъ же день дружилась и приглашала къ себѣ. Всякое новое знакомство было для нея сущимъ праздникомъ. Она боготворила знаменитыхъ людей, гордилась ими и каждую ночь видѣла ихъ во снѣ. Она жаждала ихъ и никакъ не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смѣну имъ новые, но и къ этимъ она скоро привыкала или разочаровывалась въ нихъ и начинала жадно искать новыхъ и новыхъ великихъ людей, находила и опять искала. Для чего?

Въ пятомъ часу она обѣдала дома съ мужемъ. Его простота, здравый смыслъ и добродушіе приводили ее въ умиленіе и восторгъ. Она то и дѣло вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцѣлуями.

— Ты, Дымовъ, умный, благородный человѣкъ, — говорила она:—но у тебя есть одинъ очень важный недостатокъ.

Ты совсѣмъ не интересуешься искусствомъ. Ты отрицаешь и музыку, и живопись.

— Я не понимаю ихъ,—говорилъ онъ кротко.—Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мнѣ некогда было интересоваться искусствами.

— Но вѣдь это ужасно, Дымовъ!

— Почему же? Твои знакомые не знаютъ естественныхъ наукъ и медицины, однако ты не ставишь имъ этого въ упрекъ. У каждаго свое. Я не понимаю пейзажей и оперъ, но думаю такъ: если одни умные люди посвящаютъ имъ всю свою жизнь, а другіе умные люди платятъ за нихъ громадныя деньги, то, значитъ, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значитъ отрицать.

— Дай, я пожму твою честную руку!

Послѣ обѣда Ольга Ивановна ѣхала къ знакомымъ, потомъ въ театръ или на концертъ и возвращалась домой послѣ полуночи. Такъ каждый день.

По средамъ у нея бывали вечеринки. На этихъ вечеринкахъ хозяйка и гости не играли въ карты и не танцовали, а развлекали себя разными художествами. Актеръ изъ драматическаго театра читалъ, пѣвецъ пѣлъ, художники рисовали въ альбомы, которыхъ у Ольги Ивановны было множество, віолончелистъ игралъ, и сама хозяйка тоже рисовала, лѣпила, пѣла и аккомпанировала. Въ промежуткахъ между чтеніемъ, музыкой и пѣніемъ говорили и спорили о литературѣ, театрѣ и живописи. Дамъ не было, потому что Ольга Ивановна всѣхъ дамъ, кромѣ актрисъ и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась безъ того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждомъ звонкѣ и не говорила съ побѣднымъ выраженіемъ лица: «Это онъ!», разумѣя подъ словомъ «онъ» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова въ гостиной не было, и никто не вспоминалъ объ его существованіи. Но ровно въ половинѣ двѣнадцатаго отворялась дверь, ведущая въ столовую, показывался Дымовъ со своею добродушною кроткою улыбкой и говорилъ, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Всѣ шли въ столовую и всякій разъ видѣли на столѣ одно и то же: блюдо съ устрицами, кусокъ ветчины или

телятины, сардины, сыръ, икру, грибы, водку и два графина съ виномъ.

— Милый мой метръ-д'отель!—говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками отъ восторга. — Ты просто очарователенъ! Господа, посмотрите на его лобъ! Дымовъ, повернись въ профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальскаго тигра, а выраженіе доброе и милое, какъ у оленя. У, милый!

Гости ѣли и, глядя на Дымова, думали: «Въ самомъ дѣлѣ, славный малый»,—но скоро забывали о немъ и продолжали говорить о театрѣ, музыкѣ и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь ихъ текла какъ по маслу. Впрочемъ, третья недѣля ихъ медоваго мѣсяца была проведена не совсѣмъ счастливо, даже печально. Дымовъ заразился въ больницѣ рожей, пролежалъ въ постели шесть дней и долженъ былъ остричь до-гола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидѣла около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надѣла на его стриженую голову бѣленькій платокъ и стала писать съ него бедуина. И обоимъ было весело. Дня черезъ три послѣ того, какъ онъ, выздоровѣвши, сталъ опять ходить въ больницы, съ нимъ произошло новое недоразумѣніе.

— Мнѣ не везетъ, мама! — сказалъ онъ однажды за обѣдомъ.—Сегодня у меня было четыре вскрытія, и я себѣ сразу два пальца порѣзалъ. И только дома я это замѣтилъ.

Ольга Ивановна испугалась. Онъ улыбнулся и сказалъ, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытій дѣлать себѣ порѣзы на рукахъ.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь разсѣяннымъ.

Ольга Ивановна съ тревогой ожидала трупнаго зараженія и по ночамъ молилась Богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь безъ печалей и тревогъ. Настоящее было прекрасно, а на смѣну ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обѣщавшая тысячу радостей. Счастью не будетъ конца! Въ апрѣлѣ, въ маѣ и въ іюнѣ дача далеко за городомъ, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потомъ, съ іюля до самой осени, поѣздка художниковъ на Волгу и въ этой поѣздкѣ, какъ непремѣнный членъ сосьетѣ, будетъ принимать участіе и Ольга Ивановна. Она уже сшила себѣ два дорожныхъ костюма изъ холстинки, купила на дорогу красокъ, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день къ ней при-

ходилъ Рябовскій, чтобы посмотрѣть, какіе она сдѣлала успѣхи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, онъ засовывалъ руки глубоко въ карманы, крѣпко сжималъ губы, сопѣлъ и говорилъ:

— Такъ-съ... Это облако у васъ кричитъ: оно освѣщено не по-вечернему. Передній планъ какъ-то сжеванъ и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у васъ подавилась чѣмъ-то и жалобно пищитъ... надо бы уголъ этотъ потемнѣе взять. А въ общемъ недурственно... Хвалю.

И чѣмъ онъ непонятнѣе говорилъ, тѣмъ легче Ольга Ивановна его понимала.

III.

На второй день Троицы послѣ обѣда Дымовъ купилъ закусокъ и конфетъ и поѣхалъ къ женѣ на дачу. Онъ не видѣлся съ нею уже двѣ недѣли и сильно соскучился. Сидя въ вагонѣ и потомъ отыскивая въ большой рощѣ свою дачу, онъ все время чувствовалъ голодъ и утомленіе и мечталъ о томъ, какъ онъ на свободѣ поужинаетъ вмѣстѣ съ женой и потомъ завалится спать. И ему весело было смотрѣть на свой свертокъ, въ которомъ были завернуты икра, сыръ и бѣлорыбица.

Когда онъ отыскалъ свою дачу и узналъ ее, уже заходило солнце. Старуха-горничная сказала, что барыни нѣтъ дома и что, должно-быть, онѣ скоро придутъ. На дачѣ, очень неприглядной на видъ, съ низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и съ неровными щелистыми полами, было только три комнаты. Въ одной стояла кровать, въ другой на стульяхъ и окнахъ валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужскія пальто и шляпы, а въ третьей Дымовъ засталъ трехъ какихъ-то незнакомыхъ мужчинъ. Двое были брюнеты съ бородами, а третій совсѣмъ бритый и толстый, повидимому, — актеръ. На столѣ кипѣлъ самоваръ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ актеръ басомъ, нелюдимо оглядывая Дымова. — Вамъ Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчасъ придетъ.

Дымовъ сѣлъ и сталъ дожидаться. Одинъ изъ брюнетовъ, сонно и вяло поглядывая на него, налилъ себѣ чаю и спросилъ:

— Можетъ, чаю хотите?

Дымову хотѣлось и пить и ѣсть, но, чтобы не портить себѣ аппетита, онъ отказался отъ чая. Скоро послышались шаги и знакомый смѣхъ; хлопнула дверь, и въ комнату вбѣжала Ольга Ивановна въ широкополой шляпѣ и съ ящикомъ въ рукѣ, а вслѣдъ за нею съ большимъ зонтомъ и со складнымъ стуломъ вошелъ веселый, краснощекій Рябовскій.

— Дымовъ! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула отъ радости.—Дымовъ!—повторила она, кладя ему на грудь голову и обѣ руки. — Это ты! Отчего ты такъ долго не пріѣзжалъ? Отчего? Отчего?

— Когда же мнѣ, мама? Я всегда занятъ, а когда бываю свободенъ, то все случается такъ, что расписаніе поѣздовъ не подходитъ.

— Но какъ я рада тебя видѣть! Ты мнѣ всю, всю ночь снился, и я боялась, какъ бы ты не заболѣлъ. Ахъ, если бъ ты зналъ, какъ ты милъ, какъ ты кстати пріѣхалъ! Ты будешь моимъ спасителемъ. Ты одинъ только можешь спасти меня! Завтра будетъ здѣсь преоригинальная свадьба,—продолжала она, смѣясь и завязывая мужу галстукъ.—Женится молодой телеграфистъ на станціи, нѣкто Чикельдѣевъ. Красивый молодой человѣкъ, ну, не глупый и есть въ лицѣ, знаешь, что-то сильное, медвѣжье... Можно съ него молодого варяга писать. Мы, всѣ дачники, принимаемъ въ немъ участіе и дали ему честное слово быть у него на свадьбѣ... Человѣкъ небогатый, одинокій, робкій и, конечно, было бы грѣшно отказать ему въ участіи. Представь, послѣ обѣдни вѣнчанье, потомъ изъ церкви всѣ пѣшкомъ до квартиры невѣсты... понимаешь, роща, пѣніе птицъ, солнечныя пятна на травѣ и всѣ мы разноцвѣтными пятнами на ярко-зеленомъ фонѣ — преоригинально, во вкусѣ французскихъ экспрессіонистовъ. Но, Дымовъ, въ чемъ я пойду въ церковь?—сказала Ольга Ивановна и сдѣлала плачущее лицо.— У мень здѣсь ничего нѣтъ, буквально ничего! Ни платья, ни цвѣтовъ, ни перчатокъ... Ты долженъ меня спасти. Если пріѣхалъ, то, значитъ, сама судьба велитъ тебѣ спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поѣзжай домой и возьми тамъ въ гардеробѣ мое розовое платье. Ты его помнишь, оно виситъ первое... Потомъ въ кладовой съ правой стороны на полу ты увидишь двѣ картонки. Какъ откроешь верхнюю, такъ тамъ все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки,

а подъ ними цвѣты. Цвѣты всѣ вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять, ихъ потомъ я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказалъ Дымовъ. — Я завтра поѣду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрѣла на него съ удивленіемъ.—Когда же ты успѣешь завтра? Завтра отходитъ первый поѣздъ въ 9 часовъ, а вѣнчаніе въ 11. Нѣтъ, голубчикъ, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебѣ нельзя будетъ пріѣхать, то пришли съ разсыльнымъ. Ну, иди же... Сейчасъ долженъ придти пассажирскій поѣздъ. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ахъ, какъ мнѣ жаль тебя отпустить,—сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нея на глазахъ.—И зачѣмъ я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымовъ быстро выпилъ стаканъ чаю, взялъ баранку и, кротко улыбаясь, пошелъ на станцію. А икру, сыръ и бѣлорыбицу съѣли два брюнета и толстый актеръ.

IV.

Въ тихую лунную іюльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубѣ волжскаго парохода и смотрѣла то на воду, то на красивые берега. Рядомъ съ нею стоялъ Рябовскій и говорилъ ей, что черныя тѣни на водѣ—не тѣни, а сонъ, что въ виду этой колдовской воды съ фантастическимъ блескомъ, въ виду бездоннаго неба и грустныхъ, задумчивыхъ береговъ, говорящихъ о суетѣ нашей жизни и о существованіи чего-то высшаго, вѣчнаго, блаженнаго, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминаніемъ. Прошедшее пошло и не интересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная въ жизни ночь скоро кончится, сольется съ вѣчностью—зачѣмъ же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то къ голосу Рябовскаго, то къ тишинѣ ночи и думала о томъ, что она безсмертна и никогда не умретъ. Бирюзовый цвѣтъ воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черныя тѣни и безотчетная радость, наполнявшая ея душу, говорили ей, что изъ нея выйдетъ великая художница, и что гдѣ-то тамъ за далью, за лунной ночью, въ безконечномъ пространствѣ ожидаютъ ее успѣхъ, слава, любовь народа... Когда она, не мигая, долго смотрѣла вдаль, ей чудились

толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она въ бѣломъ платьѣ и цвѣты, которые сыпались на нее со всѣхъ сторонъ. Думала она также о томъ, что рядомъ съ нею, облокотившись о бортъ, стоитъ настоящій великій человѣкъ, геній, Божій избранникъ... Все, что онъ создалъ до сихъ поръ, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создастъ онъ со временемъ, когда съ возмужалостью окрѣпнетъ его рѣдкій талантъ, будетъ поразительно, неизмѣримо высоко, и это видно по его лицу, по манерѣ выражаться и по его отношенію къ природѣ. О тѣняхъ, вечернихъ тонахъ, о лунномъ блескѣ онъ говоритъ какъ-то особенно, своимъ языкомъ, такъ что невольно чувствуется обаяніе его власти надъ природой. Самъ онъ очень красивъ, оригиналенъ, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейскаго, похожа на жизнь птицы.

— Становится свѣжо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовскій окуталъ ее въ свой плащъ и сказалъ печально:

— Я чувствую себя въ вашей власти. Я рабъ. Зачѣмъ вы сегодня такъ обворожительны?

Онъ все время глядѣлъ на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю васъ...—шепталъ онъ, дыша ей на щеку.—Скажите мнѣ одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормоталъ онъ въ сильномъ волненіи. — Любите меня, любите...

— Не говорите такъ,—сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.—Это страшно. А Дымовъ?

— Что Дымовъ? Почему Дымовъ? Какое мнѣ дѣло до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторгъ, а никакого нѣтъ Дымова... Ахъ, я ничего не знаю... Не нужно мнѣ прошлаго, мнѣ дайте одно мгновеніе... одинъ мигъ!

У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотѣла думать о мужѣ, но все ея прошлое со свадьбой, съ Дымовымъ и съ вечеринками, казалось ей маленькимъ, ничтожнымъ, тусклымъ, ненужнымъ и далекимъ-далекимъ... Въ самомъ дѣлѣ: что Дымовъ? почему Дымовъ? какое ей дѣло до Дымова? Да существуетъ ли онъ въ природѣ и не сонъ ли онъ только?

«Для него, простого и обыкновеннаго человѣка, достаточно и того счастья, которое онъ уже получилъ,—думала

она, закрывая лицо руками.—Пусть осуждаютъ *тамъ*, проклинаютъ, а я вотъ на зло всѣмъ возьму и погибну, возьму вотъ и погибну... Надо испытать все въ жизни. Боже, какъ жутко и какъ хорошо!»

— Ну что? Что?—бормоталъ художникъ, обнимая ее и жадно цѣлуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его отъ себя.—Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь!—прошептала она, глядя ему въ глаза, блестящіе отъ слезъ, потомъ быстро оглянулась, обняла его и крѣпко поцѣловала въ губы.

— Къ Кинешмѣ подходимъ!—сказалъ кто-то на другой сторонѣ палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходилъ мимо человѣкъ изъ буфета.

— Послушайте,—сказала ему Ольга Ивановна, смѣясь и плача отъ счастья:—принесите намъ вина.

Художникъ, блѣдный отъ волненія, сѣлъ на скамью, посмотрѣлъ на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потомъ закрылъ глаза и сказалъ, томно улыбаясь:

— Я усталъ.

И прислонился головою къ борту.

V.

Второго сентября день былъ теплый и тихій, но пасмурный. Рано утромъ на Волгѣ бродилъ легкій туманъ, а послѣ девяти часовъ сталъ накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаемъ Рябовскій говорилъ Ольгѣ Ивановнѣ, что живопись—самое неблагодарное и самое скучное искусство, что онъ не художникъ, что одни только дураки думаютъ, что у него есть талантъ, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, схватилъ ножъ и поцарапалъ имъ свой самый лучшій этюдъ. Послѣ чая онъ, мрачный, сидѣлъ у окна и смотрѣлъ на Волгу. А Волга уже была безъ блеска, тусклая, матовая, холодная на видъ. Все, все напоминало о приближеніи тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегахъ, алмазныя отраженія лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь съ Волги и уложила въ сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! голая!» Рябовскій слу-

шалъ ихъ карканье и думалъ о томъ, что онъ уже выдохся и потерялъ талантъ, что все на этомъ свѣтѣ условно, относительно и глупо, и что не слѣдовало бы связывать себя съ этой женщиной... Однимъ словомъ, онъ былъ не въ духѣ и хандрилъ.

Ольга Ивановна сидѣла за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то въ гостиной, то въ спальнѣ, то въ кабинетѣ мужа; воображеніе уносило ее въ театръ, къ портнихѣ и къ знаменитымъ друзьямъ. Что-то они подѣлываютъ теперь? Вспоминаютъ ли о ней? Сезонъ уже начался, и пора бы подумать о вечеринкахъ. А Дымовъ? Милый Дымовъ! Какъ кротко и дѣтски-жалобно онъ проситъ ее въ своихъ письмахъ поскорѣе ѣхать домой! Каждый мѣсяцъ онъ высылалъ ей по 75 рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникамъ сто рублей, то онъ прислалъ ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человѣкъ! Путешествіе утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотѣлось поскорѣе уйти отъ этихъ мужиковъ, отъ запаха рѣчной сырости и сбросить съ себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя въ крестьянскихъ избахъ и кочуя изъ села въ село. Если бы Рябовскій не далъ честнаго слова художникамъ, что онъ проживетъ съ ними здѣсь до 20-го сентября, то можно было бы уѣхать сегодня же. И какъ бы это было хорошо!

— Боже мой,—простоналъ Рябовскій:—когда же, наконецъ, будетъ солнце? Не могу же я солнечный пейзажъ продолжать безъ солнца!..

— А у тебя есть этюдъ при облачномъ небѣ,—сказала Ольга Ивановна, выходя изъ-за перегородки. — Помнишь, на правомъ планѣ лѣсъ, а на лѣвомъ — стадо коровъ и гуси. Теперь ты могъ бы его кончить.

— Э!—поморщился художникъ. — Кончить! Неужели вы думаете, что самъ я такъ глупъ, что не знаю, что мнѣ нужно дѣлать!

— Какъ ты ко мнѣ перемѣнился! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла къ печкѣ и заплакала.

— Да, недоставало только слезъ. Перестаньте! У меня тысячи причинъ плакать, однакоже, я не плачу.

— Тысячи причинъ!—всхлипнула Ольга Ивановна.—Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да!—сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не замѣтили, хотя этого скрыть нельзя, и имъ все давно уже извѣстно.

— Ольга, я объ одномъ прошу васъ, — сказалъ художникъ умоляюще и приложивъ руку къ сердцу:—объ одномъ: не мучьте меня! Больше мнѣ отъ васъ ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно!—процѣдилъ сквозь зубы художникъ и вскочилъ.—Кончится тѣмъ, что я брошусь въ Волгу или сойду съ ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня!—крикнула Ольга Ивановна.—Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крышѣ избы зашуршалъ дождь. Рябовскій схватилъ себя за голову и прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ съ рѣшительнымъ лицомъ, какъ будто желая что-то кому-то доказать, надѣлъ фуражку, перекинулъ черезъ плечо ружье и вышелъ изъ избы.

По уходѣ его, Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о томъ, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшійся Рябовскій засталъ ее мертвою, потомъ же она унеслась мыслями въ гостиную, въ кабинетъ мужа и вообразила, какъ она сидитъ неподвижно рядомъ съ Дымовымъ и наслаждается физическимъ покоемъ и чистотой, и какъ вечеромъ сидитъ въ театрѣ и слушаетъ Мазини. И тоска по цивилизаціи, по городскому шуму и извѣстнымъ людямъ защемила ея сердце. Въ избу вошла баба и стала не спѣша топить печь, чтобы готовить обѣдъ. Запахло гарью, и воздухъ посинѣлъ отъ дыма. Приходили художники въ высокихъ грязныхъ сапогахъ и съ мокрыми отъ дождя лицами, разсматривали этюды и говорили себѣ въ утѣшеніе, что Волга даже и въ дурную погоду имѣетъ свою прелесть. А дешевые часы на стѣнкѣ: тикъ-тикъ-тикъ... Озябшія мухи столпились въ переднемъ углу около образовъ и жужжатъ, и слышно, какъ подъ лавками въ толстыхъ лапкахъ возятся прусаки...

Рябовскій вернулся домой, когда заходило солнце. Онъ бросилъ на столъ фуражку и, блѣдный, замученный, въ грязныхъ сапогахъ, опустился на лавку и закрылъ глаза.

— Я усталъ...—сказалъ онъ и задвигалъ бровями, силясь поднять вѣки.

Чтобы приласкаться къ нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла къ нему, молча поцѣловала и провела гребенкой по его бѣлокурымъ волосамъ. Ей захотѣлось причесать его.

— Что такое?—спросилъ онъ, вздрогнувъ, точно къ нему прикоснулись чѣмъ-то холоднымъ, и открылъ глаза. — Что такое? Оставьте меня въ покоѣ, прошу васъ.

Онъ отстранилъ ее руками и отошелъ, и ей показалось, что лицо его выражало отвращеніе и досаду. Въ это время баба осторожно несла ему въ обѣихъ рукахъ тарелку со щами, и Ольга Ивановна видѣла, какъ она обмочила во щахъ свои большіе пальцы. И грязная баба съ перетянутымъ животомъ, и щи, которыя сталъ жадно ѣсть Рябовскій, и изба, и вся эта жизнь, которую вначалѣ она такъ любила за простоту и художественный безпорядокъ, показались ей теперь ужасными. Она вдругъ почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Намъ нужно разстаться на нѣкоторое время, а то отъ скуки мы можемъ серьезно поссориться. Мнѣ это надоѣло. Сегодня я уѣду.

— На чемъ? На палочкѣ верхомъ?

— Сегодня четвергъ, значитъ, въ половинѣ десятаго придетъ пароходъ.

— А? Да, да... Ну, что жъ, поѣзжай... — сказалъ мягко Рябовскій, утираясь вмѣсто салфетки полотенцемъ. — Тебѣ здѣсь скучно и дѣлать нечего, и надо быть большимъ эгоистомъ, чтобы удерживать тебя. Поѣзжай, а послѣ двадцатаго увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нея разгорѣлись отъ удовольствія. Неужели это правда,— спрашивала она себя: — что скоро она будетъ писать въ гостиной, а спать въ спальнѣ и обѣдать со скатертью? У нея отлегло отъ сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебѣ, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь... Смотри же, безъ меня

тутъ не лѣнись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

Въ десять часовъ Рябовскій, на прощанье, поцѣловалъ ее для того, какъ она думала, чтобы не цѣловать на пароходѣ при художникахъ, и проводилъ на пристань. Подошелъ скоро пароходъ и увезъ ее.

Пріѣхала она домой черезъ двое съ половиной сутокъ. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша отъ волненія, она прошла въ гостиную, а оттуда въ столовую. Дымовъ безъ сюртука, въ разстегнутой жилеткѣ сидѣлъ за столомъ и точилъ ножъ о вилку; передъ нимъ на тарелкѣ лежалъ рябчикъ. Когда Ольга Ивановна входила въ квартиру, она была убѣждена, что необходимо скрыть все отъ мужа и что на это хватитъ у нея умѣнья и силы, но теперь, когда она увидѣла широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящіе радостные глаза, она почувствовала, что скрывать отъ этого человѣка такъ же подло, отвратительно и такъ же невозможно и не подъ силу ей, какъ оклеветать, украсть или убить, и она въ одно мгновеніе рѣшила разсказать ему все, что было. Давши ему поцѣловать себя и обнять, она опустилась передъ нимъ на колѣни и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросилъ онъ нѣжно. — Соскучилась?

Она подняла лицо, красное отъ стыда, и поглядѣла на него виновато и умоляюще, но страхъ и стыдъ помѣшали ей говорить правду.

— Ничего...—сказала она.—Это я такъ...

— Сядемъ, — сказалъ онъ, поднимая ее и усаживая за столъ. — Вотъ такъ... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бѣдняжка.

Она жадно вдыхала въ себя родной воздухъ и ѣла рябчика, а онъ съ умиленіемъ глядѣлъ на нее и радостно смѣялся.

VI.

Повидимому, съ середины зимы Дымовъ сталъ догадываться, что его обманываютъ. Онъ, какъ будто у него была совѣсть нечиста, не могъ уже смотрѣть женѣ прямо въ глаза, не улыбался радостно при встрѣчѣ съ нею и, чтобы меньше оставаться съ нею наединѣ, часто приводилъ къ

себѣ обѣдать своего товарища Коростелева, маленькаго стриженаго человѣчка съ помятымъ лицомъ, который, когда разговаривалъ съ Ольгой Ивановной, то отъ смущенія растегивалъ всѣ пуговицы своего пиджака и опять ихъ застегивалъ и потомъ начиналъ правой рукой щипать свой лѣвый усъ. За обѣдомъ оба доктора говорили о томъ, что при высокомъ стояніи діафрагмы иногда бываютъ перебои сердца, или что множественные невриты въ послѣднее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымовъ, вскрывши трупъ съ діагностикой «злокачественная анемія», нашелъ ракъ поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинскій разговоръ только для того, чтобы дать Ольгѣ Ивановнѣ возможность молчать, т. е. не лгать. Послѣ обѣда Коростелевъ садился за рояль, а Дымовъ вздыхалъ и говорилъ ему:

— Эхъ, братъ! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Поднявъ плечи и широко разставивъ пальцы, Коростелевъ бралъ нѣсколько аккордовъ и начиналъ пѣть теноромъ «Укажи мнѣ такую обитель, гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ», а Дымовъ еще разъ вздыхалъ, подпиралъ голову кулакомъ и задумывался.

Въ послѣднее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась въ самомъ дурномъ настроеніи и съ мыслью, что она Рябовскаго уже не любитъ и что, слава Богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовскій отнялъ у нея мужа и что теперь она осталась безъ мужа и безъ Рябовскаго; потомъ она вспомнила разговоры своихъ знакомыхъ о томъ, что Рябовскій готовитъ къ выставкѣ нѣчто поразительное, смѣсь пейзажа съ жанромъ, во вкусѣ Полѣнова, отчего всѣ, кто бываетъ въ его мастерской, приходятъ въ восторгъ; но вѣдь это, думала она, онъ создалъ подъ ея вліяніемъ и вообще, благодаря ея вліянію, онъ сильно измѣнился къ лучшему. Вліяніе ея такъ благотворно и существенно, что, если она оставитъ его, то онъ, пожалуй, можетъ погибнуть. И вспомнила она также, что въ послѣдній разъ онъ приходилъ къ ней въ какомъ-то сѣромъ сюртучкѣ съ искрами и въ новомъ галстукѣ и спрашивалъ томно: «Я красивъ?» И въ самомъ дѣлѣ, онъ, изящный, со своими длинными кудрями и съ голубыми глазами, былъ

очень красивъ (или, можетъ-быть, такъ показалось) и былъ ласковъ съ ней.

Вспомнивъ про многое и сообразивъ, Ольга Ивановна одѣвалась и въ сильномъ волненіи ѣхала въ мастерскую къ Рябовскому. Она заставала его веселымъ и восхищеннымъ своею, въ самомъ дѣлѣ, великолѣпною картиной; онъ прыгалъ, дурачился и на серьезные вопросы отвѣчалъ шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовскаго къ картинѣ и ненавидѣла ее, но изъ вѣжливости простаивала передъ картиной молча минутъ пять и, вздохнувъ, какъ вздыхаютъ передъ святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писалъ еще ничего подобнаго. Знаешь, даже страшно.

Потомъ она начинала умолять его, чтобы онъ любилъ ее, не бросалъ, чтобы пожалѣлъ ее бѣдную и несчастную. Она плакала, цѣловала ему руки, требовала, чтобы онъ клялся ей въ любви, доказывала ему, что безъ ея хорошаго вліянія онъ собьется съ пути и погибнетъ. И, испортивъ ему хорошее настроеніе духа и чувствуя себя униженной, она уѣзжала къ портнихѣ или къ знакомой актрисѣ похлопотать насчетъ билета.

Если она не заставала его въ мастерской, то оставляла ему письмо, въ которомъ клялась, что, если онъ сегодня не придетъ къ ней, то она непремѣнно отравится. Онъ трусилъ, приходилъ къ ней и оставался обѣдать. Не стѣсняясь присутствіемъ мужа, онъ говорилъ ей дерзости, она отвѣчала ему тѣмъ же. Оба чувствовали, что они связываютъ другъ друга, что они деспоты и враги, и злились, и отъ злости не замѣчали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелевъ понимаетъ все. Послѣ обѣда Рябовскій спѣшилъ проститься и уйти.

— Куда вы идете?—спрашивала его Ольга Ивановна въ передней, глядя на него съ ненавистью.

Онъ, морщась и щуря глаза, называлъ какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это онъ смѣется надъ ея ревностью и хочетъ досадить ей. Она шла къ себѣ въ спальню и ложилась въ постель; отъ ревности, досады, чувства униженія и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымовъ оставлялъ Коростелева въ гостиной, шелъ въ спальню и, сконфуженной, растерянный, говорилъ тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачѣмъ? Надо молчать объ этомъ... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, какъ усмирить въ себѣ тяжелую ревность, отъ которой даже въ вискахъ ломило, и думая, что еще можно поправить дѣло, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летѣла къ знакомой дамѣ. Не заставъ у нея Рябовскаго, она ѣхала къ другой, потомъ къ третьей... Сначала ей было стыдно такъ ѣздить, но потомъ она привыкла, и случалось, что въ одинъ вечеръ она объѣзжала всѣхъ знакомыхъ женщинъ, чтобы отыскать Рябовскаго, и всѣ понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушіемъ!

Эта фраза ей такъ понравилась, что, встрѣчаясь съ художниками, которые знали объ ея романѣ съ Рябовскимъ, она всякій разъ говорила про мужа, дѣлая энергическій жестъ рукой:

— Этотъ человѣкъ гнететъ меня своимъ великодушіемъ!

Порядокъ жизни былъ такой же, какъ въ прошломъ году. По средамъ бывали вечеринки. Артистъ читалъ, художники рисовали, віолончелистъ игралъ, пѣвецъ пѣлъ, и неизмѣнно въ половинѣ двѣнадцатаго открывалась дверь, ведущая въ столовую, и Дымовъ, улыбаясь, говорилъ:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Попрежнему Ольга Ивановна искала великихъ людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. Попрежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымовъ уже не спалъ, какъ въ прошломъ году, а сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и что-то работалъ. Ложился онъ часа въ три, а вставалъ въ восемь.

Однажды вечеромъ, когда она, собираясь въ театръ, стояла передъ трюмо, въ спальню вошелъ Дымовъ во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ. Онъ кротко улыбался и, какъ прежде, радостно смотрѣлъ женѣ прямо въ глаза. Лицо его сіяло.

— Я сейчасъ диссертацію защищалъ,—сказалъ онъ, садясь и поглаживая колѣна.

— Защитилъ?—спросила Ольга Ивановна.

— Ого!—засмѣялся онъ и вытянулъ шею, чтобы увидѣть въ зеркалѣ лицо жены, которая продолжала стоять къ нему спиной и поправлять прическу.—Ого!—повторилъ

Знаешь, очень возможно, что мнѣ предложатъ приватъ-доцентуру по общей паталогіи. Этимъ пахнетъ.

Видно было по его блаженному, сіяющему лицу, что, если бы Ольга Ивановна раздѣлила съ нимъ его радость и торжество, то онъ простилъ бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забылъ, но она не понимала, что̀ значитъ приватъ-доцентура и общая патологія, къ тому же боялась опоздать въ театръ и ничего не сказала.

Онъ посидѣлъ двѣ минуты, виновато улыбнулся и вышелъ.

VII.

Это былъ безпокойнѣйшій день.

У Дымова сильно болѣла голова; онъ утромъ не пилъ чаю, не пошелъ въ больницу и все время лежалъ у себя въ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ. Ольга Ивановна, по обыкновенію, въ первомъ часу отправилась къ Рябовскому, чтобы показать ему свой этюдъ nature morte и спросить его, почему онъ вчера не приходилъ. Этюдъ казался ей ничтожнымъ, и написала она его только затѣмъ, чтобы имѣть лишній предлогъ сходить къ художнику.

Она вошла къ нему безъ звонка, и когда въ передней снимала калоши, ей послышалось, какъ будто въ мастерской что-то тихо пробѣжало, по-женски шурша платьемъ, и когда она поспѣшила заглянуть въ мастерскую, то увидѣла только кусокъ коричневой юбки, который мелькнулъ на мгновеніе и исчезъ за большою картиной, занавѣшенной вмѣстѣ съ мольбертомъ до пола чернымъ каленкоромъ. Сомнѣваться нельзя было, это пряталась женщина. Какъ часто сама Ольга Ивановна находила себѣ убѣжище за этой картиной! Рябовскій, повидимому, очень смущенный, какъ бы удивился ея приходу, протянулъ къ ней обѣ руки и сказалъ, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень радъ васъ видѣть. Что скажете хорошенькаго?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за милліонъ не согласилась бы говорить въ присутствіи посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вѣроятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вамъ этюдъ... — сказала она робко, тонкимъ голоскомъ, и губы ея задрожали:—nature morte.

— А-а-а... этюдъ?

Художникъ взялъ въ руки этюдъ и, разсматривая его, какъ бы машинально прошелъ въ другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за нимъ.

— Nature morte... первый сортъ,—бормоталъ онъ, подбирая риѳму:—курортъ... чортъ... портъ...

Изъ мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значитъ, *она* ушла. Ольгѣ Ивановнѣ хотѣлось громко крикнуть, ударить художника по головѣ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и уйти, но она ничего не видѣла сквозь слезы, была подавлена своимъ стыдомъ и чувствовала себя ужъ не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я усталъ...—томно проговорилъ художникъ, глядя на этюдъ и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюдъ, и въ прошломъ году этюдъ, и черезъ мѣсяцъ будетъ этюдъ... Какъ вамъ не наскучитъ? Я бы на вашемъ мѣстѣ бросилъ живопись и занялся серьезно музыкой или чѣмъ-нибудь. Вѣдь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, какъ я усталъ! Я сейчасъ скажу, чтобъ дали чаю... А?

Онъ вышелъ изъ комнаты, и Ольга Ивановна слышала, какъ онъ что-то приказывалъ своему лакею. Чтобъ не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовскій, поскорѣе побѣжала въ переднюю, надѣла калоши и вышла на улицу. Тутъ она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и отъ Рябовскаго, и отъ живописи, и отъ тяжелаго стыда, который такъ давилъ ее въ мастерской! Все кончено!

Она поѣхала къ портнихѣ, потомъ къ Барнаю, который только вчера пріѣхалъ, отъ Барная—въ нотный магазинъ, и все время она думала о томъ, какъ она напишетъ Рябовскому холодное, жесткое, полное собственнаго достоинства письмо, и какъ весною или лѣтомъ она поѣдетъ съ Дымовымъ въ Крымъ, освободится тамъ окончательно отъ прошлаго и начнетъ новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечеромъ, она, не переодѣваясь, сѣла въ гостиной сочинять письмо. Рябовскій сказалъ ей, что она не художница, и она въ отместку напишетъ ему теперь, что онъ каждый годъ пишетъ все одно и то же, что каждый день говоритъ одно и то же, что

что изъ него не выйдетъ ничего, кромѣ того, что уже вышло. Ей хотѣлось написать также, что онъ многимъ обязанъ ея хорошему вліянію, а если онъ поступаетъ дурно, то это только потому, что ея вліяніе парализуется разными двусмысленными особами, въ родѣ той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвалъ изъ кабинета Дымовъ, не отворяя двери.—Мама!

— Что тебѣ?

— Мама, ты не входи ко мнѣ, а только подойди къ двери.—Вотъ что... Третьяго дня я заразился въ больницѣ дифтеритомъ и теперь... мнѣ не хорошо. Пошли скорѣе за Коростелевымъ.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, какъ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ, не по имени, а по фамиліи; его имя Осипъ не нравилось ей, потому что напоминало гоголевскаго Осипа и каламбуръ: «Осипъ охрипъ, а Архипъ осипъ». Теперь же она вскрикнула:

— Осипъ, это не можетъ быть!

— Пошли! Мнѣ не хорошо... — сказалъ за дверью Дымовъ, и слышно было, какъ онъ подошелъ къ дивану и легъ.—Пошли!—глухо послышался его голосъ.

«Что же это такое?—подумала Ольга Ивановна, холодѣя отъ ужаса.—Вѣдь это опасно!»

Безъ всякой надобности она взяла свѣчу и пошла къ себѣ въ спальню и тутъ, соображая, что ей нужно дѣлать, нечаянно поглядѣла на себя въ трюмо. Съ блѣднымъ, испуганнымъ лицомъ, въ жакетѣ съ высокими рукавами, съ желтыми воланами на груди и съ необыкновеннымъ направленіемъ полосъ на юбкѣ, она показалась себѣ страшной и гадкой. Ей вдругъ стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви къ ней, его молодой жизни и даже этой его осиротѣлой постели, на которой онъ давно уже не спалъ, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII.

Когда въ восьмомъ часу утра Ольга Ивановна, съ тяжелой отъ безсонницы головой, непричесанная, некрасивая и съ виноватымъ выраженіемъ вышла изъ спальни, мимо

нея прошелъ въ переднюю какой-то господинъ съ черною бородой, повидимому, докторъ. Пахло лѣкарствами. Около двери въ кабинетъ стоялъ Коростелевъ и правою рукой крутилъ лѣвый усъ.

— Къ нему, извините, я васъ не пущу, — угрюмо сказалъ онъ Ольгѣ Ивановнѣ.—Заразиться можно. Да и не къ чему вамъ, въ сущности. Онъ все равно въ бреду.

— У него настоящій дифтеритъ? — спросила шопотомъ Ольга Ивановна.

— Тѣхъ, кто на рожонъ лѣзетъ, по-настоящему подъ судъ отдавать надо,—пробормоталъ Коростелевъ, не отвѣчая на вопросъ Ольги Ивановны.—Знаете, отчего онъ заразился? Во вторникъ у мальчика высасывалъ черезъ трубочку дифтеритныя пленки. А къ чему? Глупо... Такъ, сдуру...

— Опасно? Очень?—спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорятъ, что форма тяжелая. Надо бы за Шрекомъ послать, въ сущности.

Приходилъ маленькій, рыженькій, съ длиннымъ носомъ и съ еврейскимъ акцентомъ, потомъ высокій, сутулый, лохматый, похожій на протодьякона; потомъ молодой, очень полный съ краснымъ лицомъ и въ очкахъ. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелевъ, отдежуривъ свое время, не уходилъ домой, а оставался, и какъ тѣнь, бродилъ по всѣмъ комнатамъ. Горничная подавала дежурившимъ докторамъ чай и часто бѣгала въ аптеку, и некому было убрать комнатъ. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидѣла у себя въ спальнѣ и думала о томъ, что это Богъ ее наказываетъ за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое отъ излишней доброты, глухо страдало гдѣ-то тамъ у себя на диванѣ и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы въ бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноватъ тутъ не одинъ только дифтеритъ. Спросили бы они Коростелева: онъ знаетъ все и не даромъ на жену своего друга смотритъ такими глазами, какъ будто она-то и есть самая главная, настоящая злодѣйка, а дифтеритъ только ея сообщникъ. Она уже не помнила ни луннаго вечера на Волгѣ, ни объясненій въ любви, ни поэтической жизни въ избѣ, а помнила только, что она изъ пустой прихоти, изъ баловства, вся, съ руками и ногами, вы-

залась во что-то грязное, липкое, отъ чего никогда ужъ не отмоешься...

«Ахъ, какъ я страшно солгала!—думала она, вспоминая о безпокойной любви, какая у нея была съ Рябовскимъ.— Будь оно все проклято!..»

Въ четыре часа она обѣдала вмѣстѣ съ Коростелевымъ. Онъ ничего не ѣлъ, пилъ только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ѣла. То она мысленно молилась и давала обѣтъ Богу, что если Дымовъ выздоровѣетъ, то она полюбитъ его опять и будетъ вѣрною женой. То, забывшись на минуту, она смотрѣла на Коростелева и думала: «Неужели нескучно быть простымъ, ничѣмъ не замѣчательнымъ, неизвѣстнымъ человѣкомъ, да еще съ такимъ помятымъ лицомъ и съ дурными манерами?» То ей казалось, что ее сію минуту убьетъ Богъ за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была въ кабинетѣ у мужа. А въ общемъ было тупое унылое чувство и увѣренность, что жизнь уже испорчена и что ничѣмъ ея не исправишь...

Послѣ обѣда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла въ гостиную, Коростелевъ спалъ на кушеткѣ, подложивъ подъ голову шелковую подушку, шитую золотомъ. «Кхи-пуа...—храпѣлъ онъ:—кхи-пуа».

И доктора, приходившіе дежурить и уходившіе, не замѣчали этого безпорядка. То, что чужой человѣкъ спалъ въ гостиной и храпѣлъ, и этюды на стѣнахъ, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одѣта — все это не возбуждало теперь ни малѣйшаго интереса. Одинъ изъ докторовъ нечаянно чему-то засмѣялся, и какъ-то странно и робко прозвучалъ этотъ смѣхъ, даже жутко сдѣлалось.

Когда Ольга Ивановна въ другой разъ вышла въ гостиную, Коростелевъ уже не спалъ, а сидѣлъ и курилъ.

— У него дифтеритъ носовой полости, — сказалъ онъ вполголоса.—Уже и сердце не важно работаетъ. Въ сущности, плохи дѣла.

— А вы пошлите за Шрекомъ,—сказала Ольга Ивановна.

— Былъ уже. Онъ-то и замѣтилъ, что дифтеритъ перешелъ въ носъ. Э, да что Шрекъ! Въ сущности ничего Шрекъ. Онъ Шрекъ, я Коростелевъ—и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одѣтая въ неубранной съ утра постели и дремала. Ей чу-

дилось, что вся квартира отъ полу до потолка занята громаднымъ кускомъ желѣза, и что стоитъ только вынести вонъ желѣзо, какъ всѣмъ станетъ весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не желѣзо, а болѣзнь Дымова.

«Nature morte, портъ... — думала она, опять впадая въ забытье:—спортъ... курортъ... А какъ Шрекъ? Шрекъ, грекъ, врекъ... крекъ. А гдѣ-то теперь мои друзья? Знаютъ ли они, что у насъ горе? Господи, спаси... избави. Шрекъ, грекъ...»

И опять желѣзо... Время тянулось длинно, а часы въ нижнемъ этажѣ били часто. И то и дѣло слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная съ пустымъ стакапомъ на подносѣ и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получивъ отвѣта, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волгѣ, и опять кто-то вошелъ въ спальню, кажется, посторонній. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который часъ?—спросила она.

— Около трехъ.

— Ну что?

— Да что! Я пришелъ сказать: кончается...

Онъ всхлипнулъ, сѣлъ на кровать рядомъ съ ней и вытеръ слезы рукавомъ. Она сразу не поняла, но вся похолодѣла и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторилъ онъ тонкимъ голоскомъ и опять всхлипнулъ. — Умираетъ, потому что пожертвовалъ собой... Какая потеря для науки!—сказалъ онъ съ горечью.— Это, если всѣхъ насъ сравнить съ нимъ, былъ великій, необыкновенный человѣкъ! Какія дарованія! Какія надежды онъ подавалъ намъ всѣмъ! — продолжалъ Коростелевъ, ломая руки.—Господи Боже мой, это былъ бы такой ученый, какого теперь съ огнемъ не найдешь. Оська Дымовъ, Оська Дымовъ, что ты надѣлалъ! Ай-ай, Боже мой!

Коростелевъ въ отчаяніи закрылъ обѣими руками лицо и покачалъ головой.

— А какая нравственная сила! — продолжалъ онъ, все больше и больше озлобляясь на кого-то.—Добрая, чистая, любящая душа—не человѣкъ, а стекло! Служилъ наукѣ и умеръ отъ науки. А работалъ, какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ, и молодой ученый, будущій профессоръ, долженъ былъ искать себѣ практику и по ночамъ за-

ниматься переводами, чтобы платить вотъ за эти... подлыя тряпки!

Коростелевъ поглядѣлъ съ ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обѣими руками и сердито рванулъ, какъ будто она была виновата.

— И самъ себя не щадилъ, и его не щадили. Э, да что, въ сущности!

— Да, рѣдкій человѣкъ!—сказалъ кто-то басомъ въ гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь съ нимъ, отъ начала до конца, со всѣми подробностями, и вдругъ поняла, что это былъ въ самомъ дѣлѣ необыкновенный, рѣдкій и, въ сравненіи съ тѣми, кого она знала, великій человѣкъ. И вспомнивъ, какъ къ нему относились ея покойный отецъ и всѣ товарищи-врачи, она поняла, что всѣ они видѣли въ немъ будущую знаменитость. Стѣны, потолокъ, лампа и коверъ на полу замигали ей насмѣшливо, какъ бы желая сказать: «Прозѣвала! Прозѣвала!» Она съ плачемъ бросилась изъ спальни, шмыгнула въ гостиной мимо какого-то незнакомаго человѣка и вбѣжала въ кабинетъ къ мужу. Онъ лежалъ неподвижно на турецкомъ диванѣ, покрытый до пояса одѣяломъ. Лицо его страшно осунулось, похудѣло и имѣло сѣровато-желтый цвѣтъ, какого никогда не бываетъ у живыхъ; и только по лбу, по чернымъ бровямъ, да по знакомой улыбкѣ можно было узнать, что это Дымовъ. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лобъ и руки. Грудь еще была тепла, но лобъ и руки были непріятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрѣли не на Ольгу Ивановну, а на одѣяло.

— Дымовъ!—позвала она громко.—Дымовъ!

Она хотѣла объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще можетъ быть прекрасной и счастливой, что онъ рѣдкій, необыкновенный, великій человѣкъ, и что она будетъ всю жизнь благоговѣть предъ нимъ, молиться и испытывать священный страхъ...

— Дымовъ!—звала она его, трепля его за плечо и не вѣря тому, что онъ уже никогда не проснется.—Дымовъ, Дымовъ же!

А въ гостиной Коростелевъ говорилъ горничной:

— Да что тутъ спрашивать? Вы ступайте въ церковную сторожку и спросите, гдѣ живутъ богадѣлки. Онѣ и обмоютъ тѣло и уберутъ—все сдѣлаютъ, что нужно.

ЧЕРНЫЙ МОНАХЪ.

I.

Андрей Васильевичъ Ковринъ, магистръ, утомился и разстроилъ себѣ нервы. Онъ не лѣчился, но какъ-то вскользь, за бутылкой вина, поговорилъ съ пріятелемъ докторомъ, и тотъ посовѣтовалъ ему провести весну и лѣто въ деревнѣ. Кстати же пришло длинное письмо отъ Тани Песоцкой, которая просила его пріѣхать въ Борисовку и погостить. И онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно проѣхаться.

Сначала — это было въ апрѣлѣ — онъ поѣхалъ къ себѣ, въ свою родовую Ковринку, и здѣсь прожилъ въ уединеніи три недѣли; потомъ дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадяхъ къ своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, извѣстному въ Россіи садоводу. Отъ Ковринки до Борисовки, гдѣ жили Песоцкіе, считалось не больше семидесяти верстъ, и ѣхать по мягкой весенней дорогѣ въ покойной рессорной коляскѣ было истиннымъ наслажденіемъ.

Домъ у Песоцкаго былъ громадный, съ колоннами, со львами, на которыхъ облупилась штукатурка, и съ фрачнымъ лакеемъ у подъѣзда. Старинный паркъ, угрюмый и строгій, разбитый на англійскій манеръ, тянулся чуть ли не на цѣлую версту отъ дома до рѣки и здѣсь оканчивался обрывистымъ, крутымъ глинистымъ берегомъ, на которомъ росли сосны съ обнажившимися корнями, похожими на мохнатыя лапы; внизу нелюдимо блестѣла вода, носились съ жалобнымъ пискомъ кулики, и всегда тутъ б

такое настроеніе, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самаго дома, во дворѣ и въ фруктовомъ саду, который вмѣстѣ съ питомниками занималъ десятинъ тридцать, было весело и жизнерадостно даже въ дурную погоду. Такихъ удивительныхъ розъ, лилій, камелій, такихъ тюльпановъ всевозможныхъ цвѣтовъ, начиная съ ярко-бѣлаго и кончая чернымъ какъ сажа, вообще такого богатства цвѣтовъ, какъ у Песоцкаго, Коврину не случалось видѣть нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Весна была еще только въ началѣ, и самая настоящая роскошь цвѣтниковъ пряталась еще въ теплицахъ, но ужъ и того, что цвѣло вдоль аллей и тамъ и сямъ на клумбахъ, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя въ царствѣ нѣжныхъ красокъ, особенно въ ранніе часы, когда на каждомъ лепесткѣ сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что самъ Песоцкій презрительно обзывалъ пустяками, производило на Коврина когда-то въ дѣтствѣ сказочное впечатлѣніе. Какихъ только тутъ не было причудъ, изысканныхъ уродствъ и издѣвательствъ надъ природой! Тутъ были шпалеры изъ фруктовыхъ деревьевъ, груша, имѣвшая форму пирамидальнаго тополя, шаровидные дубы и липы, зонтъ изъ яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 изъ сливъ— цифра, означавшая годъ, когда Песоцкій впервые занялся садоводствомъ. Попадались тутъ и красивыя стройныя деревца съ прямыми и крѣпкими, какъ у пальмъ, стволами, и, только пристально всмотрѣвшись, можно было узнать въ этихъ деревцахъ крыжовникъ или смородину. Но что больше всего веселило въ саду и придавало ему оживленный видъ, такъ это постоянное движеніе. Отъ ранняго утра до вечера около деревьевъ, кустовъ, на аллеяхъ и клумбахъ, какъ муравьи, копошились люди съ тачками, мотыками, лейками...

Ковринъ пріѣхалъ къ Песоцкимъ вечеромъ, въ десятомъ часу. Таню и ея отца, Егора Семеныча, онъ засталъ въ большой тревогѣ. Ясное, звѣздное небо и термометръ пророчили морозъ къ утру, а между тѣмъ, садовникъ Иванъ Карлычъ уѣхалъ въ городъ, и положиться было не на кого. За ужиномъ говорили только объ утренникѣ и было рѣшено, что Таня не ляжетъ спать и въ первомъ часу пройдется по саду и посмотритъ, все ли въ порядкѣ, а Егоръ Семенычъ встанетъ въ три часа и даже раньше.

Ковринъ просидѣлъ съ Таней весь вечеръ и послѣ полуночи отправился съ ней въ садъ. Было холодно. Во дворѣ уже сильно пахло гарью. Въ большомъ фруктовомъ саду, который назывался коммерческимъ и приносилъ Егору Семенычу ежегодно нѣсколько тысячъ чистаго дохода, стлался по землѣ черный, густой, ѣдкій дымъ и, обволакивая деревья, спасалъ отъ мороза эти тысячи. Деревья тутъ стояли въ шашечномъ порядкѣ, ряды ихъ были прямы и правильны, точно шеренги солдатъ, и эта строгая педантическая правильность и то, что всѣ деревья были одного роста и имѣли совершенно одинаковые кроны и стволы, дѣлали картину однообразной и даже скучной. Ковринъ и Таня прошли по рядамъ, гдѣ тлѣли костры изъ навоза, соломы и всякихъ отбросовъ, и изрѣдка имъ встрѣчались работники, которые бродили въ дыму, какъ тѣни. Цвѣли только вишни, сливы и нѣкоторые сорта яблонь, но весь садъ утопалъ въ дыму, и только около питомниковъ Ковринъ вздохнулъ полной грудью.

— Я еще въ дѣтствѣ чихалъ здѣсь отъ дыма,—сказалъ онъ, пожимая плечами: — но до сихъ поръ не понимаю, какъ это дымъ можетъ спасти отъ мороза.

— Дымъ замѣняетъ облака, когда ихъ нѣтъ...—отвѣтила Таня.

— А для чего нужны облака?

— Въ пасмурную и облачную погоду не бываетъ утренниковъ.

— Вотъ какъ!

Онъ засмѣялся и взялъ ее за руку. Ея широкое, очень серьезное, озябшее лицо съ тонкими черными бровями, поднятый воротникъ пальто, мѣшавшій ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, въ подобранномъ отъ росы платьѣ, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая!—сказалъ онъ.—Когда я уѣзжалъ отсюда въ послѣдній разъ, пять лѣтъ назадъ, вы были еще совсѣмъ дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнилъ васъ цаплей... Что дѣлаетъ время!

— Да, пять лѣтъ!—вздохнула Таня.—Много воды утекло съ тѣхъ поръ. Скажите, Андрюша, по совѣсти,—живо заговорила она, глядя ему въ лицо:—вы отвыкли отъ насъ? Впрочемъ, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете у

Знаешь, очень возможно, что мнѣ предложатъ приватъ-доцентуру по общей патологіи. Этимъ пахнетъ.

Видно было по его блаженному, сіяющему лицу, что, если бы Ольга Ивановна раздѣлила съ нимъ его радость и торжество, то онъ простилъ бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забылъ, но она не понимала, что̀ значитъ приватъ-доцентура и общая патологія, къ тому же боялась опоздать въ театръ и ничего не сказала.

Онъ посидѣлъ двѣ минуты, виновато улыбнулся и вышелъ.

VII.

Это былъ безпокойнѣйшій день.

У Дымова сильно болѣла голова; онъ утромъ не пилъ чаю, не пошелъ въ больницу и все время лежалъ у себя въ кабинетѣ на турецкомъ диванѣ. Ольга Ивановна, по обыкновенію, въ первомъ часу отправилась къ Рябовскому, чтобы показать ему свой этюдъ nature morte и спросить его, почему онъ вчера не приходилъ. Этюдъ казался ей ничтожнымъ, и написала она его только затѣмъ, чтобы имѣть лишній предлогъ сходить къ художнику.

Она вошла къ нему безъ звонка, и когда въ передней снимала калоши, ей послышалось, какъ будто въ мастерской что-то тихо пробѣжало, по-женски шурша платьемъ, и когда она поспѣшила заглянуть въ мастерскую, то увидѣла только кусокъ коричневой юбки, который мелькнулъ на мгновеніе и исчезъ за большою картиной, занавѣшенной вмѣстѣ съ мольбертомъ до пола чернымъ каленкоромъ. Сомнѣваться нельзя было, это пряталась женщина. Какъ часто сама Ольга Ивановна находила себѣ убѣжище за этой картиной! Рябовскій, повидимому, очень смущенный, какъ бы удивился ея приходу, протянулъ къ ней обѣ руки и сказалъ, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень радъ васъ видѣть. Что скажете хорошенькаго?

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за милліонъ не согласилась бы говорить въ присутствіи посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вѣроятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вамъ этюдъ... — сказала она робко, тонкимъ голоскомъ, и губы ея задрожали:—nature morte.

— А-а-а... этюдъ?

Художникъ взялъ въ руки этюдъ и, разсматривая его, какъ бы машинально прошелъ въ другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за нимъ.

— Nature morte... первый сортъ,—бормоталъ онъ, подбирая риому:—курортъ... чортъ... портъ...

Изъ мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значитъ, *она* ушла. Ольгѣ Ивановнѣ хотѣлось громко крикнуть, ударить художника по головѣ чѣмъ-нибудь тяжелымъ и уйти, но она ничего не видѣла сквозь слезы, была подавлена своимъ стыдомъ и чувствовала себя ужъ не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я усталъ...—томно проговорилъ художникъ, глядя на этюдъ и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюдъ, и въ прошломъ году этюдъ, и черезъ мѣсяцъ будетъ этюдъ... Какъ вамъ не наскучитъ? Я бы на вашемъ мѣстѣ бросилъ живопись и занялся серьезно музыкой или чѣмъ-нибудь. Вѣдь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, какъ я усталъ! Я сейчасъ скажу, чтобъ дали чаю... А?

Онъ вышелъ изъ комнаты, и Ольга Ивановна слышала, какъ онъ что-то приказывалъ своему лакею. Чтобъ не прощаться, не объясняться, а главное не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовскій, поскорѣе побѣжала въ переднюю, надѣла калоши и вышла на улицу. Тутъ она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и отъ Рябовскаго, и отъ живописи, и отъ тяжелаго стыда, который такъ давилъ ее въ мастерской! Все кончено!

Она поѣхала къ портнихѣ, потомъ къ Барнаю, который только вчера пріѣхалъ, отъ Барная—въ нотный магазинъ, и все время она думала о томъ, какъ она напишетъ Рябовскому холодное, жесткое, полное собственнаго достоинства письмо, и какъ весною или лѣтомъ она поѣдетъ съ Дымовымъ въ Крымъ, освободится тамъ окончательно отъ прошлаго и начнетъ новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечеромъ, она, не переодѣваясь, сѣла въ гостиной сочинять письмо. Рябовскій сказалъ ей, что она не художница, и она въ отместку напишетъ ему теперь, что онъ каждый годъ пишетъ все одно и то же и каждый день говоритъ одно и то же, что онъ застылъ, и

что изъ него не выйдетъ ничего, кромѣ того, что уже вышло. Ей хотѣлось написать также, что онъ многимъ обязанъ ея хорошему вліянію, а если онъ поступаетъ дурно, то это только потому, что ея вліяніе парализуется разными двусмысленными особами, въ родѣ той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвалъ изъ кабинета Дымовъ, не отворяя двери.—Мама!

— Что тебѣ?

— Мама, ты не входи ко мнѣ, а только подойди къ двери.—Вотъ что... Третьяго дня я заразился въ больницѣ дифтеритомъ и теперь... мнѣ не хорошо. Пошли скорѣе за Коростелевымъ.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, какъ всѣхъ знакомыхъ мужчинъ, не по имени, а по фамиліи; его имя Осипъ не нравилось ей, потому что напоминало гоголевскаго Осипа и каламбуръ: «Осипъ охрипъ, а Архипъ осипъ». Теперь же она вскрикнула:

— Осипъ, это не можетъ быть!

— Пошли! Мнѣ не хорошо... — сказалъ за дверью Дымовъ, и слышно было, какъ онъ подошелъ къ дивану и легъ.—Пошли!—глухо послышался его голосъ.

«Что же это такое?—подумала Ольга Ивановна, холодѣя отъ ужаса.—Вѣдь это опасно!»

Безъ всякой надобности она взяла свѣчу и пошла къ себѣ въ спальню и тутъ, соображая, что ей нужно дѣлать, нечаянно поглядѣла на себя въ трюмо. Съ блѣднымъ, испуганнымъ лицомъ, въ жакетѣ съ высокими рукавами, съ желтыми воланами на груди и съ необыкновеннымъ направленіемъ полосъ на юбкѣ, она показалась себѣ страшной и гадкой. Ей вдругъ стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви къ ней, его молодой жизни и даже этой его осиротѣлой постели, на которой онъ давно уже не спалъ, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII.

Когда въ восьмомъ часу утра Ольга Ивановна, съ тяжелой отъ безсонницы головой, непричесанная, некрасивая и съ виноватымъ выраженіемъ вышла изъ спальни, мимо

нея прошелъ въ переднюю какой-то господинъ съ черною бородой, повидимому, докторъ. Пахло лѣкарствами. Около двери въ кабинетъ стоялъ Коростелевъ и правою рукой крутилъ лѣвый усъ.

— Къ нему, извините, я васъ не пущу, — угрюмо сказалъ онъ Ольгѣ Ивановнѣ.—Заразиться можно. Да и не къ чему вамъ, въ сущности. Онъ все равно въ бреду.

— У него настоящій дифтеритъ? — спросила шопотомъ Ольга Ивановна.

— Тѣхъ, кто на рожонъ лѣзетъ, по-настоящему подъ судъ отдавать надо,—пробормоталъ Коростелевъ, не отвѣчая на вопросъ Ольги Ивановны.—Знаете, отчего онъ заразился? Во вторникъ у мальчика высасывалъ черезъ трубочку дифтеритныя пленки. А къ чему? Глупо... Такъ, сдуру...

— Опасно? Очень?—спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорятъ, что форма тяжелая. Надо бы за Шрекомъ послать, въ сущности.

Приходилъ маленькій, рыженькій, съ длиннымъ носомъ и съ еврейскимъ акцентомъ, потомъ высокій, сутулый, лохматый, похожій на протодьякона; потомъ молодой, очень полный съ краснымъ лицомъ и въ очкахъ. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелевъ, отдежуривъ свое время, не уходилъ домой, а оставался, и какъ тѣнь, бродилъ по всѣмъ комнатамъ. Горничная подавала дежурившимъ докторамъ чай и часто бѣгала въ аптеку, и некому было убрать комнатъ. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидѣла у себя въ спальнѣ и думала о томъ, что это Богъ ее наказываетъ за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, безхарактерное, слабое отъ излишней доброты, глухо страдало гдѣ-то тамъ у себя на диванѣ и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы въ бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноватъ тутъ не одинъ только дифтеритъ. Спросили бы они Коростелева: онъ знаетъ все и не даромъ на жену своего друга смотритъ такими глазами, какъ будто она-то и есть самая главная, настоящая злодѣйка, а дифтеритъ только ея сообщникъ. Она уже не помнила ни луннаго вечера на Волгѣ, ни объясненій въ любви, ни поэтической жизни въ избѣ, а помнила только, что она изъ пустой прихоти, изъ баловства, вся, съ руками и ногами, выма-

залась во что-то грязное, липкое, отъ чего никогда ужъ не отмоешься...

«Ахъ, какъ я страшно солгала!—думала она, вспоминая о безпокойной любви, какая у нея была съ Рябовскимъ.—Будь оно все проклято!..»

Въ четыре часа она обѣдала вмѣстѣ съ Коростелевымъ. Онъ ничего не ѣлъ, пилъ только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ѣла. То она мысленно молилась и давала обѣтъ Богу, что если Дымовъ выздоровѣетъ, то она полюбитъ его опять и будетъ вѣрною женой. То, забывшись на минуту, она смотрѣла на Коростелева и думала: «Неужели нескучно быть простымъ, ничѣмъ не замѣчательнымъ, неизвѣстнымъ человѣкомъ, да еще съ такимъ помятымъ лицомъ и съ дурными манерами?» То ей казалось, что ее сію минуту убьетъ Богъ за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была въ кабинетѣ у мужа. А въ общемъ было тупое унылое чувство и увѣренность, что жизнь уже испорчена и что ничѣмъ ея не исправишь...

Послѣ обѣда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла въ гостиную, Коростелевъ спалъ на кушеткѣ, подложивъ подъ голову шелковую подушку, шитую золотомъ. «Кхи-пуа...—храпѣлъ онъ:—кхи-пуа».

И доктора, приходившіе дежурить и уходившіе, не замѣчали этого безпорядка. То, что чужой человѣкъ спалъ въ гостиной и храпѣлъ, и этюды на стѣнахъ, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одѣта — все это не возбуждало теперь ни малѣйшаго интереса. Одинъ изъ докторовъ нечаянно чему-то засмѣялся, и какъ-то странно и робко прозвучалъ этотъ смѣхъ, даже жутко сдѣлалось.

Когда Ольга Ивановна въ другой разъ вышла въ гостиную, Коростелевъ уже не спалъ, а сидѣлъ и курилъ.

— У него дифтеритъ носовой полости, — сказалъ онъ вполголоса.—Уже и сердце не важно работаетъ. Въ сущности, плохи дѣла.

— А вы пошлите за Шрекомъ,—сказала Ольга Ивановна.

— Былъ уже. Онъ-то и замѣтилъ, что дифтеритъ перешелъ въ носъ. Э, да что Шрекъ! Въ сущности ничего Шрекъ. Онъ Шрекъ, я Коростелевъ—и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одѣтая въ неубранной съ утра постели и дремала. Ей чу-

дилось, что вся квартира отъ полу до потолка занята громаднымъ кускомъ желѣза, и что стоитъ только вынести вонъ желѣзо, какъ всѣмъ станетъ весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не желѣзо, а болѣзнь Дымова.

«Nature morte, портъ... — думала она, опять впадая въ забытье:—спортъ... курортъ... А какъ Шрекъ? Шрекъ, грекъ, врекъ... крекъ. А гдѣ-то теперь мои друзья? Знаютъ ли они, что у насъ горе? Господи, спаси... избави. Шрекъ, грекъ...»

И опять желѣзо... Время тянулось длинно, а часы въ нижнемъ этажѣ били часто. И то и дѣло слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная съ пустымъ стакапомъ на подносѣ и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получивъ отвѣта, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волгѣ, и опять кто-то вошелъ въ спальню, кажется, посторонній. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который часъ?—спросила она.

— Около трехъ.

— Ну что?

— Да что! Я пришелъ сказать: кончается...

Онъ всхлипнулъ, сѣлъ на кровать рядомъ съ ней и вытеръ слезы рукавомъ. Она сразу не поняла, но вся похолодѣла и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторилъ онъ тонкимъ голоскомъ и опять всхлипнулъ. — Умираетъ, потому что пожертвовалъ собой... Какая потеря для науки!—сказалъ онъ съ горечью.— Это, если всѣхъ насъ сравнить съ нимъ, былъ великій, необыкновенный человѣкъ! Какія дарованія! Какія надежды онъ подавалъ намъ всѣмъ! — продолжалъ Коростелевъ, ломая руки.—Господи Боже мой, это былъ бы такой ученый, какого теперь съ огнемъ не найдешь. Оська Дымовъ, Оська Дымовъ, что ты надѣлалъ! Ай-ай, Боже мой!

Коростелевъ въ отчаяніи закрылъ обѣими руками лицо и покачалъ головой.

— А какая нравственная сила! — продолжалъ онъ, все больше и больше озлобляясь на кого-то.—Добрая, чистая, любящая душа—не человѣкъ, а стекло! Служилъ наукѣ и умеръ отъ науки. А работалъ, какъ волъ, день и ночь, никто его не щадилъ, и молодой ученый, будущій профессоръ, долженъ былъ искать себѣ практику и по ночамъ за-

ниматься переводами, чтобы платить вотъ за эти... подлыя тряпки!

Коростелевъ поглядѣлъ съ ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обѣими руками и сердито рванулъ, какъ будто она была виновата.

— И самъ себя не щадилъ, и его не щадили. Э, да что, въ сущности!

— Да, рѣдкій человѣкъ!—сказалъ кто-то басомъ въ гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь съ нимъ, отъ начала до конца, со всѣми подробностями, и вдругъ поняла, что это былъ въ самомъ дѣлѣ необыкновенный, рѣдкій и, въ сравненіи съ тѣми, кого она знала, великій человѣкъ. И вспомнивъ, какъ къ нему относились ея покойный отецъ и всѣ товарищи-врачи, она поняла, что всѣ они видѣли въ немъ будущую знаменитость. Стѣны, потолокъ, лампа и коверъ на полу замигали ей насмѣшливо, какъ бы желая сказать: «Прозѣвала! Прозѣвала!» Она съ плачемъ бросилась изъ спальни, шмыгнула въ гостиной мимо какого-то незнакомаго человѣка и вбѣжала въ кабинетъ къ мужу. Онъ лежалъ неподвижно на турецкомъ диванѣ, покрытый до пояса одѣяломъ. Лицо его страшно осунулось, похудѣло и имѣло сѣровато-желтый цвѣтъ, какого никогда не бываетъ у живыхъ; и только по лбу, по чернымъ бровямъ, да по знакомой улыбкѣ можно было узнать, что это Дымовъ. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лобъ и руки. Грудь еще была тепла, но лобъ и руки были непріятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрѣли не на Ольгу Ивановну, а на одѣяло.

— Дымовъ!—позвала она громко.—Дымовъ!

Она хотѣла объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще можетъ быть прекрасной и счастливой, что онъ рѣдкій, необыкновенный, великій человѣкъ, и что она будетъ всю жизнь благоговѣть предъ нимъ, молиться и испытывать священный страхъ...

— Дымовъ!—звала она его, трепля его за плечо и не вѣря тому, что онъ уже никогда не проснется.—Дымовъ, Дымовъ же!

А въ гостиной Коростелевъ говорилъ горничной:

— Да что тутъ спрашивать? Вы ступайте въ церковную сторожку и спросите, гдѣ живутъ богадѣлки. Онѣ и обмоютъ тѣло и уберутъ—все сдѣлаютъ, что нужно.

ЧЕРНЫЙ МОНАХЪ.

I.

Андрей Васильевичъ Ковринъ, магистръ, утомился и разстроилъ себѣ нервы. Онъ не лѣчился, но какъ-то вскользь, за бутылкой вина, поговорилъ съ пріятелемъ докторомъ, и тотъ посовѣтовалъ ему провести весну и лѣто въ деревнѣ. Кстати же пришло длинное письмо отъ Тани Песоцкой, которая просила его пріѣхать въ Борисовку и погостить. И онъ рѣшилъ, что ему въ самомъ дѣлѣ нужно проѣхаться.

Сначала — это было въ апрѣлѣ — онъ поѣхалъ къ себѣ, въ свою родовую Ковринку, и здѣсь прожилъ въ уединеніи три недѣли; потомъ дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадяхъ къ своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, извѣстному въ Россіи садоводу. Отъ Ковринки до Борисовки, гдѣ жили Песоцкіе, считалось не больше семидесяти верстъ, и ѣхать по мягкой весенней дорогѣ въ покойной рессорной коляскѣ было истиннымъ наслажденіемъ.

Домъ у Песоцкаго былъ громадный, съ колоннами, со львами, на которыхъ облупилась штукатурка, и съ фрачнымъ лакеемъ у подъѣзда. Старинный паркъ, угрюмый и строгій, разбитый на англійскій манеръ, тянулся чуть ли не на цѣлую версту отъ дома до рѣки и здѣсь оканчивался обрывистымъ, крутымъ глинистымъ берегомъ, на которомъ росли сосны съ обнажившимися корнями, похожими на мохнатыя лапы; внизу нелюдимо блестѣла вода, носились съ жалобнымъ пискомъ кулики, и всегда тутъ было

такое настроеніе, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самаго дома, во дворѣ и въ фруктовомъ саду, который вмѣстѣ съ питомниками занималъ десятинъ тридцать, было весело и жизнерадостно даже въ дурную погоду. Такихъ удивительныхъ розъ, лилій, камелій, такихъ тюльпановъ всевозможныхъ цвѣтовъ, начиная съ ярко-бѣлаго и кончая чернымъ какъ сажа, вообще такого богатства цвѣтовъ, какъ у Песоцкаго, Коврину не случалось видѣть нигдѣ въ другомъ мѣстѣ. Весна была еще только въ началѣ, и самая настоящая роскошь цвѣтниковъ пряталась еще въ теплицахъ, но ужъ и того, что цвѣло вдоль аллей и тамъ и сямъ на клумбахъ, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя въ царствѣ нѣжныхъ красокъ, особенно въ ранніе часы, когда на каждомъ лепесткѣ сверкала роса.

То, что было декоративною частью сада и что самъ Песоцкій презрительно обзывалъ пустяками, производило на Коврина когда-то въ дѣтствѣ сказочное впечатлѣніе. Какихъ только тутъ не было причудъ, изысканныхъ уродствъ и издѣвательствъ надъ природой! Тутъ были шпалеры изъ фруктовыхъ деревьевъ, груша, имѣвшая форму пирамидальнаго тополя, шаровидные дубы и липы, зонтъ изъ яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 изъ сливъ— цифра, означавшая годъ, когда Песоцкій впервые занялся садоводствомъ. Попадались тутъ и красивыя стройныя деревца съ прямыми и крѣпкими, какъ у пальмъ, стволами, и, только пристально всмотрѣвшись, можно было узнать въ этихъ деревцахъ крыжовникъ или смородину. Но что больше всего веселило въ саду и придавало ему оживленный видъ, такъ это постоянное движеніе. Отъ ранняго утра до вечера около деревьевъ, кустовъ, на аллеяхъ и клумбахъ, какъ муравьи, копошились люди съ тачками, мотыками, лейками...

Ковринъ пріѣхалъ къ Песоцкимъ вечеромъ, въ десятомъ часу. Таню и ея отца, Егора Семеныча, онъ засталъ въ большой тревогѣ. Ясное, звѣздное небо и термометръ пророчили морозъ къ утру, а между тѣмъ, садовникъ Иванъ Карлычъ уѣхалъ въ городъ, и положиться было не на кого. За ужиномъ говорили только объ утренникѣ и было рѣшено, что Таня не ляжетъ спать и въ первомъ часу пройдется по саду и посмотритъ, все ли въ порядкѣ, а Егоръ Семенычъ встанетъ въ три часа и даже раньше.

Ковринъ просидѣлъ съ Таней весь вечеръ и послѣ полуночи отправился съ ней въ садъ. Было холодно. Во дворѣ уже сильно пахло гарью. Въ большомъ фруктовомъ саду, который назывался коммерческимъ и приносилъ Егору Семенычу ежегодно нѣсколько тысячъ чистаго дохода, стлался по землѣ черный, густой, ѣдкій дымъ и, обволакивая деревья, спасалъ отъ мороза эти тысячи. Деревья тутъ стояли въ шашечномъ порядкѣ, ряды ихъ были прямы и правильны, точно шеренги солдатъ, и эта строгая педантическая правильность и то, что всѣ деревья были одного роста и имѣли совершенно одинаковые кроны и стволы, дѣлали картину однообразной и даже скучной. Ковринъ и Таня прошли по рядамъ, гдѣ тлѣли костры изъ навоза, соломы и всякихъ отбросовъ, и изрѣдка имъ встрѣчались работники, которые бродили въ дыму, какъ тѣни. Цвѣли только вишни, сливы и нѣкоторые сорта яблонь, но весь садъ утопалъ въ дыму, и только около питомниковъ Ковринъ вздохнулъ полной грудью.

— Я еще въ дѣтствѣ чихалъ здѣсь отъ дыма,—сказалъ онъ, пожимая плечами: — но до сихъ поръ не понимаю, какъ это дымъ можетъ спасти отъ мороза.

— Дымъ замѣняетъ облака, когда ихъ нѣтъ...—отвѣтила Таня.

— А для чего нужны облака?

— Въ пасмурную и облачную погоду не бываетъ утренниковъ.

— Вотъ какъ!

Онъ засмѣялся и взялъ ее за руку. Ея широкое, очень серьезное, озябшее лицо съ тонкими черными бровями, поднятый воротникъ пальто, мѣшавшій ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, въ подобранномъ отъ росы платьѣ, умиляла его.

— Господи, она уже взрослая!—сказалъ онъ.—Когда я уѣзжалъ отсюда въ послѣдній разъ, пять лѣтъ назадъ, вы были еще совсѣмъ дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнилъ васъ цаплей... Что дѣлаетъ время!

— Да, пять лѣтъ!—вздохнула Таня.—Много воды утекло съ тѣхъ поръ. Скажите, Андрюша, по совѣсти,—живо заговорила она, глядя ему въ лицо:—вы отвыкли отъ насъ? Впрочемъ, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже

своею, интересною жизнью, вы величина... Отчужденіе такъ естественно! Но какъ бы ни было, Андрюша, мнѣ хочется, чтобы вы считали насъ своими. Мы имѣемъ на это право.

— Я считаю, Таня.

— Честное слово?

— Да, честное слово.

— Вы сегодня удивлялись, что у насъ такъ много вашихъ фотографій. Вѣдь вы знаете, мой отецъ обожаетъ васъ. Иногда мнѣ кажется, что васъ онъ любитъ больше, чѣмъ меня. Онъ гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человѣкъ, вы сдѣлали себѣ блестящую карьеру, и онъ увѣренъ, что вы вышли такой оттого, что онъ воспиталъ васъ. Я не мѣшаю ему такъ думать. Пусть.

Уже начинался разсвѣтъ, и это особенно было замѣтно по той отчетливости, съ какою стали выдѣляться въ воздухѣ клубы дыма и кроны деревьевъ. Пѣли соловьи, и съ полей доносился крикъ перепеловъ.

— Однако, пора спать,—сказала Таня.—Да и холодно.— Она взяла его подъ руку. — Спасибо, Андрюша, что пріѣхали. У насъ неинтересные знакомые, да и тѣхъ мало. У насъ только садъ, садъ, садъ,—и больше ничего. Штамбъ, полуштамбъ,—засмѣялась она:—апортъ, ранетъ, боровинка, окулировка, копулировка... Вся, вся наша жизнь ушла въ садъ, мнѣ даже ничего никогда не снится, кромѣ яблонь и грушъ. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразія. Я помню, когда вы бывало пріѣзжали къ намъ на каникулы или просто такъ, то въ домѣ становилось какъ-то свѣжѣе и свѣтлѣе, точно съ люстры и съ мебели чехлы снимали. Я была тогда дѣвочкой и все-таки понимала.

Она говорила долго и съ большимъ чувствомъ. Ему почему-то вдругъ пришло въ голову, что въ теченіе лѣта онъ можетъ привязаться къ этому маленькому, слабому, многорѣчивому существу, увлечься и влюбиться,—въ положеніи ихъ обоихъ это такъ возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмѣшила его; онъ нагнулся къ милому, озабоченному лицу и запѣлъ тихо:

Онѣгинъ, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну...

Когда пришли домой, Егоръ Семенычъ уже всталъ. Ков-

рину не хотѣлось спать, онъ разговорился со старикомъ и вернулся съ нимъ въ садъ. Егоръ Семенычъ былъ высокаго роста, широкъ въ плечахъ, съ большимъ животомъ и страдалъ одышкой, но всегда ходилъ такъ быстро, что за нимъ трудно было поспѣть. Видъ онъ имѣлъ крайне озабоченный, все куда-то торопился и съ такимъ выраженіемъ, какъ будто опоздай онъ хоть на одну минуту, то все погибло!

— Вотъ, братъ, исторія...—началъ онъ, останавливаясь, чтобы перевести духъ. — На поверхности земли, какъ видишь, морозъ, а подними на палкѣ термометръ сажени на двѣ повыше земли, тамъ тепло... Отчего это такъ?

— Право, не знаю, — сказалъ Ковринъ и засмѣялся.

— Гм... Всего знать нельзя, конечно... Какъ бы обширенъ умъ ни былъ, всего туда не помѣстишь. Ты вѣдь все больше насчетъ философіи?

— Да. Читаю психологію, занимаюсь же вообще философіей.

— И не прискучаетъ?

— Напротивъ, этимъ только я и живу.

— Ну, дай Богъ... — проговорилъ Егоръ Семенычъ, въ раздумьѣ поглаживая свои сѣдые бакены. — Дай Богъ... Я за тебя очень радъ... радъ, братецъ...

Но вдругъ онъ прислушался и, сдѣлавши страшное лицо, побѣжалъ въ сторону и скоро исчезъ за деревьями, въ облакахъ дыма.

— Кто это привязалъ лошадь къ яблонѣ?—послышался его отчаянный, душу раздирающій крикъ.—Какой это мерзавецъ и каналья осмѣлился привязать лошадь къ яблонѣ? Боже мой, Боже мой! Перепортили, перемерзили, перескверн ли, перепакостили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ! Боже мой!

Когда онъ вернулся къ Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.

— Ну, что ты подѣлаешь съ этимъ анаѳемскимъ народомъ? — сказалъ онъ плачущимъ голосомъ, разводя руками. — Степка возилъ ночью навозъ и привязалъ лошадь къ яблонѣ! Замоталъ, подлецъ, вожжищи туго-натуго, такъ что кора въ трехъ мѣстахъ потерлась. Каково! Говорю ему, а онъ—толкачъ толкачомъ и только глазами хлопаетъ! Повѣсить мало!

Успокоившись, онъ обнялъ Коврина и поцѣловалъ въ щеку.

— Ну, дай Богъ... дай Богъ... — забормоталъ онъ. — Я очень радъ, что ты пріѣхалъ. Несказанно радъ... Спасибо.

Потомъ онъ все тою же быстрою походкой и съ озабоченнымъ лицомъ обошелъ весь садъ и показалъ своему бывшему воспитаннику всѣ оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои двѣ пасѣки, которыя называлъ чудомъ нашего столѣтія.

Пока они ходили, взошло солнце и ярко освѣтило садъ. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврinъ вспомнилъ, что вѣдь это еще только начало мая и что еще впереди цѣлое лѣто, такое же ясное, веселое, длинное, и вдругъ въ груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое онъ испытывалъ въ дѣтствѣ, когда бѣгалъ по этому саду. И онъ самъ обнялъ старика и нѣжно поцѣловалъ его. Оба растроганные пошли въ домъ и стали пить чай изъ старинныхъ фарфоровыхъ чашекъ, со сливками, съ сытными, сдобными кренделями — и эти мелочи опять напомнили Коврину его дѣтство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшіяся въ немъ впечатлѣнія прошлаго сливались вмѣстѣ; отъ нихъ въ душѣ было тѣсно, но хорошо.

Онъ дождался, когда проснулась Таня, и вмѣстѣ съ нею напился кофе, погулялъ, потомъ пошелъ къ себѣ въ комнату и сѣлъ за работу. Онъ внимательно читалъ, дѣлалъ замѣтки и изрѣдка поднималъ глаза, чтобы взглянуть на открытыя окна или на свѣжіе, еще мокрые отъ росы цвѣты, стоявшіе въ вазахъ на столѣ, и опять опускалъ глаза въ книгу, и ему казалось, что въ немъ каждая жилочка дрожитъ и играетъ отъ удовольствія.

II.

Въ деревнѣ онъ продолжалъ вести такую же нервную и безпокойную жизнь, какъ въ городѣ. Онъ много читалъ и писалъ, учился итальянскому языку и, когда гулялъ, съ удовольствіемъ думалъ о томъ, что скоро опять сядетъ за работу. Онъ спалъ такъ мало, что всѣ удивлялись; если нечаянно уснетъ днемъ на полчаса, то уже потомъ не спитъ всю ночь и послѣ безсонной ночи, какъ ни въ чемъ не бывало, чувствуетъ себя бодро и весело.

Онъ много говорилъ, пилъ вино и курилъ дорогія сигары. Къ Песоцкимъ часто, чуть ли не каждый день, пріѣ-

ъзжали барышни-сосѣдки, которыя вмѣстѣ съ Таней играли на роялѣ и пѣли; иногда пріѣзжалъ молодой человѣкъ, сосѣдъ, хорошо игравшій на скрипкѣ. Ковринъ слушалъ музыку и пѣніе съ жадностью и изнемогалъ отъ нихъ, и послѣднее выражалось физически тѣмъ, что у него слипались глаза и клонило голову на бокъ.

Однажды послѣ вечерняго чая онъ сидѣлъ на балконѣ и читалъ. Въ гостиной въ это время Таня—сопрано, одна изъ барышень—контральто и молодой человѣкъ на скрипкѣ разучивали извѣстную серенаду Брага. Ковринъ вслушивался въ слова — они были русскія, — и никакъ не могъ понять ихъ смысла. Наконецъ, оставивъ книгу и вслушавшись внимательно, онъ понялъ: дѣвушка, больная воображеніемъ, слышала ночью въ саду какіе-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать ихъ гармоніей священной, которая намъ, смертнымъ, непонятна и потому обратно улетаетъ въ небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Онъ всталъ и въ изнеможеніи прошелся по гостиной, потомъ по залѣ. Когда пѣніе прекратилось, онъ взялъ Таню подъ руку и вышелъ съ нею на балконъ.

— Меня сегодня съ самаго утра занимаетъ одна легенда,—сказалъ онъ.—Не помню, вычиталъ ли я ее откуда или слышалъ, но легенда какая-то странная, ни съ чѣмъ не сообразная. Начать съ того, что она не отличается ясностью. Тысячу лѣтъ тому назадъ какой-то монахъ, одѣтый въ черное, шелъ по пустынѣ, гдѣ-то въ Сиріи или Аравіи... За нѣсколько миль отъ того мѣста, гдѣ онъ шелъ, рыбаки видѣли другого чернаго монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этотъ второй монахъ былъ миражъ. Теперь забудьте всѣ законы оптики, которыхъ легенда, кажется, не признаетъ, и слушайте дальше. Отъ миража получился другой миражъ, потомъ отъ другого третій, такъ что образъ чернаго монаха сталъ безъ конца передаваться изъ одного слоя атмосферы въ другой. Его видѣли то въ Африкѣ, то въ Испаніи, то въ Индіи, то на Дальнемъ Сѣверѣ... Наконецъ, онъ вышелъ изъ предѣловъ земной атмосферы и теперь блуждаетъ по всей вселенной, все никакъ не попадая въ тѣ условія, при которыхъ онъ могъ бы померкнуть. Быть-можетъ, его видятъ теперь гдѣнибудь на Марсѣ или на какой-нибудь звѣздѣ Южнаго

Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается въ томъ, что ровно черезъ тысячу лѣтъ послѣ того, какъ монахъ шелъ по пустынѣ, миражъ опять попадетъ въ земную атмосферу и покажется людямъ. И будто бы эта тысяча лѣтъ уже на исходѣ... По смыслу легенды, чернаго монаха мы должны ждать не сегодня—завтра.

— Странный миражъ,—сказала Таня, которой не понравилась легенда.

— Но удивительнѣе всего,—засмѣялся Ковринъ:—что я никакъ не могу вспомнить, откуда попала мнѣ въ голову эта легенда. Читалъ гдѣ? Слышалъ? Или, быть-можетъ, черный монахъ снился мнѣ? Клянусь Богомъ, не помню. Но легенда меня занимаетъ. Я сегодня о ней цѣлый день думаю.

Отпустивъ Таню къ гостямъ, онъ вышелъ изъ дому и въ раздумьѣ прошелся около клумбъ. Уже садилось солнце. Цвѣты, оттого, что ихъ только-что полили, издавали влажный, раздражающій запахъ. Въ домѣ опять запѣли, и издали скрипка производила впечатлѣніе человѣческаго голоса. Ковринъ, напрягая мысль, чтобы вспомнить, гдѣ онъ слышалъ или читалъ легенду, направился, не спѣша, въ паркъ и незамѣтно дошелъ до рѣки.

По тропинкѣ, бѣжавшей по крутому берегу мимо обнаженныхъ корней, онъ спустился внизъ къ водѣ, обезпокоилъ тутъ куликовъ, спугнулъ двухъ утокъ. На угрюмыхъ соснахъ кое-гдѣ еще отсвѣчивали послѣдніе лучи заходящаго солнца, но на поверхности рѣки былъ уже настоящій вечеръ. Ковринъ по лавамъ перешелъ на другую сторону. Передъ нимъ теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цвѣтущею рожью. Ни человѣческаго жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведетъ въ то самое неизвѣстное загадочное мѣсто, куда только-что опустилось солнце, и гдѣ такъ широко и величаво пламенѣетъ вечерняя заря.

«Какъ здѣсь просторно, свободно, тихо!—думалъ Ковринъ, идя по тропинкѣ.—И кажется, весь міръ смотритъ на меня, притаился и ждетъ, чтобы я понялъ его...»

Но вотъ по ржи пробѣжали волны, и легкій вечерній вѣтерокъ нѣжно коснулся его непокрытой головы. Черезъ минуту опять порывъ вѣтра, но уже сильнѣе, — зашумѣла рожь, и послышался сзади глухой ропотъ сосенъ. Ковринъ

остановился въ изумленіи. На горизонтѣ, точно вихрь или смерчъ, поднимался отъ земли до неба высокій черный столбъ. Контуры у него были неясны, но въ первое же мгновеніе можно было понять, что онъ не стоялъ на мѣстѣ, а двигался съ страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чѣмъ ближе онъ подвигался, тѣмъ становился все меньше и яснѣе. Ковринъ бросился въ сторону, въ рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успѣлъ это сдѣлать...

Монахъ въ черной одеждѣ, съ сѣдою головой и черными бровями, скрестивъ на груди руки, пронесся мимо... Босыя ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, онъ оглянулся на Коврина, кивнулъ головой и улыбнулся ему ласково и въ то же время лукаво. Но какое блѣдное, страшно блѣдное, худое лицо! Опять начиная расти, онъ пролетѣлъ черезъ рѣку, неслышно ударился о глинистый берегъ и сосны и, пройдя сквозь нихъ, исчезъ какъ дымъ.

— Ну, вотъ видите ли... — пробормоталъ Ковринъ.— Значитъ, въ легендѣ правда.

Не стараясь объяснить себѣ странное явленіе, довольный однимъ тѣмъ, что ему удалось такъ близко и такъ ясно видѣть не только черную одежду, но даже лицо и глаза монаха, пріятно взволнованный, онъ вернулся домой.

Въ паркѣ и въ саду покойно ходили люди, въ домѣ играли, — значитъ, только онъ одинъ видѣлъ монаха. Ему сильно хотѣлось разсказать обо всемъ Танѣ и Егору Семенычу, но онъ сообразилъ, что они навѣрное сочтутъ его слова за бредъ, и это испугаетъ ихъ; лучше промолчать. Онъ громко смѣялся, пѣлъ, танцовалъ мазурку, ему было весело, и всѣ, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что онъ очень интересенъ.

III.

Послѣ ужина, когда уѣхали гости, онъ пошелъ къ себѣ въ комнату и легъ на диванъ: ему хотѣлось думать о монахѣ. Но черезъ минуту вошла Таня.

— Вотъ, Андрюша, почитайте статьи отца,—сказала она, подавая ему пачку брошюръ и оттисковъ. — Прекрасныя статьи. Онъ отлично пишетъ.

— Ну, ужъ и отлично! — говорилъ Егоръ Семенычъ, входя за ней и принужденно смѣясь; ему было совѣстно.— Не слушай, пожалуйста, не читай! Впрочемъ, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай: прекрасное снотворное средство.

— По-моему, великолѣпныя статьи, — сказала Таня съ глубокимъ убѣжденіемъ. — Вы прочтите, Андрюша, и убѣдите папу писать почаще. Онъ могъ бы написать полный курсъ садоводства.

Егоръ Семенычъ напряженно захохоталъ, покраснѣлъ и сталъ говорить фразы, какія обыкновенно говорятъ конфузящіеся авторы. Наконецъ, онъ сталъ сдаваться.

— Въ такомъ случаѣ прочти сначала статью Гоше и вотъ эти русскія статейки, — забормоталъ онъ, перебирая дрожащими руками брошюры: — а то тебѣ будетъ непонятно. Прежде чѣмъ читать мои возраженія, надо знать, на что я возражаю. Впрочемъ, ерунда... скучища. Да и спать пора, кажется.

Таня вышла. Егоръ Семенычъ подсѣлъ къ Коврину на диванъ и глубоко вздохнулъ.

— Да, братецъ ты мой...—началъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія. — Такъ-то, любезнѣйшій мой магистръ. Вотъ я и статьи пишу, и на выставкахъ участвую, и медали получаю... У Песоцкаго, говорятъ, яблоки съ голову, и Песоцкій, говорятъ, садомъ себѣ состояніе нажилъ. Однимъ словомъ, богатъ и славенъ Кочубей. Но спрашивается: къ чему все это? Садъ, дѣйствительно, прекрасный, образцовый... Это не садъ, а цѣлое учрежденіе, имѣющее высокую государственную важность, потому что это, такъ сказать, ступень въ новую эру русскаго хозяйства и русской промышленности. Но къ чему? Какая цѣль?

— Дѣло говоритъ само за себя.

— Я не въ томъ смыслѣ. Я хочу спросить: что будетъ съ садомъ, когда я помру? Въ томъ видѣ, въ какомъ ты видишь его теперь, онъ безъ меня не продержится и одного мѣсяца. Весь секретъ успѣха не въ томъ, что садъ великъ и рабочихъ много, а въ томъ, что я люблю дѣло — понимаешь? — люблю, быть-можетъ, больше чѣмъ самого себя. Ты посмотри на меня: я все самъ дѣлаю. Я работаю отъ утра до ночи. Всѣ прививки я дѣлаю самъ, обрѣзку— самъ, посадки — самъ, все — самъ. Когда мнѣ помогаютъ,

я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секретъ въ любви, то-есть въ зоркомъ хозяйскомъ глазѣ да въ хозяйскихъ рукахъ, да въ томъ чувствѣ, когда поѣдешь куда-нибудь въ гости на часокъ, сидишь, а у самого сердце не на мѣстѣ, самъ не свой: боишься, какъ бы въ саду чего не случилось. А когда я умру, кто будетъ смотрѣть? Кто будетъ работать? Садовникъ? Работники? Да? Такъ вотъ что я тебѣ скажу, другъ любезный: первый врагъ въ нашемъ дѣлѣ не заяцъ, не хрущъ и не морозъ, а чужой человѣкъ.

— А Таня? — спросилъ Ковринъ, смѣясь. — Нельзя, чтобы она была вреднѣе, чѣмъ заяцъ. Она любитъ и понимаетъ дѣло.

— Да, она любитъ и понимаетъ. Если послѣ моей смерти ей достанется садъ, и она будетъ хозяйкой, то, конечно, лучшаго и желать нельзя. Ну, а если, не дай Богъ, она выйдетъ замужъ? — зашепталъ Егоръ Семенычъ и испуганно посмотрѣлъ на Коврина.—То-то вотъ и есть! Выйдетъ замужъ, пойдутъ дѣти, тутъ ужъ о садѣ некогда думать. Я чего боюсь главнымъ образомъ: выйдетъ за какого-нибудь молодца, а тотъ сжадничаетъ и сдастъ садъ въ аренду торговкамъ, и все пойдетъ къ чорту въ первый же годъ! Въ нашемъ дѣлѣ бабы—бичъ Божій!

Егоръ Семенычъ вздохнулъ и помолчалъ немного.

— Можетъ, это и эгоизмъ, но откровенно говорю: не хочу, чтобы Таня шла замужъ. Боюсь! Тутъ къ намъ ѣздитъ одинъ фертъ со скрипкой и пиликаетъ; знаю, что Таня не пойдетъ за него, хорошо знаю, но видѣть его не могу! Вообще, братъ, я большой-таки чудакъ. Сознаюсь.

Егоръ Семенычъ всталъ и въ волненіи прошелся по комнатѣ, и видно было, что онъ хочетъ сказать что-то очень важное, но не рѣшается.

— Я тебя горячо люблю и буду говорить съ тобой откровенно, — рѣшился онъ, наконецъ, засовывая руки въ карманы. — Къ нѣкоторымъ щекотливымъ вопросамъ я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю, и терпѣть не могу такъ-называемыхъ сокровенныхъ мыслей. Говорю прямо: ты единственный человѣкъ, за котораго я не побоялся бы выдать дочь. Ты человѣкъ умный, съ сердцемъ, и не далъ бы погибнуть моему любимому дѣлу. А главная причина — я тебя люблю какъ сына... и горжусь тобой.

Если бы у васъ съ Таней наладился какъ-нибудь романъ, то—что жъ? я былъ бы очень радъ и даже счастливъ. Говорю это прямо, безъ жеманства, какъ честный человѣкъ.

Ковринъ засмѣялся. Егоръ Семеновичъ открылъ дверь, чтобы выйти, и остановился на порогѣ.

— Если бы у тебя съ Таней сынъ родился, то я бы изъ него садовода сдѣлалъ, — сказалъ онъ, подумавъ.— Впрочемъ, сіе есть мечтаніе пустое... Спокойной ночи.

Оставшись одинъ, Ковринъ легъ поудобнѣе и принялся за статьи. У одной было такое заглавіе: «О промежуточной культурѣ», у другой: «Нѣсколько словъ по поводу замѣтки г. Z. о перештыковкѣ почвы подъ новый садъ», у третьей: «Еще объ окулировкѣ спящимъ глазкомъ» — и все въ такомъ родѣ. Но какой непокойный, неровный тонъ, какой нервный, почти болѣзненный задоръ! Вотъ статья, кажется, съ самымъ мирнымъ заглавіемъ и безразличнымъ содержаніемъ: говорится въ ней о русской антоновской яблонѣ. Но начинаетъ ее Егоръ Семенычъ съ «audiatur altera pars» и кончаетъ — «sapienti sat», а между этими изреченіями цѣлый фонтанъ разныхъ ядовитыхъ словъ по адресу «ученаго невѣжества нашихъ патентованныхъ гг. садоводовъ, наблюдающихъ природу съ высоты своихъ каѳедръ», или г. Гоше, «успѣхъ котораго созданъ профанами и дилетантами», и тутъ же некстати натянутое и неискреннее сожалѣніе, что мужиковъ, ворующихъ фрукты и ломающихъ при этомъ деревья, уже нельзя драть розгами.

«Дѣло красивое, милое, здоровое, но и тутъ страсти и война, — подумалъ Ковринъ. — Должно-быть, вездѣ и на всѣхъ поприщахъ идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вѣроятно, это такъ нужно».

Онъ вспомнилъ про Таню, которой такъ нравятся статьи Егора Семеныча. Небольшого роста, блѣдная, тощая, такъ что ключицы видно; глаза широко раскрытые, темные, умные, все куда-то вглядываются и чего-то ищутъ; походка, какъ у отца, мелкая, торопливая. Она много говоритъ, любитъ поспорить, и при этомъ всякую даже незначительную фразу сопровождаетъ выразительною мимикой и жестикуляціей. Должно-быть, нервна въ высшей степени.

Ковринъ сталъ читать дальше, но ничего не понялъ и бросилъ. Пріятное возбужденіе, то самое, съ какимъ онъ давеча танцовалъ мазурку и слушалъ музыку, теперь томило

его и вызывало въ немъ множество мыслей. Онъ поднялся и сталъ ходить по комнатѣ, думая о черномъ монахѣ. Ему пришло въ голову, что если этого страннаго, сверхъестественнаго монаха видѣлъ только онъ одинъ, то, значитъ, онъ боленъ и дошелъ уже до галлюцинацій. Это соображеніе испугало его, но не надолго.

«Но вѣдь мнѣ хорошо, и я никому не дѣлаю зла; значитъ, въ моихъ галлюцинаціяхъ нѣтъ ничего дурного»,— подумалъ онъ, и ему опять стало хорошо.

Онъ сѣлъ на диванъ и обнялъ голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо, потомъ опять прошелся и сѣлъ за работу. Но мысли, которыя онъ вычитывалъ изъ книги, не удовлетворяли его. Ему хотѣлось чего-то гигантскаго, необъятнаго, поражающаго. Подъ утро онъ раздѣлся и нехотя легъ въ постель: надо же было спать!

Когда послышались шаги Егора Семеныча, уходившаго въ садъ, Ковринъ позвонилъ и приказалъ лакею принести вина. Онъ съ наслажденіемъ выпилъ нѣсколько рюмокъ лафита, потомъ укрылся съ головой; сознаніе его затуманилось, и онъ уснулъ.

IV.

Егоръ Семенычъ и Таня часто ссорились и говорили другъ другу непріятности.

Какъ-то утромъ они о чемъ-то повздорили. Таня заплакала и ушла къ себѣ въ комнату. Она не выходила ни обѣдать, ни чай пить. Егоръ Семенычъ сначала ходилъ важный, надутый, какъ бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свѣтѣ, но скоро не выдержалъ характера и палъ духомъ. Онъ печально бродилъ по парку и все вздыхалъ: «ахъ, Боже мой, Боже мой!» и за обѣдомъ не съѣлъ ни одной крошки. Наконецъ, виноватый, замученный совѣстью, онъ постучалъ въ запертую дверь и позвалъ робко:

— Таня! Таня?

И въ отвѣтъ ему изъ-за двери послышался слабый, изнемогшій отъ слезъ и въ то же время рѣшительный голосъ:

— Оставьте меня, прошу васъ.

Томленіе хозяевъ отражалось на всемъ домѣ, даже на людяхъ, которые работали въ саду. Ковринъ былъ погру-

женъ въ свою интересную работу, но подъ конецъ и ему стало скучно и неловко. Чтобы какъ-нибудь развѣять общее дурное настроеніе, онъ рѣшилъ вмѣшаться и передъ вечеромъ постучался къ Танѣ. Его впустили.

— Ай-ай, какъ стыдно! — началъ онъ шутливо, съ удивленіемъ глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани.—Неужели такъ серьезно? Ай-ай!

— Но если бы вы знали, какъ онъ меня мучитъ!— сказала она, и слезы, горючія, обильныя слезы брызнули изъ ея большихъ глазъ.—Онъ замучилъ меня!—продолжала она, ломая руки.—Я ему ничего не говорила... ничего... Я только сказала, что нѣтъ надобности держать... лишнихъ работниковъ, если... если можно, когда угодно, имѣть поденщиковъ. Вѣдь... вѣдь работники уже цѣлую недѣлю ничего не дѣлаютъ... Я... я только это сказала, а онъ раскричался и наговорилъ мнѣ... много обиднаго, глубоко оскорбительнаго. За что?

— Полно, полно,—проговорилъ Ковринъ, поправляя ей прическу. — Побранились, поплакали и будетъ. Нельзя долго сердиться, это нехорошо... тѣмъ болѣе, что онъ васъ безконечно любитъ.

— Онъ мнѣ... мнѣ испортилъ всю жизнь, — продолжала Таня, всхлипывая.—Только и слышу одни оскорбленія и... и обиды. Онъ считаетъ меня лишней въ его домѣ. Что же? Онъ правъ. Я завтра уѣду отсюда, поступлю въ телеграфистки... Пусть...

— Ну, ну, ну... Не надо плакать, Таня. Не надо, милая... Вы оба вспыльчивы, раздражительны, и оба виноваты. Пойдемте, я васъ помирю.

Ковринъ говорилъ ласково и убѣдительно, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руки, какъ будто ее въ самомъ дѣлѣ постигло страшное несчастье. Ему было жаль ея тѣмъ сильнѣе, что горе у нея было не серьезное, а страдала она глубоко. Какихъ пустяковъ было достаточно, чтобы сдѣлать это созданіе несчастнымъ на цѣлый день, да и пожалуй на всю жизнь! Утѣшая Таню, Ковринъ думалъ о томъ, что кромѣ этой дѣвушки и ея отца, во всемъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь людей, которые любили бы его какъ своего, какъ родного; если бы не эти два человѣка, то, пожалуй, онъ, потерявшій отца и мать въ раннемъ дѣтствѣ, до самой смерти не узналъ бы,

что такое искренняя ласка и та наивная, не разсуждающая любовь, какую питаютъ только къ очень близкимъ, кровнымъ людямъ. И онъ чувствовалъ, что его полубольнымъ, издерганнымъ нервамъ, какъ желѣзо магниту, отвѣчаютъ нервы этой плачущей, вздрагивающей дѣвушки. Онъ никогда бы ужъ не могъ полюбить здоровую, крѣпкую, краснощекую женщину, но блѣдная, слабая, несчастная Таня ему нравилась.

И онъ охотно гладилъ ее по волосамъ и плечамъ, пожималъ ей руки и утиралъ слезы... Наконецъ, она перестала плакать. Она еще долго жаловалась на отца и на свою тяжелую, невыносимую жизнь въ этомъ домѣ, умоляя Коврина войти въ ея положеніе; потомъ стала мало-помалу улыбаться и вздыхать, что Богъ послалъ ей такой дурной характеръ, въ концѣ-концовъ, громко разсмѣявшись, назвала себя дурой и выбѣжала изъ комнаты.

Когда немного погодя Ковринъ вышелъ въ садъ, Егоръ Семенычъ и Таня уже какъ ни въ чемъ не бывало гуляли рядышкомъ по аллеѣ и оба ѣли ржаной хлѣбъ съ солью, такъ какъ оба были голодны.

V.

Довольный, что ему такъ удалась роль миротворца, Ковринъ пошелъ въ паркъ. Сидя на скамьѣ и размышляя, онъ слышалъ стукъ экипажей и женскій смѣхъ — это пріѣхали гости. Когда вечернія тѣни стали ложиться въ саду, неясно послышались звуки скрипки, поющіе голоса, и это напомнило ему про чернаго монаха. Гдѣ-то, въ какой странѣ или на какой планетѣ носится теперь эта оптическая несообразность?

Едва онъ вспомнилъ легенду и нарисовалъ въ своемъ воображеніи то темное привидѣніе, которое видѣлъ на ржаномъ полѣ, какъ изъ-за сосны, какъ разъ напротивъ, вышелъ неслышно, безъ малѣйшаго шороха, человѣкъ средняго роста съ непокрытою сѣдою головой, весь въ темномъ и босой, похожій на нищаго, и на его блѣдномъ, точно мертвомъ лицѣ рѣзко выдѣлялись черныя брови. Привѣтливо кивая головой, этотъ нищій или странникъ безшумно подошелъ къ скамьѣ и сѣлъ, и Ковринъ узналъ въ немъ чернаго монаха. Минуту оба смотрѣли другъ на друга — Ковринъ съ изу-

мленіемъ, а монахъ ласково и, какъ и тогда, немножко лукаво, съ выраженіемъ себѣ-на-умѣ.

— Но вѣдь ты миражъ,—проговорилъ Ковринъ.—Зачѣмъ же ты здѣсь и сидишь на одномъ мѣстѣ? Это не вяжется съ легендой.

— Это все равно,—отвѣтилъ монахъ не сразу, тихимъ голосомъ, обращаясь къ нему лицомъ. — Легенда, миражъ и я—все это продуктъ твоего возбужденнаго воображенія. Я—призракъ.

— Значитъ, ты не существуешь?—спросилъ Ковринъ.

— Думай, какъ хочешь,—сказалъ монахъ и слабо улыбнулся.—Я существую въ твоемъ воображеніи, а воображеніе твое есть часть природы, значитъ, я существую и въ природѣ.

— У тебя очень старое, умное и въ высшей степени выразительное лицо, точно ты въ самомъ дѣлѣ прожилъ больше тысячи лѣтъ,—сказалъ Ковринъ.—Я не зналъ, что мое воображеніе способно создавать такіе феномены. Но что ты смотришь на меня съ такимъ восторгомъ? Я тебѣ нравлюсь?

— Да. Ты одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые по справедливости называются избранниками Божіими. Ты служишь вѣчной правдѣ. Твои мысли, намѣренія, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носятъ на себѣ божественную, небесную печать, такъ какъ посвящены они разумному и прекрасному, то-есть тому, что вѣчно.

— Ты сказалъ: вѣчной правдѣ... Но развѣ людямъ доступна и нужна вѣчная правда, если нѣтъ вѣчной жизни?

— Вѣчная жизнь есть,—сказалъ монахъ.

— Ты вѣришь въ безсмертіе людей?

— Да, конечно. Васъ, людей, ожидаетъ великая, блестящая будущность. И чѣмъ больше на землѣ такихъ, какъ ты, тѣмъ скорѣе осуществится это будущее. Безъ васъ, служителей высшему началу, живущихъ сознательно и свободно, человѣчество было бы ничтожно; развиваясь естественнымъ порядкомъ, оно долго бы еще ждало конца своей земной исторіи. Вы же на нѣсколько тысячъ лѣтъ раньше введете его въ царство вѣчной правды—и въ этомъ ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословеніе Божіе, которое почило на людяхъ.

— А какая цѣль вѣчной жизни?—спросилъ Ковринъ.

— Какъ и всякой жизни—наслажденіе. Истинное насла-

жденіе въ познаніи, а вѣчная жизнь представитъ безчисленные и неисчерпаемые источники для познанія, и въ этомъ смыслѣ сказано: въ дому Отца Моего обители многи суть.

— Если бы ты зналъ, какъ пріятно слушать тебя! — сказалъ Ковринъ, потирая отъ удовольствія руки.

— Очень радъ.

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будетъ безпокоить вопросъ о твоей сущности. Ты призракъ, галлюцинація. Значитъ, я психически боленъ, ненормаленъ?

— Хотя бы и такъ. Что смущаться? Ты боленъ, потому что работалъ черезъ силу и утомился, а это значитъ, что свое здоровье ты принесъ въ жертву идеѣ, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это—то, къ чему стремятся всѣ вообще одаренные свыше благородныя натуры.

— Если я знаю, что я психически боленъ, то могу ли я вѣрить себѣ?

— А почему ты знаешь, что геніальные люди, которымъ вѣритъ весь свѣтъ, тоже не видѣли призраковъ? Говорятъ же теперь ученые, что геній сродни умопомѣшательству. Другъ мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображенія насчетъ нервнаго вѣка, переутомленія, вырожденія и т. п. могутъ серьезно волновать только тѣхъ, кто цѣль жизни видитъ въ настоящемъ, то-есть стадныхъ людей.

— Римляне говорили: mens sana in corpore sano.

— Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроеніе, возбужденіе, экстазъ—все то, что отличаетъ пророковъ, поэтовъ, мучениковъ за идею отъ обыкновенныхъ людей, противно животной сторонѣ человѣка, то-есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоровъ и нормаленъ, иди въ стадо.

— Странно, ты повторяешь то, что часто мнѣ самому приходитъ въ голову,—сказалъ Ковринъ.—Ты какъ будто подсмотрѣлъ и подслушалъ мои сокровенныя мысли. Но давай говорить не обо мнѣ. Что ты разумѣешь подъ вѣчною правдой?

Монахъ не отвѣтилъ. Ковринъ взглянулъ на него и не разглядѣлъ лица: черты его туманились и расплывались. Затѣмъ у монаха стали исчезать голова, руки; туловище

его смѣшалось со скамьей и съ вечерними сумерками, и онъ исчезъ совсѣмъ.

— Галлюцинація кончилась! — сказалъ Ковринъ и засмѣялся.—А жаль.

Онъ пошелъ назадъ къ дому веселый и счастливый. То немногое, что сказалъ ему черный монахъ, льстило не самолюбію, а всей душѣ, всему существу его. Быть избранникомъ, служить вѣчной правдѣ, стоять въ ряду тѣхъ, которые на чѣсколько тысячъ лѣтъ раньше сдѣлаютъ человѣчество достойнымъ царствія Божія, то-есть избавятъ людей отъ нѣсколькихъ лишнихъ тысячъ лѣтъ борьбы, грѣха и страданій, отдать идеѣ все — молодость, силы, здоровье, быть готовымъ умереть для общаго блага,—какой высокій, какой счастливый удѣлъ! У него пронеслось въ памяти его прошлое, чистое, цѣломудренное, полное труда, онъ вспомнилъ то, чему учился и чему самъ училъ другихъ, и рѣшилъ, что въ словахъ монаха не было преувеличенія.

Навстрѣчу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.

— Вы здѣсь?—сказала она.—А мы васъ ищемъ, ищемъ... Но что съ вами?—удивилась она, взглянувъ на его восторженное, сіяющее лицо, и на глаза, полные слезъ.—Какой вы странный, Андрюша.

— Я доволенъ, Таня,—сказалъ Ковринъ, кладя ей руки на плечи.—Я больше чѣмъ доволенъ, я счастливъ! Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я такъ радъ, такъ радъ!

Онъ горячо поцѣловалъ ей обѣ руки и продолжалъ:

— Я только-что пережилъ свѣтлыя, чудныя, неземныя минуты. Но я не могу разсказать вамъ всего, потому что вы назовете меня сумасшедшимъ, или не повѣрите мнѣ. Будемъ говорить о васъ. Милая, славная Таня! Я васъ люблю и уже привыкъ любить. Ваша близость, встрѣчи наши по десяти разъ на день стали потребностью моей души. Не знаю, какъ я буду обходиться безъ васъ, когда уѣду къ себѣ.

— Ну!—засмѣялась Таня.—Вы забудете про насъ черезъ два дня. Мы люди маленькіе, а вы великій человѣкъ.

— Нѣтъ, будемъ говорить серьезно! — сказалъ онъ.—Я возьму васъ съ собой, Таня. Да? Вы поѣдете со мной? Вы хотите быть моей?

— Ну!—сказала Таня и хотѣла опять засмѣяться, но смѣха не вышло, и красныя пятна выступили у нея на лицѣ.

Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не къ дому, а дальше въ паркъ.

— Я не думала объ этомъ... не думала!—говорила она какъ бы въ отчаяніи сжимая руки.

А Ковринъ шелъ за ней и говорилъ все съ тѣмъ же сіяющимъ, восторженнымъ лицомъ:

— Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мнѣ. Я счастливъ! Счастливъ!

Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на десять лѣтъ, а онъ находилъ ее прекрасной и громко выражалъ свой восторгъ.

— Какъ она хороша!

VI.

Узнавъ отъ Коврина, что не только романъ наладился, но что даже будетъ свадьба, Егоръ Семенычъ долго ходилъ изъ угла въ уголъ, стараясь скрыть волненіе. Руки у него стали трястись, шея надулась и побагровѣла, онъ велѣлъ заложить бѣговыя дрожки и уѣхалъ куда-то. Таня, видѣвшая, какъ онъ хлеснулъ по лошади и какъ глубоко, почти на уши, надвинулъ фуражку, поняла его настроеніе, заперлась у себя и проплакала весь день.

Въ оранжереяхъ уже поспѣли персики и сливы; упаковка и отправка въ Москву этого нѣжнаго и прихотливаго груза требовала много вниманія, труда и хлопотъ. Благодаря тому, что лѣто было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы, и появилась во множествѣ гусеница, которую работники и даже Егоръ Семенычъ и Таня, къ великому омерзѣнію Коврина, давили прямо пальцами. При всемъ томъ, нужно уже было принимать заказы къ осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И въ самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевыя работы, которыя отняли у сада больше половины рабочихъ; Егоръ Семенычъ, сильно загорѣвшій, замученный, злой, скакалъ то въ садъ, то въ поле и кричалъ, что его разрываютъ на части, и что онъ пуститъ себѣ пулю въ лобъ.

А тутъ еще возня съ приданымъ, которому Песоцкіе придавали не малое значеніе; отъ звяканья ножницъ, стука швейныхъ машинъ, угара утюговъ и отъ капризовъ модистки, нервной, обидчивой дамы, у всѣхъ въ домѣ кружились головы. И какъ нарочно, каждый день пріѣзжали гости, которыхъ надо было забавлять, кормить и даже оставлять почевать. Но вся эта каторга прошла незамѣтно, какъ въ туманѣ. Таня чувствовала себя такъ, какъ будто любовь и счастье захватили ее врасплохъ, хотя съ четырнадцати лѣтъ была увѣрена почему-то, что Ковринъ женится именно на ней. Она изумлялась, недоумѣвала, не вѣрила себѣ... То вдругъ нахлынетъ такая радость, что хочется улетѣть подъ облака и тамъ молиться Богу, а то вдругъ вспомнится, что въ августѣ придется разставаться съ роднымъ гнѣздомъ и оставлять отца, или, Богъ вѣсть откуда, придетъ мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великаго человѣка, какъ Ковринъ,—и она уходитъ къ себѣ, запирается на ключъ и горько плачетъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Когда бываютъ гости, вдругъ ей покажется, что Ковринъ необыкновенно красивъ и что въ него влюблены всѣ женщины и завидуютъ ей, и душа ея наполняется восторгомъ и гордостью, какъ будто она побѣдила весь свѣтъ, но стоитъ ему привѣтливо улыбнуться какой-нибудь барышнѣ, какъ она ужъ дрожитъ отъ ревности, уходитъ къ себѣ—и опять слезы. Эти новыя ощущенія завладѣли ею совершенно, она помогала отцу машинально и не замѣчала ни персиковъ, ни гусеницъ, ни рабочихъ, ни того, какъ быстро бѣжало время.

Съ Егоромъ Семенычемъ происходило почти то же самое. Онъ работалъ съ утра до ночи, все спѣшилъ куда-то, выходилъ изъ себя, раздражался, но все это въ какомъ-то волшебномъ полуснѣ. Въ немъ уже сидѣло какъ будто бы два человѣка: одинъ былъ настоящій Егоръ Семенычъ, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшаго ему о безпорядкахъ, возмущался и въ отчаяніи хваталъ себя за голову, и другой не настоящій, точно полупьяный который вдругъ на полусловѣ прерывалъ дѣловой разговоръ, трогалъ садовника за плечо и начиналъ бормотать:

— Что ни говори, а кровь много значитъ. Его мать была удивительная, благороднѣйшая, умнѣйшая женщина. Было наслажденіемъ смотрѣть на ея доброе, ясное, чистое лицо

какъ у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на пяти иностранныхъ языкахъ, пѣла... Бѣдняжка, царство ей небесное, скончалась отъ чахотки.

Не настоящій Егоръ Семенычъ вздыхалъ и, помолчавъ, продолжалъ:

— Когда онъ былъ мальчикомъ и росъ у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взглядъ, и движенія, и разговоръ нѣжны и изящны, какъ у матери. А умъ? Онъ всегда поражалъ насъ своимъ умомъ. Да и то сказать, не даромъ онъ магистръ! Не даромъ! А погоди, Иванъ Карлычъ, каковъ онъ будетъ лѣтъ черезъ десять! Рукой не достанешь!

Но тутъ настоящій Егоръ Семенычъ, спохватившись, дѣлалъ страшное лицо, хваталъ себя за голову и кричалъ:

— Черти! Перескверни, перепоганили, перемерзили! Пропалъ садъ! Погибъ садъ!

А Ковринъ работалъ съ прежнимъ усердіемъ и не замѣчалъ сутолоки. Любовь только подлила масла въ огонь. Послѣ каждаго свиданія съ Таней, онъ, счастливый, восторженный, шелъ къ себѣ и съ тою же страстностью, съ какою онъ только-что цѣловалъ Таню и объяснялся ей въ любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорилъ черный монахъ объ избранникахъ Божіихъ, вѣчной правдѣ, о блестящей будущности человѣчества и проч., придавало его работѣ особенное, необыкновенное значеніе и наполняло его душу гордостью, сознаніемъ собственной высоты. Разъ или два въ недѣлю, въ паркѣ или въ домѣ, онъ встрѣчался съ чернымъ монахомъ и подолгу бесѣдовалъ съ нимъ, но это не пугало, а, напротивъ, восхищало его, такъ какъ онъ былъ уже крѣпко убѣжденъ, что подобныя видѣнія посѣщаютъ только избранныхъ, выдающихся людей, посвятившихъ себя служенію идеѣ.

Однажды монахъ явился во время обѣда и сѣлъ въ столовой у окна. Ковринъ обрадовался и очень ловко завелъ разговоръ съ Егоромъ Семенычемъ и съ Таней о томъ, что могло быть интересно для монаха; черный гость слушалъ и привѣтливо кивалъ головой, а Егоръ Семенычъ и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозрѣвая, что Ковринъ говоритъ не съ ними, а со своей галлюцинаціей.

Незамѣтно подошелъ Успенскій постъ, а за нимъ скоро

и день свадьбы, которую, по настойчивому желанію Егора Семеныча отпраздновали «съ трескомъ», то-есть съ безтолковою гульбой, продолжавшеюся двое сутокъ. Съѣли и выпили тысячи на три, но отъ плохой наемной музыки, крикливыхъ тостовъ и лакейской бѣготни, отъ шума и тѣсноты не поняли вкуса ни въ дорогихъ винахъ, ни въ удивительныхъ закускахъ, выписанныхъ изъ Москвы.

VII.

Какъ-то въ одну изъ длинныхъ зимнихъ ночей Ковринъ лежалъ въ постели и читалъ французскій романъ. Бѣдняжка Таня, у которой по вечерамъ болѣла голова отъ непривычки жить въ городѣ, давно уже спала и изрѣдка въ бреду произносила какія-то безсвязныя фразы.

Пробило три часа. Ковринъ потушилъ свѣчу и легъ; долго лежалъ съ закрытыми глазами, но уснуть не могъ оттого, какъ казалось ему, что въ спальнѣ было очень жарко и бредила Таня. Въ половинѣ пятаго онъ опять зажегъ свѣчу и въ это время увидѣлъ чернаго монаха, который сидѣлъ въ креслѣ около постели.

— Здравствуй,—сказалъ монахъ и, помолчавъ немного, спросилъ:—о чемъ ты теперь думаешь?

— О славѣ,—отвѣтилъ Ковринъ.—Во французскомъ романѣ, который я сейчасъ читалъ, изображенъ человѣкъ, молодой ученый, который дѣлаетъ глупости и чахнетъ отъ тоски по славѣ. Мнѣ эта тоска непонятна.

— Потому что ты уменъ. Ты къ славѣ относишься безразлично, какъ къ игрушкѣ, которая тебя не занимаетъ.

— Да, это правда.

— Извѣстность не улыбается тебѣ. Что лестнаго или забавнаго, или поучительнаго въ томъ, что твое имя вырѣжутъ на могильномъ памятникѣ и потомъ время сотретъ эту надпись вмѣстѣ съ позолотой? Да и къ счастью, васъ слишкомъ много, чтобы слабая человѣческая память могла удержать ваши имена.

— Понятно,—согласился Ковринъ.—Да и зачѣмъ ихъ помнить? Но давай поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ. Напримѣръ, о счастьѣ. Что такое счастье?

Когда часы били пять, онъ сидѣлъ на кровати, свѣсивъ ноги на коверъ, и говорилъ, обращаясь къ монаху:

— Въ древности одинъ счастливый человѣкъ въ концѣ

концовъ испугался своего счастья — такъ оно было велико! — и, чтобы умилостивить боговъ, принесъ имъ въ жертву свой любимый перстень. Знаешь? И меня, какъ Поликрата, начинаетъ немножко безпокоить мое счастье. Мнѣ кажется страннымъ, что отъ утра до ночи я испытываю одну только радость, она наполняетъ всего меня и заглушаетъ всѣ остальныя чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вотъ я не сплю, у меня безсонница, но мнѣ не скучно. Серьезно говорю: я начинаю недоумѣвать.

— Но почему? — изумился монахъ. — Развѣ радость сверхъестественное чувство? Развѣ она не должна быть нормальнымъ состояніемъ человѣка? Чѣмъ выше человѣкъ по умственному и нравственному развитію, чѣмъ онъ свободнѣе, тѣмъ большее удовольствіе доставляетъ ему жизнь. Сократъ, Діогенъ и Маркъ Аврелій испытывали радость, а не печаль. И апостолъ говоритъ: постоянно радуйтеся. Радуйся же и будь счастливъ.

— А вдругъ прогнѣваются боги?—пошутилъ Ковринъ и засмѣялся. — Если они отнимутъ у меня комфортъ и заставятъ меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мнѣ по вкусу.

Таня, между тѣмъ, проснулась и съ изумленіемъ и ужасомъ смотрѣла на мужа. Онъ говорилъ, обращаясь къ креслу, жестикулировалъ и смѣялся; глаза его блестѣли, и въ смѣхѣ было что-то странное.

— Андрюша, съ кѣмъ ты говоришь?—спросила она, хватая его за руку, которую онъ протянулъ къ монаху. — Андрюша! Съ кѣмъ?

— А? Съ кѣмъ?—смутился Ковринъ.—Вотъ съ нимъ... Вотъ онъ сидитъ, — сказалъ онъ, указывая на чернаго монаха.

— Никого здѣсь нѣтъ... никого! Андрюша, ты боленъ!

Таня обняла мужа и прижалась къ нему, какъ бы защищая его отъ видѣній, и закрыла ему глаза рукой.

— Ты боленъ! —зарыдала она, дрожа всѣмъ тѣломъ.— Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже замѣтила, что душа у тебя разстроена чѣмъ-то... Ты психически боленъ, Андрюша...

Дрожь ея сообщилась и ему. Онъ взглянулъ еще разъ на кресло, которое уже было пусто, почувствовалъ вдругъ

слабость въ рукахъ и ногахъ, испугался и сталъ одѣваться.

— Это ничего, Таня, ничего...—бормоталъ онъ, дрожа.— Въ самомъ дѣлѣ я немножко нездоровъ... пора уже сознаться въ этомъ.

— Я уже давно замѣчала... и папа замѣтилъ, — говорила она, стараясь сдержать рыданія.—Ты самъ съ собой говоришь, какъ-то странно улыбаешься... не спишь. О, Боже мой, Боже мой, спаси насъ! — проговорила она въ ужасѣ. — Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради не бойся...

Она тоже стала одѣваться. Только теперь, глядя на нее, Ковринъ понялъ всю опасность своего положенія, понялъ, что значатъ черный монахъ и бесѣды съ нимъ. Для него теперь было ясно, что онъ сумасшедшій.

Оба, сами не зная зачѣмъ, одѣлись и пошли въ залу: она впереди, онъ за ней. Тутъ ужъ, разбуженный рыданіями, въ халатѣ и со свѣчой въ рукахъ стоялъ Егоръ Семенычъ, который гостилъ у нихъ.

— Ты не бойся Андрюша,—говорила Таня, дрожа какъ въ лихорадкѣ: — не бойся... Папа, это все пройдетъ... все пройдетъ...

Ковринъ отъ волненія не могъ говорить. Онъ хотѣлъ сказать тестю шутливымъ тономъ:

— Поздравьте, я, кажется, сошелъ съ ума, — но пошевелилъ только губами и горько улыбнулся.

Въ девять часовъ утра на него надѣли пальто и шубу, окутали его шалью и повезли въ каретѣ къ доктору. Онъ сталъ лѣчиться.

VIII.

Опять наступило лѣто, и докторъ приказалъ ѣхать въ деревню. Ковринъ уже выздоровѣлъ, пересталъ видѣть чернаго монаха и ему оставалось только подкрѣпить свои физическія силы. Живя у тестя въ деревнѣ, онъ пилъ много молока, работалъ только два часа въ сутки, не пилъ вина и не курилъ.

Подъ Ильинъ день вечеромъ въ домѣ служили всенощную. Когда дьячокъ подалъ священнику кадило, то въ старомъ громадномъ залѣ запахло точно кладбищемъ, и Коврину стало скучно. Онъ вышелъ въ садъ. Не замѣчая

роскошныхъ цвѣтовъ, онъ погулялъ по саду, посидѣлъ на скамьѣ, потомъ прошелся по парку; дойдя до рѣки, онъ спустился внизъ и тутъ постоялъ въ раздумьѣ, глядя на воду. Угрюмыя сосны съ мохнатыми корнями, которыя въ прошломъ году видѣли его здѣсь такимъ молодымъ, радостнымъ и бодрымъ, теперь не шептались, а стояли неподвижныя и нѣмыя, точно не узнавали его. И въ самомъ дѣлѣ, голова у него острижена, длинныхъ красивыхъ волосъ уже нѣтъ, походка вялая, лицо, сравнительно съ прошлымъ лѣтомъ, пополнѣло и поблѣднѣло.

По лавамъ онъ перешелъ на тотъ берегъ. Тамъ, гдѣ въ прошломъ году была рожь, теперь лежалъ въ рядахъ скошенный овесъ. Солнце уже зашло, и на горизонтѣ пылало широкое красное зарево, предвѣщавшее на завтра вѣтреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направленію, гдѣ въ прошломъ году показался впервые черный монахъ, Ковринъ постоялъ минутъ двадцать, пока не начала тускнуть вечерняя заря...

Когда онъ вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, всенощная уже кончилась. Егоръ Семенычъ и Таня сидѣли на ступеняхъ террасы и пили чай. Они о чемъ-то говорили, но, увидѣвъ Коврина, вдругъ замолчали, и онъ заключилъ по ихъ лицамъ, что разговоръ у нихъ шелъ о немъ.

— Тебѣ, кажется, пора уже молоко пить,— сказала Таня мужу.

— Нѣтъ, не пора... — отвѣчалъ онъ, садясь на самую нижнюю ступень.—Пей сама. Я не хочу.

Таня тревожно переглянулась съ отцомъ и сказала виноватымъ голосомъ:

— Ты самъ замѣчаешь, что молоко тебѣ полезно.

— Да, очень полезно!—усмѣхнулся Ковринъ.—Поздравляю васъ: послѣ пятницы во мнѣ прибавился еще одинъ фунтъ вѣсу. — Онъ крѣпко сжалъ руками голову и проговорилъ съ тоской:—Зачѣмъ, зачѣмъ вы меня лѣчили? Бромистые препараты, праздность, теплыя ванны, надзоръ, малодушный страхъ за каждый глотокъ, за каждый шагъ— все это въ концѣ концовъ доведетъ меня до идіотизма. Я сходилъ съ ума, у меня была манія величія, но зато я былъ веселъ, бодръ и даже счастливъ, я былъ интересенъ и оригиналенъ. Теперь я сталъ разсудительнѣе и солиднѣе, но зато я такой, какъ всѣ: я — посредственность, мнѣ

скучно жить... О, какъ вы жестоко поступили со мной! Я видѣлъ галлюцинаціи, но кому это мѣшало? Я спрашиваю: кому это мѣшало?

— Богъ знаетъ, что ты говоришь! — вздохнулъ Егоръ Семенычъ.—Даже слушать скучно.

— А вы не слушайте.

Присутствіе людей, особенно Егора Семеныча, теперь ужъ раздражало Коврина, онъ отвѣчалъ ему сухо, холодно и даже грубо и иначе не смотрѣлъ на него, какъ насмѣшливо и съ ненавистью, а Егоръ Семенычъ смущался и виновато покашливалъ, хотя вины за собой никакой не чувствовалъ. Не понимая, отчего такъ рѣзко измѣнились ихъ милыя, благодушныя отношенія, Таня жалась къ отцу и съ тревогой заглядывала ему въ глаза; она хотѣла понять и не могла, и для нея ясно было только, что отношенія съ каждымъ днемъ становятся все хуже и хуже, что отецъ въ послѣднее время сильно постарѣлъ, а мужъ сталъ раздражителенъ, капризенъ, придирчивъ и неинтересенъ. Она уже не могла смѣяться и пѣть, за обѣдомъ ничего не ѣла, не спала по цѣлымъ ночамъ, ожидая, чего-то ужаснаго, и такъ измучилась, что однажды пролежала въ обморокѣ отъ обѣда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отецъ плакалъ, и теперь, когда они втроемъ сидѣли на террасѣ, она дѣлала надъ собой усилія, чтобы не думать объ этомъ.

— Какъ счастливы Будда и Магометъ или Шекспиръ, что добрые родственники и доктора не лѣчили ихъ отъ экстаза и вдохновенія—сказалъ Коринъ.—Если бы Магометъ принималъ отъ нервовъ бромистый калій, работалъ только два часа въ сутки и пилъ молоко, то послѣ этого замѣчательнаго человѣка осталось бы такъ же мало, какъ послѣ его собаки. Доктора и добрые родственники въ концѣ концовъ сдѣлаютъ то, что человѣчество отупѣетъ, посредственность будетъ считаться геніемъ и цивилизація погибнетъ. Если бы вы знали,—сказалъ Коринъ съ досадой:—какъ я вамъ благодаренъ!

Онъ почувствовалъ сильное раздраженіе и, чтобы не сказать лишняго, быстро всталъ и пошелъ въ домъ. Было тихо, и въ открытыя окна несся изъ сада ароматъ табака и ялапы. Въ громадномъ темномъ залѣ на полу и на рояли зелеными пятнами лежалъ лунный свѣтъ. Коврину

припомнились восторги прошлаго лѣта, когда такъ же пахло ялапой и въ окнахъ свѣтилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроеніе, онъ быстро пошелъ къ себѣ въ кабинетъ, закурилъ крѣпкую сигару и приказалъ лакею принести вина. Но отъ сигары во рту стало горько и противно, а вино оказалось не такого вкуса, какъ въ прошломъ году. И что значитъ отвыкнуть! Отъ сигары и двухъ глотковъ вина у него закружилась голова и началось сердцебіеніе, такъ что понадобилось принимать бромистый калій.

Передъ тѣмъ, какъ ложиться спать, Таня говорила ему:

— Отецъ обожаетъ тебя. Ты на него сердишься за что-то, и это убиваетъ его. Посмотри: онъ старѣетъ не по днямъ, а по часамъ. Умоляю тебя, Андрюша, Бога ради, ради своего покойнаго отца, ради моего покоя, будь съ нимъ ласковъ!

— Не могу и не хочу.

— Но почему?—спросила Таня, начиная дрожать всѣмъ тѣломъ.—Объясни мнѣ, почему?

— Потому, что онъ мнѣ не симпатиченъ, вотъ и все,— небрежно сказалъ Ковринъ и пожалъ плечами:—но не будемъ говорить о немъ: онъ твой отецъ.

— Не могу, не могу понять! — проговорила Таня, сжимая себѣ виски и глядя въ одну точку. — Что-то непостижимое, ужасное происходитъ у насъ въ домѣ. Ты измѣнился, сталъ на себя не похожъ... Ты, умный, необыкновенный человѣкъ, раздражаешься изъ-за пустяковъ, вмѣшиваешься въ дрязги... Такія мелочи волнуютъ тебя, что иной разъ просто удивляешься и не вѣришь: ты ли это? Ну, ну, не сердись, не сердись, — продолжала она, пугаясь своихъ словъ и цѣлуя ему руки. — Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедливъ къ отцу. Онъ такой добрый!

— Онъ не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки, въ родѣ твоего отца, съ сытыми добродушными физіономіями, необыкновенно хлѣбосольные и чудаковатые, когда-то умиляли меня и смѣшили и въ повѣстяхъ, и въ водевиляхъ, и въ жизни, теперь же они мнѣ противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнѣе всего мнѣ ихъ сытость и этотъ желудочный, чисто бычій или кабаній оптимизмъ.

Таня сѣла на постель и положила голову на подушку.

— Это пытка,—проговорила она, и по ея голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить.—Съ самой зимы ни одной покойной минуты... Вѣдь это ужасно, Боже мой! Я страдаю...

— Да, конечно, я — Иродъ, а ты и твой папенька — египетскіе младенцы. Конечно!

Его лицо показалось Танѣ некрасивымъ и непріятнымъ. Ненависть и насмѣшливое выраженіе не шли къ нему. Да и раньше она замѣчала, что на его лицѣ уже чего-то недостаетъ, какъ будто съ тѣхъ поръ, какъ онъ остригся, измѣнилось и лицо. Ей захотѣлось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчасъ же она поймала себя на непріязненномъ чувствѣ, испугалась и пошла изъ спальни.

IX.

Ковринъ получилъ самостоятельную каѳедру. Вступительная лекція была назначена на второе декабря, и объ этомъ было вывѣшено объявленіе въ университетскомъ коридорѣ. Но въ назначенный день онъ извѣстилъ инспектора студентовъ телеграммой, что читать лекціи не будетъ по болѣзни.

У него шла горломъ кровь. Онъ плевалъ кровью, но случалось раза два въ мѣсяцъ, что она текла обильно, и тогда онъ чрезвычайно слабѣлъ и впадалъ въ сонливое состояніе. Эта болѣзнь не особенно пугала его, такъ какъ ему было извѣстно, что его покойная мать жила точно съ такою же болѣзнью десять лѣтъ, даже больше; и доктора увѣряли, что это не опасно, и совѣтовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить.

Въ январѣ лекція опять не состоялась по той же причинѣ, а въ февралѣ было уже поздно начинать курсъ. Пришлось отложить до будущаго года.

Жилъ онъ уже не съ Таней, а съ другой женщиной, которая была на два года старше его и ухаживала за нимъ, какъ за ребенкомъ. Настроеніе у него было мирное, покорное: онъ охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна—такъ звали его подругу—собралась везти его въ Крымъ, то онъ согласился, хотя предчувствовалъ, что изъ этой поѣздки не выйдетъ ничего хорошаго.

Они пріѣхали въ Севастополь вечеромъ и остановились въ гостиницѣ, чтобы отдохнуть и завтра ѣхать въ Ялту. Обоихъ утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Ковринъ не ложился. Еще дома, за часъ до отъѣзда на вокзалъ, онъ получилъ отъ Тани письмо и не рѣшился его распечатать, и теперь оно лежало у него въ боковомъ карманѣ, и мысль о немъ непріятно волновала его. Искренно, въ глубинѣ души, свою женитьбу на Танѣ онъ считалъ теперь ошибкой, былъ доволенъ, что окончательно разошелся съ ней, и воспоминаніе объ этой женщинѣ, которая въ концѣ концовъ обратилась въ ходячія живыя мощи, и въ которой, какъ кажется, все уже умерло, кромѣ большихъ, пристально вглядывающихся, умныхъ глазъ, воспоминаніе о ней возбуждало въ немъ одну только жалость и досаду на себя. Почеркъ на конвертѣ напомнилъ ему, какъ онъ года два назадъ былъ несправедливъ и жестокъ, какъ вымещалъ на ни въ чемъ неповинныхъ людяхъ свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же онъ вспомнилъ, какъ однажды онъ рвалъ на мелкіе клочки свою диссертацію и всѣ статьи, написанныя за время болѣзни, и какъ бросалъ въ окно, и клочки, летая по вѣтру, цѣплялись за деревья и цвѣты; въ каждой строчкѣ видѣлъ онъ странныя, ни на чемъ не основанныя претензіи, легкомысленный задоръ, дерзость, манію величія, и это производило на него такое внечатлѣніе, какъ будто онъ читалъ описаніе своихъ пороковъ; но когда послѣдняя тетрадка была разорвана и полетѣла въ окно, ему почему-то вдругъ стало досадно и горько, онъ пошелъ къ женѣ и наговорилъ ей много непріятнаго. Боже мой, какъ онъ изводилъ ее! Однажды, желая причинить ей боль, онъ сказалъ ей, что ея отецъ игралъ въ ихъ романѣ непривлекательную роль, такъ какъ просилъ его жениться на ней; Егоръ Семенычъ нечаянно подслушалъ это, вбѣжалъ въ комнату и съ отчаянія не могъ выговорить ни одного слова, и только топтался на одномъ мѣстѣ и какъ-то странно мычалъ, точно у него отнялся языкъ, а Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающимъ голосомъ и упала въ обморокъ. Это было безобразно.

Все это приходило на память при взглядѣ на знакомый почеркъ. Ковринъ вышелъ на балконъ; была тихая теплая погода и пахло моремъ. Чудесная бухта отражала въ себѣ

луну и огни и имѣла цвѣтъ, которому трудно подобрать названіе. Это было нѣжное и мягкое сочетаніе синяго съ зеленымъ; мѣстами вода походила цвѣтомъ на синій купоросъ, а мѣстами, казалось, лунный свѣтъ сгустился и вмѣсто воды наполнялъ бухту, а въ общемъ какое согласіе цвѣтовъ, какое мирное, покойное и высокое настроеніе!

Въ нижнемъ этажѣ, подъ балкономъ, окна, вѣроятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женскіе голоса и смѣхъ. Повидимому, тамъ была вечеринка.

Ковринъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, распечаталъ письмо и, войдя къ себѣ въ номеръ, прочелъ:

«Сейчасъ умеръ мой отецъ. Этимъ я обязана тебѣ, такъ какъ ты убилъ его. Нашъ садъ погибаетъ, въ немъ хозяйничаютъ уже чужіе, то-есть происходитъ то самое, чего такъ боялся бѣдный отецъ. Этимъ я обязана тоже тебѣ. Я ненавижу тебя всею моею душой и желаю, чтобы ты скорѣе погибъ. О, какъ я страдаю! Мою душу жжетъ невыносимая боль... Будь ты проклятъ. Я приняла тебя за необыкновеннаго человѣка, за генія, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшимъ...»

Ковринъ не могъ дальше читать, изорвалъ письмо и бросилъ. Имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, какъ она дышала; изъ нижняго этажа доносились женскіе голоса и смѣхъ, но у него было такое чувство, какъ будто во всей гостиницѣ кромѣ него не было ни одной живой души. Оттого, что несчастная, убитая горемъ Таня въ своемъ письмѣ проклинала его и желала его погибели, ему было жутко, и онъ мелькомъ взглядывалъ на дверь, какъ бы боясь, чтобы не вошла въ номеръ и не распорядилась имъ опять та невѣдомая сила, которая въ какіе-нибудь два года произвела столько разрушеній въ его жизни и въ жизни близкихъ.

Онъ уже по опыту зналъ, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство отъ нихъ—это работа. Надо сѣсть за столъ и заставить себя, во что бы то ни стало, сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Онъ досталъ изъ своего краснаго портфеля тетрадку, на которой былъ набросанъ конспектъ небольшой компилятивной работы, придуманной имъ на случай, если въ Крыму покажется скучно безъ дѣла. Онъ сѣлъ за столъ и занялся этимъ конспектомъ, и ему казалось, что къ нему возвращается его мирное, по-

корное, безразличное настроеніе. Тетрадка съ конспектомъ навела даже на размышленіе о суетѣ мірской. Онъ думалъ о томъ, какъ много беретъ жизнь за тѣ ничтожныя или весьма обыкновенныя блага, какія она можетъ дать человѣку. Напримѣръ, чтобы получить подъ сорокъ лѣтъ каѳедру, быть обыкновеннымъ профессоромъ, излагать вялымъ, скучнымъ, тяжелымъ языкомъ обыкновенныя и притомъ чужія мысли,—однимъ словомъ, для того, чтобы достигнуть положенія посредственнаго ученаго, ему, Коврину, нужно было учиться пятнадцать лѣтъ, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болѣзнь, пережить неудачный бракъ и продѣлать много всякихъ глупостей и несправедливостей, о которыхъ пріятно было бы не помнить. Ковринъ теперь ясно сознавалъ, что онъ—посредственность, и охотно мирился съ этимъ, такъ какъ, по его мнѣнію, каждый человѣкъ долженъ быть доволенъ тѣмъ, что онъ есть.

Конспектъ совсѣмъ-было успокоилъ его, но разорванное письмо бѣлѣло на полу и мѣшало ему сосредоточиться. Онъ всталъ изъ-за стола, подобралъ клочки письма и бросилъ въ окно, но подулъ съ моря легкій вѣтеръ, и клочки разсыпались по подоконнику. Опять имъ овладѣло безпокойство, похожее на страхъ, и стало казаться, что во всей гостиницѣ кромѣ него нѣтъ ни одной души... Онъ вышелъ на балконъ. Бухта, какъ живая, глядѣла на него множествомъ голубыхъ, синихъ, бирюзовыхъ и огненныхъ глазъ и манила къ себѣ. Въ самомъ дѣлѣ, было жарко и душно и не мѣшало бы выкупаться.

Вдругъ въ нижнемъ этажѣ подъ балкономъ заиграла скрипка, и запѣли два нѣжныхъ женскихъ голоса. Это было что-то знакомое. Въ романсѣ, который пѣли внизу, говорилось о какой-то дѣвушкѣ, больной воображеніемъ, которая слышала ночью въ саду таинственные звуки и рѣшила, что это гармонія священная, намъ, смертнымъ, непонятная... У Коврина захватило дыханіе, и сердце сжалось отъ грусти, и чудесная, сладкая радость, о которой онъ давно уже забылъ, задрожала въ его груди.

Черный высокій столбъ, похожій на вихрь или смерчъ, показался на томъ берегу бухты. Онъ съ страшною быстротой двигался черезъ бухту по направленію къ гостиницѣ, становясь все меньше и темнѣе, и Ковринъ едва успѣлъ посторониться, чтобы дать дорогу... Монахъ съ непокрытою

сѣдою головой и съ черными бровями, босой, скрестивши на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты.

— Отчего ты не повѣрилъ мнѣ?—спросилъ онъ съ укоризной, глядя ласково на Коврина.—Если бы ты повѣрилъ мнѣ тогда, что ты геній, то эти два года ты провелъ бы не такъ печально и скудно.

Ковринъ уже вѣрилъ тому, что онъ избранникъ Божій и геній, онъ живо припомнилъ всѣ свои прежніе разговоры съ чернымъ монахомъ и хотѣлъ говорить, но кровь текла у него изъ горла прямо на грудь, и онъ, не зная, что дѣлать, водилъ руками по груди, и манжетки стали мокрыми отъ крови. Онъ хотѣлъ позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сдѣлалъ усиліе и проговорилъ:

— Таня!

Онъ упалъ на полъ и, поднимаясь на руки, опять позвалъ:

— Таня!

Онъ звалъ Таню, звалъ большой садъ съ роскошными цвѣтами, обрызганными росой, звалъ паркъ, сосны съ мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смѣлость, радость, звалъ жизнь, которая была такъ прекрасна. Онъ видѣлъ на полу около своего лица большую лужу крови и не могъ уже отъ слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу подъ балкономъ играли серенаду, а черный монахъ шепталъ ему, что онъ геній, и что онъ умираетъ потому только, что его слабое человѣческое тѣло уже утеряло равновѣсіе и не можетъ больше служить оболочкой для генія.

Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла изъ-за ширмъ, Ковринъ былъ уже мертвъ и на лицѣ его застыла блаженная улыбка.

СКРИПКА РОТШИЛЬДА.

Городокъ былъ маленькій, хуже деревни, и жили въ немъ почти одни только старики, которые умирали такъ рѣдко, что даже досадно. Въ больницу же и въ тюремный замокъ гробовъ требовалось очень мало. Однимъ словомъ, дѣла были скверныя. Если бы Яковъ Ивановъ былъ гробовщикомъ въ губернскомъ городѣ, то, навѣрное, онъ имѣлъ бы собственный домъ и звали бы его Яковомъ Матвѣичемъ; здѣсь же въ городишкѣ звали его просто Яковомъ, уличное прозвище у него было почему-то—Бронза, а жилъ онъ бѣдно, какъ простой мужикъ, въ небольшой старой избѣ, гдѣ была одна только комната, и въ этой комнатѣ помѣщались онъ, Марѳа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстакъ и все хозяйство.

Яковъ дѣлалъ гробы хорошіе, прочные. Для мужиковъ и мѣщанъ онъ дѣлалъ ихъ на свой ростъ и ни разу не ошибся, такъ какъ выше и крѣпче его не было людей нигдѣ, даже въ тюремномъ замкѣ, хотя ему было уже семьдесятъ лѣтъ. Для благородныхъ же и для женщинъ дѣлалъ по мѣркѣ и употреблялъ для этого желѣзный аршинъ. Заказы на дѣтскіе гробики принималъ онъ очень неохотно и дѣлалъ ихъ прямо безъ мѣрки, съ презрѣніемъ, и всякій разъ, получая деньги за работу, говорилъ:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кромѣ мастерства, небольшой доходъ приносила ему также игра на скрипкѣ. Въ городкѣ на свадьбахъ игралъ обыкновенно жидовскій оркестръ, которымъ управлялъ лудиль-

щикъ Моисей Ильичъ Шахкесъ, бравшій себѣ больше половины дохода. Такъ какъ Яковъ очень хорошо игралъ на скрипкѣ, особенно русскія пѣсни, то Шахкесъ иногда приглашалъ его въ оркестръ съ платою по пятьдесятъ копеекъ къ день, не считая подарковъ отъ гостей. Когда Бронза сидѣлъ въ оркестрѣ, то у него прежде всего потѣло и багровѣло лицо; было жарко, пахло чеснокомъ до духоты, скрипка взвизгивала, у праваго уха хрипѣлъ контрабасъ, у лѣваго— плакала флейта, на которой игралъ рыжій тощій жидъ съ цѣлою сѣтью красныхъ и синихъ жилокъ на лицѣ, носившій фамилію извѣстнаго богача Ротшильда. И этотъ проклятый жидъ даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Безъ всякой видимой причины Яковъ мало-по-малу проникался ненавистью и презрѣніемъ къ жидамъ, а особенно къ Ротшильду; онъ начиналъ придираться, бранить его нехорошими словами и разъ даже хотѣлъ побить его, и Ротшильдъ обидѣлся и проговорилъ, глядя на него свирѣпо:

— Если бы я не уважалъ васъ за талантъ, то вы бы давно полетѣли у меня въ окошке.

Потомъ заплакалъ. Поэтому Бронзу приглашали въ оркестръ не часто, только въ случаѣ крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь изъ евреевъ.

Яковъ никогда не бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, такъ какъ ему постоянно приходилось терпѣть страшные убытки. Напримѣръ, въ воскресенья и праздники грѣшно было работать, понедѣльникъ—тяжелый день, и такимъ образомъ въ году набиралось около двухсотъ дней, когда поневолѣ приходилось сидѣть сложа руки. А вѣдь это какой убытокъ! Если кто-нибудь въ городѣ игралъ свадьбу безъ музыки или Шахкесъ не приглашалъ Якова, то это тоже былъ убытокъ. Полицейскій надзиратель былъ два года боленъ и чахнулъ, и Яковъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда онъ умретъ, но надзиратель уѣхалъ въ губернскій городъ лѣчиться и взялъ да тамъ и умеръ. Вотъ вамъ и убытокъ, по меньшей мѣрѣ рублей на десять, такъ какъ гробъ пришлось бы дѣлать дорогой, съ глазетомъ. Мысли объ убыткахъ донимали Якова особенно по ночамъ; онъ клалъ рядомъ съ собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лѣзла въ голову, трогалъ струны, скрипка въ темнотѣ издавала звукъ, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлаго года Марѳа вдругъ занемогла.

Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утромъ сама истопила печь и даже ходила по воду. Къ вечеру же слегла. Яковъ весь день игралъ на скрипкѣ; когда же совсѣмъ стемнѣло, взялъ книжку, въ которую каждый день записывалъ свои убытки, и отъ скуки сталъ подводить годовой итогъ. Получилось больше тысячи рублей. Это такъ потрясло его, что онъ хватилъ счетами о полъ и затопалъ ногами. Потомъ поднялъ счеты и опять долго щелкалъ и глубоко, напряженно вздыхалъ. Лицо у него было багрово и мокро отъ пота. Онъ думалъ о томъ, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить въ банкъ, то въ годъ проценту накопилось бы самое малое— сорокъ рублей. Значитъ, и эти сорокъ рублей тоже убытокъ. Однимъ словомъ, куда ни повернись, вездѣ только убытки и больше ничего.

— Яковъ!—позвала Марѳа неожиданно.—Я умираю!

Онъ оглянулся на жену. Лицо у нея было розовое отъ жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкшій всегда видѣть ея лицо блѣднымъ, робкимъ и несчастнымъ, теперь смутился. Похоже было на то, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ умирала и была рада, что, наконецъ, уходитъ навѣки изъ этой избы, отъ гробовъ, отъ Якова... И она глядѣла въ потолокъ и шевелила губами, и выраженіе у нея было счастливое, точно она видѣла смерть, свою избавительницу, и шепталась съ ней.

Былъ уже разсвѣтъ, въ окно видно было, какъ горѣла утренняя заря. Глядя на старуху, Яковъ почему-то вспомнилъ, что за всю жизнь онъ, кажется, ни разу не приласкалъ ее, не пожалѣлъ, ни разу не догадался купить ей платочекъ, или принести со свадьбы чего-нибудь сладенькаго, а только кричалъ на нее, бранилъ за убытки, бросался на нее съ кулаками; правда, онъ никогда не билъ ее, но все-таки пугалъ, и она всякій разъ цѣпенѣла отъ страха. Да, онъ не велѣлъ ей пить чай, потому что и безъ того расходы большіе, и она пила только горячую воду. И онъ понялъ, отчего у нея теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, онъ взялъ у сосѣда лошадь и повезъ Марѳу въ больницу. Тутъ больныхъ было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. Къ его великому удовольствію, въ этотъ разъ принималъ больныхъ не док-

торъ, который самъ былъ боленъ, а фельдшеръ Максимъ Николаичъ, старикъ, про котораго всѣ въ городѣ говорили, что хотя онъ и пьющій и дерется, но понимаетъ больше, чѣмъ докторъ.

— Здравія желаемъ,—сказалъ Яковъ, вводя старуху въ пріемнуюю.—Извините, все безпокоимъ васъ, Максимъ Николаичъ, своими пустяшными дѣлами. Вотъ, изволите видѣть, захворалъ мой предметъ. Подруга жизни, какъ это говорится, извините за выраженіе...

Нахмуривъ сѣдыя брови и поглаживая бакены, фельдшеръ сталъ оглядывать старуху, а она сидѣла на табуретѣ сгорбившись и тощая, остроносая, съ открытымъ ртомъ походила въ профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Такъ...—медленно проговорилъ фельдшеръ и вздохнулъ.—Инфлуэнца, а можетъ и горячка. Теперь по городу тифъ ходитъ. Что жъ? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

— Да безъ года семьдесятъ, Максимъ Николаичъ.

— Что жъ? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили замѣтить, Максимъ Николаичъ, — сказалъ Яковъ, улыбаясь изъ вѣжливости:—и чувствительно васъ благодаримъ за вашу пріятность, но позвольте вамъ выразиться, всякому насѣкомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказалъ фельдшеръ такимъ тономъ, какъ будто отъ него зависѣло жить старухѣ или умереть.— Ну, такъ вотъ, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компрессъ и давай вотъ эти порошки по два въ день. А за симъ досвиданція, бонжуръ.

По выраженію его лица Яковъ видѣлъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Мароа помретъ очень скоро, не сегодня—завтра. Онъ слегка толкнулъ фельдшера подъ локоть, подмигнулъ глазомъ и сказалъ вполголоса:

— Ей бы, Максимъ Николаичъ, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи съ Богомъ. Досвиданція.

— Сдѣлайте такую милость,—взмолился Яковъ. — Сами изволите знать, если бъ у нея, скажемъ, животъ болѣлъ, или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то

вѣдь въ ней простуда! При простудѣ первое дѣло — кровь гнать, Максимъ Николаичъ.

А фельдшеръ уже вызвалъ слѣдующаго больного, и въ пріемную входила баба съ мальчикомъ.

— Ступай, ступай...—сказалъ онъ Якову, хмурясь.—Нечего тѣнь наводить.

— Въ такомъ случаѣ поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вѣчно Бога молить!

Фельдшеръ вспылилъ и крикнулъ:

— Поговори мнѣ еще! Дубина...

Яковъ тоже вспылилъ и побагровѣлъ весь, но не сказалъ ни слова, а взялъ подъ руку Марѳу и повелъ ее изъ пріемной. Только когда ужъ садились въ телѣгу, онъ сурово и насмѣшливо поглядѣлъ на больницу и сказалъ:

— Насажали васъ тутъ артистовъ! Богатому небось поставилъ бы банки, а для бѣднаго человѣка и одной пьявки пожалѣлъ. Ироды!

Когда пріѣхали домой, Марѳа, войдя въ избу, минутъ десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжетъ, то Яковъ будетъ говорить объ убыткахъ и бранить ее за то, что она все лежитъ и не хочетъ работать. А Яковъ глядѣлъ на нее со скукой и вспоминалъ, что завтра Іоанна Богослова, послѣзавтра Николая Чудотворца, а потомъ воскресенье, потомъ понедѣльникъ—тяжелый день. Четыре дня нельзя будетъ работать, а навѣрное Марѳа умретъ въ какой-нибудь изъ этихъ дней; значитъ, гробъ надо дѣлать сегодня. Онъ взялъ свой желѣзный аршинъ, подошелъ къ старухѣ и снялъ съ нея мѣрку. Потомъ она легла, а онъ перекрестился и сталъ дѣлать гробъ.

Когда работа была кончена, Бронза надѣлъ очки и записалъ въ свою книжку:

«Марѳѣ Ивановой гробъ—2 р. 40 к.».

И вздохнулъ. Старуха все время лежала молча съ закрытыми глазами. По вечеромъ, когда стемнѣло, она вдругъ позвала старика.

— Помнишь, Яковъ?—спросила она, глядя на него радостно.—Помнишь, пятьдесятъ лѣтъ назадъ намъ Богъ далъ ребеночка съ бѣлокурыми волосиками? Мы съ тобой тогда все на рѣчкѣ сидѣли и пѣсни пѣли... подъ вербой. — И, горько усмѣхнувшись, она добавила:—Умерла дѣвочка.

Яковъ напрягъ память, но никакъ не могъ вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебѣ мерещится,—сказалъ онъ.

Приходилъ батюшка, пріобщалъ и соборовалъ. Потомъ Марѳа стала бормотать что-то непонятное и къ утру скончалась.

Старухи-сосѣдки обмыли, одѣли и въ гробъ положили. Чтобы не платить лишняго дьячку, Яковъ самъ читалъ псалтырь, и за могилку съ него ничего не взяли, такъ какъ кладбищенскій сторожъ былъ ему кумъ. Четыре мужика несли до кладбища гробъ, но не за деньги, а изъ уваженія. Шли за гробомъ старухи, нищіе, двое юродивыхъ, встрѣчный народъ набожно крестился... И Яковъ былъ очень доволенъ, что все такъ честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь въ послѣдній разъ съ Марѳой, онъ потрогалъ рукой гробъ и подумалъ: «Хорошая работа!»

Но когда онъ возвращался съ кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыханіе было горячее и тяжкое, ослабѣли ноги, тянуло къ питью. А тутъ еще полѣзли въ голову всякія мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь онъ ни разу не пожалѣлъ Марѳы, не приласкалъ. Пятьдесятъ-два года, пока они жили въ одной избѣ, тянулись долго-долго, но какъ-то такъ вышло, что за все это время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниманія, какъ будто она была кошка или собака. А вѣдь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала съ нимъ на одной кровати, а когда онъ возвращался пьяный со свадебъ, она всякій разъ съ благоговѣніемъ вѣшала его скрипку на стѣну и укладывала его спать и все это молча, съ робкимъ, заботливымъ выраженіемъ.

Навстрѣчу Якову, улыбаясь и кланяясь, шелъ Ротшильдъ.

— А я васъ ищу, дяденька!—сказалъ онъ.—Кланялись вамъ Мойсей Ильичъ и велѣли вамъ заразъ приходить къ нимъ.

— Якову было не до того. Ему хотѣлось плакать.

— Отстань!—сказалъ онъ и пошелъ дальше.

— А какъ же это можно? — встревожился Ротшильдъ, забѣгая впередъ.—Мойсей Ильичъ будутъ обижаться! Они велѣли заразъ!

Якову показалось противно, что жидъ запыхался, моргаетъ и что у него такъ много рыжихъ веснушекъ. И было гадко глядѣть на его зеленый сюртукъ съ темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лѣзешь ко мнѣ, чеснокъ?—крикнулъ Яковъ.— Не приставай!

Жидъ разсердился и тоже крикнулъ:

— Но ви пожалуйста потише, а то ви у меня черезъ заборъ полетите!

— Прочь съ глазъ долой!—заревѣлъ Яковъ и бросился на него съ кулаками.—Житья нѣтъ отъ пархатыхъ!

Ротшильдъ помертвѣлъ отъ страха, присѣлъ и замахалъ руками надъ головой, какъ бы защищаясь отъ ударовъ, потомъ вскочилъ и побѣжалъ прочь что есть духу. На бѣгу онъ подпрыгивалъ, всплескивалъ руками, и видно было, какъ вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за нимъ съ криками: «Жидъ! Жидъ!» Собаки тоже погнались за нимъ съ лаемъ. Кто-то захохоталъ, потомъ свистнулъ, собаки залаяли громче и дружнѣе... Затѣмъ, должно-быть, собака укусила Ротшильда, такъ какъ послышался отчаянный, болѣзненный крикъ.

Яковъ погулялъ по выгону, потомъ пошелъ по краю города, куда глаза глядятъ, и мальчишки кричали: «Бронза идетъ! Бронза идетъ!» А вотъ и рѣка. Тутъ съ пискомъ носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и отъ воды шло такое сверканье, что было больно смотрѣть. Яковъ прошелся по тропинкѣ вдоль берега и видѣлъ, какъ изъ купальни вышла полная краснощекая дама, и подумалъ про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко отъ купальни мальчишки ловили на мясо раковъ; увидѣвъ его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вотъ широкая старая верба съ громаднымъ дупломъ, а на ней вороньи гнѣзда... И вдругъ въ памяти Якова, какъ живой, выросъ младенчикъ съ бѣлокурыми волосами и верба, про которую говорила Марѳа. Да, это и есть та самая верба— зеленая, тихая, грустная... Какъ она постарѣла, бѣдная!

Онъ сѣлъ подъ нее и сталъ вспоминать. На томъ берегу, гдѣ теперь заливной лугъ, въ ту пору стоялъ крупный березовый лѣсъ, а вонъ на той лысой горѣ, что виднѣется на горизонтѣ, тогда синѣлъ старый-старый сосновый боръ.

По рѣкѣ ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на томъ берегу стоитъ одна только березка, молоденькая и стройная, какъ барышня, а на рѣкѣ только утки да гуси, и не похоже, чтобы здѣсь когда-нибудь ходили барки. Кажется, противъ прежняго и гусей стало меньше. Яковъ закрылъ глаза, и въ воображеніи его одно навстрѣчу другому понеслись громадныя стада бѣлыхъ гусей.

Онъ недоумѣвалъ, какъ это вышло такъ, что за послѣднія сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ своей жизни онъ ни разу не былъ на рѣкѣ, а если, можетъ, и былъ, то не обратилъ на нее вниманія? Вѣдь рѣка порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбныя ловли, а рыбу продавать купцамъ, чиновникамъ и буфетчику на станціи и потомъ класть деньги въ банкъ; можно было бы плавать въ лодкѣ отъ усадьбы къ усадьбѣ и играть на скрипкѣ, и народъ всякаго званія платилъ бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чѣмъ гробы дѣлать; наконецъ, можно было бы разводить гусей, бить ихъ и зимой отправлять въ Москву; небось одного пуху въ годъ набралось бы рублей на десять. Но онъ прозѣвалъ, ничего этого не сдѣлалъ. Какіе убытки! Ахъ, какіе убытки! А если бы все вмѣстѣ — и рыбу ловить, и на скрипкѣ играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капиталъ! Но ничего этого не было даже во снѣ, жизнь прошла безъ пользы, безъ всякаго удовольствія, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назадъ—тамъ ничего, кромѣ убытковъ, и такихъ страшныхъ, что дажеознобъ беретъ. И почему человѣкъ не можетъ жить такъ, чтобы не было этихъ потерь и убытковъ? Спрашивается, зачѣмъ срубили березнякъ и сосновый боръ? Зачѣмъ даромъ гуляетъ выгонъ? Зачѣмъ люди дѣлаютъ всегда именно не то, что нужно? Зачѣмъ Яковъ всю свою жизнь бранился, рычалъ, бросался съ кулаками, обижалъ свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугалъ и оскорбилъ жида? Зачѣмъ вообще люди мѣшаютъ жить другъ другу? Вѣдь отъ этого какіе убытки! Какіе страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имѣли бы другъ отъ друга громадную пользу.

Вечеромъ и ночью мерещились ему младенчикъ, верба, рыба, битые гуси, и Марѳа, похожая въ профиль на птицу,

которой хочется пить, и блѣдное, жалкое лицо Ротшильда, и какія-то морды надвигались со всѣхъ сторонъ и бормотали про убытки. Онъ ворочался съ боку на бокъ и разъ пять вставалъ съ постели, чтобы поиграть на скрипкѣ.

Утромъ черезъ силу поднялся и пошелъ въ больницу. Тотъ же Максимъ Николаичъ приказалъ ему прикладывать къ головѣ холодный компрессъ, далъ порошки, и по выраженію его лица и по тону, Яковъ понялъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь. Идя потомъ домой, онъ сообразилъ, что отъ смерти будетъ одна только польза: не надо ни ѣсть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а такъ какъ человѣкъ лежитъ въ могилкѣ не одинъ годъ, а сотни, тысячи лѣтъ, то, если сосчитать, польза окажется громадная. Отъ жизни человѣку—убытокъ, а отъ смерти—польза. Это соображеніе, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачѣмъ на свѣтѣ такой странный порядокъ, что жизнь, которая дается человѣку только одинъ разъ, проходитъ безъ пользы?

Не жалко было умирать, но какъ только дома онъ увидѣлъ скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять съ собой въ могилу, и теперь она останется сиротой, и съ нею случится то же, что съ березнякомъ и съ сосновымъ боромъ. Все на этомъ свѣтѣ пропадало и будетъ пропадать! Яковъ вышелъ изъ избы и сѣлъ у порога, прижимая къ груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, онъ заигралъ, самъ не зная, что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекамъ. И чѣмъ крѣпче онъ думалъ, тѣмъ печальнѣе пѣла скрипка.

Скрипнула щеколда разъ-другой, и въ калиткѣ показался Ротшильдъ. Половину двора прошелъ онъ смѣло, но, увидѣвъ Якова, вдругъ остановился, весь съежился и, должно-быть, отъ страха, сталъ дѣлать руками такіе знаки, какъ будто хотѣлъ показать на пальцахъ, который теперь часъ.

— Подойди, ничего,—сказалъ ласково Яковъ и поманилъ его къ себѣ.—Подойди!

Глядя недовѣрчиво и со страхомъ, Ротшильдъ сталъ подходить и остановился отъ него на сажень.

— А вы, сдѣлайте милость, не бейте меня! — сказалъ онъ, присѣдая.—Меня Мойсей Ильичъ опять послали. Не бойся, говорятъ, поди опять до Якова и скажи, говорятъ,

что безъ ихъ никакъ невозможно. Въ среду швадьба... Да-а! Господинъ Шаповаловъ выдаютъ дочку жа хорошаго человѣка... И швадьба будетъ богатая, у-у!—добавилъ жидъ и прищурилъ одинъ глазъ.

— Не могу...— проговорилъ Яковъ, тяжело дыша. —Захворалъ, братъ.

И опять заигралъ, и слезы брызнули изъ глазъ на скрипку. Ротшильдъ внимательно слушалъ, ставши къ нему бокомъ и скрестивъ на груди руки. Испуганное, недоумѣвающее выраженіе на его лицѣ мало-по-малу смѣнилось скорбнымъ и страдальческимъ, онъ закатилъ глаза, какъ бы испытывая мучительный восторгъ, и проговорилъ: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекамъ и закапали на зеленый сюртукъ.

И потомъ весь день Яковъ лежалъ и тосковалъ. Когда вечеромъ батюшка, исповѣдуя, спросилъ его, не помнитъ ли онъ за собою какого-нибудь особеннаго грѣха, то онъ, напрягая слабѣющую память, вспомнилъ опять несчастное лицо Марѳы и отчаянный крикъ жида, котораго укусила собака, и сказалъ едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо,—отвѣтилъ батюшка.

И теперь въ городѣ всѣ спрашиваютъ: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купилъ онъ ее или укралъ, или, быть-можетъ, она попала къ нему въ закладъ? Онъ давно уже оставилъ флейту и играетъ теперь только на скрипкѣ. Изъ-подъ смычка у него льются такіе же жалобные звуки, какъ въ прежнее время изъ флейты, но когда онъ старается повторить то, что игралъ Яковъ, сидя на порогѣ, то у него выходитъ нѣчто такое унылое и скорбное, что слушатели плачутъ, и самъ онъ подъ конецъ закатываетъ глаза и говоритъ: «Ваххх!..» И эта новая пѣсня такъ понравилась въ городѣ, что Ротшильда приглашаютъ къ себѣ наперерывъ купцы и чиновники и заставляютъ играть ее по десяти разъ.

Оглавленіе

IX ТОМА.

	стр.		стр.
Страхъ	1	Бабье царство	104
Разсказъ неизвѣстнаго человѣка	16	Попрыгунья	144
Хорошіе люди	93	Черный монахъ.	169
		Скрипка Ротшильда . . .	201

щикъ Моисей Ильичъ Шахкесъ, бравшій себѣ больше половины дохода. Такъ какъ Яковъ очень хорошо игралъ на скрипкѣ, особенно русскія пѣсни, то Шахкесъ иногда приглашалъ его въ оркестръ съ платою по пятьдесятъ копеекъ въ день, не считая подарковъ отъ гостей. Когда Бронза сидѣлъ въ оркестрѣ, то у него прежде всего потѣло и багровѣло лицо; было жарко, пахло чеснокомъ до духоты, скрипка взвизгивала, у праваго уха хрипѣлъ контрабасъ, у лѣваго— плакала флейта, на которой игралъ рыжій тощій жидъ съ цѣлою сѣтью красныхъ и синихъ жилокъ на лицѣ, носившій фамилію извѣстнаго богача Ротшильда. И этотъ проклятый жидъ даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Безъ всякой видимой причины Яковъ мало-по-малу проникался ненавистью и презрѣніемъ къ жидамъ, а особенно къ Ротшильду; онъ начиналъ придираться, бранить его нехорошими словами и разъ даже хотѣлъ побить его, и Ротшильдъ обидѣлся и проговорилъ, глядя на него свирѣпо:

— Если бы я не уважалъ васъ за талантъ, то вы бы давно полетѣли у меня въ окошке.

Потомъ заплакалъ. Поэтому Бронзу приглашали въ оркестръ не часто, только въ случаѣ крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь изъ евреевъ.

Яковъ никогда не бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, такъ какъ ему постоянно приходилось терпѣть страшные убытки. Напримѣръ, въ воскресенья и праздники грѣшно было работать, понедѣльникъ—тяжелый день, и такимъ образомъ въ году набиралось около двухсотъ дней, когда поневолѣ приходилось сидѣть сложа руки. А вѣдь это какой убытокъ! Если кто-нибудь въ городѣ игралъ свадьбу безъ музыки или Шахкесъ не приглашалъ Якова, то это тоже былъ убытокъ. Полицейскій надзиратель былъ два года боленъ и чахнулъ, и Яковъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда онъ умретъ, но надзиратель уѣхалъ въ губернскій городъ лѣчиться и взялъ да тамъ и умеръ. Вотъ вамъ и убытокъ, по меньшей мѣрѣ рублей на десять, такъ какъ гробъ пришлось бы дѣлать дорогой, съ глазетомъ. Мысли объ убыткахъ донимали Якова особенно по ночамъ; онъ клалъ рядомъ съ собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лѣзла въ голову, трогалъ струны, скрипка въ темнотѣ издавала звукъ, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлаго года Марѳа вдругъ занемогла.

Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утромъ сама истопила печь и даже ходила по воду. Къ вечеру же слегла. Яковъ весь день игралъ на скрипкѣ; когда же совсѣмъ стемнѣло, взялъ книжку, въ которую каждый день записывалъ свои убытки, и отъ скуки сталъ подводить годовой итогъ. Получилось больше тысячи рублей. Это такъ потрясло его, что онъ хватилъ счетами о полъ и затопалъ ногами. Потомъ поднялъ счеты и опять долго щелкалъ и глубоко, напряженно вздыхалъ. Лицо у него было багрово и мокро отъ пота. Онъ думалъ о томъ, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить въ банкъ, то въ годъ проценту накопилось бы самое малое— сорокъ рублей. Значитъ, и эти сорокъ рублей тоже убытокъ. Однимъ словомъ, куда ни повернись, вездѣ только убытки и больше ничего.

— Яковъ!—позвала Марѳа неожиданно.—Я умираю!

Онъ оглянулся на жену. Лицо у нея было розовое отъ жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкшій всегда видѣть ея лицо блѣднымъ, робкимъ и несчастнымъ, теперь смутился. Похоже было на то, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ умирала и была рада, что, наконецъ, уходитъ навѣки изъ этой избы, отъ гробовъ, отъ Якова... И она глядѣла въ потолокъ и шевелила губами, и выраженіе у нея было счастливое, точно она видѣла смерть, свою избавительницу, и шепталась съ ней.

Былъ уже разсвѣтъ, въ окно видно было, какъ горѣла утренняя заря. Глядя на старуху, Яковъ почему-то вспомнилъ, что за всю жизнь онъ, кажется, ни разу не приласкалъ ее, не пожалѣлъ, ни разу не догадался купить ей платочекъ, или принести со свадьбы чего-нибудь сладенькаго, а только кричалъ на нее, бранилъ за убытки, бросался на нее съ кулаками; правда, онъ никогда не билъ ее, но все-таки пугалъ, и она всякій разъ цѣпенѣла отъ страха. Да, онъ не велѣлъ ей пить чай, потому что и безъ того расходы большіе, и она пила только горячую воду. И онъ понялъ, отчего у нея теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, онъ взялъ у сосѣда лошадь и повезъ Марѳу въ больницу. Тутъ больныхъ было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. Къ его великому удовольствію, въ этотъ разъ принималъ больныхъ не док-

торъ, который самъ былъ боленъ, а фельдшеръ Максимъ Николаичъ, старикъ, про котораго всѣ въ городѣ говорили, что хотя онъ и пьющій и дерется, но понимаетъ больше, чѣмъ докторъ.

— Здравія желаемъ,—сказалъ Яковъ, вводя старуху въ пріемнуюю.—Извините, все безпокоимъ васъ, Максимъ Николаичъ, своими пустяшными дѣлами. Вотъ, изволите видѣть, захворалъ мой предметъ. Подруга жизни, какъ это говорится, извините за выраженіе...

Нахмуривъ сѣдыя брови и поглаживая бакены, фельдшеръ сталъ оглядывать старуху, а она сидѣла на табуретѣ сгорбившись и тощая, остроносая, съ открытымъ ртомъ походила въ профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Такъ...—медленно проговорилъ фельдшеръ и вздохнулъ.—Инфлуэнца, а можетъ и горячка. Теперь по городу тифъ ходитъ. Что жъ? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

— Да безъ года семьдесятъ, Максимъ Николаичъ.

— Что жъ? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили замѣтить, Максимъ Николаичъ, — сказалъ Яковъ, улыбаясь изъ вѣжливости:—и чувствительно васъ благодаримъ за вашу пріятность, но позвольте вамъ выразиться, всякому насѣкомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказалъ фельдшеръ такимъ тономъ, какъ будто отъ него зависѣло жить старухѣ или умереть.— Ну, такъ вотъ, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компрессъ и давай вотъ эти порошки по два въ день. А за симъ досвиданція, бонжуръ.

По выраженію его лица Яковъ видѣлъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Мароа помретъ очень скоро, не сегодня—завтра. Онъ слегка толкнулъ фельдшера подъ локоть, подмигнулъ глазомъ и сказалъ вполголоса:

— Ей бы, Максимъ Николаичъ, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи съ Богомъ. Досвиданція.

— Сдѣлайте такую милость,—взмолился Яковъ. — Сами изволите знать, если бъ у нея, скажемъ, животъ болѣлъ, или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то

вѣдь въ ней простуда! При простудѣ первое дѣло — кровь гнать, Максимъ Николаичъ.

А фельдшеръ уже вызвалъ слѣдующаго больного, и въ пріемную входила баба съ мальчикомъ.

— Ступай, ступай...—сказалъ онъ Якову, хмурясь.—Нечего тѣнь наводить.

— Въ такомъ случаѣ поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вѣчно Бога молить!

Фельдшеръ вспылилъ и крикнулъ:

— Поговори мнѣ еще! Дубина...

Яковъ тоже вспылилъ и побагровѣлъ весь, но не сказалъ ни слова, а взялъ подъ руку Марѳу и повелъ ее изъ пріемной. Только когда ужъ садились въ телѣгу, онъ сурово и насмѣшливо поглядѣлъ на больницу и сказалъ:

— Насажали васъ тутъ артистовъ! Богатому небось поставилъ бы банки, а для бѣднаго человѣка и одной пьявки пожалѣлъ. Ироды!

Когда пріѣхали домой, Марѳа, войдя въ избу, минутъ десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжетъ, то Яковъ будетъ говорить объ убыткахъ и бранить ее за то, что она все лежитъ и не хочетъ работать. А Яковъ глядѣлъ на нее со скукой и вспоминалъ, что завтра Іоанна Богослова, послѣзавтра Николая Чудотворца, а потомъ воскресенье, потомъ понедѣльникъ—тяжелый день. Четыре дня нельзя будетъ работать, а навѣрное Марѳа умретъ въ какой-нибудь изъ этихъ дней; значитъ, гробъ надо дѣлать сегодня. Онъ взялъ свой желѣзный аршинъ, подошелъ къ старухѣ и снялъ съ нея мѣрку. Потомъ она легла, а онъ перекрестился и сталъ дѣлать гробъ.

Когда работа была кончена, Бронза надѣлъ очки и записалъ въ свою книжку:

«Марѳѣ Ивановой гробъ—2 р. 40 к.».

И вздохнулъ. Старуха все время лежала молча съ закрытыми глазами. Но вечеромъ, когда стемнѣло, она вдругъ позвала старика.

— Помнишь, Яковъ?—спросила она, глядя на него радостно.—Помнишь, пятьдесятъ лѣтъ назадъ намъ Богъ далъ ребеночка съ бѣлокурыми волосиками? Мы съ тобой тогда все на рѣчкѣ сидѣли и пѣсни пѣли... подъ вербой. — И, горько усмѣхнувшись, она добавила:—Умерла дѣвочка.

Яковъ напрягъ память, но никакъ не могъ вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебѣ мерещится,—сказалъ онъ.

Приходилъ батюшка, пріобщалъ и соборовалъ. Потомъ Марѳа стала бормотать что-то непонятное и къ утру скончалась.

Старухи-сосѣдки обмыли, одѣли и въ гробъ положили. Чтобы не платить лишняго дьячку, Яковъ самъ читалъ псалтырь, и за могилку съ него ничего не взяли, такъ какъ кладбищенскій сторожъ былъ ему кумъ. Четыре мужика несли до кладбища гробъ, но не за деньги, а изъ уваженія. Шли за гробомъ старухи, нищіе, двое юродивыхъ, встрѣчный народъ набожно крестился... И Яковъ былъ очень доволенъ, что все такъ честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь въ послѣдній разъ съ Марѳой, онъ потрогалъ рукой гробъ и подумалъ: «Хорошая работа!»

Но когда онъ возвращался съ кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыханіе было горячее и тяжкое, ослабѣли ноги, тянуло къ питью. А тутъ еще полѣзли въ голову всякія мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь онъ ни разу не пожалѣлъ Марѳы, не приласкалъ. Пятьдесятъ-два года, пока они жили въ одной избѣ, тянулись долго-долго, но какъ-то такъ вышло, что за все это время онъ ни разу не подумалъ о ней, не обратилъ вниманія, какъ будто она была кошка или собака. А вѣдь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала съ нимъ на одной кровати, а когда онъ возвращался пьяный со свадебъ, она всякій разъ съ благоговѣніемъ вѣшала его скрипку на стѣну и укладывала его спать и все это молча, съ робкимъ, заботливымъ выраженіемъ.

Навстрѣчу Якову, улыбаясь и кланяясь, шелъ Ротшильдъ.

— А я васъ ищу, дяденька!—сказалъ онъ.—Кланялись вамъ Мойсей Ильичъ и велѣли вамъ заразъ приходить къ нимъ.

— Якову было не до того. Ему хотѣлось плакать.

— Отстань!—сказалъ онъ и пошелъ дальше.

— А какъ же это можно? — встревожился Ротшильдъ, забѣгая впередъ.—Мойсей Ильичъ будутъ обижаться! Они велѣли заразъ!

Якову показалось противно, что жидъ запыхался, моргаетъ и что у него такъ много рыжихъ веснушекъ. И было гадко глядѣть на его зеленый сюртукъ съ темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лѣзешь ко мнѣ, чеснокъ?—крикнулъ Яковъ.— Не приставай!

Жидъ разсердился и тоже крикнулъ:

— Но ви пожалуйста потише, а то ви у меня черезъ заборъ полетите!

— Прочь съ глазъ долой!—заревѣлъ Яковъ и бросился на него съ кулаками.—Житья нѣтъ отъ пархатыхъ!

Ротшильдъ помертвѣлъ отъ страха, присѣлъ и замахалъ руками надъ головой, какъ бы защищаясь отъ ударовъ, потомъ вскочилъ и побѣжалъ прочь что есть духу. На бѣгу онъ подпрыгивалъ, всплескивалъ руками, и видно было, какъ вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за нимъ съ криками: «Жидъ! Жидъ!» Собаки тоже погнались за нимъ съ лаемъ. Кто-то захохоталъ, потомъ свистнулъ, собаки залаяли громче и дружнѣе... Затѣмъ, должно-быть, собака укусила Ротшильда, такъ какъ послышался отчаянный, болѣзненный крикъ.

Яковъ погулялъ по выгону, потомъ пошелъ по краю города, куда глаза глядятъ, и мальчишки кричали: «Бронза идетъ! Бронза идетъ!» А вотъ и рѣка. Тутъ съ пискомъ носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и отъ воды шло такое сверканье, что было больно смотрѣть. Яковъ прошелся по тропинкѣ вдоль берега и видѣлъ, какъ изъ купальни вышла полная краснощекая дама, и подумалъ про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко отъ купальни мальчишки ловили на мясо раковъ; увидѣвъ его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вотъ широкая старая верба съ громаднымъ дуплом, а на ней вороньи гнѣзда... И вдругъ въ памяти Якова, какъ живой, выросъ младенчикъ съ бѣлокурыми волосами и верба, про которую говорила Марѳа. Да, это и есть та самая верба— зеленая, тихая, грустная... Какъ она постарѣла, бѣдная!

Онъ сѣлъ подъ нее и сталъ вспоминать. На томъ берегу, гдѣ теперь заливной лугъ, въ ту пору стоялъ крупный березовый лѣсъ, а вонъ на той лысой горѣ, что виднѣется на горизонтѣ, тогда синѣлъ старый-старый сосновый боръ.

По рѣкѣ ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на томъ берегу стоитъ одна только березка, молоденькая и стройная, какъ барышня, а на рѣкѣ только утки да гуси, и не похоже, чтобы здѣсь когда-нибудь ходили барки. Кажется, противъ прежняго и гусей стало меньше. Яковъ закрылъ глаза, и въ воображеніи его одно навстрѣчу другому понеслись громадныя стада бѣлыхъ гусей.

Онъ недоумѣвалъ, какъ это вышло такъ, что за послѣднія сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ своей жизни онъ ни разу не былъ на рѣкѣ, а если, можетъ, и былъ, то не обратилъ на нее вниманія? Вѣдь рѣка порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбныя ловли, а рыбу продавать купцамъ, чиновникамъ и буфетчику на станціи и потомъ класть деньги въ банкъ; можно было бы плавать въ лодкѣ отъ усадьбы къ усадьбѣ и играть на скрипкѣ, и народъ всякаго званія платилъ бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки — это лучше, чѣмъ гробы дѣлать; наконецъ, можно было бы разводить гусей, бить ихъ и зимой отправлять въ Москву; небось одного пуху въ годъ набралось бы рублей на десять. Но онъ прозѣвалъ, ничего этого не сдѣлалъ. Какіе убытки! Ахъ, какіе убытки! А если бы все вмѣстѣ — и рыбу ловить, и на скрипкѣ играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капиталъ! Но ничего этого не было даже во снѣ, жизнь прошла безъ пользы, безъ всякаго удовольствія, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назадъ—тамъ ничего, кромѣ убытковъ, и такихъ страшныхъ, что даже ознобъ беретъ. И почему человѣкъ не можетъ жить такъ, чтобы не было этихъ потерь и убытковъ? Спрашивается, зачѣмъ срубили березнякъ и сосновый боръ? Зачѣмъ даромъ гуляетъ выгонъ? Зачѣмъ люди дѣлаютъ всегда именно не то, что нужно? Зачѣмъ Яковъ всю свою жизнь бранился, рычалъ, бросался съ кулаками, обижалъ свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугалъ и оскорбилъ жида? Зачѣмъ вообще люди мѣшаютъ жить другъ другу? Вѣдь отъ этого какіе убытки! Какіе страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имѣли бы другъ отъ друга громадную пользу.

Вечеромъ и ночью мерещились ему младенчикъ, верба, рыба, битые гуси, и Марѳа, похожая въ профиль на птицу,

которой хочется пить, и блѣдное, жалкое лицо Ротшильда, и какія-то морды надвигались со всѣхъ сторонъ и бормотали про убытки. Онъ ворочался съ боку на бокъ и разъ пять вставалъ съ постели, чтобы поиграть на скрипкѣ.

Утромъ черезъ силу поднялся и пошелъ въ больницу. Тотъ же Максимъ Николаичъ приказалъ ему прикладывать къ головѣ холодный компрессъ, далъ порошки, и по выраженію его лица и по тону, Яковъ понялъ, что дѣло плохо и что ужъ никакими порошками не поможешь. Идя потомъ домой, онъ соображалъ, что отъ смерти будетъ одна только польза: не надо ни ѣсть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а такъ какъ человѣкъ лежитъ въ могилкѣ не одинъ годъ, а сотни, тысячи лѣтъ, то, если сосчитать, польза окажется громадная. Отъ жизни человѣку—убытокъ, а отъ смерти—польза. Это соображеніе, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачѣмъ на свѣтѣ такой странный порядокъ, что жизнь, которая дается человѣку только одинъ разъ, проходитъ безъ пользы?

Не жалко было умирать, но какъ только дома онъ увидѣлъ скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять съ собой въ могилу, и теперь она останется сиротой, и съ нею случится то же, что съ березнякомъ и съ сосновымъ боромъ. Все на этомъ свѣтѣ пропадало и будетъ пропадать! Яковъ вышелъ изъ избы и сѣлъ у порога, прижимая къ груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, онъ заигралъ, самъ не зная, что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекамъ. И чѣмъ крѣпче онъ думалъ, тѣмъ печальнѣе пѣла скрипка.

Скрипнула щеколда разъ-другой, и въ калиткѣ показался Ротшильдъ. Половину двора прошелъ онъ смѣло, но, увидѣвъ Якова, вдругъ остановился, весь съежился и, должно-быть, отъ страха, сталъ дѣлать руками такіе знаки, какъ будто хотѣлъ показать на пальцахъ, который теперь часъ.

— Подойди, ничего,—сказалъ ласково Яковъ и поманилъ его къ себѣ.—Подойди!

Глядя недовѣрчиво и со страхомъ, Ротшильдъ сталъ подходить и остановился отъ него на сажень.

— А вы, сдѣлайте милость, не бейте меня! — сказалъ онъ, присѣдая.—Меня Мойсей Ильичъ опять послали. Не бойся, говорятъ, поди опять до Якова и скажи, говорятъ,

что безъ ихъ никакъ невозможно. Въ среду швадьба... Да-а! Господинъ Шаповаловъ выдаютъ дочку жа хорошаго человѣка... И швадьба будетъ богатая, у-у!—добавилъ жидъ и прищурилъ одинъ глазъ.

— Не могу...— проговорилъ Яковъ, тяжело дыша. —Захворалъ, братъ.

И опять заигралъ, и слезы брызнули изъ глазъ на скрипку. Ротшильдъ внимательно слушалъ, ставши къ нему бокомъ и скрестивъ на груди руки. Испуганное, недоумѣвающее выраженіе на его лицѣ мало-по-малу смѣнилось скорбнымъ и страдальческимъ, онъ закатилъ глаза, какъ бы испытывая мучительный восторгъ, и проговорилъ: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекамъ и закапали на зеленый сюртукъ.

И потомъ весь день Яковъ лежалъ и тосковалъ. Когда вечеромъ батюшка, исповѣдуя, спросилъ его, не помнитъ ли онъ за собою какого-нибудь особеннаго грѣха, то онъ, напрягая слабѣющую память, вспомнилъ опять несчастное лицо Марѳы и отчаянный крикъ жида, котораго укусила собака, и сказалъ едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо,—отвѣтилъ батюшка.

И теперь въ городѣ всѣ спрашиваютъ: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купилъ онъ ее или укралъ, или, быть-можетъ, она попала къ нему въ закладъ? Онъ давно уже оставилъ флейту и играетъ теперь только на скрипкѣ. Изъ-подъ смычка у него льются такіе же жалобные звуки, какъ въ прежнее время изъ флейты, но когда онъ старается повторить то, что игралъ Яковъ, сидя на порогѣ, то у него выходитъ нѣчто такое унылое и скорбное, что слушатели плачутъ, и самъ онъ подъ конецъ закатываетъ глаза и говоритъ: «Ваххх!..» И эта новая пѣсня такъ понравилась въ городѣ, что Ротшильда приглашаютъ къ себѣ наперерывъ купцы и чиновники и заставляютъ играть ее по десяти разъ.

Оглавленіе

IX ТОМА.

	стр.		стр.
Страхъ	1	Бабье царство	104
Разсказъ неизвѣстнаго человѣка	16	Попрыгунья	144
Хорошіе люди	93	Черный монахъ.	169
		Скрипка Ротшильда . . .	201

Stanford University Libraries
3 6105 013 503 037

891.72
C511
ed.2
v.7-9

JUL 3 1961

APR 4 '88

MAR 11 1970

NOV 5 '70

DEC 14 '94

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.